



АЛЕКСАНДР
РЕЖЕМЧУК

ЗНАКИ
ВРЕМЕНИ

Александр Рекемчук

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Москва

Издательство «МИК»

2002

УДК 821.161.1-311.1Рекемчук
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р 36

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ
ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рекемчук А. Е.
Р 36 **Знаки времени.** — М.: Издательство «МИК», 2002. —
536 с.
ISBN 5-87902-104-1

Писатель Александр Рекемчук известен читателям повестями «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчишки», романами «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть». Об истоках и непростой судьбе этих произведений рассказывает автобиографическое эссе «Знаки времени».

В книге публикуется повесть А. Рекемчука «Железное поле», написанная 15 лет назад и лишь теперь увидевшая свет..

ISBN 5-87902-104-1

© Рекемчук А. Е., 2002
© Издательство «МИК», 2002
© Оформление Д. Манахина, 2002

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

О СЕБЕ, О КНИГАХ, О ФИЛЬМАХ



В 1970 году я приехал в Одессу для участия в международном литературном симпозиуме. Творческие споры, встречи с писателями, приемы и экскурсии не оставляли свободной минуты.

Но мне все же удалось выкроить время для того, чтобы побывать на улице Иностранной Коллегии (бывшей Гимназической) и найти дом, где я родился 25 декабря 1927 года. Точней, родился я, как и положено, в роддоме, однако этот маленький частный дом, где молодая семья снимала две комнаты, стал моим отчим кровом.

То была пора повального увлечения кинематографом, ярко и довольно саркастически запечатленная в литературе, а в Одессе тогда работала крупнейшая в стране кинофабрика.

Сюда и устремились мои родители. Мать, Лидия Андреевна Приходько, снималась во многих фильмах немого кино («Кармелюк», «Право отцов», «Всё спокойно» и др.). Отец, Евсей Тимофеевич Рекемчук, бывший штабс-капитан русской армии (Валентин Катаев рассказывал мне, что они вместе учились в школе прапорщиков), журналист, человек сложной и горькой судьбы, пробовал писать сценарии. Закат эры «великого немого» определил для них, как и для многих, конец кинематографических надежд. Да и семейная жизнь дала трещину: родители мои развелись, «разъехались», как говорили в ту пору, — впрочем, это имело и буквальный смысл: отец обосновался в Киеве, а мать увезла меня в свой родной Харьков, где на Люсинской улице доселе стоит одноэтажный кирпичный дом, построенный в начале века моим дедом Андреем Кирилловичем. Бабушка, Александра Ивановна, крестила меня, годовалого, в церкви Кирилла и Мефодия, что у Конной площади.

С Харьковом связана и память детства. Я учился в школе №1 на улице Дарвина (Садово-Куликовской). Из этой школы вышли известные писатели: Сергей Сергеевич Смирнов, автор книги о героях Брестской крепости, Петр Лидов, написавший первые газетные очерки о подвиге Зои Космодемьянской, поэты Михаил Кульчицкий и Юрий Корецкий, павшие, как и Лидов, на фронтах той войны, видный режиссер и кинодраматург Сергей Юткевич, поэты

Лидия Некрасова и Павел Железнов. Но всё это лишь впоследствии привлекло внимание школьных историков и юных следопытов, возникла переписка, и нам с Сергеем Сергеевичем Смирновым выпала радость вновь побывать в стенах родной школы.

Дальнейшие события моих юных лет достаточно откровенно и полно воспроизводит роман «Нежный возраст». Отвечу лишь на вопрос, который мне задавали читатели устно и письменно: существует ли реальный прототип одного из главных героев этой книги — Ганса Мюллера? Да, существует. Это — Ганс Иоганнович Нидерле, австрийский политэмигрант, участник баррикадных боев в Вене 1934 года и гражданской войны в Испании, танкист-интербригадoveц. Он был моим отчимом.

Однако тема антифашизма, на которой я взращен и воспитан, имеет и более ранний исток. После развода моих родителей, накануне поступления в школу, я прожил несколько месяцев у отца в Киеве, где он работал научным сотрудником Музея западного и восточного искусства. Дни напролет проводил я в музейных залах у полотен Рубенса, Веласкеса, Сурбарана, Иорданса. В ту пору отец всерьез увлекался живописью и работал вполне профессионально. Запал в детскую память портрет, где я почему-то был изображен в зеленом костюмчике, хотя на самом деле позировал в синем, — так я впервые познал условность искусства. Но куда сильней и значительней было впечатление от другого холста. Отец писал большой натюрморт, писал с натуры. На столе лежали тевтонский меч с латинским девизом и запекшейся кровью на клинке. Старинный фолиант, настоящий череп с зияющими глазницами, дымящаяся сигара с бумажным ярлычком, на котором крючилась свастика... Таким я и запомнил отца навсегда: в тревожной собранности пишущим натюрморт «Фашизм». До главной схватки с ним он не дожил: его расстреляли 11 октября 1937 года.

Первое издание романа «Нежный возраст» помечено датами работы над ним: 1962—1978 гг. Казалось бы, столь близкая к автобиографичности книга должна была написаться на одном дыхании, а вот поди ты: шестнадцать лет... Вначале был киносценарий «Они не пройдут», опубликованный в журнале «Искусство кино» (№2, 1963)

и поставленный на «Мосфильме» немецким режиссером Зигфридом Кюном (в фильме снимались Юрген Фрорип, Евгений Герасимов, Сергей Столяров, Инна Макарова, Петр Алейников). Экранный вариант оказался далеким от моего замысла: щедро вмонтированные в фильм документальные кадры вытеснили ту конкретную человеческую историю, о которой хотелось поведать. Тогда я написал по канве сценария повесть «Товарищ Ганс» (1965). Она не раз издавалась, переведена на многие языки мира. В ее тексте были примечательные строки: «...мой рассказ именно о нем. Не обо мне, а о нем. О человеке, которого зовут Ганс Мюллер». Я был относительно молод и еще не понимал, что писатель не вправе столь беспечно растрачивать материал своей личной биографии, что еще явится острое желание написать именно о *своем* детстве, об отрочестве и юности — в нерасторжимой и значительной связи со временем.

Однажды, находясь в Саратове и покончив там с делами командировки, я решил «завернуть» в Волгоград, где не был с военных лет, с поры эвакуации из Харькова. Что было искать в городе, который я покидал страшным летом 1942 года — под бомбами, в чадю пожарищ?.. Но в Бекетовке, на южной окраине города, я с изумлением обнаружил целым и невредимым дом, где жил, школу, где учился, и тот завод, куда нас, пионеров-шестиклассников, направили работать в грозные месяцы осады. Теперь на стенде боевой и трудовой славы лесокombината имени Ермана крупными цифрами значилось, сколько десятков тысяч противотанковых мин дал завод фронту — это и было «секретное оружие», которое мы делали в меру наших мальчишеских силенок... Вот какой возвращалась память детства.

В 1943 году, окончив седьмой класс в Барнауле, я поступил в 4-ю Московскую специальную артиллерийскую школу — она тогда находилась в Бийске — и вместе с нею впервые приехал в Москву. Об этих военных спецшколах — артиллерийских, авиационных, морских — известно очень мало, куда меньше, чем о суворовских и нахимовских училищах, и гораздо менее того, что они заслужили. Они были созданы перед войной при Наркомпросе с целью пополнения офицерского корпуса армии, выкошенного в том же 1937 году. Мой товарищ по Барнаулу и артиллерийской спецшколе Юрий Крючков, ставший прототипом Юрки Садкова в «Нежном возрасте», дослужился до генерала: он рассчитал одну из основополагающих формул ракетной баллистики. Другие ушли в

отставку полковниками, подполковниками. И все настоятельно требовали от меня «запечатлеть».

Я хотел написать вслед за «Товарищем Гансом» еще две отдельные повести, тоже от первого лица, но от имени других героев. Однако опыт уже подсказывал, что читатель без труда установит идентичность всех трех героев, что меня выдаст с головой хотя бы схожесть интонаций. Между тем, возьмись я за роман, это позволило бы дать в протяженности во времени и пространстве не только судьбу основного героя, но и совокупность и связь судеб... Так созрело решение коренным образом переработать повесть «Товарищ Ганс» и сделать ее частью романа, первой частью «Нежного возраста».

Но было бы, конечно, натяжкой полностью отождествлять Саньку Рымарева, героя-повествователя этой книги, с ее автором. Хотя бы потому, что Санька подчеркнуто и декларативно чужается литературы, даже школьной. Со мной же было иначе.

Склонность к литературным занятиям я проявил и впрямь в «нежном возрасте». Посещал литературный кружок (наравне с авиамодельным) харьковского Дворца пионеров, которым руководил писатель Н. И. Сказбуш — его чудесной «Повестью о Петьке Рубанте» зачитывались школяры. Мое первое стихотворение было напечатано в 1937 году в сборнике «Щаслива юність» (Дитвидав, Харків). Но позже меня увлекла музыка — это было серьезно и нашло некоторое отражение в повести «Мальчики» (1970). Военные годы, пора взросления, учеба в спецартшколе вернули к поэтическим опытам. С 1944 года я участвовал в работе известного в ту пору литобъединения «Комсомольской правды». Мои стихи удостоились сочувственного внимания таких крупных мастеров и воспитателей творческой молодежи, какими были Владимир Александрович Лутовской и Павел Григорьевич Антокольский. Они рекомендовали меня в Литературный институт. Я поступил туда, имея еще одну важную рекомендацию. Ее вручил мне заместитель командующего артиллерией Вооруженных Сил СССР генерал-лейтенант И. С. Прочко. Напутствуя, подарил томик избранных стихотворений и поэм Константина Симонова (роскошное по тем временам, редчайшее магаданское издание). Расчувствовавшись, я попросил генерала оставить автограф

на этой книге, на что он ответил: «Если из вас когда-нибудь выйдет писатель, Симонов сам ее надпишет». В тот же день в казарме книгу у меня «увели». И лишь много лет спустя Константин Михайлович Симонов великодушно возместил эту потерю.

Так в сентябре 1946 года я очутился в аудитории Литературного института имени Горького. Мы слушали первые лекции и, украдкой оглядываясь, запоминали незнакомые лица и незнакомые имена сокурсников: Юрий Бондарев, Евгений Винокуров, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Владимир Солоухин, Лидия Обухова, Григорий Поженян, Михаил Годенко, Семен Шуртаков, Юрий Разумовский, Эдуард Асадов, Герман Валиков, Бенедикт Сарнов, Алексей Кафанов, Владимир Бушин, Семен Сорин, монгол Дашцевгийн Сэнгээ...

Признаюсь, что теперь, когда я прихожу в аудиторию Литературного института, где уже 25 лет веду семинар прозы, являясь профессором кафедры творчества, когда пробегаю глазами перечень имен вновь принятых студентов и смотрю в лица новичков, мною овладевает чувство благоговейной надежды.

Отчасти эта надежда уже сбылась. Из моего семинара вышли достаточно известные ныне писатели: Александр Филимонов, Лариса Ванеева, Александр Сегень, Людмила Репина, Олег Хандусь, Вануш Шермазян, Александр Смоляк, Галина Цветкова, Вера Кунгурцева, Роман Сенчин, Маргарита Шарапова, Рамиль Халиков, Илья Кочергин, Ева Датнова, Валерий Былинский, перечень имен можно бы и продолжить.

Но тогда моя студенческая жизнь оказалась довольно краткой. Тому были две причины.

Я ощутил предвестье «потери голоса», вроде продолжал писать стихи, печатал их, но шли они из души не так, как прежде — будто бы сами собой, а натужно, с усилием. Когда сам чувствовал эту неестественность, прибегал к нажиму, к излишней вычурности образа, показной изысканности строки, словесной бравате — и опять-таки сам это чувствовал и видел, мучился и терзался, и нажим уже был близок к надрыву... Но ни о чем ином, кроме поэзии, я в ту пору еще не помышлял. И полагал, что, может быть, все пойдет на лад, когда я найду *свою* тему.

Вот тут-то и крылась вторая причина. За плечами большинства моих сокурсников был фронт. То есть по возрасту они были стар-

ше меня лишь двумя-тремя годами, но *какими* годами! Равными целой жизни. И если читатель еще раз проследит имена, которые я назвал выше — набор Литературного института 1946 года, — то сразу заметит, что военное начало биографий этих писателей определило почти для всех, на десятки лет вперед, главное содержание и направление их творчества.

У меня же — мальчишки, пусть и пережившего сталинградскую грозу, а в пятнадцать лет надевшего погоны, — не было сознания достаточной личной причастности к отгремевшим великим событиям.

Требовалось «добирать» жизненный материал. Летом 1947 года, после первого курса, предстояло ехать на творческую практику. Выбор был свободным, куда пожелаешь — на юг, на север, на восток. Я выбрал Север: челюскинцы, папанинцы, дрейфующие арктические станции — все это еще с детских лет владело мечтой. Но выданных на дорогу и прокорм денег хватило лишь на то, чтобы добраться поездом и речным пароходом «Горончаровский» до столицы республики Коми — Сыктывкара. В редакции республиканской газеты «За новый Север» (впоследствии — «Красное знамя») было туговато с журналистскими кадрами, и практиканта из Литинститута встретили весьма радушно: печатали и очерки, и фельетоны, и даже стихи. Не скупилась на командировки: «На Печору? Езжайте на Печору... В Заполярье? Поезжайте в Заполярье...» Полтора месяца практики пролетели в одночасье. Я увидел таежные лесосеки и сплавные запаны, нефтепромыслы Ухты и шахты Инты, недавно проложенную железную магистраль к Воркуте, тундру, вечную мерзлоту, оленей... Я успел войти во вкус летучей журналистской жизни. И еще, слава богу, успел понять, что ничего не успел — ни разглядеть, ни осмыслить. Особенно, помню, меня удручало, что, побывав на Севере, я так и не увидел северное сияние — что расскажу в Москве?.. Когда на исходе августа мне деликатно предложили остаться на год в Сыктывкаре, в редакции — взять академический отпуск или перейти на заочное отделение, — я недолго колебался, перешел в заочники. Радовался, что вот еще целый год буду иметь возможность наблюдать жизнь, черпать столь необходимое мне новое вдохновение...

Я не мог знать тогда, что это уже было не стороннее наблюдение жизни, а моя собственная *жизнь* — вот таким неожиданным и замысловатым руслом она потекла.

К тому времени я уже был членом Коммунистической партии, и потребовалось сняться с учета в Москве, стать на партийный учет здесь. Через год в этом незнакомом и чужом городе я был уже женат и, в ожидании прибавления семейства, попросил квартиру — мне ее дали. Возвращение к студенческой стипендии теперь казалось проблематичным. Новое поэтическое дыхание так и не явилось — наоборот, муза окончательно покинула меня. Поразмыслив здраво, я пришел к убеждению, что быть поэтом вовсе необязательно, а быть профессиональным журналистом — весьма завидный и почетный удел.

Но вот нежданная забота: мои очерки почему-то все больше тяготели к рассказу. А в «Новом мире» я прочел рассказ Бориса Бедного «Комары» — он впечатлил не только тем, что автор совсем недавно работал на сплавной запани под Сыктывкарком, но и тем, что все в нем знакомо мне до мельчайших деталей, а интонации этой прозы, право же, и богаче, и шире, и свободнее стихотворной интонации...

Лишь позднее я узнал, что Борис Бедный коротал под Сыктывкарком ссылку.

Наездившись вдоволь по городам и весям республики Коми, я увидел не только долгожданное северное сияние, но и обнаружил, что вся эта северная республика представляла собой огромный лагерь — с бесконечными заборами, колючей проволокой, сторожевыми вышками. Разница была лишь в том, что в лагерях под Ухтой режим был обычный, а в Воркуте — каторга. Мне доводилось писать очерки о шахтерах, но имена героев вычеркивались — они были «эки». Я писал рецензии на спектакли Воркутинского музыкального театра, но в них оставались лишь имена действующих лиц, а фамилии исполнителей упоминать запрещалось — они тоже были заключенными.

В задушевных беседах со знакомыми и собутыльниками мне все чаще задавали один и тот же вопрос: «Зачем ты сюда приехал?» Я отвечал беспечно: «Просто так!» На что обычно следовало глухое поучение: «Сюда просто так не приезжают...»

Мрачные пророчества оправдались. После развода матери с моим фактическим отчимом Гансом Нидерле я попытался навести справки о своем отце, Евсее Тимофеевиче Рекемчуке, о судьбе которого ничего не знал... Справки навели. Меня исключили из партии и уволили из редакции как сына «врага народа». Местный поэт Серафим Попов, стихи которого я переводил с коми на русский, пришел ко мне в гости и начал дотошно знакомиться с расположе-

нием комнат. Позже выяснилось, что ему обещали мою квартиру, поскольку уже было известно, что меня со дня на день посадят...

Вся эта коллизия с поездкой на Север за впечатлениями жизни воспроизведена в моем романе «Тридцать шесть и шесть», который в канун перестроечных времен публиковался в «Новом мире» и вышел отдельным изданием в 1987 году.

Тогда меня пощадили: арест не состоялся, вместо исключения из партии дали строгий выговор, на работе восстановили.

Но я покинул Сыктывкар в крайней обиде.

Еще не подозревая, что вернусь сюда опять.

В 1952 году я защитил диплом в Литературном институте рассказами и очерками, опубликованными в журналах «Огонек», «Смена».

В ту пору «Огонек», которым руководил Алексей Сурков, привлек к сотрудничеству группу молодых прозаиков, в числе которых были Владимир Тендряков, Владимир Солоухин и я. Корреспондентские поездки по стране обогащали впечатлениями, подбрасывали «в запас» сюжеты будущих книг, делали известными огромной читательской аудитории журнала наши скромные имена. Естественно, это давало и средства к существованию. Володе Солоухину особенно повезло: командированный на Печору, в Нарьян-Мар, он встретил там молодого детского врача по имени Роза, напечатал о ней очерк, а вскоре и отпраздновал свадьбу в «Арагви».

Адреса моих огоньковских командировок — Кузбасс, Красный Лиман на Украине и, конечно же, Коми республика, «земля, с которой вместе мерз».

Но эта породненная земля напоминала о себе не только темами очерков. На мне висел «строгач» по партийной линии, полученный там — он и в Москве отнюдь не скрашивал мне жизнь. Кадровики всех редакций, куда я обращался в поисках штатной работы, приходили в ужас от моей анкеты: репрессированный отец, исключенная из партии мать, объявившиеся во Франции ее родные сестры Анастасия и Ольга, вдовы врангелевских офицеров, мой бывший

отчим с подозрительной фамилией и, наконец, я сам со строгим выговором в учетной карточке члена КПСС...

Меня не взяли на работу даже в редакции мытищинской городской газеты. Со скрипом назначили ответственным секретарем московской многотиражки «За газификацию». Но и здесь мы с недавним однокурсником Женей Винокуровым умудрились собрать пишущих людей в литературное объединение по примеру «Комсомолки».

Я сотрудничал внештатно с «Московским комсомольцем». Однажды там дали задание: «Сходи-ка в консерваторию и напиши очерк о начинающем композиторе...» В комитете комсомола, куда я обратился, взвесили несколько кандидатур, остановились на одной: отличник, общественник, аккуратно платит комсомольские взносы... Я созвонился, поехал на Красносельскую улицу. Меня встретил юноша — долговязый, бледный, очень застенчивый. Сыграл отрывок из оратории о гвардейцах-панфиловцах, несколько фортепианных пьес, — музыка мне понравилась. Рассказал короткую свою биографию: учился в свешниковском училище, пел в хоре мальчиков, потом была мутация и голос пропал, как пропадает у большинства этих поющих мальчиков, переживал, мучился, пока не услышал *музыку в себе*... Уж не помню того пышного заглавия, которым я снабдил очерк, но в редакции сказали: «К чему эти красоты? Нужно прямо обозначить предмет...» И 12 февраля 1953 года в «Московском комсомольце» был напечатан мой очерк, который назывался «Студент-композитор Родион Щедрин».

Уже потом я с изумлением и радостью следил за тем, как всходила на музыкальном небосводе второй половины XX века — столь скупой на композиторские таланты — яркая звезда моего героя... Много лет спустя Родион Щедрин подарил мне пластинку «Кармен-сюита» с дарственной надписью: «Саше Рекемчуку — моему первопечатнику».

Повесть «Мальчики», написанная впоследствии (1970), конечно же, имела в сюжетном истоке эту счастливую встречу, подаренную мне судьбой. Но она вобрала в себя и многое другое: мои ранние занятия музыкой, и более поздний интерес к творчеству Скрябина, к его провидческим исканиям, к современному симфонизму. Не чуждой оказалась и сама проблема «ломки голоса» — ведь я тоже знал ее не понаслышке.

По этой повести Олег Табаков поставил радиосериал, где главную роль исполнил его шестилетний сын Антон, Майку Вяземскую

сыграла Анастасия Вергинская, а роль великого русского певца Лемешева с большой охотой озвучил сам Сергей Яковлевич Лемешев.

«Мальчики» были экранизированы на «Мосфильме» с тем же Антоном Табаковым в роли Жени Прохорова, двенадцатилетней красавицей — будущей киноактрисой — Вероникой Изотовой, сыгравшей Майку, Леонидом Куравлевым в роли жулика-антрепренера Виктора Викторовича... Больше хлопот было с исполнителем роли руководителя хора мальчиков Наместникова, поскольку профессор Александр Васильевич Свешников поставил перед режиссером вопрос в категорической форме: «Кто будет играть *меня?*»

Возвращусь на миг к дате публикации очерка о Родионе Щедрине в «Московском комсомольце»: 12 февраля 1953 года. Ровно через три недели умер Сталин. Все газеты, включая мою многотиражку («многоподтирашку», как ласково называли ее благодарные читатели), вышли в траурном обрамлении.

Знаки грядущих перемен проявлялись постепенно.

Мое положение оставалось незавидным. Я жил в Москве, не имея собственного угла (мать лишили казенной квартиры, и она ютилась вместе со мною в клетушке родственников в Марьиной Роще). Жена Луиза, прервав учебу на театроведческом факультете ГИТИСа, уехала с дочерью в родной Сыктывкар. Изнуряло постоянное безденежье. Мучило отсутствие зримых перспектив...

Перелом эпохи обозначился каким-то лихорадочным движением непоседливой молодежи: уезжали на целину, на Ангару, в Кара-Кумы, в геологические партии, на строительство железных дорог и гидроэлектростанций, куда глаза глядят, куда зовет душа... Может быть, в этом движении впервые проявился стихийный порыв к свободе.

Махнув рукой на драгоценную столичную прописку, я опять уехал на Север.

Ранней весной самолет забросил меня в таежные глухомани у предгорий северного Урала, к быстро мелеющим истокам Печоры. Оттуда я спускался на лодках, подолгу застревая в попутных деревнях и поселках геологов. Впервые за всю свою журналистскую практику привез из этого путешествия пустой блокнот и не передал в газету ни

строки. Но именно там, на Печоре, на чистых ветрах я отдышался после долгих метаний, невзгод, ощутил ровность пульса, *нашел себя*.

А поздним летом я плыл пароходом из Канина вниз по Печоре, к древнему русскому селу Усть-Цильме, где женщины еще надевали по праздникам жемчужовые кокошники, парчовые наряды, лисьи душегреи из прабабкиных сундуков, пели песни и разговаривали на языке, непонятном приезжим, а это была исконная русская речь.

И опять пароход — в низовья Печоры, где река разветвлялась на рукава, впадающие в студеное море: окуни палец в воду — пресна, солоня? Коль пресна, значит, Печора еще с тобой.

Встречи. Беседы. Молчания. Думы.

Итогом странствий этого счастливого лета были рассказы «Берега», «Ожидания», «Века, века...», «Останутся кедры», «Арбузный рейс», «Без боли», «Исток и устье».

С 1954 года я вновь работал в редакции газеты «Красное знамя» собственным корреспондентом по Ухтинскому и Троицко-Печорскому районам. Прежде не верил рассказам о той властной силе, с которой Север влечет к себе однажды побывавших там людей, но, похоже, это было правдой.

Кроме того, само время, характерное приметам обновления во всех сферах жизни, подсказывало необходимость *второго прочтения*, переосмысления виденного и пережитого ранее.

Уловить связь событий, проследить людские судьбы в переломный момент — к этому подталкивало и само назначение того рода литературы, которому отныне я был безраздельно предан: прозы.

Моим литературным дебютом обычно считают повесть «Время летних отпусков» (1959). Между тем, к этой поре в Коми книжном издательстве вышли две книги моих рассказов («Стужа», 1956; «Берега», 1958), журнал «Огонек» опубликовал повесть «Всё впереди» (1957). Я уже был членом Союза писателей и даже избран от республики Коми одним из делегатов Первого (учредительного) съезда писателей Российской Федерации.

В городе, где я жил, было вообще немало пишущих людей, и я организовал там литературное объединение «Ухта», существующее до сих пор. Из него вышло немало писателей: Анатолий Знаменский, Василий Журавлев-Печорский, Николай Володарский, Борис Купчинкин, Ирина Махонина, Анатолий Козулин, Марианна Вехова, Виктор Кушманов...

Повесть «Время летних отпусков» была опубликована в журнале «Знамя», издана «Советским писателем».

Теперь, когда название повести стало обиходной фразеологической нормой, когда в рубрике «Время летних отпусков» печатаются газетные статьи, проспекты туристических фирм, веселые картинки, я с удивлением вспоминаю, как трудно рождалось это заглавие («Отпускная пора»?.. «Пора летних отпусков»?..). В читательских письмах мне часто задавали вопрос: не в обиде ли я на то, что название моей книги обрело как бы вовсе независимую от нее жизнь? Нет, конечно: ведь это и есть самый отрадный для писателя результат кропотливого поиска слова, точного словосочетания.

Успех повести «Время летних отпусков» был неожиданным для меня. О ней появились десятки газетных и журнальных рецензий. Ее переводили на иностранные языки. Тираж «Роман-газеты» разошелся в полумиллионе экземпляров. Повесть выдвинули на соискание Ленинской премии. На «Мосфильме» по инициативе Ивана Пырьева приступили к ее экранизации (режиссер Константин Воинов).

Вот тут-то и подстерегал меня очередной «зигзаг удачи».

Алексей Аджубей, главный редактор «Известий» и зять Никиты Сергеевича Хрущева, настоятельно рекомендовал тестю прочесть мою повесть. Но, как известно, Хрущев не был заядлым книголюбом и сам признавался, что без укола булавкой засыпает над страницей... На отдыхе в Сочи Никита Сергеевич принимал гостя — Кваме Нкруму, президента маленькой африканской страны Ганы. Сочетая переговоры с досугом, Хрущев решил вместе с гостем посмотреть новый советский фильм. Ему предложили на выбор список только что отснятых картин — он выбрал «Время летних отпусков»: вероятно, название запомнилось со слов зятя. К тому же, в самом названии мнился курортный сюжет с морем, музыкой и пышными красавицами на пляже. Чем не подарок чернокожему президенту!

А вместо этого показали таежный промысел на иссякающем месторождении, людей в телогрейках и робах, измученных производственными и личными невзгодами...

Неизвестно, как отнесся к этому Кваме Нкрума, но разъяренный Хрущев тотчас позвонил министру культуры Фурцевой и учинил ей разнос.

Вслед за этим газеты столь же дружно, как хвалили повесть, обрушились на картину.

На «Мосфильме» прекратили работу над другим фильмом по моему сценарию, который снимал тот же Воинов.

Ленинская премия, естественно, накрылась.

Из этой опалы меня вывела опубликованная вскоре «Знаменем» повесть «Молодо-зелено» (1961). Опять — массовое издание «Роман-газеты», восторги рецензентов, зарубежные переводы.

«Мосфильм» возобновил прерванную работу над картиной, где главного героя Колю Бабушкина играл совсем еще молодой Олег Табаков, а в других ролях снимались актеры столь же молодого «Современника» Людмила Крылова, Евгений Евстигнеев, Владимир Земляникин, да еще Михаил Ульянов и Юрий Никулин в эпизодах...

Фурцева в бдительном одиночестве смотрела новую ленту на широком экране, которым был оборудован ее кабинет. По рассказам киномехаников, она часто смеялась, живо сочувствовала молодым героям. Потом изрекла подоспевшим чиновникам приговор в адрес автора сценария и режиссера: «Оба реабилитированы».

Так ко мне пришла известность. Нелишне напомнить, что я все еще жил в маленьком провинциальном городе на Крайнем Севере. Мне было 35 лет.

Летом 1963 года ЦК ВЛКСМ пригласил меня на должность заместителя главного редактора журнала «Молодая гвардия».

Я переехал с семьей в Москву.

В течение одного года мы с Анатолием Никоновым, главным редактором, подняли тираж этого журнала с шестидесяти до трехсот тысяч. Была осуществлена смелая по тем временам перестройка всей концепции молодежного издания: введен броский дизайн, выделена тетрадка развлекательной мелочи «Журнал в журнале», творчески использованы возможности коммерческой рекламы. В журнал пришли авторы, ранее считавшиеся здесь «чужаками»: именно на страницах «Молодой гвардии» увидели свет поэма Андрея Вознесенского «Оза», повесть Василия Аксенова «Пора, мой друг, пора», первый рассказ Викторнии Токаревой «День без вранья». Но была наглядна и широта диапазона: рядом публиковались повесть Владимира Чивилихина «Про Клаву Иванову», роман Владимира Солоухина «Мать-мачеха». Прозу молодых писателей охотно иллюстрировал Илья Глазунов, здесь же появились репродукции его живописных полотен.

Тем не менее, я чувствовал себя в «Молодой гвардии» неуютно. Мои взгляды и вкусы явно не совпадали с обскурантистской «патриотической» концепцией комсомольских идеологов. Хочу подчеркнуть, что это обозначилось сразу — в первый же год моей работы в Москве. И в дальнейшем, где бы я ни находил сферу приложения своих сил, состоявшееся размежевание уже было фактом моей биографии.

Воздам должное тогдашнему комсомольскому вождю Сергею Павлову: он терпел меня и мои новации целый год.

Но я и сам понял, что пришелся не ко двору, что нужно уходить.

Тем более что мне было сделано весьма заманчивое предложение — возглавить сценарную коллегию «Мосфильма», стать главным редактором студии.

С июля 1964 года я работал на «Мосфильме».

Круг служебных обязанностей предполагал не только формирование тематических направлений и планов, рассмотрение авторских заявок, чтение сценариев, но и утверждение актерских проб, просмотр отснятого материала, представление готовых лент в Комитет по кинематографии и защиту там принципиальных позиций студии.

Мне повезло: то была золотая пора нашего кино. Уже отошла в область воспоминаний эпоха «малокартинья», так наглядно обозначившая бесплодный и бесславный излет сталинщины, — и мощный напор живых, застоявшихся творческих сил хлынул в проран.

В павильонах и монтажных киностудии работали, плечом к плечу, три поколения мастеров.

Иван Пырьев делал режиссерскую экспликацию своей последней картины — «Братьев Карамазовых». Михаил Ромм сам наговаривал в тонстудии дикторский текст гражданского и творческого завещания — фильма «Обыкновенный фашизм». Вера Строева снимала «Мы, русский народ» по Всеволоду Вишневскому. Александр Зархи, презрев остережения, делал «Анну Каренину» с Татьяной Самойловой и музыкой Родиона Щедрина, Михаил Калатозов вместе с Евгением Евтушенко и Сергеем Урусевским создавал виртуозную и страстную ленту «Я — Куба». Григорий Рошаль трудился над картиной о Карле Марксе «Год как жизнь». Сергей Юткевич писал сценарий «Сюжета для небольшого рассказа» о Чехове. Ефим Дзиган снимал «Железный поток». Юлий Райзман приступил к съемкам фильма «Твой современник».

Все они были корифеями, классиками, зачинателями отечественного кино, сподвижниками Протазанова, Пудовкина, Эйзенштейна, Довженко, братьев Васильевых.

Набирала силу и следующая плеяда.

В огромном павильоне № 1 «Мосфильма», не имеющем аналога в мире, Сергей Бондарчук во фраке Пьера Безухова снимал первый бал Наташи Ростовской, близился к завершению его титанический труд «Война и мир». Юрий Озеров в содружестве с Юрием Бондаревым и Оскаром Кургановым начинал работу над киноэпопеей «Освобождение». Леонид Гайдай сдавал свою новую комедию «Кавказская пленница» — в директорском просмотровом зале хохотали, вздохнул, а Эльдар Рязанов показывал комедийный фильм «Берегись автомобиля!» — и многие не скрывали слез растроганности. Игорь Таланкин снимал «Дневные звезды» по книге Ольги Берггольц. Михаил Швейцер сделал энергичную версию катаевского романа «Время, вперед!» с музыкой Георгия Свиридова. Юлий Карасик снимал «Шестое июля» по пьесе Михаила Шатрова. Андрей Тарковский, священнодействуя, монтировал гениальную ленту «Андрей Рублев». Георгий Данелия вслед за лирическим фильмом «Я шагаю по Москве» снял гротесковую комедию «Тридцать три». Константин Воинов сделал свой лучший фильм — «Женитьба Бальзамина». Ролан Быков создавал крамольный боевик для детей — «Айболит-66».

Талантливо, ярко, смело прозвучали фильмы молодых: «Председатель» и «Директор» Алексея Салтыкова, «Звонят — откройте дверь» Александра Митты, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова.

Но обстановка отнюдь не была идиллической. Уже появились зловещие знаки новых идеологических «табу». Маялась со своей талантливой картиной «Крылья» Лариса Шепитько. Вызвал нарекания «Июльский дождь» Марлена Хуциева, еще не оправившегося от злоключений «Заставы Ильича». Александр Алову и Владимиру Наумову не разрешали снимать «Закон» по сценарию Леонида Зорина о жертвах сталинского режима. Их же «Скверный анекдот» по рассказу Ф. М. Достоевского был отправлен на «полку» и пролежал там двадцать лет.

За все эти сценарии, за все фильмы приходилось жестко биться с чиновниками Госкино, с вершителями судеб из ЦК КПСС, и не всегда победа в споре была за нами.

Особо коснусь совместных постановок с зарубежными мастерами и кинофирмами. Мне довелось вместе с известным американским, русским по происхождению, композитором Дмитрием Темкиным, продюсером знаменитого «Большого вальса», автором музыки к «Падению Римской империи», «Золоту Маккенны», разрабатывать, порою в острых спорах, концепцию фильма «Чайковский», который осуществил Игорь Таланкин по сценарию Юрия Нагибина.

Запомнились беседы с выдающимся итальянским режиссером Джузеппе Де Сантисом, создателем классической ленты неореализма «Рим в 11 часов». Предполагалась его новая, после фильма «Они шли на Восток», совместная работа с нашими кинематографистами. Но этим замыслам не суждено было осуществиться, поскольку Де Сантис переживал глубокий творческий кризис и уже отходил от кино.

Также не удалось реализовать на «Мосфильме» сценарий старейшего французского режиссера Клода Отан-Лара «Красное и белое» по Стендалю. Но, как это ни покажется странным, причиной тому была не советская, а французская цензура.

Зато бывали и неожиданные радости: подписывая договор с известным польским писателем-фантастом Станиславом Лемом на экранизацию его романа «Солярис», ни я, ни мои коллеги, ни сам автор не могли предположить, каким эпохальным событием в кинематографе станет одноименный фильм Андрея Тарковского.

Три года работы на Мосфильме (1964—1967) были настолько увлекательны и насыщены, что у меня практически, кроме выходных дней, не оставалось времени для собственной творческой работы. Характерно, что даже фильмы по моим сценариям датируются годами «до» и «после» этого периода.

Между тем, начатое и задуманное настоятельно требовало вернуться за письменный стол.

В 1968 году в журнале «Москва» был опубликован мой роман «Скудный материк» — опять о Севере, о судьбах людей, попавших туда отнюдь не по своей воле, ставших жертвами репрессий в годы сталинщины. Как это ни парадоксально, получив реабилитацию (в 1957 году был реабилитирован посмертно и мой отец), очень многие из них оставались жить и работать в местах своего принудительного пребывания — здесь находили применение сво-

им профессиям, здесь обзаводились семьями. Именно так сложилась судьба бурового мастера Ивана Еремеева, главного героя «Скудного материка», других персонажей романа.

Главлит, осуществивший на практике функции цензуры, не дал разрешения на публикацию «Скудного материка», одновременно запретив и повесть В. Тендрякова «Кончина», запланированную в следующий номер «Москвы», о чем было доложено в ЦК КПСС. Но там знали, что главный редактор журнала Евгений Поповкин умирал в больнице, и ему не решились нанести такой удар. Обе публикации состоялись.

«Скудный материк» вызвал отклики не только восвояся. Главы романа читались по зарубежным «голосам». Лондонская Morning Star опубликовала статью Питера Темпеста «Советский писатель разоблачает злодеяния Сталина». Отклики нашей прессы отличались робостью тона, критики изъяснялись полунамёками, обходили суть. Журнал «Огонек» опубликовал статью о драматической истории освоения северной нефти, не имевшую прямого отношения к литературе, но при этом содержащую ссылку на мой роман, и поместил фотографию известного геолога, Героя Социалистического Труда Андрея Яковлевича Кремса, объявив его прототипом Хохлова из «Скудного материка» — я не видел причины оспаривать это.

Роман «Скудный материк» многократно издавался в Советском Союзе и за рубежом. Два издания («Молодая гвардия», 1968 г. и Коми книжное издательство, 1968 г.) интересны еще и тем, что их оформил в технике гравюры молодой художник Андрей Кириллович Голицын — будущий предводитель московского дворянства.

И все-таки запланированная обструкция давала себя знать. Редакция «Роман-газеты» в энергичных выражениях отвергла предложение об издании «Скудного материка». Попытка режиссера и оператора Владимира Монахова экранизировать его на «Мосфильме» с Сергеем Бондарчуком в главной роли была пресечена.

На время я отошел от северной темы.

Москва, подмосковные мотивы занимали все больше места в моих книгах. Перемена места действия влекла за собой и другие перемены, не говоря уже о меняющемся с годами *почерке*. Герои становились старше и умудреннее жизнью, нежели юные оптимисты из рассказов и повестей северного цикла. Конфликты, на поверку, оказывались жестче, хотя и возникали не в лесной глуши.

Это относится к рассказам «Хлопоты», «Старое русло Клязьмы», «Дочкина свадьба», «Угарный газ», «Погожий день», «Соло на ударных», «Поцелуй Мерилин Монро». Некоторые из них дали название книгам.

О повести «Мальчики» и ее экранизации уже говорилось выше. Появились и другие фильмы по моим сценариям: «Печорские новеллы» («Мосфильм», режиссер Екатерина Сташевская, она же поставила «Мальчиков»), «Нежный возраст» (киностудия имени Горького, режиссер Валерий Исаков), «Как тысяча солнц» (полнометражный фильм телевидения ГДР, режиссер Лотар Дютombe), «Железное поле» (Свердловская киностудия, режиссер Ярополк Лапшин).

Сосредоточенная работа за письменным столом не исключала достаточно активного участия в литературной жизни. Я был членом правлений Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР, в 1970—1977 гг. являлся секретарем правления Московской писательской организации. Входил в редколлегии журналов «Знамя», «Новый мир», причем это участие не было номинальным.

С удовлетворением вспоминаю работу с молодыми писателями Москвы, которая, собственно, и привела меня к преподаванию в Литературном институте. Интересной, хотя и очень сложной, была работа в «Новом мире», где после драматического ухода А.Т.Твардовского с поста главного редактора обозначились две группы, преследовавшие неодинаковые цели: одна, выполняя волю идеологического начальства, пыталась изменить лицо и курс журнала, другая же, напротив, стремилась сохранить, уже без Твардовского, традиции «Нового мира», передового журнала, ориентированного на демократическое развитие общества, на правду и только правду в литературе.

Шестидесятые—семидесятые годы были отмечены жестким преследованием инакомыслия, диссидентов, в том числе некоторых писателей. Попытки защищать подвергавшихся преследованиям сами по себе считались инакомыслием и тоже карались.

В 1966 году ко мне обратился парторг МГК КПСС в Московской писательской организации, сам тоже писатель В.Тельпугов и предложил ознакомиться с опубликованными за рубежом произведениями Юлия Даниэля и Андрея Синявского. Об их недавнем

аресте я знал из газет. Понимая, что таится за предложением «ознакомиться», я ответил отказом.

Позднее, уже будучи секретарем правления Московской писательской организации, я высказал свои возражения против намерения исключить из Союза писателей поэта и драматурга Александра Галича, вызвавшего начальственный гнев своими широко известными вольнодумными песнями. На заседании секретариата я выступил в защиту Галича, а затем вместе с Валентином Катаевым, Агнией Барто, Алексеем Арбузовым открыто проголосовал против его исключения. Заседание секретариата было прервано, председательствующего Сергея Наровчатова вызвали к всесильному московскому партийному боссу, члену Политбюро ЦК КПСС Гришину, который потребовал единогласного решения. На следующий день я был тоже вызван «на ковер» в горком. Меня спасло лишь то, что еще за неделю до заседания секретариата я поставил в известность генерала КГБ Ильина, занимавшегося в Московской писательской организации подобными «оргделами», о том, что буду голосовать против исключения, а он, преследуя какие-то свои цели, скрыл это намерение от начальства.

К сожалению, не во всех подобного рода делах мне удалось противостоять заранее predetermined решениям. Выход был один — выйти из состава секретариата, что я и сделал. Это избавило меня от участия в «деле» альманаха «Метрополь», других подобного рода акциях.

Роман «Тридцать шесть и шесть» был возвращением к северной теме и еще одним приступом к автобиографическому материалу. В самом деле, первокурсник библиотечного института Алексей Рыжов едет на практику в северный Город-на-Реке, остается там работать в редакции газеты, влюбляется в красивую девушку, колесит по тундровым лагерям и вдруг, на пороге прозрения, сам едва не оказывается жертвой...

Эту книгу, которая предполагалась первым звеном романного цикла, я считаю лучшей из написанного мною. Но, увы, она осталась непрочтенной. Были несчастливые обстоятельства с журнальной публикацией в «Новом мире»: первая часть романа появилась в конце 1982 года (в номер журнала был вклеен портрет Л. И. Брежнева в траурной рамке — пошел отсчет нового времени...) без ссы-

ки на продолжение, в чем проявилась осмотрительность редакции: вторую часть безоговорочно сняла цензура, и лишь спустя четыре года, в 1986-м, когда *установка на гласность* дала «зеленую улицу» многим литературным произведениям, находившимся под запретом, публикация романа была завершена, опять-таки без отсылки к его началу... Впрочем, и отдельное издание романа «Тридцать шесть и шесть» не сильно повлияло на его судьбу.

Другие откровения и другие страсти завладели вниманием читающей публики.

Будет честным признать тот факт, что ни одна из моих книг зрелой поры не имела такого громкого успеха, как «Время летних отпусков» и «Молодо-зелено», которыми я дебютировал.

Что же касается замыслов, продвинутых достаточно далеко, но куда оставшихся не реализованными до конца, то здесь нужно выделить роман-хронику «Рабочий и колхозница».

Я попытался запечатлеть в реальном сюжете эпопею создания Верой Мухиной знаменитой скульптурной группы, ее воплощение в металле инженерами и рабочими Опытного машиностроительного завода в Москве, триумф статуи «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже 1937 года, где она лоб в лоб противостояла павильону гитлеровского Третьего Рейха, ее победное возвращение на родину, где статуя была преднамеренно *унижена* курым пьедесталом, а впоследствии и оплевана пишушей братией.

Над этим материалом я работал более двадцати лет. Изучал документы в архивах Москвы и Парижа, встречался с живыми участниками и свидетелями событий (моя единственная краткая встреча с Мухиной произошла в декабре 1951 года на третьей Всероссийской конференции сторонников мира в Москве), привлек огромный печатный, рукописный, иконографический материал.

Конечно же, в этой книге значительное место занимали и продолжают занимать (поскольку работа над ней продолжается) мотивы личной биографии. Встречи с известными и неизвестными героями, впечатления от поездок во Францию, Испанию, Германию, раздумья о жизни и искусстве, эпизоды творческого поиска органично вошли сюда. Можно даже сказать, что здесь я впервые приблизился к жанру мемуара: *человек эпохи на фоне памятника эпохи*.

Главы этого повествования печатались в «Литературной России», «Советской культуре», других газетах и журналах. Был напи-

сан сценарий художественного фильма (ведь «Рабочий и колхозница» — эмблема киностудии «Мосфильм»), который так и не был запущен в производство.

В определенный исторический момент сама тема, связанная с главным символом социалистического государства, начала вызывать активное отторжение.

И столь же очевидно, что это на некий срок охладило мой запал.

В 1989 году я вступил в демократическую ассоциацию «Писатели в поддержку перестройки», которая позже стала называться «Апрель». Меня вызвали в ЦК КПСС и настойчиво, как коммунисту с сорокалетним стажем, предложили выйти из «Апреля», на что я ответил: *«Там мои друзья, и там мои враги. Я буду с ними»*.

Безобразный шабаш, учиненный 18 января 1990 г. в Центральном доме литераторов нацистами из «Памяти» под предводительством некоего Смирнова-Осташвили, чему я был свидетелем, укрепил меня в этом решении: воспитанный с детских лет в среде антифашистов, я именно здесь, в «Апреле», встретил людей, готовых активно противостоять угрозе доморощенного фашизма.

Вскоре после этого события, нашедшего широкий отклик в средствах массовой информации (вместе с Анатолием Курчаткиным я выступал в телевизионной передаче «Взгляд», имевшей тогда многомиллионную аудиторию), мне позвонил писатель Иосиф Герасимов и сказал, что президент недавно учрежденного Союза объединенных кооперативов, академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов предлагает писателям «Апреля» создать совместную издательскую фирму.

Состоялась организационная встреча, в которой кооператоров представляли Владимир Тихонов, Артем Тарасов, Иван Кивелиди и ряд других известных к тому времени пионеров отечественного бизнеса, а от писателей «Апреля» были Анатолий Приставкин, Иосиф Герасимов, Юнна Мориц, Владимир Савельев и я.

Первое в стране независимое издательство зарегистрировали под названием ПИК (вначале это было аббревиатурой от «писатели и кооператоры», позднее стало восприниматься обычным словом «Пик»).

Возглавить «Пик» поручили мне. Большая группа писателей горячо взялась за составление перспективных тематических планов. Мы намеревались издавать прежде всего новинки поэзии и

прозы, актуальную публицистику, книги отечественных и зарубежных авторов, ранее недоступные нашим читателям, так называемую «запрещенную литературу». Из классики, по предложению Иосифа Герасимова, мы хотели осуществить издание стотомной литературной «Нобелианы».

Однако стремительно меняющаяся политическая обстановка в стране внесла коррективы в эти планы. На первое место вышла публицистика.

Борис Ельцин, в ту пору еще оппозиционный деятель, вокруг которого группировались демократические силы, передал «Пику» для издания рукопись своей книги «Исповедь на заданную тему».

Здесь необходимо принять во внимание, что в ту пору никакие нарождающиеся финансовые структуры не спонсировали подобного рода проекты, да мы и не обращались к ним. Союз объединенных кооператоров вообще не дал ни рубля стартового капитала только что учрежденному издательству и, похоже, сам рассчитывал на нашу поддержку. Пришлось взять в Инкомбанке двухмиллионный кредит и с тем пуститься в дело.

Но изданию книги Бориса Ельцина, имевшего исключительную популярность, люди помогали, чем могли. Бумажники Светогорского комбината выделили для этой цели по льготной цене несколько тонн отличной бумаги. Полиграфисты московской типографии № 7 «Искра революции», придержав другие заказы, двинули экспрессом «Исповедь». Фирма «Аверс» предложила для оформления книги серию великолепных снимков. Да и в самом «Пике» трудились с редким воодушевлением.

25 июля 1990 года, через три месяца после получения рукописи, состоялась презентация первой книги «Пика». Это произошло на Рижском взморье, где проводил отпуск Борис Николаевич Ельцин, уже ставший к той поре председателем Верховного Совета РСФСР, но продолжавший оставаться в центре оппозиции коммунистам и союзной власти.

Он пришел в писательский Дом творчества в Дубултах пешком, в сопровождении своего телохранителя Александра Коржакова. Встречу за бокалом шампанского снимал на видеопленку известный латвийский кинодокументалист, вскоре трагически погибший Юрис Подникс. Корреспондент «Литературной газеты» Татьяна Фаст включила диктофон, благодаря чему и существует запись двухчасовой беседы.

«Лучшее из всех вышедших изданий», — сказал Ельцин о нашей книге, имея в виду появившиеся к тому времени в регионах и за границей издания «Исповеди». Вручая Герасимову и мне экземпляры с дарственными надписями, добавил: «Вы могли бы стать ведущим государственным издательством. Но лучше оставайтесь независимыми. А мы вам поможем средствами, бумагой, полиграфией...»

Вряд ли нужно объяснять, как мы были окрылены этими обещаниями.

Первый успех «Пика» привлек к нему внимание. Наиболее известные политические деятели того времени предложили нам свои рукописи. Независимое издательство выпустило одну за другой книги Гавриила Попова, Юрия Афанасьева, Владимира Тихонова, Юрия Черниченко, Олега Калугина, маршала авиации Евгения Шапошникова, серию должны были продолжить книги Анатолия Собчака, Галины Старовойтовой.

Елена Боннэр доверила «Пику» издание книги Андрея Сахарова «Pro et contra».

В связи с этим я считаю уместным и важным следующий комментарий. В книге опубликован ряд документов — газетных статей, интервью, писем — обозначенных позицией *contra*, то есть направленных против А. Д. Сахарова. Под этими письмами есть подписи выдающихся советских ученых, писателей, художников, музыкантов, имена которых и сегодня произносятся с уважением. Под одним из таких коллективных писем есть и моя подпись. В процессе работы над книгой от имени ее составителей мне было сделано предложение снять это письмо. Я не принял этого предложения. В кратком обращении «От издателя» к читателям книги, написанном мною, сказано: *«Упоминание тех или иных имен и фамилий соответствует исторической достоверности, ни в коем случае не преследует цели дискредитации ушедших либо здравствующих людей, равно как упоминание некоторых имен из правозащитных кругов семидесятых годов не является оправданием их дальнейшего поведения».*

Вслед за «Pro et contra» Елена Боннэр передала «Пику» рукопись своей книги «Звонит колокол. Год без Сахарова». 21 августа 1991 года, на третий день путча ГКЧП, когда деревья Тверского бульвара еще были оклеены воззванием Бориса Ельцина к гражданам России, она приехала в издательство, которое тогда нашло приют во флигеле Литературного института на Тверском бульваре. В эти тревожные дни

путча мы получили предостережение о вероятном погроме издательства, и весь портфель рукописей «Пика» был увезен и спрятан по надежным адресам. Я позвонил в «семерку», типографию, которая печатала «Исповедь» Ельцина, а теперь должна была выдать тираж книги Боннэр, поинтересовался, как дела. «Типография оцеплена людьми из КГБ», — ответили мне. «Ничего, они скоро уйдут...» — прокомментировала это известие Елена Георгиевна. Она не ошиблась.

После революционных событий 1991 года интерес к «Пику» еще более возрос. В сентябре я посетил США по приглашению известного газетного и издательского магната Уильяма Р.Херста, встречался с ним, с Кингсбери Смитом, Уолтером Лакёром, другими видными журналистами и политиками. Был гостем издателей ФРГ, Ирландии. О «Пике» много писали российские и зарубежные газеты, журналы.

Между тем, наши смелые планы осуществлялись лишь отчасти и с трудом. Удалось выпустить в свет первые в России издания книг Сергея Довлатова, Гайто Газданова, Александра Зиновьева. «Пик» издал все последние произведения Юрия Нагибина — книгу рассказов «Любовь вождей», повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», единственный его роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волонтаризма и застоя», «Дневники». Двумя изданиями вышел антифашистский памфлет Валентина Ерашова «Коридоры смерти». Ту же тему продолжили «Кровавая карусель» Семена Резника, «Заложники» Григория Свирского. Первенцами серии «Детское чтение XXI века» были «Зимняя девочка» Сергея Иванова, «Смеянцы» Генриха Сапгира. «Пик» возвратил юношеской аудитории книги русского исторического писателя Всеволода Соловьева, дореволюционными изданиями которого я зачитывался в детстве, — «Княжна Острожская», «Юный император», «Капитан гренадерской роты», «Касимовская невеста», «Царь-девица». Появились первые книги молодых прозаиков, выпускников Литературного института, моих студентов — «Полковник всегда найдется» Олега Хандуся, «Любимая и любящая» Людмилы Репиной, «Пугающие космические сны» Маргариты Шаратовой, «Афинские ночи» Романа Сенчина.

Но все это лишь в малой мере соответствовало тем масштабам издательской деятельности, о которых мы мечтали, создавая «Пик». Безденежье связывало руки. Попытки коммерческого книгоиздания подрывались беззастенчивым воровством менеджеров.

В первый же год работы «Пика» ушел из жизни его основатель — Иосиф Герасимов. Ненамного пережил его Владимир Тихонов: он умер, потрясенный неудачами и уродствами свободного российского предпринимательства. Затравленный, покинул страну Артем Тарасов. Изохренным злодейским способом — с помощью яда, помещенного в телефонную трубку, — был убит Иван Кивелиди. Союз кооператоров, подвигнувший писателей «Апреля» к созданию независимого издательства, приказал долго жить...

Щедрые посулы нашего первого автора оказать всемерную поддержку независимому издательству, сделанные на Рижском взморье, увы, так и не реализовались.

И здесь необходимо рассказать о последующих встречах с Борисом Николаевичем Ельциным.

Одна из них состоялась 15 сентября 1993 года в его резиденции на окраине Москвы, именуемой АБЦ, бывшем штабе путчистов. В гости к Ельцину приехали Роберт Рождественский, Андрей Деметьев, Римма Казакова, Юрий Карякин, Татьяна Кузовлева, Николай Шмелев, Валентин Оскоцкий, Владимир Савельев, Лев Разгон, Александр Иванов, Анатолий Приставкин, Александр Борщоговский, Мариетта Чудакова, Артем Анфиногенов, Юрий Черниченко, другие известные писатели.

Это был напряженный момент затяжного противостояния президента России и мятежного Верховного Совета. Уже появились в газетах сообщения и снимки, свидетельствующие о том, что реальной боевой силой в Белом доме на Краснопресненской набережной, на которую опирались Руцкой и Хасбулатов, были отряды фашистов-баркашовцев: их снабдили здесь оружием и средствами связи, под их контроль были отданы подземные коммуникации, именно на фашистов — при нейтралитете зюгановцев — была сделана ставка новых путчистов.

В течение нескольких часов шел разговор писателей с президентом, в котором принял участие и я. Мы говорили об опасности фашистского переворота, нависшей над Россией. Это нашло свое эмоциональное выражение в высказывании одной из писательниц: «Борис Николаевич, если вам не жалко наших внуков, подумайте о своих!»

Потом был обед, во время которого все избегали неприятных тем — говорили о Чехове, о поэзии, о теннисе, — но тревога по-прежнему висела в воздухе...

Через две недели толпы громил, вооруженных железными трубами и цепями, смели милицейские заслоны у Крымского моста, на Смоленской площади и прорвались к Белому дому. Фашистские молодчики захватили здание мэрии. Руцкой и Макашов послали колонны автобусов с боевиками на штурм телецентра в Останкино, где вскоре началась стрельба.

Утром 4 октября весь персонал «Пика» был на рабочих местах в высотке на Новом Арбате, где с недавних пор размещалось издательство.

Ближе к полудню по окнам хлестнули автоматные очереди — шла охота за снайперами на крышах, те отстреливались — пули посыпались в проемы окон, на пол. Люди из офисов укрылись в коридорах, туалетах, но и здесь, в торце, стекла были изрешечены.

Потом здание сотрясли гулкие пушечные залпы.

Пришлось отправиться по домам.

Уже на экране телевизора я видел, как танки с Новоарбатского моста бьют прямой наводкой по Белому дому. Они били по нему, как в Берлине били по рейхстагу в апреле сорок пятого — и в этом был весь ужас происходящего в Москве. Ужасала не только показушность этого расстрела, не только его практическая бессмысленность (баркашовцы давно ушли оттуда подземными ходами, а в здании оставались безоружные люди), но был ужасен чудовищный смысл происходящего: коричневая зараза фашизма переползла-таки в Россию, обосновалась здесь.

Об этом я опять говорил, спустя год, 18 ноября 1994 года в Кремле, на новой встрече писателей с президентом Российской Федерации.

Близилось пятидесятилетие великой Победы советского народа, народов антигитлеровской коалиции над фашизмом — самой яркой и самой святой страницы в истории XX века.

А в Москве, Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, других городах России открыто формировались и получали юридический статус фашистские организации. Свастика в своих нехитрых модификациях соперничала с государственной символикой. Прямо на улицах, с лотков продавались «Майн кампф» Гитлера, «Миф XX века» Розенберга, сочинения доморожденных фашистов, газетенки, состряпанные по рецептам доктора Геббельса...

В своем выступлении, поддержанном Булатом Окуджавой, Григорием Баклановым, Григорием Поженяном, я предложил создать в Москве накануне 50-летия Победы Антифашистский конгресс.

Несмотря на то, что к такой постановке вопроса на кремлевской встрече вряд ли были заранее готовы, Ельцин отреагировал моментально и недвусмысленно: он поддержал предложение о созыве Антифашистского конгресса, дал поручение подготовить документы о запрещении экстремистских организаций и печатных изданий.

И действительно, через несколько дней появился подписанный президентом Указ, но он был напечатан не в официозной «Российской газете» и не в «Известиях», а в «патриотической» газете «Завтра», как бы в издевку, свидетельствуя о преднамеренной утечке информации, о полном контакте чиновников и фашистов.

Вскоре выяснилось, что на проведение Антифашистского конгресса нет средств.

Но они нашлись для более важного дела: кровавой авантюры в Чечне.

25 января 1996 года писателей еще раз собрали от имени президента, но уже без его участия, в Круглом зале мэрии на Новом Арбате. Требовалась наша поддержка для выдвижения кандидатуры Бориса Николаевича Ельцина на новый президентский срок... Писатели хмуро отмалчивались. Смолчал и я. Но попросил слова поэт Юрий Левитанский, фронтовик, мой коллега по Литературному институту, жаловавшийся перед началом заседания на боли в сердце. Он выступил дважды, клеймя тех, кто развязал преступную бойню в Чечне. И умер тут же, в Круглом зале...

Мы не сдавались.

Одна за другой выходили книги «Пика» антифашистской и правозащитной направленности: «Апрель» против «Памяти» — судебный репортаж в трех выпусках, «Провокация века» Зиновия Шейниса, «Вне закона» Иосифа Герасимова, «Провинциальный фашизм» Галины Туз; книга о Юрии Шмидте открыла серию «Адвокаты свободы»; внимание общественности привлекли сборники «Нужен ли Гитлер России?», «Факты и мифы», «Рыцари без страха и упрека», «Между прошлым и будущим».

Всецело поглощенный издательскими заботами, я как-то и не заметил того пикантного обстоятельства, что мои последние книги — «Тридцать шесть и шесть», «Старое русло Клязьмы» — вышли две-

надцать лет тому назад. Что я лишь урывками возвращаюсь к собственным рукописям, хотя некоторые из них давно ждут завершения.

Нет, причины, конечно, были не только в служебной занятости, не в истощенности сил, даже не в преклонном возрасте — мне перевалило за семьдесят, — они были в ином.

Как и многие писатели моего поколения, родившиеся в Советском Союзе, сформировавшиеся в условиях социалистического строя, видевшие смысл своего творчества в нравственных ценностях этого общества — классовом равенстве, нестяжательстве, интернационализме, — я не предвидел и не жаждал слома системы.

Мои чаяния никогда не простирались далее социализма («с человеческим лицом»). Я разделял общее ожидание того, что «Россия будет самой яркой демократией земли» (впрочем, это высказывание Белинского смаковалось в печати и в самые лихие сталинские времена). Мое понимание «левого» и «правого», в политическом значении этих терминов, всегда склонялось в пользу «левого», и теперь я лишь нервно вздрагиваю, когда меня причисляют к «правым», а Зюганов уверяет, будто он «левый».

Распад Советского Союза я воспринял как катастрофу, и в декабре 1991 года помчался в Алма-Ату договариваться с казахскими издателями о сбережении единого культурного пространства, как будто это зависело от нашего общего желания и нашей общей тревоги.

Воровской облик российской «рыночной экономики» поверг в оторопь. Появление «новых русских» вызвало не творческое любопытство, а лишь брезгливость и омерзение. Нищета народа, потеря им всех прав социальной защиты, коррозия и разрушение культуры довершили ощущение бедствия.

Марш фашистов по разоренной стране стал исторически апробированным торжеством зла.

Трагедия России обернулась для меня личной трагедией.

И, как для многих писателей, кричащим выражением этой трагедии стало *молчание*.

Мне могут возразить: дескать, от века и спокон веков трагедия была предметом литературы. Более того, трагедия всегда считалась вершиной литературы и искусства, их *высоким жанром!*

Да, так. Но по складу характера и творческим склонностям я никогда не ощущал влечения к этому высокому жанру.

Разве что попробовать, потряхнуть стариной?..

В Литературном институте, на собрании преподавателей кафедры творчества, я спросил Семена Шуртакова, с которым когда-то сидел за одной партией: «Сеня, в каком году мы поступили в Литинститут? — В сорок шестом. — А нынче у нас какой? — Девяносто шестой». Мы понимающе смотрели друг на друга: в сентябре исполнилось полвека с того дня, когда мы впервые сошлись в аудитории.

Тотчас появилась идея: 1 сентября 1996 года выйти с поздравлениями к новичкам в составе того знаменитого курса, без которого теперь невозможно представить литературу. Увы, уже не было с нами Владимира Тендрякова, Евгения Винокурова, Лидии Обуховой, Семена Сорина, Германа Валикова. Но оставались в строю Юрий Бондарев, Владимир Солоухин, Григорий Бакланов, Михаил Годенко, Эдуард Асадов, Григорий Поженян, Бенедикт Сарнов, Владимир Бушин, Юрий Разумовский, мы с Семеном Шуртаковым.

Ректор Литературного института Сергей Есин горячо поддерживал нашу задумку.

Но первого сентября он же обескураженно качал головой — не получилось. Обычная история: если будет *тот*, то меня не будет, а если приедет *этот*...

Жизнь развела былых друзей по враждующим станам.

1 января 1997 года у меня дома раздался телефонный звонок: Володя Солоухин поздравил с Новым годом. Это было неожиданностью — мы давно не встречались, не созванивались. А ведь были знакомы еще до Литинститута, с военной поры: оба посещали литературное объединение «Комсомольской правды», оба тогда еще были в погонах, он — сержант полка кремлевской охраны, я — курсант артиллерийской спецшколы. Вспомнили в разговоре дни нашей юности. Я заговорил о внуках. «А у меня уже правнуки...» — сказал Володя.

Лишь через три месяца я понял сокровенный смысл этого звонка: он прощался.

Владимира Солоухина отпевали в только что возрожденном из праха храме Христа Спасителя в присутствии патриарха Всея Руси.

Среди пришедших проститься был Александр Солженицын. Из наших однокурсников заметил Юрия Бондарева, Владимира Бушина. Пришли мои студенты.

Литературный институт переживал трудные времена. Порою казалось, что выстоять среди общих невзгод вряд ли удастся. Но выстояли.

Еще более мрачными казались перспективы родной словесности: господи, какая сила влечет в этот дворик на Тверском бульваре мальчиков и девочек с тетрадками стихов, машинописными страницами рассказов?.. Ведь литература гибнет прямо на глазах, коммерческое чтиво сметает с прилавков и полок настоящие книги, писатели нищенствуют. Наверное, уже в следующем году поток заявлений в Литературный институт иссякнет...

Но и в следующем году столы приемной комиссии ломились от присланных рукописей.

На вступительных экзаменах 1996 года абитуриентам были заданы темы этюдов, одну из которых придумал я: *«Мы окончим Литературный институт в 2001 году»*.

Коротая часы, отведенные на этюд, я присматривался к новичкам, сопоставлял их имена и фамилии с названиями городов, откуда они пожаловали: Роман Сенчин из Абакана, Светлана Тремасова из мордовской столицы Саранска, Кирилл Волкодаев из Самары, Ариадна Корнилова из Сарапула, что в Удмуртии; москвичи Иван Угаров, Ольга Шемякина, Андрей Прокофьев, Наталия Клевалина; Дмитрий Нестеренко из станицы Брюховецкой Краснодарского края; наши «новые иностранцы» — Валентина Юрченко из Киева, Арман Бекенов из Казахстана, Антон Янковский из Киргизии...

На первом курсе они занимались вместе с пятикурсниками, готовящимися к защите дипломов.

Маргарита Шаралова шла на защиту с рассказами «Пугающие космические сны», «Купель», «Трамвайный разъезд», которые были опубликованы в толстых журналах, в одночасье принесли ей известность. Повести Валерия Былинского «Риф», «Июльский день» появились в «Новом мире» и «Октябре», он получил премию «Пенне-Москва. Новое имя в литературе». Ева Датнова опубликовала в «Литературной учебе» дерзкую повесть «Диссиденточки», ее хвалили и ругали критики. Мария Ряховская опубликовала в «Юности» повесть «Записки бывшей курёхи». Издали свои первые книги Алексей Цветков, Галина Федоровская. Повести и рассказы опубликовали Игорь Славин, Арина Тёшкина, Рамиль Халиков, Емельян Марков.

Все выпускники моего семинара 1997 года вышли из стен Литературного института членами Союза писателей.

Честно говоря, таких дебютов я не упомяну в те времена, когда Литинститут заканчивали мы, баловни успеха!

И ведь не скажешь, что условия жизни нынешних студентов, нынешних дебютантов лучше, нежели были у нас.

Значит, дают свои плоды новые исторические факторы. Пришло поколение *свободных людей*, не знающих идеологического гнета. Поколение, которое уже в юности прочло от корки до корки ту отечественную и зарубежную литературу, философию, которые были недоступны для нас. Поколение, не ведающее окрика «знай свой шесток», избавленное от стояния в очереди за старшим литературным рядом. Наконец, развернулась во всю пирь и мощь российская глубинка, переставшая быть провинцией, ощутившая свое значение, свою *самость*.

Молодые, которые писали этюды по теме, обозначенной мелом на доске, действительно окончили Литературный институт в 2001 году. А я набрал новый семинар.

В том моя радость и надежда. Тем я и живу.

Несколько слов о составе этой книги.

1. Большую часть ее объема занимает роман «Нежный возраст». Я выбрал именно его не только потому, что он предельно автобиографичен. Ведь и роман «Тридцать шесть и шесть» совпадает с фактами моей биографии, хотя и написан в третьем лице.

2. Был косвенный повод. Некоторое время назад ко мне стали обращаться давние читатели с недоумениями по поводу того, что на экранах появился кинофильм режиссера Сергея Соловьева «Нежный возраст», повторивший название не только моего романа, но и фильма, снятого на Киностудии имени Горького в 1983 году.

3. «Как Вы могли допустить это?», «Неужели Вас не спросили?», «Нужно подавать в суд...» — негодовали авторы писем.

Не скрою, что и меня самого очень раздосадовала эта бестактность.

4. Особенно потому, что главную роль в фильме, снятом по мотивам моего романа, сыграл замечательный актер Евгений Дворжецкий, горячо любимый юношеством (это была одна из первых его ролей) и, увы, в самом расцвете своего таланта и своей славы погибший в автокатастрофе...

Нет, меня не спросили. Нет, я не мог воспрепятствовать наглому поступку Соловьева и его покровителей, прекрасно знавших и

о романе и о фильме. Потому что этот частный случай ничем не выделяется в общем нравственном и деловом беспределе.

Ведь заодно предприимчивые люди «увели» и название другого моего романа: в Москве запестрели вывески аптек «36'6». Теперь поди-докажи, что придумал ты...

Однажды, гуляя по Арбату, я увидел в витрине магазина «Видео, аудио» кассету с названием «Нежный возраст». Любопытство превозмогло, я раскошелился. Дома зарядил кассету в видеоплеер и сел смотреть новинку отечественного кино. О впечатлениях умолчу, иначе это будет пахнуть злорадством...

Но к концу просмотра я хохотал так громко, что в дверь стали заглядывать встревоженные домочадцы.

Фильм с ворованным названием «Нежный возраст» состоял из трех частей, заглавия которых поочередно появлялись на экране: «Идиот», «Отцы и дети», «Война и мир»...

Вот и судись после этого с господином Соловьевым!

Еще один из текстов, включенных в эту книгу (притом он публикуется впервые), пожалуй, заслуживает комментария.

Речь идет о повести «Железное поле».

Первоначально этот сюжет, как и многое у меня, имел тоже сценарную форму. В первом номере альманаха «Киносценарии» за 1985 год была напечатана одноименная киноповесть.

Ее главный герой Владимир Федорович Бобылев, инженер, ведущий эксперт Госстандарта, в канун своего шестидесятилетия узнает о том, что вслед за юбилейным банкетом его, вполне вероятно, «уйдут на пенсию» по возрасту. Блестящий специалист в своей отрасли, мужчина во цвете сил, чемпион «Спартака» по городкам, женатый вторым браком на молодой красивой женщине, отец двоих детей-подростков, Бобылев совершенно выбит из колеи этой невеселой перспективой.

Но жена Лиля напоминает ему о том, что во время войны школьник Володя Бобылев, узнав о гибели в бою отца, переправил в метрике год рождения — прибавил себе два года, чтобы взяли в армию, чтобы попасть на фронт.

«А теперь надо вернуть эти два года, — говорит она. — Восстановить твой настоящий возраст — пятьдесят восемь, поменять документы...»

Новоявленный Фауст в попытке вернуть свою молодость берет отпуск и едет с женой и сыном в родной город Холмы. Но ожида-

ние архивных бумаг займет пару недель, а давний школьный друг уговаривает Бобылева съездить в Волгоград, у стен которого они, еще мальчишками, приняли боевое крещение...

Эта подлинная жизненная история была рассказана мне человеком, который действительно сделал попытку «вернуть годы» и выполнил все полагающиеся формальности. Ему поменяли паспорт и партийный билет, указав там подлинную дату рождения. Но война догнала его: в один из летних дней его сразил инфаркт за рулем «москвича», который он успел прижать к тротуару.

Эта история и эта смерть потрясли меня.

Вероятно, влиял и собственный возраст: через два года мне накатывало шестьдесят.

Но теперь я догадываюсь, что завладевший моими мыслями сюжет имел и другую, более глубокую и более обобщенную трагедийную подоплеку.

«Совок» до мозга костей, чего не скрываю и несколько не стыжусь, я, подобно многим, жил в эсхатологическом предощущении конца советской эпохи — хотя и никак не предвидел столь сокрушительного и быстрого развала великой социалистической державы, — и сюжет с лихорадочным поиском *отсрочки* неминуемого конца привлек меня, вероятно, именно этой трагической сутью.

После публикации в альманахе киноповести «Железное поле» мне звонили известные режиссеры, волнуясь, рассказывали о том, как они видят ее экранное воплощение — и вдруг исчезали, замолкали. Блистательные актеры уверяли, что данная роль предназначена именно для них, что они всю жизнь мечтали о такой роли — и пропадали...

То есть, повторялась история с моим киносценарием, посвященным символу социалистического государства — скульптурной группе Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

Это было проявлением общего мандража, охватившего деморализованное, готовое к капитуляции общество.

В конце концов мне позвонил из Свердловска Ярополк Лапшин, известный кинорежиссер, поставивший «Приваловские миллионы», «Угрюм-реку», «Демидовых». Сказал, что прочел «Железное поле», что готов делать фильм по этому сценарию, что Госкино утвердил картину в плане Свердловской киностудии и что я немедленно должен прибыть в уральскую столицу.

Мой приезд совпал, час в час, с официальным сообщением о том, что первый секретарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин переведен в Москву на высокую должность в ЦК КПСС.

То есть, параллельно одному жизненному сюжету, раскручивался и другой, более значимый в историческом плане.

В течение нескольких дней мы с Лапшиным «снимали вопросы» по сценарию, обговаривали распределение ролей в будущем фильме (я был очень обрадован намерением режиссера пригласить на главную роль в «Железном поле» великолепного русского актера Петра Вельяминова), составили план совместной поездки «на натуру», в Волгоград.

Фильм был снят. Не вдаваясь в оценку его достоинств и недостатков, ибо, как один из авторов, я не могу быть беспристрастным, скажу лишь, что судьба картины сложилась несчастливо. Фильм так и не вышел на экраны: его отправили «на полку» в то самое время, когда оттуда, «с полки», доставали ранее запрещенные киноленты. Свято место пусто не бывает!

Спорить, доказывать, жаловаться — всё это уже не имело смысла.

Я снова сел за письменный стол. По канве сценария была написана прозаическая версия — повесть «Железное поле». Опять-таки, не автору судить о ее кондициях, тем более что читатель этой книги имеет возможность составить мнение о ней самолично.

Показательно другое. Повесть «Железное поле» точь-в-точь повторила судьбу одноименного фильма.

Ее прочел тогдашний главный редактор журнала «Москва» писатель Михаил Алексеев и, смахивая слезу, рассказывал мне, как она проняла его, фронтовика, участника сталинградской битвы, «до самого нутра». Повесть была набрана, заверстана в очередной номер журнала и... снята без объяснения мотивов.

В отчаянии я забросил папку с рукописью подальше с глаз.

Через события, последовавших вскоре, как-то не располагал к повторению пройденного.

Лишь теперь, пятнадцать лет спустя, я перечитал «Железное поле» и усмехнулся горько, вспоминая свои недоумения и обиды той поры.

Ведь всё в этой повести проникнуто и продиктовано чувством душевного сопротивления неизбежному. Ее главный герой Бобылев —

этот наивный совковый Фауст — инстинктивно стремится отодвинуть сроки своего ухода на пенсию, передвинуть стрелки часов назад, а, между тем, эти часы уже отмеряют срок жизни не только его самого, но и той страны, в которой он появился на свет, рос, мужал, сражался с врагом, работал, воспитывал своих детей, — судьба этой страны была предрешена, и ему было уготовано стать свидетелем ее крушения.

Не скрою, что я испытал и некоторую смятенность чувств, особенно при чтении заключительной главы, эпизода в райкоме партии на Шаболовке, где идет вручение членских билетов Коммунистической партии молодым рабочим московских заводов и где вместе с ними вручают новый партбилет, с исправленной датой рождения, человеку зрелого возраста, инженеру Владимиру Федоровичу Бобылеву.

Подумалось: ну вот уж совсем не ко времени этот кондовый соцреализм!

Может быть, что-то исправить, переписать?

Хотя бы этот абзац, где секретарь райкома, женщина, говорит Бобылеву, протягивая ему красную книжку: «Всё заново, с новой отметки, с новой черты... И чтобы на всё это хватило сил. Согласны? — Да, согласен, — ответил Бобылев, пожимая протянутую руку. — И постараюсь оправдать».

Поразмыслив, поколебавшись, я решил оставить всё так, как писалось когда-то.

Октябрь 2001 г.

НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТОВАРИЩ ГАНС

1

Был выходной день.

Не воскресенье, а именно выходной, потому что в ту пору, о которой идет речь, не всякий выходной день приходился на воскресенье. Тогда была шестидневка. Пять дней подряд работой либо учись, на шестой — гуляй. И красной цифрой в календаре были отмечены не воскресенья, а выходные дни: шестое, двенадцатое, восемнадцатое и так далее. Никто, кроме богомольных старушек, тогда не интересовался, что у нас нынче: понедельник или воскресенье, вторник или четверг, среда или пятница.

Но вскоре шестидневку отменили, и неделя снова стала неделей, как было и прежде, как водится и по сей день. Так, наверное, удобнее. Словом, был выходной день.

Мама с утра принялась за уборку. Сперва она мыла пол на кухне, а я сидел в комнате. Потом она велела мне тщательно вытереть подошвы о мокрую тряпку и прогнала на кухню, сама же занялась комнатой.

Я перебрался на кухню и там на подоконнике расположил свое хозяйство: бумагу, ножницы, клей, причиндалы всякие. В то утро я мастерил самолет. Из ватманской бумаги, которую мама приносила мне с завода (она работала чертежницей), можно было склеить отличный самолет: фюзеляж, крылья, киль, стабилизатор — все как полагается. Главное, такой самолет летал. Прилепить к его носу хлебный мякиш для тяжести, взобраться на шестой этаж, открыть форточку на лестничной площадке, легко подтолкнуть — и самолет, полого снижаясь, слегка покачиваясь, спланирует в самый конец двора.

Успей лишь попрыгче сбежать вниз, а то не ровен час кто-нибудь его унесет либо, соблазнившись мякишем, растерзает дворовая собака.

Мы, мальчишки, с малых лет увлекались авиацией. Почти все. Ну а я просто бредил ею, авиацией, мечтал о небе. И пусть я еще ни разу не садился в самолет, не отрывался от земли, ощущение полета жило во мне. Вот как некоторые запросто летают во сне, так я летал наяву, скользя ладонями по восходящим токам воздуха, грудью ломая плотный встречный ветер...

Год назад, когда я учился в нулевке (а в первый класс брали с восьми), я шел по нашей Черноглазовской улице, так круто падавшей вниз, что мало кто из шоферов отваживался проехать по ней на автомашине. Я не шел, а бежал, и опять мне казалось, что вот сейчас, на крутизне, земля ускользнет из-под моих ног и я воспарю, взлечу. Но вместо всего этого вдруг остановился как вкопанный. Над окраинными, нижними, кособокими домишками раздался нарастающий гул. Скорее даже не гул, а страшный грохот, от которого вот-вот проломятся крыши. Из-за этих крыш выплыл гигантский самолет. Целый летающий город. Шесть пропеллерных дисков сверкали на солнце у передней кромки крыльев и еще два крутились над фюзеляжем. Восьмимоторный. На его металлических крыльях отчетливо читались буквы: «МАКСИМ ГОРЬКИЙ». Это был знаменитый, самый большой в мире аэроплан. Это был агитсамолет, который летал из города в город и над городами, агитируя за развитие авиации, — и вот он прилетел к нам в Харьков, и я увидел его своими глазами. Вскоре, правда, он разбился под Москвой, и все летчики, все пассажиры погибли. Но это смутило меня ненадолго, и других, я думаю, тоже.

Мой новый бумажный самолет был почти готов. Он стоял на подоконнике, опершись на две спички, распластав крылья, нацеляясь вдаль острым носом. Пилот, вероятно, уже в кабине. Приборы в порядке. На взлетной полосе сигналият старт. «Контакт?» — «Есть контакт!» Взревел мотор...

Мне нетрудно было вообразить все это. Поблизости, на кухонном столе, натужно и грозно ревел примус. От него несло керосином. На примусе стояла кастрюля, до половины прикрытая крышкой, — большая кастрюля, должно быть, мама варила обед на два дня.

В коридоре послышались влажные всплески, скрежет таза. Спиною мама приближалась к двери. Добравшись до порога, она слегка распрямилась, в бараний рог скрутила тряпку, отжала мутную воду, обернулась.

Ноги ее были босы, полы застиранного ситцевого халатика подткнуты. Темные пряди волос смешно и длинно свисали на лоб. Она откинула их локтем, и тогда появились глаза: тоже темные, как и волосы, но волосы тускло темны, а глаза темны ярко, и они такие большущие, эти глаза, что даже удивительно, как им хватает места на маленьком худошавом смуглом лице. Вдобавок они еще умеют отчаянно расширяться — и тогда брови взлет, ресницы взлет...

— Санька, — сказала она, глянув мне под ноги, — я только что здесь вымыла, а ты опять...

На полу, у подоконника, валялись обрезки бумаги. Это я настриг, пока делал самолет. Ну и что же, долго ли собрать? Сам и соберу.

Я нагнулся и стал подбирать бумажки.

А она продолжала сердито и строго, но, как обычно, не повышая голоса, не раздражаясь:

— Свинство какое! Я только что вымыла пол... Знаешь, что за это полагается? Взять ремень и как следует тебя отстегать...

Хорошо, что я наклонился. А то бы она заметила, как я улыбаюсь.

Ведь я ее несколько не боялся.

Слишком она была у меня молодая. Мне уже шел девятый год, а ей всего лишь двадцать седьмой. Комсомолка еще. Никто не верил, что у нее сын учится в школе. И я даже как-то стеснялся называть ее мамой, говорил Ма. А звали ее Галя. Мы с ней никогда не ссорились, тем более никогда не дрались, и я ее совсем не боялся. Я вообще не мог себе представить, чтобы ее кто-нибудь боялся: она была слишком молодая для этого и красивая.

А улыбался я, главным образом, из-за того, что она помянула ремень.

Никакого ремня у нас не было. Школьники в ту пору еще не носили форменной одежды с ремнем и бляхой, мы тогда ходили в чем попало. Штаны мои держались на помочах. И я был единственным мужчиной в квартире.

Я рос без отца.

Конечно, отец у меня был, как и у всех. Но я его сроду не видал. Когда я спрашивал у мамы про отца, она отвечала кратко: «Умер».

Что поделаешь.

Иной раз, не скрою, бывало завидно, когда мои приятели-пацаны появлялись во дворе либо шли куда-нибудь со своими отцами.

Скажем, у Васьки Булыгина отец был военным, две шпалы в петлицах; у Гошки Карпенко — шофером трехтонки, и он его катал иногда на своем грузовике; у Яшки Овсяюка отец был простым слесарем, зато играл инсайдом в «Металлисте» — лучшей футбольной команде города. А фамилия Марика Уманского была даже написана на табличке у ворот нашего дома: «Доктор З. В. Уманский, кв. 5. Прием с 9 до 9». Почему-то сам Марик не очень этим гордился, не любил разговоров о своем отце, очень смущался, когда мы спрашивали его, от каких болезней лечит людей его папа; и сами эти люди, направляясь в квартиру номер пять, вели себя довольно странно — заслонялись воротниками, сутулили плечи, — может быть, потому, что отец Марика доктор З. В. Уманский был частником?

У всех моих приятелей были отцы.

Но если говорить по совести, то я не очень сожалел о том, что в нашей семье единственный мужчина — я. Когда время от времени я слышал, как за соседскими стенами орут не своим голосом мои приятели, когда я видел, как эти хорошие пацаны выползают на белый свет, размазывая по щекам кулаками свои горькие слезы и сопли, я, признаться, нисколько не жалел, что у меня нет отца и что в нашей квартире при всем желании и самой острой необходимости не сыщешь ремня.

— Вообще, Санька, ты бы лучше не путался под ногами, — сказала мама Галя. — У меня еще пропасть дел... Иди-ка погуляй во дворе, пока я управлюсь.

Возражать я, конечно, не стал. Когда дело касалось гулянья, меня не приходилось просить дважды.

Бросив на подоконнике все свое бумажное хозяйство, я метнулся в переднюю, натянул шубейку, напялил шапку.

— А варежки? — из кухни напомнила Ма, хотя и не видела, как я одеваюсь. — Сегодня мороз.

Дом наш был старый, очень старый — его еще до революции построили, при царе Горохе. Его построил какой-то купец, чтобы драть деньги с жильцов. Денег ему, наверное, нужно было много, и он отстроил домину в шесть этажей. Тяжелый серый дом, очень хмурый, каким, не иначе, был и сам купец. А сбоку и позади стояли другие дома, поэтому в нашем дворе была теснотища: окна заглядывали в окна, стена налезала на стену, между ними зияло ущелье с гулким эхом — двор.

На дне ущелья — клочок земли, той особенной земли, которая встречается лишь на городских дворах: плотно утрамбованное крошево щебенки, пыли, шлака и битого стекла. А сейчас все это засыпано снегом.

Не шибкий, конечно, простор. Но нам хватало.

Когда я вышел из дома, посреди двора только-только слепился кружок мальчишек и девчонок, из кружка доносилась считалка:

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар...

Считалку эту, наверное, тоже при царе Горохе изобрели.

Я успел втиснуться, куда считали первый раз. А то бы именно мне, опоздавшему, пришлось водить. Или мне же и выпадет?

Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, он какой?
Аты-баты, зо-ло-той...

Нет, миновало. Водить, конечно, выпало на долю Марика Уманского. Ему всегда выпадало такое счастье. У него вообще были основания обижаться на свое счастье. Всех толстых ребят у нас во дворе и в школе награждали прозвищем Тэжэ, что значило «Трест «Жир-кость» — был такой известный трест, выпускавший мыло и пудру. А каждого, кто носил очки, дразнили четырехглазым. Марик у повезло вдвойне: он был и Тэжэ и «четырёхглазый». И папа у него — частник. И водить всегда ему. А между тем, наш Марик Уманский был хорошим и добрым малым. Просто такое у него было в жизни счастье.

1 Не ропща, он уткнулся лицом в стену, заслонил с боков ладонями все свои четыре глаза и начал считать:

2 — Раз, два, три, четыре...

Мы бросились врассыпную, кто куда.

Кто куда, а я в одно прекрасное, давно облюбованное мною для прятков место. В угольный подвал.

По уговору, ставшему на нашем дворе законом, прятаться по подъездам не разрешалось. Ведь подъездов в домах, обступивших двор, было много. И в каждом подъезде по несколько этажей. Если все начнут прятаться по подъездам и за ними придется лазать по этажам, то будет уже не игра, а каторга. Поэтому прятаться в подъездах было у нас строжайше запрещено.

А на угольный подвал запрет не распространялся. В подвал вела глухая дверь. За дверью — несколько ступенек вниз и черная угольная яма. Вот на этих ступеньках я обычно и отсиживался, пока меня искали. Туда я заскочил и на сей раз.

Но оказалось, что в подвале я не один.

В этом темном подвале околачивался еще некто: лет пяти, замотанный башлыком от поясницы до самых глаз, мальчишка или девчонка, не разберешь. Вероятно, из нашего двора, из нашего дома, но я его не знал в лицо, да и лица-то не было видно за башлыком — одни глаза. Я не знал, как его зовут, и даже не знал, мальчишка это или девчонка. Мы с такой малолетней публикой не водились.

Но я тотчас догадался, что этот некто лет пяти в башлыке — мальчишка.

Потому что в ту минуту, когда я туда нагрянул, этот маленький товарищ, от горшка два вершка, занимался серьезным делом. Сопя, он рисовал на стене куском угля. На стене был изображен танк.

И я догадался, что мальчишка. Была бы девчонка, она уж, будьте уверены, нарисовала бы какую-нибудь растопыру в косицах и бантах, с ридикюлем, на высоких каблуках.

А тут был танк. С башней, пушкой, гусеницами.

На танке свастика, фашистский знак.

— Ты зачем стену пачкаешь? — грозным шепотом спросил я.

Он насупился, спрятал уголь за спину, но ничего не ответил: испугался, наверное.

За дверью раздался топот, кто-то вихрем пронесся мимо, и уже издали послышался торжествующий вопль Марика: «Палочка-стукалочка, Гошка!..»

— А почему танк фашистский?

Малыш смутился окончательно, опустил глаза, засопел пуше прежнего и стал переминаться с валенка на валенок.

— Ну? Зачем на нем фашистский знак?

— Я не умею... звезду рисовать, — виновато, чуть слышно признался он.

Видали такого? Ему уже целых пять лет — и не умеет рисовать звезду. А вот фашистский знак умеет. Правда, рисовать звезду, конечно, труднее. Не то что свастику: тощий крестик с паучьими лапками набекрень — тьфу!.. Но ведь нужно все-таки соображать, что рисуешь. И уж если рисуешь танк, то танк должен быть нашим, советским танком, а не наоборот.

— Эх ты!..

Я стер vareжкой свастику, отобрал у него уголек и быстро, пятью четкими штрихами, не прерывая линии, изобразил звезду.

— Понял? Ну-ка... — И отдал уголек малышу.

Восторженный девчоночий визг пронесся снаружи, потом долетело: «Палочка-стукалочка, сама за себя!..»

Малыш, задохнувшись от старания, начал чертить на стене. Одна кривуля, другая кривуля, третья...

— Да не так!

— А как?

Я снова начертил звезду — уже медленнее, чтобы втолковать ему раз навсегда, на всю жизнь, как рисуется красная звезда, хотя уголек в моей руке был, к сожалению, черным.

Малыш опять взялся за дело. На стене возникла какая-то немислимая каракуля, и он, очевидно, решил схитрить:

— А тебя еще не застукали?

Вот пройдоха.

Признаться, я и забыл об игре, покуда учил этого мальчика уму-разуму. Я и позабыл, зачем сюда забрался, в угольный подвал. Ведь я тут скрывался от Марика Уманского, а не просто коротал от скуки время.

Я осторожно приоткрыл дверь, выглянул в щелку. И замер от удивления. Там, во дворе, уже никто никого не искал, никто не гонялся друг за другом, там уже не было ничего похожего на игру.

Все ребята, все мальчишки и девчонки, которые только что играли в прятки, теперь сбились в кучу посреди двора, плотно обступили какого-то незнакомого мне человека. В шляпе.

Что за невидаль?

Я выбрался из своего убежища и пошел к ним. Интересно все же.

В кругу этой кучи стоял высокий человек в зеленой шляпе. Еще на нем было легкое — продуй ветер — пальто, а шея повяза-

на пестрым шарфом. Вывернутой наизнанку перчаткой он тер пылающее ухо — замерзло... Ну, так тебе и надо. Разве умный человек станет франтить в шляпе при таком морозе?

Да и шляпа у него была какая-то чудная: вместо ленты — шнурок, а из-за этого шнурка торчит перышко, неизвестно чье. Курам на смех. Вообще в те времена немногие люди отваживались ходить в шляпах — тогда не было такой моды, шляп не уважали. А тут еще с перышком.

Человек в зеленой шляпе тер перчаткой ухо и, мучительно улыбаясь, с явным трудом выговаривал слова:

— Дом шест... квартир воземнац... Пошалюста.

— Что? — Окружавшие его ребята недоуменно переглядывались.

— Какая квартира?

— Вам кого надо?

— Шест... воземнац... — робко повторил человек в шляпе.

Да, с таким побеседовать — одно удовольствие. Все вокруг только плечами пожимали. Я, конечно, тоже. Хотя это глупое перышко смешило меня куда больше, чем красноречие незнакомца.

Вдруг вперед протиснулся Марик Уманский. Он поправил очки и, зардевшись от смущения, задал вопрос:

— Шпрехен зи дойч?

— Яволь, — обрадованно воскликнул этот тип и перестал тереть свое ухо.

— Вас волен зи? — уже увереннее продолжил Марик и, кашлянув, добавил: — Битте...

Он был круглым отличником, наш четырехглазый толстый Марик, а немецким языком занимался чуть ли не с пеленок.

— Ви комме их нах Тшерноглазки-штрассе, хауз нуммер зекс, воонунг ахтцен? — Незнакомец с надеждой смотрел на Марика.

— Черноглазковская, шесть, квартира восемнадцать, — перевел Марик. — Так ведь это... к Саньке Рымареву.

Он уже назвал мое имя, а мозги мои все еще не могли переварить услышанное, они все еще не отдавали себе отчета в том, что квартира восемнадцать — это та самая квартира, где я живу. Где я жил спокон веков.

А все ребята уже обернулись, как по команде, и смотрели на меня, не скрывая любопытства. — К тебе, Санька...

— Это к тебе!

Они расступились, и тогда незнакомец тоже увидел меня — я ведь стоял позади всех. Он увидел меня и, улыбнувшись, чуть кивнул головой. Несколько секунд длилось молчание. Он, этот незнакомец, скользил глазами по моей фигуре, как бы измеряя мой рост и как бы прикидывая, чего я стою.

А я, не выказывая особой приязни, рассматривал его самого, ненашенского покроя пальто и, главным образом, дурацкую зеленую шляпу со шнурком и перышком.

Что же касается мальчишек и девчонок, то те просто рты разинули от любопытства.

Конечно, не стоило продолжать это дармовое представление, тешить зрителей. Я уже смирился с мыслью, что здесь нет никакой ошибки и этому типу действительно требуется восемнадцатая квартира.

Я круто повернулся, сунул руки в карманы и, не говоря ни слова, двинулся к подъезду.

Позади меня закрипел утоптаный снег: незнакомец шагал следом.

А по двору уже неслись ликующие крики:

— К Саньке иностранец пришел!

— Мистер Твистер.

— Харла-барла...

Радостно им очень, ротозеям.

Обычно я вихрем взлетал по лестнице на свой этаж, перескакивая через ступеньку, а то и через две. Несколько скачков — и я уже дома. Обратный же путь был еще стремительнее: я вскакивал на перила, давно отполированные до блеска моими штанами, штанами моих приятелей, штанами моих предшественников, — и лихо съезжал в самый низ, отталкиваясь ногой на крутых виражах. По этой причине штаны мои в одном месте были тоже всегда отполированы до блеска.

Но на этот раз я не очень торопился. Я нарочно поднимался медленно, вразвалку, лениво переставляя ноги. И ни на одном лестничном марше, ни на одной площадке ни разу не оглянулся. Хотелось оттянуть время, и я впервые вдруг остро пожалел, что мы живем не на самом последнем этаже, не под самой крышей, не на голубятне.

Все необычное настораживает, тревожит. А этот приход был необычным. И даже не потому, что необычен был сам пришелец, этот странный тип, ни бельмеса не понимающий по-русски. А просто потому, что в нашей квартире никогда — сколько я себя помню — не появлялись чужие мужчины. Ну, наведывался раз в год электрик чинить проводку, в канун зимы слесари копошились у радиаторов, заходил с какой-нибудь оказией бородатый дворник Никифор, но все это были не чужие люди, а из нашего домоуправления.

Однажды, правда, заявился человек, которого я принял за чужого, но оказалось, что это какой-то наш дальний родственник с заречной Сомовки, дядя Гриша — он выпросил у мамы трояк на опохмелку и обещал зайти вскоре, вернуть долг, однако не пришел, позабыл, наверное.

Но этот, который сейчас шагал следом за мной по ступенькам, был совсем чужим. И шаги его в гулком лестничном пролете отзывались в моих ушах тревожно и чуждо...

Как ни тяни, как ни медли, а все же мы добрались до четвертого этажа, до нашей двери с номером «18».

Я хотел по обыкновению подпрыгнуть и в прыжке нажать звонок — он у нас был высоко, под самой притолокой.

Но большая рука в кожаной перчатке легла поверх моей руки на кнопку.

Когда мама Галя отворила дверь, мне сразу же стало ясно: ее несколько не удивляет появление чужого человека. Ее отнюдь не огорошил приход незнакомого иностранца. Она знала, что он придет. Она, конечно, еще утром знала, что к нам в дом явится гость.

И, значит, именно поэтому такой ослепительной, бьющей в глаза чистотой сияла сейчас неказистая старенькая наша квартира. И, значит, ради этого случая из кухни долетали сюда, в переднюю, сногшибательные запахи: украинского борща, щедро заправленного чесноком, и жареной гусятины — я тотчас, как вошел, учуял все эти запахи.

Да и сама она — Ма, мама Галя, Галина Андреевна — была, божь ты мой, до чего нарядная! На ней было шерстяное канареечное платье с заутюженным в мелкую складку подолом и с перламутровыми радужными пуговицами — самое лучшее ее платье, которое она надевала по праздникам, а в другом она ходила на работу, у нее еще было и другое платье.

Но поверх этого праздничного платья был надет фартук, дававший понять, что никакого праздника нынче нет, а всего лишь выходной день, и что она здесь, в этом доме, не досужая гостья, а хозяйка. Смуглые щеки ее слегка запунцовели: ведь она только что, на звонок, выскочила из кухни, где готовила обед, жарила-парила и крепко умаялась со всей этой дымной стряпней.

А губы ее улыбались приветливо и немного растерянно, когда она переводила взгляд с меня на пришельца, а с пришельца опять на меня...

— Вы уже познакомились?

Этот, в шляпе, должно быть, догадался, о чем его спрашивают, хотя и ни бельмеса не понимал по-русски — как-то сообразил. Он снял с головы шляпу, содрал перчатку и подал мне пятерню:

— Ганс Мюллер.

— Рымарев, — ответил я и, коротко тряхнув протянутую руку, ушел на кухню.

Надо бы пообедать, пора уж. В делах, касающихся обеда, я был вполне самостоятельным человеком. Ведь Ма обычно обедала на работе, на заводе — завод находился очень далеко от нас, на краю города, целый час ехать трамваем, и она при всем желании не могла приезжать домой в перерыв, чтобы накормить меня. Она всего-то и успевала, что приготовить обед с вечера назавтра, а остальные заботы — согреть, съесть, вымыть посуду — ложились на меня. Я привык хозяйничать сам. Мне это даже нравилось.

Вот и сейчас я взял тарелку, половник, сдвинул крышку кастрюли — под нею вкусно клокотал борщ. Но появилась мама Галя.

— А руки? — ужаснулась она вполголоса. Отобрала тарелку, подтолкнула меня к ручной мойке.

Насупясь, я долго вертел под струей воды скользкое мыло. Ма стояла за спиной.

— Зачем он пришел... этот немец? — спросил я напрямик.

— Как это «зачем»?

Хотя я и не видел ее в данный момент, но мог себе представить, как отчаянно расширяются глазищи на маленьком лице — брови взлет, ресницы взлет.

— Как это «зачем»? В гости. И потом... он не немец, а австриец. Я насмешливо хмыкнул.

— Он работает на нашем заводе, — продолжала мама Галя. — Политэмигрант.

Вытирая руки полотенцем, я взглянул на нее исподлобья. И, должно быть, что-то слишком недоброе читалось в моем взгляде, потому что она закусила губу. Но тотчас овладела собой.

— Марш за стол, — сказала Ма и, обняв меня за плечи, повела в комнату.

Комната у нас была маленькая, в одно окошко. У окошка — тахта, накрытая дряхлым ковром, с рядом подушек-думок вдоль спинки: на этой тахте спит мама Галя. Близ тахты — круглый стол. В углу — шкаф, на шкафу — чемодан и всякие коробки-картонки. Вот и все.

Почти все. Совершенно непостижимым образом в эту комнату — между шкафом и дверью — втиснулась еще и моя кровать. Детская кроватка, которую Ма завела, когда я родился на свет. Сначала она была с сеткой, потом сетку сняли. И если эта кроватка еще кое-как помещалась в комнате, то сам я уже с трудом помещался теперь в этой кроватке. Откровенно говоря, я даже побаивался, что, зажатый во сне между этими очень близкими друг к дружке спинками, я больше не смогу расти — ведь известно, что дети растут именно во сне.

А вообще, несмотря на тесноту, комната у нас была хорошая, уютная, и на двоих ее вполне хватало. Как раз на двоих. Много ли нужно двоим людям, если их только двое?

— Прошу к столу, — объявила мама Галя и перевела гостя с тахты, где он восседал, сложа руки, на стул.

Меня она усадила напротив гостя.

А сама убежала на кухню. За борщом, наверное. Стол сегодня был накрыт тугой от крахмала скатертью с белыми цветами на белом поле. Посредине стола — плетеная хлебница с горкой хлеба. У тарелок разложены ложки, вилки, всякие ножи — я не знал даже, что у нас имеется столько разной столовой дребедени.

— Кхм, — сосредоточенно кашлянул гость.

— Кхм, — солидно откашлялся я.

Ма внесла дымящуюся кастрюлю.

Обед проходил чинно. Я помалкивал, орудуя ложкой, — сильно проголодался. Они же, мама Галя и этот самый невесть откуда взявшийся Ганс, вели за столом степенный разговор. Судя по всему, разговор был не сегодня начат, может быть, они его еще три дня назад завели и никак не могли закончить. И тема этого разговора была, на мой взгляд, скучнейшая. Одна лишь отрада — по-

тешный язык, на котором изъяснялся гость. Он нес такую несусветицу, что я чуть не давился от разбиравшего меня смеха.

— Странно, — говорила ему поначалу Ма. — Странно и удивительно. У вас же высшее техническое образование. Там, в Вене, вы работали инженером. А здесь становитесь к станку, будто вчерашний фабзайчонок...

И вот как отвечал на это наш уважаемый гость:

— О, рихтиг! — Он понимающе затряс головой. — Но сдесь, ин Советски Союз — кто есть власт? Работши класс, работши партай... Диктатур пролетариат, йо?

— Конечно, — соглашалась Ма.

Меня разбирали смех. Я сроду еще не слышал такой тарабарщины.

Но, прислушиваясь к разговору, я все больше приходил в изумление: оказывается, они отлично понимали друг друга. Ма улавливала с полуслова, что хотел ей сказать этот Ганс, а он, слегка поднатужась, на лету перехватывал еще не досказанные ею мысли и снова понимающе тряс головой... Это не могло не озадачить меня, поскольку час назад я сам был свидетелем, как он объяснялся с дворовыми мальчишками, как он не мог им ничего втолковать и сам ничего не понимал, и если бы не Марик Уманский, то он бы и сейчас гулял под окнами, потирая замерзшие уши...

— Унд ихь виль... — продолжал между тем гость, обгладывая гусиную ножку, которую ему принесли на второе. — Я тоже хотеть — работши класс! — Он ткнул себя в грудь гусиной ножкой. — Пролетариат!

Ну и ну.

Отсюда, с того места, где я сидел, мне хорошо была видна наша прихожая. А в прихожей — вешалка. А на вешалке — шляпа. Зеленая шляпа со шнурком и перышком... Ну разве рабочий класс ходит в эдаких шляпах? И дело даже не в шляпе. На шее у этого Ганса, на рубашке, был повязан бантик, галстук-бабочка. Как у правящего буржуа, которых я сто раз видел на всяких карикатурах. Точь-в-точь. И он еще рассуждает о рабочем классе, тычет себя в грудь! Тоже пролетарий выискался...

Но Ма только весело рассмеялась.

— Да поймите же вы, чудак-человек, — сказала она ему, — что нам сейчас очень нужны технические кадры, инженеры нужны. Тем более свои, пролетарские инженеры... Понимаешь?

Я вздрогнул, услышав это «понимаешь». Я чуть было не подумал, что они уже на «ты». Но оказалось, что Ма обращалась ко мне, и это «понимаешь» было предназначено мне.

— Понимаешь, мы недавно из конструкторского бюро отослали в цех чертеж...

И она поведала такую историю.

Из конструкторского бюро, где она работала, отослали в цех чертеж одной важной детали, чтобы ее там выточили на токарном станке. А рабочий, которому дали этот чертеж, посмотрел-посмотрел, покачал головой, выключил станок и отправился в конструкторское бюро. И там стал доказывать, что чертеж сделан неверно, что деталь надо вытачивать совсем по-иному. И тут же набросал эскиз... Тогда-то все и узнали, что этот рабочий, недавно появившийся на заводе и еле-еле лопотавший по-русски, так как приехал в Советский Союз из-за границы, — инженер по профессии.

— И одной чертежнице, — досказала мама Галя историю, — пришлось до ночи сидеть за доской, переделывая чертеж... Понимаете, до ночи!

Я снова вздрогнул, услышав теперь «понимаете». Я чуть было не предположил, что Ма решила перейти со мной на «вы».

Но оказалось, что это «понимаете» предназначено уже не мне. Оно предназначалось гостю.

Потому что мама Галя смотрела сейчас на него. И улыбалась хорошей, ясной, немного лукавой улыбкой — ему, этому чужому человеку, неизвестно зачем явившемуся в наш дом.

А он, чужой человек, тоже с улыбкой смотрел на мою маму, прямо в ее глаза. И тогда я все понял. Мне стало ясно, какой именно рабочий приходил из цеха в конструкторское бюро.

И какой именно чертежнице пришлось до ночи сидеть за доской.

И зачем этот чужой человек явился в наш дом.

Хмуρο утершись салфеткой и буркнув «спасибо», я встал из-за стола и направился в прихожую.

Мама Галя вышла следом.

— Куда ты? — озабоченно справилась она.

— Гулять.

Признаться, я ждал, что она не разрешит. Что она заявит: «Хватит, нагулялся уже» — и отберет шапку. Мне даже хотелось, чтобы она не разрешила, отобрала. Я бы, конечно, поспорил, но остался...

Однако вместо этого Ма, отведя в сторону взгляд, спросила:
— Может быть, ты хочешь пойти в кино?

Она потянулась рукой к карману своего пальто, достала оттуда смятую рублевку.

— Не надо мне.

Открыв дверь, я вскочил, будто в седло, на лестничные перила и стремительно покатился, минуя этажи. Уже снизу увидел: Ма стояла на площадке, согнувшись над пролетом, смотрела мне вслед.

— Ты недолго! — крикнула она.

Я ничего не ответил.

Я знал, что за меня ответит ей гулкое лестничное эхо. Оно само переиначит брошенную ею фразу и доставит обратно то, что хотел бы сказать я: «...до-олго».

Я шел по улице не торопясь, как ходят обычно люди, коротающие в прогулке время. На душе у меня было скверно. Угрюмо.

А тут еще, как только я вышел на улицу, мне повстречались похороны. Наш дом на Черноглазовской был почти на самом углу Пушкинской, которая вела к кладбищу. И по ней что ни день с музыкой и без музыки везли покойников.

В ту пору любые похороны обставлялись так, чтобы их заметило как можно больше людей.

По Пушкинской улице в день проезжало пять, шесть, а то и десять похоронных процессий. Скорбные паузы оркестров надрывали душу. Плыли бумажные венки. Воронье лошади, украшенные плюмажами и попонами, влекли катафалки — фантастические сооружения с витыми столбами, гнутыми крышами, резными загогулинами. Похоронные извозчики в цилиндрах и балахонах до пят вели лошадей под уздцы.

Правда, потом все чаще вместо катафалков стали использовать грузовики. Машин прибавилось, и они постепенно вытесняли гужевой транспорт.

А однажды мне довелось видеть такую похоронную процессию, какой, вероятно, кроме жителей нашего города, больше никто никогда и нигде не встречал.

Хоронили начальника трамвайного депо. Он был уважаемым и заслуженным человеком. И кто-то придумал гроб с его телом уста-

новить на открытой площадке грузового трамвая. Этот трамвай опутали траурными полотнищами, завалили цветами, и он очень медленно, тяжело подвывая и тренькая, двинулся по рельсам, через площади и улицы, по Пушкинской, мимо нашего дома, прямо к кладбищу, а за ним — за этим трамваем — валила несметная толпа, тысячи людей, потому что в городе уважали этого человека, начальника трамвайного депо, покойника, и потому что все понимали: таких похорон больше никогда не увидишь...

Но то, что я встретил, выйдя из дому, было очень обыденно и горестнее всего на свете: понурая кляча тащила обшарпанную телегу, на телеге — заколоченный гроб, а за гробом, поддерживая друг друга под локотки, шли старичок и старушка. Наверное, сына хоронили.

И мне от этой картины сделалось еще тошнее.

Между прочим, в конце Пушкинской улицы было не одно кладбище, а целых два: православное и лютеранское, русское и немецкое. И я раньше недоумевал: зачем это нашему городу Харькову, где жили в основном украинцы и русские, понадобилось иметь немецкое кладбище? Но сегодня я сообразил, что оно здесь очень кстати...

Я шел и шел, сунув руки в карманы, уткнув подбородок в сырой от дыхания воротник.

А все же в пути встречалось немало интересного, что отвлекло меня от невеселых раздумий.

На площади Тевелева появилась круглая тумба, которой прежде не было. На тумбе стоял милиционер в шинели, каске и белых, не по сезону, перчатках. Он вскидывал руки: одна вверх, другая вбок; потом поворачивался на тумбе — кругом, ать-два — щелкал каблуками, застывал, как оловянный солдатик на подставке, грудь колесом, — и снова вскидывал руки...

Вот это да! В нашем городе еще не видали такого. Может быть, этого бравого милиционера выписали сюда из самой Москвы. Чтобы он навел порядок в движении.

Но порядка все равно не получалось. Скорее наоборот. Потому что по всей округности площади стояли стеной толпы зевак. И шоферы проезжавших по площади автомобилей нарочно притормаживали, даже останавливали свои машины, высовывали головы из окошек, таращили глаза, любовались жестами постового милиционера, вместо того чтобы ехать, куда он им указывает.

Зеваки вдоль тротуаров на все лады обсуждали это чудо.

Кто-то даже высказал догадку, что, может быть, столицу Украины переведут обратно из Киева в Харьков.

Дело в том, что прежде наш Харьков был украинской столицей. Но два года назад столицей сделался Киев. И туда переехало правительство республики, переехали вожди — Постышев, Косиор, Петровский, Чубарь. Переехали знаменитые ученые и артисты. Конечно, Киев был гораздо древнее Харькова и даже древнее Москвы. Однако нам, харьковчанам, и мне в том числе, было очень жалко и немного обидно, что раньше мы жили в столице, а теперь — просто в городе Харькове. И, может быть, поэтому наш славный город Харьков, перестав быть столицей, всячески старался не уронить своего достоинства, хотел, чтобы все в нем было на должном уровне и даже самое-самое: самые высокие дома, самые широкие площади, самый вышколенный постовой милиционер...

И самый лучший Дворец пионеров. Вот он, напротив меня — настоящий дворец, белоснежный, с ярко-зеленым куполом и красным флагом на этом куполе. Шестью колоннами вознесен ажурный балкон, а на балконе — шестеро юных пионеров из гипса трубят в пионерские горны.

Прежде, до революции, в этом дворце помещалось Дворянское собрание. То есть туда пускали лишь дворян — они там устраивали свои дворянские собрания. И тогда, конечно, не было на балконе этих гипсовых пионеров с горнами. Но теперь они были, а самих дворян не было. Вот только жаль, что я пока не имел полного доступа в этот прекрасный дворец — меня еще не приняли в пионеры.

Вообще народа на улицах было сегодня невпроворот. Оно и понятно: выходной. К дверям универсама тянулся длиннющий хвост. И я знал, за чем это стоят — за галошами. В свои неполные девять лет я уже повидал немало всяких очередей и во многих из них ставал: то случались перебои с хлебом, то не было масла, то исчезал сахар. Но в тот год самые долгие и бранчливые очереди выстраивались за галошами. Все толковали о галошах. Почему-то ругали деревню, которая, дескать, «кругом обулась в галоши, а сапоги на печи». О галошах ходили анекдоты. О галошах распевали песенки... Меня это тем более удивляло, что сам я терпеть не мог галош.

Уфимским переулком я вышел к Дому Красной Армии.

Здесь тоже густо толпился народ. Из-за спин — из-за всяких тулупов, кацавеек, ватников, шуб — невозможно было разглядеть, что там такое случилось. Я привстал на носки — не видно. Подпрыгнул — не видно. Все-таки плохо быть маленьким... Орудия локтями, извиваясь всем телом, как головастик, я пролез вперед. Кто-то надо мной чертыхнулся, но я этим пренебрег.

А там, впереди, ничего из ряда вон выходящего не было.

Стоял какой-то толстяк с завхозовским портфелем под мышкой, в белых бурках с отворотами, в ушастой кепке — потешной лохматой кепке с опущенными ушами. Нос у него был пипочкой. Что ли, такой кепки не видали люди, или таких шикарных бурок, или такой уморительной пипочки?

Но в тот самый момент, когда я оказался впереди, толстяк задрал голову и крикнул куда-то вверх:

— Давай!

И тотчас дрогнули, натянулись канаты, свисавшие с крыши, а их поначалу не заметил.

И тотчас, отделившись от земли, качнувшись — вверх, вверх, вверх — поплыл портрет. Такой огромный, что я и не мог охватить его одним взглядом, пока он еще стоял на земле.

Портрет товарища Сталина. Сталин был в сером кителе с отложным воротником и простыми невоенными пуговицами о четырех дырочках каждая. И каждая пуговица на портрете была, вероятно, с мою голову.

Этот портрет художник срисовал с фотографии (на полотне сквозь белила явственно проступали нумерованные клеточки), с фотографии, на которой товарищ Сталин смотрел прямо в объектив. А когда глаза человека смотрят в объектив — всем известное правило, — где ты ни окажись: справа, слева, выше или ниже, все равно эти глаза будут неотступно следовать за тобой.

Уже портрет вознесся на высоту третьего этажа, а Сталин и оттуда, с высоты, смотрел мне прямо в глаза.

— Выше, выше!.. — приставив ко рту ладонь рупором, командовал человек с портфелем.

Я сразу догадался, почему вывешивали этот портрет. Почему в городе пестрели красные флаги. Только вчера, пятого декабря, на Чрезвычайном съезде Советов — нам об этом рассказывали в школе — была принята новая Конституция.

Портрет поднимался, минуя этаж за этажом.

— Так хорош будет? — донеслось откуда-то с крыши.

— Выше, выше давай!..

— Баба, а это кто? — прозвучал надо мной тонкий голосок.

Я оглянулся в недоумении. Вот так вопрос! Неужели на свете есть человек, который не знает, кто изображен на портрете? Не знает этого известного всему миру лица и всему миру известного имени?

Но оказалось, что человеку, задавшему вопрос, можно было простить его неведение. Потому что этому человеку было от силы годика два-три. Он сидел на руках у бабки, у еще нестарой женщины в шершавом платке. Сидел и тарачил свои глазенки. Ему можно было простить — небось и говорить-то едва научился.

— Это Сталин, детка. Товарищ Сталин, — ответила малышу бабка. И в голосе ее слышалась теплота. Я снова посмотрел на портрет. Он уже был очень высоко. Дух займется, как высоко.

— Не сорвался бы, — с опаской заметил кто-то рядом.

— Не должен...

Человек в бурках и ушастой кепке обернулся, колюче зыркнул и, выставив перед собой портфель, стал теснить напирających зрителей:

— Граждане, сдайте назад! Назад, говорю...

Я побрел дальше.

Я нарочно тянул время. Мне очень не хотелось, вернувшись домой, еще застать там этого. Я хотел вернуться, когда его уже там не будет — вроде и не было, и не надо, и след простыл.

Понемногу сгущались сумерки. Круглые часы на Пролетарской площади налились желтым светом, и стрелки на них показывали четверть седьмого.

И тут меня осенило. Я вдруг понял, что именно сегодня смогу наконец осуществить давно задуманное.

На площади стоял танк.

Самый настоящий танк — страховидная глыба брони. Это был врангелевский танк. То есть не врангелевский, а английский. Английские буржуи подарили его генералу Врангелю, белым, чтобы они смогли победить красных. Этот танк на самом деле участвовал в войне, у Перекопа: ездил, стрелял, давил людей. Но однажды храбрый красноармеец, притаившись в окопе, пропустил танк над

собой и сзади гранатой подорвал ему гусеницу. Тут подоспели другие красноармейцы и захватили танк.

А когда кончилась гражданская война, этот пленный танк привезли в наш город как трофей и поставили на площади неподалеку от Благбаза.

Благбаз — это Благовещенский базар, самый большой и самый шумный базар в городе. Он раскинул свои ряды и свои палатки возле самого высокого и самого красивого в городе Благовещенского собора. Потому и назывался так — Благовещенский базар, а сокращенно — Благбаз. В ту пору очень любили сокращать слишком длинные или слишком дореволюционные названия.

Иногда я с мамой Галей приезжал трамваем на Благбаз — покупать молодую картошку, ранние огурцы, деревенский творог. А к Пролетарской площади много раз, как и сегодня, ходил пешком. Я давно заприметил этот танк, и меня не оставляла мысль: а нельзя ли в него забраться? Залезть и посмотреть, как там и что внутри?

Но, конечно же, днем, когда на площади и на Благбазе кишмя кишел народ, сновали прохожие, старались переорать друг друга торговцы и покупатели, расхаживали внимательные милиционеры, — днем нечего было и помышлять об этом. А вечерами мне не разрешалось отлучаться далеко от дома.

И вот представился случай.

Площадь опустела, затихла.

А посреди площади стоял танк.

Он был мрачен, как старинная крепость с зияющими бойницами. Он был похож на великанский спичечный коробок, придавленный великанской подошвой: его передняя броня выпячивалась, круто нависала над землей, а задний щит был срезан наискосок, полого уходил вниз. Суставчатые гусеницы обтекали всю громаду от катков до крыши, и подбитый танк казался сутулым, втянувшим голову в плечи, а пупырышки заклепок на броне выдавали смертельный озноб...

На боковом отсеке танка была железная дверца. Должно быть, ржа переела петли, потому что дверца не захлопывалась вплотную, и это я тоже давно держал на заметке.

Сторожко оглянувшись, я ступил на гусеницу, подтянулся, держась рукой за стальную скобу. Вот уже и нога на скобе. А тут — ступенька...

Бронированная дверца отворилась наружу с тугим скрипом. Я нащупал в кармане батарейный фонарик, с которым никогда не расставался, и, сцепив контакт, направил луч в темное чрево танка.

Сводчатый потолок, напоминающий пещеру. Глухие стены. Пол.

А на полу — округлые желтые наледы. И кучки. Кучки.

Брезгливо сморщась, я погасил фонарик и спрыгнул наземь, зашагал прочь.

Вот тебе и танк. Вот тебе и трофей.

Падал снег. Теперь я торопился, и снег пронзительно взвизгивал под моими башмаками.

Вокруг было тихо. Уже совсем стемнело. Угомонился город. Все разошлись домой — спать.

И только в убеленном сквере, который я пересекал и где на одном конце был памятник Гоголю, а на другом конце — памятник Пушкину (они стояли спиной друг к другу, будто насмерть рассорившись и даже изготовясь к дуэли; белые шапки были у них на головах), — в этом сквере на запорошенных снегом скамьях сидели парочки. Они тоже были густо осыпаны снегом. Можно было предположить, что все эти парочки окоченели на морозе, околели — так неподвижно сидели они, привалясь к спинкам скамей, сплетя руки, уткнув лицо в лицо, не обращая никакого внимания на мои торопливые шаги. И снег осыпал их, будто они мертвы.

Но мне было почти девять лет, и я уже знал, что они не мертвы, а живы.

Я презрительно кривил губы. И все торопливее шагал к дому. И снег все яростнее взвизгивал под моими башмаками.

— Ты где это пропадал?

Мама Галя напустилась на меня, едва я переступил порог. В ее голосе было и возмущение, и беспокойство. И радость оттого, что я наконец появился — не пропал...

Но мне сразу все это сделалось безразличным.

В прихожей на вешалке по-прежнему висело чужое пальто, висел пестрый шарф, висела шляпа с перышком.

Он все еще был здесь.

— Ну-ка, живо в постель. Ведь завтра в школу. Проспишь...

Я молча стал раздеваться.

Мною овладела тяжелая, как дурман, усталость. Нашагался, наглотался студеного воздуха. И уже действительно поздний час... Но это была не только усталость. Все мои тревоги, опасения, надежды — все, что целый день держало меня в строптивом напряжении, — все разом увяло и сникло при виде чужого пальто на вешалке. И на смену явилось унылое безразличие. Покорность чему-то неизбежному, что приходит своим чередом и что не в моей детской власти отворотить.

Ма уложила меня в постель. Выключила верхний свет. Остался лишь мягкий свет настольной лампы, покрытой вместо абажура цветастой косынкой, — там, в глубине комнаты, близ окна, у тахты.

Гость сидел там, и Ма, уложив меня, села туда же, к нему. Они заговорили, продолжая, наверное, ту беседу, которую вели без меня раньше, и голоса их были приглушены, будто бы на них тоже брошена косынка.

— Ихъ хабе... я иметь мать... ин Вена.

— У ме-ня в Ве-не мать, — медленно, наставнически разделяя слоги, повторила Ма.

— Унд два сездра...

— И две се-стры.

Да, веселенький разговор.

Я повернулся к стене, сунул под щеки ладони: эта привычка спать лицом к стенке, с ладонями под щекой осталась у меня еще с детского сада. Там была дисциплинка, не скоро позабудешь.

— Я их писать письмо...

— Я на-пи-шу им письмо.

Я зевнул. Веки слипались сами собой и не хотели разлипаться. И сон уже клубился под ними.

Хмурый танк полз по Пушкинской улице, волоча за собой перебитую лязгающую гусеницу... Впрочем, это не танк. Это особый такой бронированный катафалк. Он движется к кладбищу. А на катафалке — покойник. Но почему-то он сидит, сидит верхом на башне и трет перчаткой замерзшее ухо... А зачем трет? Ведь на нем лохматая завхозовская кепка с наушниками — в такой небось уши не мерзнут. Он держит под мышкой портфель и покрякивает: «Давай, давай! Выше, еще выше...» Следом за катафалком понуро плетется нескончаемая процессия... Нет, это не процессия — это очередь за галошами. Как я раньше не догадался? Вон у них у всех га-

лоши в руках... Пушкин и Гоголь решительно поворачиваются друг к другу лицом и поднимают пистолеты... Не надо, не надо, слышите?..

— Я тебя лублу..

— Я те-бя люб-лю.

2

В прихожей, в углу, стояли мои лыжи. Правда, они уже были мне коротковаты — я полусогнутой рукой доставал до передков, а положено вытягивать руку. Но я к этим лыжам привык, и они меня пока вполне устраивали. Как устраивало меня и то, что эти лыжи всегда стояли на одном и том же месте в углу. С улицы ли идешь, на улицу ли — привычно скользнешь взглядом...

А теперь в прихожей, в углу, стоят две пары лыж.

Одни — короткие, исцарапанные, с хомутиком для валенок — это мои. А другие — чуть ли не вдвое длиннее, чуть ли не вдвое шире, оснащенные хитроумными креплениями, — это его.

Короче говоря, мои наихудшие опасения оправдались.

Человек по имени Ганс, а по фамилии Мюллер стал жить у нас. Он и мама Галя поженились. Правда, не совсем поженились, так как этот самый Ганс был иностранным подданным, ему еще не выдали советского паспорта, и они покуда не расписались в загсе. Но жил он теперь в нашей квартире, на работу по утрам они уезжали вместе, возвращались тоже вместе.

Появился в доме новый человек, а с ним появились и новые вещи. Он перевез сюда из общежития свое барахло. Не скажешь, чтобы очень уж много было у него барахла — всего один чемоданишко да лыжи. Но теперь я повсюду наткнулся на незнакомые предметы: на полочке над раковиной лежала безопасная бритва, торчала пушистая кисточка; на этажерке, промеж наших старых книг, втиснулись новые, с непонятными названиями на корешках; под тахтой домовито приютилась пара шлепанцев; рядом с нашим чемоданом на шкафу примостился другой чемоданишко.

Но в чемоданишке его были и любопытные вещи.

Как-то раз, когда Ма ушла в магазин, он заглянул на кухню, где я отсиживался, и поманил меня пальцем. Иди сюда, мол.

Мне, конечно, было неохота идти, но я не стал кочевряжиться. Пошел.

В комнате он широко отворил дверцу шкафа и сказал:

— Я буду залезать в шранк... Ты меня будешь закрыть. Да?.. Отшень крепко...

Не успел я моргнуть, как он шагнул в темное нутро шкафа, где висели на плечиках разные одежды и, согнувшись там в три погибели, распорядился:

— Закрывать... Крепко!

По совести говоря, я здорово испугался. Я решил, что он спятил, с катушек съехал. Я испугался, но — чего там скрывать — отчасти и возрадовался: ну, думаю, теперь только позвонить на Сабурову дачу (так в Харькове называли сумасшедший дом) — оттуда придут, заберут, и поминай как звали. Гансом Мюллером звали. А мы заживем по-прежнему — хорошо...

Для верности я дважды повернул ключ в дверце шкафа.

Но спустя минуту изнутри раздался стук, проник наружу голос: — Фертиг... Мошно открывать.

Поразмыслив, я отпер дверцу.

А когда он вылез из шкафа, оказалось, что он там, в темноте, заряжал пленкой фотоаппарат. В руках у него была крохотная фотокамера, которая, как я потом узнал, именуется «лейкой». Придумают же такое нелепое название для фотоаппарата — «лейка»!

И этой «лейкой» он целый день снимал нас с мамой Галей — порознь и вместе. И даже умудрился сняться с нами. Он привинтил свою «лейку» к спинке стула, навел, прицелился, нажал какую-то штуку — и пока эта штука жужжала, как муха в кулаке, он, не будь дурак, метнулся к тахте, где мы сидели с мамой, пристроился сбоку, с моего бока, третьим, изобразил на своем лице блаженную улыбочку — ах, дескать, какое милое семейство, водой не разольешь! — а штука тем временем дожужжала до конца, и шелк, готово...

Потом он ходил куда-то печатать с этой пленки карточки, принес, отобрал из них самые лучшие, положил в конверт, заклеил и написал на конверте адрес нерусскими буквами.

Этот конверт он торжественно вручил мне, чтобы я сбегал опустить его в почтовый ящик.

Хотел я это письмо кинуть не в почтовый ящик, а в железную урну, которая была аккурат под самым почтовым ящиком, и из нее

как раз валил крутой дым: кто-то непогасший чинарик бросил. Я уже намеревался так и сделать, потому что мне очень не хотелось, чтобы моя фотокарточка попала неизвестно куда и неизвестно кому, кого я знать не знаю и знать не хочу и чей адрес пишется нерусскими буквами. Но тут, к несчастью, проходил мимо какой-то сердобольный дядя, и этот дядя, будь он неладен, вообразил, что я не могу дотянуться до шелки почтового ящика, выдернул конверт из моих рук, приоткрыл шиток и сунул письмо туда, а сам пошел дальше. Теперь уж, конечно, ничего нельзя было поправить.

А нынче этот Ганс надумал кататься на лыжах. И дал понять, что приглашает меня с собой.

Он облачился в голубой свитер, на котором были вышиты тоже нерусские буквы, надел шапочку с помпоном, обулся в громоздкие пьексы с квадратными носами.

Выйдя в прихожую, он принялся натирать мазью скользящую поверхность лыж. Тер и насвистывал бодрую песенку: «Фью-фью-фью... фьюить» — слуха у него, между прочим, несколько не было, но ведь известно, что именно те, у кого неважно со слухом, самые любители напевать да насвистывать.

А тем временем Ма наряжала меня для прогулки. Натянула мне на ноги две пары носков, валенки, напялила одну кофту, другую, третью, а поверх кофт — шубейку.

Но Ганс, натерев лыжи — и свои и мои — подошел, окинул меня с ног до головы критическим взглядом, решительно сдернул с меня шубейку, стащил через голову одну кофту, другую... Он бы, наверное, и третью с меня стащил, оставил бы, в чем мать родила — ему-то что, не жалко, я ведь ему чужой, — но мать заступилась, не позволила раздевать ребенка догола.

— Он же простудится! — возмутилась она.

— Он быть здорофф... как корофф! — успокоил ее Ганс.

И озорно подмигнул мне.

Я промолчал.

Денек выдался на славу.

Окраинный лесопарк был весь, вдоль и поперек, исполосован накатанными до блеска лыжнями. Они решеткой расчертили снег. А поверх легла еще одна решетка: голубые тени деревьев, извилистые, легкие, бесплотные. Густой березняк нынче белел пуше

прежнего — ветви берез опушились инеем. Воздух был студеный, жгучий, но солнце в небе уже распалилось по-весеннему, в его лучах ослепительно искрились ноздреватые сугробы.

Ганс бежал по лыжне впереди меня. Широким спортивным шагом, далеко перед собой вынося палки, задирая тыльные концы лыж. Но без рывков, без всякого топанья, хлопанья — не бежал, а плыл.

Я едва поспевал за ним. Я работал всюю — и руками и ногами. Сердце мое отчаянно колотилось. Пар вился у губ. Взмокли волосы под шапкой...

Неожиданно покинув накатанную лыжню, Ганс свернул на целину и, сильно оттолкнувшись палками, скатился куда-то, канул, исчез.

Я метнулся было следом.

Под острым, наметенным ветром гребнем разверзлась белая пропасть. Уже где-то в самом низу, как пена за кормой быстроходного катера, разлетались в стороны снежные вихри, и маленькая фигурка неслась меж них, клонясь то вправо, то влево...

Я приуныл. С такой страшенной горы мне еще не приходилось съезжать на лыжах. У нас во дворе считалось немалым подвигом скатиться на лыжах по Черноглазовской улице и не вспахать ее носом в самом низу — такая это была крутая улица. А тут... Но не мог же я проявить себя жалким слабаком перед каким-то иностранным немцем!

Сцепив зубы, я шагнул на край пропасти. Засвистело в ушах...

Когда я уже стоял рядом с ним, обмахивая рукавицей снег с валенок, он сказал:

— А ты... хорошо!

Я не уловил в его голосе снисхождения. Это прозвучало всерьез.

Еще бы — вон какая горища! Хотя, когда смотришь снизу, гора не кажется такой высокой и отвесной, как оттуда, сверху.

Но я промолчал.

Где-то поодаль взорвали тишину голоса — дружный восторженный гул. Мы оглянулись оба.

Над завесью голых верб взметнулась решетчатая башня. Вогнутая дуга ниспадала от ее вершины и обрывалась в воздухе. Трамплин. У подножия трамплина толпился народ.

Черная точка стремительно прокатилась по белой дуге, черкнула синеву неба, опять заскользила по белому. И снова оттуда донесся восторженный гул.

Ганс оценивающим взглядом проследил кривую разгона. Потом, опустив голову, внимательно оглядел крепления своих лыж. И решительно воткнул в снег палки.

— Я буду... пробовать, — сказал он.

Собрав в охапку, будто хворост, все четыре палки, я протискивался меж людьми, обступившими трамплин. Стояли тесно. И я нечаянно задел палкой нос какого-то парня в рыжем пальтишке — рукава до локтей. Пальтишко ему было явно коротковато. Зато нос длинен. Попробуй не задень такой нос!

— Ты че-че... чего? — озлился парень и пощупал длинный нос: не течет ли из него юшка. — Ж-ж-ж... жить не хочешь?

Он ко всему прочему оказался зайкой.

— Хо-хо... хочу, — ответил я. — Из-з-з... виняюсь.

Это была моя беда, горе мое. Стоило мне вступить в разговор с зайкой, как я сам начинал заикаться — мучительно и отчаянно. А тут я еще напугался порядком, задев парня за нос, — ему довольно крепко досталось.

— Ты еще... д-д-дражнишься? — освирипел носатый парень. — Д-да я тебя с-сейчас...

На верхней площадке трамплина появилась фигура в голубом свитере. Это был Ганс. Он поднял руку и слегка помахал ею в воздухе.

Вряд ли с такой высоты он мог разглядеть меня в густой толчее. Но я сразу понял, что это приветствие предназначалось мне.

— ...н-ноги выдерну, откуда р-растут, — продолжал парень в рыжем пальтишке, сверля меня одним глазом, а другим косясь на трамплин, — и с-с... спички вставляю... Я из т-тебя...

Наверное, в другой раз я не стал бы отвечать на приветствие человека, стоящего на площадке трамплина. Человека по имени Ганс Мюллер. Я сделал бы вид, что не замечаю этого приветствия, либо предполагаю, что оно адресовано не лично мне, а так, вообще, всем окружающим.

Но в данный момент у меня были основания опасаться, что этот парень в рыжем пальтишке с длинным носом осуществит свои страшные угрозы. Уж больно крепко задел я его палкой. К тому же он был зайкой, ему было трудно изъясняться словами.

Поэтому я тоже поднял руку, помахал ею в ответ.

— Это к-к... кто? — удивился парень. И сразу присмирел, сообразив, что я здесь не один. — о-отец твой, да?

Сделав несколько шагов для разбега, Ганс присел на корточки и пулей понесся к тому месту, где обрывался трамплин.

На самом краю обрыва он рывком выпрямился, по-птичьи взмахнул руками...

— Б-б-братан твой, да?.. — не скрывая интереса, допытывался парень.

Оторвавшись от площадки, Ганс наклонился, будто бы лег на плотный воздух, вытянув руки по швам, и тело его было почти вровень с лыжами.

И вот эти лыжи, только что скользившие по воздуху, уже скользят по снегу и, круто свернув, описывают замедленную дугу.

Вокруг захлопали в ладоши, послышались одобрительные восклицания.

— 3-з... знакомый твой, да? — приставал парень.

Я неуверенно пожал плечами, снова сгреб в охапку палки и двинулся прочь. Ну что я мог ответить длинноносому парню? Кем он был мне, этот человек, только что прыгнувший с трамплина? Никем. Разве что и вправду знакомым, и то еле-еле.

— А... а... а...

В голосе за моей спиной хлопотал гнев.

Мы дожидались трамвая на глухой остановке у просеки лесопарка.

Перед нами и позади нас стеной стоял заснеженный лес. На еловых лапах громоздились пласты снега, под их тяжестью хвоя поникла, и время от времени белые хлопья с шорохом обрушивались.

Все окрест было расчерчено следами лыж. И две пары трамвайных рельсов, уходящие к горизонту, тоже казались накатанными до блеска прямыми лыжнями.

Ганс скромно помалкивал. Будто ничего не произошло. Будто не он сейчас прыгал с трамплина. Будто не ему хлопали в ладоши, не ему предназначались восторги зрителей.

Я, конечно же, понимал, что прыгал он сегодня не из спортивного интереса, не ради восхищения окружающих. А прыгал он для меня. Чтобы подлизаться ко мне. Чтобы завоевать мое уважение.

Но вместе с тем я не мог не отдавать себе отчета, что он избрал не самый легкий путь для этой цели. Ведь прыгнуть с такого высо-

ченного трамплина, где можно и руки-ноги обломать, и голову свернуть, — это что-нибудь да значит. Это не конфетку подарить.

— А не страшно? — не утерпев, спросил я.

И это были первые слова, с которыми я обратился к человеку за все время, что он жил с нами под одной крышей.

— Нет, — вполне чистосердечно, не красясь передо мной, ответил Ганс. — Я много прыгал... Там.

Должно быть, он имел в виду свою Австрию.

Вдали, очень далеко, там, где в одну нить сходились рельсы, появился трамвай. Он двигался прямо на нас, и поэтому боков его не было видно, а виднелась лишь его головная будка, остекленная сверху, а понизу выкрашенная алым, и он был похож на крутолобого бычка, бредущего своей дорогой. Брел бычок неторопливо, степенно, останавливаясь в раздумье у каждого третьего столба.

— Один раз... был страшно, — вспомнив о чем-то, продолжал Ганс. — Когда мы, шуцбундовцы... уходили в Чехословакия. На лыжи, через границ... Был ночь, и это... как сказать? Фью-у-у-у...

Он засвистал, подобрав губу. Рукой закружил в воздухе.

— Буран? — подсказал я.

— Зихер! Бу-ран... — повторил Ганс. — Мы ничего не видеть... а сзади нас стрелял жандармы... Абер... но они... они тоже ничего не видеть... пуф, пуф — не попаля...

Он рассмеялся.

Но я не стал ему подхихкивать. Я спросил строго:

— А зачем же вы удирали? Почему вы удирали от них, от жандармов? Надо было сражаться, а не удирать!..

— Мы... цуэрст... сначала мы не хотель удирать... Мы, шуцбундовцы, делаль большой восстание. Мы держать в свои руки все рабочи кварталы ин Вена. Но они... этот буржуйски правительство Дольфус, хаймвер, фашисты... они бросать против нас броневиков, пулеметов... они бить артиллери прямо на дома, где жить рабочи, где мы иметь оборона. А у нас... мы почти не иметь оружие, нур... только голый руки...

Он стащил вязаную перчатку и показал мне свою голую руку. Ногти на пальцах были надтреснуты — ведь он работал станочником.

Подошел трамвай. Мы сели в задний вагон.

Лыжи прислонили к барьеру трамвайной площадки, а сами примостились на крайней скамье, что расположена не поперек, а

вдоль вагона. Все остальные места были заняты. Добро хоть эти оказались свободными. Ведь мы порядком устали. Покуда еще стояли на морозе, дожидаясь трамвая, усталость не давала о себе знать. А как только уселись, сомлели враз.

Мимо окон замельтешили еловые ветки, отягощенные снегом.

— Значит, побили они вас — фашисты? — спросил я его напрямик.

Он кивнул головой.

— Побили.

Да. Напрасно. Зря они дали себя побить. Надо было крепче драться! Ведь это вовсе никуда не годится — чтобы фашисты наших побивали.

Ганс как будто догадался, о чем я думаю, и стал оправдываться:

— Социаль-демократише бонзы... они предаваль нас! — Он возмущенно махнул рукой — Швайнерай!..

Ну, уж этого я не разумел. «Бонзы... Швайнерай...»

Я ведь не знал австрийского языка. И я еще тогда маленький был. Не понимал иностранной руготни.

Трамвай остановился.

— Коммуна, — объявил кондуктор остановку. — Следующая — Сокольники... Берите билеты.

И дернул за веревку. Дзинь.

Кстати, насчет этой остановки, насчет «Коммуны». Где-то тут поблизости была знаменитая коммуна имени Феликса Эдмундовича Дзержинского — в ней перевоспитывались беспризорники и всякие урки. Их там перевоспитывал директор Макаренко. Он их так здорово перевоспитывал, что они вместо воровства и хулиганства теперь мастерили фотоаппараты «ФЭД». Однако в Харькове еще хватало и ворья, и уркаганов.

Уж не знаю отчего, но у меня вдруг заныло под ложечкой, когда кондуктор объявил остановку — Коммуна. Я вдруг подумал, что если этот самый Ганс захочет избавиться от меня, от моего присутствия в доме (больно я ему нужен!), то он может нарочно спровадить меня сюда, в коммуну. Хотя я сроду не воровал и не сильно хулиганил. Возьмет да и спровадит...

— Малая Южная, — объявил кондуктор. — Следующая — Маяковская.

В вагон влезла старушка. Пожилая такая старушка-бабушка с плетеной кожаной корзинкой. Из корзинки у нее выглядывал башкастый вилок капусты.

Завидев старушку, Ганс тотчас поднялся, уступил ей место. Вежливый какой. Иностранец.

— Спасибо вам, большое спасибо, — заворковала бабушка, быстро и ловко усаживаясь.

Мне, конечно, сделалось немного стыдно, что он первый уступил место и теперь стоит, а я сижу. Поэтому я тоже встал.

Старушка-бабушка очень обрадовалась и тут же пристроила рядом с собой корзинку с капустой.

— Спасибо, большое спасибо, — продолжала она ворковать. — Вот хороший мальчик, воспитанный мальчик...

Хороший, конечно. И воспитанный. А этот меня — в коммуны!

Видимо, ей, старушке, очень хотелось сказать нам еще что-нибудь приятное, отблагодарить нас за то, что мы освободили для нее сразу два места.

Она умильно улыбалась, переводила взгляд с моего лица на лицо Ганса, смотрела на него, смотрела на меня. Смотрела-смотрела, а потом заявила вдруг:

— На папу похож... Вылитый папа.

Я чуть не прыснул. Вот так сморозила старушка. Надо же такую чушь сморозить! Должно быть, из ума она выжила от старости.

Я украдкой взглянул на Ганса.

Он возвышался надо мной. Он стоял, держась рукой за кожаную петлю, подвешенную к потолку, и слегка покачивался вместе с этой петлей, вместе с трамваем, качающимся на ходу.

В глазах его — я заметил — тоже плясали смешливые искорки, и губы его были поджаты: наверное, он тоже еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Так мы с ним глядели друг на друга, едва удерживаясь от смеха.

Но куда мы с ним глядели друг на друга, смешливые эти искорки помалу стали исчезать из его глаз, и губы обмякли, и брови его почему-то удивленно приподнялись, и все лицо сделалось каким-то растерянным...

Я вдруг тоже ощутил какую-то растерянность.

Я не знаю, что он такое увидел на моем лице.

И я ничего такого не увидел на его лице.

Лицо как лицо.

Глаза темно-серые, темнее ресниц. Дырки в носу округляются спереди, запятыми. На подбородке — ложбинка. Уши торчком.

А-а... Вот в чем дело! У меня тоже уши торчком. И на подбородке у меня тоже имеется ложбина. И ноздри у меня тоже округляются спереди. И глаза у меня тоже темнее ресниц. Это я и раньше замечал, когда наедине кривлялся перед зеркалом.

Значит, вот что сбило с толку старушку-бабушку!

Так ведь на свете сколько людей, у которых глаза темнее ресниц. С ложбинами на подбородке. Подумаешь, сходство!

Никакого у нас с ним нет сходства. И не может быть. И не надо. Он мне никто. И я ему никто. Я Рымарев, а он Мюллер. Я русский, а он немец. Ты картина — я портрет, ты...

И все же, глядя в лицо этого человека, я подумал, что старушка отчасти права.

А он смотрел на меня пристально и смущенно.

Уж не знаю, что он думал при этом.

— Маяковская, — объявил кондуктор. — Следующая — Карла Либкнехта...

3

Хотя они до сих пор оставались нерасписанными в загсе, мама Галя все же сочла нужным представить своего мужа родным и близким, приличия ради.

А родных и близких у нее было негусто. Отца ее, солдата, убили еще в мировую войну где-то в Галиции. Мать умерла от гриппа испанки в девятнадцатом году. Так что рос я не только без отцовских забот, но и не знал ни дедушки, ни бабушки — вот такая мне выпала доля.

И вышло, что единственным родственником мамы Гали оказался тот самый дядя Гриша с заречной Сомовки, который однажды приходил к нам занимать трояк да позабыл вернуть, — Григорий Макарович Горбатенко. Он был даже не родным ее дядей, а двоюродным, но ближе все равно никого из родственников не нашлось.

Мама Галя сказала мне и Гансу, что мы отправляемся на Сомовку.

Ганс нацепил ненавистную мне буржуйскую бабочку, а Ма надела канареечное платье с перламутровыми пуговицами.

Мы двинулись пешком вниз по Черноглазовской.

По дороге Ганс долго и занудно выпытывал у мамы Гали, к кому именно мы идем, уточнял степень родства: по-видимому, он придавал этому вопросу очень важное значение, и, может быть, у них, у иностранцев, на этот счет имеются какие-то особые правила.

— Ну, дядя, понимаешь? Двоюродный дядя, — терпеливо объясняла Ма. — И жена его, и дети. В общем, родня... Седьмая вода на киселе.

— А, так! Теперь я понимаю, — успокоился Ганс. Дошло наконец до него.

Сомовская улица была застроена одноэтажными хатами, но не деревенскими хатами, а городскими. Они смотрели на улицу длинными рядами окон, перемежаясь заборами, калитками. И почти над всеми крышами громоздились воркотливые голубятни.

В такой вот приземистой многооконной хате и проживал дядя Гриша со своей семьей.

У него была жена Оксана. Была у него взрослая дочка Лиза. И сын Петя, пацанок вроде меня. Между прочим, пацанок доводился мне самому троюродным дядей — ошалеешь от этих родственных головоломок.

Дядя Гриша работал истопником в горсовете и явно гордился своей близостью к властям. Взрослая дочка Лиза работала машинисткой там же, в горсовете, но хвастала не этим, а тем, что была довольно-таки красивой дивчиной: высокая, статная, с пухлыми губами, с выщипанными согласно моде бровями-дужками и нахальными зелеными глазами. Даже я, мальчишка, догадался позже, что глаза у нее нахальные: а мама Галя, кажется, поняла это сразу, едва мы вошли в дом, и вся насторожилась, посуровела.

Тетя Оксана нигде не работала, вела домашнее хозяйство.

А пацанок Петя, как и я, уже ходил в школу.

С ним, конечно, мы без труда нашли общий язык.

— Ты кем будешь? — спросил я.

— Летчиком, — уверенно ответил он.

— И я летчиком! — обрадовался я такому совпадению. Хотя никакого совпадения, в общем-то, не было, потому что мы тогда все намеревались стать летчиками.

— А ты на аэродроме когда-нибудь был? — спросил я.

— Нет...

Преимущество оказалось на моей стороне.

Прошлым летом в День авиации мама Галя возила меня на загородный аэродром. Там собралась тьма-тьмушкая народа, я никогда не видал, чтобы сразу столько. И все стояли, запрокинув головы, рты разинув. В небе кувыркались самолеты — они делали мертвые петли и бочки, ввинчивались штопором ввысь и таким же штопором падали едва не до самой земли, и те, кто смотрел, поневоле втягивали головы в плечи...

А потом пролетели над полем грузные четырехмоторные машины и из них, будто горох, посыпались черные точки. Из черных точек вырвались тонкие язычки — и полохнули, раскрылись, надулись купола парашютов всех цветов радуги. Их было великое множество, мне даже представилось вдруг, что там, в небе, сейчас людей больше, чем на этом запруженном зрителями просторном аэродроме.

Парашютисты медленно опускались, и уже можно было различить, как висят под куполами человечки, все одинаковые, в одинаковых комбинезонах, и ноги их одинаково поджаты в коленках, и руки одинаково держатся за стропы — все одинаковые, будто неживые куклы, и только парашюты над ними разных цветов. Лишь когда они один за другим достигали земли, делалось ясно, что это не куклы, а живые люди: они приземлялись по-разному, по-разному касались травы — кто ногами, а кто мягким местом, — и по-разному удерживали рвущиеся из рук, трепещущие, постепенно вянущие парашюты...

Это был замечательный праздник, День авиации, на который возила меня мама Галя.

— А хочешь, я покажу тебе голубей? — выслушав, спросил мой троюродный дядя, пацанок Петя.

— Покажи, — заинтересовался я.

И мы полезли на чердак, на крышу, к голубятне.

Но, помнится, это было — и мой рассказ, и голубятня — уже после того, как в доме Горбатенок нас, дорогих гостей, всех попотчевали знатным обедом.

Тетя Оксана выставила вкусные домашние блюда, а дядя Гриша налил из большого графина в граненые стопки.

— Ну, — сказал дядя Гриша, — давайте за вас, за тебя, Галинка, и за твоего супружника, извиняюсь, я еще не запомнил, как по имени-батюшке... За ваше счастье!

Они чокнулись стопками.

И тогда Ганс, очень тронутый этими добрыми словами и таким душевным приемом, ответил прочувствованно:

— За ваш здоровье!.. За родня, за седьмая вода на киселе!

Дядя Гриша поперхнулся глотком. Тетя Оксана вытаращила глаза. Мама Галя густо покраснела. А взрослая дочка Лиза откинулась к спинке стула и захохотала в полный голос — голос у нее был такой же нахальный, как и глаза.

— Ой, не могу!.. — колыхалась она от смеха. — Вот это да! Ну и остряк тебе попался, Галка, веселый мужчина — люблю веселых мужчин! Подари — возьму. Ха-ха-ха...

— Цыц, — оборвал ее по-отцовски строго дядя Гриша.

А тетя Оксана пожурила с материнской добротой:

— Лизка, ну как тебе не стыдно? Человек ведь по-русски еле балакает, мало ли что сморозит... Да уймись же ты, слышишь, сямская кобыла!

При этом тетя Оксана смотрела на дочку хотя и с укоризной, но и с явным восхищением.

Я же для себя заметил, что, оказывается, на свете, кроме сямских кошек, которых я уже видел — такие ушастые, с зелеными глазами, как у этой Лизы, — существуют еще и сямские кобылы, но мне пока не довелось их видеть. В нашем харьковском зоопарке вроде не было.

А дядя Гриша, чтобы змять это застольное происшествие, налил еще по стопке и завел с Гансом разговор о высокой политике.

— Я, конечно, извиняюсь, — сказал он, — но человек я прямой и люблю напрямую. И вот я хочу вас спросить, дорогой товарищ, по всей прямой, не обижайтесь: как же вы все там прокакали, в своей Германии, и как же вы это могли допустить такое, что власть забрал Гитлер, нехай бы он сдох. А?..

— Пардон... — заволновался и протестующе замахал руками Ганс Мюллер.

— Нет, минуточку! Я еще не закончил. Я человек прямой и скажу напрямую, — слегка нахмурился хозяин, потому что уловил возражение. — Ведь у вас там и коммунистическая партия имелась, в Германии, и товарищ Тельман — известный вождь, и еще в восемнадцатом году у вас там, в Германии, зачиналась революция. И мы тут на вас, прямо скажу, очень надеялись, а вы...

— Гри-иша... — попыталась унять теперь уже своего мужа тетья Оксана, поведя взглядом в мою сторону и в сторону пацанка Пети, ведь мы тоже сидели за этим взрослым столом и поедали домашние вкусные блюда.

— А он вовсе не из Германии, — не вынеся такой очевидной несправедливости, заступился я за Ганса.

— Цыц, помолчи — не дорос еще! — прикрикнул на меня дядя Гриша.

— Нет, правда, — вмешалась в разговор молчавшая до сих пор мама Галя. — Ведь он не из Германии, а из Австрии. Понимаете, он — австриец, почему же он должен отвечать за других?

И тогда Ганс Мюллер, мягко улыбнувшись, подтвердил:

— Я не из Дойчланд, я из Австрия... Но вы отшень прав: мы в Австрия тоже... как вы это сказаль? Да, прока-кали... Мы все должен отвечать за то, что в Германия — Гитлер!

Я не первый раз заметил, что если Ганс Мюллер разговаривал с кем-нибудь о высокой политике, то у него это выходило по-русски куда более складно, чем если бы он говорил о самом простом: ну, насчет погоды, насчет семейных дел и прочей неважной чепухи. А насчет политики у него получалось.

— Вот, вот! — обрадовался дядя Гриша тому, что больше никто ему не перечит и, стало быть, он полностью прав. — Как же вы это могли допустить: ведь все шло как полагается, революционным путем... А теперь товарищ Тельман сидит в тюрьме, и все наши люди сидят там по тюрьмам, по концлагерям, кроме, извиняюсь, вас, которых теперь полный Харьков!..

Он, дядя Гриша, оказывается, тоже неплохо разбирался в политике, во всех ее тонкостях, хотя и до сих пор не мог взять в толк, что Германия — это одно, а Австрия — совсем другое. Наверное, он дотошно читал газеты или же слушал последние известия из Москвы, которые передавала радиостанция имени Коминтерна, самая главная радиостанция в стране.

А может, потому, что работал истопником в горсовете.

Ганс теперь сидел за столом, виновато понурясь, вертел в пальцах пустую граненую стопку.

— Да, мы все допускаль некоторый ошибки... — проговорил он тихо. — Мы допускаль сектантство... А социаль-демократише бонзы предаваль нас!

Про этих самых бонз я уже знал, он рассказывал мне о них, когда мы ехали на трамвае из лесопарка.

— Ой, да ну вас! — вдруг нарушила эту серьезную беседу взрослая дочка Лиза. — Сидят люди за столом, пьют и кушают — а про что у них, спрашивается, разговор? Про каких-то там Гитлеров. Будто старухи на завалянке, деды будто... Ну вы, папаня, и правду сказать, не первой свежести, а вот молодой человек, которого Галина привела — ведь молодой совсем, хлопец еще... Вам сколько лет? — нахально спросила она Ганса.

— Я иметь... двадцать пять ярэ альт.

— Хлопец и есть!.. Давайте лучше споем, как у добрых людей водится под такое. Хотите, спою?

— Самая плохая песня лучше хорошей драки, — сбалагурил дядя Гриша.

— Зачем же плохая? Лизка у нас хорошо поет, с детских лет певунья, — одобрила ее намерение тетя Оксана.

Ганс вежливо закивал.

Ма промолчала.

Я и Петька уминали за обе щеки пирог с капустой. Лизка сняла со стены гитару с пышным розовым бантом на шейке, перебрала струны, подвинтила слева, подвинтила справа, откинулась, задумалась, опустила ресницы. И запела:

Пропала надия, розбылося сэрце,

Заплакали очи мои-и...

Это была украинская песня.

В нашем городе жили и украинцы, и русские, и евреи, и армяне, а теперь вот еще и немцы; все они говорили на своих родных языках или же на смеси украинского с русским; но уж если запевали песню за домашним праздничным столом, то обязательно и непременно — украинскую грустную песню.

И песня, которую пела сейчас Лиза Горбатенко, была очень грустная.

А то дэсь далэко.

С другымы жартуе...

Хоть плачь.

Я заметил, как тетя Оксана, слушая дочкино пение, отерла слезу. И глаза дяди Гриши увлажнились. И в глазах Ганса Мюллера появилась печаль, пусть он даже и не понял ни единого словечка в этой украинской песне. И даже строгие глаза мамы Гали вдруг оттаяли, подобрели.

Лишь глаза самой певуньи Лизки — ее зеленые нахальные глаза, из хитрости прикрытые ресницами (я мог бы побожиться, что из хитрости) — они оставались совершенно спокойными, даже веселыми, покуда она пела эту грустную слезливую песню. Мне так и казалось, что вот сейчас-сейчас она вдруг расхохочется и выдаст какой-нибудь неожиданный номер...

Мои подозрения оправдались.

Лизка шлепнула ладонью по струнам, чтобы они замолкли, поднялась и, не выпуская гитары из рук, пошла вдоль стола, медленно и картинно выставляя ноги, будто танцевала.

Снова затренькали струны под ее пальцами, и она снова запела, но уже другую песню, и уже другим голосом, и уже по-русски:

Нужны наряды мне для та-анцев,
Мне нужен шелк и крепдешин,
Мне нужен муж из иностранцев
На первый случай хоть од-дин...

Все так и обмерли.

Эта песня была из кинокартины «Веселые ребята», — вернее, мелодия песни, слова были другие. Утесов пел, сидя на дереве, эту песню, а слова были такие: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Ее распевали везде и всюду.

И вдруг — мелодия та же самая, а слова нахальные, злые, с подковыркой. Вряд ли их, эти слова, сочинила сама Лиза. Скорее их придумал кто-то другой (тогда была такая мода — переиначивать слова полюбившихся всем песен на босяцкий лад), а Лизка их где-то услышала, запомнила и вот решила преподнести гостям сюрприз.

Но сюрприз ее никому не понравился.

— Цыц! — сердито воскликнул дядя Гриша, первым оправившийся от обалдения. — И чтобы я никогда ничего подобного...

— Лизка, бесстыдница, сиамская ты кобыла! — прикрыла ладонями щеки тетя Оксана. — Да разве ж можно...

Мама Галя встала с места и пошла к окну — взглянуть, наверное, как там на улице, не поздно ли, не пора ли домой.

И только Ганс Мюллер продолжал улыбаться как ни в чем не бывало. То ли он ничегошеньки не понял из этой нахальной песни. То ли ему показалось, что в этом нет ничего предосудительного — когда выходят замуж за иностранцев. То ли у них там, за границей, просто не принято, когда они ходят друг к дружке в гости, лаяться за столом, обижаться либо показывать вид, что обижены. Кто их знает, как там у них.

А тетя Оксана вдруг обратила внимание на нас с Петькой — она заметила, что мы с ним доели все, что положено, все, что нам было положено в тарелки, и сказала:

— Петенька, сынок, а ты показывал Санечке своих голубей, голубятню свою? Покажи, покажи... Ступайте.

Вот тогда-то мы и полезли с ним на чердак, на крышу. И там я ему поведал про День авиации, как прошлым летом мы ездили с мамой Галей на аэродром, как кувыркались в небе самолеты и парашютисты выбрасывались из них. Там-то и выяснилось, что мы с ним оба непременно будем летчиками.

Наверное, уже за полночь мы добрались от заречной Сомовки до наших краев, до Черноглазовской. Были последние метры пути, но преодолевать их было всего труднее, потому что, как я уже говорил, Черноглазовская улица имела отчаянную крутизну, и одно дело — съезжать по ней на лыжах или на санках, а совсем другое — подниматься по ней пешком, когда скользко, когда ночь — за полночь, когда столько до этого пройдено.

Мама Галя шла впереди, загордившись поднятым воротником пальто — вот так, молча, она и прошла весь путь от Сомовки до Черноглазовской.

Ганс плелся за нею, чуть пошатываясь, оскальзываясь то и дело. Наверное, они с дядей Гришей все-таки выпили еще по паре рюмок, покуда согласовывали, что им предпринять насчет Германии и как разделаться с проклятым Гитлером.

Я замыкал шествие.

И всю дорогу слышал, как Ганс Мюллер упрямо бубнил одно и то же:

— Галечка, я отшень верны тшеловек... Ты еще будешь узнавать: я отшень верны тшеловек!..

А весной мы покидали нашу старую квартиру, наш старый дом. Нам дали другую, в другом доме, близ завода, где работали мама Галя и Ганс.

Утром заводской грузовик подкатил к подъезду, шофер с грохотом распахнул борта кузова, и в пятнадцать минут Ганс на пару с этим шофером выволокли на улицу все наше добро. Не так уж много добра у нас было, а в кузов едва вместились. Мебель, ящики, узлы взгромоздились выше кабины. Все это опутали толстой веревкой. Затянули крюки.

Мама Галя устроилась в кабине. Мы с Гансом залезли на самую верхотуру и важно расселись там, как господа.

Машина тронулась.

Почти во всех окнах занавески приоткинулись, за ними маячили любопытные лица, а некоторые высунулись наружу из форток: обитатели дома, соседи глядели, как мы уезжаем.

Смотрел нам вослед старый дворник Никифор, опершись на черенок фанерной лопаты, такой же широкой, как его борода. Говорили, что Никифор служил здесь дворником еще до революции — стало быть, не раз приходилось ему наблюдать, как приезжают и уезжают. Но мне показалось, что он смотрел нам вослед даже с некоторой печалью, хотя я имел прямое отношение к ораве дворовых мальчишек, доводивших порой Никифора «до белого колена».

А сама эта орава бежала за машиной — мои приятели, пацаны: Васька Булыгин, Гошка Карпенко, «четырёхглазый» толстый Марик и все остальные.

Они орали что-то не разбери-поймешь, прыгали, изображали бурное веселье и вообще выдрючивались, как могли, но я видел по их физиономиям, что это показное веселье, грустное веселье расставания. Наверное, им было жалко, что я уезжаю.

И мне, по совести говоря, тоже было жалко расставаться с нашим старым домом, с нашим тесным двором и с этими хорошими пацанами. Я даже почувствовал, как у меня засвербило в носу и в глазах, но, преодолевая эти чувства, я тоже стал хохотать, дрыгать ногами, представляться...

Грузовик нырнул в подворотню, в длинный и гулкий тоннель, протянувшийся под нашим домом между двором и улицей. Ганс

пригнулся, рукой наклонил мою голову, чтобы шишек не набить об арку, — мы ведь с ним высоко сидели.

И откуда машина неторопливо двигалась вдоль тоннеля, я успел заметить вереницу звезд, нарисованных обломком красного кирпича на оштукатуренной стене, — звезда подле звезды, звезда за звездой. Поначалу эти звезды были кривобокими и уродливыми, вроде бы даже и не звезды. Но чем дальше, тем они становились ровнее и четче. А последние, у самого края — те уже были просто загляденье.

И хотя сейчас у стены в подворотне никого не было, я тотчас догадался, чья это работа. Значит, не совсем уж зря я жил в этом доме. Оставил какой-то след, преподавал кой-кому науку.

До свиданья, малыш в башлыке! Будь здоров, малыш. Держи, малыш, нашу марку.

Для взрослого человека, наверное, не такое уж событие — перебраться из одного дома в другой. Ему за свою жизнь столько приходится таскаться с квартиры на квартиру, с одного конца города в другой конец, из одного города в другой город, а некоторым даже и в другие страны.

Но когда тебе девять лет, и все эти девять лет — с тех пор, как ты себя помнишь, — ты жил на одном месте, а теперь тебя везут в другое, пусть даже в том самом городе, тебе кажется, что ты едешь в какой-то совсем иной, необычный, неведомый мир...

Сперва грузовик промчался по Пушкинской улице, я еще раз увидел Пушкина, который обидчиво отвернулся от Гоголя, — и мне показалось, будто я навек прощаюсь с ними обоими. Потом машина вынеслась на площадь Тевелева, и справа мелькнул, ослепил — как неожиданный первый снег — белый фасад Дворца пионеров с шестеркой трубящих горнистов. А я ведь мечтал, что вот уже скоро надену красный галстук с металлическим зажимом, и тогда буду с полным правом ходить в этот дворец, а меня, вот какое несчастье, увозят на грузовике неизвестно куда — и прости-прощай заветная мечта.

Мы круто развернулись у гостиницы «Интурист», неприступной и мрачной, как средневековый замок с угловой дозорной башней, и выехали на проспект Сталина (его лишь недавно назвали так, и многие харьковчане продолжали именовать его по привычке

Старомосковской улицей). Эти, еще недалекие от центра места были мне хорошо знакомы. Вот кинотеатр, где я впервые смотрел «Веселых ребят». А вот деревянный мост через речку Харьков.

Но за этим мостом, за этой речкой начиналась вовсе незнакомая земля.

Встали частоколом заводские трубы, дружно коптящие небо. Громоздкие кирпичные цеха с горбатыми крышами и непроницаемыми от сажи окнами.

— ХЭМЗ, — объяснил Ганс. И даже перевел: — Электромеханически завод.

Вот уж не хватало, чтобы какой-то немец переводил мне на русский язык, что такое ХЭМЗ. Я и без него знал, что это значит, слышал про этот завод.

— ХПЗ... паровозыстроительны, — продолжил он свой интересный рассказ, когда мы проезжали мимо другого завода.

Эти заводы были очень старые, наверное, их построили еще при капитализме — они имели хотя и внушительный, но неприглядный, пачковитый, темный вид.

Однако на том все и кончилось — кончился город. Лишь кое-где попадались кособокие хаты. По жирной грязище бродили скучные псы да замызганные куры. А с другой стороны дороги — ряды дощатых приземистых бараков, все на одно лицо, и это лицо было тоже унылым, скучным.

А потом и того не стало. Шоссе летело прямо по изрытому полю, где в оврагах и яминах копилась талая вода. Вокруг было безлюдно и пусто. Только наш грузовик басовито ревел, набирая скорость. И ныли в вышине провода электропередачи.

Я уж совсем отчаялся, подумал: так оно и есть, вон в какую несут светную глушь увозят меня из обжитых человеческих мест; может быть, просто обманули, сказали, что на новую квартиру, а увозят насовсем из города Харькова в другой, неизвестный город, куда мне никак не хочется, в какой-нибудь жуткий Змиев или Волчанок...

И тогда за поворотом, будто из-под земли, выросли заводские корпуса.

Этот завод даже не был похож на завод. Ни дымных труб, ни тягучих заборов, ни изъеденного кирпича, ни ржавого железа.

Только бетон — легкий, как перышко. И стекло — ясное, как небо.

Пониже той черты, от которой стремились высь гигантские строения, — черты, которая на детских рисунках обозначает «это земля», — распахнулись тоннельные входы, один подле другого, и над каждым — круглый циферблат электрических часов. Сами же цеха были над этими тоннелями, и поэтому казалось, что они палят в воздухе...

Он проплыл мимо глаз — ХТЗ, Харьковский тракторный. Единственный завод из всех мною виденных, который — я знал это — был младше меня самого.

Машина свернула.

И мы уже мчались по улице заводского городка.

Улица тоже была необычной. Дома на ней были расставлены не шеренгой, а уступами, торцами к проезду — как зубья пилы. Они сияли широкими окнами. Они развесили балконы на все четыре стороны. Они выглядели так же задорно и юно, как топольки на обочинах дороги с набрякшими крупными почками — вот-вот взорвутся зеленью...

Все вокруг было напоено влажным весенним духом.

Я раскрыл рот, плотнул этого духа и рассмеялся: мне вдруг сделалось очень весело. Очень радостно.

А я ведь еще не знал, что этот новый мир, в котором мне предстояло жить, на самом деле окажется необычным, удивительным, новым.

У подъезда, где остановился наш грузовик, стояла еще одна машина — уже наполовину опорожненная.

В ее кузове хлопотал коротконогий, однако плечистый, могучей, наверное, силищи человек. На нем была надета черная, домашней вязки фуфайка, под которой округло перекатывались мускулы и колыхалось брюхо. А на голове у него была фуражка-спартакровка: синяя, с лакированным козырьком, вроде бы военная, но не военная — околыш ее опоясан репсовой лентой, а спереди еще плетеный шелковый шнур на пуговках. Почему-то я сразу подумал, что под этой фуражкой у него должна быть плешь, — так оно и оказалось.

Во рту у него была короткая трубка.

Завидев нас и нашу машину, этот человек с неожиданной легкостью перепрыгнул через борт грузовика и, широко улыбаясь, пошел навстречу.

— Гутен таг! Сервус, Ганс! — сказал он.

— Сервус, альтер... — весело ответил ему Ганс.

Они крепко пожали друг другу руки.

— Мах ди бекант мит майна фрау, — заявил Ганс, поддерживая за локоть маму Галю, которая в это время выбиралась из кабины грузовика. И я предполагаю, что эта фраза значила: вот, дескать, имею честь представить — это моя жена.

Потому что он тут же сказал ей самой:

— Галя, пошалюста... знакомься мой товарищ, партайгеноссе... и мой венски сосед...

— Галя, — на всякий случай повторила моя мама, протягивая руку, а то, может, он не расслышал с чужого голоса.

Тогда этот могучий толстяк вынул изо рта трубку, стиснул мамину руку своей волосатой лапищей и прорычал густым басом:

— Кар-рл Р-р-рауш.

А сам при этом с мужицкой бесцеремонностью, обстоятельно разглядывал мою маму и, разглядев, восхищенно подмигнул Гансу. Потом вздохнул и, обернувшись к дому, закричал:

— Э-эльзи!..

И тотчас из подъезда вышла женщина, а за нею двое детей. Но сначала про женщину.

Уж, конечно, ему, Карлу Раушу, оставалось только вздыхать да завидовать своему товарищу, своему партайгеноссе и соседу. Жена у него была, прямо скажем, не картинка.

Во-первых, не очень молода — пожалуй, ему самому ровесница, а выглядит даже старше. Во-вторых, вся она какая-то плоская, вся какая-то будто растоптанная, будто скалкой раскатанная на доске. Жидкие и бесцветные волосы свисают вдоль лица, а глаза обведены впалой тенью и, похоже, заплаканы.

Надето на ней мешковатое длинное пальто, а на рукаве пальто — узкая черная ленточка.

Когда она подошла к нам, ее муж, Карл Рауш, водрузил свою тяжелую лапищу на ее хлипкое костлявое плечо и подтолкнул к маме Гале.

Женщина вымученно улыбнулась, почти не разжимая бледных губ, и назвалась:

— Эльза.

— Галя.

А ее муж Карл Рауш, дотронулся до черной ленточки на ее рукаве и объяснил:

— Ее мать... только умирал... ин Вена.

Впрочем, в голосе его не слышалось особого сочувствия.

— Какое горе!.. — тихо откликнулась мама Галя и тоже дотронулась до плеча этой женщины, Эльзы.

— А-а! — прорычал густым басом Карл Рауш. — Мы все там будет... — И очень бодро махнул рукой куда-то вверх, вроде бы туда, где последний, пятый этаж нашего нового дома.

Но меня уже не интересовало продолжение этого разговора.

Потому что, как я уже упомянул, кроме этой женщины, на зов Карла Рауша из подъезда следом за нею вышли двое детей. И сейчас они стояли здесь, рядом. А когда рядом, совсем рядом стоят и взрослые и дети, то это уже не один общий мир, а два мира — один как бы наверху, другой внизу, и разговоры и всякие дела там происходят одновременно, совершенно независимо друг от друга, один сам по себе и другой сам по себе, на разных уровнях, будто они разделены какой-то незримой чертой — мир взрослый и мир детский.

Их было двое. Мальчишка и девчонка.

Девчонка — я сперва скажу о девчонке, чтобы поскорее с ней развязаться, — была, вероятно, годочком младше меня. Завитки волос, большие и круглые, как сосновая стружка, — могу забожиться, что ей их подвигала на ночь мамаша, потому что в натуре таких кудрей не бывает. Глаза ярко-синие, как цветки, но не те цветки, которые растут, а те, которые малюют на фарфоровых чашках, — очень уж синие.

На ней была надета черная бархатная курточка с латунными пуговками в два ряда, а из-под курточки — фу-ты, ну-ты! — колоколом, парашютом, чайной бабой, во сто складок растопырилась юбка. И чулки на ней какие-то удивительные — не то чулки, не то носки, в полноги, до коленок, в пеструю клетку. Туфельки с пряжками.

И вот когда эта девчонка заметила, что я на нее уставился, как баран на новые ворота, она улыбнулась мне приветливо и — шарк-шарк, одна ножка за другую, юбка в пальцах, мизинцы отставлены — чуть присела и весело так щебетнула:

— Лотта.

Наверное, это имя у нее — Лотта. Ну что ж, пусть будет Лотта.

Что же касается парня, то он был, по-видимому, одногодок мой. Во всяком случае, мы с ним были одинакового роста. Лицом он походил на свою сестру — тоже белобрысый, тоже с глазами синими, но волосы ежасты, глаза колючи, а скулы, подбородок, лоб исцарапаны, исчесаны, расцвечены синяками различной давности.

На парне — кургузый пиджачишко, штопаный-перештопаный, латаный-перелатанный, однако штопка очень аккуратная, искусная, а латки все то в форме сердечка, то вроде дубового листка, то наподобие оленьей головы.

Видно, отчаянный парень — не поспеешь латать.

И штанов на такого парня, видно, не напасешься. Поэтому штаны ему купили особенные. Кожаные, из настоящей сыромятной кожи, прошитые толстыми жилами. Они уж, судя по всему, и с гвоздями имели дело, и на всех заборах висели, и о стенки терлись, а все им нет износа, такие крепкие штаны. Между прочим, у этих штанов была еще одна особенность: спереди, на месте обычной ширинки, располагался особый такой откидной клапан, тоже кожаный, расшитый узором, пристегнутый вверху на две пуговицы, которые, наверное, при надобности нужно отстегивать. Тирольские народные штаны, как выяснилось впоследствии.

Мальчишка в кожаных штанах разглядывал меня довольно нахально. Как будто пытался определить на глаз, кто я и что я и сколько таких пойдет на фунт.

Потом он вдруг вскинул сжатый кулак на уровень виска — молниеносно, движением привычным и уверенным — и, насупив брови, заявил:

— Рот фронт!

Я на секунду опешил. Не потому, конечно, что не знал этих слов: «Рот фронт» — «Красный фронт», это боевое приветствие революционеров знал в ту пору любой и каждый. Но лично ко мне еще никто и никогда не обращался с таким приветствием, и я на секунду опешил.

Но тотчас очнулся от растерянности. И тоже взметнул сжатый кулак. И тоже сказал:

— Рот фронт!

Мальчишка удовлетворенно кивнул. Насупленные брови его подобрели.

— Отто, — сообщил он, ткнув себя пальцем в грудь.

— Саня, — ткнул себя пальцем в грудь я.

На этом наша первая беседа и закончилась.

Потому что из дома, из подъезда, завидев наше прибытие, выходили все новые и новые люди. По-видимому, они, эти люди, тоже вселились сюда совсем недавно, немногим раньше нашего, но уже успели рассовать по углам свой скарб и по этой причине чувствовали себя старожилками, и вот, завидев, что приехала еще одна машина, они заспешили навстречу: с приездом, дескать, добро пожаловать, не требуется ли вам какая помощь?

Надо заметить — а я это заметил сразу, — что все они были одеты совершенно одинаково, на один манер, будто их всех только что выпустили из одной швальни, где повзводно и поротно обмундировывают солдат, но выдают им при этом не военную, а штатскую одежду.

На всех были надеты корявые швейпромовские пиджаки в полосу, с торчащими лацканами, такие же полосатые брюки очень щедрого покроя, и у некоторых эти брюки были заправлены в хромовые сапоги.

Короче говоря, все эти люди были одеты с той завидной неприязательностью, с какой одевались тогда почти все советские граждане — от счетоводов до наркомов.

Одинаковость их одежд тем более бросалась в глаза, что все эти люди, вышедшие из дома нам навстречу, были самых различных национальностей, и говорили они на разных, неизвестных мне языках.

— Салуд, компаньерос! — белозубо улыбнулся смуглый, почти чернокожий парень, худой и подвижный, как ящерица (звали его Алонсо), и, взвалив себе на спину дубовый комод, потащил к подъезду.

— Эт-ву бьен зариве? — предупредительно осведомился у мамы Гали высоченный красавец с румянцем во всю щеку и с пышной вьющейся шевелюрой. Его имя — Франсуа, как это я позже узнал, — избавляло его от необходимости сообщать дополнительно, из какой страны он родом: Франсуа — тут уж все вместе: и кто и откуда.

— Глэд тэ миит ю, Гибсон... — оттеснил этого красавца человек с колючей щеточкой седых усов на обветренном лице. И, нагрузив товарища вязанкой стульев, укоризненно сказал вслед: — Он очень много... разговаривайт!

— Выскочил!.. — сообщил маме Гале застенчивый и лысоватый мужчина в очках.

— Кто? — перепугалась мама Галя, и тотчас же глаза ее озабоченно заметались. Уж известно, кого они искали.

— Я, — утешил ее мужчина в очках. — Моя фамилия Выскочил. Знаете, у чехов самые смешные фамилии в мире...

Он приладил на плечо тяжелый узел, в котором — внутри, в глубине, в мягком — что-то домовито позвякивало.

— Ян Куля...

В общем, наш грузовик опустел мигом.

Мама Галя чуть растерянно и смущенно смотрела на все это разноязыкое и шумное общество, проявившее к нам, а особенно к ней, такое внимание.

— Мы тут иметь... целы Коминтерн! — значительно подняв трубку, объяснил ей Карл Рауш, первый из наших новых знакомцев.

Мясистое лицо его просияло какой-то одухотворенной отеческой радостью. По-медвежьки обхватив плечи Ганса, он крепко его обнял.

А мое внимание снова отвлеклось от этого мудреного взросло-го мира.

Из дома, из нашего подъезда, выбежала девчонка. Не та, о которой я уже рассказал. Другая. Еще одна. Огромный бант на тощей, как бечева, косичке прыгал за ее спиной из стороны в сторону, вверх и вниз. Под мышкой она держала двухцветный мяч.

Она выбежала на крыльцо и сощурилась от яркого мартовского солнца. Нос ее при этом очень потешно сморщился в мелкие складочки.

Когда же ее глаза чуть освоились с солнцем и она обрела способность видеть все окружающее, то в первую очередь, конечно, уставилась на меня. С явным любопытством. Им, девчонкам, всегда очень интересно, когда в доме появляется новый мальчик.

Я же, порядком ошарашенный всем, что сегодня уже видел здесь и слышал, стал лихорадочно искать в уме какие-нибудь иностранные слова — может, что-нибудь и застряло, — но обнаружил, что из всех из них остались в памяти лишь два слова. И то давно знакомых.

Ну что ж, вполне достаточно.

Я поднял сжатый кулак.

— Рот фронт!

Девчонка, заслышав это, переложила свой двухцветный мяч под другую руку и с готовностью взметнула кулачок.

— Рот фронт!

Договорились. Хорошо. Попробуем двинуться дальше.

— Саня, — ткнул я себя пальцем в грудь.

— Таня, — ткнула себя пальцем в грудь девочка.

И не успел я еще осмыслить происшедшее, как бант на тощей косичке заметался из стороны в сторону, мяч, выроненный из рук, поскакал по ступенькам, а сама девчонка залилась смехом, и нос ее опять уморительно сморщился.

Двухцветный мяч, как собачонка, которую долго продержали взаперти, а потом наконец пустили гулять, весело, вприпрыжку убежал от крыльца...

Она бросилась за ним — догонять.

И, догоняя, все оглядывалась, все хохотала, и бант каким-то чудом — сам по себе — поржал над ее головой.

5

Эта девчонка, Таня, а по фамилии Якимова, оказалась не только моей соседкой, а, как вскоре выяснилось, еще и моей одноклассницей, и нам с ней пришлось сидеть на соседних партах. Мало того, мать девчонки — Софья Никитична Якимова — была в этом классе учительницей. А Танькин отец работал на том же заводе, что и мама Галя, и Ганс.

Но об этой девчонке и вообще о Якимовых я не стану покуда вдаваться в подробности. Сначала я расскажу о других обитателях нашего нового дома.

И здесь необходимо одно пояснение.

Обитатели нашего дома были в своем большинстве иностранцами. И большинство среди этого большинства говорили по-немецки — это был их родной язык, ничего не поделаешь.

И некоторых, конечно, удивит, как это я мог с ними общаться, как я мог понимать, что там они говорят между собой, и как я им мог отвечать, когда они меня о чем-нибудь спрашивали.

Так вот, уже через месяц после того как мы поселились в этом удивительном доме, я понемножку стал понимать немецкий язык, а еще через месяц — кое-как говорить. И дело тут вовсе не в ка-

ких-то особых моих способностях. Но если вокруг тебя целый день с утра до вечера и день за днем калякают на чужом языке, а тебе интересно, о чем это они, а иной раз даже подумаешь, что это они про тебя, к тому же вдруг ни с того ни с сего к тебе лично обращаются на иностранном языке, а ты стоишь как пень, моргаешь глазами и ничегошеньки не понимаешь, ни единого слова, — то это и есть самый лучший и самый испытанный на белом свете способ изучать иностранные языки, и уже через месяц любой и каждый станет разбираться, про что это лопочут окружающие люди, а еще через месяц сам начнет лопотать на иностранном языке — да так, что будь здоров...

Правда, наука эта мне впрок не пошла. Когда чуть позже в школе нас стали обучать немецкому языку, то едва мы продвинулись страницей дальше этих двух известных дурех — Анны унд Марты, которые сначала «баден», а потом «фарен нах Анапа», — мои ответы неизменно оценивались двойкой, или, как это тогда называлось, «плохо».

Меня губило произношение.

Дело в том, что люди, проживавшие в нашем доме и изъяснявшиеся между собой на немецком языке, вовсе не были немцами. Они были австрийцами и почти все уроженцами Вены. Поэтому изъяснялись они меж собой на некой разновидности немецкого языка — на венском диалекте. А этот диалект столь же похож на благородный «хох-дойч», как живые беседы в торговых рядах нашего Благбаза на диалоги в драматическом театре. Настоящие немцы, услышав лишь начало фразы, сказанной на венском диалекте, тут же впадают в корчи и умирают на месте от смеха. Так мне рассказывали.

Я видел только одного настоящего немца, вернее, одну настоящую немку, которая не умерла от смеха, услышав венский диалект. Это была преподавательница немецкого языка в нашем классе. Она не смеялась. Она бледнела, как полотно, от возмущения, когда я начинал зачитывать по учебнику дальнейшие веселые приключения Анны унд Марты, пользуясь произношением и интонациями моих соседей по дому. Она бледнела, как полотно, и говорила «генуг», что означает «хватит с меня». И выставляла «шлехт», «плохо», то есть двойку.

Но для истории, которую я рассказываю, вполне годится венский диалект — ведь люди, о которых идет речь, успешно им об-

ходились. Они и миловались и бранились на этом диалекте, здоровались и прощались, смеялись и плакали, говорили о работе и погоде, о насущном хлебе, о мировой революции — они друг друга вполне понимали на этом диалекте, и, что особенно важно, я тоже стал понимать, о чем они говорят.

Чаще всего мы бывали у Раушей, благо жили они этажом ниже нас. Мы — это Ганс и я, поскольку мама Галя как-то не сумела свести дружбу с Эльзой Рауш. Сперва не сумела, а позже и не старалась.

Кроме того, у Раушей собиралась исключительно мужская компания. И это даже не было похоже на компании, которые собираются ради того, чтобы выпить и закусить, сыграть в картишки.

Здесь не пили, не закусывали, не играли в карты. Только дымно курили. И разговаривали. Это больше походило на какое-нибудь ответственное собрание, чем на пустячную вечеринку.

А может, это и были собрания?

Карл Рауш, водрузив на нос роговые очки, шелестел страницами DZZ — немецкой коммунистической газеты, которую выпускали в Москве, — и вслух утробным басом читал из нее все подряд статьи и заметки. Иногда его бас достигал особой рокошущей силы, так что казалось, будто данное место в статье было напечатано одними лишь буквами «ррр», и в этот момент крупный ноготь чтеца с силой отчеркивал строку на газетном листе, — и у меня пробегали мурашки меж лопаток: я не выносил, когда скребли ногтем по бумаге, а кроме того, мое сердце обмирало от почтительной робости.

Да и все остальные мужчины, которые находились здесь, слушали Карла Рауша с очевидной почтительностью и робким благоговением.

Отчеркнув строку в газете, Карл обычно вставал из-за стола, подходил к книжной полке, стоявшей у них в углу, и рывком извлекал из теснотищи книг увесистый том.

Я успевал заметить на корешке или обложке: «Карл Маркс», «Карл Либкнехт»...

И при этом всегда почему-то в сознании возникало, становилось рядом: Карл Рауш.

Он уверенно и быстро пролистывал страницы, находил нужную, разглаживал шов широкой мозолистой ладонью, окидывал

аудиторию пристальным взглядом — поверх очков — и снова начинал читать, уже из книги.

И снова все сосредоточенно прислушивались к его рокочущему басу, а некоторые даже записывали что-то в тетрадки и блокноты.

Закончив чтение, Рауш гулко захлопывал книгу, снимал очки, слегка подрагивающей от возбуждения рукой брал со стола трубку, долго уминал в ней табак, скосив глаза к жерлу, а потом, пыхнув дымом, обводил этой трубкой присутствующих — приглашал товарищей высказаться.

Они высказывались по очереди, по кругу, кто расторопно и бойко, будто отвечая хорошо вызубренный урок, кто неуверенно и застенчиво, заикаясь и мямля, кто натужно и раздумчиво, морща лоб, тербя галстук...

Карл слушал, одобрительно кивал головой, удивленно воздевал брови, протестуяще взмахивал трубкой, издавал горлом какие-то отрывистые хриплые звуки, но помалкивал до поры до времени. Выжидал.

И я выжидал. Я с томительной досадой пережидал речи всех этих мямлей и заик, таратор и тугодумов, Ганса в том числе. Мне ведь, откровенно говоря, до тошноты надоели, обрыдли подобные же, лишь возрастом поменее, краснобаи в школьном классе, где я учился.

Но вот наступала долгожданная минута.

Карл Рауш поднимался с места и, пригладив на темени два-три оставшихся там волоска, резко выбрасывал руку вперед.

Его речь была вдохновенна и страстна, ошеломляюща. Пружинистый могучий живот ходил ходуном под свитером, на шее вздувались четкие синие жилы, слюна вскипала в уголках губ, а подобный молоту кулак угрожающе обрушивался на край стола.

Как-то так, само собой, у него получалось, что почти все слова, из которых состояла речь, тоже рокотали победной и гневной буквой «р»: «Р-р-революцион... дер-р-р ар-р-рбайтер-р-р... унзер-р-ре пар-р-ртай... Фер-р-рахтенсвер-р-ртен фер-р-ретер-р-р... р-р-реви-зионистен...»

Вероятно, в этот момент он забывал, что стоит не на трибуне, а за простым обеденным столом, не на митинге, а в ухоженной уютной комнате, и что перед ним лишь горстка соседей по дому, сидящих с разинутыми ртами, а не тысячная, бурлящая неистовством толпа...

И, право же, мне самому становилось до слез обидно и жалко, что весь этот пыл, вся эта недюжинная страсть расходуется так щедро — а ради чего, ради кого?

Мне представлялась огромная площадь, запруженная людьми, колышущееся море красных знамен, лес вздыбленных кулаков, сверкающие глаза, сурово сжатые челюсти — и над всем этим набатно грохочет голос Карла Рауша, и эхо разносит по улицам его непримиримое бунтарское «ррр»...

Для меня Карл Рауш был образцовым воплощением революционера, борца, коммуниста.

Именно он, а не кто-то другой. Потому что очень трудно думать о революции и прочих возвышенных делах, когда изо дня в день наблюдаешь другого человека, а он, этот другой человек, вместо боевых пролетарских песен мурлычет за бритьем глупые песенки из заграничной кинокартины «Петер», обожает блинчики с повидлом и на досуге рассказывает мне бесконечные истории о каком-то Тарзане, то ли родившемся от обезьяны, то ли женившемся на обезьяне.

А Карл Рауш — он оставался даже в самой обыденной повседневности воителем и борцом.

Однажды мы с Откой Раушем, разжившись деньгами, купили себе по пугачу. Это были отличные пугачи — от них получался страшный грохот, много дыма и, надо признаться, отчаянной вони.

Вооружившись этими пугачами, мы с Откой затеяли ожесточенную перестрелку на лестнице: прячась за перилами — он на своем этаже, а я на своем, — мы, не жалеючи, изводили гремучие пробки, и, будь это настоящие револьверы, уже вся лестница была бы завалена нашими бездыханными трупами.

На шум выскочила мама Галя. Она сказала, что мы устраиваем сумасшедший дом, что у соседей, наверное, полопались барабанные перепонки, что от этого дыма может случиться пожар, — словом, то, что обычно говорят матери в подобных нередких случаях.

Еще она заявила, что незачем баловаться такими идиотскими игрушками, убивать друг друга, а лучше бы мы что-нибудь смастерили из детского конструктора, который был мне недавно подарен.

И как раз в это время по лестнице поднимался Откин отец, Карл Рауш. Он остановился, послушал, взошел еще на один этаж — туда, где стоял я и где выражала свое негодование мама Галя, — при-

близился ко мне, отечески положил руку на голову, ободряюще улыбнулся, погладил и негромко, вразумительно сказал моей маме:

— Это не так страшно, фрау Мюллер. Это ничего себе... Пусть они с детства привыкать к оружию. Им еще предстоит серьезный классовый бой. Они должны это уметь, геноссе Галя! Вы понимать?..

Мама Галя опустила глаза и лишь пожала плечами.

А Карл Рауш, подтолкнув меня к ступенькам, посоветовал:

— Идите на двор, ты и Отто... Вы можете там сделать настоящий баррикад.

Я очень завидовал Отке, что у него такой отец.

И не только по этой причине я завидовал ему.

Ведь Отка, хотя он и был моим ровесником, уже успел повидать такое, что мне самому было знакомо лишь по книжкам да по кинофильмам.

Он приехал оттуда.

Конечно, он изрядно злоупотреблял своим преимуществом, своим жизненным опытом. Нам, русским ребятам, становилось мучительно неловко, когда этот пацан с ежастыми белобрысыми волосами, пыжась от солидности, начинал нести такое:

— Я иду по улице, вижу — стоит полицейский. Подхожу к нему, здороваюсь. Он отдает честь. Тогда я похлопываю его по спине: хороший ты, мол, парень, молодец! И скорее — за угол... А у него к спине уже приклеена листовка. Все вокруг смотрят, смеются, а он вертится, как идиот, и не понимает, что произошло...

Нам эта история очень нравилась. Мы хохотали захлеб над одураченным полицейским.

Нам только не очень внушало доверие одно обстоятельство. Мы никак не могли себе представить Отку снисходительно похлопывающего по спине дюжего полицейского. Мы как-то не могли поверить, будто там, в Вене, царит такая фамильярность, что всякие пацаны треплют полицейских по спинам.

Мы догадывались, что Отка врет.

Но тем не менее ни у кого из нас не возникало сомнений в том, что наш Отка на самом деле видел живого полицейского и, может быть, действительно был очевидцем того, как этому дурню приклеивали к спине листовку.

И мы знали, что в том районе, где жил со своими родителями Отка — в венском районе Майдлинг, на Хохенбергерштрассе, —

шли жестокие уличные бои, и стреляли там не вонючими пробками, и убивали всерьез, и Отка был прямым свидетелем всех этих страшных событий, даже если ему и довелось тогда сидеть в подвале, у мамкиной юбки.

Мы уважали за это Отку. Завидовали ему. И прощали, когда, осерчав, он начинал бить себя кулаком в грудь и орал заносчиво: — Я — шуцбунд!..

Что же касается матери его, Эльзы Рауш, то, на мой взгляд, она была довольно странной женщиной. Во всяком случае, ей были присущи некоторые странности.

Например, такая странность. Когда Отка выпрашивал у нее деньги на мороженое, она ему не перечила, не говорила, что, дескать, не дам, — она брала кошелек, доставала оттуда несколько белых монет, дотошно их пересчитывала, а потом, воздев глаза к потолку, начинала беззвучно шевелить губами. То же самое я замечал в магазине, где фрау Рауш покупала сахар и масло: взглянет на ярлычок с ценой, достанет из кошелька рублики, помусолит их, считая, а потом вознесет очи — и шевелит губами, шевелит... При этом глаза ее в конце концов всегда наполнялись слезами.

Я, грешным делом, все это сопоставив, предположил, что она религиозная, богомолка, что она перед тем, как истратить деньги, обращается к богу и шепчет молитвы — бывают такие странные пожилые женщины.

Я даже Отку спросил однажды, верно ли мое предположение.

Но Отка в ответ расхохотался весело и объяснил мне, что его мать хотя и довольно отсталый в политическом отношении человек и отец его по этой причине часто лается с нею, но в бога она не верит, не ревностная католичка. А губами она шевелит потому, что никак не может привыкнуть к советским деньгам и всякий раз переводит их в уме на австрийские деньги, на шиллинги. Сколько это будет по-ихнему и сколько по-нашему.

Признаться, я лишь отчасти поверил этому объяснению, так как для меня оставалось загадкой: почему же в подобных случаях глаза Эльзы Рауш всякий раз наполняются слезами?

В равной мере казалось мне странным, что она, эта фрау, упорно меня не узнавала. Я заходил к Отке едва ли не каждый день, и Отка, что ни день, навевался ко мне — мы с ним в общем подружились, пусть он и был зазнайкой. Но всегда, открывая дверь, Эль-

за Рауш смотрела на меня с великим изумлением, будто видела впервые, недоуменно выгибала брови и спрашивала Отку, кто, мол, это такой и зачем он пришел (она спрашивала по-немецки, никак не допуская, что я уже понимаю), и успокаивалась лишь тогда, когда Отка ей объяснял в сотый раз, что я Мюллер и живу этажом выше.

Я действительно жил этажом выше, хотя, слава богу, не был Мюллером. Я был Санькой Рымаревым. Однако я не лез пререкаться, так как боялся, что она меня выгонит, едва только выяснится, что я никакой не Мюллер.

Но, даже поверив, что я Мюллер, учтя это смягчающее обстоятельство, фрау Эльза не спешила выразить мне свои соседские симпатии. Она по-прежнему разглядывала меня с каким-то осторожным любопытством, с брезгливой жалостью, и, когда она так на меня смотрела, я ощущал вдруг противный зуд на теле, в поясице и под мышками, казалось, будто что-то по мне ползает, а руки не смеют скользнуть за пазуху — почесать, где чешется, где свербит.

Она никогда со мной не разговаривала.

Кроме австрийских шуцбундовцев, в нашем доме, как я уже говорил, проживало множество людей самых различных национальностей. Все они работали на Тракторном заводе. Почти все знали друг друга. Но более тесно общались меж собой все же по принципу землячества: немцы с немцами, венгры с венграми, а чехи со словаками. И партийные ячейки у них были отдельные — свои, кто откуда родом. И помимо общих для всех, самых главных, мирового масштаба, забот, у каждой такой ячейки были свои собственные заботы, свои насущные дела.

По этой причине и мои личные знакомства ограничивались в основном земляками Ганса Мюллера, а об остальных я больше знал понаслышке, по рассказам, по слухам, а то и сплетням.

Я знал, например, что нелюдимый и хмурый человек из шестого подъезда, Теодор Барча — с белой головой, землистым лицом и трясущимися руками, — пьет запоем с тех пор, как его жену и двоих сыновей задушили в румынской сигуранце в отместку за его недосыгаемость. Я часто видел поутру, когда торопился в школу, как Барча медленно и спотыкливо, с остекленелым взглядом бредет из магазина, и борт его измятого пиджака с загнутыми на грудь лац-

канами изнутри обремененно топорщится... Потом Барча исчез. Говорили, что его увезли в больницу.

А вот о поляке Яне Куле по двору ходили куда более забавные рассказы. Этот низенький и юркий, тонконогий, с бриолиновым пробором и холеными усиками Куля оказался большим любителем жениться. Он женился три раза подряд и трижды развелся. Но на четвертый раз его прибрала к рукам здоровущая чернобровая дева, официантка с фабрики-кухни. Она заставила его сбрить усики, не выпускала гулять без присмотра и, по свидетельству соседней, иногда поколачивала. От добрых фабричных борщей Ян Куля в течение одной зимы накопил брюшко, размордел и приобрел степенность походки.

Но уж кого я знал не понаслышке, а с кем был дружен, по-настоящему дружен и очень той дружбой дорожил и гордился, так это Франсуа.

Дядя Франсуа — так я его называл, так называли его все наши мальчишки.

Какая может быть дружба с человеком, которого называешь дядей? Это верно.

Но дяде Франсуа было всего лишь двадцать лет. И сам он даже не являлся политическим эмигрантом, а был только сыном политического эмигранта. Он приехал из Франции недавно вместе с отцом и матерью, и поступил здесь в технологический институт, а там, у себя, он учился в лицее.

Кой черт мы называли его дядей? Непонятно. Разве потому лишь, что это ему самому очень нравилось и возвышало его в собственных глазах... Дело в том, что Франсуа принадлежал к особой категории взрослых людей, которые никак не могут расстаться со своим детством — да и не хотят. Был он саженого роста, строен, плечист. Голову его украшала восхитительная золотая шевелюра. Щеки полыхали румянцем. И тридцать два зуба, белых, как молоко, сверкали открыто и весело.

Возвратившись днем из института, он, еще не дойдя до дому, швырял наземь свой портфель и принимался гонять с нами мяч. Его длиннющие, как жерди, ноги в десяток скачков мерили расстояние от ворот до ворот, задирались до неба и переплетались жгутом, когда он «водился» перед каким-нибудь сопливым достававшим ему до пояса хавбеком. При этом он темпераментно, по-мар-

сельски горячился, истово жестикулировал, огорчался до слез, пробив мимо, и отплясывал в диком восторге, заложив «штуку».

Отобедав, он снова появлялся во дворе. И тут мы при его живом участии затевали разные новые мероприятия. Запускали «монаха» (все провода на нашей улице были увешаны поникшими хвостатыми «монахами»), мастерили луки, сманивали чужих голубей, играли в сыщиков-разбойников.

К этому нужно добавить, что Франсуа был, как и все мы, заядлым филателистом и мог часами ретиво торговаться, обменивая засаленную Танганьiku на дырявый Цейлон — словом, круг наших интересов совпадал целиком и полностью.

Боже упаси предположить, что все это Франсуа проделывал лишь ради того, чтобы развлечь нас, мальчишек, что он снисходил к нам из простого великодушия и доброты, что он лицемерил и прикидывался. Ничего подобного.

Даже взрослое — очень взрослое — у него проявлялось порой чистейшим мальчишеством.

Расставив на доске шахматы, он долго и сосредоточенно мусолил за спиной пару пешек и очень огорчался, обнаружив, что ему придется играть черными, которых он ненавидел и называл «кагулярами». Он предлагал любую фору, лишь бы ему уступили белые фигуры. Ему уступали. И тогда он грозно взглядывал на черного короля:

— Де ля Рок... У-у!

Мы уже знали от него, что, кроме главных фашистов — Муссолини и Гитлера, были, оказывается, в некоторых странах и свои собственные фашисты, и с ними у порядочных людей были свои собственные счета. Так вот, де ля Рок был главарем «кагуляров», французских фашистов.

Франсуа загонял его в угол, торжествующе вскакивал:

— Мат!

И щелчком вышибал с доски черного короля.

Он чистосердечно, увлеченно, преданно жил в нашем мальчишеском мире. Ему не хотелось покидать этот мир.

Мы не раз наблюдали, как отец, отозвав Франсуа в сторону, что-то выговаривал ему, укоризненно покачивая головой. Дядя Франсуа стоял перед ним, теребя манжеты. Склоненная золотая шевелюра нависала над отцовской шляпой. Виноватый румянец рдел на щеках, а ресницы кротко подрагивали.

Если закрыть глаза, то можно представить, что стоишь на Красной площади, у Кремлевской стены, рядом с ленинским Мавзолеем...

Гудит площадь, запруженная по краю народом. Посредине площади безмолвствуют войска. Все напряглось в ожидании урочного мгновения, за которым праздник становится уже не предвкушением, а явью.

И вот откуда-то сверху, с весеннего неба, проливается звон курантов.

Откуда-то сверху, а именно из горластого репродуктора, нависшего над трибуной.

Потому что, только закрыв глаза, можно представить, что стоишь на Красной площади, у Кремлевской стены, в Москве.

А на самом деле мы с Гансом стоим на трибуне в другом городе — не столичном, а обыкновенном, в нашем Харькове, где я живу, учусь, а Ганс Мюллер работает на заводе, и ему на этом заводе оказали честь, выдали пропуск на первомайскую трибуну, а он и меня взял с собой — спасибо ему, молодец.

И хотя наш город не столица, не Москва, не Киев, но он тоже велик и у него есть свои неоспоримые достоинства.

Скажем, площадь Дзержинского, на которой мы сейчас находимся. Она, говорят, в несколько раз больше, чем Красная площадь в Москве, и в несколько раз больше, чем главная площадь Ленинграда, и вообще, как известно любому харьковчанину, она больше всех площадей в мире. Ее обступили полукольцом уступчатые небоскребы — Госпром и Дом проектов, и тоже любому харьковчанину известно, что таких высоченных небоскребов нет пока ни в Москве, ни в Киеве.

И для празднеств наша площадь Дзержинского — самая подходящая из площадей. Во всю ее ширину и во всю ее глубину, сколько видит глаз, четкими квадратами выстроились войска. Войск много. Войск — сила. Такая великая сила, что поглядишь на нее — и не останется никаких сомнений, что сильнее этой силы быть не может.

Позади замерших пеших войск чуть колыхались, чуть шевелились конные войска: это, должно быть, лошади не в лад переминались, мотали гривами. Позади конницы стыла в неподвижности зе-

леновато-серая масса брони, и над ней чуть клубился, растворяясь в воздухе, сивый бензиновый дым.

А еще дальше пунцовело море знамен, плавилось на солнце золото оркестров, там, на пороге площади, ждали своей поры колонны демонстрантов.

И вот отзвенели куранты.

Прокатилась вдоль строя войск многократно повторенная команда:

— Смирно!..

— Смирна-а-а!..

— А-а-а...

Трубы грянули марш.

Из-под арки небоскреба на тонконогом гнедом жеребце выезжает командарм.

Он в гимнастерке, стянутой портупеей, в фуражке с коротким лихим козырьком. На груди — боевые ордена. Сверкают золотые ножны круто изогнутой сабли.

Командующий парадом — на сером в яблоках — мчится навстречу.

Оборвался марш.

— Товарищ командарм первого ранга... — донесся рапорт.

И минутой позже юношески звонкий голос командарма:

— ...поздравляю вас с праздником Первого мая!

— Ура-а-а!.. — лавиной несется по площади.

Снова марш. Дробный цокот копыт. Командарм объезжает войска.

А потом фанфары пропели: «Слушайте все!»

Командарм спешился и взошел на трибуну. Надел очки. Адьютант подал ему белый лист — отпечатанную речь.

— Товарищи бойцы, командиры и политработники!.. — начал командарм.

Я, замороженно разинув рот, следил за всем этим торжественным церемониалом. Я млел от восторга. Я впервые в жизни был на военном параде.

Я ловил каждое слово.

— ...держат порох сухим. Коричневая чума фашизма грозит войной миролюбивым народам... — суровел голос командарма.

И я тоже сурово сдвигал брови.

Только мне мешали слушать.

Мне мешал девчоночий шепот сверху.

На плече стоящего рядом со мной человека сидела девчонка. С пышным бантом в тощей косичке. Знакомая мне девчонка. Якимова Танька. Из нашего дома. Из нашего класса. Отец ее работал на том же заводе, что и Ганс. Был он там главным конструктором, чуть ли не самым главным конструктором. Ему тоже дали пропуск на трибуну. И он тоже взял с собой ее, свою дочку. Посадил ее, будто маленькую, на плечо, чтобы ей виднее было. И вот она, сидя на плече, дотошничала:

— Папа, это он?

— Он.

— Который в учебнике?

— Да.

Девчонка на секунду замолкла. Притихла от благоговения.

Но ей, конечно, показалось недостаточным знать самой, что он — это он.

Она наклонилась, уронив свою тощую косичку, и сообщила настырным, за версту слышным шепотом:

— Санька, знаешь, кто это? Тот, который в учебнике...

Вот спасибо! Будто я без нее не знал. Да, который в учебнике. В «Истории». Герой гражданской войны. Он самый. И я его вижу своими глазами. Совсем близко. Я стою почти рядом с ним. С героем. С историей.

— ...уже сегодня фашистские бомбы падают на беззащитные города Абиссинии, Испании, Китая... — возвышает голос командарм.

Но девчонке нейдет.

— Это Санька, из нашего класса, — сообщает она отцу. — А это его папа.

Ну, тут уж, конечно, становится ясно, что она так и не даст дослушать речь.

Я оборачиваюсь и вежливо киваю головой: здрастье, мол. Очень приятно.

Он здоровенный человецище, Якимов, повыше Ганса. На нем просторный серый костюм и украинская рубаша с вышитой грудью, узорным воротом, стянутым на дюжей шее шнурочками с помпонами. У него крутые кудри, тронутые сединой, и косматые брови. Черты лица его резки, и вообще он производит впечатление довольно хмурого дядьки. Но вид у него сейчас немного смущенный.

У Ганса тоже смущенный вид.

Так смущаются люди, когда их знакомят друг с другом после того, как они уже давным-давно знают друг друга и что ни утро нос к носу встречаются на лестничной площадке.

— Якимов.

— Мюллер.

Все как положено.

— Наслышан о вас, — сказал Танькин отец, — а вот поговорить как следует не довелось...

Но и на этот раз тоже не довелось.

Потому что все на свете заглушил наползающий грохот. Мимо трибуны двигалась артиллерия. Грузные тягачи волокли за собой длинноствольные, могучего калибра орудия. Страшно зияли жерла.

— Ого! — восхищенно вскрикнула Танька.

— И ничего не «ого», — отозвался я. Мне хотелось отличиться перед взрослыми, привлечь к себе их внимание. — Ползут... как черепахи.

— Верно, — заметил надо мной Якимов. — Очень верно сказано.

Я надулся от гордости.

— Устами младенца... — продолжал Якимов, по-видимому, обращаясь к Гансу.

— М-м... — неопределенно промычал Ганс.

Я шмыгнул носом. Не больно приятно, когда тебя обзывают младенцем.

Следом за артиллерией, скрежеща гусеницами, шли по площади танки. Впереди — для заправки — юркие зеленые танкетки, совсем игрушечные с виду. Потом — чуть побольше, с парой торчащих плоских башен, в каждой башне по пулемету. Потом — еще больше, еще больше...

И вот позади всех прополз, прогрохотал мимо трибуны медлительный, огромный, невообразимо огромный танк. Он был похож на военный корабль. На гору. И еще он был очень похож на тот врангелевский пленный танк, который стоял на площади у Благбаза и в который однажды — ох, как давно это было! — мне удалось проникнуть.

— Такая махина и такая ничтожная огневая мощь... — досадливо пробурчал надо мною якимовский бас.

— М-м... — снова уклончиво отозвался Ганс Мюллер.

Над площадью низко, распластав широкие, обрубленные с концов крылья, летели самолеты.

После демонстрации мы отправились домой вместе, вчетвером.

Трамваи не ходили. Им невозможно было бы пробиться сквозь запруженные народом улицы. Даже автомобили с трудом прокладывали себе путь в этой крутой толчее, сигнализируя надрывно и требовательно.

Нам пришлось идти пешком чуть ли не через весь город. Но это было чудесное и радостное путешествие.

Горланили со столбов и крыш громкоговорители. На балконах и в окнах вразнобой верещали патефоны. Там и сям вырывались из толпы лихие переборы гармошек.

У памятника Тарасу Шевченко с разбойным гиканьем вертелись, взмывали ввысь, припадали к земле, мели необъятными шароварами пыль самодельные запорожцы. Возле Дворца пионеров маленькие горцы в папахах, при фольговых газырях, неслись по кругу, вынося острые коленки, хищно разметав руки. На площади Тевелева цыганки в монистах и шальях трясли плечами и бубнами.

Рука об руку, плечом к плечу, развернувшись во всю ширину улицы — стеной — шли парни и девушки в дешевеньких трикотажных спортивных майках, распевая: «Эй, вратарь, готовься к бою!..» Им смотрели вслед, их провожали улыбками — восхищенными и завистливыми.

В переулке стоял грузовик с опущенными бортами. Посредине кузова хлопотал человек. Снизу ему протягивали смотанные транспаранты, флаги, разрозненные буквы на струганных древках: «Я», «М», «А», «I»... Он принимал их, пересчитывал, складывал, вынимал из-за уха карандаш, делал пометки в замусоленном блокноте и снова совал карандаш за ухо.

Мы шагали по мосту, переброшенному через речку Харьков. Неказистая и мелявая, эта речка была по-весеннему полна и бурлива. Ее вода несла всякую муть, но, по-видимому, была уже достаточно теплой. Потому что близ моста, промеж быков плескалась голозадая детвора, брызгалась и орала.

Мы с Таней поотстали чуть, прильнули к перилам, поглазели сквозь решетку на купанье — хорошо живется людям.

Но Ганс и Якимов, хотя они и шли неторопливо, уже отделились, затерялись в толчее, и мы побежали следом.

— ...А что вы сегодня вечером делаете? — спрашивал Ганса Танькин отец.

— Ко мне должен приходиться мой товарищ, мой венски... земляк.

Ганс с явным удовольствием выговорил это русское слово.

— Вот что, Ганс Людвигович, — решительно заявил Якимов, — забирайте своего земляка, собирайте всех чад, домочадцев — и милости прошу к нам. По-соседски... Горилку вы пьете?

— О-о...

Лицо Ганса страдальчески сморщилось. Может быть, он вспомнил, как пил горилку с дядей Гришей на заречной Сомовке.

Но тотчас морщины его разгладились.

— Учусь, — сказал он.

Якимовы занимали большую четырехкомнатную квартиру: в одной комнате у них была гостиная вроде столовой, в другой — кабинет хозяина, спальня, а четвертая комната — детская, Танькина, ее полномочное владение.

Три комнаты сообщались между собой, а две из них — еще и с коридором. Возможно, кому-нибудь такое расположение показалось бы неудобным, и, возможно, сами хозяева не испытывали особых удобств от такого расположения комнат, когда везде и всюду сплошные двери, дверь против двери, дверь в дверь, дверь на двери.

Однако нас, детей, эта планировка квартиры вполне устраивала: можно было носиться сломя голову по всей квартире, туда и сюда, вперед и назад, по кругу — как по двору.

Вообще-то нам, Таньке, мне, Отке и Лотке, было велено сидеть в детской и настрого запрещено соваться в гостиную, где шел пир горой. Нам были выданы различные настольные игры: маленький бильярд, лото и всякие блошки. Туда же нам принесли бутерброды, лимонад, конфеты, чтобы мы не лезли к взрослому столу. Чтобы мы сидели смирно в Танькиной комнате и не мешали людям веселиться. Короче, чтобы избавиться от нас хотя бы на один вечер. Праздник все-таки!

Но уж известно, что если тебя куда-нибудь не допускают, то именно туда тебя и тянет. И чужое веселье всегда приманчиво. Тем более что, когда взрослые люди выпьют по рюмке-другой, когда они

разойдутся вовсю, зрелище бывает любопытное, есть на что посмотреть, есть что послушать. Бывает, на ходу, на лету, краем уха такой перехватишь анекдот, что потом весь класс и весь двор помирают от смеха. Арестовали одессита, ведут по улице под конвоем. Навстречу ему знакомый. «Куда, — спрашивает, — вы идете?» — «На охоту», — отвечает одессит. «А где же ваше ружье?» — «А вон — сзади несут...» Умора!

Вообще, когда взрослые люди выпьют по рюмке-другой, они становятся чем-то похожими на детей, с них спадает спесивость, исчезает показная солидность, они делаются проще и непосредственнее, и, по-видимому, они сами это хорошо сознают, потому что тогда их самих тянет общаться с подрастающим поколением — задушевно, на равных.

И вот мы, то есть Танька, я, Отка и Лотка, забросив бильярд и блошки, весь этот вечер носились по квартире, норовя подольше задержаться в гостиной, быть поближе к пиршеству, что-нибудь стащить со взрослого стола, что-нибудь услышать и увидеть.

Именно поэтому я с предельной отчетливостью запомнил все, что произошло в тот вечер.

Шел пир горой. Стол был раздвинут, а все равно тесен: столько разных яств приготовлено. Блюда белели сметаной, пламенели томатом, глазели яичными желтками, ершились ростками укропа.

Во главе стола — Алексей Петрович Якимов, уже слегка разомлевший, однако веселый без удержу.

— За здоровье дорогих гостей! — провозглашает он. — Пошли бог гостей — хозяин будет сытый. А?..

Рядом с ним хозяйка, Софья Никитична, с медовой косой, уложенной вокруг головы, степенная, радушная, домовитая. Даже не верится, что она моя учительница, мой классный руководитель — ведь надо бы робеть, а я вот нисколько не робею.

Я вижу Ганса Мюллера, он чокается с хозяином. На нем строгий костюм, голубая рубашка и, к моей долгожданной радости, вместо буржуйской бабочки — обыкновенный полосатый галстук.

Я вижу маму Галю. Задумчивую и тихую, но, кажется, очень счастливую — тихо счастливую. Может быть, ей приятно, что, кроме родни с заречной Сомовки, у нас теперь появились и новые хорошие знакомства, добрые соседи, вот эта дружная и приветливая семья Якимовых.

Но рядом с тихим счастьем мамы Гали — тихое несчастье другой женщины.

Эльза Рауш. Она вымученно улыбается своими тонкими губами, а глаза ее при этом полны тоски и испуга. Она вздрагивает, едва громыхнет якимовский бас. Она ежится, когда вдоль стола прокатывается веселый хохот. Бокал ее полон, не пригубила даже, а ей все норовят — разрешите? — долить вином этот нетронутый бокал.

Она сиротлива и растерянна. Она не понимает ни слова. Или же не хочет понимать ни слова. Она лишь хочет понять, зачем, ну зачем привел ее сюда муж — в эту чужую квартиру, к этим чужим людям, которые так много едят и пьют и смеются без всякого повода... А где Отто? Где Лотта? Да, они здесь. Это хорошо — они здесь. Скоро они все пойдут домой, все вместе. Ви шпеет ист эс? Который час?..

А муж ее, Карл Рауш, не обращает на нее никакого внимания. Он смачно жует ветчину и не пропускает ни одного тоста. Он вообще крепкий мужчина.

Я обвожу взглядом всех остальных людей, сидящих за столом. Все остальные люди мне незнакомы. Но хозяевам, наверное, они знакомы — иначе бы их сюда не пригласили. Мужчины в штатском и мужчины в военном. Женщины молодые и немолодые. Все они веселы, пытаются петь и, кажется, не прочь потанцевать...

— Митя, — обращается Алексей Петрович Якимов к одному из гостей, молодому вертлявому парню, — заведи-ка что-нибудь эдакое, знаешь?.. — Он выразительно прищелкнул пальцами.

Митя тотчас взвился с места и побежал к патефону, поставил пластинку, крутнул ручку, потряс мембрану, заглянул под диск и огорченно развел руками:

— Да он не заводится, Алексей Петрович... Должно быть, пружина лопнула.

— Опять? — Якимов отыскал глазами дочку, нахмурился грозно: — Татьяна, крутила?

Танька поспешно ретировалась из комнаты. Я остался. Я не крутил.

Гости — те, которые считали себя сведущими в технике, а их, конечно, большинство — плотно обступили столик с патефоном.

— Надо разобрать...

— А запасной пружины нет?

— Вот досада...

И в этот момент поднялся с места Карл Рауш.

— Айн момент! — сказал он.

И, с трудом выбравшись из-за стола, направился в переднюю. Было слышно, как он выходит из квартиры. Как он спускается по лестнице. Как щелкнул замок этажом ниже... Все это было слышно, потому что дверь на лестницу осталась распахнутой. Ведь он ненадолго. Айн момент.

Карл Рауш вернулся, неся в руках две новенькие балалайки.

Его появление, а вернее, появление этих балалаек встретили возгласами удивления и веселья.

— Ганс, биттшён... — пригласил Карл Рауш.

Ганс Мюллер зарделся от смущения. Но не ломаться же, если людям нужна музыка. Тем более что со всех сторон уже неслись веселые подбадривающие аплодисменты.

Ганс Мюллер и Карл Рауш сели рядком, пристроили как положено балалайки и — Карл кивнул головой — ударили по струнам. «Светит месяц, светит ясный...»

Я бы не сказал, что мастерство исполнителей было на самом высоком уровне. Но все же это походило на музыку.

И уже за столом начали подпевать. Начали притопывать в такт.

И уже какой-то военный гость вскочил с места, одернул гимнастерку, оттянул к локтям манжеты, лихо подкатился к хозяйке, к Софье Никитичне.

И она встала, подняла в руке платочек...

— Да мусст ду фа-диез шпильн!

— На, да фа-бекар...

Этот разговор велся вполголоса, почти шепотом. Струны еще тренькали. Но уже не в лад, уже замирая. И потому слышали все.

— Но их хаб дир г'загт, фа-диез! — Карл побагровел от раздражения и ладонью оборвал звук.

Ганс тоже перестал играть.

— Что такое? — недовольно возвысил бровь военный гость: ему не терпелось блеснуть в пляске.

— Он не умейт... он играть неправильно, — обличал Карл своего партнера.

Ганс пожал плечами:

— Я играю правильно. Как в ноты.

Признаться, лично я не мог безоговорочно принять сторону Ганса, хотя и вполне сочувствовал ему. Я-то знал, что у Ганса со слухом дела не ахти. Он и песенки из «Петера» насвистывал фальшивя.

— Пойдите, пойдите! — вмешался в спор Якимов и подошел ближе. Положил им обоим руки на плечи. — А кто вас, простите, надоумил взяться за это дело? — Алексей Петрович показал на балалайки.

— Так решиль ячейка... — объяснил Карл Рауш. — Наш австрийски партийный ячейка. Все политэмигрант должны играть русски народны инструмент...

— Ха-ха-ха-ха!

Хозяин дома, Алексей Петрович Якимов, повалился на ближайший стул. Его грудь ходила ходуном, он держался за нее обеими руками.

— Ха-ха-ха-ха-ха...

Рассмеялась и мама Галя. Ее уже давно потешала Гансова балалайка, на которой он каждый вечер в течение часа бренчал, мучительно потея, осоловело вглядываясь в нотные значки. Ее это очень смешило, она просто сдерживалась до поры. Она боялась, что Ганс обидится за свою партийную ячейку. Ведь он был дисциплинированным партийцем.

Но и Ганс сейчас сидел, округлив глаза и напыжась. Его самого разбирали смех.

Один только Карл Рауш обиженно хмурился. Он никак не ожидал, что его столь безответственно подведет боевой товарищ, партайгеноссе. Что он вместо фа-диез возьмет фа-бекар. И еще будет упорствовать в своем заблуждении.

— Вот что, друзья, — уже перестав смеяться, серьезно сказал Карлу и Гансу Якимов, — спойте нам лучше что-нибудь ваше, родное, а?.. Как там у вас поют, в Альпах?

Карл и Ганс посмотрели друг на друга. Еще на лицах стыла взаимная обида. И в глазах еще было отчуждение. И в том, как они посмотрели друг на друга, сквозила нерешительность... Но мало-помалу глаза оттаяли. И сделалось ясно, что это их родное уже подступило к сердцу. Ганс откашлялся.

Хол-ля-ри-и-ии... —

горланно и звонко, мальчишеским дискантом затянул он.

чуть ниже и чуть глуше, как эхо в горном ущелье, откликнулся Карл.

И вот понеслись, посыпались затейливые рулады, похожие на птичий клекот, похожие на журчание ручья, — диковатый тирольский напев.

Олля-ри-ра-ри-ра,
Улля-ихо-хи-хо...

Множилась эхо. Убыстрялся темп. Подбадривая увлеченных певцов, гости отбивали ритм ладонями...

И в это время резко, не для себя, для всех, раздался трубный звук зажатого платком носа, послышался сдавленный всхлип.

Песня сникла.

Все обернулись. Туда, где сидела Эльза Рауш.

Она плакала. Слезы бежали по ее лицу. Черные слезы сбегали по белому как мел лицу. Только сейчас стало очевидным, что ресницы ее накрашены, а скулы густо напудрены. Что, идя в гости, она не забыла «сделать себе лицо».

— Что с вами, голубушка? — участливо склонилась к Эльзе хозяйка.

— Ее мать... недавно умирала... в Вена, — поспешил объяснить Карл Рауш.

— О-о... — Софья Никитична обняла ее тощие плечи. — Ну, успокойтесь, не надо.

Эльза тыльной стороной ладони стирала с лица черные слезы. Но губы ее были поджаты скорее зло, чем горестно.

— Мама не хотеть, чтобы ми ехать сюда... — Она судорожно сглатывала рыдания. — Мама быть прав.

— Эльза, зай руих! — перебил Карл. Он весь напрягся. Судя по всему, он угадывал продолжение этого разговора.

Но ее уже было не унять.

— Ми иметь ин Вена свой дом. Мой муш работаль хороши фирма. Цванциг ярэ... дфадцат лет!.. Хозяин обещать ему пенсион...

— Эльзи! — снова перебил ее Карл.

— А сдесь... он так мало получить. Ми иметь дети...

Карл Рауш порывисто, как только это возможно при его комплекции, вскочил. Его мясистые щеки побагровели.

— Вир геен нах хауз, Эльза, — неожиданно тихо сказал он. — Руф ди киндер.

Эльза умолкла. Побледнев еще больше, она встала из-за стола и вышла из комнаты.

Карл с видом убитым и несчастным, но стараясь все же смягчить впечатление от этой сцены, улыбаясь через силу, направился к Софье Никитичне.

— Я прошу извинить. Она немножко болеет... Спасибо.

И, кивнув всем, кто был в комнате, удалился.

В передней слышались приглушенные голоса Отки и Лотки — они говорили по-немецки, с матерью, наверное. Потом лязгнул замок. Открылась и закрылась входная дверь.

— А не выпить ли нам по маленькой? — бодро предложил гостям Якимов и взял со стола бутылку.

Уже был поздний вечер, когда гости разошлись. Все ушли. Остались лишь сами хозяева да еще мы: мама Галя, Ганс и я.

Ма вызвалась помочь Софье Никитичне управиться с посудой, и они, вооружась полотенцами, сели вдвоем за стол там же, в гостиной, чтобы не тащить всю утварь на кухню — чашки, блюда, тарелки — боже ты мой, гора!..

Якимов увел Ганса в свой кабинет.

А мы с Танькой уселись в ее комнате прямо на полу, на истертом ковре, и занялись этими дурацкими блошками.

Щелк. Мимо.

Скок. Мимо.

Прыг. Прыг. Знай наших!

Я все раздумывал: говорить ей или не говорить? О сокровенном. О своей мечте.

И не утерпел. Сказал:

— А знаешь, скоро откроют такие школы, где ребят будут учить на летчиков и артиллеристов. Специальные школы... Нет, не для взрослых, а для ребят — после седьмого класса. Честное слово!.. Они будут носить настоящую военную форму. Голубые петлицы — у тех, которые на летчиков. И ремень с бляхой.

— Не ври.

— Я не вру. Это правда. Мне Ганс говорил. Он в газете читал.

— Мальчишкам — военную форму?

— Да. Только мне еще долго ждать: туда после седьмого класса принимают. Круглых отличников.

— Но ты ведь не круглый?

— Но ведь еще долго...

Меня, признаться, самого смущало то обстоятельство, что я далеко не круглый. И, лишь услышав про голубые петлицы, я впервые заскорбел об этом.

— А знаешь, — сказала Танька, — в Москве есть такая школа, где маленьких девочек учат на балерин. Они там живут, в школе, и все время танцуют. Танцуют, танцуют...

— А уроки? — усомнился я.

— Чудак. Они на уроках и танцуют!

Вот так заведение.

— Тоже после седьмого? — спросил я.

— Нет. Хоть с первого, хоть со второго, хоть с третьего... Хоть сейчас!

Танькины глаза ликовали. Хоть сейчас! Вот сейчас она немедленно поедет в Москву, в ту школу, где танцуют на уроках.

Она вскочила, оттолкнулась пятками от пола и, встав на носки, мелко-мелко засемила вдоль комнаты — ноги прямые и тонкие как спички, руки вразброс, растопырены пальцы.

— Значит, там на артисток учат?

— Ну да.

— А тебя не примут, — с сожалением сказал я.

— Почему?

— Туда конопатых не берут.

— Я — конопатая?

Она застыла, обмерла. Потом, ступая все еще на цыпочках, приблизилась к зеркальцу, висевшему у ее кровати. И заглянула в него — осторожно, сбоку, едва-едва, с той робостью, с какой поутру окунают в ручей щиколотку...

Уж не знаю, что она там увидела, что она там нашла, на своем лице. Я ведь не со зла. Мне и впрямь показалось, что, на весну глядя, у нее по всему носу и по соседству с носом сквозь прозрачную белую кожу проклюнулись конопушки.

Я-то их увидел. Она же, конечно, не обнаружила.

И, крутнувшись волчком, бросилась на меня.

Я от нее.

А она за мной.

Я в дверь.

Она следом.

Мы как угорелые носились по квартире — из комнаты в комнату, из двери в дверь. Кабинет, гостиная, детская. Гостиная, детская, кабинет. Детская, кабинет, гостиная.

В гостиной мама Галя и Софья Никитична перетирали полотенцами чашки.

В кабинете неярко светила настольная лампа. Якимов и Ганс дымили папиросами, утонув в уютных креслах.

В детской валялись на ковре рассыпанные блошки.

Мы бежали по кругу, хохоча и задыхаясь. Иногда на бегу Танька мешкала у попутного зеркала, пытливно вглядывалась в него. И тогда, обжевав круг, я наткнулся на нее. Она бросалась наутек, забыв, что не я гонюсь за ней, а она за мной. А потом вспоминала — обращившись на ходу, я тоже круто поворачивался и бежал в обратную сторону.

На нас не обращали внимания. Ни в гостиной, ни в кабинете. Там вели свои беседы.

Урывки этих бесед — несвязные, с полуслова до полуслова — я, того не желая даже, ловил на бегу. И они застревали в памяти.

— ...мы с Алексеем давно познакомились. Я преподавала на рабфаке, он учился у меня. Деревенщина, мужик сиволапый... Знаете, как он за мной ухаживал? Остался после уроков, попросил объяснить теорему. А сам — дверь на ключ. Только меня, как видите, тоже бог силой не обидел. Ох и досталось ему!..

— А потом?

— Потом он уехал в институт. А я ждала.

— ... мне кажется, что сейчас еще некоторые... э-э... недооценить положение. Ругать фашисты — это очень хорошо, карикатуры в газеты — очень смешно. Абер... но нужно совсем не карикатуры. Нужно просто бить фашисты. Бить!.. Пока мы сильнее, чем они.

— Время, Ганс Людвигович, работает на нас.

— Да, в исторически масштаб... Но сейчас, я думаю, время работает на Гитлер. Фашизм — это как... дер кребс... раковый бо-лезнь. И когда рак — время работает на рак! Сегодня хуже, чем вчера. Завтра еще хуже...

— ...будто продолжалось мое сиротство. Нет, не потому, что он был старше. Ведь всего на шесть лет. Но он жил только своим, своим. Самим собой. Даже когда у нас появился...

— Мальчик спрашивал?

— Да. Я сказала, что...

— ...что же вы предлагаете?

— Мы не в Лиге наций, Алексей Петрович. Я предлагаю: танки. На кажды фашистски танк — десять танки...

— ...А теперь я как будто ожила. Он не только любит — он чуткий, он всегда товарищ. Я уверена, что он сумеет и ему стать...

— ...Артиллерия неповоротлива, Ганс Людвигович, маневренность ее ничтожна. Это с одной стороны. С другой — современные танки: тонны брони, мощные двигатели, а калибры вооружения слабые...

— Я видел на парад.

— ...это и есть счастье, Галя.

— Да. И мне страшно — вдруг потеряю?

— ...должно сочетать скорость танка и огневую мощь, способную поражать цель с хода, в лоб. Противостоять танкам эффективнее всего может движущаяся сила, а не орудийные позиции. И тут огромную роль играет моральный фактор...

— Вы отшень прав.

— ...неужели будет, Софья Никитична?

— Наверное, будет. Судя по всему — не миновать.

— ...Ловлю вас на слове, Ганс Людвигович. Мы хотим создать при конструкторском бюро специальную группу, которая — ну,

скажем, в порядке эксперимента — разработает принципиально новую машину.

— Но я не знаю... если могу быть полезны...

— Можете. По рукам?

— ...босоножки. Беленькие, из ремешков, а каблук толстый...

И потом лишь я заметил, что вот уже добрых десять минут ношусь по кругу один, как карусельная лошадь, которая, разогнавшись, все не может остановиться. Ни впереди, ни позади уже не слышать суматошного топота, и перед моими глазами уже не мотается, дразня, пышный бант, привязанный к тощей косичке.

Я загнулся, соображая, что же такое случилось.

Заглянул за дверь Танькиной комнаты.

Она стояла у самой двери, прислонясь к стенке, откинув голову, едва переводя дыхание. Косичка замыанно свисала на плечо, бант поник.

— Ага!.. — торжествуя, надвинулся я.

Но Танька смотрела на меня безответно, покорно, не трогаясь с места.

Только спросила — жалобно так, заискивая, уповая на милость:

— Я конопатая?

— Нет.

Я был великодушен. И устал. Я как-то очень сильно устал, изнемог, вымотался за этот день, за этот вечер: слишком много было видано, слышано, понято и не понято. Все смешалось в моей голове. И хотелось одного — сна.

Но этот день был всего лишь кануном больших событий и больших тревог.

7

Этот неожиданный отъезд.

Еще недавно ни о каком отъезде не было и речи. Все шло своим чередом. Утром мама Галя и Ганс отправлялись на завод, я — в школу. Час за часом истекал день. Вечером ходили в кино, слуша-

ли по радио всякие оперы, а то и просто бездельничали — распивали чай на балконе. День и ночь — сутки прочь. Уже кончался школьный год, близилась отпускная пора, и за вечерними чаями мы прикидывали, как провести лето: то ли ехать на Кавказ, где солнце светит прямо в глаз, то ли дачу снять поближе, в каких-нибудь пригородных Лозовеньках — подышать сосновым духом, попить парного молока.

И вот все эти добрые намерения рухнули враз.

Я еще за день почувал неладное. Они вернулись с работы молчаливые, озабоченные, отрешенные. Весь вечер Ма просидела на диване, поминутно сморкаясь в платок. А Ганс неприкаянно бродил по квартире и давил окурки в пепельнице.

Я, признаться, решил, что они поругались. Бывает. Ничего. Пройдет.

Но утром мама Галя заявила, что Ганс уезжает.

Куда?

В Горький.

Надолго?

Неизвестно.

Зачем?

Учиться.

На кого?

Не твоего ума дело. Отстань.

И снова засморкалась в платок.

Подумаешь!..

Ну, конечно, я мог в какой-то мере понять ее огорчение, ее негромкие слезы. Досадно, конечно. Только поженились. Новой квартирой обзавелись. Только прижились в ней. И вот — на тебе, съездили на Кавказ, в Лозовеньки...

Да, доселе Ганс еще ни разу никуда не уезжал от нас. Не было у него такой нужды. Но ведь он — человек казенный, служебный, партийный. И совсем еще молодой человек. Вот и решили послать его учиться. Правильно решили. Пусть поучится. Может, сумеет бойчее изъясняться по-русски.

Стоит ли горевать из-за этого, лить слезы?

Тем более что Ганс уезжал не один.

С утра к нашему дому подрулил зеленый автобус. Он был уже битком набит пассажирами и кладью. И настырно гудел, подгоняя

остальных, тех, кто еще не собрался, замешкался, кто еще не сошел вниз.

Из окна я различал многих знакомых мне людей, толкущихся у автобуса.

Черномазый Алонсо. Чех по фамилии Выскочил. Гибсон. Ян Куля — очень оживленный, почти ликующий, оттого, должно быть, что представилась ему возможность улизнуть на некий срок от своей чернобровой девы. Барча — хмурый и трезвый, он с недавних пор опять живет в нашем доме.

Все одеты по-дорожному: в плащах и кожаных куртках, в брюках-никкербокер, пузырярем нависающих над шиколоткой, в грубых башмаках, в беретах с хвостиком. Все будто заядлые путешественники с модной картинки.

Они прикуривают от зажигалок, перебрасываются словом, поглядывают на окна.

Снова задудел автобус.

Мама Галя в который уж раз пересчитывала отглаженные рубашки в чемодане, уминала свитер, перекладывала с места на место бритвенный прибор... Руки ее медлили нарочно, все не решаясь опустить крышку над этим нехитрым хозяйством собравшегося в путь мужчины.

Но Ганс, выглянув еще раз в окно, подошел, мягко отстранил ее, застегнул замки.

— Может быть, я провожу тебя? — робко спросила мама Галя. На лице ее была мучительная растерянность. Испуг. Мольба. — До вокзала...

— Нет. Нет, Галечка. Это... нельзя.

— Но почему?

В передней занял звонок. Ганс вышел, отпер дверь. И вернулся уже вдвоем.

Вместе с ним был дядя Франсуа, мой закадычный друг Франсуа, все такой же улыбающийся и румяный. Тоже одетый в дорогу.

— Ну, — весело сказал он, удостоверившись, что чемодан Ганса уже заперт, — по старому русскому обычаю — при-ся-дем?

Они все трое опустили на стулья, а я одним махом вскочил на подоконник.

Значит, дядя Франсуа уезжает тоже? Вот хорошо им, отъезжающим. С таким попутчиком, как Франсуа, не заскучаешь. Только

нам, дворовым мальчишкам, придется поскучать без него... Но с какой такой стати Франсуа едет с ними? Ведь он уже учится в институте.

— Дядя Франсуа, разве вы тоже едете учиться? — спросил я.

— Кё? — воскликнул француз. Глаза его округлились изумленно. Он покосился на Ганса и тотчас обрадованно закивал головой: — О да! Мы все едем учиться. — Он значительно поднял палец и с видимым удовольствием изрек: — Учиться — свет, не учиться — тьма!

Рассмеявшись, поднялся с места, легким движением пальцев взьерошил волосы на моей голове, подхватил чемодан и исчез за дверью.

А Ганс, сосредоточенно кашлянув, тоже встал со стула, подошел к моей маме и порывисто ее обнял.

Тут я, само собой, отвернулся и стал глядеть в окно. Потому что, как бы то ни было, с приездом или с отъездом, с радости или с грусти, с надобности или без надобности, хорошо ли, плохо ли, но я терпеть не мог этих нежностей.

Я приник к окну и больше не оборачивался. Даже тогда, когда Ганс, подойдя сзади, чмокнул меня в затылок.

Я смотрел в окно и видел, как дядя Франсуа, согнувшись в три погибели, пролез в дверцу автобуса.

Как вышел из подъезда Ганс и, дойдя до машины, отыскал глазами наше окно и помахал рукой.

Как зеленый автобус, изрыгнув облачко дыма, тронулся с места и свернул за угол.

8

А мне все же довелось тем летом побывать в Лозовеньках.

В один прекрасный день нас повезли туда — почти всю ребятню из нашего дома, весь пионерский возраст. Поехали Отка и Лотка, поехала Татьяна, поехал я. И еще всякие вроде нас. Конечно же, не обошлось без провожатых, без взрослых. Софья Никитична Якимова и Карл Рауш отправились с нами.

Мы добрались до вокзала, сели в пригородный поезд и поехали в Лозовеньки, райский уголок, вторая зона.

Мимо приспущенных окон пробегали добродушные и умильные картины. Речки, заросшие камышом, заляпанные круглыми листья-

ми кувшинок, затянутые ряской. Пыльные ивы, метущие космами землю. Чистые хаты, крытые очеретом и соломой, с плетнями, на которых сушились вверх донцами расписные горшки-макитры, а за плетнями, будто факелы, поднимались цветущие мальвы. Летние печки во дворах — беленые, длинношеие, похожие на гусей.

В Лозовеньках был пионерский лагерь.

Целый день мы купались в пруду, гуляли по сосновым борам, играли в футбол и крокет, ели кашу с молоком на открытой веранде столовой.

А вечером на опушке леса запылал костер.

Мы расположились вокруг костра — лежа, сидя, стоя. Хозяева и гости.

Гостями тут были мы, то есть я, Татьяна, Отка, Лотка и еще всякие вроде нас, порядочно.

А хозяевами были наши сверстники — мальчики и девочки в белых майках и синих трусах. Все, как один, очень смуглые, черноглазые, черноволосые. Почти все они были черноволосыми, если не считать нескольких рыжих.

Это были испанские дети. Дети республики. Дети тех, кто бился с фашистами. Их привезли в Советский Союз, чтобы спасти от жестоких бомбежек, чтобы укрыть от войны. Их везли пароходом за три моря — и вот они уже здесь, в Лозовеньках, в пионерском лагере, у костра.

Мы сидели у костра, смотрели в огонь и пели песни. Сперва испанцы пели свои песни, которых не знали мы. Потом мы пели свои песни, которых не знали испанцы. А потом оказалось, что есть такая песня, которая знакома всем:

Аванти, пополо,
Алла рискосса,
Бандьера росса, бандьера росса...

Это была песня о красном знамени. Не испанская, не русская, а вроде бы итальянская, но знакомая всем и любимая всеми.

Ты, знамя красное,
Свети, как пламя,
Свободы знамя, свободы знамя...

Вообще на свете есть немало песен о красном знамени, но эта — самая простая и лучшая из всех. В ней всего-то и слов, что «красное знамя», «свобода» и «победа». Но какие это слова! Хорошая песня. Мировая песня.

Бандьера росса
Трионфера!..

Легкие искры, подхваченные горячим воздухом, взвивались над костром и улетали к вершинам сосен, в небо.

Там, в мгlistом небе, возник и приблизился, нарастая, басовитый гул. Он становился все явственнее и грознее. Я догадался по звуку: тяжелый ночной бомбовоз.

Но не я один догадался об этом.

Песня дрогнула.

Большеглазая девочка, сидевшая рядом со мной, смуглая девочка с очень короткими волосами — вероятно, ее недавно остригли наголо, и теперь острые прядки волос набежали на виски и затылок, — эта худенькая девочка испуганно прижалась к моему плечу, втянула голову...

— Не бойся, — сказал я и погладил ее по стриженной голове. — Это наш.

— Наш... — машинально повторила она, может быть, еще не понимая, что означает это слово. — Наш? — И тотчас закивала радостно: — Наш...

Гул отдалился. Взбодрилась песня.

А Татьяна, Танька, которой, видать, почему-то не понравилось, как я гладил по голове испанскую девочку, уже вовсю кокетничала со своим чернявым соседом.

— Как по-испански будет «девочка»? — спросила она.

— Мучача, — ответил чернявый сосед.

— А как будет «мальчик»?

— Мучачо.

— А если и мальчики и девочки?

— Мучачос.

Татьяна расхохоталась восхищенно.

Ее сосед — а мы уже знали, что зовут его Педро, что он из Мадрида, что отец его командир батальона, — первый среди своих

друзей научился говорить по-русски. Он еще на пароходе начал учиться у наших матросов. Бойкий такой парнишка.

— Когда мы по-бе-дим... — сказал он Таньке.

— Да, — ответила Танька.

— Ты приехать в Мадрид, — сказал он Таньке.

— Ладно, — согласилась Танька.

— Я показать тебе моя бабушка, — продолжал между тем чернявый Педро. — Она гитана... цы-ган-ка. Она умеет гадать на рука. Я тоже умеет немношко...

Он потянул к себе Танькину ладонь, повернул ее к огню зеркальцем и стал эту ладонь внимательно разглядывать.

Уж не знаю, что он там ей нагадал. Я не стал подслушивать. И все это вранье — гадание.

Но не скрою, что я позавидовал Таньке. Мало ей Москвы, куда она скоро поедет учиться на балерину, так вот еще — зовут в Мадрид.

«Когда мы победим...» Победим, конечно, это само собой разумеется. «Но пасаран!» — они не пройдут, фашисты. «Пасаремос!» — мы пройдем. Любой и каждый знает эти слова. Но когда же, когда это настанет — мы победим, мы пройдем?..

Недавно мятежникам, фашистам крепко досталось у Мадрида, который они хотели окружить. Республиканцы вместе с бойцами интернациональных бригад ударили под Гвадалахарой — и фашисты задали стрелача. Но вот они снова штурмуют Мадрид. Они бомбят днем и ночью города республики, и этим испанским мальчишкам и девчонкам пришлось плыть за три моря, искать убежища...

Зато вчера сообщили: республиканские войска наступают под Брунете.

«Гвадалахара», «Брунете», «Бильбао», «Герника» — даже ребячьему слуху эти названия теперь близки и привычны, как, например, Лозовеньки.

Горел костер. Желтые языки огня терзали хворост.

Звенела песня:

Бандьера росса, бандьера росса...

Карл Рауш, обогнув костер, подошел ко мне, наклонился, обнял, колючей щекой коснулся моей щеки.

— Хорошо, Санька, — сказал он. — Это отпять хорошо, что вы все вместе. Когда вы все вместе — вам нитшего не бояться! Понимай?..

— Дядя Карл...

Я вдруг вспомнил, что давно хотел задать ему один вопрос. Этот вопрос я уже задавал Отке, но тот лишь пожал плечами, ничего не ответил, может быть, и впрямь не знал, что ответить. И тогда я решил задать этот вопрос самому Карлу Раушу.

— Дядя Карл, а почему вы не поехали учиться вместе со всеми?

— Я? — Рауш посмотрел на меня с некоторым удивлением. Поморщился чуть, будто этот вопрос был ему неприятен. А потом сокрушенно вздохнул:

— Я уже стары для это дело... Я слишком стары — учиться.

Я проснулся за секунду до этого звонка. Не по звонку, а именно до звонка.

Бывает, приснится посреди ночи что-нибудь такое поганое и страшное, что дальше этот сон смотреть невозможно, — и проснешься. Или же приснится такое, чего наяву, к сожалению, быть не может, — и тоже проснешься.

Но в ту ночь я крепко спал без всяких снов и сновидений. После этой поездки за город, после купания и беготни, после жаркого костра и позднего возвращения на пригородном поезде, да еще от вокзала трамваем, — как приник щекой к подушке, так и заснул, упоенно и здорово.

А посреди ночи вдруг проснулся. Открыл глаза. И тотчас в передней раздался звонок.

Какое-то время я еще лежал не шевелясь, не понимая, где я, что и почему.

Был предраассветный час. Все вокруг еще утопало в глубокой тьме. Чуткая тишина стыла в квартире.

И снова ее пререзал истошный вскрик дверного звонка.

Я вскочил и зашлепал по паркету босиком. Но не в переднюю, не к двери, а в соседнюю комнату — туда, где спала мама Галя. Она спала, свернувшись клубочком. Очень маленькая и очень одинокая в широкой двуспальной кровати. Спала и ничего не слышала. Я тронул ее рукой за плечо. Она как-то по-детски, вопросительно простонала, повернулась на другой бок и снова задышала спокойно.

— Ма, — позвал я. Длинно прозвенел звонок.

Она вскинулась, набросила на плечи халат, не глядя, отыскала ногами домашние туфли и пошла к двери, заспанная, вздохмаченная, встревоженная. Я — за ней.

— Кто там? — хриплым спросонья голосом спросила мама Галя.

За дверью молчали. Нет, не молчали, а было слышно через дверь, как кто-то порывисто дышит, будто хочет ответить и не может..

Мама Галя, не снимая цепочки, отперла, приоткрыла дверь.

Там стояла Софья Никитична Якимова. В наспех надетом, расстегнутом у ворота, вероятно, первом попавшемся под руку платье. Глаза какие-то остекленелые, ничего не видящие перед собой.

— Софья Никитична?.. — Ма откинула цепочку.

Софья Никитична машинально переступила порог и опять остановилась, не произнося ни слова, вперясь глазами в пустоту.

— Что случилось?..

Якимова молча, ступая тяжело и неверно, сгорбясь, будто за одну ночь состарилась, пошла к окну.

— С Танечкой что-нибудь? — испугалась мама Галя.

— Она... спит, — едва слышно ответила Софья Никитична.

Мы подошли к окну следом за ней.

Там, за окном, едва развиднелось. Бесчисленные окна нашего дома были свинцово бельмасты, слепы. Двор пуст и чист.

Близ нашего подъезда стояла машина. Небольшой автобус, «пикап», крашенный темной краской, без окошек.

Поначалу я даже не обратил особого внимания на эту машину, не поставил ее ни в какую связь с ночным звонком, с появлением Софьи Никитичны. Мало ли всяких машин приезжало в наш двор и уезжало?.. Я смотрел на пустынный наш двор, недоумевая: что же такое произошло? В чем дело?

По узкому тротуару, норовя держаться поближе к стене, торопливо и как-то воровато семенила женская фигура. Цветастый крепдешин, сумочка, каблуки — цок, цок, цок... Она шла, застенчиво опустив голову. Но я, приглядевшись, узнал: это была чернобровая дева с фабрики-кухни, жена Яна Кули. Откуда же она так поздно? Вернее, так рано, под утро?.. Нехорошо так долго гулять, шеголять в крепдешинах, когда муж в отъезде. То-то она озирается, то-то жметя к стене.

Может быть, из-за этого, из-за нее, из-за этой гулены так расстроилась Софья Никитична?

Но едва я успел поделиться с самим собой этой догадкой, как чернобровая дева, что-то заметив, вдруг остановилась, а потом опрометью метнулась в ближайший подъезд — не в свой...

А внизу, под нашими окнами, хлопнула дверь.

И я увидел. По ступенькам подъезда сходил Алексей Петрович Якимов. В одной руке его был узелок, а на сгибе другой — плащ.

А на шаг впереди него и на шаг позади — двое в хромовых сапогах, гимнастерках с портупейми и фуражках с васильковым верхом.

Старая дворничиха Степанида, в галошах на босу ногу и мохнatom платке, вышла следом за ними, неловко затопталась на крыльце.

Фыркнув, ровно заурчал мотор автомашины.

Один из конвоиров распахнул глухую дверцу в задней стенке кузова.

— Алеша!..

Наверное, Софье Никитичне показалось, что она крикнула, что она выкрикнула это имя, а на самом деле даже мы, стоявшие рядом с ней, едва расслышали, как она позвала:

— Алеша!..

Но Алексей Петрович все же услышал этот зов.

Уже у распахнутой дверцы он обернулся и, улыбнувшись растерянно, помахал рукой. Однако смотрел он при этом не сюда, где стояли мы, где была Софья Никитична, а на окна своей квартиры.

Пропустив арестованного в железную каморку, один из конвоиров полез за ним следом, а другой запер снаружи дверцу на ключ и сел в кабину рядом с шофером.

Машина пересекла двор и скрылась за углом.

— Костин.

— Я.

— Садись. Лебеденко.

— Я.

— Садись, Матюхин.

— Я.

— Садись. Нестерук.

— Я.

— Садись... Перельштейн.

— Я.

Она была сухопарая, с плечами угловатыми, костлявыми. Ей было лет тридцать, но выглядела она куда старше из-за старушечьей прически с куцом узелком на макушке. Из-за нарочито строгого темно-синего, чернильной синевы кашемирового платья с кружевным воротником. К платью был приколот наробразовский значок. Еще на ней были очки, а одна дужка этих очков сломана и обмотана черной ниткой, а хвост этой нитки свисал на скулу.

— Садись. Рогачева.

— Я.

— Садись. Рымарев.

— Я. («Здравствуйте, очень приятно познакомиться»).

— Садись. Телицын...

Серые ресницы за стеклами очков опускались к странице классного журнала. Она внятно и твердо произносила очередную фамилию, как бы намертво запечатлевая ее в памяти. В ответ гроыхала крышка парты. Ресницы приподнимались — и наступала секундная пауза: она, вероятно, старалась с одного раза запомнить в лицо каждого и, как выяснилось тотчас, это ей блестяще удавалось.

Сегодня она впервые пришла на урок. Наша новая учителька, новый классный руководитель.

И поэтому в классе стояла какая-то особая, настороженная, скованная тишина.

— Садись. Терещенко Эн.

— Я.

— Садись. Терещенко Пэ.

— Я.

— Садись... Якимова.

— Я.

Серые ресницы за очками, сморгнув, вновь опустились. И вновь приподнялись. На этот раз пауза была куда более продолжительна.

Может быть, потому, что уже кончился список в классном журнале? Ведь известно, что «я» — последняя буква алфавита. И Таня Якимова была у нас последней в журнальном списке. Первая с конца, согласно школьной премудрости.

Но пауза длилась. Длилась, становясь зловещей.

Глаза за очками завораживающе остекленели.

— Так это твоя мать была до меня классным руководителем? — Новая учителька с нескрываемым интересом разглядывала девочку, растерянно поднявшуюся за партой.

Я сидел позади Татьяны. И мне не видно было ее лица. Я лишь видел тонкую косицу, сиротливо и жалобно поникшую вдоль ее спины.

Я только услышал едва слышное:

— Да.

— А... где твой отец?

Еще я видел Танины руки, послушно и покорно заложенные за спину. Они были сцеплены, и пальцы — я это видел — с каждой секундой все больше белели в суставах.

Оцепенелая тишина стыла в классе. Та самая тишина, при которой, согласно все той же школьной премудрости, слышно, как муха пролетит. Но мухи не летали. Лишь несколько полудохлых осенних мух неприкаянно ползали меж оконными рамами.

На «Камчатке» оглушительно выстрелила крышка парты. Это вскочил Телицын.

— Ее отец арестован как враг народа! — торжествуя заявил он.

Серые брови новой учительки недовольно и строго нахмурились.

— Сядь... — приказала она и, не заглядывая в список, уточнила: — Телицын, сядь.

А сама поднялась из-за стола и неторопливо приблизилась к парте, за которой, уронив голову, стояла Таня. Она приблизилась и неожиданно, подняв легкую руку, погладила Таню по голове.

— Я хотела, чтобы об этом сказала сама Якимова. — Она попыталась из-под низу, вкрадчиво заглянуть в глаза девочке. — Мы ведь обойдемся без подсказки, правда?..

Таня молчала.

— Садись.

Новая учителька двинулась между рядами парт. Шаги ее черных шнурованных ботинок на резиновой подошве были не слышны, бесплотны, и только половицы недавно выкрашенного пола шенячьи повизгивали.

— Раскройте тетради... Пишите: «Диктант... двадцать четвертое октября... тысяча девятьсот тридцать седьмого года...»

Я выскочил из класса, едва прозвенел звонок.

Уже везде и всюду было электричество, но электрических звонков в школах — во всяком случае, в тех школах, где я учился, — еще не было. В положенное время, по часам, школьные сторожихи брали медные колокола и трезвонили ими на всю школу: с урока, либо на урок, либо вообще конец урокам.

Я так стремительно выскочил из класса и так прытко спустился по лестнице, что, когда уже был внизу, у раздевалки, сторожиха еще не отзвонила свое, и в руке у нее все еще трясясь, мотал языком медный колокол. Мне нужно было дожидаться Татьяну.

Я как-то не решился подойти к ней прямо в классе после урока, чтобы не было обычных и досужих школьных разговоров про «жениха и невесту» — про меня и про нее. Не хватало еще, чтобы ей клеили «жениха» после всего происшедшего, после всего, что стряслось. Ей и без того хватало радостей.

Я с независимым и праздным видом прохаживался близ школьной калитки — уже по ту сторону калитки, — будто я вообще нынче не был в школе, будто мне сегодня недосуг было идти в школу, будто у меня справка от врача, что я заразный.

Мимо меня, класс за классом, выкатывались на улицу школяры.

Шли козявочки-первоклашечки, такие маленькие, что даже жалко: ну какое с них учение? Им бы в куклы играть, в кубики. А вот идут, бедолаги, при портфелях, с чернильницами в торбочках.

Шли мальчишки из шестого, все уже вымахавшие свой положенный взрослый рост — в длину, но в ширину еще не достигшие никакого соответствия, голенастые, тощие, нескладные, рукава по локоть, штаны чуть пониже колен, пальтишки до пупа, зато башмаки — здоровенные бахилы, с крайней полки обувного магазина.

Шли десятиклассники, забота и гордость учительской. Девочки-барышни, совсем уже взрослые. К таким не ровен час по незнанию подступишься на улице с «тетей» — только фыркнет в ответ...

Вот и наши. Нестерук. Рогачева. Терещенко Эн. Терещенко Пэ. Телицын.

Таня.

Я пошел рядом с нею, беззаботно размахивая портфелем, который у меня, как и положено, болтался на бечевке. Я пошел вместе с ней, так как всем известно, что мы живем в одном доме и нам по пути.

Я сказал ей:

— Ты знаешь? Из зоопарка смылся удав. Схватил какую-то гражданку и залез с ней на дерево. Когда пожарные с милицией пробуют достать — он сжимает кольца и душит ее. Ничего не могут поделать. А стрелять нельзя: бояться попасть в гражданку... Может, это и враки, но все утверждают, весь Харьков. Давай так: после обеда сядем на трамвай...

Пронзительный свист хлестнул по ушам.

Я на расстоянии ощутил, как вздрогнула Татьяна. И не успел сообразить, что к чему, как она уже кинулась за угол дома, мимо которого мы шли, хотя ей сворачивать было ни к чему: нам ведь прямо и прямо.

Но ее уже не было рядом.

Я обернулся.

Сзади, шагах в пятидесяти, топали вразвалочку Терещенко Эн, Терещенко Пэ и Славка Телицын.

Я сразу же понял, что Славка.

— Ты зачем? — спросил я его, когда они подошли.

— Да так просто. — Тон его был вполне дружелюбным. Вполне издевательским. — Тренирую легкие.

Славка Телицын был на голову выше меня. И крупнее. На нем — шерстяная бежевая гимнастерка с отцовского плеча, перешитая, конечно, но на левом рукаве осталось темное невыгоревшее пятнышко от споротой эмблемы.

Еще отец подарил ему широкий комсоставский ремень с пряжкой. Мировой ремень. Все завидовали. Я тоже.

Я никогда не дрался с Телицыным. И сейчас не собирался драться. Но нам необходимо было кое-что выяснить. И на всякий случай, чтобы не беседовать у всех на виду, мы — Славка, я и оба Терещенки, — не сговариваясь, отошли в ближайшую подворотню, благо подворотня оказалась рядом.

— Понимаешь, — сказал я Славке, — это подлость. Ее нельзя обижать. Ей ведь и так плохо...

— Вот и хорошо, что плохо, — с непреклонной убежденностью ответил Телицын. — Батя сказал, что мы их всех подчистую выведем.

— Кого их? — удивился я.

— Врагов.

— Какой же она... враг?

Я улыбнулся, настолько позабавила меня напускная Славкина суровость.

А кроме того, мне не хотелось драться. Я хотел по-хорошему. Чтобы он понял.

Но, кажется, моя улыбка лишь обозлила Славку. Он побагровел, напряглись челюсти.

— Ее отец — враг народа!

Я покачал головой.

— Нет. Не может быть. Вот увидишь, разберутся и выпустят... Я его знаю.

— Знаешь? — Телицын, не скрывая торжества, оглянулся на своих приятелей, Эн и Пэ. — Конечно, знаешь! Вы все друг друга знаете... Где, например, этот твой... — Славкина губа брезгливо выпятилась. — Ну... матери твоей муж? Где?

— Он поехал учиться.

— У-чить-ся? — Телицын захохотал. — Он, должно быть, вместе с Танькиным папашей припухает. В одном месте. Батя говорил...

Не знаю, что там еще говорил его батя.

И я больше ничего не говорил.

Я ударил по этой морде — наотмашь, звонко, не раздумывая, ненавидя.

Но, как всегда, когда бьешь ненавидя, когда бьешь необдуманно, когда слишком размахнешься, когда чересчур много звона, удар получается несильным.

Славка даже не пошатнулся.

Он лишь отступил на шаг. Бросил наземь желтокожую полевую сумку — тоже, поди, отцовский подарок — и медленно, ощупью, не сводя с меня сузившихся зрачков, начал расстегивать пряжку ремня.

Я успел подумать, что зря некоторые отцы делают такие подарки своим сыновьям. Ведь если бы, скажем, телицынский батя мог хотя бы предположить, для каких целей станет использовать этот подарок его кровный сын, то он, безусловно, погодил бы с этим подарком. Ведь не стал бы он сам, его батя, вот так — медленно, сузив зрачки, зная, что собирается делать, — расстегивать комсоставский ремень с тяжелой латунной звездой.

А сын его Славка между тем сложил этот ремень вдвое и, набычась, шагнул ко мне.

— Ладно вам! — зароптал где-то справа, за моей спиной, Терещенко Пэ.

— Кончайте... — не на шутку встревожась, глухо бормотнул где-то слева Терещенко Эн.

Латунная пружка взвилась в воздух.

Я слышал, как мама Галя пришла с работы, как она отпирала дверь, как снимала в передней боты и как она меня окликнула:

— Санька, а что я тебе купила... Санька!

Интересно, что там она мне купила? У нее сегодня была получка. Наверное, какую-нибудь шоколадку за полтинник. Или книжку за гривенник. Чего еще? И за то спасибо. Ведь с нашей нынешней полочки не разгуляешься.

Но я не откликнулся. Промолчал. Я тянул время, стараясь отдалить момент приятного свидания.

Я сидел в умывалке, на краю ванны. Из крана шепелявой струйкой текла вода, дробилась об эмалированное днище, но я все же слышал, как мама Галя бегала по квартире из комнаты в комнату, а потом на кухню и обратно, разыскивая меня.

— Санька!

Но я не откликался, хотя знал, что она тоже услышит дребезжанье и плеск воды и этой встречи все равно не избежать.

— Саня...

Дверь ванной открылась, она заглянула, вошла. Разутая, в одних чулках, а в руке сумка: не терпится, значит, показать покупку.

Ну я, право же, не знаю, что она увидела, что ей бросилось в глаза, на что она в первую очередь обратила внимание и как ей показалась эта картина: голова моя и лицо были иссечены досиня, так, что не осталось живого места, левая бровь вздулась, губа лопнула, на голой шее, на ключицах теснились ссадины и царапины. Все это было синее. Красное-то я уж все отмыл, а синее осталось. На мне.

А вот на моей одежке — на рубаше, на майке, на всем прочем, что висело сейчас на борту ванны, — там этого красного было предостаточно, все замарано, забрызгано красными соплями, все запятналось, покуда я плелся домой.

Вот примерно что она увидела и какая ей предстала картина, когда она заглянула в ванную.

— Санька... — вымолвила мама Галя. — Ты где это так?

Я махнул рукой неопределенно. Там, дескать. Какая разница — где.

— Дрался?

Я пожал синим плечом и ничего не ответил. Мне самому не было ясно: дрался ли я? Вряд ли это называется драться...

— С кем?

Но я снова ничего не ответил.

Потому что эти вопросы меня меньше всего занимали — где, что и с кем.

У меня у самого были вопросы. Куда важнее.

Я поднял голову и посмотрел на нее одним глазом — другим-то я ничегошеньки не видел, он весь заплыл, и лишь какие-то тусклые искры отрывисто вспыхивали перед ним. Но я и одним глазом посмотрел на нее как надо: требовательно, в упор, заранее не допуская отговорок.

— Мама... Где Ганс?

Я следил: ответит ли она взгляд.

И она отвела его.

Но как-то так, что я сразу успокоился. Она отвела его не испуганно, не смущенно. Она его даже не отвела, а просто перевела на мою рубашку, заляпанную кровью, бездыханно повисшую на краю ванны; на мои плечи, исполосованные вдоль и поперек; на мою стриженую голову, вспухшую темными буграми.

Но ей был задан вопрос. И я ждал ответа.

А вместо этого она нагнулась к своей сумке и стала доставать оттуда что-то завернутое в магазинную обертку.

— Смотри, Санька, что я тебе купила.

Признаться, меня не очень-то интересовала покупка, этот подарок с полочки. Ведь у нас был серьезный разговор.

Но когда она развернула сверток, я моментально забыл обо всем.

И про наш разговор.

И про жжение замытых ссадин. И про все свои непустячные обиды.

Да, это был подарок!

Суконная шапочка о двух торчащих вверх уголках — спереди и сзади. По шву она оторочена кантом. И густая шелковая кисточка свисает на шнурке. Испанская шапочка. Боевой убор республиканцев. Заветная мечта всех мальчишек и девчонок.

Я схватил эту шапочку и метнулся к зеркалу, висевшему над умывальником. Ладонью отер с зеркала пот. И, как положено, лихо, чуть набекрень, к левому уху, надел эту шапочку.

Конечно же, мой вид в зеркале был далеко не блестящ. Лицо мое походило на палитру художника, который писал картину голубыми, синими и фиолетовыми красками — скажем, морской пейзаж. И было оно, мое лицо, таким же скособоченным, как палитра. Ужас что за лицо!

Но я сумел исключить из этого вида все, что сейчас не заслуживало внимания, все, что портило впечатление, я как бы отбросил все, что мешало мне видеть главное.

Испанскую шапочку.

Я любовался ею. Я любовался собой в этой шапочке. А все остальное, несущественное, я сумел исключить из этого вида.

Я не мог исключить лишь одного: там, в зеркале, были еще глаза. Не мои, а мамины. Они смотрели на меня из-за моего затылка — очень пристально, напряженно, будто стараясь мне что-то внушить, подсказать...

А что?

Ее глаза в зеркале смотрели прямо в мои глаза, будто говорили мне что-то, упрасивали, чтобы я был посмышленее.

Дескать, сопоставь, свяжи: ты спросил меня, а я ничего не ответила. Я только дала тебе эту шапочку... Ну! Я замер, пораженный догадкой. От волнения перехватило горло.

— Он... там? — едва выговорил я.

— Да.

И все. Все вдруг встало на свое место. Все непонятное сделалось понятным.

Я понял, почему плакала мама Галя, провожая Ганса, — ведь так не плачут, когда человек просто едет учиться. И почему ей не разрешили проводить его до вокзала. И почему мы до сих пор не получили ни одного письма, а ведь прошло уже сколько времени. И чем объясняется смущение Карла Рауша, когда я спросил, отчего он не поехал вместе со всеми...

— И дядя Франсуа? И Гибсон?

— Да.

Ну конечно. Ведь они уехали в один день и час. Одним автобусом. И никто из них еще не присылал вестей о себе.

— Санька... Но об этом никто не должен знать. Никто.

Мама Галя говорила шепотом, хотя, кроме нас, никого не было в четырех стенах нашей тесной ванной.

— Это тайна. Очень важная тайна. Понимаешь?

Я кивнул.

О, если б это не было тайной!.. С каким торжеством я ответил бы на ехидное «где?» Славки Телицына! Где? Знаешь где? Эх ты, ничтожество, шкура!.. И ты посмел, ты посмел сказать...

— Мама, а Танин отец?

Я заметил, как враз погасли ее зрачки. Как в одно мгновение осунулось лицо, сделалось чужим, недоступным.

— Он тоже там? — уже понимая, что спрашивать не стоит, что это уже кощунство, лепетнул я.

— Нет.

Она поднялась, резко крутнула кран — толстая струя воды ударила в днище ванны.

Собрала развешанные там и сям непотребные мои одежки — рубашку, майку, носовой платок, — швырнула в воду. Вот уж стирка некстати.

Я видел, что она старается уйти от этого нового разговора. Что ей сейчас тяжело. Но был безжалостен, как умеют быть безжалостными мальчишки:

— Мама, он враг народа?

— Не знаю. — Голос ее был глух. И еще его заглушало брнчание воды о воду.

— Он друг народа?

Она вскинулась, раздраженно нахмурила брови. Но тут же — я заметил — укорила себя за это и локтем медленно отвела со лба свисшую темную, уже сырую прядку.

— Что за чепуха! Как это — друг?

— А кто же?

Она пожала плечами.

Вода в ванне, кипятясь и булькая, взошла уже до половины. Ма завернула кран, взялась за мыло.

— Еще вот это... — сказал я, протягивая смятый в ком пионерский галстук.

На нем, на красном, запеклись густые, уже твердые на ощупь пятна. Я им утирал юшку, когда брел домой.

Мама Галя потрогала эти пятна, горестно покачала головой.

— Ты только не сердись, — попросил я. — Ведь это правильная кровь?

Она взяла галстук, пригляделась, будто хотела удостовериться, правильная или нет.

— Может быть, — сказала она.

Когда Ганс вернулся домой, уже никто не искал в газетах рубрику «На фронтах Испании». Да ее и не стало.

А до этого каждый, купив газету, первым делом распахивал ее и на третьей странице отыскивал эту бессменную рубрику.

Поутру на улицах люди толпились у газетных витрин, и было нетрудно заметить, что все глаза, все очки устремлены к одному: «На фронтах Испании». Рядом — карта. Пиренейский полуостров. Он похож на сжатый кулак. Извилистой жирной чертой сверху вниз пересекала его линия фронта. И любое, даже малейшее ее колебание приводило людей то в восторг, то в тревогу, то в уныние.

Но вот фронтовой извив на карте дрогнул, пополз вспять. Потом эта линия рассекалась надвое. Подобралась. Сжалась. Шевельнулась в последних судорожных корчах...

Уже все позади. Взятие Теруэля и падение Теруэля. Падение Барселоны и мятеж в Картахене. Предательство Касадо и предательство Миахи. Триста тысяч бойцов республики ушли через пещерки во Францию. Там их ждали концлагеря. Но что ждет тех, кто не успел уйти, кто остался?..

«Когда мы по-бе-дим... Ты приехать в Мадрид...» — вспоминал я, как в Лозовеньках бойкий Педро приглашал в гости Татьяну. Что стало теперь с его отцом — командиром батальона? Что стало с его бабушкой цыганкой? И когда же они возвратятся на родину — этот Педро и та смуглая девочка, испугавшаяся гула ночного бомбовоза, и все те испанские мальчишки и девчонки, которые сидели вместе с нами у пионерского костра?..

Никто уже не ищет в газетах рубрику «На фронтах Испании». Нет такой рубрики. Нет фронтов. И кажется, что нет Испании.

Но каждое утро на уличных витринах вывешивают свежие газеты. И там, где было про Испанию, теперь другие вести, порой тоже невеселые.

Гитлер загреб Австрию. Вот так — взял и загреб, никого не спросясь.

А несколько дней назад, по дороге в школу, я увидел у газетной витрины, самой ближней к нашему дому, Карла Рауша. Могучие плечи его были сгорблены. Во рту — погасшая трубка.

— Здравствуйте, дядя Карл, — поздоровался я и спросил бодро: — Какие новости?

Он медленно обернулся, посмотрел на меня — не на меня даже, а будто бы сквозь меня — и, ничего не ответив, двинулся прочь.

Я, приподнявшись на цыпочках, заглянул в газету.

Фашистские войска перешли границу Чехословакии.

Мама Галя заказала такси (они недавно появились в Харькове), и мы поехали на аэродром — тот самый, за лесопарком, где давным-давно мы уже побывали однажды на авиационном празднике.

Только сейчас аэродром был тих и почти безлюден. Стояли в сторонке учебные самолеты, похожие на этажерки. Трепыхалась на штоке полосатая «колбаса», указывая, куда ветер дует. На краю летного поля чья-то коза щипала травку-муравку.

Над деревьями лесопарка появился самолет. Он летел сюда прямо из Москвы. Он шел на посадку. А я вот еще никогда не летал на самолете и никогда не был в Москве. И такой самолет я видел впервые: остроносый, двухмоторный, с приподнятыми и скошенными назад крыльями. Я лишь потом узнал, что этот пассажирский самолет называется «Дуглас».

Вот он коснулся земли, подпрыгнул, пробежался вразвалочку по полю, остановился. Помельтешив еще минуту, замерли трехлопастные пропеллеры. Отворилась чуланная дверца, выкинулась лесенка.

Пассажиры сходили на землю, подавая друг другу чемоданы.

Когда Ганс обнял маму — молча и порывисто, — я впервые не отвернулся, а смотрел на это с сочувственной улыбкой. Ведь и вправду давно не видались. Ведь это здорово — вот так встретиться. Ведь это не шутка — вернуться с войны.

Они проходили мимо нас по неслышной траве — вернувшиеся с войны.

— Салуд! — весело крикнул Алонсо, оскалив белые зубы: он стал совсем черномазым, загорел дострашна.

— Здравствуйте, — вежливо поклонился Выскочил, лицо его было хмурым, наверное, он уже знал про Чехословакию.

— Привет! — бросил, проходя, еще кто-то, я не заметил кто.

Признаться, нам сейчас было не до окружающих.

Ганс подхватил меня на руки и по старой привычке хотел было подбросить вверх, но тотчас, натужно крикнув, опустил, сказав удивленно:

— О-о, какой ты стал тяжелый. Какой взрослый.

Да, это верно. Я и впрямь успел подрасти, покуда он был в отъезде. Ведь прошло сколько времени!

Вот прошло столько времени, а когда у ворот мы сели в такси, в черную «эмку», мама и Ганс расположились на заднем сиденье, я сел рядом с шофером, а чемоданы запихали в багажник, — и машина легко тронулась с места, и через несколько минут она уже неслась на пределе по загородному шоссе, от аэродрома к городу, и, размазываясь от скорости, мчались за окошками назад, в противоположную сторону, подступившие к самой дороге молодые топольки. И, казалось бы, вот сейчас, после такой долгой разлуки, оставшись наедине — шофер нас не знает, он не в счет, — казалось бы, сейчас и заговорить, затараторить без умолку, выкладывая новости, расспрашивая, отвечая...

А вместо этого мы все молчали. Лишь прислушивались к скорости летящей по шоссе машины.

— Что же ты не рассказываешь? — первой не вытерпела мама Галя. — Рассказывай.

— Я... — тихо отозвался Ганс. — Знаете, пока я ехал к вам... Я так долго ехал. И все рассказывал, рассказывал вам, каждый день рассказывал. И теперь... — Он вдруг рассмеялся. — Теперь мне уже нечего рассказывать.

Я прямо-таки поразился, услышав эти слова. Не тому, что после такого долгого отсутствия ему, Гансу, нечего нам рассказать. А тому, как он это произнес. То есть я еще не слышал, чтобы наш Ганс Мюллер так уверенно и чисто изъяснялся по-русски. Почти без акцента. Без всяких уморительных падежей, которые умеют изобретать иностранцы. Хорошая русская речь. Как будто этот человек был не там, где он был, а, скажем, в Горьком, куда поначалу собирался. Или же он сначала побывал и там, в Горьком?..

Мама Галя тоже обратила на это внимание.

— Как ты стал хорошо говорить, — удивилась она.

Ганс опять рассмеялся. Но он не стал тут же объяснять, где и каким образом обучался он русской речи.

— А как вы здесь жили? — спросил он.

— Мы... жили, — ответила Ма. — Мы ждали.

Вслед за этим на заднем сиденье опять все смолкло. Я понял, что никакого дальнейшего разговора пока не предвидится, и стал прилежно изучать шкалы и циферблаты на приборной доске машины: я ведь впервые в своей жизни ехал на «эмке».

Затем я опустил боковое стекло и высунул голову на ветерок.

Как раз, чуть сбавив ход, мы проезжали крутой поворот шоссе, и мне из окошка была видна другая «эмка», тоже такси, следовавшая за нами, нагонявшая нас.

В ней рядом с водителем сидел Гибсон — я его тотчас узнал по усам, хотя с тех пор, как я последний раз видел Гибсона, эта приметная щеточка усов изрядно побелела, поседела. Заметив, что я высунулся в окошко, Гибсон подмигнул мне, а я ему в ответ тоже подмигнул. А в глубине этой следовавшей за нами «эмки» сидел еще кто-то. Я напряг зрение и, кажется, угадал: там сидели Ян Куля и Барча, тоже старые мои знакомые.

— А где дядя Франсуа? — спросил я Ганса, не убирая головы из окошка.

Но Ганс почему-то не ответил. Не расслышал?

Я втянул голову обратно, с ветерка внутрь машины, повернулся к заднему сиденью.

Ганс сидел, откинувшись к стеганой кожаной спинке, прямой и строгий.

Только сейчас я вдруг увидел, как сильно постарел он за минувшее время. Лицо его исхудало, сделалось обтянутым и жестким, резкие морщины иссекли его. Глазницы запали. А сами глаза были усталы.

— А дядя Франсуа? — повторил я.

Мама Галя, как и я, не скрывая интереса, смотрела на Ганса.

Он поднял руку — она тоже оказалась исхудавшей до жил, в бурых мозолях, в трещинах и порезах, как тогда, когда он еще работал не у чертежной доски, а у станка, — он поднял руку и медленно стащил с головы свой черный берет.

Ну, конечно, в такую жару — берет.

Я не понял. Нет, я ничего не понял. Я не могу этого понять. Не надо! Слышите, не надо — ведь я еще маленький. Мне не надо понимать такое.

Но мама Галя поняла сразу. Она побледнела, и все лицо ее мучительно исказилось:

— Он...

Ганс повел глазами в сторону шофера, а затем сурово и требовательно посмотрел на маму, на меня. Губы его при этом были плотно сжаты, будто запечатаны. Он давал нам понять, что нельзя. Что сейчас нельзя. При постороннем человеке. Нельзя. Ничего нельзя. Даже плакать.

Я отвернулся. Я сидел смиренно и смотрел прямо перед собой.

Навстречу летело шоссе, раскаленное, плавящееся от жары, исполосованное шинами, выщербленное траками гусениц, запятнанное бензином и маслом, посыпанное у обочин конскими яблоками.

Шофер — человек уже пожилой, грузный, с крючковатым носом и печальными, навывкате, глазами, похоже, армянин — одной рукой слегка пошевеливал баранку, а другой рукой, в которой был зажат несвежий платок, то и дело отирал пот со щек и шеи. Во рту у него был погасший «гвоздик», дешевая такая папироска, и он, посасывая, перекачивал этот «гвоздик» из одного угла рта в другой.

Он тоже неотрывно смотрел перед собой, на лежащее в лоб шоссе.

Он был молчалив и безразличен, этот посторонний человек, наш водитель. Ему-то что? Ему лишь бы работа была, лишь бы случались пассажиры, готовые ехать на такси, — новинка ведь. Лишь бы они деньги платили по счетчику. Да полтинник в придачу. А то, что они говорят меж собой, — это ему и слушать неохота и знать ни к чему. Мало ли о чем рассуждают пассажиры, усевшись поудобнее на кожаных сиденьях. Всего не переслушаешь. Кто откуда приехал, а кто куда уезжает. Кто вернулся, а кто не вернулся... Ему все это безразлично.

— Ну а как там Якимовы? — спросил Ганс.

Он, по-видимому, искал другую тему для разговора, чтобы не было так тягостно молчание, чтобы не омрачалась радость встречи.

Но ему никто не ответил.

Я обернулся украдкой. Мама Галя косила глаза на спину шофера: не надо об этом, нельзя при постороннем человеке...

А посторонний человек, наш водитель, неотрывно смотрел перед собой, шевелил баранку и посасывал мокрый «гвоздик».

Разные попадают пассажиры. Одни болтают невесть что. А другие молчат: побаиваются лишних ушей. Опасаются, как бы чу-

жой человек не догадался, о чем они ведут беседу. Спросит один несмышлennyш: «А где, мол, дядя? Куда он подевался?» Ему же в ответ — молчок. И заграничный беретик — долой... Приезжий осведомится: «А как там...» Никто и ответить не смеет, косятся на шофера.

А шоферу — ему что? Ему все это и слушать неохота и знать неинтересно.

Ему лишь бы случались пассажиры. Лишь бы деньги платили по счетчику.

Вон и город.

11

Потом Ганс мне часто рассказывал об Испании.

Он рассказывал мне, как советский пароход пробился к испанскому берегу. Ганс плыл на этом пароходе. Он, конечно, плыл не один. С ним плыли его старые друзья и сотни новых друзей, которых он даже не знал по имени. Впрочем, имена старых друзей тоже пришлось переучивать: Петер стал Педро, Йозеф — Хосе, сам Ганс заделался Хуаном... Кроме пассажиров, на этом пароходе было еще немало всего прочего: они не с пустыми руками спешили на помощь испанским братьям.

На подходе к Аликанте корабль задержали английские и французские канонерки — те самые, что соблюдали «невмешательство». Они откуда-то пронюхали, кого и что везет советский пароход. И наотрез отказались пропустить его в испанский порт.

Весь день корабль проболтался в открытом море. А ночью, когда сгустилась тьма, вся команда корабля и все, кто плыл на нем, вооружились кистями и ведерками с краской...

Наутро бдительные командиры английских и французских канонерок, глянув в бинокли, только ахнули: блокированный ими советский пароход куда-то бесследно исчез, а вместо него к испанскому берегу шел совсем другой корабль, о котором ничего не было известно: кто на нем и что на нем.

А когда командиры спохватились, когда они поняли, как ловко их провели, было уже поздно: советский пароход входил в порт Аликанте, и толпы испанских братьев подбрасывали вверх свои шапочки, ликуя, приветствуя тех, кто пришел к ним на помощь.

Он рассказывал о танковых дуэлях. И о ночных бомбежках. И о том, как жутко кричат марокканцы, когда они — бородатые, пьяные — идут в атаку.

Он даже рассказал мне о том, как в Барселоне перед началом корриды, перед боем быков, на арене в присутствии зрителей под бурные рукоплескания однажды расстреливали фашистских диверсантов.

— А они... боялись? — спросил я.

— Кто?

— Ну, те, которых расстреливали.

— Боялись? — удивился Ганс. — Наверное, боялись.

— Они просили пощады?

— Нет. — Ганс прикрыл глаза, вспоминая. И повторил: — Нет.

— А дети на стадионе были? Женщины там были?

— Конечно, были. На корриде все бывает.

— А они их не жалели?

— Кого?..

— Ну, тех, которых расстреливали.

— Нет... Их никто не жалел. Ведь это были фашисты, — объяснил Ганс.

— Ну, правильно, — согласился я. — Если фашисты, так чего их жалеть! Правильно.

— Конечно, — кивнул Ганс.

— А ты убивал фашистов?

— Что?

— Ты сам убивал?

— Я... воевал как все.

— Нет, ты прямо скажи, — настаивал я, — ты сам хоть одного убил? Скольких ты убил?

— Хм...

Ганс нахмурился. Почему-то он рассердился на меня за этот вопрос. Рассердился, полез за сигаретами, долго щелкал зажигалкой, куда она дала ему огня. Затянулся глубоко, пустил дым. А потом сказал мне, провожая взглядом синее колечко:

— Такие вопросы не задают, Санька.

Но этот разговор был у нас уже после.

А тогда, в день приезда, в первый вечер, мы сидели с ним оба за столом. Мама Галя ушла в магазин ненадолго. А мы уселись за стол: я малевал цветными карандашами самолеты, а Ганс чи-

нил электроплитку. Мама Галя тоже обзавелась электроплиткой, а старый наш примус запрятала в кладовку на тот случай, если все же придется ехать на дачу. Но плитку-то мы купили, а спираль вскоре перегорела, новых же днем с огнем нигде не сыщешь. Вот и приходится старую, сгоревшую, приспособлять наново — растягивать, лепить кусочек к кусочку, цеплять виток за виток.

Ганс вооружился плоскогубцами и пинцетом, расстелил на столе газету, поставил плитку и принялся в ней ковыряться. Деловито, спокойно. С видом доброго хозяина. Будто он приехал не сегодня. Будто он приехал не с войны. Будто он вообще никогда никуда не уезжал.

Он сидел за столом, чинил электроплитку и негромко мурлыкал себе под нос:

Аванти, пополо,
Алла рискосса,
Бандьера росса, бандьера росса...

Все еще продолжая малевать самолеты (тупоносые наши «ястребки» и тот остроносый двухмоторный со скошенными крыльями, который впервые увидел сегодня), я стал подпевать ему. Ту же самую песню, однако по-русски:

Ты, знамя красное,
Свети, как пламя,
Свободы знамя, свободы знамя...

А потом, оторвавшись от бумаги, я внимательно через стол посмотрел на Ганса и спросил его. Напрямик:

— Значит, опять вас фашисты побили?

Он прекратил свое мурлыканье, помолчал несколько секунд, вздохнул:

— Побили.

Спираль в его пальцах крошилась. Соединишь в одном месте — рвется в другом. Беда, право.

— Все это непросто, Санька... — сказал он чуть погодя. — Там под конец такая была не-раз-бериха. Пфуй!..

Все-таки некоторые русские слова ему еще с трудом давались. И плевался он еще по-немецки, а не по-русски: не «тьфу», а «пфуй». Но это, конечно, дело наживное.

Он досадливо поморщился. А потом его лицо внезапно посветлело:

— Но сначала, Санька, мы им дали прикурить, фашистам! — Кулак его тяжело грохнул по столу. — Мы им так давали прикурить — мамита миа, мамочка моя!.. Там у нас, Санька, были хорошие ребята, — волнуясь, говорил Ганс. — Испанцы. Интербригадовцы. А лучше всех, Санька, были русские ребята...

Он поднес палец к губам и продолжил почти шепотом:

— Знаешь, кто там у нас был?

Он отставил плитку в сторону, ладонью смел окалину с газеты.

— Где твой портфель?

Я мигом соскочил со стула, кинулся в другую комнату, приволок оттуда свой выдавший виды, послуживший службу портфель.

Ганс расстегнул замок, разинул утробу этого портфеля, стал перебирать корешки учебников. Пальцы его при этом мелко дрожали: все-таки вымотала человека война.

— Вот...

Он извлек из портфеля обтерханный учебник «История СССР», начал его торопливо листать.

— Ты его видел однажды. Только он там недолго был...

Сердце мое заныло в недобром предчувствии. Противный озноб пробежал по спине.

— Вот...

Он нашел страницу.

Четкий текст на этой странице углом огибал белое поле.

На этом белом поле раньше, прежде, когда-то был портрет. Портрет командарма.

А теперь на этом белом поле был густо заштрихованный лиловыми чернилами слева направо и сверху вниз, и еще наискосок, пропитавший страницу насквозь, кое-где продранный пером, беспросветный, как повязка слепца, квадрат.

Это я сам сделал. Своей рукой. Нам так велели в школе. И не только этот портрет.

Ганс в каком-то оцепенении долго смотрел на это чернильное пятно, а потом устало, будто у него зарябило в глазах, поднес к глазам руку и провел по ним пальцами от висков к переносице.

Это очень нелегкое дело — гнуть бамбучинку. Ее, тонкую бамбуковую щепочку, нужно сначала досыра вымочить в воде, а потом приблизить к синему, почти невидимому пламени спиртовки и помалу выгибать над огнем. Замочить снова, чтобы она не обуглилась. И, главное, чтобы в конце концов бамбучинка осталась не кривобокой, а точно по чертежу — изящной скобочкой, закругленным концом крыла. Еще одна бамбучинка — киль, еще две гнутые щепочки — стабилизатор. Точно по чертежу, по схеме.

Она и называлась схематической — первая модель самолета, над которой я корпел.

Зал авиамodelьного кружка во Дворце пионеров был огромен и светел — справа окна, слева окна. И по всему залу у рабочих столов, как и я, корпели ребята над своими моделями. Некоторые уже давно занимались в кружке, и у них на счету были десятки летающих созданий, таких, что диву дашься. Вон загудел бензиновый моторчик: это старшеклассники мастерят копию чкаловского АНТ-25 — точь-в-точь краснокрылая легкая птица, перемахнувшая через Северный полюс. Только, понятно, меньше.

— Гляди-ка, — услышал я за своей спиной торжествующий голос.

Пацанок Петя, Петя Горбатенко, мой троюродный дядя, сын дяди Гриши и тети Оксаны. Мы с ним так и не видались с тех пор, как гостили у родни на заречной Сомовке. Больше не было приятного случая. А вот здесь, в авиамodelьном кружке, вдруг встретились. Он, конечно, тоже подрос, но мы сразу узнали друг друга.

— Гляди-ка, — повторил Петя.

Он держал в руках фюзеляжный моноплан, почти готовый, оклеенный тонкой папиросной бумагой. Оставалось только приспособить моторчик. Правда, не бензиновый, а резиновый: до бензинового моторчика пацанку Пете было еще далеко, хотя он и на год раньше начал заниматься в кружке.

Но для меня и это было пока недостижимой мечтой — вот такой фюзеляжный моноплан, всеми своими статями похожий на взавправдашний самолет. Не то что моя схематическая модель, больше походившая на утку с вытянутой шеей.

Оставалось утешаться тем, что все начинали со схематической модели. А уж потом...

— Запущу? — спросил пацанок Петя.

— Как же — без моторчика...

— Ничего, спланирует.

— А вдруг бумага порвется?

— Переклею.

Ему не терпелось, конечно, увидеть свой моноплан на лету, в воздухе, хотя бы здесь в зале.

Он шагнул к проходу между рабочими столами, приподнял модель.

Но в этот самый момент открылась дверь, вошли люди. И как только они вошли, в зале раздались оглушительные аплодисменты. Побросав свои хитроумные модели, все — и старшекласники, и младшая ребятня — дружно отбивали ладони, увидев, кто идет впереди остальных.

Впереди шла Полина Осипенко. Волосы ее были острижены коротко, по-мужски. Гимнастерка с двумя шпалами в голубых петлицах перетянута португеей. И на этой гимнастерке сияла золотая звездочка. Герой Советского Союза Полина Осипенко.

Мы ее узнали сразу — как было не узнать! В прошлом году вместе с Валентиной Гризодубовой и Мариной Расковой она совершила беспосадочный полет от Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Без единой посадки через всю страну. И вся страна час за часом следила за геройским рейсом самолета «Родина».

И вот она, Полина Осипенко, стоит перед нами в нашем знаменитом Дворце пионеров в прекрасном городе Харькове.

Стоит и улыбается.

А мы, не жалеючи, отбиваем ладони.

Она пошла вдоль зала, мимо рабочих столов, поглядывая с интересом на всякие модели.

И тут случилось, наверное, самое великое событие в моей обыкновенной жизни. Верьте — не верьте. Мне и самому иногда не верится. Но случилось.

Полина Осипенко вдруг остановилась снова. Но не возле старшекласников с их краснокрылой бензиновой моделью АНТ-25. Не возле пацанка Пети, моего троюродного дяди, с его фюзеляжным монопланом.

Она остановилась возле меня. И взяла со стола еще не оклеенный остов моей схематической модели из гнутых бамбучинок, на которых кое-где виднелись позорные подпалыны.

Взяла, посмотрела и тихо спросила:

— Первая?

— Первая... — признался я.

— Первая, — повторила задумчиво Полина Осипенко и погладила меня по голове.

И пошла дальше.

Я чуть не заплакал от счастья.

Я чуть не плакал от горя, когда спустя недели две мы с Гансом сидели дома у радиоприемника, из которого звучал надрывающий душу траурный марш. В Москве, на Красной площади хоронили Героев Советского Союза Полину Осипенко и Анатолия Серова. Они разбились в испытательном полете.

Вот ударили залпы артиллерийского салюта. Это урны запрятали в ниши Кремлевской стены.

— Я видел ее совсем недавно. Вот как тебя, рядом, — в который уж раз объяснял я Гансу. — Она подошла ко мне...

Оркестр заиграл «Интернационал».

— Знаешь, Санька, — сказал Ганс, — а я видел его, Анатолия Серова. Только не рядом, а в небе — я видел, как он сбил «хейнкель». Он тоже был в Испании. Он там — понимаешь, там — стал Героем Советского Союза...

На верхней марке, розовой, был изображен бегун, преодолевающий дистанцию. Могучие ноги его обуты в шиповки. На майке — пять сплетенных колец. А в руке, протянутой вперед, — горящий олимпийский факел.

На нижней марке, голубой, изящная прыгунья, распластавшись в воздухе, сигает с вышки в воду. На груди ее тоже сплетенные кольца.

Уже сами по себе эти марки Мюнхенской олимпиады были бесценным даром: я таких не видел ни у кого. Мальчишки с нашего двора занедают от зависти, когда я их им покажу.

Но я был подкованным филателистом, я прошел высокую школу моего незабвенного, безвозвратного друга Франсуа, который посвятил меня в тайны и тонкости этого дела.

И когда я увидел на конверте, опущенном в наш почтовый ящик, эти две марки, сердце мое захолонуло. Марки не были оторваны одна от другой, а спаяны зубчиками. При этом одна марка

была соединена с другой вверх тормашками. Вертикальная парочка, перевертка, тетбеш. Мечта коллекционера. Сокровище.

Я уже прикинул, как с величайшей осторожностью надо будет отпарить эти марки над носом кипящего чайника, отделить, согласно правилу, не марку от конверта, а конверт от марки, чтобы лучше клочок конверта остался на марке, а не, боже упаси, наоборот, а потом положить добычу под пресс, меж страниц энциклопедии.

Я лишь мельком взглянул на адрес, выведенный на конверте. Адрес, то есть наш адрес, был написан по-русски, но как-то слишком старательно, натужно, будто бы с акцентом. А обратный адрес был настроен по-немецки, уверенно и бегло: «Виен» — Вена.

И когда Ганс взял в руки письмо, он-то, разумеется, первым делом заметил не марки, не наш собственный адрес, а именно этот обратный адрес.

Кончики его ушей порозовели от волнения.

— Сестра... — сказал он тихо. — Это от сестры. От Мари.

Первое письмо оттуда. С его родины.

Он стал надирать край конверта, и я опять ощутил колотье в сердце: как бы он не попортил драгоценные марки...

Из конверта выпала фотография.

Мы все трое склонились над ней. Ганс, мама Галя и я.

Фотография была напечатана на плотной и толстой, как картон, бумаге, с роскошным тиснением, с зубчатым обрезом. Отличная фотография, сделанная дорогим мастером. Церемонное свадебное фото.

Девушка в подвенечном платье, белом и пышном. Волосы ее уложены на висках волнистыми локонами, а поверх этих локонов — тонкий веночек, к которому прицеплена короткая кисея, фата. В руках у нее букет цветов. Она улыбается. И лицо кажется знакомым, потому что эта улыбка — улыбка ее брата Ганса Мюллера. Ну до чего похожи!..

А рядом стоит жених. Совсем еще молодой, однако чванливый с виду, он в мундире с петлицами и витыми погончиками, при галстукке, кортик свисает из-под полы. Наверное, летчик. Летчик-молочник. На рукаве у него — нацистская повязка с четкой свастикой. И он нарочно повернулся к объективу так, чтобы эта повязка, эта свастика сразу бросалась в глаза...

Жених и невеста.

Я покосился на Ганса: лицо его было совсем рядом с моим.

Оно показалось мне каменным. Окаменевшим брезгливо и чуждо.

Пальцы его, державшие фотографию, шевельнулись нервно, и движение их не оставляло сомнений в намерении — разорвать...

— Погоди, — сказала Ма, положив свою руку на его руку. — Зачем? Ведь можно отрезать — вот так... И она провела ногтем по карточке сверху вниз, как бы отделяя невесту от жениха.

Ну, конечно, можно отрезать. Взять ножницы, чик — и готово. Ведь все-таки это сестра. Родная сестра. Вон уже какая взрослая. Небось расставались — пигалицей была. А теперь невеста.

Ганс медленно, с усилием, так, что вздулись вены на запястьях, будто это не бумага, а жестяной лист, разорвал фотокарточку пополам. И еще раз пополам. И еще раз — в мелкие кусочки.

Оставался конверт.

— Марки... — сказал он. Голос его был колюч и хрипл. — Ты хочешь?

— Нет, — ответил я. — Не надо.

Он скомкал конверт, зажал его в кулаке вместе с обрывками свадебной фотографии.

Три шага по коридору — дверь уборной.

С грозным ревом низринулась из бачка вода. Булькнуло. Засипело.

Гансу, когда он вернулся, предоставили долгий отпуск. За всю войну. А мама Галя по-прежнему ходила на работу. Он, конечно, скучал. И по этой причине повадился ходить в кино. На дневные сеансы. Меня брал с собой — я учился теперь в вечерней смене.

Сегодня, в нашем кинотеатре шел «Большой вальс». На афише красовался хорошо одетый — во фраке — мужчина с пухлыми щечками и тонкими усиками. Композитор Штраус, Иоганн Штраус. Тоже, стало быть, Ганс.

Мы купили билеты, миновали контроль.

Как обычно перед дневными сеансами, в фойе было сумрачно и сонно. Народа мало. Один перелистывал ветхий журнал, двое других понурились над шахматным столиком, остальные просто так сидели, позевывали.

В глубине фойе была эстрада. Там вытянулись голые пюпитры. Сбоку выглядывал рояль с замкнутой пастью. А посередине возвышался барабан: дурашливый негр в широченных клешах отбивал

на нем чечетку, хвостатые ноты летели у него из-под каблуков, но это лишь усугубляло пустынную тишину.

Ганс направился к буфету. Он купил там вазочку мороженого для меня, а себе бутылку пива. Мы расположились за мраморным столиком у стены, у плюшевой портьеры.

За этой портьерой — дверь, за дверью — зрительный зал.

Там шел фильм. Приглушенно проникали сюда басовитые мужские голоса, визгливый женский смех, музыка. Я любил вот так, сквозь стену, прислушиваться к звукам чужого сеанса. Если картина была знакомая, виденная много раз, можно было угадывать, что там сейчас происходит, на экране, вспоминать лица актеров, прикидывать, скоро ли конец. Если же фильм был новый, я старался по этим невнятным звукам, по томительным паузам, по скрипу кресел и порывам смеха в зале определить, интересно будет или скучно, стоило ли тратить деньги на билеты.

И вообще, когда за стеной идет кино, а тебе еще только предстоит его смотреть, и когда, подслеповато щуря глаза, сдержанно гомоня, обмениваясь впечатлениями, из зала выкатываются зрители предыдущего сеанса, — кажется, что вот эти люди только что, опередив тебя, прожили какую-то часть твоей собственной будущей жизни, и они уже знают, что тебе предстоит, а ты еще только сидишь в ожидании и в неизвестности, ждешь звонка...

Мороженое быстро таяло, я хлебал его ложечкой, как сметану. В бутылке Ганса вздувались и неслышно лопались пенные пузыри.

Из-за плюшевой портьеры сейчас доносились рулады женского голоса невысказанной высоты и птичьей свободы:

А-а, а-а, аа, а-ааа,

Аа-а, аа, а-ааа...

Ганс, не донеся стакан до рта, приник к портьере. Вслушался. Глаза его мечтательно поднялись к потолку.

— Этот вальс называется «Сказки Венского леса», — сообщил он мне. — Венский лес — он в самом городе, на высокой горе...

По лицу его скользнула блаженная улыбка.

Я, облизывая ложку, внимательно посмотрел на него.

— Тебе хочется... туда?

— Там теперь Гитлер.

— А какой город лучше — Харьков или Вена? — спросил я ревниво.

— Вена, — ответил Ганс.

К началу сеанса зал оказался полон.

Померкла люстра. Клип света из проекционной будки прорезал темноту.

Бодрый марш возвестил кинохронику.

Вот к перрону вокзала медленно подходит поезд. В тамбуре вагона появляется человек, лицо которого мне давно знакомо по портретам. Широкий подбородок, коротко подстриженные усы, пенсне. Он держится с достоинством, даже чуть высокомерно, но в движениях его, во взгляде сквозит некоторое смятение. Приподняв над головой шляпу, он ступает на перрон.

— Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, — говорит диктор, — прибыл с дружественным визитом в столицу германского государства — Берлин...

На перроне чинная суета встречи. К гостю устремляется благообразный, сухощавый, обворожительно улыбающийся господин в штатском. За господином в штатском — военный господин с моноклем. За этим, с моноклем, — некто полуштатский, полувойенный. И еще множество всяких.

Высокий гость обходит строй почетного караула, безукоризненной ниточкой вытянувшийся вдоль перрона. Офицер в парадном мундире, с обнаженным палашом в руке сопровождает его.

Я оглянулся.

Позади меня сидели люди. Их лица были плоско освещены рассеянным, отраженным светом экрана.

Их лица, как это обычно в кино, были будто лишены своего собственного выражения, а лишь отражали то, что видели, были как бы экраном экрана — одинаковыми, замороженными, послушными.

Но все-таки они не были одинаковыми.

Сидел позади меня красноармеец с наголо остриженной круглой головой. И на лице его было несказанное удивление, даже рот по-детски чуть приоткрылся от удивления. На лбу поблескивали мелкие бисеринки пота.

А рядом с ним, приткнувшись к его плечу, сидела девушка с сережками, в жакетке, простенькая такая, домработница на вид, сол-

датская подружка. У нее на лице была откровенная скука. Она и на меня от скуки покосилась: чего, мол, тебе, зачем вертись?..

Я возвратился к экрану.

На экране — вереница блестящих и черных, как надраенное голенище, автомобилей, минуя торжественную колоннаду ворот, подъезжает к массивному хмурому зданию. Здесь тоже выстроен почетный караул: рота дылdistых солдат в касках — все как на подбор — с непостижимой сноровкой вскидывает ружья с кинжальными штыками.

— ...во второй половине дня, — возвещает диктор, — в помещении новой имперской канцелярии товарища Молотова принял рейхсканцлер Германии господин Гитлер...

Вот он — Гитлер. Носатый, с рыхлой мордой, с длинной челкой наискосок лба. В точности такой, каким его изображают на карикатурах. Он одет в двубортный френч с Железным крестом и еще каким-то значком, а на рукаве у него раскоряченный орел с венком и свастикой.

Гитлер обменивается с гостем рукопожатием, показывает на кресло — прошу, мол, присаживайтесь. И сам плюхается в кресло. Он самоуверен, оживлен... Ну гад.

Я снова, не выдержав, обернулся.

Еще позади меня сидел старик — седой, и особенно седой оттого, что сейчас его седина будто бы светилась от сияния экрана. Он был морщинист, а глаза его были темны и всезнающи. Будто он все знает. И былое, и нынешнее, и наперед. Будто он знает, как неисповедимы пути, какими движется мир, как неожиданны и заковыристы бывают повороты и как все это потом сглаживается временем — все сглаживается, только морщины остаются на лицах стариков, только седины остаются...

Я посмотрел на Ганса.

Лучше бы я на него не смотрел.

Нет, мы, конечно, и до того, как пошли в кино, все уже знали об этом. Мы газеты читали. Мы радио слушали. Мы были в курсе.

Что ж, раз надо, так надо. Договор, так договор. Не с теми — так с этими. Вынужденный шаг. Ради мира. Для обеспечения границ.

Но еще до того как мы с Гансом были в кино, произошло то, о чем я покуда умалчивал, потому что надеялся — все это буза, не-

доразумение, все это утрясется. Едва Ганс вернулся из Испании, к нему пришел Карл Рауш. Он явился, выждав ровно столько времени, сколько отведено приличиями, чтобы дать возможность человеку побыть наедине с семьей.

— О, во бин и фро, дас и дих зее! — закричал он с порога, обнимая Ганса и хлопая его увесистой ладонью по спине.

— И аух, — улыбнулся Ганс. — Вы геетс дир, альтер?

Я переведу весь этот разговор, слово в слово.

«О, как я рад тебя видеть!» — заорал толстяк, войдя в квартиру. Полез обниматься, надавал по спине Гансу приятельских грубых затрещин.

«Я тоже, — заулыбался Ганс. — Как поживаешь, старина?»

Он, кажется, был действительно рад повстречать своего земляка и товарища после столь долгой разлуки.

Карл отстранился, держа руки на плечах Ганса, восхищенно оглядел его с головы до ног. Куцыми пальцами ощупал ткань серого костюма, в котором был Ганс. Заинтересовался:

— А шёнер анцуг... Хаст ин дорт кауфт? — и повел головой куда-то в сторону.

— На, ин Парис... Про-ез-дом, — невесело усмехнулся Ганс.

(«Какой красивый костюм... — похвалил Карл Гансову одежду. — Ты его там купил?») Очевидно, он имел в виду Испанию, но прямо не сказал об этом, так как это по-прежнему оставалось тайной, а я присутствовал при разговоре, был рядом.

«Нет, в Париже, — ответил ему Ганс и, усмехнувшись горько, добавил по-русски: про-ез-дом...»).

Должно быть, он вспомнил, как они оказались в Париже — солдаты преданных армий, воины павшей республики, плакавшие от обиды и ненависти, уходя за Пиренеи.

Ганс направился к буфету, достал оттуда початую бутылку коньяка, две рюмки.

Они сели за стол. Чокнулись.

— Прозит!

— Прозит.

Карл вынул из кармана свою трубку и принялся неторопливо, железной лопаточкой, уминать в ней курчавый табак.

— И маус мит дир ин анэр эрнст'н захн рэдн...

(«Мне нужно поговорить с тобой по очень важному вопросу...»)

Он сказал это глухо, не отрывая взгляда от трубки, будто заранее тяготясь предстоящим разговором.

— Варум ден ауфшиб'н? — Ганс щелкнул зажигалкой, поднес огонек к трубке Карла.

(«Зачем же откладывать?»)

Карл затянулся, кашлянул надсадно, сощурил от дыма глаза:

— Вайст ду, дас вир нах Остеррайх цурюк фарн?.. Дас ист фаст зо энтшид'н...

(Что?.. Мне показалось, что я ослышался. Потому что Рауш заявил буквально следующее: «Ты знаешь, что мы возвращаемся в Австрию? Это почти решено»).

Ганс уронил зажигалку на пол. Нагнулся за ней. Выпрямился. И произнес тихо:

— Ду бист нарриш вурн...

(Он сказал: «Ты сошел с ума...»).

— На, — покачал головой Карл. — Их бин ганц г'зунд... Эльза хат има хамвэ нах Веан.

(«Нет, я в полном порядке... Но Эльза очень тоскует по Вене»).

— Но ду вайст дох, дас йетцт дорт ди «наци» зан?

(Ганс сказал ему: «Но ты же знаешь, что там сейчас «наци», нацисты?»)

Он все же надеялся, что Карл шутит, он все еще не верил, что тот несет все это в здравом уме.

Рауш нахмурился, помолчал, будто колеблясь, продолжать ли эту беседу. Но он превозмог колебания, хотя и было заметно — с трудом превозмог.

— Ди лецт'н форкомниссе хаб'н юберцайгт, дас ма мит инен ин фрид'н лебен канн... Безондерс йетцт, нах-дем дёр фертраг унтацайхнет ист.

(«Последние события убедили меня в том, что и с ними можно жить в мире... Особенно теперь, когда подписан договор»).

Ганс поднялся, взволнованно и загнанно обежал комнату, вернулся, стиснул пальцами спинку стула:

— Ду хаст мир шейнт фергесс'н, вер ди «наци» зан!..

(«Ты, кажется, уже забыл, что такое «наци»!..)

Рауш пожал плечами.

— Оллес ин дер вельт ист унгефер, май либер...

Он взял бутылку, снова налил рюмки, примирительно улыбнулся Гансу.

И это означало: «Все на свете относительно, дружище...»

— И глауб, вир хам фергесс'н, дас ди «наци» аух «соци» зан, — продолжал Карл. — Эс ис я ка гехаймнисс, дас дер Гитлер фюль фюр ди дойчен арбайтер гетан хат...

Спинка стула хрустнула в руках Ганса.

(Я не перевел то, что сказал Рауш. У меня язык не поворачивается повторить то, что он сказал. Однако я обещал — слово в слово. Он сказал: «Кажется, мы забыли, что «наци» — они в то же время и «соци», социалисты... И не секрет, что Гитлер многое сделал для немецких рабочих...»).

Глаза Ганса округлились от бешенства. Я ждал — вот сейчас он ударит...

Но он лишь прошипел, задыхаясь:

— Шау даст'т ауссикумст!

(«Убирайся вон!»)

Рауш поднялся из-за стола и стал торопливо совать в карманы трубку, кожаный кисет, лопаточку.

Уже у двери он обернулся:

— Мер хаст мир них ну зог'н?

(«Ты больше ничего не хочешь мне сказать?»)

— Йо...

Голос Ганса звучал уже спокойнее и тверже.

— Йо. Их виль зог'н, дас ду а ферретер бист!

(Так его! Правильно. Ганс ответил: «Да. Я хочу сказать, что ты — предатель!»)

Но когда дверь захлопнулась за Карлом, он опустился на стул — тяжело, обессиленно. Потянулся к рюмке с коньяком. Рука его при этом мелко дрожала. Дрожала больше обычного. Эту нервную дрожь он привез оттуда, с войны. А тут еще стал частенько прикладываться к бутылке.

Я положил свою руку поверх его руки. И сказал:

— Не надо... папа.

Я так впервые назвал его.

И снова у нашего подъезда стояла машина.

Сколько их здесь перебивало?

Грузовик у подъезда был полон домашнего скарба. Будто приехали новые жильцы.

Но это не приехали. Это уезжали Рауши.

Толстый Карл, посасывая трубку, с примерной озабоченностью хлопотал подле машины. Он проверял, хорошо ли уложены вещи. Не свалится ли что по пути на вокзал? Не забыто ли что впопыхах?.. Нет, ничего не свалится. И вещи уложены хорошо. И ничего не забыто.

В каждом движении Карла Рауша — даже мне это было видно — сквозила та суетная торопливость, которая одолевает малодушного человека, когда он отваживается наконец переступить роковую черту и спешит уйти за нее подальше, чтобы вдруг не одуматься, не вернуться...

Отка и Лотка, притихшие и растерянные, переминались с ноги на ногу близ машины. За время, что я их знал, они сильно изменились: Отка, еще недавно худой и жилистый, как дворовая кошка, округлился, раздался в плечах и заду, шея его набычилась, и он стал удивительно похожим на отца — вылитый Карл, только ростом помельче; Лотка же, пухленькая и розовая, будто дорогая кукла, наоборот, отошала, вытянулась, сделалась угловатой и нескладной, и в ней уже угадывалось подобие матери, скорбной Эльзы.

Они — Отка и Лотка — стояли возле машины, переговариваясь, даже хихикая изредка — так лишь, для вида, не слыша и не слушая друг друга, ради того только, чтобы отгородиться от всего, чтобы спрятаться.

У одной лишь Эльзы Рауш вид был решительный, надменный, даже торжествующий.

Но и она не смела поднять голову, не смела поднять глаза туда, к окнам...

На этот раз никто из друзей Карла Рауша не вызвался помочь в хлопотах. И никто не спустился во двор пожелать отъезжающим счастливой дороги.

Хотя и нельзя сказать, чтобы этот отъезд остался совсем без внимания.

Черномазый Алонсо высунулся до пояса из окна шестого этажа и поглядывал сверху на машину. Гибсон и Выскочил восседали на подоконниках в соседних комнатах — они жили в одной квартире, у каждого по комнате — и тоже смотрели вниз.

А мы с Гансом вышли на балкон, любовались оттуда.

И еще на других балконах с удобствами расположились досу-жие наблюдатели.

И неизвестно, кто первый — так, от нечего делать, от приятно-го расположения духа, от полнейшей беззаботности — принялся насвистывать:

Кукарача, кукарача...

Эта песенка — про букашку, про таракашку, в общем про какое-то насекомое — родилась в Испании, а прижилась повсюду. Мотивчик ее из тех, что привяжется — не отвяжется. Раз услышишь — не забудешь. Кто-нибудь затянет, а ты обязательно подтянешь. Кто-то засвистит, а твои губы сами вытягиваются в трубочку.

И вот уже эту песенку подхватили в соседнем окне, на соседнем балконе, выше этажом, ниже этажом:

Кукарача, кукарача...

Ну и мы с Гансом, переглянувшись, засвистели тоже: не отста-вать же от других.

Только на минуту, чтобы перевести дыхание, я прекратил свис-теть и спросил Ганса:

— А если там узнают, что он коммунист?

— А он больше не коммунист, — ответил Ганс. — Мы его ис-ключили. Вчера.

Кукарача, кукарача... —

все задорнее, все громче гуляло по двору.

Карл Рауш, багровый, как вареный рак, сунул в карман дымя-щуюся трубку и что-то раздраженно закричал Отке и Лотке. Они полезли в кузов. Эльза юркнула в кабину. Карл попытался втис-нуться туда третьим, но не тут-то было, он оказался слишком толст, и дверца за ним никак не захлопывалась.

А сверху, справа, слева, отовсюду неслось пронзительно и хлестко:

Кукарача, кукарача...

Два поплавка торчат из воды.

Речная вода гладкая, как зеркало, ни рябинки. Она отражает все, что окрест, весь окружающий мир, все, кроме самой себя.

Она цвета знойного неба. В нее погрузились и тают, оплывают взмыленные облака. В ней, в глубине, юрко, по-рыбы, носятся стрижи. И длинные косы ив тянутся с речного дна вверх, к солнцу, будто водоросли.

Только самой реки нет. Она исчезла, обратившись сполна в другие чудеса мира.

Ясно, жарко, безветренно. Все застыло. И кажется, что на полуденной отметке остановилось само время.

Два поплавка торчат из воды, неподвижно, тоже отражаясь в ней — остриями вниз.

— Не клюет? — спрашиваю я Ганса на всякий случай, хотя и сам знаю, что не клюет.

— Нет... — качает головой Ганс. — Не клевало, не клевало, а теперь совсем перестало.

Есть такая невеселая рыбацкая шутка.

Он вздыхает, я тоже вздыхаю.

Мы сидим тут уже целую вечность. Едва рассвело, мы пустились в путь: я, мама Галя, Ганс и Танька, которую мы взяли с собой. Мы и Софью Никитичну тоже звали вместе с нами, но она не поехала, сказала, что есть дела. Мы-то знали, какими делами займется она опять в этот воскресный день: снова сядет писать письма...

С той поры, как Алексея Петровича арестовали, и с тех пор, как Софье Никитичне предложили покинуть школу — уйти по-хорошему, — с той поры она тоже работала на заводе, на Тракторном, где работали почти все взрослые люди, жившие в нашем доме, где прежде работал и ее муж, Алексей Петрович Якимов. Поначалу Софья Никитична боялась, что ее и туда не возьмут, на завод. Но ее взяли: кто-то посмел, кто-то посочувствовал ей, кто-то не отрекся от семьи товарища и от доброй памяти о товарище.

Софья Никитична работала табельщицей и, должно быть, не очень уж хлебной была эта должность: они с Танькой еле-еле сводили концы с концами. Из квартиры исчезали знакомые мне вещи, постепенно редели плотные ряды книг в огромном книжном шкафу,

который стоял в кабинете Алексея Петровича — их продавали, — и каждое такое исчезновение, когда я замечал его, отзывалось в моей душе резкой болью, казалось таким же непонятым и страшным, как исчезновение самого хозяина.

Мама Галя не раз пыталась помочь Софье Никитичне. Но Якимова отказывалась наотрез. И, я думаю, вовсе не из гордости. Наверное, она боялась смириться, признаться, что ей самой уже никак невозможно.

Она не смирялась. Вернувшись с работы, садилась писать письма. Писала их, отсылала, получала ответы, ничего не получала в ответ — и снова садилась писать. Она не сдавалась, билась изо всех сил.

Вот и сегодня, в этот воскресный день, она села писать письма.

А Татьяну отпустила с нами: пусть едет, пусть не видит, пусть забудет хоть на время.

Сначала мы ехали ранним трамваем, затем пригородным поездом до Мерефы, потом еще долго шли пешком, пока не набрали на это чудесное место на берегу реки, у косматых ив.

Здесь поутру мы с Гансом и закинули удочки — все, как полагается, честь по чести, даже поплевали на червяков для удачи.

Мы сидим под ивами уже четыре часа, а может и больше, не сводя глаз с поплавок.

Но все напрасно. Ни одной поклевки. Ни у него, ни у меня.

Рыба будто вымерла. Будто ее тут нет и сроду не было. А она тут есть. Об этом проговариваются и пузыри воздуха, всплывающие жемчужными струйками наружу. И всплески на омутах. Порой то один то другой поплавок вдруг лениво и еле заметно качнется из стороны в сторону, не от ветра — ветра нет: это рыба подходит к насадке, трогает ее... Но не берет. Она не хочет брать. По каким-то неведомым причинам она в этот день не желает кормиться. И баста. Тут уж ничего не поделаешь. Какая ни окажись распрекрасная погода, какую самую соблазнительную насадку ни нацепи на крючок, как ни будь ты хитер и искусен, ничего не поймаешь. Клева нет.

Да, скучно. И досадно.

Остается лишь надеяться. Остается лишь радоваться, что дышишь чистотой, что солнце насквозь прогревает голую спину.

Мне-то, правда, не так уж позарез необходимо это. А вот Гансу — ему отдохнуть не мешает.

Для него эта минувшая зима была нелегка.

Он работал теперь на заводе ведущим конструктором группы. Каждый день оставался там допоздна. Впервые завелись в нашем доме лишние денежки, и мама Галя даже купила пианино, неизвестно для какой надобности: никто из нас не играл, разве что для гостей, может, кто-нибудь из них сбарабанит «собачий вальс». Но дело не в этом. Не ради денег, конечно, Ганс засиживался до ночи в конструкторском бюро. Не для всяких никчомушных покупок. А потому, что так было нужно.

Он возвращался домой, пошатываясь от усталости: ведь они, конструкторы, как часовые — все время на ногах, у своих чертежных досок. Он жадно проглатывал ужин и валялся в постель. А утром был снова собран и свеж, нетерпелив. Напевал, бреясь в ванной.

Но иногда он приходил домой раньше обычного, а казался еще более усталым, измочаленным, выжатым: осунувшиеся щеки, запавшие глаза, до хрипа прокуренный голос.

И мы уже знали, что его опять вызывали в большой дом на Совнаркомовской улице, облицованный серым цементом, графленным в клетку.

Среди политэмиграции прошли аресты.

Все чаще вызывали Ганса туда. Уж не знаю, то ли кто-то из товарищей по Австрии, по Испании капал на него, то ли его самого заставляли капать на своих товарищей...

Но в эту зиму он поседел. У белобрысых седина не очень заметна. Но я-то, конечно, заметил.

Вот сейчас он сидит с удочкой поодаль, смотрит на воду. Взгляд его неподвижен.

И вода неподвижна.

И поплавки неподвижны.

На мой поплавок уселась голубая стрекоза и замерла, опустив прозрачные крылья с опознавательными точками на концах — будто она была уверена, что поплавок не шелохнется, не канет вглубь, что ее покой не будет потревожен.

— Эй вы, горе-рыбаки!.. Где ваша рыба?

Мы оборачиваемся.

По крутой тропинке сбегают мама Галя и Танька. Обе легкие, в ситцевых платьях. У Татьяны в руке лукошко.

— А рыба где? — уже на берегу снова спрашивает мама Галя, подбоченясь строго.

— Там. — Ганс показывает на реку. — Еще там.

— Не клюет, — объясняю я.

— Ах, не клюет? Просто ловить не умеете!..

Женщины всегда — такой уж, видно, издревле существует обычай, — они всегда измываются над рыбаками, если те возвращаются с рыбалки пустыми, срамят их, отпускают колкости: ах, мол, не клюет? Просто ловить не умеете, недотепы, зашли бы в магазин по дороге, купили рыбки, чтобы перед соседями не было стыдно... А мужчины, честные рыбаки, при этом достойно помалкивают и только в душе своей сетуют на женскую несправедливость и жестокость.

— А у нас вот что! — гордо заявляет Танька и ставит на траву подле меня лукошко.

Я заглядываю в это лукошко. Подумаешь... Земляники горсть, едва-едва на доньшке. Да и земляника-то вся незрелая: что ни ягода — с одного бока зеленая. Правда, с другого бока — красная, румяная... Любопытно, как она на вкус?

— Руки прочь! — Мама Галя отнимает у меня лукошко. — Это потом. Сначала будем обедать.

Мы сидим в тени, под ивой. Узкие ивовые листья щекочут нам затылки, касаются щек.

У нас пир горой. Газета расстелена на траве, чего только нет на ней: малосольные ранние огурцы, еще не пожелтевшие от рассола, но уже терпкие, обжигающие язык; домашние котлеты, подернутые салом; крутые яйца, являющие из белизны июньское яркое солнышко; хлеб — добрый ржаной хлеб с хрустящей коркой, ноздреватый, пахучий.

Мы жуем. Поглядываем друг на друга. Мы счастливы.

Мы особенно часто поглядываем на Татьяну. Разделяет ли она наше счастье? Конечно, она не может быть столь же счастлива, как мы. Ведь у нее — несчастье. Всегда среди счастливых людей есть несчастные люди.

Но как хочется, чтобы это всеобщее счастье не затмевало ни-чьих несчастья... Ну, пускай хоть сегодня, хоть один только день, она тоже почувствует себя вполне счастливой!..

— Закурить у вас не найдется?

Мы и не заметили, как по тропинке, заслоненной ветвями ивы, подошел человек. Подошел и остановился возле нас.

Уже старый человек, можно сказать, совсем старик. Борода, спина сгорблена, сума за плечом, а в руке — палка. Похожий на странника, что ходят от города к городу, от села к селу, сказывают людям вести.

— Закурить у вас не найдется ли? — спрашивает он.

— О, пожалуйста!.. — Ганс достает из кармана пачку «Беломора», протягивает ее старику.

Тот непослушными дрожащими пальцами долго пытается ухватить папирозину из пачки, наконец это ему удается, и он сует ее в свой беззубый рот. Говорит:

— Спасибо вам.

Но не уходит.

Ганс подносит ему огонька.

А странник все не уходит. Стоит, опершись на палку, и с каким-то непонятым сожалением смотрит на нас. Чудной старик.

— Рыбачите? — спрашивает он, кивнув на удочки.

— А!.. — Ганс только рукой махнул: какая, дескать, это рыбалка — ни одной поклевки.

— Отдыхаете, стало быть?

Ну до чего настырный дед. Все стоит, не уходит. Все расспрашивает. И все смотрит, смотрит — тоскливо так смотрит на Ганса, на маму Галю, на меня, на Таньку...

— Отдыхаем, — отвечает ему мама Галя.

— А ведь война.

Отдаленный гул сотрясал стены. Опять бомбили город.

До недавних пор они прилетали только ночью, всегда в одно и то же время — хоть часы проверяй. Мы с мамой Галей спускались в бомбоубежище — холодный бетонный подвал, — и сидели там в темноте вместе с другими жильцами большого нашего дома, сидели, прислушиваясь к резкой пальбе зениток и гулким взрывам бомб. Ганс вместе с другими мужчинами дежурил на крыше, тушил термитки песком.

Но теперь бомбежки не прекращались и днем. Воздушные тревоги, отбои смешались, перепутались, никто на них не обращал внимания.

Да и некогда нам было сейчас отсиживаться в подвале.

Мы собирались в дорогу.

Прознав об этом, заехала попрощаться тетя Оксана, жена дяди Гриши, вместе с пацанком Петей — родня с заречной Сомовки. Они оставались.

— Значит, уезжаете... — печально сказала тетя Оксана. — А может, зря? Может, и не возьмут немцы Харьков? Где они еще — далеко ведь.

— Далеко. Я тоже думаю, что не возьмут, — согласилась мама Галя. — Должны же их остановить... Но завод эвакуируют, вот и приходится уезжать. Под бомбами много не поработаешь.

— Это верно. У нас от Сомовки близко кроватный завод, так они его день и ночь крошат, окаянные. А зачем? Дались им эти кровати...

Я прислушивался к разговору. И впрямь очень странно: фашисты бомбят какой-то кроватный завод. А наш пока не трогают. Неужели они надеются взять его добычей, знаменитый Тракторный? Ну, это черта с два. Ганс сказал, что вывезут в тыл все до последнего болта. Ничего не достанется немцам, если они возьмут Харьков. Но неужели они возьмут Харьков?..

— Мы бы тоже, конечно, уехали — от греха да от страха подалее... — Тетя Оксана горестно сморкнулась в платок. — Но дом бросать жалко: не казенный, свой. А насчет нас самих, если придут... Гриша мой беспартийный, Лизка тоже. Петенька — мальчик маленький. А уж я-то и вовсе никому не нужна...

— Вы, тетя Оксана, извините, только времени у меня в обрез. Буду при вас собираться... — В голосе мамы Гали слышалось некоторое раздражение. — И ты, Санька, иди к себе, возьми что надо — но самое необходимое, слышишь?

Я поплелся в свою комнату, пацанок Петя — за мной.

Самое необходимое. Я взял инструменты: молоток, плоскогубцы, клещи, ножовку — ведь без этих вещей обойтись человеку нигде и никак невозможно, без этого человек как без рук. Взял футбольный мяч — воздух, конечно, из него выпустил, чтобы не занимать лишнего места, зато прихватил насос. Взял книгу, самую любимую и самую нужную — «Ваши крылья», про то, как стать летчиком. Еще портфель с учебниками — вот уж действительно время...

Больше я решил ничего с собой не брать. Через месяц-другой, а то и раньше Красная Армия погонит фашистов, война закончится, мы вернемся обратно в Харьков, нечего таскать взад-вперед лишнее барахло.

А если все-таки немцы возьмут Харьков?.. Если они все-таки войдут в город и начнут рыскать тут по пустым квартирам?

Я задумался. Мне пришла в голову одна хитрая мысль.

У меня сохранилась с той, давней уже, но памятной первомайской демонстрации красная звезда с серпом и молотом — картон, оклеенный кумачом, на древке. Я отломил древко, залез на стул и приколотил эту звезду к стене, над книжной полкой. Потом сбежал в комнату Ганса и принес оттуда собрание сочинений Маркса и Энгельса, благо они были у нас на немецком языке, — принес и расставил эти книги на полке, том к тому.

— Зачем? — спросил Петя, с большим интересом следивший за моими действиями.

— Понимаешь, если немцы возьмут Харьков...

— Да не возьмут они.

— Конечно, не возьмут. Но если...

Я решил раскрыть ему свой план, он был хорошим пацаном, и мы с ним были давно знакомы, и он был моим дальним родственником.

— Понимаешь, если вдруг они возьмут... если залезут сюда, в квартиру... ну, солдаты их обманутые, понимаешь? А тут им прямо на полке — на немецком языке. Ведь они никогда не читали, фашисты сожгли эти книги. А тут можно прочесть. Пускай прочтут и другим расскажут — пускай они повернут оружие, понимаешь?

Пацанок Петя улыбался восхищенно.

— Это ты здорово придумал! Конечно, пускай прочтут... Только им все равно не взять Харькова.

Дверь приоткрылась, заглянула тетя Оксана.

— Петечка, идем, сынок. Попрошайся с Саней... А вы скорее обратно возвращайтесь, Санечка. До свидания.

Небогатый свой скарб я понес в комнату, где мама Галя укладывалась в дорогу.

Она стояла на коленях перед большим фанерным ящиком. Вся она была какая-то потерянная, оглушенная, сосредоточенно потирала виски, будто решала сложную, невероятной сложности задачу.

Вот она опять склонилась над ящиком, принялась выбрасывать оттуда вещи: туго скатанный коврик, связку обуви, старую шкатулку... Поднялась, метнулась на кухню, принесла вместо этого мясорубку, утюг, кастрюлю. Ну да, как же без этого? Ведь без мясорубки даже обыкновенных котлет не изжарить, сухарей не смолоть. А без утюга? Так, что ли, и ходить измятым, будто корова жевала да выплюнула... Совершенно невозможно жить без этих вещей.

Я протянул ей свои причиндалы. Она посмотрела на них, потом на меня с укоризной.

— Нельзя, Санька, нельзя... Только семьдесят пять килограммов можно, по двадцать пять на человека, нас трое.

Она опять потеряла виски, добавила:

— А если Ганса возьмут на фронт...

Ее рассеянный взгляд скользнул по связке обуви, лежащей на полу, — скользнул и задержался. Она вдруг отвязала от этой связки пару совсем крохотных ботинок, маленьких до смешного, подняла, показала мне:

— Это твои... самые первые.

И, поколебавшись мгновение, положила ботинки в ящик.

Я возмущенно фыркнул. Вот уж и впрямь крайняя нужда.

— А если Ганса возьмут на фронт, — повторила мама Галя, — то на двоих. Пятьдесят килограммов.

Лязгнула входная дверь.

Ганс? Да.

Не сказав ни слова, он пересек комнату, направился к окну и замер у этого окна, перечеркнутого наискосок полосками бумаги. По его спине было видно, что он зол и подавлен. Обиженная такая спина.

Мама Галя подошла к нему сзади, тронула рукой плечо.

— Ну что?

Он обернулся резко, сбросил с плеча ее руку.

— Мне отказали.

Мама Галя вздохнула сочувственно. Но, как мне почудилось, и облегченно.

Это повторялось всякий раз, когда Ганс возвращался из военкомата. А ходил он туда чуть ли не каждый день. И каждый день я боялся этого: что ему опять откажут.

Честно говоря, еще я боялся, когда он уходил в город, что его незначай где-нибудь остановят и загребут как немецкого шпиона —

ведь все-таки он еще изъяснялся с акцентом. А шпионов на улицах ловили, некоторых по ошибке, но некоторых взаправду — в городе появились шпионы, подрывники.

— Не злись, — попросила мама Галя. — Ну не всем же идти на фронт, ведь кто-то должен работать для фронта! Если тебя бронируют, значит, это необходимо, Значит, твоя профессия...

— Моя профессия — бить фашистов! — раздраженно и четко сказал Ганс. — Думаю, что дело не в профессии, а в том, что меня зовут Ганс Мюллер.

Заметив на полу фанерный ящик, он решительно шагнул к нему.

— Что это такое? — спросил он, вытаскивая за ручку мясорубку. Швырнул ее на пол. — А это? — Он держал утюг. — Зачем это? — Утюг с лету ковырнул паркет. — Для кой черт вся эта ерунда? — гневался он, вытряхивая из ящика одну необходимую вещь за другой. — Всякая чепуха...

Теперь он держал в руке пару крохотных ботинок, маленьких до смешного, держал за шнурки, будто котенка за шкуру.

— Я же сказал: семьдесят пять килограммов. На трех человек. И ни грамма больше!..

Ботинки плюхнулись обратно в ящик.

— Дядя Ганс... тетя Галя...

В комнате появилась Таня Якимова. Как же она сумела войти? Должно быть, не защелкнулся замок.

Она стояла в дверях. Глаза ее были расширены изумленно, растерянно и радостно. — Там папа... приехал.

Он не то чтобы состарился за эти годы, но как-то весь выцвел, поблек.

Хлопчатобумажная, не первого срока гимнастерка, узкая в плечах. Такие же хлопчатобумажные стиранные галифе, куце оттопырившиеся на бедрах. Пилотка с замусоленными краями лежала на поручне кресла.

Да чем же она худа, эта одежда, эта красноармейская форма?

Наверное, Ганс был бы счастлив вот сейчас, сию же минуту облачиться в эти галифе, в эту гимнастерку с почетными петлицами рядового.

И все-таки Якимов уже не был прежним Якимовым. Осунулся, померк. А может быть, это лишь показалось мне из-за того, что ис-

чезли бесследно буйные кудри добра молодца. Крупная голова Алексея Петровича была острижена под машинку, едва пробивается жесткая, тронутая сединой щетинка. Где его так остригли? То ли уже в армии, то ли еще там, где он был до этого.

Они с Гансом сидели друг против друга в креслах, как когда-то, как в тот праздничный вечер, в этом же кабинете. Целая вечность прошла с той поры.

Беседа их была нетороплива, с затяжными провальными паузами.

А ведь мы уже знали, что Алексей Петрович проездом в Харькове, что его отпустили из части лишь на краткую побывку — воинский эшелон стоял вблизи, на станции Левада, — что нужно торопиться.

Может быть, их следовало оставить вдвоем, чтобы они поговорили наедине. Однако и на это не хватало времени. В квартире Якимовых был такой же встревоженный кавардак, как и у нас. Софья Никитична и Таня тоже собирались в путь вместе с нами.

— Ну как там дела с нашей... машиной? — осведомился Алексей Петрович.

— Мы начали. Уже начали, — ответил Ганс.

— Начали... — едко усмехнулся Якимов. — Уже на-ча-ли. Поздновато вы начали, братцы!

— Мы начали, — деловито продолжил Ганс, пропустив мимо слуха эту едкость. — Идет доводка, идет разработка новых узлов. Но... выпускать будем уже там, на новом месте.

— Что ж, коли начали, скорее кончайте. Это сейчас вот как нужно! — Якимов резанул шею ребром ладони.

Он полез в карман куцых своих галифе, вытащил оттуда кисет, сложенную вдесятеро газету, обломок рашпиля, кремь, обрывок каната — довольно странное хозяйство.

— О, у меня папиросы, прошу... — засуетился Ганс.

Подбежала Софья Никитична. В руке у нее тоже была коробка «Казбека».

— Алеша, — сказала она, — это твои. С тех пор на столе... лежат.

Повертев коробку, Алексей Петрович отложил ее в сторону.

— Не надо, пожалуй. Привык к махре.

Он ловко скрутил цигарку, протянул кисет Гансу.

— А ну попробуйте. Надо и вам привыкать. Пора военная.

Ганс неумело, просыпая махорку на колени, соорудил такую же сигарку. Прикурил от тлеющего трута.

Они оба задымили нещадно, поглядывая друг на друга сквозь крутой синий дым.

— Значит, все стало на свое место? — бодро спросил Ганс. Как будто лишний раз нашел подтверждение своей уверенности в том, что иначе и быть не могло.

— Мне разрешено смыть вину кровью, — ответил Якимов.

Он произнес это спокойно, без всякой горечи, и заученно, как цитату.

— Но разве...

— Алеша...

Это снова оказалась рядом Софья Никитична.

— Алеша, я достану тебе теплое. Ведь все уже запаковала, и твое тоже. Достать?

Нетрудно было, догадаться, что она прервала их разговор не только потому, что вспомнила о теплых вещах.

Алексей Петрович взглянул на жену, улыбнулся, привлек ее к себе, щекой коснулся щеки.

— Может быть, вы потом поговорите, а? — Она умоляюще смотрела на Ганса. — Когда-нибудь потом, обо всем на свете. Кончится война, опять соберемся, как люди...

— Мы должны договорить сейчас, — твердо сказал Якимов. — Извини, Соня.

Ганс, уронив голову, смотрел на пол.

— Алексей Петрович, все это время... мне не давал покой одна мысль. — Голос его был глух. — А если виноват я? Если все случилось из-за того, что вы пригласили делать эту важную работу меня — иностранца... Это так?

— Кабы знать, — пожал плечами Якимов. — Я до сих пор не знаю, почему это... случилось. Но теперь мне разрешено смыть вину кровью. И я считаю это честью для себя. Не всем, кто там был со мной... и кто там остался, оказана такая высокая честь: идти на фронт.

— Но разве есть вина?

— Есть.

Глаза его смотрели сурово.

— Сейчас не время разбираться, чья она. Но есть вина в том, что мы к началу войны оказались куда слабее, чем могли быть. Что слишком многое мы только начали...

Он кивнул на стекло, дребезжащее от взрывов.

— Что они прошли досюда. Вот эту вину и придется смывать кровью. Большой кровью народа.

Нет, я ошибся. Это прежний Якимов. Все тот же Якимов. Он остался таким, каким был, не согнулся, не померк. Просто минули годы. Просто голова его острижена наголо. Просто на нем гимнастерка, которая ему узка в плечах. И еще он торопится. Его ждут в части, которая следует напрямиком на фронт — эшелон стоит вблизи, на станции Левада. Некогда вести долгие беседы. И Софья Никитична умоляет: «Может быть, вы потом поговорите, а? Кончится война, опять соберемся, как люди...»

Якимов встал с кресла. Крепко, обеими руками обнял Ганса, приблизил лицо к его лицу:

— Там, в эвакуации, помоги Соне. И дочке. Прощай... Ваня.

В сентябре он погиб под Киевом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

1

— Ты расскажешь нам, Игорь, о полезных ископаемых Восточно-Европейской равнины. Рассказывай.

В глазах Натальи Витальевны, нашей географички, была спокойная уверенность: она ведь знала, что Игорь Пиотровский расскажет все как надо. Не то что Ленька Голованов, только что схлопотавший «кол».

Игорь взял указку. Он был собран и серьезен, как подобает отличнику.

— В недрах черноземных степей скрыто много полезных ископаемых, — сообщил он, обведя кружок на карте. — Вот здесь расположена Курская магнитная аномалия, богатое месторождение железных руд, — пояснил он. — Его открыли советские ученые, — подчеркнул Игорь, — они обратили внимание на то, что в этих местах стрелка компаса отклоняется — это на нее влияют скрытые массы железа...

— Так, совершенно верно, — одобрительно кивнула Наталья Витальевна.

Что верно, то верно. Все как надо. Как написано в учебнике географии, по которому чешет наизусть Игорь Пиотровский.

Учебник лежит передо мной на парте. На обложке напечатано: «1940 г.»

Но сейчас не сороковой год, а сорок второй. Новых учебников, понятно, из-за войны не выпускают, и приходится учиться по старым. Вот он, Игорь, и отвечает по старому учебнику о Курской магнитной аномалии. А Наталья Витальевна согласно кивает.

Как будто ни ей, ни ему не известно, что в Курске — немцы. Что никакие там не полезные ископаемые, а самые что ни на есть фашисты. Что с прошлой осени они засели в Курске.

— На всю страну славится месторождение железных руд у Кривого Рога, — продолжает как ни в чем не бывало Игорь Пиотровский. — Его эксплуатация особенно удобна тем, что вблизи расположены угольные шахты Донбасса...

А в Кривом Роге — фашисты. И в Донбассе — фашисты. С прошлой осени.

Я оглянулся беспомощно. Да неужели никто, кроме меня, об этом не знает? Неужели у всех вдруг отшибло память? Или всех, будто гипнозом, заморозил дотошный рассказ Игоря, кивание Натальи Витальевны, этот старый учебник географии?

Нет, не всех. Ленька Голованов сидит за своей самой задней партой, на «Камчатке», хмурый, бодливо наклонив темя. Он-то небось понимает. Может быть, именно по этой причине он и не сказал ничего вразумительного, когда его вызвали к доске, к карте. Какой уж там Донбасс, какая магнитная аномалия! Немцы там, вот кто. А ему за это еще и «кол» выставили...

Таня Якимова. Татьяна. Танька.

С нею мы единственные в этом шестом «Б», окончившие пятый класс в Харькове. Остальные либо местные ребята, либо тоже эвакуированные, но из других городов, не из Харькова. Из Харькова никого больше нет, жалко.

Мы тут с нею единственные.

И ей бы сейчас заметить мое смятение, мое беспокойство — неужели все обо всем позабыли? — и хотя бы взглянуть в мою сторону, глазами ответить: нет, мол, Санька, я помню. Я помню наш Харьков. А теперь он не наш — там тоже немцы. С прошлой осени. Я помню своего папу. Он погиб. Уехал на фронт и сразу же погиб. Я все помню, Санька.

Однако Татьяна сейчас смотрела не на меня. Она очень пристально, загоротив ладонями щеки, смотрела на Игоря Пиотровского. Слушала, как он там, у карты, пересказывает из учебника географии старые рассказы про полезные ископаемые Восточно-Европейской равнины. Вот ее брови тревожно сдвинулись: Игорь, сбившись на полуслове, вдруг закашлял надсадно. С ним это часто случалось, такой неожиданный кашель. Но он тотчас откашлялся, отер платком губы, снова заговорил. И Танькины брови успокоенно разошлись.

Между прочим, я уже не впервые ловил невзначай этот пристальный, загороженный ладонями взгляд Татьяны, устремленный

на Игоря Пиотровского. Даже когда он не отвечал у доски, а сидел за своей партией, справа от нее, через ряд.

Не стану скрывать: меня это несколько задевало. Ведь Игорь был не из Харькова.

Он приехал сюда из Ленинграда. Его вывезли оттуда на самолете, когда замкнулось кольцо блокады. Помог отец, подводник, капитан первого ранга, который служил на Северном флоте. Отец добился, чтобы жену и сына отправили на Большую землю, чтобы он мог не волноваться, уходя в море, — но с тех пор, вот уже сколько времени, от него самого не было ни письма, ни строчки. Мы знали об этом, Игорь часто говорил об отце. Он его любил и возвеличивал. Ну еще бы: капитан первого ранга, подводник! А вот разговоров о ленинградской блокаде Игорь избегал, когда мы его расспрашивали, — может быть, потому, что он недолго пробыл в кольце. Оттуда он и привез этот кашель, надрывавший порой его грудь.

Игорь не выглядел слабаком. Он был плечист и строен, до войны занимался гимнастикой. У него были гладкие волосы, раскинутые на четкий пробор.

Однажды я нечаянно услышал, как Игоря обсуждали в раздевалке, среди навешанных пальто, две девчонки: «Этот новенький, из Ленинграда — он красивый мальчик, правда?» — сказала одна. «Не знаю, — сказала вторая. — Я видела его маму. Она очень красивая. А он просто похож на нее».

Но эти две девчонки, судя по голосам, были другие. Не Танька.

Между тем указка продолжала блуждать по карте, испещренной синими реками, рыжими взгорьями и зелеными равнинами. Легко так и быстро, скользя, одолевала она расстояния.

Да и вправду ли эти расстояния так уж велики?

Я представил себе наш путь от Харькова сюда. Эшелон был в пути пять дней. Засели в голове названия станций: Изюм, Красный Лиман, Дебальцево... Раньше я их слыхом не слыхал. На одной из них добрая старушка, подойдя к вагону, уверяла, что к ночи нас тут непременно разбомбят, но мы уехали до ночи. На другой, заглянув в станционную лавку, я обнаружил, что там продают пшеничный концентрат в пакетиках, закупил его на целый трояк, который сунула мне в карман мама Галя на случай, если я отстану от поезда, — и она похвалила меня за эту покупку. Приближаясь к треть-

ей, я впервые в жизни увидел шахты — черные курганы, повитые сизым дымком.

Не слышал я про эти станции, про эти маленькие города и позже, когда их сдавали немцам. Эти названия не упоминались в сводках. В сводках были другие названия, оглушавшие будто обухом: Киев, Харьков, Курск...

И я думал не о той доброй старушке, которая подходила к нашему вагону в Изюме, остерегала насчет бомбежек, а думал я о паненке Пете, о моем троюродном дяде Пете Горбатенко, оставшемся в Харькове. Как же он там, под немцами? Что с ним?..

Но в последние дни я воспрянул духом, проникся ожиданием. Услышал по радио, прочел в газете: Красная Армия начала наступление на Изюм-Барвенковском направлении. А это значит — под Харьковом. Это значит — на Харьков. На Харьков!

Вот будет здорово, когда наши возьмут Харьков, Быстро соберем свои эвакуационные манатки — и домой. И завод вернется на прежнее место, в Харьков.

Помню, перед самым Новым годом посредине урока неожиданно раздался звонок. «В зал, всем в зал!» — распахнув дверь, объявил запыханный пионервожатый. В школьном зале на стене висела карта, размалеванная наспех. Красный кружок — Москва. От этого кружка пронзительным колючим веером устремились в сторону красные стрелы. И черные ошетилившиеся дужки пятились от этих стрел.

— Ребята! Только что получено сообщение. «В последний час... — прочла Наталья Витальевна, которая была в нашей школе партийным секретарем. — Разгром немецко-фашистских войск под Москвой...»

Мы вскочили с мест и так заорали от радости, что едва слышали остальное:

— ...освобождены от врага Елец, Рогачево, Солнечногорск, Волоколамск, Клин...»

А ведь и эти маленькие города были незнакомы большинству из нас.

Нет, я напрасно злюсь на старый учебник географии. Зря оглядываюсь в недоумении. Это очень хорошо, что Игорь Пиотровский рассказывает о Донбассе, о Курской магнитной аномалии, о Восточно-Европейской равнине так, будто ему невдомек, что там сей-

час фашисты. И, будто по уговору, молчит шестой «Б». И права Наталья Витальевна, которая согласно кивает головой, не перебивает.

— Вот здесь, ниже, — сказал Игорь, — находится...

— Стоп, — перебила Наталья Витальевна и строго нахмурилась. — Сколько раз я должна напоминать, что в географии не существует таких понятий — выше, ниже, левее, правее? Есть понятия: севернее, южнее, восточнее, западнее... Разве ты забыл об этом, Игорь?

— Я не забыл, просто... — Наш отличник смущенно отвернулся.

— В каких случаях мы имеем право употреблять в географии слова «ниже», «выше»? — продолжала допытываться Наталья Витальевна.

Игорь с готовностью протянул указку к синей речной излуине меж зеленых низин:

— Наш город, Сталинград, расположен по течению Волги ниже Саратова...

Тяжелый выбух ударил в уши. Оконные стекла, залепленные крест-накрест полосками бумаги, задребезжали, вдавливаясь вовнутрь. С потолка просеялась штукатурка.

— Спокойно, всем оставаться на местах. — Наталья Витальевна явственно побледнела. — Воздушной тревоги не было...

Но мы бросились к двери, волоча портфели и сумки. Потому что это был не первый случай, когда сначала рвались бомбы, а уж потом взывали сирены. И не было случая, чтобы кто-нибудь возвратился в класс после отбоя.

Ближайшую воронку мы обнаружили у шоссеиной дороги, рассекавшей Бекетовку, наш рабочий поселок. Заглянули — ничего себе ямка.

— Полутонну кинули, — определил Игорь.

— Опять в Сталгрэс целились, — сказал Ленька Голованов.

Справа от нас, там, куда убегало шоссе, виднелась громада электростанции. Она была похожа на военный корабль серой брони, на крейсер «Аврора» — только на «Авроре», помнится, три высокие трубы, а на Сталгрэсе их шесть. Шеститрубный корабль, распустивший дым по ветру.

Ленька съехал на заду в воронку, мы — за ним.

Он же первым заметил нору — вроде ящериного хода, — расковырял ногтями, вытащил острозубый рваный кусок металла.

Мы склонились над его ладонью, потрогали зазубренные края осколка: вроде теплый еще.

— Тут буквы какие-то. Или цифры... — сказал Ленька. — Не разберу.

— Дай-ка попробую, — предложил я.

— А чего их разбирать — фашистские? — Ленька в сердцах отшвырнул прочь осколок.

— Понимаете, у нас в Харькове упала фашистская бомба и не взорвалась. Саперы развинтили, а в ней песок и еще записка: «Чем можем — тем поможем». Это, наверное, рабочие там, у них...

— Ты сам видел? — едко сощурился Ленька Голованов.

— Что?

— Ну, записку эту.

— Нет, — признался я. — Но в Харькове говорили.

— Мура! — зло и решительно отозвался Игорь Пиотровский. — Про эту бомбу и про эту записку в каждом городе рассказывают. У нас, в Ленинграде, тоже сперва рассказывали, а после перестали... Потому что взрываются они, бомбы! Взрываются. И эта, как видишь, взорвалась. Хорошо — мимо. А если бы в Сталгрэс попала — все заводы в городе остановились бы...

Он замолк, сглатывая подступающий кашель, отдышался и добавил:

— Что-то обнаглели они, немцы. Вдруг среди дня — бомбежка. Почему?

Но тут и я и Ленька могли поспорить с Игорем Пиотровским. Ведь он приехал сюда, в Бекетовку, уже зимой, когда шла к концу вторая четверть. А я жил здесь с осени. А Ленька Голованов — он и вовсе местный, бекетовский, тут родился.

Так вот. Первые бомбы на Сталинград упали еще прошлой осенью, в октябре. И упали они именно на Бекетовку. Среди бела дня.

Мы сидели как ни в чем не бывало на уроке, и вот в точности, как сегодня, внезапно, без всякой воздушной тревоги — взрыв, взрыв, взрыв, взрыв.

Одна бомба упала прямо на станцию, а там люди дожидались пригородного поезда. Вторая разорвалась на рынке, а на рынке всегда полно народа. Третья угодила в фабрику-кухню. Четвертая грохнулась возле этого самого шоссе.

Тогда все поняли, что немцы хотели разбомбить Сталгрэс, но промахнулись. В электростанцию они так и не попали. В тот день поубивало многих, а многих поранило. Мальчика маленького убило.

Потом всю зиму на отчаянной высоте появлялись разведчики. По ним стреляли зенитки, в безоблачном синем студеном небе вспухали комки разрывов, но, похоже, они не доставали той высоты. За ними гонялись истребители, над самым городом протаранили немца, но я не видел этого своими глазами, читал в газете.

В пасмурный день, когда облака нависли над самой землей, на них вдруг, как в бачке с проявителем, обозначились черные летящие тени: сухопарые двухмоторные «Мессершмитты-110» поднырнули под сырую заволочь и пошли над Бекетовкой почти на бреющем, так что были видны кресты на крыльях и головы летчиков в кабинах.

Два «мессера» опять круто взмыли, а третий врезался в Лысую гору — то ли самолет был подбит, то ли из-за тумана, сослепу.

И меня вдруг осенила счастливая мысль, злая надежда: что этот летчик, который сейчас, на моих глазах, воткнулся в землю, — что он, может быть, и есть тот самый наглый и чванный тип со свастики на рукаве, тот летчик-молодчик, который пыжился на свадебной венской фотографии рядом с сестрой Ганса Мюллера, и Ганс тогда отправил их обоих в сортирную раковину, — мне даже показалось, что я узнал эту чванную морду за плексигласовым фонарем «мессершмитта», хоть и в шлеме, — и если я сейчас быстро добегу до Лысой горы, то смогу полюбоваться, как он там валяется в обломках с разможенным черепком, а руки-ноги расшвыряло взрывом по отдельности — во зрелище!..

Но Лысую гору, когда я добежал, уже оцепили бойцы НКВД и никого не подпускали.

Так и не смог я убедиться, что он, — жалко. С ночи на ночь, иногда и днем объявляли воздушную тревогу.

Совсем недавно, в конце апреля, когда стаял снег и зазеленела свежая травка, я возвращался из школы, на полпути к дому взвыли заводские сирены, пришлось лезть в ближайшую щель, а там... Нет, об этом мне покуда и вспоминать неохота.

Последние недели, когда Красная Армия начала наступление на Харьков, немцы вроде забыли про Сталинград. Стало тихо, никаких тревог.

И вот опять, сегодня эта свежая глубокая воронка, в которой мы сидим.

Наверху послышался гул моторов. Но это не самолеты — автомашины.

Мы выкарабкались из ямы.

По шоссе двигалась колонна грузовиков. В кузовах плотно сидели красноармейцы, скатки-шинели через плечо, в руках винтовки. К замыкающей машине была прицеплена маленькая пушка на резиновых шинах, подпрыгивающая в колдобинах.

— Противотанковая, — сказал Ленька Голованов. И добавил, дрогнув губами: — Батя из такой стрелял...

Ленькин отец погиб в сорок первом.

— Наверное, прямо на фронт едут, — предположил Игорь.

— Что ты? — возразил я. — До фронта далеко, очень далеко. Они на учения едут или с учения.

В поселке, неподалеку отсюда, был широкий плац, где обучали новобранцев. Они там маршировали строем и в одиночку, кололи штыками соломенные чучела, кидали гранаты, ползали по-пластунски.

— Нет, это не на учения, — сказал Ленька, провожая пристальным взглядом последний грузовик и прыгающую пушку.

— Ребята, — озаботился Игорь, — нам же еще в госпиталь сегодня. И уроков задали до черта.

— Уро-оки, уроки... — Ленька Голованов в досаде поскреб затылок. — Тут война, а они, понимаешь, уроки задают.

Госпиталь разместился в большом школьном здании, поднявшемся над Бекетовкой. Пожалуй, выше этой школы была только электростанция — ведь на ней еще и трубы.

Если бы это здание не отвели под госпиталь, то нам, школярам, не пришлось бы таскаться что ни день за четыре километра, в дальнюю школу, к Никитинской церкви. Туда-сюда целый час. Если б не было войны, то мы тут бы, рядышком, и учились. Но если б не было войны, я бы и не очутился в Бекетовке, жил бы себе в своем Харькове, благодать...

Но когда война, самые большие школьные здания отводят под госпитали. Даже в финскую войну в Харькове позакрывали соседние школы, ребят со всей округи втиснули в нашу, и мы там сиде-

ли человек по шестьдесят в одном классе. А ведь то была малая война.

Однако и в здешнем госпитале было тесно, хотя на верхние этажи мы не заглядывали.

А для выздоравливающих отвели физкультурный зал — тут когда-то бегали, прыгали, висели на кольцах, карабкались по канатам, по шведской стенке (эта решетчатая стенка и сейчас подпирала потолок), — и все пространство зала было уставлено больничными койками, одна к другой впритык, белели простыни и подушки, белели бинты, белел гипс, белели халаты медсестер и санитарок, лица раненых были тоже бледны — они ведь давно уже не видели белого света.

Встретили они нас хорошо: оживились, обрадовались. Кто смог — сел, кто смог — повернулся набок, кто смог — приподнял голову, а кто не смог — шевельнулся.

Конечно же, им тут, в госпитале, все наскучило, надоело, хотелось обратно на фронт.

Мы часто тут выступали. Пели хором песни (некоторых песен я не знал — пришлось только рот разевать), читали стихи (Игорь Пиотровский читал, я не читал, ничего подходящего не знал наизусть), танцевали (Таня Якимова лучше всех танцевала). Обычное дело, художественная самодеятельность.

Раненые аплодировали нам от души.

Однако я заметил, что песни и стихи про войну — вот про эту войну, где их изранило и покалечило, — они слушали внимательно и серьезно, хлопали нам деловито и вежливо; но когда стихи и песни были еще довоенные, самые что ни на есть предвоенные, мирные и веселые — тут они слушали особенно чутко, затаив дыхание, ловили каждое слово, улыбались мечтательно, а некоторые из них даже не скрывали счастливых слез.

И хлопали нам еще сильнее.

Конечно, им очень хотелось обратно на фронт. Но еще больше, мне кажется, им хотелось обратно в мирную жизнь.

Кому не хотелось.

А это было невозможно.

Слишком далеко зашла война. За самый Харьков.

И почти целый год уже она длилась.

И надо было кончать войну, кончать фашистов — ведь они начали.

— Видишь, там, у шведской стенки... — шепнул Игорь, подтолкнув меня локтем. — В белом халате. Это моя мама.

Шведская стенка была в противоположном конце зала. Но я разглядел там женщину в белом халате. Даже издали было видно, что она очень красивая. И я убедился, что девчонки, судачившие в школьной раздевалке, оказались правы: Игорь Пиотровский был похож на нее. Она смотрела на всех нас влюбленными глазами, но, может быть, она смотрела только на Игоря — издали ведь не понять, на кого лично смотрят.

Рядом с нею стояла еще одна женщина в белом халате, чуть постарше и не такая красивая. Ее я знал: это была мать Леньки Голованова, тетя Катя, Екатерина Степановна. Мы жили рядом.

Мы все жили рядом: между шоссеиной дорогой и железной дорогой, между рынком и баней, близ бекетовской платформы.

Кроме Леньки Голованова, который тут родился и вырос в своем родном доме, все мы жили у хозяев по эвакуационным ордерам.

Когда приходил очередной эшелон, в эвакупункте выдавали ордера: вам туда-то, а вам сюда-то, а вам вон аж куда, ничего, люди покажут... Но война быстро научила нехитрым уловкам. Хозяева сами сговаривались на станции с эвакуированными (нет, не насчет платы — в плате ли дело), а насчет взаимного удобства: хозяевам — чтобы семья поменьше и без крикливых грудников, а жильцам — чтобы в доме почище и, главное, к работе ближе. И чтобы взаимная симпатия, сердечный лад. Эвакупункт охотно разрешал.

— Ну, покедова, — буркнул Ленька.

— Привет, — сказал Игорь.

— До свиданья, — улыбнулась Танька.

Они все трое жили на улице Шекспира, которой мы как раз достигли. Пиотровские жили у Головановых, а Якимовы — соседний двор, соседний дом.

Я посмотрел им вслед и, загрустив, потопал на свою Каланчевскую улицу, она была недалеко. Вон главная примета: черный треугольник крыши на фоне сумеречного неба, среди дремучих акаций — Якушин дом. Самый большой, самый добротный, самый нарядный. Крыльцо под изогнутым сводом, узорчатый дымник над трубой. Мы, правда, жили не у самого Якуши, а рядом — наш

дом был невзрачнее, неприметнее, труба пониже и дым поуже, просто примета: возле дома Якуши.

И вообще, это только считалось, что мы проживаем в городе Сталинграде. А на самом деле мы проживали в поселке Бекетовка. Это был удивительный город — Сталинград. Он растянулся на полста верст и весь состоял из заводов, подступивших к берегу Волги, а при этих заводах имелись рабочие поселки вроде нашего: бесчисленные улицы, улочки и переулки, застроенные деревянными домишками, домишки огорожены заборами, а за этими заборами растут акации и лают сердитые псы, когда идешь мимо. Были, конечно, и каменные дома — например, возле бекетовской платформы стояли настоящие солидные четырехэтажные дома, и там же был Дворец культуры, где мы смотрели кино, там находились и разные учреждения. Но эти каменные дома казались островами в бескрайнем море низких дощатых крыш и ветвистых, кустистых дворов. Глубокие балки — овраги, поросшие камышом, — отделяли один поселок от другого, и все эти поселки лепились к склонам безлесных покатым холмов. Сарепта, Бекетовка, Отрада, Хохлы, Ельшанка...

А где-то был настоящий город Сталинград.

Вот этот настоящий Сталинград я и мечтал увидеть.

Правда, я был там однажды, но так и не увидел.

Минувшей зимой мама Галя решила съездить со мной в Сталинград, в коммерческий магазин «Гастроном», где давали продукты без карточек — просто намного дороже, чем по карточкам. Ехать туда надо было ночью, чтобы с ночи занять очередь, выстоять сколько надо, купить что можно и вернуться домой, в Бекетовку, и еще успеть ей на завод, мне — в школу.

Меня она брала с собой, чтобы занять две очереди и купить, что положено, не в одни руки, а в двое рук.

Мы поехали.

Была непроглядная стылая декабрьская ночь. Пригородный, а точнее, городской поезд, который называли «пчелкой», тащился часа полтора. Он останавливался у невидимых во тьме платформ, и, когда двери открывались, клубы морозного пара заполняли вагон. Он погромыхивал на стыках, я дышал в заиндевевшее стекло, оттирал варежкой глазок — в глазке была тьма.

Тьмой был окутан и вокзал, где мы сошли с поезда, — главный городской вокзал. Густая тьма царила и на площади неподалеку от вок-

зала, а это была главная площадь города — площадь Павших Борцов. Впотьмах мы разыскали нужный магазин и стали в густую темную очередь. Я все оглядывался, пытаясь хоть что-нибудь различить во тьме. Я скорее угадал, чем увидел громадные темные здания, обступившие площадь со всех сторон. Но тут начали запускать в магазин.

В магазине ничего не оказалось, кроме слипшихся окаменелых конфет-подушечек (куски нарубали секачом) и раскрошенного печенья (его загребали совком), мы купили того и другого и заспешили обратно.

А ночь не уходила, тьма была такой же густой, непроницаемой.

До поезда оставалось еще несколько минут, и я лишь одно успел разглядеть поподробнее на привокзальной площади, хотя и было совсем темно.

На этой площади был диковинный фонтан.

Шестеро мальчишек и девчонок, взявшись за руки, кружились в хороводе вокруг лежащего, свернувшегося кольцом крокодила. Они замерли в своем разудалом и веселом кружении, улыбки их замерли, и пионерские галстуки замерли, отлетев на ветру. Так они и застыли на крутом морозе, припорошенные снегом, эти ребята.

Замер и крокодил. Пасть его была разинута зло и хищно. Возможно, летом, когда фонтан работал, из этой разинутой пасти била искрящаяся струя воды — и тогда, может быть, крокодил выглядел более мирным, более добрым, хорошим сказочным крокодилом, лучшим другом детей. Может быть... Но сейчас его оскаленная пасть и выпученные глаза ничего хорошего не предвещали. И этот подобранный, как у спящей собаки, хвост в колючих бугорках, тоже не предвещал ничего доброго: вот сейчас он, крокодил, вмиг развернется, шелкнет хвостом и ухватит клыкастой пастью за пятку ближайшего мальчишку, ближайшую девчонку, вопьется зубами, клацнет, потянет, заглотает...

Однако мальчишки и девчонки в пионерских галстуках, ничуть не опасаясь, взявшись за руки, кружились в стремительном хороводе вокруг этого жуткого страшилища, взяли его в кольцо, и, похоже, сам крокодил, грозя ощеренной пастью, уже норовил как-нибудь проскользнуть между их ног, улизнуть из кольца, дать деру отсюда, из этой окаянной стужи, от этих чумовых ребяташек.

— Санька, да ведь мы опоздаем! — окликнула меня издали мама Галя.

Я побежал за нею следом, все оглядываясь на этот странный замерзший фонтан, постепенно тонущий во мраке.

И обратно «пчелка» тащилась часа полтора. Опять в заиндевевшем окошке ничего не было видно, кроме густой темноты. А когда чуть-чуть рассвело и я продышал на стекле зрячую дырку, я увидел изъятые крыши Бекетовки, мы как раз подъезжали к станции.

А ведь я мечтал посмотреть Сталинград.

В доме было пусто.

Мама Галя и Ганс возвращались с завода в ночь-полночь. Там работали теперь не посменно, не по часам, а кто сколько выдержит. Иногда целые сутки выдерживали. Потом ехали домой отсыпаться — и снова на завод.

Хозяева, дядя Вася и тетя Клава, тоже были на заводе, только на другом.

Я заглянул в остывшую печь, приподнял крышки кастрюль — пусто. Но в малом чугушке оказалась пара холодных картофелин, сваренных «в мундире», как говаривали до войны. Я ободрал кожуру, потыкал в соль, сжевал мигом. Еще сильнее захотелось есть, однако больше ничего не нашлось. А хлеб выкупать только завтра утром, перед школой.

Сколько времени? Расписные ходики с чугунной гирей показывали ровно девять по-местному. Ага, надо включить репродуктор — последние известия.

— ...В течение двадцать восьмого мая, — вещал диктор Левитан, — на Изюм-Барвенковском направлении наши войска отражали ожесточенные атаки танков и пехоты противника...

Значит, еще сопротивляются, гады, хотят остановить наше наступление.

— ...На остальных участках фронта ничего существенного не произошло...

Остальные участки фронта меня интересовали меньше. Ведь сейчас главное — Харьков.

— За двадцать седьмое мая уничтожено 28 немецких самолетов, наши потери — 18 самолетов...

В глубине дома я уловил приглушенный мерный стук. Это в конурке дедушки Санджи. Стало быть, дом не совсем пуст, дед Санджи дома. Так ведь он почти и не выходил из своей конурки, что у

самых сеней. Очень старый дедушка. Я любил потолковать с ним о том о сем. И он любил.

Дед сидел на табуретке. Перед ним на полу стояла железная прямая ступа, а в руках он держал железный пест чуть покороче лома, которым колют на улице лед.

Завидев меня, дед перестал стучать, обрадовался, что есть повод передохнуть. Заулыбался: узкие его глаза еще больше сузились. Дедушка Санджи был калмык, но он с молодых лет осел в Бекетовке и рассказывал мне иногда о своей степной Калмыкии, будто она находилась где-то за тридевять земель, хотя Калмыкия была совсем рядом, впритык к Сталинградской области, ниже, то есть южнее. Жена его была донской казачкой, а дочка — тетя Клава — слегка калмыковатая.

— Добрый вечер, дедушка Санджи.

— Здравствуй, тезка, здравствуй, — улыбался старик.

Он и взаправду считал, что мы с ним тезки: Санька и Санджи.

— Садись, тезка. Ну, что там слышать по радио?

— Отражаем атаки под Харьковом, — пересказал я. — Сопровивляются они пока.

— Сопровивляются еще?

— Да... Зато сорок восемь самолетов мы сбили.

Тут я, конечно, приврал маленько. Набавил двадцать. Но приврал вполне сознательно: чтобы порадовать дедушку Санджи, чтобы поднять его настроение, боевой дух.

— Сорок восемь? Это порядочно, хорошо, — обрадовался дед.

И опять ухватился за свой железный пест. Бух, бух в ступу.

Вот так.

— Дедушка Санджи, а что это вы делаете? — поинтересовался я.

Дед согнулся, закрихтев, вынул из ступы сыпучую горсть:

— Держи-ка.

В моей ладони оказались крохотные темно-коричневые зернышки. Среди них было и несколько желтых зерен, вроде бы только что вылупившихся, оголенных. Но остальные прятались в плотный и блестящий коричневый панцирь.

— Что это?

— Просо. Дикое просо, — объяснил дед. — Оно в степу растет.

— А зачем оно?

— Как это зачем? Надо его перелуштить. А когда перелуштишь про- со — будет тебе пшено. А из пшена мы с тобой кашу заварим. — Дедушка Санджи хитро подмигнул: — Небось любишь пшеничную кашу?

Я сглотнул голодную слюну: сразу вспомнил вкус той горячей и духмяной пшенной каши, сваренной мамой Галей из брикетов, которые по счастливому случаю купил я в лавке на станции Красный Лиман; брикеты давно кончились и я только помнил вкус той замечательной пшенной каши.

— Люблю, — сказал я. — А как?..

— А вот так. — Дед окунул железный пест в железную ступу: бух, бух. — Вот так его надо — долбить и долбить... Не желаешь попробовать?

— Желаю, — охотно согласился я.

Мне очень хотелось попробовать пшенной каши.

Дедушка Санджи уступил мне место на табуретке, сам пересел на топчан, застланный пестрым лоскутным одеялом.

Я поднял тяжелый пест и обрушил его в сыпучее месиво: бух, бух, бух, бух...

— Вот так, — кивнул дед. — Долбить и долбить. И станет пшено.

Мне понравилась эта работа. Пест уходил в мягкое, будто в воду, только не с плеском, а с шорохом. Он не доставал дна ступы, а как бы увязал, оттого и удары получались глухими, подспудными, тайными. Бух, бух...

— Значит, говоришь, отражаем атаки? — переспросил дедушка Санджи.

— Да. Под Харьковом.

— Однако ты мне сказывал третьего дня, будто наступаем? А?

Я говорил, что наступаем. Потому что по радио вот уже сколько дней говорили, что наступаем на Изюм-Барвенковском направлении. А это как раз под Харьковом.

Железный пест с шорохом уходил в мягкое. Но он становился все тяжелее и тяжелее, этот пест. Конечно, с голодухи, без настоящего ужина, трудновато махать и махать железным пестом. Долбить и долбить. Но зато впереди меня ждет исходящая паром рассыпчатая пшенная каша.

Ах черт, я совсем забыл про уроки. А назавтра математичка нам задала кучу заковыристых примеров, только представишь — в глазах рябит... Уже не успеть. Но и это не беда: сдую на перемене

у Игоря Пиотровского. Ведь на то он и отличник, должен показывать пример — что там у него получилось в ответе.

Бух, бух.

Я для проверки — может быть, готово уже — зацепил из ступы жменю проса. Рассмотрел: мелкие зернышки были по-прежнему сплошь в блестящей коричневой коже, а желтых, вылущенных, если и прибавилось, то совсем мало, воробью на почин. Очень странно. Ведь я уже, наверное, добрых четверть часа орудовал пестом.

— Что, устал? — спросил сочувственно дедушка Санджи.

— Нет, я не устал, но... это еще долго нужно?

— Ась?

— Сколько еще надо вот так долбить?

— А-а. Долго, Санька, долго. Покуда все не передолбишь. Покуда из него пшено не получится — из проса...

За окном вдруг взвыли заводские гудки. И репродуктор в соседней комнате (было слышно отсюда) заголосил тревожно, истошно.

— Ну вот, опять пожаловали... — Дед нахмурился. — Видать, еще не всех сбили.

Недобро знакомый слуху прерывистый занудный вой тяжелых «юнкеров» проник в это голошенье сирен. Он надвигался, он был уже почти над самой нашей крышей.

— Дедушка Санджи, пошли в бомбоубежище, — сказал я. — В щель.

— В щель?..

Он поднялся с топчана, оттер меня с табуретки, уселся, взял железный пест в морщинистые свои, темные, со вздутыми жилами руки.

— Что я, таракан, по щелям прятаться? — заворчал он. — Не пойду... Я уж старик. А ты иди, иди, Санька. Ты еще молодой.

Зенитки надрывались где-то рядом — звон давил уши. Краткие вспышки разрывов прокалывали тьму. Лучи прожекторов обшаривали небо, и там все гуще, все плотнее лепились друг к дружке круглые облачка. Похоже, зенитки пытались перегородить небо частоколом разрывов.

Все это мне было видно из щели, потому что я укрылся у самого лаза, на нижней земляной ступеньке.

Такие щели было приказано вырыть всем хозяевам с подмогой жильцов, но не во дворе, а на улице, чтоб и случайным прохожим было где спрятаться, если вдруг застигнет воздушная тревога. Зем-

ляная щель глубиной метра два, сверху доски и земляной накат, уже поросший бурьяном.

Конечно, если бомба угодит напрямик в это нехитрое сооружение — тут же, в этой щели, тебе и могилка. Но если бомба взорвется в стороне, даже поблизости, можно выбраться живым. И еще земляной накат спасал от зенитных осколков: они железным градом сыпались с неба, и было бы обидно расстаться с жизнью от своего же советского осколка, который шмякнет тебя невзначай по макушке...

Здесь, у лаза, на ступеньке, голова была надежно укрыта, однако было видно, что происходит наверху. Ага, вот луч прожектора зацепил в темном небе серебристый крестик, ухватил его и повел, так что кажется, будто самолет неподвижен. Тотчас же к нему сбегались и другие лучи прожекторов, держат на свету, не отпуская. И теперь уже зенитки бьют прямо по цели. Ну...

Крестик заваливается в сторону, за ним тянется дымная струйка, тоже серебристая в свете прожектора. Ниже, ниже, все ближе к затемненной земле. Бдительный луч сопровождает падение. Ухнуло — далеко.

Завтра его присчитают к другим, которых сбили за эти сутки.

Жалко, что дедушка Санджи этого не видел. Зря он не послушался меня, не полез в щель. Мы бы с ним вместе порадовались.

Но тут я опять вспомнил, как совсем недавно, в конце апреля, возвращался из школы и на полпути вдруг завыли сирены, пришлось сунуться в ближайшую щель, а там... Нет, неохота вспоминать об этом. В другой раз.

Нудное гудение чужих моторов опять послышалось вверху. Истошно залопотали зенитки. Нарастающий свист заставил прижаться к стене.

Рвануло так, что я ощутил плечом, как двинулась земля.

Бомба. Близко. На станцию?..

А где сейчас мои?

2

Ганс читал «Сталинградскую правду».

Газетная бумага была желтоватой и толстой, как пергамент, как страницы книги, пролежавшей век. Но газета была сегодняшняя,

свежая, только что сунули в почтовый ящик у калитки, — просто на такой вот неважной бумаге печатали сейчас газеты.

Он читал ее сосредоточенно и хмуро и вроде бы не заметил даже, как я сел к столу, как придвинул к себе кружку с горячим чаем и шумно отхлебнул из нее. Лицо его тоже было желтоватым, похожим на эту ветхую сегодняшнюю газету, невыспавшимся. Однако чисто выбритым.

Я покосился сбоку на газетный лист. Что же он там обнаружил такое интересное и важное, что не может оторвать неподвижного взгляда от нескольких строк и ничего не замечает вокруг? А там всего-то и написано: «...на Изюм-Барвенковском направлении наши войска отражали... На остальных участках фронта ничего существенного...»

Но это я еще вчера слышал по радио. Ничего существенного.

— Ну, что там? — спросила мама Галя. Должно быть, ее тоже удивило столь продолжительное чтение.

Ганс отложил газету. Обеими ладонями притронулся к горячей кружке, отвел ладони, приложил снова и больше не отнимал. Глаза его теперь были устремлены на железный ободок кружки.

— Там что-то случилось, — произнес он глухо. — Под Харьковом.

Я снова взглянул на газету, на вчерашнюю сводку:

«...отражали... ничего существенного...» Что же он вычитал из этих строк?

— Там случилось, я думаю... очень тяжелое, — повторил Ганс, Он отогнул рукав пиджака, посмотрел на часы, встал.

— Пора, Галя.

Мне тоже было пора.

У калитки, где мы по утрам расходились в разные стороны — им налево, к станции, мне направо, в школу, — мама Галя придержала меня за плечо. Сказала негромко:

— Санька, я не знаю, о чем он. Не знаю. Может быть, он слишком устал... Но ты сам видишь: опять начались бомбежки. Пожалуйста, будь осторожнее.

Мне так и не понадобилось сдвигать у Игоря Пиотровского домашнее задание.

В середине первого урока вдруг зазвенел звонок, распахнулась дверь класса, в ней показался запыханный пионервожатый:

— Шестые и седьмые, в зал!.. Всем в зал!

Сердце мое екнуло. Вот точно так же перед Новым годом превался урок, в дверь заглянул пионервожатый, скомандовал — всем в зал, а в школьном зале на стене висела размалеванная наспех карта, где от красного кружка стремились колючие красные стрелы, а черные ошестинившиеся дужки пятились от них, и нам сказали, что немцев разбили под Москвой, мы вскочили с мест, закричали: «Ура-а!»

Нет, пожалуй, что-то не то вычитал сегодня Ганс Мюллер в «Сталинградской правде». Хоть он человек и военный, но с другой войны — там была Испания, а тут Россия, Советский Союз. Должно быть, он и впрямь чересчур устал от своей бессменной работы.

Значит, все-таки Харьков наш!

Однако в школьном зале на стене никакой карты я не заметил.

За столом, покрытым синим сукном, сидели директорша, усатый военрук Буденный при своих костылях (его еще в гражданскую войну покалечило), Наталья Витальевна и какая-то незнакомая девушка в гимнастерке, перетянутой портупеей, с комсомольским значком.

Лица их не выражали никакого особого торжества. Они терпеливо наблюдали, как рассаживаются по рядам шестые и седьмые.

Между прочим, наша школа была неполная средняя, семилетка. Так что мы здесь почитались старшекласниками.

— Ребята, — сказала, поднявшись, Наталья Витальевна, — этот учебный год мы заканчиваем раньше обычного.

Помолчала, разглаживая сукно на столе.

— В сущности, сегодня последний день...

Вот так новость! Правда, не та, которой я ожидал. Но тем не менее очень приятная новость.

— Последний день — учиться лень! — выкрикнул кто-то.

— ...и про-сим вас, учите-лей, не мучить ма-лень-ких детей! — хором откликнулся зал.

Все дружно расхохотались. Потому что новость, конечно, была приятной не только для меня. И потому, что вот так, хором, по святой и нерушимой традиции полагалось кричать в любой школе, когда наступал последний день учебы. И еще было очень смешно называть себя «маленькими детьми», зная, что нас тут почитают старшекласниками.

За окнами школьного зала сияли майской свежей листвою тополя, гроздья расцветшей сирени уткнулись прямо в стекла, заклеенные полосками бумаги крест-накрест. Каникулы, долгие летние каникулы — и так неожиданно рано!

Однако в ответ на наши крики и хохот, на веселье наше и нашу радость Наталья Витальевна только улыбнулась вяло. Военрук Буденный пошевелил усами, сокрушенно покачал головой. Незнакомая девушка потупилась.

— Тише, ребята, — сказала Наталья Витальевна. — Я представляю слово инструктору райкома комсомола Варе Луговой. Пожалуйста, Варя.

Оказалось, что это она и есть — знакомая девушка в гимнастерке с португеей.

— Опять насчет металлолома, — поделился догадкой Ленка Голованов, сидевший со мной рядом. Мы за минувшую зиму собрали уже целые горы металлолома. Мы знали, что из этого металлолома отлит и отправлен на фронт танк «Сталинградский пионер». Но до сих пор мы собирали всякие железки и железины после уроков и по выходным. И я усомнился, что только ради металлолома учебный год закончили раньше положенного срока.

— Товарищи...

Она сказала не «ребята», а «товарищи». Может быть, нарочно: чтобы прекратились хиханьки да хаханьки. Чтобы мы настроились.

Мы немного удивились. Но настроились.

— Разговор у нас будет серьезный, взрослый. И хочу сразу предупредить, что разговор этот не для двора, не для улицы...

Тут мы и вовсе затихли.

— Положение на фронте осложнилось, — сказала Варя Луговая, теребя португею у плеча. Помолчала, будто раздумывая, что к этому добавить, но лишь повторила: — Положение осложнилось.

Значит, Ганс не ошибся, что-то вычитав между строк в оперативной сводке Информбюро. Ведь он человек военный, хотя и с другой войны.

— Все, кто способен держать оружие в руках, должны сегодня стать красноармейцами, бойцами, идти на фронт, идти на передовую...

Ленка Голованов, услышав эти слова, подался вперед, напрягся, прошептал:

— Неужели разрешат?

— Что... разрешат? — не понял я.

— Тысячи рабочих Сталинграда уходят на фронт. Но ведь наш город не только крепость — он еще и кузница победы, — заметно волнуясь, говорила Варя Луговая. — На Тракторном заводе, на «Красном Октябре», на судовой верфи не хватает рабочих рук. Туда перебрасывают людей с других предприятий. Но и эти, другие предприятия, должны бесперебойно работать!..

— Нет, не разрешат, — сразу сник Ленька Голованов.

— Что не разрешат? — не понял я.

Вообще я покуда ничего не понимал. То ли надо идти на фронт, то ли еще куда.

— Райком комсомола обращается к вам с просьбой — в дни летних каникул заменить взрослых у заводских станков. Подчеркиваю: это не приказ, а просьба, ведь многие из вас еще не комсомольцы. Дело добровольное. Если кто-нибудь не может или не хочет...

— Хотим!

— Мо-ожем...

— Прошу записать меня на судовой верфь, где теперь выпускают танки, — поднявшись, заявил один кореш из шестого «А».

Усы военрука Буденныча вздыбились от возмущения, он развел руками, в которых держал костыли: дескать, ну и народец, ну и детский сад; ведь предупреждали, что разговор серьезный, взрослый, не для двора, не для улицы, а этот сразу встань да и брякни, где выпускают танки.

— Нет, нет, — поспешно откликнулась Варя Луговая. — Мальчики из вашей школы будут работать на лесозаводе имени Ермана. Здесь, рядом.

— А девочки?

Это вскочила Танька Якимова.

— Работать на заводе будут только мальчики, шестые и седьмые классы, — пояснила инструктор райкома Варя Луговая.

— А девочки?! — Лицо Татьяны пылало негодованием. — Что же нам, в конце концов, делать — переродиться? Послушайте, вы же сами девочка...

Да, пожалуй, в этой Варе, хотя она и являлась инструктором райкома комсомола, было еще немало девчачьего. И свою кожаную военную портупею она теребила у плеча, как девочки теребят ко-су, если у них возникают затруднения в мыслях.

Варя Луговая начала объяснять, что и для девочек непременно и обязательно найдется подходящее дело. Например, госпиталь.

Но я сразу отвлекся от этого объяснения, потому что оно меня не касалось. Я, к счастью, не был девочкой. И уже было ясно, что меня вместе с другими мальчишками пошлют на лесозавод, который и впрямь был рядом. Даже гораздо ближе к дому, где я проживал, чем эта дальняя школа. Перейти железную дорогу — тут тебе и лесозавод имени Ермана, бесконечный глухой забор.

Вплоть до другого глухого забора.

По всему берегу Волги — один к одному — теснились заборы, теснились заводы. Те, которые были здесь прежде, до войны, и те, которые вывезли сюда уже в войну — вывезли и поставили на новом месте.

Все они были секретными. Не вызнай, не спрашивай. Даже у родителей не спрашивай, что они там делают, на этих заводах, — спрашивать не положено, а отвечать и подавно.

Но хоть прикажи своим глазам ничего не видеть, ничего не примечать, а они ведь сами видят, сами примечают. И мои глаза примечали. Как в сумерках распахивались ворота глухого забора, из них медленно выкатывался паровоз, за ним — вереница платформ, а на платформах округлые башни литой брони. Ясно. Из других ворот — железные полые конусы, похожие на рачьи панцири. И если твои глаза уже научены с одного взгляда, по силуэту, распознавать любой самолет — будь то наш, будь то чужой, — то попробуй тут не догадаться, что это передняя броня «Илов», штурмовиков, которые для фашистов — «черная смерть». А из третьих ворот... Ну ладно.

Однажды минувшей зимой я сидел и готовил уроки (иногда успевал) и вдруг услышал рев авиационного мотора: будто по улице, мимо окон, пронесся на полной скорости самолет. Я, конечно, изумился: с чего бы это самолетам понадобилось шастать прямо по улицам? Нахлобучил шапку, выбежал из дома.

Рев отдалился, а в гладкий наст был впечатан свежий след — искристая лыжня.

Рев возник снова. Приблизился. И мимо меня, в обратном направлении, промчался снежный вихрь. Промчался — и след простыл.

Но я успел опознать этот вихрь. Аэросани. Лобастая обтекаемая кабина, выкрашенная белым. Широленные лыжи. Позади пятицилиндровая звезда мотора, ослепительный диск вращающегося пропеллера...

Военные тайны соблюдались очень строго. Но уже на следующий день по всей Бекетовке шли разговоры о том, что на лесозавод приезжал Семен Михайлович Буденный. Что это его, маршала Буденного, катали на аэросанях по бекетовским улицам и окрестным степям. И будто бы маршалу очень понравились эти аэросани, он назвал их «снежной тачанкой», сказал, что они незаменимы для разведки и доставки боеприпасов в зимнее время. Приказал запустить их в серию и отбыл в Москву.

Сперва я не поверил. Я решил, что это был наш школьный военрук Буденный, прозванный так за сходство, за усы. Просто обознались. На такой страшной скорости, с какой носились аэросани, мудрено ли обознаться.

А с другой стороны, почему бы нашего военрука Буденного стали катать взад и вперед по Бекетовке на секретных аэросанях, почему ему выпала такая исключительная честь? Только потому, что он еще в гражданскую войну потерял ногу и ходил на костылях? Но таких, как он, на костылях, тут был полный госпиталь.

Может статься, что и взаправду приезжал сам Буденный. И уж во всяком случае, эти замечательные аэросани делали на лесозаводе имени Ермана.

Я был готов хоть завтра, хоть сегодня топтать на лесозаводе, делать там аэросани. Ведь это почти авиация! Это очень близко к авиации, к самолетам, о которых я мечтал с детских лет. К тому же я обладал кое-каким опытом: занимался в авиамodelьном кружке харьковского Дворца пионеров.

— Есть ли вопросы? — спросила Варя Луговая, прервав мои размышления.

— Смелее, ребята, — сказала Наталья Витальевна. — Может быть, у вас еще есть вопросы?

— У меня есть вопрос.

— Какой у тебя вопрос, Рымарев?

Уж не знаю, что меня дернуло поднять руку. Ведь у меня не было никаких вопросов. Все и так вполне ясно, яснее ясного. Лесозавод имени Ермана. Аэросани. Летние каникулы. А, вспомнил...

— Наталья Витальевна, вот некоторые из нас мечтают посмотреть Сталинград. Нельзя ли устроить экскурсию? Посмотреть, сходить в музей обороны Царицына...

Все молчали.

Я стоял как истукан.

Наталья Витальевна пожала плечами. Варя Луговая снова потупилась. Военрук Буденныйч теребил ус. Танька Якимова глядела на меня, вскинув брови. Ленька Голованов наступил мне на ногу.

Ну нельзя, так нельзя.

Через несколько дней сообщили. Наступление на Харьков потерпело неудачу. Наши войска взяты в клещи, отрезаны. Первый раз в сводке было такое: семьдесят тысяч наших бойцов пропали без вести, а это значит — плен.

— Теперь... теперь они могут прорваться сюда, — сказал мне Ганс.

— Кто?

— Они. Немцы.

Меня поразили эти слова. Не только потому, что они могли прорваться сюда.

Но я впервые услышал от Ганса Мюллера: «Они. Немцы».

3

— Держи, Голованов.

Из окошка бюро пропусков протянулась рука с неказистой картонной книжечкой. Ленька взял.

— Дальше кто?..

Я заглянул в окошко. Там сидела пожилая дородная тетка в военной фуражке, но без звездочки.

— Фамилия?

— Рымарев.

— Имя, отчество?

— Саня.

— Что?

— Александр Александрович.

— То-то. Давай фотокарточку.

— Нету.

— Как же нету?

— Вот нету...

Не было у меня фотокарточки, что поделаешь. Я давно не фотографировался. У мамы Гали, правда, хранилась фотокарточка, где я лежал на столе с голым пузом. И еще имелась у нее фотогра-

фия, где мы были сняты все вместе, втроем, в былые далекие довоенные годы — это Ганс снимал своей автоматической «лейкой». Конечно, ни та ни другая не годились для заводского пропуска. А больше у меня не было. Возле станции работал фотограф, однако к нему всегда стояла такая длинная очередь — сплошь военные, — что он и не вылезал из-под черной холстины. И я отложил это дело до осени, до седьмого класса, когда буду вступать в комсомол — для комсомольского билета, если меня примут.

— Нет, значит?

— Нет.

— Вот и напрасно, что нет.

Тетка в военной фуражке вписала в графы пропуска фамилию, имя, отчество, проставила какие-то колдовские знаки, а место для фотокарточки перечеркнула жирным крестом. Оттиснула печать.

— Ты вдруг потеряешь, а он и воспользуется: лицо-то не указано.

— Кто?

— Как это кто? — зловеще понизила голос тетка. — Шпион.

Сердце мое зануло. Неужели она знает? Неужели и ей встречался тот человек, с которым однажды повстречался я?..

Глянув строго, она протянула мне пропуск:

— Держи, Рымарев. Не теряй.

Пахло деревом. Гладким тесом, громоздившимися вокруг штабелями. Смолистой корой, по которой ступали ноги. Опилками, роившимися в воздухе желтой метелью... Я и не предполагал, что столько разных пронзительных запахов источает дерево даже тогда, когда на нем ни листвы, ни хвои.

Этим же запахом, шекочущим ноздри, был полон цех, куда нас привели. Бесконечно длинный цех, в одном конце ворота и в другом конце ворота. От ворот до ворот, вдоль обеих стен, протянулись верстаки сплошной лентой, подле них тележки, на тележках — ящики, в ящиках какие-то плашки, чурки, а на самих верстаках молотки да гвозди. Вот и все хозяйство.

Десятка полтора ребяташек, вроде нас либо чуть постарше, стояли у этих верстаков и стучали молотками. Но стука было мало, большинство рабочих мест вдоль стен пустовало: видно, нас ждали.

Вот и мы. Подкрепление.

Сменный мастер, старый дядька в круглых очках, которые были у него не на глазах, а на лбу, посмотрел на подкрепление, отчего-то вздохнул глубоко, пожевал губами, сказал:

— Привет орлам, здорово соколам... Меня зовут Савелий Максимович. А цех этот называется околоточным, проще — околотка. Ясно?

— Ясно, — ответили мы, орлы и соколы.

— А больше у меня нет времени с вами разговоры разговаривать. Будем работать. Показываю операцию.

Он взял из ящика свежеструганную сосновую плашку сантиметров сорока длиной, положил ее на верстак, затем из другого ящика достал чурочку с прорезью посередине, наложил ее на плашку, нацелил на край чурочки гвоздь — трах, трах молотком, а с другого края еще один гвоздь — трах, трах...

Снял с верстака, повертел перед нашими носами: чурочка оказалась крепко приколоченной к плашке, а на тыльной стороне виднелись металлические стежки гвоздей, утопленных в дереве.

— Ясно? — спросил мастер и бросил изделие в пустой фанерный ящик.

— Ага...

— Конечно, ясно, — ответили мы.

— Ну и хорошо. Кто первый?.. Ты? Подходи, пробуй.

Первым вызвался Ленька Голованов.

Он деловито и спокойно взял из ящика плашку, следом чурочку, наложил — все как показывал мастер, — молоток, гвоздь — трах, еще гвоздь — трах.

— Нате.

Савелий Максимович взял из его рук шутовину, оглядел спереди, сзади, уронил очки со лба на переносицу, очками изучил, даже вроде бы понюхал — и улыбнулся в полном удовлетворении:

— Порядок. Стандарт... Что, плотничал уже?

— Батя плотничал, я помогал, — ответил Ленька.

— Бате своему скажи спасибо — толку научил.

Ленька смолчал, только губы дрогнули.

И мы все подавленно промолчали.

Видно, старый мастер учуял неладное в этом нашем молчании.

— Что притихли?

— Его отец погиб на фронте, — сказал Игорь Пиотровский.

— А-а... — Савелий Максимович, смущенный своей оплошностью, пожевал губами, вздохнул. Снова обратился к Ленке: — А сам ты каких краев?

— Бекетовский, здешний.

— Фамилия как?

— Голованов.

— Не Игната Голованова сын?

— Его.

— Его, значит... Был твой батя у меня в учениках. Теперь вот ты будешь. Ладно, хлопец, извини старика. Что поделаешь, война... Следующий, — указал пальцем мастер.

Следующим был я.

Оказалось, что к верстаку привинчены две стальные пластины. Я тотчас догадался зачем: это чтобы гвозди, когда по ним бьешь молотком, пронзив дерево, упирались остриями в железо и дальше шли уже вкось, загибались. Вот и вся премудрость. Сделаем.

Я подхватил молоток и ударил. Сосновая чурочка раскололась надвое. Аккурат по прорези, которая была на ней.

— Та-ак, — вздохнул глубоко Савелий Максимович. — Возьми-ка еще.

Я взял еще. Пристроил, долбанул. На сей раз чурочка осталась цела, но раскололась плашка.

— Отойти покудова, — приказал мастер. — Остынь...

Щеки мои, я чувствовал, горели от стыда, И я отошел в сторонку, чтобы они остыли, соображая при этом: сразу ли меня выгонят с завода или еще дадут попробовать?

Теперь у верстака был Игорь Пиотровский. Он, видно, учел мой горький опыт, долго примерялся: двигал чурочку выше, ниже, снял вовсе, наколот гвоздем две точки, опять наложил и опять наколот две точки.

— Медлишь! — прикрикнул мастер. — А у меня цех. Норма. План.

Игорь наконец поставил гвоздь и вогнал его. Другой гвоздь. Все!

Обернулся торжествующе, как оборачивался от доски к классу, когда за минуту набрасывал мелом решение сложной задачи.

Савелий Максимович снял с верстака плашку и, не глядя, повернул ее к нам обратной стороной. Из сосновой мякоти, будто растопыренные клыки, торчали наружу острия гвоздей...

— Брак, — жестко сказал он и отшвырнул прочь деталь. — А брака я не допущу!

Игорь стоял злой и бледный, похрустывая оплошавшими пальцами.

— Извините, — он с некоторым вызовом глянул на мастера. — Прошу прощения, но я хотел бы сначала выяснить... мне необходимо знать, какую работу я выполняю, в чем назначение этой детали. Мне трудно, если я не понимаю, что к чему...

Тут глаза Савелия Максимовича грозно округлились, впору круглым очкам, он предостерегающе поднял палец и внятно произнес:

— Чтобы я таких вопросов — больше никогда! Время военное, и любое производство теперь военное, и что бы вы тут ни делали — военная тайна, секрет. Полный секрет. Так что ни отцу, ни матери, ни даже во сне... Ясно?

Ясно, конечно.

— И ты, малый, еще не знаю, как звать тебя, — продолжил он, обращаясь к Игорю, — ты и думать брось насчет этого: что к чему? Твое дело — деталь, вот эта самая деталь. И все. И чтобы гвозди из нее не лезли. Ясно?

— Я... — Игорь Пиотровский вдруг зашелся кашлем, неожиданным и надрывным, как это с ним иногда случалось.

— А что это ты бухикаешь, словно дед на печи? — Мастер подозрительно нахмурился.

— Извините, — заморгал раскаянно Игорь. — Махорки накурился. Очень крепкая махорка, самосад.

Вот молодец!

— Курево надо бросить, — сказал Савелий Максимович. — У нас на заводе не положено — особые пожарные условия, дерево кругом.

Он поднял очки на лоб, еще раз осмотрел нас, поочередно каждого и всех вместе, скопом. Наверное, решал: кого оставить в цехе, а кто — выкладывай пропуск и гуляй.

Однако без очков глаза мастера были добрее, чем в очках.

— Ну, сынки, за работу! — скомандовал он. — По местам!

На улице Шекспира увидели Таню Якимову: оперлась локтем о рычаг водоразборной колонки — из крана хлестала в ведро пенная струя, а другое ведро уже стояло полнехонько.

Выпрямилась, лицо в брызгах:

— О, рабочий класс! Много поработали?

По правде говоря, наработали мы в первый день не очень много, но лиха беда начало.

— Устали? — сочувственно уже спросила Татьяна, глянув при этом на Игоря.

— Ничуть, — бодро ответил он.

И чтоб доказать, подцепил полные ведра, понес к Танькиному крыльцу.

— Ой, забыла совсем, — спохватилась она. — К вам приехал кто-то. Военный.

Ведра шмякнулись оземь, вода хлынула потоком, ушла в песок.

Игорь опрометью взбежал на крыльцо своего дома, Головановского дома.

— Моряк? — попытался уточнить я.

— Нет, обыкновенный.

Я робко покосился на Леньку.

— Со шпалами, командир, — добавила Татьяна.

А его батя был рядовым.

— Ерунда, — махнул рукой Ленька. — Еще кто-нибудь по ордеру. Дом ведь у нас большой.

— Что ж ты всех всполошила? — укорил я Таньку.

— Да я и не думала. Просто так сказала — приехал...

— Сейчас нельзя просто так говорить.

По ее лицу текла уже не брызга, а слеза. Может быть, она вспомнила, как приезжал домой всего на один час, напоследок жизни, ее отец — рядовой Якимов.

Шагнула к пустым кособоким ведрам.

Я уж хотел помочь, но Ленька Голованов потянул за рукав:

— Идем, поглядим, кто там со шпалами.

У Головановых в доме главным местом была кухня — огромная, как парадный зал. Окнами на веранду, оттуда свет. А стены сплошь в дверях, за ними — комнаты, но там я не бывал и даже не имел представления, где кто живет. Тем более что раньше, когда я наведывался к Леньке, никто посторонний здесь и не жил, одни Головановы — это уж потом, зимой, приселились Пиотровские да еще вот ордер выдали.

И в данный момент все население дома собралось на кухне, нас не хватало.

Екатерина Степановна, Ленкина мать, шаманила у плиты над дымящимся варевом. Мать Игоря ей помогала, крошила репчатый лук, отведя глаза. Обeim, наверное, выпала в госпитале ночная смена, потому и рады были похозяйничать, постряпать.

К тому же в доме гость. Не гость, а новый жилец.

Майор инженерных войск, черные петлицы. Орден Красной Звезды над карманом гимнастерки и еще какая-то лучистая звезда, доселе мною не виданная. Волосы подстрижены короткой ребячьей челкой, и брови кустятся не вверх, а вниз, тоже челочками.

Когда мы вошли, он зорко прикинул из-под этих челочек — который хозяин? — протянул руку Ленке:

— Чупрун Константин Иванович.

И мне пожал руку.

Игорь, бренча в углу соском умывальника, спросил подчеркнуто громко:

— Мама, а письма нет? От папы?

— Нет, Игорек, еще нет. Может быть, завтра.

— Будет, конечно, — обнадежила Екатерина Степановна. — Не завтра, так послезавтра... Ну что ж, все в сборе: пора и ужинать. Пожалуйте к столу!

Она понесла с плиты дымящуюся кастрюлю, попутно кивнула мне, и это значило, что на мою долю тоже найдется тарелка затирухи с пахучим луком.

— Минутку, — сказал майор Чупрун, ныряя под притолоку двери. Здоровенный мужик.

Он вернулся, нагруженный сказочной снедью: в руках у него была банка тушенки, палица копченого сыра, коробка конфет. Еще бутылка вина.

— Богатство какое... — ахнула Екатерина Степановна.

Игорева мама покачала красивой головой:

— Будто век не видела. А ведь всего один год.

— Всего один год... — повторил майор Чупрун, широким ножом вскрыл банку, нарезал сыр, выковырнул пробку:

— Со знакомством, — сказал он.

— И чтоб война скорее кончилась, — добавила Екатерина Степановна. — Ну, Валечка...

Валечкой она называла Игореву маму.

— Век не пила. — Валечка в нерешительности посмотрела на свой стакан, но подняла и пригубила. — Вкусно... Игорек, а почему ты не ешь?

— Я ем, — ответил Игорь, гоня ложкой затируху.

Мы с Ленькой налегли на копченый сыр. Сроду я не ел копченого сыра. Я даже не знал, что бывает на свете такой замечательный копченый сыр.

— Гляжу, ордена у вас, Константин Иванович, — сказала хозяйка. — Значит, повоевали уже?

— Это за Халхин-Гол, — скромно объяснил майор Чупрун. — Это Монголия. Далеко и давно. Век, как говорит Валентина... простите...

— ... Николаевна.

— Валентина Николаевна. Далеко и давно.

Он улыбнулся. Но глаза его были грустны под нависшими челочками бровей.

— У моего папы орден боевого Красного Знамени, — вдруг во всеулышание заявил Игорь. — Он капитан первого ранга, подводник.

Наверное, он хотел, чтобы об этом знал новый жилец. Мы-то знали.

Майор Чупрун накрепил бутылку к стаканам.

— Нет, нет, спасибо, — прикрыла ладонью Екатерина Степановна. — Нам ведь с Валечкой на дежурство, в госпиталь. И так почти не спавши...

Он медленно налил себе до самого края. Сказал Игорю:

— За твоего отца. За подводников.

И выпил до дна.

— Стало быть, госпиталь... А до войны что?

Вопрос его был обращен к Валентине Николаевне. Она пожала плечами, коснулась пальцами лба, будто силилась вспомнить что.

— Мужа любила. Сына любила. И себя немножечко... Мало разве?

— Достается ей, тяжело с непривычки, ведь знаете, каково это — санитаркой... — Екатерина Степановна понизила голос: — А раненых везут и везут. То были с-под Харькова, теперь уже с Дона...

Вот как. С Дона.

— Константин Иванович, я тоже хочу спросить... если об этом можно спрашивать. — Игорева мама пристально смотрела на нового жильца. — Но если можно, ответьте: вы на фронт или... откуда?

— На фронт, — твердо сказал майор Чупрун. — Сюда.

— Значит...

Молчание воцарилось за столом. Ведь мы тоже поняли, не маленькие. Мы все поняли, что это значит.

— О господи, — хозяйка поднялась, начала собирать пустые тарелки.

— Я сапер. Служу, как нынче говорится, в энской части, — продолжил спокойно Константин Иванович. — Так уж заведено, что мы, саперы, приходим первыми. А уходим последними... Вот и все, пожалуй, что я могу сказать. Нет, еще скажу: отсюда мы не уйдем.

Его рука веско и плотно легла на клеенку, испещренную голубыми цветочками.

И, тотчас повеселев от слов, которые сам высказал, он обратился к нам:

— Как дела, отроки? Как учеба?

— Отучились уже, — ответил Ленька. — Работаем.

— Где?

Мы переглянулись. Было свежо в памяти утрешнее грозное предупреждение мастера Савелия Максимовича: «Ни отцу, ни матери, ни даже во сне...»

— На энском заводе, — ледяным тоном ответил Игорь.

Я так и не мог понять, отчего Игорь Пиотровский с такой неприязнью отнесся к появлению в доме нового жильца, майора Чупруна Константина Ивановича. Мне, например, сразу понравился этот суровый и откровенный мужик.

Но и это понравилось тоже: «На энском заводе».

4

От поселка до завода было недалеко: взобраться на железнодорожную насыпь, прошагать по ней сколько-то, спуститься с другой стороны — тут тебе и проходная. Но чтобы скоротать веселее и этот недолгий путь, мы ставили перед собой различные задачи.

Сегодня была такая задача: Игорю и мне идти до самого завода по рельсам — ему правый рельс, мне левый — и ни разу не оступиться. Леньке еще труднее: допрыгать по шпалам на одной ноге, тоже не оступаясь. Кто оступится — тому пара шалобанов.

Пока все шло благополучно. Мы с Игорем Пиотровским даже затеялись вперегонки — быстро меняя ступни, размахивая руками для равновесия. У каждого из нас в руке был узелок со снедью, полдневный перекус: хлеб, соль, редиска.

Между прочим, хлеб мы теперь получали не по детским, и не по иждивенческим, и не по каким-нибудь там служащим карточкам, а по самым настоящим рабочим — восемьсот граммов в день, добрая пайка.

Мы семенили по накатанным до блеска рельсам: шажок, шажок, маши руками. Ленька прыгал по шпалам, как воробей: скок-поскок.

Я оступился. Сошел с рельса.

Меня сдул с него дружный смех, раздавшийся у подножия насыпи.

Там попутно шагали военные девчата, аэростатчицы. Целый взвод. Они держали под уздцы здоровенную надутую зеленую колбасу, баллон с газом. Они, наверное, давно наблюдали за нами, но боялись спугнуть, опасались лишиться такого интересного представления, однако не выдержали — прыснули, захохотали...

Ночь сегодня была спокойной, без тревог. И утро было ясным. Чем не жизнь? Вот и смеются...

Мы, конечно, прекратили свое соревнование, пошли дальше обыкновенно, степенно, как люди ходят. Рабочий класс.

— Вот их-то небось взяли, — заворчал сердито Ленька Голованов. — Хоть и в юбках, а в армию взяли. Получается, значит, что лучше быть женщиной, чем этим самым... малолетком. Погоди-ка, уговор...

Он остановил меня и выдал по лбу крепкий шалобан. Игорь тоже щелкнул.

Будто я был виноват.

Это обидное и вредное слово — малолетки — более всего допекало нас. Потому что слово мешало делу.

В первый день мы не смогли осилить сменную норму по причине вполне понятной и даже извинительной: ведь надо было освоить эту нехитрую операцию — приколачивать к плашке чурочку, — наловчиться, да и вообще обвыкнуться на новом месте, на заводе, в цехе.

Но и назавтра, и послезавтра, и неделю спустя, и сейчас никто из нас, как ни бился, не мог управиться с нормой. Даже Ленька Голованов. Норма была очень большая.

Мы старались изо всех сил, до онемения рук, до дрожи в коленках, до звона в ушах, до черных мух перед глазами.

Без умолку грохотали молотки, таяли гвозди в жестяных коробках, птахами летели в ящики сколоченные детали, их увозили на тележках, а обратным ходом везли заготовки. Считанными были минуты, считанными были секунды. И казалось, что на сей раз мы совладаем с нормой...

Но тут к верстакам подходил Савелий Максимович, вытягивал из кармана тяжелые часы на цепочке, открывал крышку и командовал: «Шабаш! Кончай работу».

«Как это — шабаш? — возмущался Игорь Пиотровский. — Еще два часа до конца смены».

«Шабаш. — Мастер был неумолим. — Объяснял уже: вы — малолетки, для вас рабочий день короче. Есть такой закон».

«Так ведь он еще с до войны — этот закон?» — спрашивал Ленька.

«С до войны. Только никто его не отменял. И я тоже отменить не могу. Хотя мне он сейчас — вот так... — Савелий Максимович ребром ладони полосовал горло. — План мы не сделали. Брака тоже много».

Он зыркал на расколотые плашки, что валялись у наших ног. «Все равно шабаш, ребята. По домам!»

Наутро мы опять в иступлении и надежде колотили молотками.

Над верстаком — репродуктор. Его никогда не выключают. Тревога — он объявляет тревогу. Отбой — он объявляет отбой. А сейчас передают сводку Информбюро. Сквозь дружное колочение едва проникают слова:

— ...вели ожесточенные бои с наступающими войсками противника. На остальных участках фронта...

Сталинград еще ни разу не был упомянут в сводках.

— ...В Баренцевом море нашей подводной лодкой потоплен вражеский транспорт водоизмещением в десять тысяч тонн...

Молоток Игоря Пиотровского замер на взмахе. Он поднял глаза на черный раструб: может быть, еще не все сказали, сейчас доскажут про эту подводную лодку в Баренцевом море?.. Нет, все сказано, больше ничего не положено говорить.

Он коротко глянул на меня, улыбнулся счастливо, будто это не сказанное достаточно ясно. Будто сейчас была ему весть.

А вестей от капитана первого ранга Пиотровского по-прежнему не было — я знал, что не было писем.

Теперь в репродукторе звучала песня, которую передавали каждый день. Которую мы знали наизусть. Слова этой песни были ясными и четкими, как рабочее задание:

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб...

Я с остервенением, как в лоб, загонял гвоздь в чурочку. Так.

Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб...

Так, и второй гвоздь вогнан плотно. Сколочено. Сколотим. Не зря же наш цех называется сколоткой.

Пусть ярость благородная...

Я никогда еще не слышал песни, под которую так мерно и сильно ходит молоток.

Но это всего лишь плашка и чурочка, неизвестно для чего, секрет.

Утром, когда с мамой Галей и Гансом мы отправлялись на работу, я прямо спросил их: скоро ли они там, на судоверфи, управятся и со своим делом, со своим секретным оружием, потому что фашисты уже совсем близко.

Мы работаем, коротко ответил Ганс.

Ясно, что не баклуши бьют. Но все-таки...

Но все-таки, спросил я, нельзя ли побыстрее изобрести оружие, такое секретное и такое невиданное, чтобы им долбануть разок — и немцам каюк, чтобы они покатались отсюда до самого Берлина, дальше некуда, спросил я Ганса, разве нельзя изобрести?

Такого оружия не бывает, ответил Ганс. Только в сказках, в страшных сказках, добавил он.

Ну а Геббельс? Почему он орет во всю глотку, будто у них вот-вот появится какое-то секретное оружие, чудо-оружие, вундерваффе, и они победят весь мир? Вундерваффе? — переспросил Ганс.

Кто, Геббельс? Но ведь на то он и Геббельс, чтобы врать... Такого оружия не бывает на свете.

Ясно. Значит, надо просто работать. Дóлбить и дóлбить, повторил я слова дедушки Санджи.

Дóлбить? — удивилась мама Галя. Но ведь это неправильно. По-русски говорится: долбить...

Однако Ганс не удивился. Мне это нравится, сказал он. Я не имею права учить, как говорить по-русски. Но это очень правильно, Санька: дóлбить и дóлбить.

Тут мы и расстались, им направо, на станцию, две остановки до Сарепты, а мне налево.

Сталинград еще ни разу не был упомянут в сводках.

Хотя все знали, что фашисты рвутся к Волге.

Никто не падал духом, не паниковал. Все были уверены, что дальше этого предела немцам не пройти, что именно здесь, у Волги, им наведут полный капут. Откуда бралась эта уверенность? Я не спрашивал. Я даже себя не спрашивал, откуда во мне такая уверенность — я просто был уверен. И все люди, которых я знал, тоже были уверены.

Все, кроме одного человека...

Но где его теперь найти? И почему он мне больше ни разу не повстречался?

Опять я вспомнил то, о чем не хотел вспоминать.

Дело было в конце апреля, когда стаял снег и зазеленела свежая травка.

Я возвращался из школы. Вдруг среди бела дня заголосили сирены. Пришлось сунуться в ближайшую щель — на пустыре.

Оказалось, что там уже кто-то есть — тоже, поди, случайный прохожий, застигнутый на улице тревогой. Я пригляделся к нему в полумраке: мужик в обтерханном ватнике и кепке, небритое лицо заволосатело до самых глаз, а глаза, даже во мраке, смотрели колоче и остро. Стоит, полусогнувшись, в низкой и тесной щели, дымит самокруткой.

— Здравствуйте, — сказал я ему на всякий случай.

Он не ответил.

Наверху послышалось осточертевшее «Ду-у, ду-у, ду-у...»

Я шагнул на оббитую земляную ступеньку, выглянул из норы.

В небе шли строем грузные «хейнкели». Колотили зенитки, но они продолжали лететь невозмутимо и нахально, не расходясь и не меняя курса. Сталгрэс оставался в стороне, значит, не он был их целью, по всему было видно, что у них другая и далекая цель, — они тянулись куда-то на юг, в сторону Астрахани.

Во всяком случае, было ясно, что здесь они бомбить не будут. Я переступил на ступеньку выше.

И ощутил у своего плеча махорочное сиплое дыхание волосатого мужика. Он тоже догадался, наверное, что бомбить не будут и тоже осмелился выглянуть. Любопытно ему.

Звенья «хейнкелей» уходили к черте горизонта. Неужели вот так их и пропустят?..

Но затихающий прерывистый гул вдруг перекрылся другим нарастающим звуком — яростным ревом других моторов.

Из-за голых еще деревьев выметнулись на отчаянной скорости зеленые «МиГи» с красными звездами на крыльях. Они стремительно набирали высоту. Они шли в погоню.

— Наши! — заорал я во весь голос, хотя, кроме этого мужика в обтерханной кепке, моего соседа по щели, никто не мог меня услышать. — На-аши!

Я взобрался еще ступенькой выше.

И подле самого уха уловил слова, сказанные негромко и язвительно:

— Ваши, ваши...

— А? — Я оторопело оглянулся.

Волосатый смотрел мимо меня.

Я сразу предположил, что этот странный и угрюмый человек просто не шибко разбирается в самолетах, где какие, где чьи.

Я показал ему пальцем:

— Вот они, наши!

Тогда и он показал пальцем.

Он указал толстым, прокуренным на сгибе пальцем в сторону истребителей с красными звездами, идущих в атаку:

— Ото ваши.

Потом ткнул пальцем туда, где летели заколебавшимся строем «хейнкели», сказал:

— А ото наши.

Осклабился, выпятив желтые зубы, — прямо в лицо мне.

Я, спотыкаясь о ступени, выбрался из щели. Отбежал на десятков шагов. Поднял с земли камень и запустил его туда, в зияющий черный лаз.

Теперь мне было наплевать на зенитные осколки, которые могли упасть с неба. Да и зениток уже не было слышно. Где-то в отдалении сцепились в воющей схватке моторы, застукотели очереди. Но я уже не видел этого боя.

У меня был свой.

Я нагибался, хватал камни потяжелее и, стараясь не промахнуться, зашвыривал их в щель один за другим. Он, этот гад, мог бы запросто укрыться от моего обстрела: ему лишь стоило спрятаться за уступ зигзагообразного убежища, и тогда бы ни один камень его не достал.

Но он, по-видимому, тоже разозлился, осатанел. Его, должно быть, что-то не устраивало. И, матерно ругаясь, заслоняя личность от камней рукавом ватника, он полез наружу...

Врать не буду: я убежал. Я бежал до самого дома, глотая воздух разинутым ртом. Бежал я, не оборачиваясь, и потому не мог бы даже сказать, в какую сторону подался этот волосатый человек из щели. «Ото ваши, а ото наши».

Может, шпион? По ночам сигналил фашистским самолетам из укромных ям, наводит их на цель, на Сталгрэс, на заводы, на станцию — такое у него задание. Но тогда что ему за расчет открываться, разоблачать себя перед первым же встречным сопляком?..

Я поведал все как было дедушке Санджи. Шпион?

Дед подумал, покачал головой: «Нет, не шпион. Просто — вражина».

На всякий случай я рассказал о человеке из щели Гансу.

Он тоже задумался, переспросил кое-какие подробности и тоже покачал головой: «Нет, это не шпион. Это классовый недобитка».

— Шабаш! Кончай работу...

Савелий Максимович шел по цеху, что-то помечая на ходу карандашиком в тетрадке.

Остановился подле Ленки.

— Молодец, Голованов. Сегодня полная сменная норма. Стахановец!

Ленька, не выказывая торжества, обмахивал веником свой верстак.

— А все остальные — нет, не управились. Нет нормы! — горестно заключил мастер.

Однако, сообщая нам такую огорчительную новость, Савелий Максимович не выглядел слишком удрученным, не давал воли справедливому гневу.

Наоборот, сползшие на кончик носа очки его глядели потапливо на горы сколоченных деталей, а когда он заглядывал в свою измятую тетрадку, в них отражалось полное удовлетворение.

— Савелий Максимович, но ведь до конца смены еще целых два часа, — снова взмолился Игорь Пиотровский. — Пусть считается сверхурочно, ведь сейчас все работают сверхурочно...

— Ага, вот ты-то мне и кстати подвернулся, — перебил мастер. — Очень даже кстати. Говорят, что ты в школе по арифметике отличался?

— Почему же по арифметике... — оскорбился Игорь. У него и по всем другим предметам было «отлично». Но, догадавшись, что никак не время хвастать школьными доблестями, уточнил: — У нас не арифметика — алгебра.

— Еще лучше, счет вернее, — согласился Савелий Максимович. — Так вот: завтра утром выйдешь на работу не сюда, а на склад готовой продукции. Конец месяца — зашиваемся с учетом, считать тоже некому, нет, понимаешь, людей. А ты, говорят...

— Мало ли что говорят! — весь так и вспыхнул Игорь Пиотровский. — Почему именно я?

— Потому что именно ты.

Они круто заспорили.

Но я, хотя мне и жалко было Игоря (мужское ли дело — считать да подсчитывать), возликовал душой. Теперь появилась надежда, что эта загадка, эта тайна приоткроется.

Ведь мы до сих пор не знали и не ведали, какие такие детали мы сколачиваем, для чего они предназначены, плашка и чурочка, два утопленных в них гвоздя — зачем?

Секретность на лесозаводе соблюдалась очень строго.

Двери цехов были закрыты наглухо. Посторонних, из других цехов, к нам не пускали. А нас не допускали в другие цехи. Подглядывать в щелочку тоже не разрешалось — гнали взащей. По-

крытые брезентом тележки катали от цеха к цеху. Там, в соседних цехах, тоже слышался неумолчный, дружный и настырный стук молотков, там тоже колотили-приколачивали — что?

Я уже догадывался, что наши детали не имеют отношения к аэросаням. Навряд ли их заготавливали впрок, аэросани, для зимы — в это лето сорок второго года.

Ну а все-таки что же?..

Разгадка, конечно, таилась на складе готовой продукции, куда нам тем более не дозволялось совать носа. И вот Игоря Пиотровского посылают на склад готовой продукции.

А он еще спорит с пожилым мастером.

5

Жарынь стояла — спасу нет.

Мало-мальского дождичка не выпало с той поры, как мы кончили учиться в школе и начали работать на заводе.

Небо над Сталинградом было пустым, грозно безоблачным и не то чтобы синим, а выгоревшей блеклой синевы.

Из окрестных степей, с запада тянуло гарью, однако в точности никто не знал, то ли сами по себе горели иссушенные травы, то ли это близилась, надвигалась, пожирая ковыли, военная гарь.

По бекетовскому шоссе гнали стада отощавших понурых коров и отары заполошных овец — пастухи объясняли, что с Дона. Шерсть на овцах свалялась, набухла пылью, обросла колючими репьями, а у некоторых бока были в рыжих подпалинах. Овцы жалобно блеяли, вскидывали головы к небу — может быть, они ждали дождя, а может, им припоминалось, как с неба обрушивался стригущий смертельный огонь...

Больше всего я боялся, что однажды ночью немцы шарахнут по нашему лесозаводу термитками — все враз вспыхнет, сухое, как порох: доски, плашки, чурочки, стены и крыши цехов — все тут деревянное, — и уже никакими шлангами и бочками этого огня не уймешь, все сгорит, как свеча. Но немцы в последние недели вроде потеряли интерес к Бекетовке и упорно, зло бомбили центр города, северные заводские предместья, далеко отсюда. Что-то они передумали.

А над волжским откосом, у текущей воды было прохладно.

Мы с Ленькой Головановым лежали на сыром песке, поскидав с себя все, даже трусы, отдыхали в приятном блаженстве.

Был обеденный перерыв. Мы уже искупались по первому разу, смыли с себя пот и усталость, а в запасе еще оставалось время. Кроме того, мы сговорились с Игорем Пиотровским встретиться в перерыв здесь, на берегу, у лесотаски.

Слева от нас, рядом, грохотала и скрежетала заводская лесотаска. Это было хитроумное сооружение, покатым мостом кинувшееся с самой крутизны к реке. Прикрытые дощатыми бортами, по всей длине лесотаски ползли гремучие железные цепи. Они приводили в движение черные цепкие крючья, поочередно гребущие перед собой, будто клешни рака, укывшегося в подводной норе. У нижнего конца лесотаски колыхались на речной зыби сосновые бревна, выпущенные на волю волн из тесной связки плота. Они плавали сами по себе, кружились, сталкивались, отдалялись от берега, вновь прибывали к берегу, но уплыть подалее все равно не могли — их держала в плену полукруглая змеистая петля бонов, сцепленная из таких же сосновых бревен.

Крючья лесотаски непрерывно ходили в воде, загребали, хватывали подвернувшийся ствол и уже не отпускали его, силой вырывали из воды, выметывали на движущуюся ленту, волокли, тащили вверх, на крутизну, к визгливым циркулярным ножам, на раздел, на распил, на тес. Одно за другим, а то и по два зараз уходили вверх золотистые, смолистые, быстро обсыхающие под жарким солнцем бревна. А внизу, у зубастой ловушки, в воде, безмятежно толклись и колыхались, дожидаясь своей очереди, остальные, их было много, не перечсть, целый плот, целый лес.

Лязг цепей, тупые удары комлей, всплески, всхлипы не мешали нам отдыхать и мирно беседовать — мы привыкли к соседству заводской лесотаски.

Ведь это был наш завод. Из этих бревен в конечном счете мы и сколачивали детали неизвестно чего, для какой цели и надобности.

Но теперь появилась надежда, что Игорь Пиотровский, как было меж нами условлено, в обеденный перерыв прибежит сюда со склада готовой продукции и расскажет, что он там увидел, что разузнал: непонятно только, и даже досада берет, почему он задерживается?..

— Послушай, — продолжил мирную беседу Ленька, вылепливая из мокрого песка крепостные стены, — ты в своем Харькове на какой улице жил?

— На Черноглазовской, а потом... Тебе зачем?

— Да так. Это где же будет Черноглазовская? Куда выходит?

— Одним концом на Пушкинскую.

— А другим?

— Другим? Вниз, к реке.

— К какой реке?

— Харьков.

— Тьфу! Это же город — Харьков!

— И река Харьков, — объяснил я терпеливо. — Тебе-то зачем?

Там теперь немцы...

— Да чихать мне на них. Я просто так: для интереса, для разговора... — Ленька, торкнув ладонью, выбил брешь в крепостной стене. — А что там поблизости было?

— Все было. Технологический сад. А с другой стороны, через Сумскую, тоже сад, памятник Тарасу Шевченко...

Я вздохнул горестно, припоминая эти далекие и мирные картины. Не знаю почему, но вспоминался сейчас не поселок ХТЗ, а самое раннее, самое детское — Черноглазовская.

— Дворец пионеров. Знаешь, я там видел Полину Осипенко, которая вместе с Гризодубовой и Расковой. Она подошла ко мне, честное слово... Потом она погибла. А Гризодубова и Раскова воюют, летчицы!

— Во-от, — сказал Ленька Голованов, стирая крепость с лица земли. — Даже бабы воюют. А мы хуже баб — малолетки...

С откоса посыпались комья сухой глины.

Мы оглянулись.

По обрыву, хватаясь за плети бурьяна, спускался Игорьь.

— Ну?.. — нетерпеливо и жадно накинулись мы. Он уселся на грани сырого, отер локтем струйки пота, сбегающие к шее.

— Ящики.

— Что?..

— Какие ящики?

— Вот такие.

Нашупав прутик, очертил на мокром песке прямоугольник: сантиметров сорок в ширину, сантиметров тридцать в высоту.

— Все одинаковые... Здесь фанера. А вот здесь — то, что мы сколачиваем. Наверху, вроде замка.

Мы с некоторым недоумением разглядывали рисунок.

— Да, ящик, — согласился я. — А для чего?

— Для огурцов, — презрительно сплюнул Ленька Голованов. — Для помидоров. Это самое, как называется... тара.

— Ну уж, — возразил я. — А замок для чего? Где ты видел — с замками?

— Чтоб не своровали, — продолжал ехидничать Ленька. — Время-то военное, строгость.

Мы оба, конечно, были разочарованы. И на лице Игоря Пиотровского читалось разочарование да еще смущение оттого, что именно ему выпало принести друзьям такие неинтересные и досадные сведения. Он отирал пот с шеи.

Но тогда почему старый мастер Савелий Максимович развел вокруг этих несчастных ящиков столько секретности, столько бдительности: «Ни отцу, ни матери, ни даже во сне...» Неужели для того лишь, чтобы мы, глупые и доверчивые малолетки, шибче работали, прытче стучали молотками, не разбежались по домам от постылой скуки?

— Ребя... — Меня вдруг пронзила догадка. Я еще раз внимательно пригляделся к рисунку, оплывающему во влажном песке. Так и есть. — Да ведь это пулеметные ящики! Для пулеметных лент... Картину «Чапаев» помните? Петька с тачанки бьет из пулемета, а ему Анка подает вот в точности такие. А потом сама Анка — тра-та-та-та... Ну?

— Погоди, погоди... — Игорь наклонился, снова взял прутик, освежил рисунок. Задумался. — Да, похоже. И тогда ясно, для чего замок. Вот здесь...

Лицо его прояснилось.

— А там, на складе, этих ящиков полно, тысячи! Вывозить не успевают. А если в каждом ящике... Молодец, Санька, догадался. Теперь ясно, для чего замок. Ясно для чего!

— Для огурцов, — отозвался Ленька. — Тара.

Встал, почесывая тощее брюхо, облепленное крупичками песка.

— Еще разок окунусь. Сейчас гудеть будет — конец перерыва.

Он разбежался по узкой кромке берега и заскакал, высоко задирая ноги, по бревнам, достиг полоски бонов и, сверкнув незагоревшей задницей, кинулся в открытую воду. Поплыл саженками.

— Летим, — сказал я Игорю. — Пора, а то гудеть будет.

Но Игорь уныло и нерешительно повел плечами.

— Нельзя мне. Врач запретил купаться категорически. Из-за кашля.

— Вода теплая, очень теплая, — заверил я его. — Даже теплее, чем снаружи. Тут ведь холодок, а ты весь потный — скорее простудишься. А там — ну просто гор-р-рячая вода. Кипяток.

— Правда? — Игорь колебался, но он уже не мог противиться соблазну, уже изнемог в этом жарком и сухом пекле. — Ну ладно, летим. Была не была... Погоди, я разденусь.

Мы побежали по вертким, зыбким, плавающим на воле бревнам, они тонули под ногами, ускользали из-под пяток, оступись — и угодишь промеж них, провалишься вглубь, а они тотчас сомкнутся над головой, и уже не найдешь отдушины, не проклянешься, амба, поминай как звали, — они оседали, кренились, под ними вскипали бурунчики, — но в эти мгновения нас уже не было на них, мы были дальше, мы летели, будто крылатые, будто чайки — и, долетев, сели на волну.

Хорошо.

Задыхаясь от восторга, мы шумно плескались, окатывали брызгами друг друга. Потом, немея, откидывались навзничь, ложились на воду, и уши заполняло ровное журчание.

Мы ныряли — там, в зеленой глубине, ходили косяками солнечные зайчики — и выныривали обратно в блеклое синее небо.

Вот я вынырнул: Игоря и Леньки нет.

Я занырнул, меня нет.

Вынырнул опять — один Ленька Голованов, шут с тобой.

А теперь Игорь есть, Леньки нет, смыло.

Здесь, против лесозавода, речная вода покрыта мелкой щепой, истертой в пыль сосновой корой, разбухшими опилками, сюда же нагнало течением липкие крапинки ряски, и когда мы выплывали из глубин, лица наши густо облепляла вся эта невредная шелуха, — мы хохотали, завидев такие поганые рожи, тыкали пальцами, отплеывались — свят, свят, пропади, нечистая сила, — и снова погружались в воду, теряя друг друга...

Я вынырнул.

Я оцепенел от ужаса.

Прямо передо мной была лесотаска.

Гремучие железные цепи ползли по всей ее длине, черные цепкие крючья непрерывно загребали перед собой, будто клешни рака, они ухватывали подвернувшийся древесный ствол, как живое тело, силой вырывали его из воды, выметывали на движущуюся ленту, уже бездыханное, волокни, тащили вверх, на крутизну, одно за другим, а то и по два зараз, вся лесотаска была заполнена этими бронзоватыми неживыми телами, — в лязге и скрежете она возносила их к небесам, но на верхнем краю сбрасывала, опрокидывала в тартарары, а черные крючья продолжали хищно шарить в воде и вновь, и вновь — в стогах и всхлипах и отчаянных выкриках — намертво вонзались в тела...

Я впервые увидел войну.

Вот уже целый год длилась война, а я ее только сейчас увидел своими глазами.

Я побывал под харьковскими бомбежками. Который месяц жил в Сталинграде под бомбами. Видел убитых и сам сто раз мог быть убитым — разорванным, задавленным, скошенным. Но я до сих пор не понимал и не чувствовал этого. Не испытывал никакого страха.

А сейчас меня обуял ужас — зубы судорожно зацокали.

Сбоку от меня, справа и слева, вынырнули, отдуваясь, Игорь и Ленька.

Сиплый гудок над околоточным цехом возвестил конец перерыва. Мы погребли к берегу.

6

В углу цеха была конторка мастера. В углу конторки стоял односторонний письменный стол. На углу стола лежала разграфленная ведомость. Савелий Максимович ставил в ней галочку:

— Расписывайся.

И, поплевав на пальцы, начинал мусолить деньги: тридцатки, пятерки, рубли. Потом еще из плоской жестяной баночки, в каких до войны продавались леденцы, добирал белые и желтые монеты.

— Триста одиннадцать рублей, сорок пять копеек... Да ты что не расписываешься, Рымарев? Неграмотный?

— Грамотный... — Я переминался с ноги на ногу, потирал зачесавшиеся от смущения ладони. — Савелий Максимович, разве мы из-за денег?

— Мы вовсе не из-за денег! — горячо поддержал меня стоявший сзади Игорь Пиотровский. — Причем здесь деньги...

Ну конечно. Мы вовсе не из-за денег. Нам сказали в школе: ребята, положение на фронте осложнилось, враг наступает, сегодня все, кто способен держать оружие в руках, берут его, рабочие прямо из цехов уходят на передовую, но заводы ни в коем случае не должны останавливаться, они — кузница победы, поэтому комсомол обращается к вам с просьбой... дело это вполне добровольное... если кто не может или не хочет...

Мы все захотели и смогли.

А тут вдруг на столе мастера появляется баночка из-под леденцов, куча замусоленных бумажек и ведомость: распишитесь в получении.

— Мы не из-за денег...

— Ох, и беда с вами, откуда вы на мою голову? — Савелий Максимович устало покачал головой. — Я знаю, что не из-за денег, знаю. Но ведь зарплату никто не отменял, хоть и война. Деньги никто не отменял! Не было такого указа. Заработал — получай. Ну-ка сейчас же распишивайся, а то хуже будет...

Я поставил закорючку.

— И наперед скажу тебе, парень: ты рабочим рублем не брезгуй. Он, этот рубль, святой, понял?

Я отошел от стола, перебирая свои святые рубли.

Рыжий рубль, на котором шахтер с отбойным молотком на плече. Зеленый трешник, где красноармеец в каске, при полной боевой выкладке. Синюю пятерку, где летчик глядит в небо, а за ним виднеется готовый к старту самолет... Такие вот деньги мне и раньше, когда еще был безработным, случалось ненароком держать в руках. Но эти громадные сизые десятки, розовые тридцатки, капустные пятидесятирублевки — одна, две, три, четыре, ого! — столь сказочного богатства я даже во сне не видал. Мне и не снились такие деньги, такие сны.

— Распишивайся, Голованов. Пятьсот двадцать шесть рублей, девяносто копеек... Молодец, стахановец!

С такими деньгами незачем было прогуляться и по главной улице Бекетовки, возле станции, где тротуары были покрыты асфальтом, где возвышались настоящие каменные четырехэтажные

дома с балконами, а в нижних этажах сверкали витрины, заклеенные крест-накрест полосками бумаги.

— Куда же их девать, деньги? — спросил Игорь, оглядываясь на эти сверкающие пустые витрины.

— Лично я матери отдам, на хозяйство, — сказал Ленька. — Она определит, купит что надо... Батя всегда отдавал.

— Ку-упит... — отозвался я. — Что за деньги купишь? Теперь все по карточкам, по талонам.

— Вот по карточкам и выкупит.

За густыми тополями прогрехотал поезд. Остановился, шипя тормозами. Тотчас гугукнул паровоз: мол, поторапливайтесь, еду дальше. Это была пригородная пассажирская «пчелка», из Красноармейска.

— Ребята, а что, если... — Я ощупал туго набитый карман. — Давайте купим билеты — и в Сталинград. Походим по городу, все как следует разглядим. Фонтан с крокодилом. Пристань. Зайдем в музей, а?..

Это была прекрасная идея. Давняя моя мечта. И нет лучше способа истратить деньги, чем куда-нибудь съездить.

— Поздно уже, — сказал Ленька. — Пока доедем, музей и закроется. А вечером будут бомбить.

— Так в том-то и дело! Они будут бомбить, опять что-нибудь разбомбят, сегодня стоит, а завтра нет... Еще не поздно, в самый раз.

— Нет, поздно уже, — поддержал Игорь своего соседа и хозяина. — Мама и тетя Катя вернутся из госпиталя, с дежурства, а мы где? Поднимут переполох.

Мимо тополей прогрехотала «пчелка». Вот теперь наверняка поздно. Поздно уже.

Он оставался для меня неизвестным, невидимым, таинственным — этот недостижимо близкий город Сталинград.

— Вот сюда зайдем, — сказал Игорь Пиотровский. — Здесь без карточек.

Я посмотрел на вывеску магазина: «Книги».

Разве что книги.

В магазине было прохладно, пустынно. Скучная тетя за прилавком кидала костяшки на счетах.

— «Три мушкетера» есть? — спросил я.

— Нет.

— «Остров сокровищ» есть?

— Нет.

— «Гиперболоид инженера Гарина» есть?

— Нет.

Ничего тут не было.

— А учебники для седьмого класса есть? — спросил вдруг Игорь.

— Есть, — ответила тетя. — Подержанные.

— Покажите, пожалуйста.

Тетя неохотно встала, побрела вдоль полок.

— Зачем тебе? — удивился Ленька.

— Как это зачем? — в свою очередь, удивился Игорь Пиотровский. — Зачем, вообще, учебники? Чтоб учиться.

— Рано еще.

— Ничуть не рано.

Тетя выложила на прилавок подержанные, а вернее сказать, потрепанные, излохмаченные, заляпанные чужими кляксами учебники. «Геометрия», «Химия», «Астрономия»... Тоже довоенного выпуска. Где-то теперь их первые хозяева, наставившие клякс?

— Надо купить, — сказал Игорь. — Потом будет труднее достать, перед самой учебой.

— Рано еще...

Он был сегодня какой-то очень рассудительный и мудрый, Ленька Голованов: «Поздно уже... Рано еще...» На себя непохож.

— Да как же рано? — возразил ему Игорь. — Всего полтора месяца осталось до школы... Седьмой класс.

Я подсчитал в уме и ужаснулся. Он был прав. Середина июля. До школы оставалось полтора месяца. За этой горячечной работой в околотке, за этими плашками, чурочками, гвоздями, от которых мельтешило в глазах, за этими тревожными ночными недосыпами мы и не заметили, как промелькнуло время, как пробежала половина летних каникул.

— Рано еще, — упрямо бубнил Ленька Голованов. — А в какую школу? Нашу, где мы учились, теперь тоже заняли под госпиталь.

— Ну и что? Значит, придется в другую ходить, еще дальше... — Игорь улыбнулся снисходительно. — Поймите одно: что бы ни случилось, а первого сентября обязательно в школу. Иначе не бывает.

Опять он был прав: что там ни случись — война, потоп, светопреставление, — а первого сентября нас непременно как милень-

ких усадят за парты, никуда не денешься. И половина каникул уже миновала.

— Я куплю, — сказал Игорь Пиотровский, оглаживая лохматые страницы этих учебников. — А ты, Санька?

Я замаялся. Ведь рано еще, куда спешить. И мне было просто жалко платить свои святые рубли за чужие кляксы.

— Несчастье с вами будет в эту ночь!..

Лицо его было закрыто черной маской с узкими каверзными шелками. Произнеся зловещие эти слова, неизвестный взмахнул подолом черного плаща, будто вороньим крылом, и скрылся в толпе.

Камнем бы его вдогонку.

Но Арбенин (тот самый артист, что перед войной играл Богдана Хмельницкого), лишь презрительно расхохотался вслед:

— Ха, ха, ха, ха! Прощай, приятель, добрый путь...

А между тем чело его заметно омрачилось от этого скверного пророчества. Настроение у него сразу испортилось.

И у меня тоже. Я тоже почувал неладное.

После книжного магазина мы решили пойти в кино, надо было все-таки отметить первую получку. В бекетовском Дворце культуры шел «Маскарад», новая картина, из старинной жизни.

Кассирша заспорила, что сеанс, мол, вечерний, дети до шестнадцати лет не допускаются. Пришлось показать ей наши заводские пропуска — разве мы дети? Мы не дети, мы рабочие — и она, вздохнув, продала нам билеты, входные, самые дешевые, без мест.

А к чему нам места?

С давних пор мы привыкли на вечерних сеансах, когда зал битком набит взрослыми, смотреть кинофильмы с другой стороны — с обратной стороны экрана. Мы взбирались на сцену, протискивались за белое полотнище и там, позади, удобно рассаживались на полу. Никто из взрослых, наверное, и понятия не имел, не догадывался, что кино можно смотреть и с другой стороны — что свет из кинобудки пробивает насквозь это белое полотнище, — то же самое, только с другой стороны. Скачут всадники на взмыленных конях, размахивая саблями, но, хотя они и скачут с другой стороны, все равно ясно, где белые, а где красные и кто победит; мчится паровоз, расстилая за трубой полосу дыма, но ведь вовсе нетрудно вообразить, куда и зачем он мчится; и если даже, в угоду взрос-

лым, к досаде нашей, на экране начинают целоваться, то целуются другим боком, а мы все равно пронзительно свистим из-за экрана.

Правда, когда фильм немой, с надписями, тут нужна особая сноровка: нужно наловчиться бегло прочитывать надписи с другого конца, наоборот, китайская грамота. Но этот фильм был звуковой.

Гремела музыка, пышноусые гусары отплясывали меж мраморных колонн и припадали на одно колено перед своими дамами, разодетыми во что попало — феи, турчанки, русалки, жрицы, все в хитрых масках...

По натертому до блеска паркету покатился оброненный золотой браслет.

Не к добру, понял я. У Лермонтова добром не кончается. Мы проходили Лермонтова.

За экраном, когда мы туда проникли, было полно бекетовской шпаны вроде нас (и как это пускают всяких разных на вечерние сеансы?), яблоку негде упасть, не то чтобы сесть повольготнее. Но в дальнем углу мы увидели Таньку Якимову, она махала нам рукой, звала к себе. Потеснилась, мы сели на пол рядом с нею — уже в темноте, началось.

— А Игорь где? — спросила она.

— Сейчас придет, — утешил я. — Он домой побежал, отнести книги.

— Мамке сказать, — проворчал Ленька.

— Валентине Николаевне?... — почему-то насторожилась и даже озаботилась Татьяна.

Она ведь теперь, Танька Якимова, работала в госпитале санитаркой, вместе с мамой Игоря, вместе с Ленькиной матерью.

— Ну да. Не мешай.

— Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен...

Князь Звездич, нагловатый малый в эполетах, отдавал эту цацку Нине Арбениной, даже не замечая, что муж следит за ними издали. Все перепуталось из-за этого злополучного браслета. Князь вообразил бог весть что. Арбенин пришел в ярость и картами отхлестал его по щекам. Одна лишь Нина, бедняжка, не понимала, что вокруг нее происходит из-за такого ничтожного пустяка, из-за браслета в двадцать пять рублей ценою.

Я ощупал свой туго набитый карман: после покупки билета в нем оставалось триста десять.

— Прощайте навсегда — прошу в последний раз...

— Куда ж вы едете, далеко очень, видно, — улыбнулась Нина. — Конечно, не в луну?

— Нет, ближе: на Кавказ.

Звездич поклонился и ушел.

Мне вдруг стало жалко его, этого непутевого князя. Набедокурил — сам виноват. Но ведь он уезжал не куда-нибудь, а на Кавказ, на войну.

И Лермонтов воевал на Кавказе.

Немцы наступают на Кавказ. Они приближаются к Волге, к Сталинграду, и одновременно рвутся на Кавказ — там нефть. И теперь лишь бесноватому фюреру невдомек то, что ясно любому ребенку: капут им, фашистам, гроб, крышка, они расшибутся о Сталинград и увязнут на Кавказе, ног не унести им, не сносить им головы, конец им... В этом все были уверены.

Отсюда, из глухого уголка за сценой, был виден не только киноэкран, свет и тени, движущиеся на нем, но и зал был виден отсюда, полный зрителей, сочувственно следящих за тем, как развиваются события.

Я обратил внимание на то, что в этом зале — а я бывал здесь часто — в последние недели заметно прибавилось военных. Появились щеголеватые летчики в кожаных куртках, исполосованных «молниями», нескладные и застенчивые юноши с тонкими шеями, торчащими из воротников с одинокими кубарями, даже моряки с лесенкой шевронов на рукавах, хотя море далеко от степных наших мест, а вот сидит осанистый майор, боевые звезды над карманом гимнастерки, брови кустятся книзу, челочками...

Да ведь это Константин Иванович Чупрун, мой хороший знакомый, новый постоялец в доме Головановых. А рядом с ним сидит Валентина Николаевна Пиотровская, Игорева мама, Валечка, как ласково зовет ее тетя Катя. В третьем ряду, совсем близко от нас. Я еще раз убедился, что она очень красивая, Валечка, красивая, как Нина Арбенина: те же легкие льняные волосы, те же добрые и доверчивые глаза, а Игорь просто похож на нее.

Где же Игорь? Он побежал домой отнести купленные учебники, заодно отпроситься у мамы в кино, а мамы дома не оказалось — она ведь здесь, — и он наверняка встревожился, кинулся искать, вот чудак, а ему бы скорей возвращаться сюда, во Дворец культуры,

тут бы он ее и нашел, и увидел, и успокоился, и сидел бы смиреннонько подле нас, своих закадычных друзей.

Ага, вот и он...

В глубине зала, там, у самого входа, появился Игорь — я сразу опознал его острые худые плечи, очерченные светом проектора, его вздернутый подбородок, взметнувшийся от бега вихор. Он остановился, высматривая: ряд за рядом, место за местом. Какое место? Ведь у него тоже входной билет без места, как и у нас. Да и нет в зале свободных мест, битком. Ему сюда надо, на сцену, за экран, вот же чудак.

— Я привстал на корточки, чтобы помахать ему издали рукой: сюда, мол.

— Но Танька сердито осадил меня обратно на пол.

Что такое?

Игорь Пиотровский стоял и зорко высматривал: место за местом, ряд за рядом, от стены к стене, все ближе и ближе к экрану.

Вот подбородок его замер, а плечи еще больше заострились. Он резко повернулся и опрометью выбежал из зала.

— Мой ангел, принеси мороженого мне, — устало обмахиваясь веером, попросила Нина своего мужа. Арбенин взял блюдечко с мороженым и, приоткрыв украдкой крышку перстня, насыпал яд.

— Смерть, помоги! — шепнул.

Она неторопливо поднесла к губам ложечку, попробовала:

— Да, это прохладит...

— О, как не прохладить! — отвел блуждающий взгляд Арбенин.

— Так ей и надо, — сказал Ленька Голованов.

— Дурак, — Татьяна стукнула его кулаком по макушке и заплакала.

Я же подумал, что все происходящее не моего ума дело. Ведь тут не разберешься, кто прав, кто виноват. Но если так уж обязательно и непременно любви сопутствуют все эти роковые страсти, все эти ненужные и напрасные терзания, то лучше бы и совсем обойтись без любви.

И еще я подумал, что будь у меня такие шальные деньги до войны, в Харькове, то я бы, презрев обиды, повез бы Татьяну на трамвае в самый центр города, в зоопарк — там, у входа, продавалось самое вкусное в мире мороженое.

Улыбчивая мороженщица брала жестяную формушку, похожую на ручную гранату, укладывала на донце круглую вафлю, густо и щедро, столовой ложкой, набивала вовнутрь свежего и пахучего

мороженого, сверху еще одна вафля — шелк, готово, милости, просим, кушайте на здоровье...

Нина умерла, а ее муж сошел с ума.

7

— Мины.

— Какие... мины?

— Не знаю. Но я сам слышал, своими ушами: то, что мы делаем, — мины.

Игорь Пиотровский догнал нас уже близ рынка, в поселке, когда мы возвращались домой, отколотив смену. Был он взволнованный, запыханный, но еще и смущенный, подавленный чем-то, все сразу.

— Давай по порядку, — сказал Ленька Голованов, — что почем?

— Мы делаем мины. — Игорь оглянулся, нет ли кого позади, поблизости, но никого не было, рынок уже затих и вымер. — Постановление Государственного Комитета Оборона: с нашего завода — сорок тысяч штук, а мы недодаем. Военпред с директором ругался. И Савелию Максимовичу попало, хотя наш цех самый лучший...

— А ты сам слышал, своими ушами? — переспросил я.

— Конечно, при мне весь разговор. Я хожу, считаю эти ящики, а они спорят. Директор объясняет: людей нет, мальчишки сопливые — это про нас, а военные: ничего не знаем и знать не хотим — сорок тысяч штук, постановление...

— Они тебя не заметили?

— Заметили, но... — Игорь помолчал, насупился. — Они на меня никакого внимания. Они про свое: сорок тысяч штук — и все!

Сорок тысяч? В голове моей пронеслись, закружились каруселью все те плашки и чурочки, которые я сколотил своими руками за лето — будто рой опилок, взметенный набежавшим ветром, — сколько их прошло через мои руки, я не считал, мне некогда было считать, я едва поспевал колотить молотком, вгонять гвозди, и соседям моим по верстаку тоже было недосуг вести счет десяткам, сотням этих туго сколоченных плашек да чурочек... Мины?

— Погоди, — остановил я Игоря, — может, ты не понял, не расслышал? Какие же это мины? Ведь мины — они железные.

— И круглые, — уточнил Ленька.

— Железные и круглые. А ты нам говорил про ящики и даже сейчас сказал: хожу, мол, считаю ящики... Какие же это мины?

— Тара, — презрительно сплюнул Ленька Голованов. — Для огурцов, для помидоров. Хреновина с морковиной. Все, как я предсказывал.

— Да нет же! — пылко воскликнул Игорь Пиотровский. — Про эти самые ящики и разговор шел: мины. Что я, по-вашему, вру? Если не верите, можете сами спросить... у него...

— У кого?

Игорь еще больше насупился, на лице его вновь появилось выражение обиды и подавленности. Будто какая-то горькая обида нестерпимо давила на его изболевшуюся душу.

— У майора Чупруна. У Константина Ивановича...

Он приезжал на склад вместе с военпредом. Это для них мины, для саперов.

Вот так новость.

— А он узнал тебя?

— Узнал. Все подмигивал. С директором ругается, а мне подмигивает...

— Значит, расскажет. Если хорошенько его попросить — расскажет, — обрадовался я. — А то надоело голову ломать: что да что?.. Ты его сегодня же и расспроси, только поподробнее, ладно?

— Я?

Щеки Игоря полыхнули недобрим румянцем.

— Я с ним не разговариваю, не здороваюсь даже. Пусть сколько угодно подмигивает... Отец там, в море, а он к матери ластится, в кино водит. Не прошу! И ей тоже не прошу — раскисла в кисель.

Он повернулся к Леньке Голованову, ухватился просительно за его пуговицу, как за спасательный круг, как за соломинку:

— Послушай, ведь в доме ты хозяин?

Ленька подумал, солидно кашлянул в кулак:

— Пожалуй, что и я.

— Ну вот. Скажи ему, этому Константину Ивановичу, чтоб он от вас уехал, тесно очень. Скажи, будь другом!

— Теперь у всех тесно, — нахмурился Ленька. — И как же я могу сказать, если у него ордер — к нам ордер? И это, знаешь ли, не причина: в кино сходить... И вообще, надоело мне все хуже горькой редьки. Все эти ваши ящики-чемоданы, глупости ваши, — с внезапным ожесточением заключил он.

Игорь отпустил его пуговицу.

— Так кто же спросит... насчет мин? — Меня тоже не интересовали посторонние глупости. Меня интересовало главное.

Игорь молчал потерянно и безысходно. Было ясно, что он не станет спрашивать.

И Ленька помалкивал, размышляя о чем-то своем... Не станет.
— Черт с вами, — осерчал я. — Сам спрошу, сам скажу.

Я ждал его на улице Шекспира, у водоразборной колонки.

Уже смерклось — дни пошли на убыль. Как пошли они на убыль, выдав предельно долгий свет, год назад, когда началась война.

В темнеющем небе медленно всходили аэростаты воздушного заграждения. Небо над городом было по-прежнему чистым: ни па-смури, ни дождинки, ни дальнего отблеска молнии — и эти аэро-статы казались первыми тучками надвигающейся грозы, они куч-нели, лепились друг к дружке, вдруг, колыхнувшись, бросали се-рый высверк и вновь наливались плотным свинцом.

В глубине улицы послышался рокот автомобильного мотора, под-вывающий, срывающийся на ухабах и выбоинах. Две щелки цедили синий свет из покрашенных фар, они тряслись и метались по сторонам.

Осыпанный пылью грузовой «зисок» притормозил как раз у ко-лонки, отворилась дверь кабины, из нее выпрыгнул майор Чупрун — я сразу узнал его по росту и по осанке. «Зисок» свернул в переулок, затрясся обратно к шоссе.

— Добрый вечер, — сказал я.

Он присмотрелся.

— А, это ты? Здравствуй... вот позабыл, как тебя зовут-величают.

— Саня.

— Верно. А что ты здесь бродишь в одиночестве? Где твои приятели, Игорь где?

Я собрался с духом.

— Константин Иванович, мне нужно с вами поговорить. Очень важное дело.

— Ого... Значит, парламентар? Парламентар — ответственная должность. Погоди-ка, Александр.

Он нажал рычаг колонки и, когда из крана с хрюканьем вырва-лась вода, зачерпнул пригоршню, глотнул, подхватил еще и, сдви-нув пилотку на затылок, омыл лицо — даже впотьмах было видно, что оно сплошь в пыли. Еще глотнул.

— Что же нам тут беседовать среди улицы — не бабы у колодца. Да и устал я, брат, сильно. — Он огляделся. — Пойдем вон туда. Сядем рядком, поговорим ладком.

Мы сели на сухое комлеватое бревно у чужого забора, оно тут и было вместо скамейки.

Напротив горбатились черные крыши бекетовских окрестных улиц. Я различил среди них высокую крышу дома Якуши с узорчатым, будто королевская корона, дымником над трубой. И крыша пониже — наша. Множество крыш, теснящихся одна к другой.

— Говори.

— Константин Иванович, вам обязательно надо жить у Головановых? Я знаю, что ордер, но... Обязательно?

Вместо ответа он полез в карман галифе, достал оттуда измятую пачку папирос, зажигалку — винтовочную гильзу с колесиком, чиркнул, прикурил.

— Хорошо. Я подумаю. У тебя все?

— Нет.

Меня приободрило то, что один вопрос уладился так быстро и без лишних слов. Без трудных слов, которые мой язык все равно не сумел бы выговорить.

— Константин Иванович, вот вы — сапер. А кто закапывает в землю мины — саперы?

— Да.

— Ведь правда, что мины — они железные и круглые?

— Бывают железные и круглые. А бывают и не железные. И не круглые.

— А какие?..

Он искоса взглянул на меня и вдруг, откинувшись к решетке забора, весело и громко рассмеялся.

— Многовато для парламентаря, брат, многовато... Смотри.

Поднял щепку с земли и быстро начертил на земле несколько прямых линий. Было уже совсем темно, и я просто угадал по движениям его руки: небольшой прямоугольный ребристый ящик, вот сейчас к его верхнему ребру он пририсует плашку и чурочку — так и есть.

— Узнал?

— Узнал... — потрясенно выдохнул я.

Майор Чупрун подошвой сапога смел рисунок.

— Значит, правда — мины?

— Ну, не мины, а корпуса. Вы делаете корпуса противотанковых мин. Еще к ним, понимаешь ли, требуется... начинка.

— А почему они деревянные?

— Потому что железную мину нетрудно обнаружить миноискателем. Про магнитные свойства слышал?

— Мы учили...

Я вспомнил. Вот стоит у доски, у географической карты, испещренной синими реками, рыжими взгорьями, зелеными равнинами, мой друг Игорь Пиотровский — указка в его руке легко и быстро скользя, одолевает расстояния. Он рассказывает о Курской магнитной аномалии, о том, как ученые нашли ее: они заметили, что стрелка компаса в этих местах отклоняется — на нее влияют скрытые массы железа. Он уверенно ведет свой рассказ, а Наталья Витальевна одобрительно кивает, — мы учили, учили все это, как же невероятно давно это было.

— А деревянную мину никаким миноискателем не найдешь, — продолжал объяснять мне Константин Иванович. — Только шупом. Но шупать минные поля — это, брат, занятие опасное. Нащупаешь — и в куски, и в клочья, даже взвзвить не успеешь...

Голос майора Чупруна стих от ярости.

— Вот они и напорются, гады!

— Дядя Костя...

— Погоди. Разве на заводе вам не говорили об этом — что вы делаете?

— Нет, даже спрашивать не велели. Военная тайна.

— Ну, правильно: для врагов — военная тайна. А для тех, кто делает... Сейчас, Александр, время такое, что лучше бы каждому знать, что он делает. Какое за ним дело.

— Дядя Костя...

Я готов был броситься ему на шею, едва сдержался.

— Пожалуйста, переезжайте к нам — вон, видите, крыша — это наш дом, дедушки Санджи дом. Я с ним договорюсь, он хороший дед... Переезжайте к нам хоть сегодня!

Майор Чупрун наклонил голову, снял пилотку, хлопнул ею о колено, отряхнул пыль.

— Спасибо... Спасибо тебе, Александр. Я подумаю.

— Вставай, тезка, там кличут тебя — возле калитки.

Дедушка Санджи тормошил меня за плечо.

Я проморгался, откинул одеяло.

— Майор? Военный?

— Да какой там майор, — узкие калмыцкие глаза деда хитро сощурились. — Барышня, кюкн... Говорит: очень нужно.

Очень мне это нужно — барышня, кюкн. Рань какая, солнце еще не взошло. Спать охота. Даже мама Галя и Ганс еще не просыпались, дверь плотно прикрыта. А дедушка Санджи, я знаю, ночи напролет не спит, лишь вздремнет по-стариковски, сидя, зайдется в кашле, скрипнет в сених половицей и отправится бродить вокруг забора, подле калитки, а у калитки вдруг откуда ни возьмись — барышня, кюкн, вот и развлечение.

Что за кюкн?

На улице стыл плотный туман.

Я разглядел в этом сыром и промозглом тумане сжавшуюся от озноба фигурку Татьяны Якимовой.

— Здравствуй, чего тебе?

— Здравствуй... Идем быстрее, Пиотровские уезжают. Игорь послал, чтобы попрощаться.

— Куда уезжают?

— Госпиталь эвакуируют. А куда — неизвестно. На пароходе.

— Ты тоже?

— Нет, я остаюсь, — куда же я без мамы? И тетя Катя остается. Эвакуируют не всех. Тяжелораненых, которым двигаться нельзя, оставляют. И тех, которым скоро на выписку. А остальных эвакуируют, срочно. Ты не знаешь почему?..

Мы почти бежали по росной траве обочины, башмаки мои враз отсырели.

— Послушай, Санька... — Татьяна с трудом переводила дыхание. — А куда Ленька подевался? Дома его нет, не ночевал. Тетя Катя беспокоится...

Вот новости! Слишком много внезапных новостей — да еще спросонья.

— Не знаю, понятия не имею... Вчера вечером видел.

— Может быть, он на заводе? На дежурстве?

Я прикинул в уме: на дежурстве? Нас оставляли на дежурстве целыми бригадами — на тот случай, если термитками шарахнут. Но сегодня дежурила другая бригада, не наша.

— Найдется, — сказал я. — Неужели Игорь уезжает?

В просторной кухне головановского дома, где двери во все стороны и окна на веранду, стоял да полу исцарапанный чемодан, а на нем стопка заляканных учебников, бережно повитая бечевкой. Все хозяйство, **весь** скарб.

— Что ж, **присядем** перед дорогой...

Валентина Николаевна, растерянная и бледная, опустила на чемодан. Белая полоска халата высунулась из-под пальто: прямо с работы, прямо из госпиталя — вот какой спех.

— А Константин Иванович дома? — спросила она.

— Нет его... — развела руками тетя Катя. — С ночи ушел, рюкзак прихватил с собой. Сказал: вызывают в часть. Велел кланяться... Неужели Ленька провожать увязался?

Екатерина Степановна посмотрела на меня пытливо: будто бы я знал.

Игорь тоже взглянул вопросительно: не знаю ли я?

Я знал. Я шепнул ему на ухо:

— **Мины, противотанковые. Точно.**

Он улыбнулся, но улыбка его была слабой и какой-то отсутствующей — вот он еще здесь, с нами, в этом старом бекетовском доме, а вместе с тем он уже отсутствует, он уже далеко, неизвестно где.

— Екатерина Степановна, Танечка, — заволновалась Валентина Николаевна. — Если будет письмо. Ведь мы еще не знаем адреса, куда едем, никто не знает. Но мы сразу сообщим, напишем. А письмо вы пока сохраните, хорошо?

— Хорошо, — сказала Танька. — Только вы побыстрее сообщите адрес.

— Опять новая школа, новые ребята. — Игорь, улыбаясь все так же грустно и отсутствующе, кивнул на стопку учебников. — Снова привыкать...

— Привыкнешь, — сказала Татьяна.

— Когда перед дорогой садишься, разговаривать нельзя — помолчать надо, а мы... — заметила Екатерина Степановна.

Мы замолкли.

Зеленый автобус с красным крестом на борту остановился подле дома.

Верстак справа пустовал, слева — тоже.

Я объяснил Савелию Максимовичу, что и как. Госпиталь эвакуировали, Пиотровские уехали.

— Понятно. Причина уважительная. А Голованов где?

Я пожал плечами.

— Прогульщик? Это чтобы потомственный рабочий, стахановец — и прогульщик?..

Очки старого мастера сползли от возмущения на самый кончик носа.

— Нет, — сказал я, — не может быть. Просто опоздал... Найдется.

— Опоздал? — того пуще разгневался Савелий Максимович. Но, как видно, решил приберечь свой гнев до тех пор, пока Ленка объявится. — Ну вот что, Рымарев, хочешь не хочешь, а придется тебе сегодня работать за троих, понял?

Я понял. Я хотел. Вот управлюсь ли? Сорок тысяч.

Взялся за молоток.

Ведь я и сам с нетерпением ждал Ленку. Мне не терпелось рассказать ему: да, мины. Мы делаем настоящие мины — корпуса противотанковых мин, которые начинают взрывчаткой и зарывают в землю на внешних обводах Сталинграда. Это замечательные мины. Это страшные мины. Их нельзя обнаружить миноискателем, сколько ни ищи, потому что они деревянные. Только щупом. Но щупать минные поля — опасное занятие... Понимаешь, Ленка? А ты сомневался, думал — обыкновенные ящики, тара. Нет, братец ты мой, друг сердечный, не зря мы в это жаркое лето без усталости колотили молотками, приколачивали секретные чурочки к секретным плашкам, не зря.

Я представил себе.

Там, за Ергенями, за высотами, отгородившими Волгу от донских степей, — там, по бескрайней степи, выгоревшей от засухи и войны, — ползут к Сталинграду колонны низколобых пятнистых и бородавчатых, как жабы, фашистских танков. Их танкисты задыхаются в железных кабинках от жары и чада. Вот один не выдержал, от-

кинул бронированную крышку люка, вылез — голый по пояс, с бандитской наколкой на волосатой груди, звать его Фриц либо Ганс, — вылез и смотрит из-под ладони: где же Волга? Искупаться бы в ней, ополоснуться в прохладе, испить бы волжской водицы — ах, до чего охота! Но Волги пока не видно. Какие-то взгорья, холмы, высоты — откуда бы им взяться в этой плоской степи? — встали поперек пути, возникли чудом, будто сегодня выпятились из земли.

Танки, натужно кряхтя, ползут в гору. И вдруг ослепительное пламя вырывается из-под гусениц головного, он привстает на дыбки, зарывается носом в воронку, охваченный огнем, окутанный черным дымом. Голый бандит уже мертв, он кляпом застрял в люке, его пытаются вытолкнуть наружу — не выталкивается, его пытаются затащить вовнутрь — не тащится, а пламя уже бушует в самом танке, раскаляя броню.

Один за другим подрываются на минах фашистские танки, вспыхивают — как керосиновые площадки, застревают как вкопанные, вслепую кружат на месте, волоча перебитые гусеницы, некоторые пробуют повернуть обратно, но и на обратном пути их ждут притаившиеся в земле плоские ящики с чуткими взрывателями — ждет их смерть.

Командир колонны с выкаченными от страха глазами орет в радиотелефон: «Черт побери, мы напоролись на минное поле! Откуда здесь мины? Мне докладывали, что мин нет. А здесь их тысячи, сплошные...» Но он не успевает договорить: чудовищный грохот оглушает его...

Молоток мой завис над гвоздем.

Уши явственно ощутили этот грохот — не воображенный, а настоящий. Рвались бомбы. Опять среди бела дня.

Заголосила заводская сирена.

— В укрытие! Всем в укрытие... — Савелий Максимович бежал по цеху.

Вот так. Придется отсиживаться в щели до самого отбоя — может быть, час, а то и два. Сидеть сложа руки. А велено было работать за троих.

У проходной я увидел тетю Катю. Она стояла, прижавшись к дощатому забору, вглядываясь в каждого, кто шел со смены. Лицо ее было осунувшимся, старым — я даже поразился тому, как за

один лишь день, от раннего утра до неподзнего вечера, может состариться женское лицо.

— Саня... — Метнулась ко мне. — Ленька где? На заводе?

В глазах ее теплилась надежда.

Но не мог же я соврать.

— Нет. Не приходил.

— Господи...

Она отошла к забору, уткнулась в него лицом, спина ее мелко затряслась.

— Тетя Катя, — я осторожно тронул вздрагивающее плечо, еще не зная, чем, какими словами могу я ее утешить. — Да вы не плачьте, найдется... Ну куда ему деться?

И впрямь: куда ему деться, ведь не иголка, человек.

Тетя Катя совладала с рыданием, обернулась ко мне, но слезы все еще текли по ее щекам.

— Найдется, — повторил я. — Сейчас обегаю всю Бекетовку, где-нибудь и найдется.

— Найдется. Лишь бы жив-здоров... — кивнула она, поверив моему утешению. — Не по нем я, Санечка, плачу. Не по нем. Горе, Санечка...

Все во мне похолодело, хотя я и не знал, о чем она. Горе, конечно. Кругом горе. Война.

— Валечка, Игорь... убитые оба.

— Нет.

— Погибли они.

— Нет. — Я отступил на шаг и повторил свое утешение: — Найдутся.

— Только отчалили, а эти... сверху, на самый пароход — и бомбами, бомбами... прямо по раненым, по живым... Никто не выплыл. Своими глазами видела, Санечка...

— Нет, — сказал я.

— Летим, — сказал я.

— Ну ладно, летим... Была не была.

Мы побежали по вертким, зыбким, плавающим на воле бревнам, они тонули под ногами, ускользали из-под пяток. Мы летели, будто крылатые, будто чайки — и, долетев, садились на волну.

Хорошо.

Мы ныряли — там, в зеленой глубине, ходили косячками солнечных зайчики — и выныривали обратно в блеклое синее небо.

Вот я вынырнул, Игоря и Леньки нет.

Я занырнул, меня нет.

Вынырнул опять — один Ленька Голованов, шут с тобой.

А теперь Игорь есть, Леньки нет, смыло.

Мы погружались в воду, теряя друг друга.

Я вынырнул.

Я сидел на крутом волжском откосе.

Плотный каспийский ветер — моряна — дул против течения реки, вздымая волны, опрокидывая их, завивая пенные гребни.

Темно-серые бронекатера, выпятив пушки, шли кильватерным строем с низовьев.

9

Еще две бомбы попали в Сталгрэс, одна разорвалась прямо в машинном зале, где турбины. Там были люди — кого убило, кого ранило. Но электростанция по-прежнему давала ток. И поэтому все заводы продолжали работать.

А наш завод эвакуируют, сказал Ганс. Надо собираться.

Эвакуируют? Вполне возможно, ответил я. Но дело в том, что эвакуируют тот завод, где вы работаете с мамой Галей. А завод, на котором я работаю — вот пропуск, — этот завод не эвакуируют, он остается на месте.

Наверное, ваш завод труднее эвакуировать — очень много бревен, вагонов не хватит, чтобы их вывезти, заметил Ганс.

Ничего подобного. Сам товарищ Сталин запретил эвакуировать сталинградские заводы. Потому что если из городов начинают эвакуировать заводы — города сдают. А Сталинград никогда не сдадут. Об этом все знают.

Я тоже знаю об этом, согласился Ганс. Но в городе остаются только те заводы, которые здесь были и прежде, до войны. А те, которые сюда эвакуировали в сорок первом, теперь эвакуируют дальше.

Вот именно, сказал я, наш лесозавод был здесь и прежде, до войны, он тут с незапамятных времен, поэтому он и останется в Бекетовке навсегда.

Санька, сказал он прихмурясь, нашему харьковскому заводу предстоит выполнить очень важное правительственное задание, его нельзя выполнить под огнем. Это очень трудно и обидно — прерывать работу в самом разгаре, но другого выхода нет, мы закончим ее на новом месте.

Я понимаю. Но наш завод тоже выполняет важное правительственное задание, притом очень срочное — то, что мы делаем, сразу идет на фронт, на передовую. А у нас в цехе почти никого не осталось. Я не имею права покинуть свое рабочее место. Никуда я не поеду. Вот.

Хорошо, сказал он. В таком случае пусть с тобой разговаривает мать.

Был разговор.

Пока ты обязан меня слушаться, твердо заявила она. Во всем.

Ну что ж, я никогда не считал зазорным слушаться матери — и она не могла посетовать, будто я вырос эдаким неслухом, с пеленок отбилась от рук. Но меня разозлили эти слова: «Пока ты обязан...» Надо же, чтобы это «пока» пришлось на сорок второй год в Сталинграде. Когда мне уже доставало возраста, чтобы работать на заводе, работать наравне со взрослыми, но еще доставало его, возраста, чтобы им, взрослым, перечить — тем более матери.

И ведь не хватало всего лишь нескольких месяцев, как до вступления в комсомол.

Нет, не поеду.

Ты хочешь разорвать мне сердце, сказала она. А я и так еле держусь...

Я видел, как бедует, как мучается, как хватается за сердце тетя Катя, Екатерина Степановна — ведь Ленька до сих пор не появился, не объявился. Ни среди живых, ни среди мертвых — а их, мертвых, в эти дни не поспевали считать.

Куда же он запропал, Ленька Голованов?..

Хватит, закричала мама Галя. Некогда разговаривать. Беги к Якимовым, помоги им собраться — ведь женщины, все-таки. Эшелон ждет в Сарепте, мы уезжаем сегодня.

Значит, уезжаете, сказал дедушка Санджи, ох-ох, беда... Ну, хорошей вам дороги — чтоб доехали и чтобы там хорошо — куда едете. А мы здесь останемся, здесь повоюем. Нам отсюда деваться

некуда... Ты чего приуныл, тетка? Не унывай. И, главное, помни: долбить и долбить. Сейчас вот самая долбежка начинается...

Ольховые купы, подпираемые стрелами молодых ясеней, крепнулись к обрыву. Листья их уже проредились осенней желтизной, иссохли на жаре. Внизу колыхалась волжская вода. А на том берегу опять высилась стена деревьев — близко, рукой подать, — но то был не левый берег Волги, а Сарпинский остров, разделивший ее на рукава.

Эшелон загнали сюда, в густолесье, на запасный путь. Тут и ладил все сразу, деловито и споро. Грузили на платформы тяжелые, смазанные тавотом станки, подсобляя скрипучими слегами — стоп, крепи на растяжки. Затаскивали в вагоны доски и там, орудуя топорами, молотками, сооружали трехъярусные нары, привычная работа. Вдоль колеи громоздились ящики, узлы, чемоданы.

Нам с Татьяной дела не нашлось, мы отошли в тенечек, сели на краю песчаного овражка, всполошив муравьев.

Она опять растегнула свою красную сумочку, которую я видел еще в Харькове, достала оттуда письмо, развернула, стала его перечитывать.

Сперва мы даже не хотели брать его у почтальонши, когда она утром принесла: вот, Пиотровским письмо, наконец-то, а сколько ждали, бедные. Мы испугались и не хотели брать. Но почтальонша, сразу поняв, сказала: берите, берите, это живое письмо, мне ли не знать какое... а они, бедные, не дождались.

Таня молча перечитывала строки.

Я уже помнил их.

«Валюша моя родная, Игорек! Представляю себе, как вы волновались все это время. Но я не мог вам написать. Почти два месяца были в (дальше зачеркнуто жирной тушью, военная цензура, нельзя). Зато мы крепко вломили немцам, отправили кормить рыбу (снова зачеркнуто, нельзя). Даже выразить трудно, как соскучился, как мечтаю о встрече, как я люблю вас. Тревожит здоровье Игоря, да ведь и ты, моя светлая...»

Татьяна опустила письмо на колени.

— Санька...

Не надо. Не надо плакать, ведь и так уже слез не осталось — ни у кого тут не осталось слез.

— Санька, знаешь...

Не надо. Я знаю. Я давно уже догадывался и знал, но не надо мне об этом рассказывать. Тем более что теперь ничем не поможешь, ничего не вернешь.

— Санька... Я боюсь.

Колени ее мелко дрожали.

— Ну, чего ты боишься?

— Переправы.

Зачем же бояться? Ничего страшного. Вчера ночью два эшелона с нашего завода переправились. Все в порядке, целые, не задело даже. Они уже далеко за Волгой. Ничего страшного.

С севера, за десятки километров, и сейчас доносился тяжелый непрерывный гул: будто там клокочет, извергаясь, огромный вулкан. Снова бомбят.

Сколько времени? Часов шесть, едва завечерело. Что-то рано они начали бомбить сегодня. Но к ночи непременно выдохнутся. К ночи стихнет. И ночью нас переправят.

Я уже знал, что эшелоны через Волгу переправляют на паромках. Подведут эшелон к причалу, перекачат несколько вагонов на паром — с рельсов на рельсы, на этих плавучих посудинах были рельсы, — перевезут к другому берегу, а там, на другом берегу, тоже рельсы. Возвратятся, возьмут еще несколько вагонов — и опять.

В Сталинграде не было моста через Волгу. На всем бесконечном протяжении города не было ни одного моста. Я слышал, правда, что там, на севере, у Тракторного завода, саперы наводят мост — понтонный, наплавной, — но по такому мосту поезда не ходят.

— Ты не бойся, — сказал я Татьяне. — Ничего страшного.

— Эй, малый!..

С крыши вагона меня окликал какой-то человек в заводской робе. Он хлопотал на крыше, укрывал ее зелеными ветками, прикручивал их проволокой для маскировки.

— Чего расселся? — закричал он на меня несердито. — Беги, наломай веток, да побольше, кончаются у нас...

— Бегу.

А бежать было недалече. У самого пути густо разрослась всякая зелень: пахучие, чуть пожелтевшие купы ольхи, ясеня, орешника в гроздьях пыльных орехов. Я начал ломать хрусткие разлапистые ветки, выкручивать их, если не поддавались, повисал, тя-

нул на себя, отдирал, собирал в охапку, эту на эту, и еще вот эту зацеплю...

Я замер.

Тотчас за полосой кустарника открылась другая насыпь, ржавые рельсы на ней, а на рельсах — одинокая платформа, буфера туда-сюда, тоже вся разукрашенная для маскировки зелеными ветками и ячеистыми сетями. Из сетей торчали, уставясь в небо, четыре вороненых ствола зенитной установки, воронки на концах стволов.

У насыпи, рядом с платформой, расположился боевой расчет. Сидит боевой расчет и ест из котелков пшеничную кашу. Стальные каски лежат на траве. Все снимали каски, только один, который ко мне спиной, каски не снял, прямо так и лопает, не снимая каски, хотя эта стальная каска и мешает ему, и явно великовата, — он спиной ко мне.

А лицом ко мне — пожилой старшина, пшеничные усы в пшеничной каше. Он как раз подносил ложку к усам, глаза поднял и увидел меня. Увидел, воззрился строго.

Я отступил под этим строгим взглядом, под ногой моей оглушительно треснула ветка.

Весь расчет обернулся на этот треск, и тот, который сидел спиной ко мне, в каске, закрывающей пол-лица, обернулся тоже.

Но и половины этого лица было вполне достаточно, чтоб узнать. — Ленька!.. — заорал я в восторге.

Мой восторженный крик произвел на всех сидящих очень странное впечатление: они недоуменно посмотрели друг на друга — посмотрели, пожали плечами, — опять посмотрели на меня.

Из-под каски зыркнули на меня утрашающим взглядом Ленькины глаза. Они были как два из четырех вороненых стволов, глядящих с платформы в пустое небо.

— А ну иди сюда, хлопчик!.. — Усатый старшина позвал меня ложкой.

Я покорно шагнул вперед.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего... вот, — показал я охапку зеленых веток.

— А зачем тебе это?

— Козе, наверно, — объяснил Ленька Голованов. Вороненые стволы — два из четырех — целились мне прямо в грудь.

— Козе? — переспросил старшина.

— Козе, — подтвердил я. — Машке.

— А-а...

Я попятился в глубь чашобы.

— Погодь! — Старшина греб ложкой к себе. Он строго взглянул теперь на Леньку. — Это что, знакомый тебе хлопчик?

— Первый раз в жизни, — сказал Ленька. — Сроду не видал.

— А чего ж он тебя на Леньку звал?

— Обознался. Или — того...

Ленька сдвинул каску набок и покрутил пальцем у виска.

Я еще попятился вглубь.

— Нет, погодь! — Старшина просигналил ложкой. Но обратился не ко мне, а опять к Леньке. — Тебя-то как звать?

— Санька. Александр Александрович.

— Ну так, значит, Сашко... А фамилия?

— Рымарев.

Я ущипнул себя вольной рукой пониже спины. Может быть, я сплю и мне снится во сне. Или мне все это кажется. Или я на самом деле — того.

— А откуда ты? — продолжал допрашивать Леньку старшина.

— Из Харькова. На Черноглазовской улице жил, одним концом на Пушкинскую, другим...

— А папка-мамка где?

— Никого нет, сирота. Ведь я вам рассказывал, товарищ старшина! — взмолился Ленька.

— Знаю, Сашко, знаю... — Усатый старшина задумался. — Так чего ж он тебя на Леньку звал?

— Да обознался. Или — того...

Ленька сдвинул каску на другой бок, покрутил пальцем у виска.

— А-а... Ну конечно, долго ли тут. Тут и взрослому недолго, а уж дитю...

Старшина посмотрел на меня жалостно.

— Ну иди, иди, хлопчик. Неси своей козе... От бедолага!

Ольховые ветки, зашелестев, сомкнулись передо мной.

Было совсем тихо. Только лязгали на стыках колеса.

Было совсем темно. Лишь временами в оконцах под самой крышей вагона и в щелястых стенах теплушки появлялся багровый свет дотлевающих пожаров. И тогда в оконца и щели проникал удушливый, выедающий ноздри чад.

Поезд шел медленно, осторожно, будто на ощупь, — и можно было разве что угадывать, где мы едем: Бекетовка, Купоросная балка, Ельшанка...

— Мы будем проезжать через Сталинград? — шепотом спросил я Ганса.

Шепотом спросил потому, что все в вагоне переговаривались шепотом или вполголоса, сберегая тишину, сберегая тайну, чтобы никто не мог услышать, как мы движемся к переправе.

— Наверное, — так же тихо ответил Ганс. — Я не знаю, где нас будут переправить. Нам не сказали.

Он лежал со мною рядом на нарах, с другой стороны мама Галя, а там — Софья Никитична с Татьяной, еще кто-то. Нам достался второй этаж, под нами, на нижнем ярусе, попискивали груднята, а наверху расположились те, у кого не было детей. Так распорядился начальник эшелона.

Пламя в оконцах сделалось ярче, языкастее, злее — даже лица осветились в темноте, — треск и гул теперь перекрывали стук колес, дым врывался в теплушку змеистыми космами, и вместе с дымом залетали какие-то хлопья, похожие на летучих мышей, они металась в воздухе, кружились, налипали на лоб, садились на щеку, смахнешь с омерзением — и размажешь, и почувствуешь запах сажи.

Мы проезжали Сталинград. Мы проезжали его насквозь, и опять я его не увидел: только огонь, бушующий вблизи, только дым и треск.

Но ровный перестук колес пробился, возник опять, отсчитывая секунды, отсчитывая стыки рельсов. Пламя сникло, поблекло, рассеялось в темноте. И дым понемногу рассеивался — стало легче дышать, резь в глазах унялась. Потянуло свежестью, прохладой.

Поезд ощутимо сбавлял свой небыстрый ход. Скрежетнули тормоза, эшелон остановился. Было слышно, как впереди отдувается, пыхтит паровоз, успокаиваясь помалу.

На верхнем ярусе кто-то выглянул в оконце, сказал:

— Волга.

— Тихо пока... Авось проскочим.

— Танечка как? — спросила мама Галя.

— Заснула, — ответила Софья Никитична.

Они зашептались меж собой, хотя сейчас уже можно было говорить и погромче. Ведь мы проехали самое опасное.

— Саня, где ты там?

Софья Никитична протягивала мне кружку с водой и белую бумажку, сложенную совком.

— Зачем? — спросил я. — Не надо. Я не хочу пить.

— Прими вот это. Проглоти и запей.

— Я не хочу, зачем?

— Это от простуды, порошок. Ночью на реке очень холодно, — объяснила Софья Никитична.

— Не хочу...

Мама Галя взяла из ее рук бумажку, приказала:

— Открой рот.

Жуть какая дрянь. Хуже касторки. Вот так же, в детстве, она насильно поила меня касторкой. И еще чем-то от глистов. Но это было еще хуже.

Я поспешно отхлебнул воды из кружки.

Ганс молчал, отвернувшись. Он-то, наверное, понимал, что детей нельзя мучить.

— Авось проскочим... — повторили наверху.

Близ вагона раздалися шаги, лязгнул металл. То ли нас отцепляли, то ли, наоборот, прицепляли.

Интересно бы взглянуть, как перекатывают вагоны на паром.

Хорошо бы выскочить из вагона хотя бы па пару минут. Да кто позволит, кто выпустит?

И какая-то гнетущая тяжесть вдавливала меня в жесткие доски нар. Спать охота. Вон Танька уже спит. Я зевнул, прикрыл глаза.

«Ду-ду... ду-у... ду-у...» — надвинулся тягучий и надрывный гул. Это сон заполнял мои уши, как заполняет их вода, когда глубоко нырнешь.

Совсем рядом — за стенкой вагона, над крышей вагона, совсем рядом — застукотели в четыре ствола пулеметные очереди. Что это?.. Я шевельнулся, пытаюсь приподняться, пытаюсь одолеть сон, вынырнуть из этого глубокого сна.

Рвануло вблизи, сотрясло вагон.

Меня не стало.

«Летим!» — сказал он.

«Нет, мне нельзя. Ночью очень холодно на реке. Мне даже лекарство дали от простуды».

«Ночью? — удивился Игорь. — Но ведь сейчас день, жара. А вода теплая, очень теплая. Даже теплей, чем снаружи. Ну просто горячая вода! Легим...»

Я посмотрел на эту горячую воду, на эту горящую воду — языки пламени пробегали по ней, космы дыма стелились над ней, и черные хлопья, похожие на летучих мышей, взлетали над этой водой, носились смятенно в воздухе, налипали на лоб, касались крылами щеки...

«Нет, — сказал я. — Мне страшно. Я боюсь».

«Да чего ты боишься?»

«Вот этого. Ее...»

Я показал.

На нас медленно надвигалась, грохоча — о, как она нестерпимо грохочет! — лесотаска. Гремучие железные цепи ползли по всей ее длине, черные цепкие крючья загребали перед собой, будто клешни рака. Они ухватывали подвернувшееся живое тело, силой вырывали его из воды, выметывали на движущуюся ленту уже бездыханное, — волокни, тащили вверх, на крутизну, — одно за другим, а то и по два зараз, вся лесотаска была заполнена этими неживыми телами, в лязге и скрежете она возносила их к небесам, но на верхнем краю сбрасывала, опрокидывала в тартарары, а черные крючья продолжали хищно шарить в воде, и вновь, и вновь — в столах и всхлипах и отчаянных выкриках — замертво вонзались в тела...

Я закричал.

«Не кричи, — попросил меня тихо Игорь. — Лучше давай полетим!»

«Куда?»

«Вон туда, за Волгу. На левый берег — видишь, какой там гладкий песок...»

«Мне нельзя на левый берег. Я должен остаться здесь, на правом... Погоди, а где моя каска? Где мой пулемет?»

«Да вот же он, слышишь, как громко колотит — из всех четырех стволов. Слышишь, Санька?»

«Я не Санька. Я просто отзываюсь на Саньку, а на самом деле я — Ленька... Я другой».

«Другой? А где тот?»

«Тот... Того уже нет. А ты... ты кто?»

Он не ответил мне, отвернулся, утер слезу.

«Да не плачь, — сказал я. — Почему у тебя слезы? Откуда? Их ни у кого не осталось... О, гляди!»

Речная вода вскипела, разверзлась. Из нее проворно и скользко выпрыгнул на бревна крокодил — улегся поперек колышущихся бревен, замер, подобрав хвост в колючих бугорках. Выпученные глаза его закатились. Ощерилась зубастая пасть. Странное дело, разве в Волге бывают крокодилы? Как он сюда попал? И если б он был добрым хорошим крокодилом, другом детей, а то сразу видно каков...

С откоса посыпались комья глины. Какие-то мальчишки и девочки, хватаясь за плети бурьяна, спускались с обрыва. Загорелые, босые. Они зашлепали по воде, заскакали по бревнам, плавающим на воде — с бревна на бревно, добрались до крокодила, взяли за руки, закружили разудалый хоровод вокруг него — ну и чумовые ребята!.. Осторожнее, слышите? Вот сейчас он, крокодил, миг развернется, щелкнет хвостом, ухватит клыкастой пастью, вопьется зубами, клацнет, хряснет, потянет, заглотает...

«Бежим! — сказал я, вскакивая. — Бежим туда, Игорь...»

Но Игоря почему-то уже не было рядом со мной.

Я разогнался и побежал по бревнам. Они тонули под ногами, ускользали из-под пяток. Они оседали, кренились, под ними вскипали бурунчики... Уже близко, вот еще несколько шагов... ах...

Скользкое бревно вертанулось под моей ногой, я оступился, провалился в воду — как же ночью холодна эта волжская вода, угодил промеж бревен, потянулся вцепился в ближнее, зацарапал ногтями по мокрой коре, но оно тоже начало тонуть, задирая комель, а сзади на меня напирала другая, я попытался крикнуть тем ребятам: «Ребята!» — но рот мой был уже полон воды, вода журчала в ушах, тело набухало водой. Я еще раз рванулся вверх, но только ударился головой о бревно — ослепли глаза от удара, — и последнее, что я увидел перед тем, как не стало меня, — бревна, не оставляя отдушины, плотно сомкнулись над моей головой, уже не проклюнешься, амба.

Но я еще раз — на всякий случай, в зряшной надежде — открыл глаза.

Над моей головой были плотно сомкнутые доски верхнего этажа нар.

Я услышал у плеча стесненное дыхание мамы Гали, она спала ничком, уткнувшись лицом в мягкий узел. А по другую сторону от меня, навзничь, лежал Ганс, рот его был неподвижно раскрыт, но грудь вздымалась, опадала.

Спали Софья Никитична, Таня. Наверху раздавался покойный храп. Исподнизу, где были копотливые груднята, тоже не доносилось ни звука. Спали все. Как убитые.

Было тихо. Так тихо, что я услышал: скачут по крыше вагона, по зеленым ветвям маскировки, чирикают беззаботно воробьи.

В оконце теплушки сочился слабый свет раннего утра.

Голова моя гудела и была тяжела, будто налита чугуном — не поднять, от того, наверное, лекарства, которое мне скормили, от того страшного сна, который мне привиделся в ночи.

Но я все же поднял эту тяжелую гудящую голову, сел, еще раз огляделся и очень осторожно, чтоб никого не разбудить, слез с полатей.

Навалившись всем телом, отодвинул — всего лишь на вершок — дверь теплушки, протиснулся в эту непролазную щель, спрыгнул на хрустящую ракушечником насыпь.

От зябкой утренней свежести голове сразу полегчало — она перестала быть такой угнетающе тяжелой, однако гудела по-прежнему. Я помотал ею, чтобы вытряхнуть из ушей этот гул. Но он не вытряхивался, не исчезал.

И вдруг я понял, что дело вовсе не в ней, не в несчастной моей голове, что гудело не только в ней.

Был еще и другой — посторонний, явственный, непрерывный гул: словно где-то вдали бушует и клокочет, извергаясь, огромный вулкан, — тот же самый гул, который вчера донесся с севера, за десятки километров, до самой Сарепты, но сейчас этот гул был гораздо сильнее и ближе.

Я побежал вдоль эшелона на этот гул. Ноги сами понесли туда.

Однако сзади меня настигал теперь и новый звук: ровное тахтение мотора, негромкий перестук колес.

Я мигом вскарабкался по ступенькам ближайшего тамбура, укрываясь за его стенкой.

Мимо, по соседней колее, медленно катилась автодрезина, подгалкивая платформу, повитую ячеистыми сетями и ветками с увядшими пожухлыми листьями ольхи. Над сетями и ветками торчали четыре вороненых ствола зенитной установки с воронками на концах стволов.

Платформа двигалась так медленно, что я успел увидеть: на ней спят вповалку, как убитые, люди в линиялых гимнастерках, боевой расцвет. Рядом с каждым из них лежала стальная каска. И только один из них спал прямо в каске, утонув в ней всей головой. Великовата ему каска. Что?.. Но ведь Ленька остался там, на правом берегу, в Сарепте. Каким же чудом он мог оказаться здесь, на левом берегу? Когда и как они перемахнули сюда, на левый берег?

Дрезина остановилась и, коротко свистнув, пошла обратным ходом.

И, будто откликаясь на этот свист, донесся гудок паровоза. К разъезду приближался другой состав — оттуда, из заволжских далей.

Когда на разъезде встречаются два состава, один из них вскоре должен уйти.

Я понял, что времени у меня в обрез.

Спрыгнув наземь, я побежал дальше.

Ноги увязали в песке. Окрест, насколько мог я видеть, лежала песчаная равнина, всхолмленная ветрами. Неподвижные песчаные гребни нависали над песчаными безднами. И лишь кое-где в этом песчаном море волны вздымались выше остальных, будто налетев с разбегу на скалистые острова: на островах разросся густой ивняк.

Я уклонился в сторону от насыпи, заметив самый высокий из этих островов.

Гул надвигался, усиливался.

Черная стена дыма перегородила синее небо.

А ноги проваливались в песок почти до колен, я еле выдираю их, переставляя с трудом. В горле пересохло, хотя дневная жара еще не наступила. Ноздри опять учуяли тот удушливый запах гари, который минувшей ночью вместе с багровым заревом ворвался в оконца теплушки.

Но остров был уже близко, песчаная хлябь мельчала, подошвы упирались в твердое. Я взобрался на первый уступ, а за ним был другой, а на третьем уже пришлось продирается сквозь ивовые заросли, отстраняя ветки руками, раздвигая их, приподымая их.

Мне открылось.

Я увидел кромку пологого левого берега — ее зализывала речная зыбь.

Увидел Волгу во всей ее шири.

И впервые в жизни я увидел Сталинград. Город, который так давно и долго мечтал увидеть своими глазами.

Города не было.

На крутизне далекого правого берега простерлась на многие версты зубчатая искромсанная стена развалин. Белые стены зданий зияли черными дырами окон. Дома стояли непокрытыми, будто над ними пронесся ураган, сорвавший все до единой крыши. Там, внутри, еще дотлевал огонь, и дым клубился над ними. Дымился расплавленный асфальт площадей и улиц. Обугленными голешками торчали фонарные столбы. К жилым кварталам примыкала вплотную заводская сторона, обозначенная железными скелетами цехов и сокрушенной кладкой кирпичных труб.

Округлые баки нефтехранилищ изрыгали дым и кипящую лаву. Дым уходил в небо, а лава выплескивалась, растекалась по бороздам оврагов, ползла к воде, волоча за собой языки огня — и, когда лава достигала воды, пламя не гасло, оно продолжало полыхать на поверхности реки, огонь плыл по течению. Река горела.

Невдалеке дыбилась корма затонувшего парохода, пустая лодка, привязанная к нему, покачивалась на волне, тыкалась носом в железо.

Обломки и пепел прибывало к левому берегу.

Город казался вымершим и безмолвным. Но он кричал: в этом низком, утробном, ревущем крике слышалась не только боль — нестерпимая боль ран и ожогов, — но гнев и ярость. Он не звал, этот город, он взывал!..

Он поднимал свой дым на километры вверх — так высоко, что взошедшее солнце заволоклось уже черной завесью: пусть увидят повсюду, что солнце затмилось, что нет солнца...

Я обернулся на сыпучий шорох шагов.

От разъезда к берегу шли, растянувшись цепочкой, в затылок, солдаты. Их сапоги утопали в песке. Им было тем более трудно идти, что шли они не налегке, а при полной боевой выкладке: руки придерживают ремни винтовок, патронные сумки тяжело обвисли, скатки — от плеча к бедру. Им было жарко — прямо в лицо им дышал горящий город, копоть летела навстречу, и струйки пота, сбе-

гавшие из-под шлемов, уже оставляли на щеках черный след. Лица их были сосредоточенны и хмуры, они шли молча.

А в стороне двигалась к Волге другая цепочка, а там еще одна. Захрустел ивняк.

Я услышал негромкий, но строгий голос:

— Мне приказано переправить дивизию по наплавному мосту. Где мост?

Ответом было молчание.

На пригорке, рядом со мною, появился человек в защитной фуражке с матерчатым прямым козырьком, по две зеленые звезды в зеленых углах петлиц, парусиновые сапоги.

Он сразу заметил меня, но не выказал к этому особого интереса.

Другой же, с которым он разговаривал — тот, который пока молчал, — остановился за моей спиной.

— Где мост? Не вижу моста.

Расстегнул кожаный футляр на груди, вскинул бинокль.

— Не вижу. Что, майор, не управились, не успели?

— Мы... успели.

Ответ прозвучал глухо, устало. Но этот голос был мне знаком. Я оглянулся.

Константин Иванович Чупрун стоял позади. Лицо его было землисто, глаза ввалились, запали под нависшие щеточки бровей, а выше бровей пропыленный бинт запекся бурыми пятнами крови.

— Не вижу!

— Мост взорван, товарищ генерал. Вчера утром.

— Как это — взорван?.. Кем?

— Моими саперами. Приказ командующего фронтом.

Генерал в упор, не скрывая изумления и гнева, смотрел на майора Чупруна.

— Товарищ генерал... — Надтреснутые опаленные губы Константина Ивановича шевелились с трудом. — Вчера утром к тракторному заводу у Сухой Мечетки вышла танковая колонна. На танках были звезды, красные флажки, и танкисты — в наших комбинезонах, в наших шлемах... Но это были немцы. Вероятно, они рассчитывали обмануть, ну хотя бы вызвать замешательство — и с ходу проскочить мост...

Только сейчас он узнал меня. Брови его чуть приподняли полоску бинта: «Ты? Здесь?»

— Слушаю вас, майор.

— Их отбили минометным огнем, зенитками... Мост пришлось взорвать.

«Ты здесь? Почему ты здесь? А где же...» — спрашивали неподвижные трещиноватые губы.

Генерал отвернулся и снова поднес бинокль к глазам.

— Так, — озадаченно произнес он. — Та-ак...

Сухой шелест песка под сапогами солдат нарастал, огибая, обтекаемая пригорюк, и уже сменялся влажным скрипом, хлюпаньем: передовые цепочки достигли берега.

— Готовьте переправу, майор. Любыми средствами.

— Может быть, ночью?

— Нет, сейчас. Немедленно... А это, по-вашему, что — день? Кромешная дымная ночь висела над Сталинградом.

Генерал опустил бинокль.

— Дяденька... — тихо взмолился я. — Дайте взглянуть разок.

Он покосился на меня досадливо, но скинул ремешок с шеи.

— Держи. Смотри.

Я осторожно шевельнул ребристое колесико.

Черная Волга пронеслась подо мною.

Перекрестье бинокля уперлось в бетонную стену элеватора.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЖРЕБИЙ

1

После уроков, как было заранее сговорено, мы отправились на берег Оби.

Продравшись сквозь кусты, обметанные свежей зеленью и пухом цветенья, мы вышли на крутизну. И онемели от почтения: так широко и вольготно, так мощно текла река мимо города Барнаула. Было весеннее половодье.

Была весна сорок третьего года.

Мы заканчивали седьмой класс.

— Обь — это, я думаю, потому что обе, — прервал молчание Йонька Дуда. — Сливаются две реки — Бия и Катунь — обе, и получается Обь. Да?

— Чепуха, — отозвался Юрка Садков. — Значит, Катунь — от того что катится, а Бия... били ее, так что ли?

— Может быть, и так, — пожал плечами Йонька.

Он с любопытством въедался в каждое русское слово, в каждое название, поскольку был молдаванином и еще три года назад жил, извольте ли видеть, за границей — в Кишиневе.

Везло мне на этих иностранцев!

— Ну ладно, все это семечки, — решительно сдвинув брови, сказал Юрка. — Давайте о деле. Сначала в принципе: кто идет, а кто не идет?.. Ты?

Он взглянул на меня.

— Да, — ответил я. — Иду.

— Хорошо... Ты?

Ваня Подобных кивнул: да.

— Ты?

Виктор Леонелли отвел глаза, и было похоже на то, что он сейчас заплачет. Однако он не заплакал, а начал объяснять:

— Я не могу. Конечно, я бы пошел — со всей охотой, честное слово. Но сорвется номер... Сергей и Володя, братья, уже на фронте, воюют. Если я уйду, останутся папа с мамой и сестры. Четверо, и только один мужчина, а это уже не номер, понимаете?

Он смотрел на нас просительно и жалобно, Виктор Леонелли, он очень надеялся, что мы поймем безвыходность его положения.

Между прочим, Виктор Леонелли не был иностранцем — из Рима или Неаполя или того же Кишинева. Нет, по правде он был вовсе не Леонелли, а просто Витькой Леоновым. Но так уж повелось, что циркачи обычно выступают под разными заковыристыми иностранными фамилиями. А Витька Леонов был циркачом. И на барнаульском цирке шапито, поблизости от рынка, в тот год красовалась зазывная надпись «5 — Леонелли — 5». Мы часто бывали в цирке (иногда, стараниями Витьки, даже бесплатно) и с нетерпением ждали минуты, когда кончит кривляться рыжий клоун Алекс и пузатый шпехштальмейстер в белой манишке зычно провозгласит:

— Вело-фигу-ристы Лео-нелли!..

Оркестр разражался бравурным маршем.

На арену, покрытую пестрыми щитами, выкатывались пять — Леонелли — пять, в розовых трико, искрящихся блестками, на сверкающих никелем велосипедах. Отец Витьки уже довольно пожилой, с обвисшими щеками мужчина. Мать тоже не первой молодости. Две очень хорошенькие и очень похожие друг на дружку сестрицы, хотя, как мы знали, одна из них была не родной, а приемышем из детдома. И, наконец, Витька Леонелли — стройный, ловкий, красивый. Он мог быть еще красивее, если б ему не мазали губы красной помадой — нас это, признаться, смущало, — но так полагалось в цирке.

Как они катались на своих велосипедах — трудно пересказать словами. Это было зрелище, от которого захватывало дух. Они ездил задом наперед, усевшись на руль. Ездили вверх ногами, крутя педали руками. Ездили на одном колесе, вздыбив другое. Кружились волчком на месте. Вскакивали на ходу в седло. Леонелли-отец катался на крохотном велосипедике — в карман упрячешь. Леонелли-мама делала круг на допотопном велике, у которого переднее колесо больше паровозного, а заднее меньше, чем у швейной машинки. И после каждого трюка под брезентовыми сводами цирка шапито нарастал гром аплодисментов...

Но вот оркестр умолкал, оставляя лишь барабанный рокот. Из-за кулис выволакивали длинный металлический шест, эдакую ходулю с единственным колесом. Ее устанавливали отвесно, и Витя Леонелли с кошачьим проворством взбирался на самый верх. Разводил руки в стороны, нащупывая равновесие. Отец и сестры отбегали от шеста. И тогда он начинал отрывистыми толчками двигать педали — и ехал, ехал на этой ходуле с единственным колесом, на отчаянной высоте, почти под самым куполом, раскинув руки, беспечно улыбаясь. Рокотал барабан... И вдруг ходуля начала крениться, падать. Зрители ахали от ужаса. Но Витька, подхваченный отцом и матерью, уже стоял на арене, а сестры перенимали ходулю. И вот они впятером, раскинувшись живой пирамидой, совершали триумфальный круг — все на одной машине — и укатывали за кулисы.

Выбегали снова: раскланиваться, делать публике комплименты. Публика бушевала. Мы не жалели ладоней, аплодируя прежде всего нашему Витьке, мы с гордостью озирались и видели, как горячо аплодируют велофигуристам и ему, Витьке, в особенности командиры Красной Армии, которых всегда было очень много в цирке, увешанные орденами боевые командиры — а уж они-то знали цену смелости.

Наутро Виктор Леонелли приходил как ни в чем не бывало в нашу школу, в наш класс, садился за парту, раскрывал тетрадку и ждал с робостью, что вот его вызовут: «Леонов, к доске...»

А сейчас он, явно мучаясь и сгорая от стыда, все пытался нам толковать:

— Ну сорвется номер, что тогда? Отец — ведь он уже старый. Братья на фронте, кто знает, вернутся или нет...

В глазах Витьки и впрямь показались слезы.

Но мы уже понимали, что он прав. Сорвется номер, такой отличный номер. Без Виктора Леонелли, без ходули с колесом — это уже не номер.

— Ладно, — сказал Юрка Садков и перевел взгляд на Йоньку: — Ты?

Мы заканчивали седьмой класс.

Была весна сорок третьего года, шла война.

Нам к той поре исполнилось кому по четырнадцать, кому по пятнадцать лет. Значит, предстояло еще три года протирать штаны за школьной партией и ровно столько же дожидаться призыва в ар-

мию. Нас еще и на учет не брали в военкомате. Нас, здоровых пятнадцатилетних мужиков — у некоторых уже пушилась верхняя губа, — не брали.

Там люди воюют, а ты тут сидишь, мараешь тетрадки... Дико. Оставался лишь один выход. Спецшкола.

Туда принимали после седьмого класса и сразу же, помимо всякой литературы, алгебры, химии и прочей муры, начинали обучать профессии летчика либо артиллериста. Правда, после спецшколы надо было еще пройти курс военного училища, и лишь оттуда ты выходил младшим лейтенантом, но мы знали, что по военным обстоятельствам срок обучения там был предельно укорочен, младших лейтенантов пекли, как оладьи, а выпускникам спецшкол вообще оказывали предпочтение.

Короче говоря, это был прямой шанс сделаться военным человеком, не дожидаясь призыва. Закончил седьмой класс — и скидывай ко всем чертям эти протертые за партой штаны, этот стыдный штатский пиджачишко, эту блатную кепочку-шестиклинку. Облачайся в военную форму, становись в строй — есть стать в строй!

— Ты... — повторил Юрка Садков, обращаясь к Йонке Дуде, которого мы, конечно же, звали Дудкой.

Мы сидели кружком на весенней шелковистой траве.

— Ребята, — сказал Дудка, — ведь мы все равно не успеем.

— Куда это не успеем? — весь напрягся Юрка.

— На фронт. На войну. Война закончится раньше, чем вы... чем мы... — Тон Дудки был рассудительным и чуточку заискивающим. — Теперь, после Сталинграда... Он потянулся за своим ранцем, лежащим поблизости. Это был очень странный ранец, из коровьей шкуры, с которой даже не сбрили шерсть.

Однажды Йонька Дуда пригласил меня после уроков на Третью Алтайскую, где он проживал с родителями. И там, между прочим, показал мне свою фотографию прошлых лет. На этой фотографии Дудка был изображен в высокой белой барашковой шапке с кокардой, в шинели с какими-то петличками и вот с этим небритым коровьим ранцем за плечами. Дудка мне объяснил, что это гимназическая форма, он, оказывается, учился в гимназии там, в Кишиневе, когда Кишинев еще был за границей.

Он мне еще рассказал про то, как Молдавия была под пятою румынских бояр. Не просто капиталистов и помещиков, а именно бо-

яр. Я даже представил их себе: с бородами до пупа, в раззолоченных кафтанах на меху и в таких же высоких барашковых шапках, как на Йонькиной фотографии, — они важно сидят вдоль стен и слушают, что им наказывает румынский король. У них ведь там были и король по имени Кароль, и королевич, которого звали Михай (по словам Дудки — наш однолесток). А сейчас там хозяйничали фашисты, измывались над простым народом, расстреливали и душили коммунистов, как задушили жену и двоих сыновей моего харьковского знакомого Теодора Барчи. Это они по приказу Гитлера снова ворвались в Советскую Молдавию — ровно через год после того, как Кишинев перестал быть границей.

— Поймите, ребята, — продолжал Йонька, — теперь, после Сталинграда, немцам капут. Папа говорит, что война очень скоро кончится.

Он вынул из ранца газету, сегодняшнюю «Алтайскую правду».

— Вот...

— Что — вот? — рассердился Юрка Садков и вырвал газету из рук Йоньки. — Вот сводка Информбюро: «... на фронте ничего существенного не произошло». И вчера «ничего существенного не произошло», и позавчера, и уже целый месяц «ничего существенного»... А это значит — наступления нет, стоим. По всему фронту... Ясно?

Он был прав, Юрка.

Хуже того. Наши опять сдали Харьков. После Сталинграда, когда Красная Армия развернула наступление по всему фронту, я, что ни день, перекалывал флажки на карте, выдранной из атласа. Ржев, Вязьма, Гжатск... Ростов, Ворошиловград, Курск... Изюм, Купянск — это уже под самым Харьковом. Ну, еще немного! И шестнадцатого февраля, ошалев от радости, я воткнул булавку с красным оперением в заветный кружок на этой карте — Харьков, взял Харьков!.. Не пора ли собираться восвояси, домой, уж больно далеко от Харькова забросила нас война.

А через месяц пришлось выдирать булавку обратно — Харьков снова пал. Опять там были немцы.

— Ско-оро... — передразнил Юрка Садков немного смущенного Йоньку.

— Нет, я не о том, — поспешил оправдаться Дудка. — Я имею в виду совсем другое — Тунис.

Он развернул «Алтайскую правду» и показал нам статейку в углу.

— Понимаете, союзники разбили немцев в Тунисе. Это очень важно стратегически. Сталин даже послал поздравление Рузвельту и Черчиллю.

— Тунис какой-то, — отозвался молчавший доселе Ваня Подобных. — Вместо второго фронта воюют где подальше... где теплее.

На меня этот самый Тунис тоже не произвел большого впечатления. Я знал, что это в Африке — Тунис, и, вполне естественно, в моем воображении тотчас возникли пальмовые оазисы среди голой пустыни, верблюды, оседланные кочевниками в белых бурнусах, львы, крокодилы, жирафы. И было совершенно невозможно представить себе, что там, среди сыпучих барханов, идут друг на друга — в лоб — танковые клинья... Все это было как мираж, что является людям в пустыне: будто взаправдашний, а доехать до него, дойти и пощупать рукой невозможно.

— Теперь им удобнее высадиться в Европе с юга, — излагал нам большую стратегию Дудка. — Теперь они будут вынуждены открыть второй фронт, иначе...

— Вот что, — прервал его Юрка Садков, и, как обычно, когда он сильно злился, смугловатая кожа на его лице обтянулась. — Ты дипломатию не разводи. Говори прямо: идешь или не идешь?

— Нет... не иду, — выдавил из себя Йонька. — Папа не разрешает. И у меня есть свой интерес. Не всем же быть военными! Ну представьте себе, что война кончится раньше, чем вы на нее попадете. Все равно — будет армия и армия, а может быть, вам захочется иметь... другую карьеру?

Ей-богу, он так и сказал: «свой интерес», «другую карьеру».

Да, чего только не наберешься, обучаясь в гимназиях, проживая в заграницах.

Можно было, конечно, извинить Дудку: он-то не виноват, что всего лишь три года жил при Советской власти и еще не совсем оклемался от буржуйских нравов, и еще употреблял иногда словечки, от которых вянут уши у нормального человека.

Кроме того, Йонька и вправду находился под очень сильным влиянием отца — старого Дуды. Старый Дуда был портным. Он и сейчас работал в мастерской, где шили военное обмундирование. А прежде, в Кишиневе, он обшивал господ. Он рассказывал мне, когда вечерами я заходил на Третью Алтайскую (сам я жил на Де-

вятой Алтайской), что однажды ему выпало счастье шить полосатые брюки и черный фрак для молодого человека из богатой и родовитой семьи, который выучился на дипломата и ехал в Женеву заседать в Лиге наций. С тех пор старым Дудой завладела мечта: увидеть своего сына дипломатом. В черном фраке и полосатых брюках. Это, конечно, была несбыточная мечта: сын портного — в Лиге наций? Даже в гимназию он пристроил Йоньку с большим трудом, по протекции своего клиента... Зато теперь, при Советской власти, старый Дуда мог вполне рассчитывать, что его заветная мечта осуществится. «Почему нет?» — спрашивал он меня, улыбаясь. И Йонька улыбался вместе с ним.

Так что переубедить Дудку было не в наших силах. Мы это поняли.

За вычетом Виктора Леонелли и Йоньки нас оставалось трое. Но и это еще не означало тройственного согласия.

— В какую? — спросил Юрка Садков. — Лично я выбираю артиллерийскую — Бийск... Ты?

— Авиационная, — ответил я. — Ойрот-Тура.

— Ты?

— В морскую, — сказал Ваня Подобных.

— Чего-о?

— В морскую, — повторил Иван.

Он был здешним коренным алтайским жителем, мать его работала уборщицей в нашей школе, а отца еще задолго до войны зарубили топором кулаки — тоже здешние, алтайские. Он не помнил отца.

— Да сколько же раз тебе говорить, что таких нет? — снова вскипел Юрка. — Ну нет морских спецшкол. Артиллерийские и авиационные — всё!

И опять он был прав. В нашем Алтайском крае с начала войны обосновались четыре спецшколы, эвакуированные из Москвы и Ленинграда. Три артиллерийские и одна авиационная. А морской не было. Во всяком случае, я не слышал про такую. Может быть, их и вообще не было, как утверждал Юрка.

— Братцы, а если вместе, втроем — в Бийск? — Он смотрел на нас урезонивающим взглядом. — Ведь артиллерия — это очень серьезно. Артиллерия...

— У меня с математикой плохо, — угрюмо перебил Ваня Подобных. — Тебе-то что, у тебя математическая шишка, тебе и нуж-

но в артиллерию — там сплошные расчеты. А меня могут просто не принять. Не примут — и каюк...

— Ну, насчет этого можете не беспокоиться, — бодро сказал Юрка. — Товарищ Садкова позвонит куда надо.

Юркина мать работала в крайкоме партии, и он ее за глаза усмешливо называл не иначе как «товарищ Садкова».

— Ребята, артиллерия — бог войны! — выложил Юрка главный козырь.

— Ну, бог! Не всем же быть богами! А летать выше всех, дальше всех, быстрее всех?! — побил я козырь козырем. И заявил непреклонно: авиация — и ничего больше!

— В морскую, — откликнулся Ваня Подобных.

— Тьфу... — иначе не сумел выразить свои чувства Юрка.

Меня возмущала его настойчивость. Ведь я с малолетства мечтал стать летчиком. Еще до школы мама Галя водила меня на авиационный праздник, там в небе кувыркались самолеты, и яркие парашюты садились, будто цветки, на зеленое поле. Я видел своими глазами огромный, как город, восьмимоторный: «Максим Горький», пролетавший над Харьковом. Во Дворце пионеров мою схематическую модель держала в руках сама Полина Осипенко. Я запомнил тот «дуглас» со скошенными назад крыльями, на котором Ганс и его друзья вернулись из Испании... Потом мне довелось видеть и другое: как один за другим, кренясь, заваливаются в пиже кривоногие «юнкерсы» с черными крестами, как тяжелые бомбы отделяются от них; как несутся в атаку краснозвездные «МиГи», изрыгая перед собой дымные струи трассирующих очередей... Ощущение полета жило во мне как в детстве, но это был уже не мальчишеский телячий восторг — вот разбегусь и взлечу, а какое-то совсем новое чувство полной слитости с несущимся в воздухе оружием, в прицеле — враг.

А Юрка Садков давит мне на мозги своей артиллерией.

Вообще торг этот был просто глупым. Если уж по совести, то нам следовало решать дело так: я подаю заявление в авиационную спецшколу, в Ойрот-Туру, Юрка — в Бийск, в артиллерийскую, а Ваня Подобных отправляется на поиски морской спецшколы — вдруг такая да отыщется где-нибудь?..

Ведь никаких особых и кровных обязательств у нас не было друг перед другом, и вовсе незачем было поступаться мечтой толь-

ко ради того, чтобы не разлучаться. Ну, Иван и Юрка — они хоть учились вместе с самого первого класса. А я всего лишь неполный год, как объявился в Барнауле, поступил в эту школу, и еще некоторое время ушло на то, чтобы взаимно обнюхаться: кто ты, что ты, чего стоишь?.. Никакой одной веревочкой мы не были повиты по рукам и ногам. Вольному — воля.

Но нам было по пятнадцать лет, а это такой возраст, когда законы дружбы неумолимы. В эту пору даются самые суровые клятвы. И в эту пору они еще соблюдаются.

Так что вроде не оставалось сомнений в том, что мы все трое — Юрка Садков, Иван Подобных и я — должны непременно поступить в одну спецшколу.

— Будем кидать жребий, — сказал Юрка.

Он отобрал у Йоньки Дуды «Алтайскую правду», которую тот все еще держал в руках, оторвал снизу чистую полоску, разделил эту полоску на шесть одинаковых клочков, достал из сумки карандаш и написал: на трех бумажках — «Ав», что означало авиация, а на трех других — «Ар», что значило артиллерия.

Снял с головы кепочку — тотчас колючим ежом вздыбились волосы, неожиданно светлые при его смуглом лице, скатал бумажки одинаковыми трубочками, побросал их в кепку и стал трясти...

Мы молча следили за этим священнодействием. Еще бы: на дне обтерханной кепочки — судьба.

— Значит, такое условие, — объяснил Юрка. — Если три ответа одинаковые — тут уж и спора нет. А если двое вытянут одно — третий подчиняется. Да?

Что ж, условие было справедливым.

— Тащи, — приказал он мне.

«Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет... Колдуй, баба, колдуй, дед...»

Я протянул руку, пошевелил гадающими пальцами, вынул бумажную трубочку.

Развернул. Ну так и есть: «Ар».

— Тащи...

Ваня с очевидным безразличием запустил пятерню в кепку: ведь там все равно не могло оказаться заветной для него бумажки с надписью «Мор». Такой бумажки там просто не было.

— «Ар», — сказал Ваня Подобных, раскатав трубочку. И успокоенно вздохнул: — Ну всё.

— Всё, — согласился я, стараясь не выглядеть убитым.

— Нет, еще я! — запротестовал Юрка Садков. — Интересно все-таки.

Он стал шуровать в кепке, среди оставшихся там бумажек. Вытащил. И заорал:

— «Ав»! Мне — «Ав»! Ну, бывают же на свете случаи...

Расхохотался от радости. Потом вскочил на четвереньки и залаял на нас свирепо:

— Ав-ав-ав...

Повалился наземь, на свежую траву, раскинув руки, заголосил истошно:

Была весна, цвели дрова

И пели лошади.

Верблюд из Африки приехал на конька-ах...

— Из Туниса, — уточнил Ваня, подмигнув Дудке.

Ему что «Ав», что «Ар», было одинаково. Он ничего не терял.

Для меня же все было потеряно. И от этой безвозвратной потери на душе появилось странное чувство — покорности и свободы одновременно.

Ему понравилась колхозная коровушка,

Купил ей туфли на высоких каблуках... —

подхватили мы с Иваном дурацкую песню.

Виктор Леонелли и Йонька Дуда с завистью смотрели на нас.

Ладно, пусть не авиация, пусть артиллерия. Мне бы, честно говоря, хоть в пехоту — лишь бы поскорее.

Мне все надоело. Надоело быть никем, когда война заставляла любого и каждого быть кем-то. Надоело, что ни год, откочевывать за сотни, за тысячи километров от фронта. Всякую осень начинать учебу в другой школе. Всякую зиму жить под другой крышей — и непременно чужой. Надоело.

И еще мне хотелось стать вполне самостоятельным человеком. Уйти из дому.

Я, конечно же, любил по-прежнему маму Галю. Я по-прежнему уважал и чтил ее мужа, своего нерасписанного отчима, которого звали Ганс Мюллер. Я не мог не оценить его благородства: того, что он не спешил оформить мое усыновление, — ведь он понимал, что в эту пору лучше быть Рымаревым, чем Мюллером.

Мы оставались с ним добрыми товарищами.

Но что-то невысказанное и потаенное встревало порой в наши добрые отношения.

Началось это за Волгой, где нас еще раз бомбили — вдогон, — у озера Баскунчак. Но бомбежка эта была нестрашной, всего лишь один «юнкерс», и все бомбы, которые он кинул, угодили напрямик в озеро. Вода в этом соленом озере была такая тяжелая и тугая от соли, что даже не было слышно взрывов — лишь взбулькнуло, озеро заглотало бомбы.

А следующим утром эшелон прибыл на какую-то станцию, в какой-то город. Неизвестно, что за станция, что за город: с вокзального здания вывеска была снята.

Мама Галя занялась хозяйством. У самых рельсов она поставила рядом пару закоптелых кирпичин, насовала промеж них щепок, запалила, а сверху — чайник. Он уже брякал крышкой.

Впрочем, не она одна оказалась такой сообразительной. Подле всех вагонов вились голубые дымки, у этих дымков хлопотали женщины: у всех уже было накоплено в досталь горемычной эвакуационной сноровки.

— А где Ганс? — спросил я.

— На станцию пошел, — ответила мама Галя. — Позови, будем завтракать.

Я побежал к вокзалу. Обогнул одноэтажное строение с закругленными верхами окон и там, с другой стороны здания, у выхода, на ступеньках лестницы, увидел Ганса.

Он стоял в одиночестве и курил. Курил натошак, чего с ним никогда не бывало.

Однако же я не так удивился этому — что натошак, как иному — тому, что предстало моим глазам.

Моим глазам предстала крохотная привокзальная площадь такого же, по-видимому, крохотного городка. Площадь была вымо-

шена стертым булыжником. Ее обступили тополя-одногодки. И на ней было все, что обычно бывает на таких вот привокзальных площадях, захолустных и уютных. Парикмахерская с двумя завитыми портретами — слева тетя, справа дядя. Фотография с целой выставкой улыбающихся карточек в остекленной витрине. Галантерейная палатка. Булочная. Пивной ларек. Куцый дощатый рядок станционного базара. Все обычное.

Но кое-что здесь было необычным.

Вывеска на парикмахерской гласила «Фризюр», что тоже означает «парикмахерская», но по-немецки. Вывеска на булочной была «Бакерай» — это и есть «булочная». А на пивном ларьке было написано «Бир», что опять-таки значит «пиво». То же самое, только по-немецки. Тут все вывески были написаны по-немецки, на этой привокзальной площади, в этом заволжском городке.

Однако никто не выходил из парикмахерской и никто туда не входил, и самого парикмахера не было видно. Никто не отирался у пивного ларька. Двери магазинов закрыты, висят замки. Ставни ларьков затворены. А на базарном прилавке хлопочут и ссорятся голуби.

Пусто, совсем пусто.

И дальше, там, за стеной тополей, где виднелись аккуратные кирпичные домики, крытые черепицей, утопающие в пышной зелени, — и там было пусто. Окна забиты досками, а другие, наоборот, распахнуты настежь, и белые занавески в них колышутся покинуто и тревожно...

Вблизи домиков тоже никого не видно. Лишь задичавшая кошка метнулась тенью от одного порога к другому.

Городок был безлюден.

— Почему здесь нет никого? — спросил я Ганса. — Почему, а? Я не мог прийти в себя от удивления.

— Куда подевались все люди?

Ганс затушил подошвой окурок, вынул тотчас новую папиросу. Закашлялся — вот оно, курево натошак.

— Я думаю, Санька, что отсюда всех эвакуировали, — сказал он наконец. — Просто эвакуировали.

— Но ведь здесь глубокий тыл? — возразил я.

— Нет... не совсем глубокий.

Он повернулся и зашагал сквозь пустое вокзальное здание туда, к путям, к нашему эшелону.

— А как этот город называется?

Ганс шел впереди и, наверное, не расслышал моего вопроса. Я догнал.

— Ты не знаешь, как называется эта станция?

— Нет. Не знаю.

— А почему с вокзала сняли вывеску?

— Что?.. — Он оглянулся на меня слегка сердито, видно, ему надоели мои докучливые пристаивания. Но ответил терпеливо: — Наверное, для военной тайны. Он вышагивал по шпалам, часто потягивая дым из папиросы.

— Я думаю, для военной тайны... Видишь ли, на войне бывает много тайн. Война, Санька, это очень сложное дело: Да.

Вот и наш вагон.

Ехали мы долго, почти месяц, кружным путем.

И все дни этого месяца, этого долгого пути я просидел на подножке тормозной площадки нашего вагона — свесив ноги, держась за поручни. В зной здесь на скорости обдувало прохладным ветерком. На поворотах, на изгибах колеи был виден паровоз в голове состава — он справно работал шатунами, будто жевал второпях, он отдувался белым паром, а из трубы его валил угольный дым.

За день такого сидения на подножке я делался чумазым, как кочегар, как черт. Но на стоянках можно было отмыться под краном, из которых заливают паровозные котлы — хлестала струя толщиной в бревно, — иногда удавалось даже искупаться в ближней речке, в озере, в арыке. Лишь ночами я спал на дощатых нарах теплушки, а с утра — опять на подножку.

Полстраны я увидел с этой подножки.

Прогромыхали мосты над Уралом и Эмбой. Проплыли на горизонте уральские отроги. Мы выехали к Аральскому морю. В этом море я тоже искупался, но, когда вылез из воды под палящее солнце, вмиг все тело покрылось щиплющей коростой соли, мне пришлось бежать стремглав к стационарному крану, чтобы отмыться — уже не от черноты, а от белизны.

Потянулись степи. Гордые двугорбые верблюды стояли среди степей и смотрели на поезд. На дынных бахчах сидели, скрестив ноги, седобородые старцы в полосатых халатах и тоже смотрели на поезд. Вслед за поездом ветер гнал шары перекасти-поля.

Начались пустыни — безлюдные, безмолвные, обморочно жаркие. На исполосованных барханах корчились ветки саксаула. Но и пустыни остались позади.

За Арысью я впервые в жизни увидел настоящие горы. Они были зеленые снизу, выше постепенно рыжели, а на вершинах лежал снег.

В Чимкенте мы узнали, что на улицах Сталинграда идут бои.

Я ехал на подножке вагона через всю страну. Черный дым, копоть облепляли мое лицо, будто я вез людям весть о том, что Сталинград горит, что солнце затмилось над Сталинградом.

Я ехал и думал о том, что только распоследнему дураку вроде Гитлера могло втемяшиться, что эту страну, по которой я ехал уже целый месяц, можно завоевать.

Вокзал в Алма-Ате был ярко освещен, белые ночные бабочки, трепеща, бились в стекла фонарей. На перроне было много людей, они ходили, присматривались к приезжим, к проезжим — вероятно, они надеялись встретить знакомых. А встретил знакомых я, хотя у меня никогда не было знакомых в Алма-Ате. Я вдруг увидел: идет по перрону воскресшая и живая Нина Арбенина, кивая изредка льяными локонами, рядом с нею Арбенин, голова его обрита наголо, а черные глаза с отчаянной дерзостью взглядывают исподлобья, и даже тот хмурый неизвестный, что предрекал им несчастье, идет рядом, спокойно и надменно улыбаясь.

А в Рубцовске наш эшелон встречали уже прямые и давние знакомцы — харьковские, бекетовские, сарептские — те, что переправились через Волгу днями раньше и обживались здесь. Они зазывали в свои брезентовые палатки, разбитые табором близ насыпи, они указывали пальцами в голую степь — там торчали вешки, — объясняли, где какой цех.

Они оставались тут — завод опять делился, а нам предстояло ехать дальше, в Барнаул.

Мы поселились в бревенчатом, кондовой сибирской рубки, доме на Девятой Алтайской. Вместе с Якимовыми. Хозяином тут был Данил Егорыч, расторопный вдовый старичок, семь взрослых дочерей, все замужем, у всех мужья на фронте. Так что женского общества хватало с избытком, а мужчин было всего трое — сам Данил Егорыч, Ганс и я.

Лишь однажды, на моей памяти, заглянул сюда на часок, гостем, еще один мужчина — хозяевам посторонний, наш бывший харьковский сосед Ян Куля.

— Поручник Войска Польского! — представился он, поднеся два пальца к длинному, окованному по краю козырьку диковинной фуражки с квадратной тульей.

Был он, как всегда, великолепен.

Мама Галя сварила на плите какой-то ячменной бурды и поднесла ему, вроде бы это кофе, нам тоже.

— Поздравьте, панове, — сказал он с нескрываемой гордостью. — Ян Куля идет воевать. А если Ян Куля идет воевать, то скоро мы будем в Берлине. А по дороге мы будем в Варшаве. И я приглашаю вас — проше паньства — на чашечку кофе. Не знаю, есть ли еще там мой дом, на Жолибожу, но чашечка кофе будет!..

Мы, мужчины, охотно простили Яну Куле это очевидное бахвальство. Мы завидовали ему.

— Я приехал в Барнаул проститься кое с кем, — объяснил он со значением маме Гале. — Мало ли что может случиться по дороге до Варшавы...

Он шумно отхлебнул бурды и продолжил, обращаясь теперь к Гансу.

— Ты ведь знаешь, из какого дерьма пришлось выбирать. Я был сначала у Андерса, в его армии. Там многие хотели воевать — нам для этого дали оружие, чтобы мы воевали. Но скажу тебе честно, как старому другу: многие не хотели, хотя им дали оружие... Андерс и раньше был сволочь, а после того, как пошушукался с Черчиллем, дело стало совсем дерьмо... Вы извините, пани Галя, что я говорю так при даме и при ее ребенке, но некоторые вещи надо называть своими именами...

Он расстегнул воротник мундира, обшитый серебряным галуном.

— Они решили ударить. Им не понравился русский климат. Они стали доказывать, что самый близкий путь к Варшаве — через Иран. И это накануне Сталинграда!..

— Они многим смогли доказать? — осторожно справился Ганс.

— К сожалению, многим, пся крев... — Ян Куля брезгливо поморщился. — И, к сожалению, среди них были не только пилсудчики. Вот так. Их отпустили с богом...

Он отодвинул чашку.

— Спасибо, Галечка... Но это ничего. Как видишь, я здесь, и на мне эта форма. У нас уже есть новая дивизия — имени Костюшко. Пока дивизия, а скоро будет армия. И мы найдем самую короткую дорогу до Варшавы. Уверяю вас, панове! Ян Куля идет воевать...

У порога он шутики ради нахлобучил свою диковинную фуражку с четырехугольной тульей на голову Гансу.

— О, как идет тебе моя чепа! Ты в ней как генерал.

Ганс не улыбнулся этой шутке. Снял фуражку, вернул ее законному владельцу.

— Я бы согласился рядовым, — сказал он.

Мама Галя подошла, положила ему руку на плечо.

— Вы знаете, Ян, вчера у нас было собрание. Ганса избрали членом завкома. Единогласно.

— Да? — восхитился гость. — Ты еще можешь сделаться профсоюзным бонзой?..

— Я согласен рядовым, — повторил Ганс.

Ян Куля щелкнул каблуками, приложил два пальца к козырьку.

— Итак, жду вас в Варшаве.

Все-таки он был бахвал.

Та зима была самой голодной.

Мы были голодны все время.

И ведь нельзя сказать, чтобы мы ничего не ели. Мы ежедневно аккуратно съедали положенный нам по карточкам хлеб. В школе еще давали на переменке крохотную булочку. И матери исхитрились добавить к этому кое-какой приварок: суп-рытатуй, круто посоленную затируху. Пили кипяток с сахарином. Так что умереть с голоду мы не могли.

Но нас измучило это постоянное, это вечное недоедание. Каждую минуту, каждое мгновение мы думали только о еде. О чем бы мы ни думали, мы в то же время думали о еде. Мы сидели на уроках, читали книги, кололи дрова, а перед глазами маячило одно и то же — кусок хлеба. И, съев этот заветный кусок, мы продолжали мечтать о куске. Даже во сне.

А за этим куском, за хлебом, надо было еще ежедневно выставлять после школы долгую очередь. Мы с Татьяной стоим в очереди за хлебом. Хлеб только что привезли.

Бесконечная извилистая череда тянется вдоль забора к двери магазина. В эту дверь — чтобы там, в тесной лавке, не задушились — пускают партиями, по десять человек. И когда дверь открывается, очередь начинает шевелиться, нажимать, балабонить. А в перерывах замирает покорно, делается совсем неподвижной. И легкий снег ложится на спины, на плечи, на головы.

В очереди — женщины. Только женщины. Женщины, женщины, женщины, женщины...

Мне даже как-то неловко стоять среди них, единственному мужчине. Мне очень стыдно околачиваться здесь. Но что поделаешь: нужно получить хлеб. Ведь мама Галя и Ганс допоздна задержатся на заводе, они работают по две смены. И вот я стою в этой очереди — единственный мужчина...

Ан нет, не единственный.

Впереди, там, где очередь упирается в закрытую дверь магазина, появляется еще один.

На его русых, вразброс, волосах лихо заломлена серая ушанка. На нем обшарпанная, выдавшая виды шинель без ремня и без хлястика. Кирзовый сапог. Один. Другого не надобно, нога-то одна.

Мужчина выносит вперед костыли. Потом, опершись на них, бойко выбрасывает вперед свою ногу. «Жжик, жжик...» — поскрипывают на утоптанном снегу костыли. «Жжи...» — скрипит по снегу сапог.

Он, мужчина, малость пьян. И, прыгая на своей одной вдоль очереди, нежно поглядывает на женщин — на всех подряд.

А они, все до одной, чуть повернулись и смотрят на диво — на мужчину, вдруг появившегося днем на улице сибирского города. Смотрят во все глаза. Кто смущенно и застенчиво. Кто ласково и жалостно. Кто с простодушным любопытством.

Безногий солдат браво скачет на костылях вдоль очереди. Долго, очередь длинна.

И женщины, когда он приближается, охорашиваются наспех: оттягивают платки у лба и подбородка, трогают волосы, оправляют телогрейки. Смотрят, смотрят, провожают взглядами...

Потом уже начинаются пересуды.

— Такой еще молоденький, а калека...

— Зато живой. Теперь до самой смерти — живой.

— ...грех говорить, да кабы мой, хоть таким, а вернул!

— Обещали побывку.

— Третий год уж...

— ...с нашей улицы паскуда одна. Можете представить? С немцем живет...

Я вздрагиваю. Мне знаком этот голос. Не впервые я слышу его здесь, в очереди за хлебом. И, каюсь, я ни разу не посмел оглянуться, чтобы увидеть — кто. А она всегда об одном, все о том же.

— Ей-богу, не вру — с немцем. Гансом его звать. Хоть у соседей спросите... И не скрывается даже, шура.

Танька тянет меня за рукав. Она стоит рядом — маленькая, тощая, похожая на головастика: грубый суконный платок сорок раз обмотан вокруг головы. Огромные глазищи на худом и бескровном, посиневшем от стужи лице. Они смотрят на меня строго, предупреждая: «Молчи. Будто ты не слышишь. Молчи...»

Но я и так молчу.

Эти минувшие годы научили молчать. Научили сносить обиды, понимать, что всем тяжело, что всех ожесточила, замордовала война. Научили не думать о том, чего невозможно понять, что все равно не укладывается в голове, сколько ни думай.

— Санька, пускают!

Заныла обросшая инеем пружина магазинной двери. Вырвался наружу теплый, теперь уже совсем близкий, хлебный дух. Очередь ожила.

Тетка-доброхотка, вызвавшаяся следить за порядком в очереди, начинает отсчитывать десяток, тыча в спины:

— Один, два, три... четыре, пять, шесть...

Мы в десятке. Мы у прилавка. Струганые полки во всю стену плотно забиты ржаными буханками. Сколько их!.. Но вид этих полок, набитых хлебом, не производит никакого впечатления. Это недоступное, не наше, не мое. Будто и не хлеб.

А вот и наше.

— Одна служащая, одна иждивенческая... — говорит продавщица, выкраивая ножницами талоны из Танькиных карточек.

Выхватив с полки, из ряда, буханку, быстро отсекает широким ножом горбушку, швыряет ее на весы. Хлеб сырой, вязкий, как глина, и горбушка эта удручающе мала.

— Две итээровских, одна иждивенческая... — говорит продавщица, беря у меня карточки.

Иждивенческая — моя. А прошлым летом, в Бекетовке, я получил хлеб по рабочей карточке, целых восемьсот граммов. Тогда я был рабочим, это теперь — никто.

Мы съели весь хлеб.

Не знаю даже, как это случилось. Но мы его съели — и свои пайки, и Гансову пайку, и пайку мамы Гали, и пайку Софьи Никитичны. Не сразу, конечно, а постепенно, но съели все без остатка.

Сначала, когда мы вышли из магазина, Танька первой полезла в сумку, достала оттуда черную горбушку и жадно надкусила ее.

— Еще горячий, — сказала она, жуя полным ртом.

Я пощупал хлеб, который болтался в моей авоське, привязанной к портфелю. Он был еще горячий изнутри, а сверху уже остывал, леденел, потому что на улице лютовала стужа.

— Горячий — он тяжелее, — ответил я Таньке хмуро. — Горячего получается меньше...

Но, не утерпев, я тоже вытащил хлеб из авоськи и вгрызся в его теплую мякоть.

На Девятой Алтайской, на крыльце дома, прямо у перил стояли железные листы с шаньгами — их зачем-то выставили на мороз, напоказ, у хозяина водилась мучица, — но мы прошли мимо, будто и не видя зарумянившихся в печи корочек, — недоступное, не наше, чужое.

Сели готовить уроки.

Мы опять учились с Татьяной в одном классе.

К исходу седьмого класса она сделалась очень замкнутой.

Вообще эта замкнутость отличала всех нас, особенно тех, кто приехал в Барнаул из Ленинграда, из Сталинграда. Мы все, наверное, приехали оттуда чокнутыми, пришибленными. По глазам видно. Что-то застыло в наших глазах, в наших зрачках. У ленинградских — жуткий блокадный голод, у сталинградских — клубящийся кошмар августовских бомбежек. Встретятся невзначай такие глаза — и скорее в стороны...

Еще я понимал, что Татьяна никак не может оправиться после двух недавних смертей: гибели отца, гибели Игоря Пиотровского. Она замкнулась, спряталась, укрылась в самой себе, как в убежище.

Я сказал ей однажды, что вот, мол, хочу поступить в спецшколу, уехать из дому. Она ничуть не взволновалась, ответила: «Но ты ведь давно решил поступать, еще до войны, я помню...»

Мы расставались.

Между прочим, нам все равно не пришлось бы и дальше, после седьмого, учиться вместе.

Уже знали повсюду, что со следующего учебного года вводится раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно, в разных школах, как в старину.

Тем более.

А пока мы еще вместе готовили уроки.

Решали задачи по алгебре в самодельных тетрадах, сшитых из старых газет, писали чернилами прямо по напечатанному, а напечатанное само лезло в глаза, отвлекало, не давало сосредоточиться, не давало избавиться от голодных дум. В ушах от голода стоял тихий и легкий звон, а в голову приходили какие-то нелепые и странные мысли.

Вот и Татьяна отложила ручку, подперла кулаком подбородок, задумалась, потом сказала:

— Санька... Я давно хотела тебя спросить: что там, дальше неба?

— Как что? — удивился я. — Дальше тоже небо.

— А еще дальше? Ну, понимаешь, в самом конце...

— Там нет никакого конца, — решительно заявил я. Вот ведь интересный разговорчик, а у меня тут, как назло, не решается задача, не сходится с ответом. — Никакого конца нет.

Посредине стола, рядом с чернильницей, лежали две жалкие горбушки, изгрызенные со всех сторон.

Татьяна вздохнула и отломилась еще корочку.

Она принялась жевать эту корочку. Щеки ее до того исхудали, истончились, что сквозь них выпирала вся эта корочка.

Я тоже отщипнул кусочек хлеба. Сердце мое при этом заныло от тоски, потому что я уже видел, сознавал, что отщипываю не от своей, а от чужой доли, что моей доли уже нет и в помине, а эта доля чужая.

— Я знаю, я все это знаю... — продолжала между тем Танька. — Но ты представь себе: дальше солнца, дальше звезд, дальше самой последней звезды — там что?..

— Ну... пустота, — пожав плечами, ответил я.

И снова склонился над задачей. Значит, так: корень квадратный из x минус y в квадрате... Нет, я ни в коем случае не прикоснусь больше к этому хлебу. Может, и не заметят, что я уже съел лишку... Корень квадратный...

— А дальше? — донесся голос Татьяны.

— Что дальше? — Тут уж я изрядно рассердился. — Что дальше?

— Ну, вот ты пойми... Я знаю, что конца нет. Что это совсем, совсем бесконечно. Так?

— Так, — кивнул я.

Танька замолкает на мгновение. Морщит лоб, что-то соображая. Сообразила:

— А что после?.. Понимаешь, после этой бесконечности?

— Просто ты дура, — ругаюсь я. — Невозможная дура. Отстань.

Корень квадратный из x минус x в квадрате... «...Японские сухопутные силы в ходе упорных сражений на Новой Гвинее были вынуждены оставить порты Гона и Буна...» Эти печатные буквы, газетные строки назойливо проступают сквозь чернильное кружево алгебраических знаков... А на самом деле: что же после? Что же там, после самой бесконечной бесконечности?..

— Санька... — Голос Тани уже совсем тих и далек, он оттуда — из бесконечных пространств.

Я поднимаю взгляд.

Вижу бледное, как полотно, исхудалое лицо. Неправдоподобно огромные на таком маленьком лице глаза. Из этих глаз текут, сползают по щекам слезы — тяжелые и редкие.

А бескровные губы шепчут:

— Санька, давай доедим этот хлеб...

Я стоял у изгороди, отделявшей двор, где мы жили, от соседнего двора — задняя изгородь, еловые жерди.

Отсюда был виден завод. Море огней. Подсвеченные этими огнями, над цехами, над трубами поднимались клубы густого дыма и, уйдя от света, примыкали к облакам, сливались с ними. Завод дышал — мощно и надсадно.

Я сбежал сюда, в этот угол двора, от стыда и отчаяния. Мне бы подальше куда-нибудь сбежать. Но некуда было. Куда же мне было податься?

Представил себе, как они вернутся с завода. Очень поздно, после двух рабочих смен. Измученные и голодные. Ганс понуро сядет за стол. Мама Галя придвинет ему кружку кипятка, сядет рядом. Все их движения странно замедленны, усталы... Она откинет тряпицу с тарелки посередине стола — с той тарелки, где обычно лежит хлеб. Тарелка пуста.

Они посмотрят друг на друга. Что в их взглядах? Ничего особенного. Только разочарование. Они ждали чего-то, ждали целый день, ждали, зная, что будет, а его и нет...

Только разочарование. На иные чувства эти двое голодных людей уже не способны.

Однажды мне довелось побывать на заводе, где работали мама Галя и Ганс. Я приходил туда за лампочками для нашей школы, все лампы в классах перегорели, занимались при свечках, и завод дал из своих. Там я увидел случайно такое. У заводской столовки, где кормили тоже по карточкам — отрывали жиры и крупу, — у помойки за кухней люди, свои же, заводские, рабочие и инженеры, подбирали обрывки капустных листьев, мороженных, прозрачных, и жевали их жадно, стараясь не глядеть друг на друга.

Потом они опять шли работать.

Мы с Танькой съели весь хлеб.

Да за такое не то что избить, за такое — убить...

Позади меня заскрипел снег. Шаги. Они приближались.

Я ссутулился, сжался.

Большая тяжелая рука легла на мое плечо.

— Спокойно, Санька... Это ничего. Ведь ты сейчас растешь. Очень сильно растешь. Что делать, если вам приходится расти в такое время, когда мы не можем дать вам столько хлеба, сколько нужно. Чтобы вы могли расти как следует... Такое время, война. А вы растете. Голодные...

Голос Ганса был негромким и усталым.

Я не смел повернуть головы, едва сдерживаясь, чтобы не рыдаться.

— Я только одного хочу, Санька... Чтобы вы все это вынесли. Чтобы вы не сломались. И не растеряли ничего — самого главного. Чтобы вы были крепкими, когда вырастаете. Когда вы будете хозяева вместо нас... Пойдем, Санька.

Его рука по-прежнему лежала на моем плече.

— Знаешь... — По дороге у него вдруг возникла идея. — Завтра у меня отгул. Мы поедем с тобой куда-нибудь в деревню и сменяем на картошку мой костюм. Будет целый мешок картошки...

Эта блестящая идея настолько захватила его, что, едва переступив порог, он тотчас же воодушевленно стал излагать ее маме Гале.

— Да-да! Это будет целый мешок картошки... Галечка, достань, пожалуйста, мой парижский костюм.

— Какой? — переспросила мама Галя, внимательно поглядев на него.

— Парижский. Тот, который я привез из Парижа, когда возвращался из Испании.

— Парижский?

— Ну да.

— А разве у тебя есть еще и другой костюм? — поинтересовалась она.

— А...

Тут Ганс грохнулся на стул, захохотал — весело, взхлеб.

Он так весело хохотал, что мама Галя, не выдержав, тоже начала смеяться.

И я не выдержал, рассмеялся.

Нам здорово повезло.

В деревне Повалихе, куда мы отправились с Гансом, за этот его много раз надеванный костюм нам дали полный мешок отборной картошки да еще в придачу два кругляша замороженного молока: его там выставляют на мороз в железных мисках, потом стук по доньшку — и выскакивает белый твердый кругляш.

Засветло возвращались домой. Ганс волок санки, на которых лежал мешок, а я нес под мышкой замотанные кругляши.

Нам предстояло пересечь станционные пути. На путях стояли составы.

Согнувшись в три погибели, мы нырнули меж колес вагона, потянули за собой санки. Потом перелезли через тормозную площадку другого вагона, пульмановского, перенесли мешок и санки.

Но дальше нам отрезал путь движущийся состав. Бесконечная вереница платформ медленно проплывала мимо нас, подрагивая на стыках. Все платформы были одинаковые, и на каждой из них — по огромной махине, укрытой брезентом. Но под складками брезента угадывались округлые башни, пушечные стволы невероятной длины, широкие гусеницы.

Платформы плыли мимо — одна за другой, одна за другой... десять... двадцать... ни конца им, ни края.

Я посмотрел на Ганса.

Он внимательно и очень по-хозяйски провожал взглядом каждую из этих платформ, каждую из накрытых брезентом глыб.

— Танки? — спросил я.

— Нет, — покачал головой Ганс. — Самоходки.

— Это ваши? С вашего завода?

Он покосился на меня укоризненно: в военное время — такие вопросы...

Но я был настойчив:

— Твои?

Поколебавшись, он все-таки решил, что мне можно довериться.

— Наши.

Платформы с зачехленными машинами бесконечной чередой двигались мимо нас.

— Якимовские, — тихо сказал Ганс, в голосе его слышались благоговение и гордость. — Якимовы... Неожиданно перестук колес замедлился, залязгали, натыкаясь друг на дружку железные тарелки буферов. Поезд остановился. Должно быть, семафор дал красный свет.

Мы снова пронырнули меж колес ближайшей платформы.

Но и с той стороны путь нам был отрезан.

Закопченный паровоз, окутанный паром, пышущий зноем раскаленной топки, втаскивал на станцию еще один состав. Он следовал в противоположном направлении — на восток. И этому составу тоже не было видно ни конца, ни края.

Двухосные теплушки. Двери закрыты наглухо, перечеркнуты наискосок накладными засовами, замки снаружи. Маленькие окна под самой крышей зарешечены.

За прутьями этих решеток — лица.

Густо заросшие щетиной, бледные, как у выходцев с того света, лица. Мышиной масти пилотки с опущенными отворотами, а у некоторых поверх этих пилоток повязаны грязные полотенца и платки.

Головы теснятся у решеток. Глаза — испуганные, тоскливые и вместе с тем любопытные — разглядывают все окрест. Смотрят на заснеженную землю, присыпанную угольной пылью. На стационарные строения. На соседний состав с зачехленными, замершими в недобром и внушительном молчании машинами.

Смотрят и на нас.

Мы тоже отчужденно, но не без любопытства, провожаем взглядами эти лица в зарешеченных окошках.

— Как ты думаешь, откуда они — из-под Сталинграда? — спросил я.

— Да, наверное, из котла... Видишь, почти у всех обморожения.

Так вот как они нынче выглядят, завоеватели мира. Прямо скажем, неважно выглядят. Ну что ж, так вам и надо. Гитлеру своему скажите спасибо. Самим себе скажите спасибо. Поделом вам...

Я вздрогнул.

За одной из решеток я увидел знакомое лицо. Как?.. С чего мне может быть знакомо лицо человека в мышинной пилотке, лицо фашистского солдата, врага?..

Но сомнений не оставалось. Пускай это лицо тоже обросло щетиной до самых ушей. И нос обморожен, в струпьях. Пускай оно потемнело, состарилось. Но это был он.

Карл Рауш.

Я потянул за рукав Ганса.

Но и Ганс уже увидел его.

И Карл Рауш заметил нас, узнал. Голова его отпрянула от решетки вглубь, но сзади, по-видимому, напирали, и ему не удалось уйти...

Это длилось всего лишь несколько секунд, покуда запертая на висячий замок теплушка медленно двигалась мимо нас.

Но за эти секунды было увидено все и высказано все.

Ганс смотрел на него с нескрываемым презрением, гадливостью. Губы его были плотно сжаты, уголки их опущены. Вот она — цена предательства!..

Карл Рауш, не выдержав, отвел взгляд. И тогда глаза его скользнули по нашим истертым подшитым валенкам. По нашим самодельным санкам. По заплатанному мешку с картошкой. Заросшие щеки его дрогнули в странной усмешке. И это могло означать: вот она, цена верности...

Два паровозных гудка скрестились в студеном воздухе. Семафоры дали зеленый.

Состав с длинноствольными глыбами тронулся с места — на запад.

Состав с военнопленными набирал скорость, ему — на восток.

К этому времени стало окончательно ясно, что Ганса не возьмут в армию, не пошлют на фронт, сколько он ни хлопочи об этом.

Да, коммунист, да, командир танкового батальона, обстрелянный боец интербригады, а все равно не возьмут. Только еще раз вежливо и уклончиво объяснят, что в тылу он нужнее.

А в этом тылу, в Барнауле, на всех тринадцати Алтайских улицах, уже, наверное, не было ни одной семьи, в которой оставались бы сразу два мужика. Сын дома — отец на войне. Отец в тылу — сын на фронте. Равным образом это касалось отчимов и пасынков. Однако еще вернее сказать, что в этих семьях не было на месте ни одного мужика — все там, на фронте: и отцы, и сыновья, и братья, и дядья, и племянники, и отчимы, и пасынки.

Так что если Ганса Мюллера не брали в армию, то идти надлежало мне.

2

Меня разбудил горн. Звуки его поначалу были хрипатыми, будто и сам он, этот горн, не откашлялся спросонья, но тотчас прояснились и стали звонки, чисты.

Я открыл глаза. Надо мною был брезентовый свод палатки, и в каждую дырочку этого брезента воткнулся тонкой спицей лучик утреннего солнца.

Из-за полога доносились команды:

— Вторая батарея, подъем!

— Первый взвод, подъе-ом!

— Подъем!..

Вспомнил, как глубокой ночью медлительный, запинаящийся у каждого полустанка поезд наконец привез нас из города Барнаула в город Бийск. Конечная станция, маленький вокзал. Кто-то нас встретил, пересчитал, тыча в каждого пальцем, приказал «следуйте за мной», и мы потопали со своими баулами, чемоданами по мощеной темной улице, над которой шелестели сосны. Спать хотелось — хоть спи на ногах. А нас привели не к ночлегу, а в баню, в санпропускник. Пришлось, конечно, мыться. Намыливаться воющим жидким мылом из какой-то жестянки, окатываться горячей водой из деревянных шаек. Потом еще долго ждать, покуда из жарки вынесут на раскаленных проволочных кольцах наши одежки... Словом, никто из нас уже, наверное, и не помнил, как мы ока-

зались в расположении спешколы, как нам указали крайнюю палатку, как мы занырнули туда и повалились на топчаны.

— Дивизио-он, выходи строиться на зарядку!

— Дневальный по передней линейке, к старшине!

— ...на зарядку-у! — перекликались голоса за брезентом.

Сон пропал, хотя я ничуть не выспался. На соседнем топчане уже торопливо натягивал штаны Юрка Садков. Ваня Подобных, приподняв голову, озирался с любопытством. Конечно, кому неинтересно? Ведь мы прибыли туда, куда хотели, добрались до заветной цели.

— Айда, поглядим, — сказал Юрка и, откинув брезентовый полог, выскользнул наружу.

Мы вылезли следом, сожмурились от яркого света. На всех линейках, строго по ниточке рассекавших палаточный городок, мельтешили сотни рук — шла физзарядка.

Подле соседней палатки, сбившись несмелой кучкой, стояли ребята нашего возраста, и на них тоже были измятые пиджачишки, потертые брюки, задубевшие нелепыми складками после прожарки. Вполне вероятно, что они вместе с нами мылись ночью в бане, но мы не могли как следует приглядеться друг к другу в крутом пару и в полусне.

— ...произвести утренний туалет!

Мимо нас забегали, утираясь на ходу полотенцами, голые по пояс, мускулистые, загорелые и довольно самоуверенные парни — эти уж, безусловно, были тут старожилками и хозяевами. Ветеранами.

Завидев нас, они вдруг останавливались и начинали хохотать без всякой причины, обмениваясь при этом изумленными восклицаниями:

— О, новеньких привезли!

— Шпаки прилетели...

— Привет шпакам!

Я тогда еще не знал слова «шпак», хотя и сразу догадался, что слово это обидное. «Шпаками», как выяснилось позже, по стародавнему армейскому обычаю, называли штатских.

Но Юрка Садков, наверное, знал это слово. Потому что очень обиделся на эти насмешливые оклики и, когда один из пробегавших парней с кончиками усов на верхней губе (усов у него еще не было, выросли только кончики) упомянул «шпаков», Юрка заносчиво вздернул подбородок и спросил:

— А ты кто? Шибко военный?

— Что-о? — Парень с кончиками просто опешил от подобного нахальства, да еще со стороны какого-то жалкого «шпака». Кинув полотенце на шею, он грозно двинулся к Юрке: — Ну-ка, повтори!..

— Шибко военный, — бесстрашно повторил Юрка Садков.

— Та-ак... — Тот сделал вид, что засучивает рукава, хотя руки его были обнажены.

Расправа казалась неминуемой, и мы с Иваном на всякий случай придвинулись поближе к Юрке. Погибать — так уж вместе.

Но тут с передней линейки донеслось распевно и требовательно:

— ...станови-и-ись!

Парень обернулся в досаде, подкрутил кончики своих еще не выросших усов, тихо сказал:

— Ну ладно, шпак... Я тебя запомнил.

Еще он посмотрел внимательно на меня с Иваном: наверное, тоже запоминал.

Зарысил к своей палатке.

А к нам тем временем приближался, заметно хромая, приволакивая ногу, дядя в выгоревшей гимнастерке с лейтенантскими погонами. Причем один погон, болтаясь в свободной петельке, свешивался на грудь, а другой, наоборот, за спину. Фуражка с черным околышем была сбита на затылок и немного набекрень, давая выпростаться роскошному чубу.

— Новый набор?

— Да.

— Да... — поморщился дядя. — Как надо отвечать? Надо отвечать: «Так точно».

— Так точно!

— Ну вот. Здравствуйте, новый набор.

— Здравствуйте...

Дядя опять поморщился.

— Как надо отвечать? Надо отвечать: «Здравия желаем».

— Здравия желаем!

Нет, дело вовсе не в том, что мы и впрямь оказались такими уж беспросветными жалкими шпаками. Просто в сорок третьем году эти молодецкватые ответы «так точно» и «здравия желаем» только входили в воинский обиход. Тогда очень многое только-только входило в обиход. И не мы одни с трудом привыкали к этому. Вон у самого дяди один погон свесился на грудь, а другой — на спину.

— Командир нового набора, лейтенант Жежеря, — представился дядя. — Собирайте свои хурды-мурды и марш за мной.

Через минуту, собрав хурды-мурды, мы маршировали вслед за дядей.

Двое парикмахеров сноровисто оболванили нас. Жесткая Юркина шевелюра даже на полу продолжала упрямо дыбиться рядом с моими покорными патлами.

Потом на складе нам всем выдали, примеряясь на глазок, серые гимнастерки хэ-бэ, серые брюки хэ-бэ, такие же пилотки. Не защитного цвета, а почему-то серые. Выдали ремни с латунными бляхами. Но надевать все это нам не разрешили, велели взять под мышки, построили и опять: «Шагом марш!» Оказалось, опять в баню.

В баню так в баню.

Зато по дороге, при свете дня, можно было разглядеть то, чего мы не разглядели впотьмах минувшей ночью: куда нас привезли и что это за город Бийск.

Город Бийск, как выяснилось — его центр, его улицы, его старинные дома и церкви, — находился далеко отсюда.

Артиллерийская спецшкола была на окраине города, у вокзала, у привокзального рынка. Вокзал маленький, конечная станция ветки, тянущейся от Барнаула. Дальше железной дороги не было. Дальше был Чуйский тракт, убегавший через Бию и Катунь в дремучие горы Алтая, в Монголию, а на пути — Ойрот-Тура, где находилась авиационная спецшкола, в которую я так и не попал.

А та, в которую я попал, — располагалась двумя огороженными островками. Один островок — учебный корпус, большое бревенчатое здание, за ним сейчас, летом, выстроились ряды палаток. Другой островок — зимние жилые корпуса, тоже бревенчатые, рубленые, а также столовая, лазарет, всякие конюшни и сараи. Над обоими островками шумели черной хвоей вековые сибирские сосны.

Но бани здесь не было.

И нас опять погнали в пристанционную баню, в санпропускник. Опять вонючее жидкое мыло, деревянные шайки, белесый пар, опять пришлось сдавать в прожарку старое свое шматье. Обрато нам его уже не выдали, сказали, что сдадут на хранение в каптерку, — и слава богу, наконец избавились. Мы с радостью и удовольствием облачились в новенькие гимнастерки, подпоясались ремнями, нахлобучили пилотки, а некоторые предусмотритель-

тельные ребята прихватили с собой из дому армейские красные звездочки и тотчас нацепили их на пилотки. Остальным обещали выдать после карантина.

В столовой нас прежде всего научили делить на четверых пайку хлеба. Один отворачивается, другой тычет ножом в куски: «Кому? — Тебе. — Кому? — Справа. — Кому? — Слева...» Мы ведь еще не знали друг друга по именам, по фамилиям.

Из окошка раздачи повариха плюхала здоровым половником щи в жестяные миски, потом кашу, наливала в кружки суфле — сладковатую мутную жижицу, не знаю из чего, называлось суфле. За поварихой присматривал малый в белом халате, дежурный по кухне.

Пища была вполне нормальная и не слишком нас отяжелила.

Так что сразу после обеда лейтенант Жежеря повел нас на плац заниматься строевой подготовкой.

Я не буду долго распространяться насчет строевой подготовки, потому что это словами не объяснишь. Кто служил — знает, кто не служил — узнает. В общем, мы учились строиться, равняться, сдвигать ряды, поворачиваться, маршировать «левое плечо вперед», «правое плечо вперед» и «кру-гом!». Еще индивидуальные навыки: подходить к командиру, отдавать честь, обращаться. Но все же некоторые моменты я отмечу.

С чего начинается построение? Оно начинается с того, что новички должны разобраться по росту. Самые рослые, длинные — на правый фланг, правофланговые. Самые невысокие, коротышки — левый фланг. Однако и среди рослых и среди коротышек есть чуть длиннее, чуть короче. Вот и приходится самим мериться друг с другом и, хочешь или не хочешь, кому-то уступать, кого-то оттеснять согласно росту. И запоминать, кто справа от тебя, кто слева. Чтобы потом, услышав команду, мгновенно находить свое место в строю.

Правофланговым оказался Ваня Подобных, ему не было равных в новом наборе — здоровенный детина. Мы с Юркой Садковым оказались где-то посередке. А последним, замыкающим, стал Миша Войтин.

Миша Войтин был самым маленьким и самым шуплым среди нас. Некоторые даже удивлялись, как это его пропустила медкомиссия, отбиравшая молодцов в спецшколу, — может быть, комиссия его просто не заметила, такой он был маленький.

На первой же строевой подготовке у Миши Войтина выявился еще один, куда более серьезный недостаток. Он не умел правильно маршировать. То есть, когда он ходил обыкновенно, вне строя, все казалось нормальным. Однако в строю, как только раздавалась команда «Шагом, марш!», с ним начинало твориться неладное: он выкидывал вперед одновременно правую ногу и правую руку, а затем — левую ногу и левую руку. Хотя требовалось наоборот, чтобы правая нога маршировала с левой рукой, а левая нога — с правой.

Лейтенант Жежеря заметил это прежде других.

Он приказал Мише выйти из строя и лично показал, как нужно делать:

— Гляди... Вот эту с этой, а эту с этой... Ать-два, ать-два. Ну-ка...

Миша Войтин кивнул понимающе, весь напрягся, сосредоточился.

— Шаго-ом марш!..

Правая нога вскинулась вместе с правой рукой, левая — с левой.

Мы заржали.

— Отставить!

Лейтенант Жежеря озадаченно сдвинул фуражку на лоб и поскреб затылок.

— Может, как-нибудь привязать? Руки привязать, а ноги оставить. Потом обвыкнет... — пробормотал он. — Ну ладно, Войтин, становись пока в строй.

Но и с другими, признаться, в тот первый день случались разные смешные казусы. Со мной тоже.

Командир нового набора прививал нам индивидуальные навыки, учил обращаться.

Я четкой поступью приблизился к нему, замер, вскинул ладонь к пилотке:

— Товарищ Жежеря, разрешите обратиться?

— Какой я тебе Жежеря? — рассердился он. — Что я с тобою — свиней пас?

— Я не пас.

— Отставить! Нужно обращаться: «Товарищ лейтенант».

Снова подход. Снова ладонь к пилотке:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?

— Постой, постой...

Он наклонился ко мне, оглядел мою шею, дотронулся до нее рукой, переложил в другую руку, рассмотрел подробнее, сказал:

— Держи.

Я взял в ладонь. Приоткрыл.

В ладони сидела вошь. Небольшая такая вошь, коричневая, с живыми лапками.

Я приуныл, мне стало стыдно. Вот, не сумел с первого раза обратиться как подобает к своему командиру. И при этом на шее как ни в чем не бывало сидит вошь. Такое неприятное совпадение... У меня и раньше случались вши, как и у большинства других. Бывало, мама Галя находила этих зловредных букашек в швах моей исподней рубахи, бывало, вычесывала железной гребенкой из головы. Ничего удивительного. Вши — это от войны. Когда войны нет, они довольно редко встречаются. А как война — тут и они, привет. Они сами собой заводятся на людях в военное время. Так что никакого особого позора в этом не было: лови, дави... Но подойти к командиру строевым шагом, отдать честь, а на тебе вошь! Поневоле затоскуешь.

Лейтенант Жежеря, сдвинув фуражку на затылок, тоже смотрел на меня и на весь новый набор с унынием и тоской.

— Ну и пополнение, — сказал он. — Ну и вшивота. Это после двух прожарок...

Надел фуражку прямо, скомандовал:

— Р-разойдись! Взять полотенца! Строиться в баню!

В баню так в баню.

Однако приезд нового пополнения оказался не самым главным событием этого дня.

Главное событие произошло вечером, после ужина.

Был выпускной акт. Нам разрешили посмотреть издали.

Перед учебным корпусом выстроилась двумя шеренгами первая батарея — человек сто или полтора. Бравые ребята, как на подбор, хотя и среди них, конечно, одни были повыше, другие пониже, но все они выглядели молодцевато и мужественно — еще бы, десятый класс, семнадцать-восемнадцать лет.

Я даже подсчитал в уме, что эти ребята поступили в спецшколу в сороковом году — еще до войны, еще в Москве. Потом началась война, их увезли в Сибирь, сюда, в Бийск. Две военных зимы они проучились здесь. Теперь им предстояло разъехаться по артиллерийским училищам — кому в Рязань, кому в Уфу, кому в Кострому,

кому в секретное, где учат стрелять из «катюш», — и через несколько месяцев их произведут в младшие лейтенанты, отправят на фронт. А на фронте вот уже сколько времени — грозное затишье...

Эти ребята были еще из до войны. Даже форма на них была довоенная. Темно-зеленые кителя с черными петлицами, на петлицах — скрещенные пушки. Синие брюки навывпуск. Фуражки с распяленными тульями, на черных околышах — красные звезды. Латунные бляхи ремней надраены так, что слепнешь, пуговицы тоже надраены. Хорошая форма, но старая, довоенная. Уже всю Красную Армию после Сталинграда перевели на новую форму, а вот про спецшколы, наверное, забыли, потому что рассовали их в такие далекие, в такие забытые богом места, что и не сыщешь: Бийск, Тогул, Ойрот-Тура...

Было еще потому особенно заметно, что первая батарея одета в старую довоенную форму, что перед строем, слегка волнуясь, прохаживался в ожидании начальства ее командир. Молодой, но с коротко подстриженной аккуратной бородкой, похожий на Щорса. На нем был мундир с золотыми «катушками» на обшлагах и высоком стоячем воротнике, с четверкой пуговиц на фалдах, с погонами, гладко и ровно прилипшими к плечам (не то что у нашего Жежери — один свисает на грудь, другой на спину). Жалко, что у этого командира не было ни орденов, ни медалей — только гвардейский знак. Может, еще не воевал? Воевал: прохаживаясь, он мерно помахивает одной рукой и с минуты на минуту подносит ее к глазам — часы; а другая рука плотно прижата к бедру, будто по вечной команде «смирно», — кожаная рука, протез. Да, вот это командир!

Легкий шорох пронесся вдоль строя.

Старый капельдудкин быстро повернулся к духовому оркестру. Оркестр грянул марш. Смолк, только визгнула запоздало какая-то труба.

— Товарищ начальник спецшколы, первая батарея построена для выпускного акта... Командир батареи гвардии старший лейтенант Васильев.

Это он, который с бородкой и без руки, отдал рапорт.

А принял рапорт человек в очках очень невзрачного и, безусловно, штатского вида. То есть на нем были гимнастерка, галифе, сапоги, фуражка, но без знаков различия — типичный шпак.

Мы переглянулись удивленно и разочарованно.

Но об этом штатском начальнике спецшколы разговор еще впереди. И о гвардии старшем лейтенанте Васильеве. И о том, почему духовой оркестр играл довольно фальшиво, выдавая запоздалые визги.

А сейчас началась церемония.

Командир батареи выкликал по списку фамилии. Строй размыкался, выпуская то одного, то другого. Каждому начальник спецшколы вручал бумагу, выпускное свидетельство, жал руку, тот отдавал честь, поворачивался кругом, становился на свое место. Строй смыкался.

Они выходили один за другим: были среди них сероглазые, черноглазые, веснушчатые, курносые, скуластые, лопухие, толстогобые, румяные, обыкновенные... Мы с Юркой Садковым и Ваней Подобных внимательно вглядывались во все эти появляющиеся лица. Мы с нетерпением ожидали, когда же из строя выйдет тот парень, у которого еще не было усов, а кончики уже были, и он их подкручивал, шибко военный парень, который нынче утром, на передней линейке, поцапался с нами и хотел тут же учинить расправу... Мы очень надеялись, что сейчас и ему вручат выпускную бумагу и он отбудет в Рязань или Кострому, так и не осуществив своих обещаний.

Но этот парень, к сожалению, не появился. Значит, он был не из выпускной батареи. Значит, он оставался тут, в Бийске.

Ведь в этом торжественном акте, который сейчас происходил, был еще один очень важный смысл.

Первая батарея, десятый класс, покидала школу. И тотчас вторая батарея, девятиклассники, заступала ее место, становилась первой батареей. А третья батарея, восьмой класс, делалась второй батареей. Мы же, новый набор, после карантина, кого не выгонят и кто сам не сбежит, получали право называться третьей батареей. Вот в чем был смысл происходящего.

Те, кто оставался, стояли и смотрели на тех, кто уезжал.

И еще на заборе, огородившем плац, висела босоногая и замурзанная местная ребятня, мальчишки, они проявляли живой интерес и, может быть, даже мечтали, что со временем поступят в артиллерийскую спецшколу и будут вот так же провожать, вот так же уезжать.

А за решеткой забора и у ворот стояли бийские девушки, принарядившиеся к случаю в довоенные мамкины обноски. Я не знаю, зачем они пришли, какой интерес был у них, какие мечты.

Дело шло к концу. Первую батарею распустили собрать вещи и построили снова: теперь у каждого на плече висел нетугой мешок-сидор.

Капельдудкин перевел оркестр в голову колонны, махнул рукой, опять зазвучал марш. Сейчас, как обещано, я объясню, почему в этот памятный вечер оркестр играл так нескладно и фальшиво. Ведь самые лучшие трубачи этого оркестра были тоже из первой батареи, их три года натаскивал старый капельдудкин, учил играть на разных духовых инструментах. Но этих самых лучших трубачей уже не было в оркестре — они перешли в строй, они уезжали. А в оркестре остались неумехи и сачки из младших батарей, которых еще учить и учить, пока они выучатся играть как следует и тоже уедут. Вот почему во время марша раздавались отчаянные хрипы и визги, от которых капельдудкин морщился и вздрагивал. Только барабан ухал исправно.

Первая батарея миновала ворота и двинулась к вокзалу по Девятой улице — благо вокзал этот был совсем рядом, что приезжать, что уезжать.

Они уезжали.

Они уехали.

А через несколько дней на фронте кончилось затишье, разразилась гроза.

Фашисты начали наступление — и не где-нибудь, а под Курском, напрямик нацелясь на Москву, опять на Москву. Семь дней они ломались всей силой, семь дней держала оборону Красная Армия. А потом, измотав, обескровив врага, наши перешли в контр-наступление. Пятого августа впервые потряс Москву артиллерийский салют в честь победителей этого сражения, в честь освободителей Орла и Белгорода.

Двадцать третьего августа наши войска взяли Харьков. И теперь уже не было сомнений — навсегда, бесповоротно.

Почему-то в моем сознании эти события следовали в прямой связи.

Вот, чеканя шаг, уходит за ворота спецшколы первая батарея. И вот Харьков наш.

Я, конечно, понимал, что не они, не эта батарея держала оборону под Курском, не эти ребята пошли в контратаку, не они вступили в Харьков. Они-то, поди, лишь доехать успели до своих артил-

лерийских училищ, им еще в этих училищах предстояло попотеть
будь здоров.

То есть никакой прямой связи тут не было и быть не могло.
Но она была, ее не могло не быть.

По улицам освобожденного Харькова (я представлял себе) — по Пушкинской, по Сумской — двигались походным маршем артиллерийские колонны, их вели юные командиры, сменившие тех молодых командиров, которые стояли у орудий на Орловско-Курской дуге и падали мертвыми возле этих орудий; а где-нибудь в Рязани или в Уфе из ворот артиллерийского училища выходил сомкнутый строй новоиспеченных младших лейтенантов и направлялся к вокзалу; а в другие ворота или в те же самые входило с песней пополнение — спецы из Бийска, из Тогула, и кто-то из ветеранов, из старожил, из прибывших сюда месяцем раньше, орал: «Глядите, братцы, новеньких привезли — салаги, ну потеха!»; а в городе Бийске вторая батарея становилась первой батареей и сразу же начинала много о себе понимать; а третья батарея делалась второй, и, хотя вторая батарея — это середнячки, ни то, ни се, они уже имели право покрикивать на третью: «Эй вы, ушастики, подите-ка сюда!...»; но мы еще даже не были третьей батареей, мы были просто новым набором, мелюзгой, держались оробелой кучкой, как мальки на мелководье, только что проклюнувшиеся из икринок...

А в освобожденном Харькове — по Сумской, по Пушкинской (я представлял себе) — шли походным маршем артиллерийские колонны; их вели юные командиры, которые понюхали синь-пороха в сражении под Курском и не легли там в братские могилы, повезло им, ребятам, да ведь сколько еще воевать.

Так что тут, безусловно, была самая прямая связь: между тем, что нас привезли из Барнаула в Бийск, обозвали «шпаками», остригли наголо, трижды сводили в баню, одели, обули, накормили, и тем, что на фронте кончилось затишье.

3

— Второе отделение, за-апрягайся!.. — скомандовал лейтенант Жежеря.

Мы, второе отделение, запряглись. А первое отделение, утираясь взмокшими пилотками, надсадно дыша, отправилось в общий строй.

— Взвод, шаго-ом марш!

Ать-два.

Солнце палило, зависнув прямо над головой и вроде бы не имея никакого намерения уклониться в сторону. Ни хмарки не было в синем небе. Проселочная дорога, расчерченная закаменевшими от жары колеями, вся покрыта сухим глинистым порошком — от каждого шага порошок взмывается клубами, едко щиплет глаза, пробками забивает ноздри. Добро хоть, наша упряжка двигалась впереди взвода, и мы дышали той пылью, которую поднимали собственными подошвами. А остальным, тем, которые маршировали следом, — им приходилось пережевывать и свою пыль, и нашу. Зато они шагали налегке.

Ничего, вот дотянем километр — это, надо полагать, у той рощицы — и раздастся команда: «Третье отделение, запряга-айсь!»

Мы везли пушку.

Хотя мы и были еще в карантине, новым набором, однако начальство решило, что пора приобщать нас не только к шагистике, но и к главному — к артиллерийской профессии, ради которой нас и взяли в спецшколу.

И вот мы двинулись на учение.

Вообще, как нам было известно, в обычных условиях пушки на себе таскать не положено. Для этого существует механическая либо конная тяга. Но механической тяги в нашей спецшколе не было, даже какого-нибудь прохудившегося грузовичка не было. А всех лошадей, которые раньше имелись, недавно особым распоряжением мобилизовали на фронт. И никакой другой тяги не осталось, кроме своей собственной, — впрягайся и тяни, да гляди не пикни от натуги.

И мы тянули, спереди задрав лафет, а сзади подталкивая щит.

То, что лошадей не было, нас, конечно, огорчало, хотя и не все из нас имели привычку обращаться с лошадьми.

Но гораздо больше огорчало нас то, что пушка, которую мы волокли на себе, была ненастоящей. Точнее, это была семидесятишестимиллиметровая дивизионная пушка образца девятьсот второго дробь тридцатого года. И когда-то она была настоящей. Вероятно, она даже участвовала в боях, и ее заряжали боевыми зарядами, и она стреляла по врагу.

Но потом эту пушку списали, предназначили для учебных целей, а чтоб кому-нибудь не пришло на ум снова выстрелить из нее, в казенной части и в стволе просверлили дыры. Да и снарядов к этой пушке все равно не было, так что стрелять было нечем.

Вот это нас и удручало, и тяготило гораздо больше, чем сама тяжесть орудия. Надоели детские игрушки.

На шестом километре от города лейтенант Жежеря выбрал огневую позицию.

Мы развернули пушку стволом вперед и уселись на траву слушать первоначальные объяснения.

Лейтенант Жежеря свое дело знал. Он лишь несколько месяцев, как по ранению оказался в Бийске, где его подлатали в госпитале и направили взводным в спецшколу. Большинство командиров, как выяснилось вскоре, именно таким образом оказывались в нашей спецшколе и задерживались тут дольше либо короче — в зависимости от состояния здоровья после ранения. Но артиллерийское дело лейтенант Жежеря знал хорошо, знал не понаслышке, а по боевому опыту.

И мы, хоть и новый набор, оказались в учении не последними придурками — мы схватывали на лету его объяснения, редко переспрашивали и вот уже сами, когда он указывал пальцем, приткно вскакивали с места и бойко, без запинки, отвечали на заданный вопрос.

Лейтенант был доволен. И на исходе второго часа, оправив портулею, зычно скомандовал:

— Расче-от, к бою!

Юрка Садков преник глазом к окуляру панорамы, Ваня Подобных ухватился за правило лафета. Я стягивал чехол с замковой части.

Лейтенант Жежеря, вынув из кармана галифе большие «Кировские» часы, следил за секундной стрелкой.

Целью, которую он выбрал, был едва заметный овражек на пригорке, отороченный серой щеточкой полыни, сразу и не угадаешь, что овражек. Но лейтенант нам объяснил, что разведка доложила точно: овражек, а в том овражке — пулеметное гнездо противника. Нужно подавить гнездо. Но прямой наводкой его не подавишь. И командир указал точку наводки — одиноко стоящее сухое дерево в стороне от овражка. Там действительно стояло дерево — одинокое и сухое. Его-то и следовало держать в перекрестье прицела, чтобы снаряд угодил прямо в овражек.

— Отражатель ноль... Угломер тридцать ноль-ноль... Прицел двадцать шесть...

Юрка Садков, не отрываясь от окуляра, самозабвенно вращал маховик, будто всю свою жизнь только этим и занимался.

Ствол орудия, чуткий, как хобот, приподнялся немного, понюхал воздух, двинулся влево.

— Гранатой, взрыватель осколочный!.. — командовал лейтенант Жежеря.

Заряжающий, которого я еще не знал по имени, бросился ко мне от воображаемого зарядного ящика, неся на руках, как дитя, воображаемый снаряд.

Я нажал рукоять, потянул на себя затвор — сверкнула ребристая нарезка поршня, неуютным холодком повеяло из патронника. Там. Заперто. Готово.

— Готово!

— Ор-р-рудие...

Лейтенант Жежеря поднес к глазам бинокль, поднял руку.

Ну, вот сейчас. Сейчас мы дадим жару тем, которые в овражке, с пулеметом.

— Отставить! — приказывает лейтенант.

Он терпеливо объясняет нам, что так, а что не так, и еще приводит в доказательство свои «Кировские» на цепочке: медленно, хлопцы, медленно...

Расчет меняется. И те не лучше нас. К орудию спешит третий расчет. Потом снова мы.

— Левее ноль-ноль восемь... Гранатой... Отставить!

В душе моей понемногу закипает злость, хотя на командира сердиться и не положено. Ведь если бы не эти бесконечные «Отставить!», я уверен, там, на пригорке, где серая щеточка полыни хитро маскирует овражек, левее одиноко стоящего сухого дерева, там сейчас после команды «Огонь!» рвануло бы огнем и дымом, взметнулся бы пыльный столб, взлетел бы вверх тормашками фашистский пулемет, все, что от него осталось...

Я совершенно в этом уверен.

В пылу учения мы совсем позабыли, что наша пушка не способна стрелять, у нее дыря в стволе и в казенной части. У нас нет снарядов в зарядном ящике и самого зарядного ящика тоже нет. А там, в овражке, левее одиноко и печально стоящего сухого дерева, нет пулеметного гнезда. Ничего нет. Учение.

— Отставить, — командует лейтенант Жежеря и весьма озабоченно смотрит на свои «Кировские». Кажется, конец и сегодняшнему нашему учению. Скрюченным пальцем — не шибко по-воен-

ному — наш командир поманил к себе Юрку Садкова и отошел с ним в сторонку. Вообще он с первых же дней после прибытия нового набора выделял Юрку: ставил его в пример другим на строевой подготовке, а сегодня поставил наводчиком в оружейном расчете, а сейчас вот подозвал к себе, отошел с ним в сторонку и затеял с ним какой-то секретный разговор... Как бы наш Юрка Садков не зазнался от всех этих высоких отличий.

Впоследствии Юрка пересказал мне этот секретный разговор между ним и лейтенантом Жежерей. Не потому пересказал, что не умел держать секретов, а потому, что пришлось ему кое в чем оправдываться передо мной, перед Иваном Подобных — перед старыми своими барнаульскими друзьями, которые вместе кидали жребий. Так вот, лейтенант Жежеря сказал ему: «Послушай, Садков. Я буду говорить с тобой как артиллерист с артиллеристом. Тут, понимаешь ли, неподалеку отсюда живет одна моя знакомая. Я обещал к ней сегодня зайти. А на кой мне ляд с волокушей моей — он похлопал себя по раненой ноге, — шесть километров топтать до нашего расположения, а потом еще шесть обратно... Вот какие дела. Садков. Даю тебе задание: сейчас я уйду, а ты построишь взвод и отведешь его до спецшколы. И пушку, конечно. А там объяснишь, если надо, что лейтенант Жежеря пошел делать укол. Я после госпиталя еще уколы делаю... Но чтоб, Садков, до самого расположения — походным строем. И чтобы с песней! Задача ясна, Садков?» — «Так точно! — ответил Юрка, вытянувшись в струнку и вскинув ладонь к пилотке. — Есть, товарищ лейтенант!»

— Выполняйте, — уже погромче, чтобы мы все слышали, приказал лейтенант Жежеря.

И заковылял, припадая на раненую ногу, в сторону одиноко и печально стоящего сухого дерева.

Юрка выждал, покуда он удалится на почтительное расстояние, а потом, солидно откашлявшись, объявил:

— Мне приказано вести взвод в расположение... Ста-ановись!

Ребята не очень охотно и не слишком поспешая, стали разбираться по своим местам. Все-таки многим не понравилось, что Юрку Садкова вдруг ни с того ни с сего назначили командовать. Кто он такой? Почему его? Ведь он, как и все остальные, без году неделя в спецшколе, новый набор. А командует... Не иначе зазнался. Юрка Садков понял, что ребятам не очень понравилось это его неожидан-

ное возвышение, и, чтобы сгладить недовольство, чтобы никто не подумал, будто он зазнался, сказал, когда все построились:

— Можно идти не в ногу. Дорога трудная, далеко... А там, возле спецшколы, пойдем в ногу. Ладно?

— Ладно... — согласились мы. Простили Юрке его зазнайство.

Но тут местные ребята, бийчане, которым подвалило счастье, что именно в Бийск, а не в какой-нибудь другой укромный городишко эвакуировали московскую спецшколу, и они прямо тут в нее поступили, — эти ребята сказали, что есть, оказывается, другая дорога отсюда до расположения, гораздо короче, не шесть километров, а три с половиной. Они знали об этом и на пути сюда, но не смели соваться с непрошеными советами к лейтенанту Жежере — может, он нарочно, для походной закалки, выбрал дорогу подлиннее.

А к Юрке Садкову они тут же, конечно, сунулись:

— Не туда, а вон туда. Под горку...

— Мимо совхоза «Витамин».

— Через час дома будем!

Юрка для важности сделал вид, что размышляет, но согласился:

— Ближе — это хорошо. Через час — это хорошо, раньше к обеду поспеем... Первое отделение, за-апря-гайсь! — приказал он, исправно подражая лейтенанту Жежере.

Ишь ты какой. Шибко военный.

Первое отделение запряглось. Остальные построились. Шагом марш. Ать-два.

Орудие само катилось под горку, его уже не толкали натужно, а едва удерживали за лафет. И пеший ход под эту горку, после серьезного учения, ближе к обеду, был легкий и отраден.

К тому же в небе появились пышные кучевые облака, и солнце немного остудилось за ними.

По обе стороны дороги, которой мы двигались, стеной стояли подсолнухи, обратив свои забавные лики, как и положено, в одну сторону, к солнцу — будто солнце, их высокое начальство, скомандовало: «Смирно, равнение на меня!» — и они целый день стояли смирно, провожая глазами начальство. Но подсолнухи эти были еще незрелые, так, одни цветы, в них еще не вызрели семечки, и мы совершенно спокойно прошли мимо них.

За подсолнухами начались помидоры. Убегали вдаль аккуратные рядки остролистых пыльных кустиков. Огромное поле было

сплошь, до самого горизонта, разлиновано этими рядками. Наверное, это были владения совхоза «Витамин», про который говорили бийские ребята. Однако даже отсюда, с дороги, было видно, что под острыми листочками висят совершенно крохотные помидоринки — не больше ореха, вроде виноградин, зеленые и, поди, такие кислые, что от одного их вида терпко сводило скулы. Мы протопали мимо.

Но дальше движение замедлилось. Точнее, оно прекратилось. Все остановились — и второе отделение, которое волокло пушку, сменив первое, и третье, которому еще предстояла эта работа, короче говоря, все остановились, строй нарушился, сломался, перестал быть строем.

— Отставить! — скомандовал Юрка Садков, хотя не всем еще было понятно, что именно следует отставить. — Продолжать движение! Взво-од...

Однако эта команда возымела совершенно обратное действие.

Весь взвод (не исключая меня) ринулся, как саранча, на поле.

Это была огуречная плантация. Тут росли огурцы. И у самой обочины, и дальше, и еще дальше — повсюду были огурцы. Одни огурцы. Целое поле огурцов без конца и без края. Ровное место, сплошь покрытое огурцами. Лишь в отдалении, посреди огурцов, стояла какая-то утлая сараюшка.

И это были настоящие огурцы, готовые к употреблению. То есть они были еще не очень большие, а так, с ладонь, но ведь всем известно, что именно вот такие молодые огурцы, длиною с ладонь, всего свежее и всего вкуснее. А я, например, не ел и даже не видел огурцов с довоенных времен.

Вот они: под широкими шершавыми листьями, подле ежастых стеблей, ладные, заостренные с концов, пупырчатые, с оранжевыми хвостиками — затаились, спрятались, как прячутся у берега реки, под листьями кувшинок, хитрые и юркие окуньки...

Началась ловля. Началось поедание.

Мы на карачках расползались по бахче. Хрумкали на зубах огурцы.

Тут, как я полагаю, было немало уважительных причин.

Во-первых, все мы страшно оголодали за войну, оголодали настолько, что невозможно было насытить нас за короткое время, вот тебе ши да каша, завтра опять — для этого понадобились бы целые го-

ды нормальной жратвы, чтобы брюхо забыло чувство постоянного неутолимого голода и благодушно успокоилось. Во-вторых, был предобеденный час, завтрак уже позабыт, а между завтраком и обедом мы отмахали по жаре десяток километров и еще волокли на себе стопудовую пушку — тут и лошади проголодались бы, не то что человеки. В-третьих, хоть нам и давали каждый день щи да кашу, но в этой пище не хватало витаминов, которые совершенно необходимы для организма, не хватало свежей зелени, а здесь как раз была свежая зелень, молодые огурцы, сплошные витамины, не зря ведь пригородный совхоз и назывался «Витамин». А кроме всего прочего, нас обуюл охотничий азарт, который даже в мирное время заставляет вполне накормленных и сытых пацанов лазать через заборы по чужим садам и огородам, объедаться гороховыми стручками, околачивать недозрелые груши.

Мы жадно поедали огурцы. Срывали, отирали рукавами горькую пыльцу, вонзали зубы в прохладное нутро, хрустели и чавкали. Жалко, что соли не было. Без соли огурец теряет половину своего вкуса. Кабы знать заранее, можно было бы захватить из столовой, в тряпиче, крупитчатой серой соли. А без соли много ли съешь?.. Вон уж некоторые из догадливых ребят прекратили еду и стали набивать огурцами карманы, а другие, расстегнув воротники, заполняли пазухи.

— Полундра!..

Мы вскинули головы.

От сараюшки, что на самом краю бахчи, стремительно приближалась опасность, которой мы заранее не предусмотрели и только сейчас заметили.

Опасность была серьезной.

Дедуля сторож бежал на нас с вилами. Бежал он довольно прытко, хотя и дедуля, хотя и с бородой, а вилы его блестели на солнце отточенными зубьями.

— Сторож!.. Атас, хлопцы!

Хлопцы бросились врассыпную. Сработала привычка, знакомая всем, кто лазал по чужим заборам, рвал стручки и околачивал груши. Врассыпную! Да побыстрее. Да не оглядывайся...

— Стой!

Меня ухватила за шиворот цепкая рука.

Это был Юрка Садков. Глаза его тоже были круглы от испуга, но испуг был другой, еще хуже.

— Стой, говорю! — выдохнул он мне в лицо.

— Что?

— Пушка...

На дороге, на краю бахчи, сиротливо и обреченно стояла наша царь-пушка образца девятьсот второго дробь тридцатого года. Мы как-то позабыли о ней, увлеченные охотой за огурцами. Мы забыли о ней, спасаясь бегством.

— Стой! — Юрка хватал за что попало удирающих хлопцев. — Пушка...

Ему удалось задержать еще кое-кого. Мы побежали обратно к орудию. Рядом со мною пыхтел, работая локтями, Ваня Подобных.

Все это произошло в несколько мгновений. Но мгновения были проиграны. Это стало ясно, когда мы достигли пушки.

Дедуля уже находился в непосредственной близости, в сотне шагов. Он, приободренный всеобщим бегством, продолжал стремительную атаку, и страшные зубья вил были нацелены на нас.

Теперь, с этой тяжелой пушкой, не оставалось надежды удрать. Мы стояли, надрывно дыша.

— Ор-р-рудие, к бою! — закричал вдруг Юрка Садков.

Мы кинулись к лафету, еще не сообразив, что к чему, а просто повинувшись решительной и отчаянной команде.

Орудие развернулось хоботом на огуречное поле.

— Зар-ряжай! Прицел восемнадцать, буссоль тридцать... — орал не своим голосом Юрка.

Дед запнулся на бегу, остановился, замер.

— Угломер шестьдесят два, отражатель ноль, прямой наводкой!..

Мы старательно и вразной выполняли эти бессмысленные команды, вертели все колеса и барабаны, какие были на замке, и пушечный ствол ошалело нюхал воздух.

Я выглянул из-за щита.

Сторож бросил вилы, повернулся и побежал вспять с той же прытью, с какой только что вел преследование.

— По движущейся цели! — войдя в раж, убедившись, что обстановка изменилась, выкрикивал дурацкие команды Юрка Садков. — Упреждение ноль... Бронебойным... Кар-речью!..

Дедуля шмякнулся наземь, накрыл голову подолом фуфайки, пополз по-пластунски, хоронясь в приземистой огуречной ботве.

Ведь он не знал, что пушка у нас ненастоящая, дырчатая, из которой стрелять невозможно. Что никаких снарядов у нас нет.

И что стрелять мы все равно куда не умеем. Ничего этого он, конечно, не знал и потому напугался до смерти. Вот он вскочил, попетлял, как заяц, миновал свою сараюшку и скрылся из виду. Кто-то пронзительно свистнул вослед, кто-то хохотнул, кто-то подхватил этот смех, и вот уже все мы, сколько было нас возле пушки, залились дружным хохотом. Теперь возвращались и те ребята, которые успели дать деру подальше, они незаметно втирались в нашу кучу и тоже как ни в чем не бывало хохотали взахлеб. Ну и ну! Вот так мы! Дали жару. Нас соплей не перешибешь. А Юрка-то, Юрка — молодец, а?..

Юрка Садков хохотал вместе со всеми.

Но постепенно этот смех умолк, сменившись неловким и тягостным молчанием. Избегали смотреть друг другу в глаза. Некоторые стали выворачивать карманы да пазухи, кидать огурцы обратно в ботву. Старательно отряхали от земли колени и задницы.

Страх улетучился, веселье иссякло, остался стыд. Ведь мы понимали, что дедуля неспроста кинулся на нас со своими вилами. Он бдительно сторожил эти совхозные огурцы, он отвечал за них головой по законам военного времени, может быть, они были считанными, эти огурцы, все до единого, а теперь наведут пересчет... Да и в огурцах ли дело? Дело совсем не в огурцах.

— Ста-но-вись! — глухо скомандовал Юрка, тоже пряча глаза.

Но никто не спешил становиться, никто не трогался с места. Только Ваня Подобных тронулся с места.

Он подошел к Юрке и, не сказав ни слова, выбросил вперед свой увесистый кулак.

Юрка упал. Ваня так же молча повернулся и отошел. Юрка поднялся. Сплюнул: кровь из разбитых десен вмиг загустела темным кругляшком в пыли.

— Шта-но-вишь! — повторил команду Юрка Садков.

Мы построились.

— Третье отделение, жа-апрягайшь!

Третье отделение запряглось.

— Шагом марш...

Ать-два.

Солнце исчезло совсем. Кучевые облака, сомкнувшись, образовали тяжелые сивые тучи, и можно было предположить, что в конце пути нас обольет дождь.

Я размышлял по пути о случившемся, и мои размышления были горьки, как вкус огуречной кожуры, оставшийся на языке.

За все случившееся, по моим прикидкам, если об этом узнают, нам полагался бы штрафной батальон. Не отчисление из спецшколы, не гауптвахта, не наряд вне очереди, а именно штрафной батальон. Обворовали государственный совхоз — ать. Позорно бежали, бросив оружие, — два. Застрашали до полусмерти дедулю — три. Подрались с командиром, хоть и липовым, хоть и своим же дружкой Юркой Садковым — четыре. И если никто об этом не доложит, не наступит, скроет случившееся от начальства — вот это и будет самое пять.

Штрафной батальон, никак не меньше.

Однако до штрафного батальона мы еще тоже, наверное, не доросли.

А вон и ворота спецшколы.

— Пешню! — скомандовал Юрка. — Жа-апевай!..

Мы запели.

4

«Поймите одно: что бы ни случилось, а первого сентября — за парты. Иначе не бывает...»

Кажется, так говорил мой друг, ленинградец, круглый отличник Игорь Пиотровский.

Он оказался прав.

Первого сентября мы сели за парты. Как в обыкновенной школе. Правда, тут в учебных помещениях были не парты, а столы, но и они были поверху крашены в черный цвет, а с боков в рыжий, с дырками для чернилниц — те же парты. На стене висела обычная классная доска. Через каждые сорок пять минут звенели обычные школьные звонки.

Все обычное. Разница лишь в том, что на занятия нас водили строем, через Деповскую улицу, с одного соснового островка на другой. Палаточный лагерь к этому времени свернули, мы поселились в бревенчатых казарменных корпусах. Там стояли двухэтажные железные кровати, кому повезло — оказались на втором этаже, остальные — на первом, в жизни не бывает одинакового для всех везения.

Нас водили строем на занятия и обратно дважды в день. С утра были уроки, пять или шесть, а после обеда еще и самоподготовка. То есть гораздо хуже, чем в обыкновенной школе: там ты отучился, отсидел положенное, и дальше уж твое личное дело, твоя охота — сидеть ли дома над учебниками, над тетрадками, готовить уроки назавтра, или ты предпочтешь сходить в кино, покататься на коньках, а решение задачки сдерешь у прилежного товарища. Тут было иначе: после обеда короткий отдых — и опять ведут строем в учебный корпус, сиди сиднем, можешь ковырять в носу, можешь рисовать чертиков, можешь просто мечтать об ужине, но, главное, сиди смиренно.

Конечно, здесь многое отличалось от обычной школы: побудка, зарядка, военные занятия, уборка помещений без помощи уборщиц, учебная тревога, дневальство, вечерняя поверка, отбой — ничего такого в обыкновенной школе не бывает, потому и сама школа называется специальной.

Но все же здесь еще во многом сквозил душок обыкновенной школы, прямо скажем — невоенный душок. Взять хотя бы учебную программу: алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, химия — это имеет самое непосредственное отношение к артиллерийской профессии, без этого не постреляешь. Даже география, даже история — тут еще можно найти применение и смысл. Но литература! «Благословенна будь царица киргиз-кайсацкия орды...» Притом наизусть. А зачем?

Или еще одна нелепость — иностранные языки. Я и в обычной школе, и в специальной учил немецкий. Программа тут была составлена, в общем, правильно: «Хенде хох!.. Зинд зи оберст-лейтенант?.. Во штеет йетцт ир фортрупп?.. Вифиль гешютце хабен зи?» Самый что ни на есть подходящий разговорчик. Но те ребята, которые в обычной школе учили английский язык или французский, они и здесь занимались этими бесполезными для военного времени языками. Как будет по-английски «хенде хох»? Наверняка иначе. И всякий ли немецкий пленный подполковник настолько свободно владеет французским языком, что сможет на допросе толково ответить, где в данный момент находится его часть и сколько при ней орудий?

Этот занудный школьный душок, я думаю, никак не выветрился по той причине, что спецшколы — и артиллерийские, и авиа-

ционные — продолжали оставаться в ведении Наркомпроса. Их причислили к Наркомпросу еще до войны, а потом, когда началась война, забыли передать Наркомату обороны, Ставке Верховного Главнокомандования. Просто забыли, как забыли ввести для нас новую форму с погонами. Забыли, потому что мы оказались в такой жуткой глухомани: Бийск, Тогул, Ойрот-Тура...

По этой же причине начальником нашей артиллерийской спецшколы был совсем невоенный человек, типичный шпак в огромных очках Николай Маркелович Псарев. Ни для кого не было секретом (он и сам не делал из этого секрета), что прежде чем стать начальником артиллерийской спецшколы, он до войны работал в колонии малолетних преступников, может быть, той самой, знаменитой харьковской коммуны, где перевоспитывали уркаганов, учили их делать фотоаппараты, — я не решался его спросить, где именно он работал. Так что мои детские страхи попасть в эту колонию частично оправдались.

Николай Маркелович Псарев был опытным воспитателем — ни одного старшину у нас не боялись так, как боялись Псарева. Но, кроме того, он был очень умелым хозяйственником. Поскольку мы обретались в тылу и о нас все забыли, даже те скудные продовольственные фонды, которые нам полагались, было трудно добыть в натуре. А Николай Маркелович добывал. Еще он наладил связи с бийскими заводами, где не хватало рабочей силы, — и мы по ночам всей спецшколой вкалывали на этих заводах. Мы работали на мясокомбинате — и в столовских котлах появлялись жирные говяжьи кости. Мы разгружали платформы со свеклой на подъездных путях сахарозавода — и потом целый месяц ели духмяную свекольную парёнку. Катали бочки на нефтебазе, а они, эти скользкие черные бочки, вдруг непостижимым способом оборачивались сытной перловкой... Правда, после таких ночей дневальные на побудке срывали голоса и чуть ли не за ноги стаскивали нас с кроватей, а на уроках мы клевали носами, нечаянно всхрапывали, но снабжение школы продовольствием благодаря Николаю Маркеловичу было надежным.

Впоследствии, когда о нас наконец-то вспомнили — когда мы перестали быть потешным войском Наркомпроса, а сделались настоящими военными людьми, Николая Маркеловича Псарева отозвали на прежнюю работу, к уркаганам. Вместо него начальником

училища стал заслуженный боевой командир. Но это случилось позднее.

А пока были и другие острые затруднения с командным составом. На всю спецшколу — неполный десяток кадровых военных, неполный еще и потому, что все они, без исключения, были покалечены, изранены на фронте: у одного не было руки, как у гвардии старшего лейтенанта Васильева, у другого нога-волокуша, у третьего черная повязка на глазу, а у четвертого перебит позвоночник, и он ходит в гипсовом корсете, не сгибаясь, не поворачивая шею.

Поэтому на должности командиров иногда назначали обыкновенных преподавателей, учителей. Людей невоенных или полувоенных.

И когда мы сделались третьей батареей — а это произошло тоже первого сентября, — нашим командиром батареи оказался преподаватель истории, капитан Евграфов. Прозвище — Граф.

Александр Павлович Евграфов. Довольно-таки пожилой, но хорошо сохранившийся мужчина. Будь он менее пожилым, его бы отправили на фронт, не держали тут. Просто он хорошо сохранился. Он называл себя капитаном, носил капитанские погоны. Однако ходили слухи, что у него на это не было законного права, нет у него такого звания. Что в армии он никогда не служил.

Лично я в эти слухи не верил. Как это не служил в армии, если все здоровые мужчины, раньше или позже, но обязаны служить в армии? И если бы он не служил в армии, откуда б взялась у него такая молодцеватая выправка: подбородок вздернут, грудь колесом, кисть руки привычно, с изысканной небрежностью касается козырька фуражки... А команды? Разве мог бы обыкновенный учитель истории, никогда прежде не служивший в армии, подавать команды таким уверенным, зычным, пронзительным тенорком:

— Бат-тарея, смирно! Равнение на середину! Товарищи офицеры...

«Офицеры». Это слово он произносил с особенным вкусом и удовольствием. А ведь само это слово появилось в обиходе совсем недавно. Я даже не знаю, был ли в газетах напечатан какой-нибудь указ, чтобы впредь командиров Красной Армии называть «офицерами». Сам я такого указа не читал, хотя и внимательно просматривал газеты в нашей читалке. Может быть, я все-таки пропустил один номер, а там и было. Но теперь везде и повсюду командиров

величали «офицерами». И на вечерней поверке, когда взводам отдавалась команда «смирно!», следовало еще особое обращение к командирам взводов: «Товарищи офицеры...»

Слово это было непривычно слуху. Оно удивляло, даже пугало. Но, чего там скрывать, нравилось. Ведь и нам в недалеком будущем предстояло стать командирами, значит, и к нам будут обращаться с этими лестными и звучными словами: «Товарищи офицеры».

Тем не менее даже некоторым офицерам это слово не сразу пришлось по душе.

Однажды наш командир взвода лейтенант Жежеря явился в расположение чуть навеселе. То есть от него пахло водкой, и он приволакивал не только раненую ногу, но и другую тоже. Капитан Евграфов сдержанно и тихо посоветовал ему пойти отоспаться как следует — очень тихо и сдержанно посоветовал, но некоторые из нас при этом были рядом, — еще добавил, что офицеру негоже являться в таком виде и что он говорит это как офицер офицеру.

Лейтенант Жежеря ушел, но к вечеру явился снова. Кажется, он пренебрег советом Графа, не отоспался как следует, а наоборот — еще добавил с обиды. Правда, в расположение он не торкнулся, а лишь встал за решетчатым забором и с улицы, сквозь решетку, произнес речь:

— Ах-вицеры... видали мы таких ахвицеров! Видали мы таких капитанов... штабс-капитанов! Видали мы вас, голубчиков...

Уж не знаю, каких голубчиков и штабс-капитанов видал наш командир взвода, может, ему причудилось, но, слава богу, сам капитан Евграфов этой речи не слышал, а мы никому не сказали. Молчок. Обошлось.

Александр Павлович преподавал историю. Излагал ее он очень интересно, гораздо занятнее, чем в учебнике. Особенно увлекался он, говоря о Наполеоне, о Бонапарте. Мы уже прошли Наполеона, покончили с этим, двинулись дальше, вступили в Священный союз, но Александр Павлович то и дело возвращался к Наполеону, рассказывал о нем все новые и новые чудеса, и было нетрудно догадаться, что Бонапарт для него — самая любимая и самая великая личность в истории. Единственное, за что Граф бранил Наполеона, так это за его поход на Россию. Тут Александр Павлович безоговорочно и резко осуждал Бонапарта, признавал его роковую ошибку. Но потом, в течение Ста дней, он опять был целиком и полностью

на стороне Наполеона, а вычерчивая на доске диспозицию при Ватерлоо, сердито и ожесточенно стучал мелом по тому флангу, куда в решающий момент должен был вонзиться со своей конницей маршал Груши, да припоздал, черт его дери...

И тут вдруг поднял руку Ваня Подобных. Мы все удивились, оторопели. Наш Ваня Подобных никогда не лез с протянутой рукой. Он был настолько молчалив, что даже, когда его вызывали отвечать урок, то каждое слово из него приходилось вытягивать клещами. А тут вдруг сам поднял руку, сам поднялся с места:

— Я так понимаю... Бонапарт был предатель. Революция его человеком сделала, генералом сделала. А он ее предал. Объявился императором... Надо было ему за это башку отрубить, как Людовику. Тогда бы он и не совершал роковых ошибок. Я так понимаю.

И сел.

— Встать! — взвизгнул Граф. Лицо его пылало гневом. — Два наряда вне очереди. На кухне!.. А теперь садитесь, Подобных.

Ну, два наряда вне очереди — это еще не самая страшная кара. Тем более на кухне, где можно кой чем и поживиться, скребя котлы. Это не без башки остаться. Не двойку заполучить в журнал, где у Ивана и так уже красовалась двойка.

Вот ведь какая история. Вот ведь как все усложняется, если учитель истории — он же и командир батареи.

Но нам еще повезло. У нас хоть и командир батареи и командир взвода были мужчинами. А в некоторых взводах из-за нехватки кадровых военных взводными числились учительницы, женщины. Например, командиром соседнего взвода назначили француженку Лурье, которая преподавала французский язык. Она и команды не умела подать толком, приказывала: «Повернитесь направо, пожалуйста... Идите вперед шагом марш». Ребята из этого взвода подыхали со смеху.

Между прочим, француженка Лурье (она тоже была не первой молодости) иногда навевалась в гости к Графу. Сама она жила где-то в городе, снимала там комнату, а капитан Евграфов жил вместе с нами в казарме — у него была конурка на верхнем этаже, так что при нас он находился безотлучно. И мы находились безотлучно при нем.

Так вот, когда француженка Лурье навевалась в гости к нашему капитану, дневальные от скуки подслушивали под дверь, а

некоторые умудрялись заглянуть в каморку через замочную скважину, — так вот, они божились, эти дневальные, что капитан Еврафов вел беседы с французенкой Лурье на французском языке.

«Марына лён жнэ, пан теля пасэ. Сэмэн дижу прэ, аж уприв».

Начал я, как и положено, с начальства. Теперь о рядовых, которые стояли в одном ряду со мной.

В младшей батарее было сто двадцать человек. Самыми заметными среди них были москвичи — они приехали сюда, в Бийск, прямо из Москвы, с московскими документами, где подтверждалось, что они там, в Москве, прошли все необходимые комиссии, миновали все препоны, получили на руки приказ о зачислении — и вот явились сюда полноправными хозяевами, что, в общем, было справедливо: ведь даже в Бийске наша спецшкола продолжала называться Московской.

Однако среди москвичей были свои особые различия. Они, москвичи, даже именовали себя по-разному: мы — таганские, а вы — бутырские, эти — даниловские, а те — лефортовские, эти вот — марьинские, ну а про тех вон даже сказать нельзя, что москвичи, — они ведь раменские...

Я издавна представлял себе, как огромна Москва, но только тут осознал ее непостижимые масштабы: приехали люди из одного города, а величают себя каждый на свой собственный лад, и дружатся меж собою по землячествам, по уделам, и дерутся меж собой, когда такое случается, удел на удел, стена на стену. Одних лишь раменских, если такое случалось, лупили сообща. А марьинских избегали трогать.

Но вкупе москвичи держали себя гордо, чуть высокомерно — мы не обижались, понимали, что у них есть на то полное право: они — москвичи, и спецшкола Московская, а большинство из нас сроду не видало Москвы.

Самыми незаметными и тихими в батарее были «караси» — так окрестили местных ребят, бийчан, уроженцев Бийска. Хотя спецшкола и обосновалась в родном их городе, но именно им оказалось труднее всего сюда поступить. Едва ли не все мальчишки Бийска, окончившие седьмые классы, подали заявления, чтобы их приняли в Московскую артиллерийскую спецшколу. Поэтому их просивали-провеивали с таким тщанием, отбирали с такой при-

дирчивостью, что лишь немногим из них выпал счастливый жребий. Зато и результаты вскоре обнаружались со всей наглядностью. «Караси» учились прилежнее и лучше всех. Они первыми решали самые сложные задачи по математике, писали самые безошибочные сочинения, на зубок, слово в слово затверживали целые страницы учебников. Преподаватели только руками разводили — и выставляли в журнал пятерки. Мало того. На стрельбах бийчане укладывали пули прямо в «яблочко», они раньше всех прибегали к финишу на пятикилометровке, они безропотнее, чем другие, порожнили выгребные ямы, но при этом умудрялись оставаться самыми тихими и незаметными в батарее. И по-прежнему их называли «карасями» — из тутошнего, дескать, омутка.

Еще были «разные». Это те, которые не из Москвы и не из Бийска, а отовсюду. Из Рязани, из Казани, из Омска, из Томска, из Барнаула, из Янаула, из Ташкента, из Чимкента, из Беломорска, Белорецка и Белозерска.

Среди «разных» надо особо отметить ивановских ребят. Они приехали сюда из города Иваново, а там, в Иваново, они учились в одной школе. Школа была тоже специальная — интернациональная. В ней воспитывались иностранные ребята, дети революционеров-коминтерновцев. Правда, Коминтерн недавно был распущен, но революционеры остались — и дети у них остались. Их отцы и матери сидели в фашистских тюрьмах — не только в Германии, но везде, где хозяйничали фашисты, — скрывались в глубоком подполье, дожидаясь сигнала и часа, храбро партизанили, выполняли особые задания на линии фронта, за линией фронта. Обо всем этом ивановские ребята, конечно, не шибко распространялись. Но когда с такими ребятами трижды в день делишь начетверо одну пайку сырого хлеба, когда еженощно храпишь в два голоса на кровати-биplane, когда вместе выволакиваешь из непролазной грязи застрявшую пушку, — тут поневоле и постепенно кое-что выясняется. А мне ведь, честно говоря, такие вещи были гораздо понятнее, чем иным, у меня был на этот счет свой собственный сокровенный и горький опыт.

Одного из ивановских ребят звали Ким Форкаш. У него были жесткие, вороньего отлива волосы, глаза узкими щелками. Он был корейцем. Отца его казнили японцы еще в тридцать седьмом году, мать замучили, а самого Кима хорошие люди переправили через

Маньчжурию в Советский Союз, и здесь его усыновил венгр по фамилии Форкаш, человек одинокий, ему хотелось иметь сына, воспитывать его. Только начал воспитывать — грянула война, Форкаш получил партийное задание, а Кима устроил в Ивановскую интернациональную школу, — там Ким Форкаш окончил седьмой класс и самостоятельно решил: артиллерия. Отчим изредка присылал ему письма в Бийск — они были не на венгерском, не на корейском, а на русском языке, Ким их показывал мне.

— Он где сейчас, на фронте? — спросил я.

— Нет.

— Неужели там... в Венгрии?

— Нет. Пока нет, — уточнил Ким. — Я думаю, он где-нибудь поблизости, в Сибири. Наверное, он вправляет мозги своим братьям мадьярам, которых занесло на Дон. Прививает им классовое сознание... Форкаш умеет вправлять мозги.

Среди ивановских ребят были также испанские ребята. В том числе Педро Ларра, чернявый, смуглый, бойкий такой парнишечка. Родом из Мадрида. Я вспомнил, что знал уже испанского мальчишку по имени Педро, чернявого и бойкого, из Мадрида родом, с которым мы когда-то сидели у жаркого костра в Лозовеньках и пели песню «Бандьера росса». Правда, он сильно изменился с тех пор — вымахал, отошал, — но ведь сколько времени прошло, все мы вымахали, все отошали.

— Ты был в Лозовеньках? — спросил я его.

— А что такое Лозовеньки? — удивился он. — Это где?

— Это под Харьковом. Там был пионерский лагерь, там жили испанские ребята. А мы приезжали к вам в гости.

— Нет, — покачал он головой. — После Испании нас привезли в Евпаторию, в детский санаторий, потом мы поехали в Москву, а оттуда в Иваново... Я никогда не был в Харькове.

Значит, не тот Педро, другой. Жалко.

Но Педро Ларра уже вцепился в мой рукав:

— Как ты смотришь на футбол? Ты играл?

— Играл немножко. Во дворе.

— Понимаешь, я хочу набрать команду. В Иваново я был центрфорвардом, и мы всем сморкали нос... Ты пойдешь?

— Скоро зима.

— Ничего, будет лето. Сначала — тренировка.

Я подумал, сказал:

— От футбола еще сильнее жрать хочется. Поэтому сейчас никто и не играет.

— Может быть, начальник спецшколы даст нам дополнительное питание? — Педро Ларра лукаво подмигнул мне.

— Ну, если даст — все запишутся. Так что у тебя будет полный выбор, — обнадежил я его.

— Правильно! — рассмеялся чернявый Педро.

Первого сентября лейтенант Жежеря построил взвод и сказал:

— Представляю вам помощника командира взвода, моего самого главного помощника. Фамилия его Ногтев Валентин, из первой батареи. Покажись им, Ногтев.

Из-за спины командира взвода вышагнул его самый главный помощник.

Я обомлел. Всё. Конец.

Это был тот самый парень, с которым мы сцепились в первое же утро по прибытии в Бийск. Который обозвал нас ради смеха «шпаками». Который подкручивал кончики еще не выросших усов. Мы тогда с ним чуть не подрались...

Такой порядок существовал в спецшколе: помощников командиров взводов в младшую батарею назначали из первой, старшей. Чтобы они отрабатывали на нас командирские навыки. Только в часы общеобразовательной подготовки они сидели в своих старших классах и добивали там школьную премудрость. А все остальное время, день и ночь — сутки прочь, они безотлучно находились при нас, повелевали нами. Водили строй, отдавали приказы, вместе с нами ели, среди нас спали, поучали, наказывали, миловали. Можно было укрыться от любого командирского ока, кроме недреманных очей помкомвзвода. Страшная сила, необъятная власть.

И вот угодно же было судьбе подшутить столь жестоко, что некто иной, а именно Валентин Ногтев из первой батареи обрел эту власть над нами.

Я незаметно ткнул в бок Юрку Садкова, стоявшего со мной рядом, и Юрка испустил такой тяжкий вздох, будто последний... Я покосился направо: губы Вани Подобных кривила последняя всепрощающая обреченная слабая улыбка.

Нас было трое. Помните о нас, друзья.

— А теперь, Ногтев, — сказал лейтенант Жежеря, — когда познакомитесь с личным составом, наметь из них командиров отделений. Это я отдаю на твое усмотрение... Присмотришься, значит.

— Разрешите, товарищ лейтенант? — поднес ладонь к козырьку помкомвзвода.

— Что? — не сразу понял лейтенант Жежеря.

— Разрешите присмотреться?

— Ну давай.

Валентин Ногтев подкрутил кончики своих невыросших усов и важной поступью двинулся вдоль строя.

Оставалось надеяться на чудо: что он нас не опознает среди других. Ведь тогда, на передней линейке, мы были еще в штатской одежке, а теперь на нас такая же форма, как на остальных, — все одинаковые; и тогда мы были при зачесах, нас еще не остригли наголо, а когда остригают наголо, очень трудно различить, кто какой человек; и тогда, на передней линейке, прозвучала спасительная команда...

Помкомвзвода Ногтев медленно шел вдоль строя. Глаза его скользили по лицам, в них читалось предвкушение торжества.

Раз! Глаза остро вонзились в Юрку Садкова. Все-таки опознал. Ну да, он ведь тогда пообещал: «Ладно, шпак... Я тебя запомнил». Этот готов. Наповал.

И тотчас глаза переметнулись на меня — ведь мы с Юркой стояли рядом. Два! Я вздрогнул, покачнулся, но устоял.

Он дошел до правого фланга и, покручивая кончики усов, остановился в раздумчивости перед Иваном — тот был выше его на целую голову. Наверное, по росту и узнал. Три!

Помкомвзвода Валентин Ногтев не спеша возвратился к командиру взвода.

— Разрешите, товарищ лейтенант?

— Ну давай, — кивнул лейтенант Жежеря.

— Вот этого, этого и этого... — Он указал пальцем. — Предлагаю командирами отделений.

Спать мне не хотелось.

То есть, наоборот, мне так хотелось спать, что я боялся: вот повалюсь на этот дощатый топчан, растянувшийся во всю длину ка-

раульного помещения, на котором дружно храпели только что сменившиеся часовые, — повалюсь и сразу же засну, кану в бездонный омут, и уже меня не добудишься, хоть стреляй над ухом, хоть из пушки пали, ничего не услышу — хр-р... хр-р... фью-у... — и просплю урочный час, самый главный час, час развода.

Нет уж, лучше сидеть, чем лежать. Даже лучше стоять, чем сидеть. А еще лучше — идти, пройтись по холодку. Скажем, проверить посты. Разводящий должен время от времени проверять посты. Убедиться лично, что никто из часовых не нарушает устав караульной службы, согласно которому строго запрещается: спать, сидеть, читать, писать, петь... что еще? Ага... разговаривать, есть, пить, курить, отправлять эти самые надобности, принимать от кого бы то ни было и передавать какие-либо предметы... Кажется, всё? Всё.

С вечера наш взвод заступил в караул, и теперь на целые сутки спецшкола была под нашим неусыпным бдением и охраной. Начальник караула — лейтенант Жежеря, помощник начальника караула — Валентин Ногтев, а я разводящий.

Третий час ночи.

Только что я сменил часовых, привел в караулку ребят, отстоявших на своих постах положенные два часа, — они тотчас повалились на жесткий топчан и заснули, даже не сняв шинелей, лишь составив в пирамиду винтовки; а там, в холодной и темной осенней ночи, новая смена топочет на месте башмаками, считает в уме до миллиона, мечтает об этом жестком топчане, не забывая, конечно, зорко и внимательно следить за окружающей местностью.

Это дело нешуточное, караульная служба. Даже в мирное время ее несут по-боевому. Однажды стоял часовой на посту, а в казарме начался пожар, впопыхах его забыли снять с поста, а сам он не имел права покинуть пост ни при каких обстоятельствах, — и он заживо сгорел на своем посту, этот стойкий и верный долгу часовой, а было мирное время. О нем уже много лет рассказывают всем новобранцам Красной Армии, ставят его в пример, объясняя устав караульной службы, нам тоже рассказывали.

А сейчас военное время.

В окрестностях города Бийска пошаливают бандиты. Говорят — дезертиры, сбежавшие с фронта и укрывшиеся в горах у Чуйского тракта. По ночам они выбираются из своих нор, напада-

ют на грузовые машины, которые идут в Ойрот-Туру и в Монголию, убивают шоферов, уходят с добычей в горы. А самые отчаянные даже проникают в город, залезают в спящие дома, грабят, убивают всех, кто попался под руку.

Этой осенью наша спецшкола уже не раз получала приказ: походным маршем, с оружием и полной выкладкой идти за речку Бию вдоль Чуйского тракта, километров за двадцать—тридцать. А по дороге — таков был приказ — петь песни как можно громче и веселее. Чтоб дезертиры слышали и знали: Красная Армия здесь, вот она идет походным маршем по Чуйскому тракту: рота за ротой, батальон за батальоном. Чтобы они не смели вылезать из своих бандитских нор.

А нас всего и было три батареи. Мы маршировали и пели, неся на плечах незаряженные винтовки.

Прошлой ночью в бийском Заречье вырезали целую семью. Я пошел проверять посты.

— Стой! Кто идет?

— Разводящий Рымарев.

— Разводящий — ко мне, остальные — на месте!

Хотя и было темно, непроглядно, да еще сырой туман, Олег Афонин, наверное, мог различить, что я один, что никаких остальных со мною нет, однако часовому запрещено подпускать к себе кого-либо, кроме начальника караула, помощника и разводящего. И Олег Афонин ответил правильно, по уставу: «Разводящий — ко мне, остальные — на месте!»

А я тоже, согласно уставу, осветил карманным фонариком свое обличье — пусть убедится, что это я и есть, разводящий.

— Порядок? — осведомился я.

— Порядок.

Олег Афонин (он был москвичом, и не с Таганки и не с Бутырки, а, как утверждал он, прямо с улицы Горького) охранял пост номер пять, склад вещевого довольствия. Пудовый замок висел на двери склада, а сверх замка — сургучная печать. Контрольный слепок печати лежал у меня в кармане, но я не стал проверять: видно и так, что порядок.

— Сколько еще стоять? — спросил часовой.

Все часовые, даже если они только что заступили, не упустят случая спросить: сколько еще стоять? Но и я не мог упустить тако-

го случая. Я вынул из кармана большие наручные часы и осветил циферблат карманным фонариком.

— Еще час двадцать.

Это были не мои часы — казенные, специально для разводящих, — однако это были первые в моей жизни часы, которые хоть на некий час я имел право вынимать из своего кармана и прятать в собственный карман. Отличные часы, «Кировские», как у лейтенанта Жежери.

Пост номер четыре — у пустой конюшни — охранял Педро Ларра. Он тоже поинтересовался, сколько еще стоять.

Я пересек безлюдную спящую Деповскую улицу.

У ворот учебного корпуса скукожилась на холоде маленькая фигурка в длиннополой, до пят, шинели. Острый винтовочный штык маячил над нею. Пост номер три. Миша Войтин.

— Стой, кто идет? — пискнул он.

Мы объяснились.

Миша Войтин теперь был в моем отделении. Наградила меня судьба. Уж не знаю, сколько дней подряд мучился я с ним на плацу, стараясь научить его маршировать, как положено, как все спокон веков маршируют: чтобы правая нога вскидывалась вместе с левой рукой, а левая нога — с правой. Терпеливо объяснял на словах, показывал на личном примере, становился с ним рядом, нога к ноге, рука к руке, ну, вместе — «Шаго-ом марш!» — и все равно он выкидывал одновременно правую ногу и правую руку. А ведь только что, когда я ему объяснял на словах и показывал лично, Миша Войтин понимающе кивал головой, соглашался, да и чего тут было не понимать?..

Однажды за этим невеселым занятием на плацу нас застал капитан Евграфов. Он со стороны наблюдал, как маюсь я, как мается Миша Войтин, а потом подозвал меня к себе и сказал негромко, спокойно: «Зря стараетесь, Рымарев. Ничего не выйдет, ничего-с... Это у него врожденное. Иноходь. Видите ли, есть такие лошади, ино-ход-цы. Одновременный вынос правых ног, левых ног. Это даже ценится. Но бывает и у людей. Неисправимый случай... Вот что, послезавтра у нас инспекторский смотр. Приезжает инспектор из Москвы. Так чтоб этого... кажется, Войтин... чтобы в строю его не было. Пусть дневалит, пусть кочегарит, что угодно, но только в строю его быть не должно. Вам ясно? Ступайте».

Смотр прошел блестяще. Нашей, третьей батарее, самой младшей, объявили благодарность.

Но с тех пор Мишу Войтина держали вне строя. Только на занятия и в столовую, когда не соблюдалось особого парада, он шагал вместе с нами замыкающим, старательно выкидывая правую ногу с правой, рукой. А как парад — Миши Войтина нет. Дневалит, кочегарит.

Жалко. Ведь по всем школьным предметам у него были хорошие отметки. И наши ночные каторги — на мясокомбинате, на сахарозаводе — он отработывал, не щадя своих слабых сил. И вот он стоит в карауле у ворот: длинный нос, будто птичий клюв, дергается рывками из стороны в сторону — наблюдает за окружающей местностью. Он даже не спросил меня, как другие, сколько еще стоять.

Пост номер два — у пушки, на часах — Ким Форкаш.

Вот и учебный корпус. Я поднялся по деревянной лестнице с точеными балясинами в актовыв зал. Здесь было натоплено до одури: две печи-голландки, круглые и толстые, как пароходные трубы, выкрашенные серебром, источали жар и вроде бы даже раскаленный свет. Меня сразу прошибло горячим потом, ведь я был в шинели.

А часовой у знамени, рослый бийчанин Федя Комаров, стоял на посту без шинели — не потому, что жарко, а потому, что у знамени полагалось стоять без шинели, пост номер один.

Красное знамя, заправленное в чехол. По бокам от него висели портреты Суворова и Кутузова. Их повесили недавно. Их нарисовал масляными красками самый лучший художник нашей спецшколы Володя Секерин, замечательный художник (у нас тут были свои таланты), — он их срисовал с учебника. Однако в учебнике Суворов и Кутузов были напечатаны черным по белому, а начальник спецшколы распорядился, чтобы непременно в красках. Володя Секерин закручинился: он знал, какими красками изображать лица — он изобразил их в точности, как живые, — но он не знал, какими красками расписывать мундиры, отвороты, кушаки, а главное — он не знал, каким цветом расписывать широкие ленты, которыми оба фельдмаршала были повиты через плечо. Его выручил наш комбат, Александр Павлович Евграфов: «Это орден святого апостола Андрея Первозванного — голубая лента, а это красная — святого Александра Невского, тоже муаровая, с переливчиком...

Георгий Победоносец — оранжевое с черным...» Вот что значит историк! Он смотрел сквозь десятилетия, сквозь столетия назад.

Федя Комаров стоял навтыяжку у знамени, плотно прижав к ноге винтовку. На голове у него была буденовка с острым шишаком и красной звездой, а на плечах — черные погоны, обшитые по краю золотым галуном, красный кант.

И на моей голове была такая же буденовка, и на моих плечах были такие же погоны, только с двумя поперечными лычками.

Теперь и у нас были погоны. Вскоре после того как в Бийск приезжал инспектор из Москвы, нам зачитали перед строем приказ о введении для спецшкол новых знаков различия — погон, а также новой формы одежды. Приказ был подписан самим Сталиным. Мы восторженно закричали «ура!»

Но вот какая вышла заковыка. Погоны нам выдали. А цигейковых шапок-ушанок, которые были предусмотрены новой формой одежды, — шапок не было. Николай Маркелович Псарев, начальник нашей спецшколы, ходил куда надо и ездил куда надо, показывал приказ, показывал подпись под этим приказом, — шапок не было. Тогда он запустил на полный ход, на все обороты свои хозяйственные связи, ведь они уже не раз и не два нас выручали, но и это не помогло, шапок не было. Просто не было шапок, и все. Где их возьмешь, если нет?

Мы надели погоны, а тут задышало холодом сибирское предзимье — и нам выдали со склада суконные шлемы с остроконечными шишаками и матерчатыми звездами, с длинными ушами, сверни-разверни, то есть выдали нам буденовки, в которых с самой революции и гражданской войны ходила походами Красная Армия. Старые, обтерханные, порыжелые буденовки, ношенные-переносенные, но еще носить можно.

И получилась такая картина: на голове — буденовка, а на плечах — погоны.

Между тем с малолетства, с тех пор, как я себя помнил, дело обстояло следующим образом: те, которые в буденовках, — они рубили шашками тех, которые в погонах; а те, что в погонах, — они посекали не жалеючи тех, что в буденовках. В первом же фильме, увиденном мною в жизни, буденовки и погоны рубили друг друга. И в последнем фильме, увиденном перед войной, то же самое. Вопрос был предельно ясен. Если человек в погонах — зна-

чит, руби его. Так нас воспитывали. Мы, наверное, даже рождались на свет в лютой предубежденности против погон. И ругательство «золотопогонник» было хуже матерщины.

Но прошлой зимой в Барнауле, возвращаясь из школы, я впервые увидел не в книжке, не на экране, а живую человека в золотых погонах — он степенно шагал по проспекту Ленина. Это был майор кавалерии, подошвы его сапог впечатывались в скрипучий снег, а шпоры позванивали сосулочным звоном. Он придерживал рукою темляк изогнутой шашки в черных ножнах. Все пуговицы его шинели ловили искры зимнего солнца, и поле погон было залито сверкающим солнцем, а синие просветы на этом поле повторяли синеву небес. Он был молод, светлоус, неотразимо красив. Можно было догадаться, что он лишь сегодня впервые надел эти новые погоны, эту новую форму и вышел во всем новом прогуляться по морозцу.

Сперва неизжитый еще детский инстинкт прижал меня к стенке дома, едва не заставил спрятаться за ближайший угол. Потом я, ступая осторожно и вкрадчиво, начал его преследовать на расстоянии: он направо — и я направо, он остановился — закурил, и я остановился, высморкался, утерся варежкой. Немного осмелел, приблизился, пошел за ним по пятам. Догнал, пристроился сбоку, забежал вперед и оглянулся. Мною владела странная смесь чувств: испуга и восхищения, враждебности и покаяния.

Он все-таки заметил, что я преследую его неотступно — посмотрел на меня в упор, пригладил ус, подмигнул, рассмеялся. Будто бы догадался о всех моих всполошенных чувствах. Будто и ему они были знакомы.

И этот смех прогнал с моей души всякие дурацкие сомнения.

Но вечером, на Девятой Алтайской, меня снова сбил с толку Данила Егорыч, старый хозяин дома, где мы жили. Я рассказал ему о встрече с кавалерийским майором на проспекте Ленина. А он в ответ — несуразицу:

— Теперь, если дело так повернулось, это уж точно — немцев поколотим вчистую. Да.

— Как так? — оторопел я.

— Ну, я насчет погон. Ведь погоны-то раньше были, в ту германскую...

— А что же вы тогда, в ту германскую, не сумели немцев поколотить?

— Всяко было, — смущенно усмехнулся Данила Егорыч. — И мы их поколачивали, и они нас. Только скажу тебе, что армия без погон — не армия.

— А как же Красная Армия без погон белогвардейцев поколотила — они-то ведь в погонах были, деникинцы, колчаковцы?

— Об этом речи нет, — помрачнел Данила Егорыч. — Рано тебе еще об этом.

Ничуть не рано.

Вот стоит на часах у красного знамени мой ровесник Федя Комаров. С винтовкой. На нем буденновский шлем и погоны.

На мне тоже.

Третьего дня я смотался на привокзальный рынок и там сфотографировался у моментального фотографа. За пайку хлеба. Он мне выдал две крохотные фотокарточки, где я был заснят в буденовке со звездой и в новеньких погонах. Одну фотокарточку я послал в Барнаул, маме Гале и Гансу, а другую оставил себе на память.

— Влез. В окно. — Миша Войтин докладывал шепотом, не отводя глаз от домишка, который был первым в череде одинаковых деревянных домишек, пристроившихся к ограде нашей спецшколы.

— Кто? — Я тоже понизил голос до шепота.

— Не знаю. Мужик.

— Когда?

— Минут двадцать. Когда ты ушел.

— Что?..

— Когда вы ушли. Появился, потом залез в окно.

Я, стараясь оставаться спокойным, прикинул в уме обстановку. С одной стороны, Мише Войтину могло померещиться — с недосыпа, с озноба, от одиночества, от чрезмерной бдительности, со страху. Запросто могло померещиться в такой непроглядной тьме. Тем более Мише Войтину, горе ты мое, беда моя... Но, с другой стороны, могло и не померещиться, вправду заметил кого-то. Ведь часовой обязан согласно уставу караульной службы внимательно следить за окружающей местностью. Кто-то посреди ночи влез в окно. А вдруг... Не приведи бог узнать поутру, что под самым бокком артиллерийской спецшколы, на виду часовых и разводящих, бандюги вырезали спящую семью, ограбили дом и ушли безнаказанно.

— Ты точно заметил?

— Так точно.

— А обратно... обратно он не вылезал?

— Никак нет.

Медлить было нельзя. И в подобной ситуации я согласно уставу имел право снять часового с его поста.

— За мной! — шепотом скомандовал я.

Миша Войтин перехватил винтовку на руку, штыком вперед. Согнувшись, крадучись вдоль забора, мы приблизились к дому.

— Здесь, — глазами показал Миша, когда мы очутились под окном.

Я прислушался. В доме было тихо, совсем тихо. Ни шагов, ни голосов, ни шороха, ни звука. И само окно было темным, снулым, беспросветным, беспробудным. Неужели все-таки Мише Войтину померещилось? Вот же странный малый, недотепа...

Чуть привстав, я ощупал наружную створку окна: мне показалось, что она прикрыта неплотно. А ведь на улице холод, не распахнешься, не оставишь нарочно щели — все тепло выдует разом. Да, очень странно, подозрительно даже.

Створка заскрипела, двинулась — я едва успел отдернуть пальцы и присесть на карачки.

Окно отворилось. Из него свесились сапожищи, остро пахнущие мазутом, засучили по стене, ища опоры, выступ — нашли. Поползла вниз стеганая спина телогрейки, от нее тоже пованивало мазутом. Серая кепка...

Мы вцепились в него с двух сторон, оторвали от оконницы, повергли наземь, тяжело навалились — не дали охнуть.

Лучом карманного фонаря я осветил лицо. Мужик. Нет, не мужик, а парнишка — лет шестнадцати или семнадцати, немногим постарше нас. Рот от испуга раззявлен, глаза сожмурены от света. Надо же, еще совсем юнец, еще и в возраст не вошел, сямка, а лазает по ночам в чужие дома, домушник.

— Встать! — приказал я.

Миша Войтин острием штыка сопровождал каждое его движение, когда он поднимался на ноги, когда он потирал зашибленное плечо.

— Давай нож.

— Нету... нет у меня никакого ножа. Хоть общите. — Парень обиженно отвернулся.

— Обыщем, — посулил я. — Выкладывай, что украл.

— Да ничего я...

Лицо парня искривилось, будто он плакать собрался — решил на слезу взять, поганец.

— Выкладывай. Все равно найдем.

— Нате вам!..

Парень злыми рывками вывернул карманы телогрейки, расстегнулся, вывернул еще и карманы пиджака, штанов, все наружу — пусто, ничего в них не было. Куда же, интересно, подевал? Или не споровился, помешали? Значит, вовремя мы сюда подоспели.

— Не брал я ничего... Отпустите, ребята.

— Значит, не брал? А в дом зачем лазил? Вот мы сейчас проверим.

Я прыгнул, ухватился за резной наличник, подтянулся с трудом, еще, еще (ох и скудна же наша кормежка), наконец перевалился грудью туда, внутрь.

— Эй, кто тут есть?

Справа шевельнулось. Я повел фонарик вправо.

В мутном круглом пятне возникла кровать с железной решетчатой спинкой, простыни, грубое одеяло шинельного сукна, под одеялом кто-то сжался в комок.

— Э-эй...

Комок опять шелохнулся, приподнялся, вскинулся. Растерянно и зябко кутаясь в шинельное одеяло, села в кровати девушка, волосы ее были растрепаны во сне, а глаза она загораживала от света голым белым локтем.

— Здравствуйте, — сказал я. — Извините за беспокойство.

— Тише. Чего вы кричите?.. — Она покосилась на дверь, которая вела из этой крохотной комнаты в глубь дома. — Что вам надо? Зачем в окно лезете?

— Я не лезу. Это не я... Тут к вам залез в окно посторонний гражданин. Только что вылез. Нужно выяснить.

— Какой еще гражданин? — Она удивленно повела плечами под одеялом. — Я спала, ничего не слышала. Да выключите же свой фонарь!..

Я выключил. Теперь в темноте я ее почти не различал, одни простыни.

— Значит, вы очень крепко спите. А к вам в окно залез гражданин, мы его задержали. Надо выяснить, что он украл.

Тут она призадумалась, потом вымолвила глухо:

— А что у нас украдешь? У нас нечего красть.

— Как это нечего? Вы поглядите лучше...

Я опять включил карманный фонарик и повел его луч вдоль стен. Стены были голые, белые. Столик, на котором шербатое зеркальце-растопырка: оно ответило мне острым зайчиком. Стул, на стуле брошенное платье, стоптанные туфли подле ножки. Опять железная кровать. На кровати сидит она, плотно укутавшись от холода шинельным одеялом, удерживая его у шеи голой белой рукой.

— А может быть, там? — Я высветил дверь, которая вела в глубь дома. — Туда он не заходил?

— Да не кричите вы... — снова рассердилась она. — Дверь заперта. Я не знаю... Там тоже красть нечего.

Теперь мне все стало ясно. Он залез в дом, а в доме и красть-то нечего — вот и пришлось вылезать обратно с пустыми руками, с пустыми карманами. А мы его все равно цап. Не будешь лазать.

— Ясно, — сказал я, чуть помедлив. — Извините за беспокойство. До свидания.

Ждал, что она хоть улыбнется мне или спасибо скажет. Но она не улыбнулась и ничего мне не сказала. Видно, спросонья перепугалась насмерть.

Я прыгнул. Окно надо мной затворилось с яростным скрипом, клацнул шпингалет.

Миша Войтин по-прежнему держал его на штыке. Но он, как я имел возможность убедиться, был без оружия и драпать вроде бы не собирался. Так что отпадала нужда в конвое.

— Возвращайтесь на пост, — приказал я Мише. И этому тоже: — Пошли.

— Куда? — спросил он. Но перечить не стал, поплелся рядом.

— Куда надо. Разберемся.

— А чего разбираться? — залопотал он жалобно. — Ну чего ты развел шухер? Я здешний, бийский. На Деповской улице живу, тут рядом. Хочешь, зайдем — покажу документы... Брось ты этот шухер. Я из-за тебя на работу могу опоздать, а сейчас за опоздание знаешь что бывает?

— А ты где работаешь?

— Тут рядом, в депо. Кого хочешь спроси — слесарем работаю. Мне еще год до призыва.

Я остановился, посмотрел на него грозно:

— Значит, днем в депо работаешь, а ночью — по чужим окнам? Зачем в окно залез?

Он тоже остановился, виновато опустил голову, но тотчас вскинул ее:

— А ты что, не знаешь еще, зачем к девкам по ночам в окна лазают?

Мне показалось, хотя и было темно, что в глазах его мелькнули насмешливые искорки.

— Неужели не знаешь?..

Только сейчас я вдруг обнаружил, что рукав моей шинели разорван — угластая дырка выше обшлага, лоскут болтается. Видно, зацепился ненароком за какой-нибудь гвоздь или сучок, когда влезал на подоконник или же когда спрыгивал обратно. Ну и лоскут... Придется зашивать, штопать. Однако шинель эта была не первого срока, она мне уже и досталась порядком заштопанная.

— А ты шухер развел, шум поднял, — продолжал корить меня парень в серой кепке. — Вдруг бы мать разбудил? Мать у ней знаешь какая... вытегра!

Нет, все-таки из Миши Войтина никогда не получится настоящий военный человек. И в ногу ходить он не умеет, и на посту ему мерещится. Но если по справедливости, то не мог же он знать, для чего этот парень лезет в чужое окошко. На нем, на парне, ведь не написано и на окошке не написано. Да и темень вокруг кромешная. Часовой обязан следить за окружающей местностью. И это вовсе не выдумка, что прошлой ночью в бийском Заречье бандиты вырезали целую семью.

— Ладно, — сказал я, небрежно сплюнув. — Вали отсюда. И больше не попадайся.

Он, конечно, сразу отвалил: потопал прочь, растворился в темноте: Но секунд через пять оттуда, из темноты, донесся его голос:

— А ты телок. Хоть и в погонах, а телок!

Я рванулся догнать, догнать и выдать ему на прощание, в поучение, в отместку добрый подзатыльник за все, вот за этот разорванный понапрасну рукав шинели, который теперь придется самому штопать.

Но спохватился. Вынул из кармана большие карманные часы, «Кировские», осветил циферблат карманным фонариком. Без десяти четыре. Надо спешить в караульное помещение: скоро нам с Валентином Ногтевым разводить смену.

Нет, вовсе не случайно определили нашей спецшколе место у самого вокзала. Приехали — уехали. Прощай, город Бийск!

Поступило распоряжение о реэвакуации Московской специальной артиллерийской школы в Москву. Я, признаться, никогда прежде и не слышал такого слова: «реэвакуация». Прежде я слышал другое слово: эвакуация, эвакуация, эвакуация...

В ближайшие дни должны были подать эшелон. Занятия продолжались, но ко всем трудам и заботам прибавились еще и сборы в дальний путь. Это ведь не чемоданишко собрать. «Все до последнего гвоздя», — приказал Николай Маркелович Псарев, начальник спецшколы, он был хозяйственный мужик. Заколачивали ящики, оплетали тюки. Постепенно это добро перетаскивали на станцию, чтобы потом было сподручнее и быстрее грузить в вагоны.

И еще одна забота.

Прошел слух о том, что в Москву возьмут не всех. У кого двойки, кто слаб в боевой и политической подготовке, кто бегал в самоволку — тех не возьмут. Что Москва — это Москва, столица, и там не нужно разной шантрапы. Мы, конечно, здорово испугались. И хотя у меня двоек не было, в самоволку я не бегал, как-никак командир отделения, а все же душу холодила оторопь: вдруг не возьмут?.. Другие ребята тоже сильно переживали, особенно те, за кем водились грешки. Но Юрка Садков сказал, что все это чепуха на постном масле, что слух распустило само начальство нарочно, чтоб те, у кого двойки, исправили, чтобы подтянуть дисциплину, чтобы ребята осознали: Москва — это Москва, а возьмут всех.

Он оказался прав. Взяли всех, никого не оставили в Бийске.

Кроме Сереги Шилова из нашей батареи, который умер. Но он был сам виноват в том, что умер. Он сачковал, отлынивал и от занятий, и от работы. Особенно он засачковал, когда нас стали гонять на валку леса, заготавливать дрова. Дело это, конечно, очень тяжелое — валить деревья, обрубать сучья, распиливать и отвозить в расположение на дровнях, в которые мы запрягались вместе мобилизованных лошадей. Тем более ночью: все эти работы мы выполняли в ночное время, чтобы не нарушать учебного плана. И вот когда началась заготовка дров, Серега Шилов засачковал. Он, как мы после узнали, курил махру, в которую подсыпал какое-

то лекарство, сульфидин, что ли, у него сразу подсказывала температура, и его клали в лазарет — неделю полежит, выпустят, а он снова накурится махры с лекарством, опять на градуснике сорок, опять лазарет. Кормежка там нормальная, а вкалывать не надо. Но от этого способа у него началось воспаление мозга, его увезли в городской госпиталь, и там он умер. Мы похоронили его на кладбище, за станцией, чин чинарем, с музыкой и ружейным салютом. Но, в общем, ребята осуждали Серегу Шилова за то, что он умер, потому что он сам был в этом виноват.

И когда наш эшелон тронулся в путь, когда за станцией, на пригорке, открылось кладбище с крестами и звездами, некоторые стали махать руками, кричать: «Привет, Серега!.. Мы в Москву едем. Счастливо оставаться!»

Все-таки мы ожесточились за эти военные годы. Мы даже перестали считать смерть за смерть, если человека не убило, а он сам умер.

Ехали мы быстро. Я сразу понял, чем отличается реэвакуация от эвакуации. Когда эвакуация, то эшелон тащится долгими неделями, окольными путями, стоит на разъездах с ночи до утра и с утра до ночи.

А тут мелькают полустанки.

Но главное, самое главное отличие в том, что впервые за столько лет я ехал не на восток, а на запад. Сколько помню, все время поезда, эшелоны увозили меня на восток, и всегда этот путь был тягостен, горек, уныл. А теперь я впервые в своей жизни ехал на запад, и не куда-нибудь, а в Москву. В Москву, которой я никогда не видел, только в кино и во сне.

На второй день, к вечеру, мы прибыли в Новосибирск.

Капитан Евграфов зазвал меня в уголок теплушки, где байковым одеялом был отгорожен его личный закуток. Он ехал в одном вагоне с нами, в каждом вагоне вместе с ребятами ехало по командиру, чтобы в пути соблюдался отменный порядок.

Комбат вынул из кармана блокнотик и стал в нем что-то быстро писать.

— «...сухой паек... на три дня», — пробормотал он себе под нос и поставил точку. Затем подумал, перечеркнул, исправил: — «на четыре дня».

Роспись.

— Вот, Рымарев, — он вырвал листок из блокнота, сложил, протянул мне. — Отправляйтесь в продавагон, получите. Возьмите с собой вещмешок. И бегом обратно. Никому ни слова.

— Есть!

Я не очень удивился этому поручению. Трижды в день на станциях командиры отделений бегали в продавагон нашего эшелона и получали там жратву на весь личный состав, на всю теплушку — хлеб, копчености, сахар. Ну а кипяток на этих станциях подавался из крана в любом количестве, подставляя котелок либо чайник. Меня лишь то озадачило, что капитан велел получить продукты сразу на четыре дня — неужели впереди, до самой Москвы, больше не будет ни одной остановки? И как я один все это доволоку? Может, кликнуть ребят? Но капитан предупредил: никому ни слова. Что за секретность?

Однако приказы начальства обсуждать не положено.

Я отправился в продавагон.

Старшина-начпрод пробежал глазами записку, ничего не сказал, лишь велел растопырить вещевого мешок и начал туда кидать. Две буханки черного хлеба, шмат копченого мяса, куски колотого сахара. Всё.

Теперь, на обратном пути, я понял, что сухой паек выдан для одного человека. Для кого? И зачем?

Еще издали увидел: подле нашего вагона прогуливаются капитан Евграфов и Миша Войтин. Капитан ему что-то рассказывает увлеченно (должно быть, про Бонапарта), дружески возложив руку на плечо маленького собеседника. Вот новость. Я никогда раньше не замечал, чтобы наш комбат с такой нежностью относился к Мише.

— Товарищ капитан... — начал я докладывать.

Комбат сделал знак перчаткой, остановив мой доклад. Отвел меня в сторону. Достал из кармана плоский пакет, обернутый газетой.

— Вот, Рымарев. Это его документы. Метрика и тому подобное... Отведите его на вокзал. Вручите документы, продукты. И бегом обратно. Никому ни слова. Понятно? Выполняйте.

Мне ничего не было понятно. Ровным счетом ничего. Какие документы? Какой вокзал?

Видимо, капитан Евграфов догадался, что мне непонятно, — по моим глазам, по тому, каким истуканом я стою перед ним.

Он возложил руку на мое плечо, как только что держал ее на плече Миши Войтина.

— Вам все понятно, Рымарев. Он должен остаться на вокзале. Здесь... Он отстал от эшелона. Пошел погулять — и заблудился, отстал от поезда. Это бывает. Ступайте.

Но я продолжал стоять дурак дураком, только моргал глазами.

Как же это Миша Войтин мог пойти погулять на вокзал, не испросив на то разрешения, и тем более заблудиться? Как он мог туда пойти, если он никуда и не пошел — вот он стоит в сторонке. Если бы он отстал от эшелона, ему бы за это потом влетело на всю катушку — суток десять гауптвахты. Но он, слава богу, не рисковал отстать от поезда, поскольку никуда не отлучался от своего вагона. Вот он стоит.

Капитан Евграфов убрал руку с моего плеча, вздохнул, оглянулся, объяснил терпеливо:

— Он должен остаться здесь. Понимаете? Мы с ним обо всем договорились... Никаких претензий к нему не предъявят. В этом пакете все его документы. Держите, Рымарев. И не теряйте времени.

А я стоял с разинутым ртом. Моргал глазами.

— Товарищ командир отделения, выполняйте приказание! — тихо взвизгнул капитан Евграфов и, сунув мне в руки пакет, пошел мимо вагонов.

Еще никогда в жизни мне не было так стыдно.

Даже тогда, в Барнауле, когда, озверев от голодухи, я съел хлебные пайки мамы Гали и Ганса, и мне было, стыдно до слез, до рвоты — даже тогда мне не было так стыдно, как сейчас. Там все-таки на следующий день нам выдали по карточкам очередные пайки, да мы еще с Гансом очень удачно выменяли целый мешок картошки — наелись, поговорили, и ладно.

А сейчас... Я вел Мишу Войтина на вокзал, как на расстрел. Вел на расстрел не врага, а друга. Ни в чем не виноватого, кроме того, что у него правая нога вскидывалась вместе с правой рукой, а левая — с левой. И пусть я был обязан беспрекословно выполнить приказ командира, не смел перечить приказу, на душе у меня от этого не становилось ни легче, ни чище.

Так глубоко, как заноза, воткнулось в душу это жуткое ощущение, что я веду его, Мишу Войтина, на расстрел, что вдруг я поду-

мал: а может, отпустить? Сказать: «Ну, беги...» Но в том-то и была вся очевидная нелепость происходящего, что Миша никуда не хотел бежать, не хотел, чтобы его отпускали, предпочел бы остаться там, где был, в нашей теплушке, но его заставляли силком.

Почему же капитан сам не повел Мишу Войтина на вокзал, раз они обо всем договорились? А о чем они договорились?

Я уж хотел спросить об этом Мишу, но взглянул на него — он покорно и молча, выставив свой длинный нос, шел рядом со мной, — и у меня язык не повернулся спросить.

Так мы и шли — рядом, молча.

Мы шли по мосту, переброшенному через станционные пути.

Уже стемнело. Резкий ветер хлестал по щекам льдистой крупой. Это был еще не снег, не зима, но дуновение близкой зимы.

Сквозь эту секачую заметь я увидел приближающуюся фигуру, которую тотчас опознал. Одна рука плотно прижата к телу по вечной команде «смирно», кожаная рука, а другая, живая, четким отмахом считает шаги. Навстречу нам по путепроводу шел гвардии старший лейтенант Васильев, командир первой батареи. Шел он со стороны вокзала.

Мы оба — и я и Миша — отдали ему честь, как положено.

Он коротко зыркнул на нас, дернув вбок своей бородкой, прошел еще несколько шагов, остановился. Окликнул:

— Стой. Вы куда?

Мы тоже остановились.

Гвардии старший лейтенант ошупывал подозрительным взглядом наши понурые буденовки и особенно туго набитый вещмешок, который я нес в руке. Может быть, он предположил, что мы сэкономили свои сухие пайки или стырили чужие (это случилось) и теперь топаем на базар, чтобы там продать или, скажем, обменять на латунные пуговицы (это тоже случилось).

— Куда путь держите?

Сердце мое вдруг встрепенулось, застучало, исполнилось надежды. Мы ведь знали — вся спецшкола об этом знала, — что гвардии старший лейтенант Васильев — он хотя и самый строгий командир в дивизионе, но самый справедливый командир. Он спрашивал с ребят больше всех, но никогда и никого зря не обижал — сам не обижал и другим не давал в обиду.

«Никому ни слова. Понятно?» — вспомнил я.

Понятно. Мне все понятно. Но вот нас встречает другой командир, хотя и младший на звездочку по званию, и задает мне прямой вопрос: «Куда?» Я просто не имею права ему не отвечать — я обязан ответить. Врать я тоже не имею права, да и всем известно, что комбату Васильеву не наврешь. В конце концов, он последний командир, которого я встретил на этом скорбном и стыдном пути, и если он отдаст приказание, то я согласно уставу должен выполнять последнее приказание. Последний командир, последнее приказание, последняя надежда.

Я подошел ближе к гвардии старшему лейтенанту и рассказал ему все как есть. Показал пакет, обернутый в газетную бумагу.

Он выслушал, хмуро теребя бородку, искоса поглядывая на Мишу Войтина.

Теперь я стоял спиной к ветру, оголтело несущемуся через путепровод, а он стоял лицом к ветру, и пригоршни секучей ледяной крупы били его прямо в лицо. Он заслонил глаза от этой пронзительной крупы своей единственной подвижной рукой.

Он долго молчал. Я тоже молчал, рассказав все как есть. Чуть в сторонке молчал Миша Войтин.

— Выполняйте, — глухо сказал командир первой батареи.

И быстро зашагал к эшелону.

Мы двинулись дальше. Никаких надежд не оставалось.

Бесконечный путепровод кончился. Мы спустились по крутым ступенькам на перрон. Перед нами был огромный вокзал с огромным окном, изогнутым сверху аркой, — окно было такое огромное, что в него, если распахнуть, без труда мог бы въехать поезд.

И внутри этот вокзал оказался огромным до неправдоподобия. Я никогда еще не видел такого большого вокзала, даже в Харькове. А народа-то, народа — как людей. Сплошь военные. Полковники в папахх раструбом, за которыми гуськом тянулись адъютанты и ординарцы. Матросы в бескозырках с надписями на ленточках: «Северный флот», «Черноморский флот», «Тихоокеанский флот», — будто именно здесь, в Новосибирске, сливались все моря и океаны. Пограничники с ярко-зелеными тульями фуражек — будто здесь, на этом сибирском вокзале, пересекались все границы.

Поразившись тому, как огромен этот вокзал, я представил себе, как же огромен должен быть сам город Новосибирск, если при нем такой вокзал.

И вот на этом огромном вокзале, в этой гудящей клокочущей людской круговерти, в этом незнакомом городе я должен оставить маленького Мишу Войтина — одного, с вещмешком и завернутой в газету метрикой.

Я не смел взглянуть на него.

— Саня... — он робко тронул меня за обшлаг шинели. — Ты не переживай. Я ведь вижу, что ты переживаешь. Не надо.

— А? Я не переживаю, больно надо, — ответил я, стараясь казаться безразличным.

— Ну и правильно. Понимаешь, я сам виноват... Я ведь знал, что из меня не получится. Медкомиссия — там, в Семипалатинске, — они тоже были против. Из-за роста, из-за силы. Но я их упросил, они и разрешили. Мне очень хотелось стать военным...

Черные глаза Миши, спрятавшиеся далеко за носом, смотрели на меня серьезно и печально.

— Я хотел отомстить.

Из-за полукруглого вокзального окна донесся зычный и требовательный паровозный гудок. А вдруг это наш? Вдруг это мой?.. Еще не хватало самому отстать от эшелона. В лучшем случае — десять суток ареста. Но ведь я выполнял приказ... Нет, наверное, это не наш, другой. Мало ли воинских эшелонов сейчас стоят в Новосибирске. Какому-нибудь пришел черед отправляться — вот он и гудит, сзывает своих.

— Ты за меня не переживай. Я не пропаду, устроюсь. Жалко, что меня в Бийске не оставили: оттуда ведь ближе до Семипалатинска. А там детдом, там бы сразу устроили вместе с ребятами на завод... — Он подумал, покачал головой. — Нет, в Семипалатинск я не вернусь. Ребята засмеют. Они и раньше смеялись, что я мечтал стать военным...

За арочным окном опять нетерпеливо прокричал паровоз. Но, кажется, другой — голос другой, потоньше, как у капитана Евграфова.

— А я и не мечтал. Я просто хотел отомстить.

Он прежде не говорил мне, что хотел отомстить.

А сейчас у меня совсем не оставалось времени подробнее его расспросить: за что? Да и незачем спрашивать, мало ли за что.

Все мы хотели отомстить.

— Будь здоров, — сказал я, всучив ему вещмешок и завернутый в газету пакет. — Ты нам черкни, когда устроишься. Адрес знаешь?

— Знаю.

Все мы еще до отъезда знали назубок московский адрес спецшколы, хотя большинство из нас впервые ехало в Москву. А вот Миша Войтин так и не доехал.

— Будь здоров.

Мы пожали друг другу руки.

Я пошел к выходу на перрон, а Миша Войтин пошел к другому выходу, в город.

У сквозящей двери я оглянулся, но его уже не было видно. Он ведь был очень маленький, сразу же затерялся в толчее. Ох, сколько здесь было народа, на этом новосибирском вокзале!

Я взлетел по ступенькам путепровода и бросился бегом, припоминая на ходу, где спуск.

Подо мной разноголосо перекликивались паровозы, тянулись крыши вагонов, змеились рельсы.

Вот здесь мы повстречали гвардии старшего лейтенанта. Еще немного. Кажется, сюда. Вниз.

Передо мной был эшелон, однако я сразу понял, что это не наш — тоже воинский, но не наш, то есть не нашей спецшколы: вдоль него бегали солдаты в хороших цигейковых ушанках, каких нам не выдавали. И погоны на них полевые — небось сразу на фронт.

Значит, пока я ходил на вокзал, вплотную к нашему составу подогнали другой состав, который преградил мне путь. Мать честная, сколько составов, сколько эшелонов стояло бок о бок на этих бесчисленных колеех станции Новосибирск! Неужто все на запад?..

Я влез на тормозную площадку вагона, который был передо мной, уже собирался сигануть с другой стороны, как вдруг услышал знакомый голос.

— ...Право же, не следует так волноваться, Тихон Андреевич. Я всегда видел в вас образец офицерской выдержки. Я глубоко уважаю и чту...

— Благодарю. Но сейчас вы просто пытаетесь уйти от существа нашего разговора!

Я затаился, прижавшись к дощатой стенке тамбура. Я узнал оба голоса.

Первый принадлежал нашему комбату, капитану Евграфову. Голос его был спокоен и рассудителен. Второй же, необычно

взволнованный, был голосом гвардии старшего лейтенанта Васильева — это его звали Тихоном Андреевичем.

— От существа? Нет, зачем же... Если угодно, давайте говорить по существу. Значит, вы привезете в Москву своих молодцов, своих орлов — да? — и будете блистать перед инспекцией бесподобной первой батареей... А я привезу этого... иноходца, эту мокрую курицу... — Голос набухал праведным гневом. — И все будут потешаться, все будут — вы думаете, я об этом не знаю? — снова толковать о том, что Евграфов — штафирка, самозванец, отставной козы барабанщик! Так если вам угодно...

— Вы можете поставить вопрос о его отчислении в Москве. Вас поддержат. Но бросать мальчика на вокзале, в незнакомом городе — это бесчеловечно, черт возьми!

— Тихон Андреевич, я попрошу вас...

— Нет, это я попрошу вас! Я прошу вас немедленно послать людей на вокзал, найти, вернуть...

Я приготовился спрыгнуть наземь и предстать перед ними. Ладно, пусть заругаются, что подслушивал. Лишь бы послали — найти, вернуть.

— Я этого не сделаю, — очень спокойно ответил комбат. — Искать иголку в стоге сена? К тому же мы скоро тронемся. И, главное, я не хочу этого.

— Товарищ капитан...

— Тихон Андреевич, почему бы вам не называть меня по имени-отчеству? В среде русского офицерства, вне строя, это всегда было принято.

— Хорошо. Александр Павлович, я прошу вас не как командира батареи, а как преподавателя, как педагога...

Я опять изготавился прыгать.

Но в ответ раздалось хитроватое покашливание.

— Тихон Андреевич, кстати... я давно хотел вам задать один деликатный вопрос. Можно? Мне известно, что вы тоже учитель. Не кадровый военный, а учитель. Почему же вы не ведете предмета? Вы словесник или математик?

Молчание.

Я замер от изумления. Гвардии старший лейтенант Васильев не кадровый военный? Да он, поди, и родился военным. Кадровым. В гимнастерке родился. Самый военный из всех военных, которых я видел в своей жизни.

Резко скрипнув, повернулись сапоги и зашагали вдоль рельсов, направо.

А влево проследовали неторопкие, полные достоинства шаги капитана Евграфова.

Потом мы опять ехали. Больше ничего существенного на этом пути не произошло. Ничего особенного я не видел. Потому что я все время спал. И остальные ребята, улегшись на нарах вплотную, рядками, как шпроты в банке, крепко спали под перестук колес. Отсыпались за рубку леса на глухих делянках, за долгие марши по Чуйскому тракту, за пот на сахарозаводе, за синусы и косинусы, за муссоны и пассаты, за Бойля и Мариотта, за прошлое и будущее.

Солдат спит, а служба идет.

7

— Вот она. Белокаменная!

Дверь вагона была широко раздвинута, в квадратный проем сочился холодный рассветный сумрак. Тенью на этом сумраке вырисовывалась фигура капитана Евграфова. Он стоял, прислонившись к косяку, скрестив на груди руки.

— Белокаменная...

Капитан Евграфов любил выражаться торжественно. Но тут, как я сразу догадался, был достаточный повод для выпретенных слов. Значит, Москва. Мы в Москве. Потому что именно Москва в числе других почтительных и величальных званий от века звалась Белокаменной. Вон там, за открытой дверью, — Москва, никогда не виданная мною наяву столица, красноезвездная, златоглавая, белокаменная...

Меня как ветром сдуло с нар.

Ощупью застегивая пуговицы, я выглянул наружу.

Эшелон стоял на пустынной и тихой станции.

Прямо против нашего вагона — двухэтажное зданьице багрового кирпича с беленым карнизом. Вдоль карниза тянулась надпись из витиеватых старинных букв: БЪЛОКАМЕННАЯ.

Справа виднелись еще две крыши каких-то станционных служб.

А дальше — темный лес, угрюмый и сырой.

Наверное, Москва с другой стороны.

Я прыгнул на хрустящую насыпь, заглянул под вагон, меж колес, в просвет между тамбурами соседних теплушек. Но и там ничего не было, кроме заиндепевших рельсовых нитей, за ними — глухая стена деревьев, темный лес.

— А где же... — удивился я. — Еще не доехали, товарищ капитан?

— Доехали, Рымарев, доехали, — в ответ рассмеялся он. — Отсюда пешком двадцать минут до спецшколы. А это Окружная железная дорога, принято считать — граница Москвы... — Александр Павлович очертил в воздухе кольцо.

Из всех вагонов уже сыпались, как горох, наши ребята.

— Москва!

— Москва...

Они тоже озирались в недоумении, тоже совались под колеса вагонов, пожимали плечами, разводили руками — мол что же это такое, обещали привезти в Москву, в столицу, а привезли в темный лес. Причем удивлялись не только бийские «караси», но и самые завзятые москвичи — таганские, бутырские, марьинские, даже раменские. Хоть они и москвичи, но даже им, как видно, не случилось бывать на этой станции, на Белокаменной.

Но ребята из первой батареи — ветераны, — подтвердили, что спецшкола близко, рядом. Они ведь поступали в июне сорок первого, еще до эвакуации.

А Валька Ногтев, встав на цыпочки, будто стараясь заглянуть за вершины деревьев, сказал:

— Там Ланинский переулочек. Там мой дом... Мама там. Ждет.

Но ему не суждено было в этот первый день свидеться с матерью.

Появился как всегда энергичный и деятельный Николай Маркелович Псарев. Он созвал офицеров, распорядился, кому и чем надлежит заняться.

Прежде всего надлежало разгрузить эшелон, опростать все вагоны и платформы. Потому что эшелона этого дожидались в другом месте с таким же нетерпением, как мы ждали его в Бийске. Выгрузить койки, столы, библиотечные книги, тюки с обмундированием, мешки с крупой, ящики с гвоздями, бочки с вонючим мылом, одеяла, матрацы и перво-наперво нашу нестреляющую царь-пушку. Выгрузить все это хозяйство прямо на насыпь, укрыть от дождя, выставить надежное охранение. Вслед за этим надлежало перетащить на горбу все это хозяйство в здание спецшколы дня за

два. А перед этим надлежало отрядить два взвода для уборки спецшколы, чтобы там блестело.

Вот это и были самые счастливики — два взвода. Они вмиг построились и с песней углубились в темный лес.

А нашему взводу не повезло, нас оставили для надежного охранения.

Мы бы, конечно, гораздо с большей охотой взялись таскать на горбу. Дотащишь мешок — и увидишь спецшколу, какая она из себя. Приволочишь ящик — и хоть краешком глаза увидишь Москву.

Велика ли радость сидеть тут, у насыпи, глядя на темный лес...

Но нас оставили в охране.

Минул день, спустилась промозглая ночь, заморосил осенний дождь. Мы разожгли костры, сгрудились вокруг огня, опустив слюноньи уши буденовок, задрав истертые ворота шинелей, зажав винтовки меж колен. Заварили в котелках кашу.

Эшелон давно ушел, пролязгав на прощание буферами.

И еще одну ночь мы просидели на станции Белокаменной. Хотя ребята и не жалели горбов, груда мешков и ящиков, растянувшаяся вдоль насыпи, убывала нестерпимо медленно.

Мы сидели у костров под нудным дождем. Ели кашу. Мечтали о Москве.

Лишь на третье утро охранение сняли. Валентин Ногтев построил взвод.

Мы вошли в темный лес. Он ударил в ноздри запахом палой листвы, отсыревшей древесины и попрятавшихся грибов. Под ногами хлюпало. Сверху капало. Лес, впрочем, тут же и кончился. Потянулось мокрое шоссе и обок него то ли деревенские, то ли дачные домишки с резными ставнями.

— Это уже Богородское, — объяснил помкомвзвода.

Вот те и на. Какое-то Богородское. А мы ведь ехали в Москву, не в Богородское.

Везло мне на эти зачуханные окраины. Жил в центре Харькова — переселились в заводской поселок, к черту на кулички. Занесла война в Сталинград — так хотя бы в сам Сталинград, славный город, а то в Бекетовку, откуда я так и не выбрался посмотреть живой Сталинград. В Барнауле — распоследняя Алтайская улица. В Бийске жил почти на вокзале: привезли на вокзал, увезли с вокзала. И вот, пожалуйста, вместо Москвы — Богородское...

— Сейчас будет Ланинский переулок, — сказал Валька Ногтев, заметно волнуясь. — Там мой дом... Мама там.

Мама моя, мама. Шлю тебе из родной столицы пламенный бо-городский привет.

Над дачными кровлями возник массивный и резкий уступ, сложенный из серого кирпича. Большие квадратные окна были расчерчены рамами тоже в квадраты, только поменьше, с математической строгостью.

И голос Валентина Ногтева сделался строже:

— Это спецшкола... Взвод, подтянись!

Все же мне удалось в субботу выключить у комбата увольнительную в город, посмотреть Москву. С десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль.

Прежде всего нужно было решить вопрос экипировки. Мы еще в Бийске наслышались страхов о придирчивости столичных комендантских патрулей: сапоги не начищены — пожалуйста бриться, не побрит служивый — губа, гауптвахта. Очень строго.

Ну ладно, башмаки я надраил до зеркального блеска, пуговицы на шинели сияют, как солнце. Но сама шинелька истерта до основы, штопана-перештопана, можно смотреть на свет, как сквозь сито. А головной убор, буденовка? Да за одну эту отмененную буденовку сразу схлопочешь губу — ведь прямое нарушение формы одежды.

Я искал выход из создавшегося положения. И нашел. Кто ищет, тот всегда найдет.

У Олега Афонина из второго взвода я одолжил шинель — новенькую, зеленого английского сукна, заглядение. Дело в том, что Олег Афонин был москвичом и успел побывать дома, а мать Олега Афонина была майором интендантской службы, она ужаснулась, увидев, в какой задрипанной шинели приехал ее родной сын, и тут же отдала ему свою офицерскую шинель, наверное, у нее была еще и другая. Мы все, когда Олег Афонин явился из дому, с восхищением и завистью шупали ворсистое зеленое сукно его заграничной обнвы. И вот эту самую шинель я выпросил у него поносить с десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль. Он дал, он был добрым парнем, Олег Афонин.

А роста мы с ним были одинакового, так что шинель оказалась мне как раз впору. Но я вдруг обнаружил, что она застегивается не

на ту сторону, не с того бока — не справа, а слева. Пуговицы, правда, были с обеих сторон, однако петельки только с одной.

— Почему? — удивился я. — Разве у англичан с другой стороны?

— Нет, — досадливо поморщился Олег Афонин. — Это дамская шинель, женская. Это материна шинель. На заказ шили. У женщин с другой стороны.

— А как же?.. — расстроился я.

— Да никак. Застегивайся налево, никто не заметит, подумаешь, разница... — махнул рукой Олег. — Я в этой шинели пер через всю Москву — никто даже внимания не обратил.

Ну ладно.

Теперь надо было позаботиться о головном уборе. Я знал, что у Димки Могутного припрятана кубанка — белый каракуль, синий верх — настоящая кубанская кубанка, он сам был родом с Кубани. Он не носил эту роскошную кубанку потому, что боялся — отнимут ребята из старших батарей, надежно хранил ее.

Димка помялся, но дал. Я за это ему пообещал свою хлебную пайку в ужин.

Я надел перед зеркалом английскую шинель, нахлобучил белую кубанку, подпоясался ремнем с латунной бляхой. Ребята, в общем, одобрили. Но сказали, что из-за этого ремня очень топырится зад шинели и на груди отвисает (ведь шинель была все-таки дамская), и предложили ремень не надевать, а вместо ремня навесить кожаную планшетку, которая имелась у Юрки Садкова, — добротная офицерская планшетка. Юрка дал. Я навесил.

Теперь все было в полном порядке, красивее не оденешься и лучше не придумаешь.

Еще раз ошупав в кармане увольнительную записку, я протопал через караульную будку.

Улица дачного типа вывела меня на небольшую булыжную площадь, где трамвайные рельсы делали полный круг — трамвайный круг «четверки», на которой, как мне объяснили ребята, нужно ехать до Сокольников. Ничего больше на этой площади не было, если не считать приземистой бани и парикмахерской в крыле этой бани.

Тут меня и осенило. Я вспомнил, что предусмотрел все, кроме бритвы. А комендантский патруль поймает небритым — и пожалуйста бриться, губа... Правда, я до сих пор никогда еще не брился. Не-

чего было брить. Однако, проведя ладонью по щекам и подбородку, я почувствовал, что там определенно пушится, ну, не какая-нибудь колючая щетина, а всего лишь мягкий пух. Тем не менее было бы очень обидно из-за этого ничтожного пуха попасть на губу.

Я повернул к парикмахерской.

Старый парикмахер, когда я разделся, усадил меня в кресло и посмотрел на мое отражение в зеркале.

— Стричь? — спросил он.

— Брить, — сказал я,

— А что брить? — спросил он.

— Вот это, — показал я.

— Ах, вот это... — Он с грустью посмотрел в зеркало. — Понимаете, молодой человек, если вот это оставить, то вы еще можете спокойно целый год не бриться, даже два. А если вот это хотя бы раз побрить, то вам уже придется каждый день бриться, в крайности через день. Обязательно.

Во чудак. Да я об этом лишь и мечтал — чтобы каждый день бриться.

Старый чудак насыпал в чашку белого порошка, взбил пену и густо намылил мое лицо.

Потом еще одеколоном попрыскал.

Я сел в «четверку» окончательно взрослый, свежий и благоухающий.

Трамвай долго огибал красную богатырскую громаду завода с красными богатырскими трубами (позже выяснилось, что так завод и назывался — «Красный богатырь»), потом пересек мосточек, а потом углубился в темный лес. Этот дремучий лес был и справа и слева. Он стоял глухой стеной, лишь изредка прерываясь сквозными просеками, возле этих просек трамвай останавливался, и кондукторша объявляла: «Майский просек... Лучевой просек... Олений вал... Охотничья улица...» У меня опять возникло ощущение, будто я приехал не в Москву, а в темный лес, в тайгу, где лесорубы прокладывают просеки в чащобах, где бегают дикие олени, а за ними гоняются с ружьями охотники. Но я догадался, что названия эти сохранились от старых времен. Хотя и сейчас в трамвайных окнах, по обе стороны, был темный лес. Наверное, летом здесь красотища — зелень и цветы; вероятно, и зимой тут хорошо — снег, сугробы. Однако сейчас, глубокой осенью, лес выглядел довольно неуютно и сыро.

Но вот трамвай круто свернул. Кондукторша объявила: «Скольники».

Я вышел на очень просторную площадь. Огляделся.

По правую руку была высоченная пожарная каланча, увенчанная флюгером. По левую руку возвышалась огромная церковь с крестами, густо оседланными черным вороньем.

А прямо перед собой я увидел каменный шалашик с буквой М. Это было метро.

У входа в метро был табачный ларек. И поскольку сегодня я впервые побрился, то есть стал окончательно взрослым, я решил закрепить это новое свое солидное качество: купил пачку папирос с артиллерийским названием «Пушки».

Войдя в шалашик, я зашагал по длинному светлому коридору, облицованному желтым кафелем. Мне сразу понравилось, что те, которым вниз, идут по одному коридору, а те, которым наружу, обтекают их двумя другими коридорами-полукружиями, тоже облицованными кафелем. Никакой толкотни, чистота и порядок. Повсюду война, а тут порядок.

Через минуту я уже мчался в голубом поезде метрополитена.

На перегонах, в тоннелях, непроглядных, как темный лес, стекла вагона делались зеркальными, и я мог любоваться самим собой: белая кубанка, зеленая шинель, погоны-крылышки, узкий ремешок планшетки наискосок. Строен, плечист, хорошо побрит.

Кончался перегон, стекла наполнились светом, и я мог любоваться очередной подземной станцией. Это какая? «Красносельская». Граненые розовые колонны. Так, запомним, поехали дальше... Рыжеватые мраморные стены, балкон с затейливой решеткой, где полным-полно снующих людей. «Комсомольская»? Будем знать, «Комсомольская»... А вот эта станция, даже без всяких надписей, сама называет себя: «Красные ворота». Потому что вдоль всего перрона понаделаны из мрамора красные воротца с серыми нишами... Какая там следующая?

Вообще все они казались очень знакомыми, эти станции метрополитена, я узнавал их, как узнают по портретам знаменитых людей. До войны у меня была коллекция марок, пришлось, к сожалению, оставить ее в Харькове. Помнится, там были целые серии, на которых изображены эти великолепные подземные залы Московского метро. Марка за маркой, станция за станцией... Кажется, сейчас должна быть «Кировская»?

Поезд с грохотом, не убавляя скорости, а вроде бы даже надав, пронесся мимо мраморных сводов сурового стального отлива, и я успел лишь заметить, что проемы в этих сводах были наглухо заделаны серыми щитами. И опять тоннель, ребристые тубинги, густая сеть проводов, темный лес...

Куда же подевалась станция «Кировская»?

Я оглянулся на сидящих, на стоящих пассажиров.

Но они сидели, стояли как ни в чем не бывало, даже не заметив исчезновения станции. Будто так и надо. Значит, так и надо. Надо так надо.

А вот и «Дзержинская». Эта станция, слава богу, на месте, никуда не подевалась. Только мне сходить не здесь, а на следующей.

Белоснежным мрамором ослепил «Охотный ряд».

Эскалатор на этой станции короткий, не до самой наружи, скорее всего для любопытства, что вот ты вроде и покатался на эскалаторе, а дальше — пешее восхождение. Ступени, коленчатые марши лестниц. Я всходил по ним, чувствуя, запоминая каждый свой шаг, — на каждый шаг взволнованным стуком отзывалось сердце. Может быть, это специально так предусмотрели, чтобы человек, который впервые, как я, приехал в столицу и решил побывать на Красной площади, чтобы он почувствовал и навсегда запомнил ногами и сердцем каждый шаг своего восхождения.

И за порогом метро, на улице, на дневном свете, восхождение продолжалось. Брусчатый подъем, ведущий к Красной площади, был не крут и не долог, но все же это был подъем — тоже для того, чтобы сердце считало шаги.

Я увидел Кремль.

Я сто раз его видел: в книжках, в кино, во сне. Я знал очертания этих стен и башен, дворцов и соборов, ленинского Мавзолея и трибун, обрамляющих его. Я все это знал и видел раньше, но все оказалось совсем иным.

Ведь раньше я думал, что Кремль — это праздник. А теперь, впервые увидев его наяву, я понял, что Кремль — это крепость.

Его стены были прежде всего крепостными стенами, неприступными для врага. Он весь ощетинился: граненые острия башен были похожи на штыки, зубья стен зияли грозными бойницами, даже елки у этих крепостных стен напоминали штыки. Часовые с

примкнутыми штыками стояли в карауле у Мавзолея, на посту номер один.

Крыши дворцов, купола соборов были выкрашены защитной краской. На кремлевских звездах были защитные чехлы.

Он был хмур и суров, Кремль сорок третьего года.

Правда, этой глубокой осенью сорок третьего года фронт уже отдалился. Немцев выбили из Брянска. Только что освобожден Киев. Наши десантники высадились под Керчью.

На Красной площади уже не было противотанковых «ежей». Над нею не висели аэростаты воздушного заграждения.

И все-таки Кремль был не праздником, а крепостью.

До праздника было еще далеко.

Я вспомнил вдруг, как на глухом разъезде, за Арысью, в Казахстане, на пути в Барнаул, где томился наш эшелон, я впервые в жизни увидел настоящие горы. Они были зеленые снизу, выше постепенно рыжели, а на вершинах лежал снег. До подножия этих гор простиралась гладкая степь. Горы были совсем близко, рукой подать. А мы стояли на этом разъезде уже целый час, ждали паровоз, кто-то сказал, что паровоз дадут через два часа. И я сообразил, что вполне успею добежать до этих гор, которых никогда в жизни не видел — ну, конечно, не до снежных вершин, не до рыжего, а хотя бы до зеленого, — успею добежать, посмотреть и вернуться обратно.

И я побежал. Бежать было легко, я бежал, не оглядываясь. А когда впервые оглянулся, то уже не увидел ни нашего эшелона, ни разъезда. Я испугался: нет, не того, что эшелон ушел раньше времени, не дождавшись меня, и я теперь пропал в этой дикой степи — нет, я прекрасно понимал, что если паровоз обещали через два часа, то дадут наверняка через пять. Я испугался совсем другого: вот я уже так далеко отбежал от нашего эшелона, что его даже не видно, а эти горы, к которым я бежал, не приблизились ни на шаг — до них по-прежнему было рукой подать, вот они, совсем рядом, — но они не приблизились ни на шаг. Почему же?.. И я вдруг понял, что если бы даже мне бежать до них целый день и всю ночь, то к следующему утру они были бы так же далеки от меня, как сейчас... Они были очень далеки. Как победа.

Я посмотрел на кремлевские часы и обнаружил, что стою здесь, на Красной площади, уже целый час.

А увольнение всего лишь до шестнадцати ноль-ноль.

Надо бы еще кое-что повидать в Москве. Ну хотя бы Большой театр.

Я зашагал обратно, под уклон, свернул направо, потом налево — какой удивительный город, эта Москва, в ней все находишь памятью, угадываешь чутьем, даже если ты впервые в жизни сюда приехал.

На пути оказался довольно обшарпанный и низенький кинотеатр «Восток-кино», в нем шла новая военная кинокомедия «Воздушный извозчик». Я еще не видел этой картины. А с фанерного щита улыбались мне Жаров и Целиковская, над ними летел самолет «Дуглас» со скошенными крыльями — значит, про летчиков. Про несбывшиеся мои мечты... Сеанс в тринадцать ноль-ноль. До сеанса тридцать минут. Я успею взглянуть на Большой театр и вернуться сюда к началу сеанса. Полтора часа в зале. На метро до Сокольников пятнадцать минут, тридцать на трамвае до Богородского. Ровно в шестнадцать ноль-ноль я буду в спецшколе. Как штык.

Я купил билет и направился к Большому театру. Большой театр был как темный лес. То есть сперва я даже не заметил, что это Большой театр, — думал, стоит темный лес посреди Москвы. Потому что весь он, Большой театр, был размалеван зелеными, бурными, черными пятнами. Его толстушие колонны были похожи на стволы вековых деревьев с облезлой корой, дуплами, ростками запоздалой зелени, купами пожелтевших осенних листьев и совсем уж голыми черными ветвями. Весь фасад театра и его боковые стены и даже пологие скаты крыши были искусно разрисованы под темный лес — это была хитроумная защитная маскировка, чтобы вражеские самолеты, оказавшись над Москвой, не могли найти Большого театра.

Правда, фронт отодвинулся на запад. За Смоленск, за Брянск. Теперь «юнкерсам» было далековато лететь на Москву — да и не смели они. Но защитную маскировку все же пока оставили на Большом театре. Разномастные пятна, извилины, зигзаги, снова пятна. Стоит на площади Большой театр, а поглядеть со стороны или с неба поглядеть — темный лес...

Ко мне неторопливым шагом приближался офицер с красной повязкой на рукаве, а за ним вышагивали два солдата со штыками на поясе и тоже с красными повязками. Комендантский патруль.

— Увольнительную, — сказал офицер, тронув перчаткой висок.

Ну, это вам пожалуйста. Я протянул ему увольнительную записку. Нет, это билет в кино. А вот увольнительная. С десяти ноль-ноль до шестнадцати ноль-ноль.

Он прочел. Сложил. Но возвращать не торопился. Он был весь такой неторопливый, полный собственного достоинства.

— Почему, курсант, нарушаете форму одежды?

— Я не...

— Почему брюки навывпуск?

Ах вот в чем дело. Я ему объяснил, что нам положено навывпуск, еще с до войны, и теперь тоже, это, мол, у нас такая особая привилегия, у спецов, — брюки навывпуск.

— А кубанка тоже привилегия? — едко спросил он. Я объяснил ему, что кубанка — это не привилегия, а просто нам еще не выдали форменных цигейковых шапок, в Бийске не было, а тут еще не успели, мы всего лишь третий день как в Москве. Я ему все это очень толково и подробно объяснил.

— Почему без ремня? Почему планшетка?

Тут я застенчиво потупился и промолчал. Тут лучше было отмолчаться. Не мог же я ему объяснить, что если бы я подпоясался тесным ремнем с бляхой, то у меня бы оттопырился зад, как у квочки, а на груди вздулось бы пузырем, как у кормилицы. Потому что это была женская шинель, дамская, Олега Афонина матери. Потому и застегнута она не направо, а налево. Но объяснять все это значило бы клепать на самого себя — он ведь, кажется, и не заметил, что шинель на мне дамская, не на ту сторону.

— М-да, — сказал офицер, оглядев меня еще раз с головы до ног. Улыбнулся приятельски: — Артист. Не из Большого театра?

— Никак нет, — ответил я ему, взаимно улыбаясь. — Из Малого.

— Егоров, — офицер оглянулся на солдата с красной повязкой. —

Отведите артиста к Малому театру.

Он тронул перчаткой висок и неторопливо зашагал дальше.

Возле Малого театра стоял грузовичок, в кузове сидели солдаты, сержанты и старшины. Артисты вроде меня. Кто из Малого, кто из Большого. Надо отдать им должное: они встретили меня очень приветливо, охотно потеснились, давая местечко, и никто из них не стал расспрашивать: за что? Ведь каждому известно, что ни за что. Просто встретился на дороге комендантский патруль. А комендантский патруль — он как судьба, от судьбы не уйдешь.

— Закурить нет, курсант?

— Есть.

Я достал из кармана пачку артиллерийских папирос «Пушки», которую купил в Сокольниках. Вот ведь как они оказались кстати, папиросы, можно угостить хороших ребят. Ребята живо расхватали всю пачку — одну папиросину в зубы, другую за ухо.

Тут мы и поехали.

Грузовичок катился довольно быстро, видно, шофер наездил эту дорогу. Я едва успевал следить за поворотами. Едва успевал восхищаться площадями и улицами, которые попадались на пути. Мы проезжали мимо величественных и гордых зданий, мимо уютных особнячков, мимо церквей и памятников.

Мне бы пешком все это и за неделю не обойти, не оглядеть, а тут — с ветерком.

Грузовичок еще раз свернул: мы оказались на очень красивой улице: сквер клинышком, изящный мосток, церковь, старинные палаты, чугунная ограда, за которой сквозил темный лес, внушительный казенный дом.

— Это Новая Басманная, — сказал сидевший рядом со мною ефрейтор. — Городская комендатура.

Он, наверное, уже бывал в этих местах.

Нам всем дали два часа строеухи. Эко диво: в Бийске и по четыре гоняли. Кроме того, я вполне успевал со временем — что сидеть в кино, что маршировать по двору. И еще неизвестно, смешная ли это кинокомедия «Воздушный извозчик». Я вынул из кармана шинели голубой билетик, пустил его по ветру..

В метро я садился на станции «Красные ворота», поближе — это мне подсказал ефрейтор, который уже бывал на Новой Басманной.

Потом Сокольники, «четверка», темный лес, просеки, богатырский завод, трамвайный круг, все уже знакомое, будто век я тут прожил, в Москве.

Я доложил о прибытии из увольнения ровно в шестнадцать ноль-ноль. Как штык.

— Новенький, у нас, в нашем взводе, — сказал Юрка Садков. — Между прочим, с фронта робеночек... В моем отделении.

Мы припаздывали к началу урока, а урок был история, а историком был капитан Евграфов, после него в класс не заявишься — попадешь в историю, так что мы едва успели ворваться по звонку и сесть за свои столы, а столы наши с Юркой были рядом.

— Где? — спросил я насчет этого новенького.

— Вон там, на «Камчатке», — повел ухом Юрка.

Я оглянулся.

На «Камчатке», бодливо наклонив стриженое темя, сидел новенький. Вид у него был настроженный и замкнутый, как у всех новеньких. На этом новеньком уже была новехонькая спецовская форма, новехонькие спецовские погоны, чин чинарем, как у всех, только в отличие от всех над карманом кителя у него красовалась новехонькая медаль «За отвагу» на серой ленте с синей каймой. Ишь ты, значит, и вправду с фронта робеночек... Что? Я просто обалдел, приглядевшись к наклоненному стриженому темени. Не может быть. Да неужели...

— Встать, — раздалась команда, — смирно!

Дневальный докладывал комбату: мол, по списку столько-то, на занятиях присутствуют столько-то, в медпункте один, дежурит по кухне другой, во взводе пополнение...

— Вольно, садитесь, — прервал капитан Евграфов, сел и сам, раскрыл журнал, обратил свой взгляд на пополнение.

— Фамилия?

— Голованов.

— Имя?

— Леонид Игнатович.

Так и есть.

Бог ты мой, до чего тесен мир, даже когда война. Ленька Голованов, из Бекетовки, из Сталинграда, из нашего класса, с нашего лесозавода. Который удрал неизвестно куда, а оказалось — на фронт. Я его сразу узнал, только не поверил сначала. Подумал — не может быть.

— Вижу, Голованов, воевали? — спросил комбат, имея в виду медаль «За отвагу». — Где?

Теперь все ребята смотрели на новенького.

Ленька стоял безответно, молча. Наверное, сильно застеснялся от этого всеобщего внимания.

— На каком фронте воевали? — повысил голос капитан Евграфов — Род войск? Артиллерия?

— Так точно, — глухо ответил Ленька Голованов. — Зенитная. Сталинградский фронт, потом Степной, потом Четвертый Украинский.

— За что награждены?

Ленька опять медлил с ответом. Он смотрел прямо в лицо комбата, но не отвечал. Совсем онемел робенок от застенчивости и смущения.

— За что отмечены правительственной наградой? — строго переспросил капитан Евграфов. Он не любил, когда приходилось дважды задавать один и тот же вопрос.

— А... за сбитый «юнкерс».

— Садитесь, Голованов. Приступим к занятиям. Сегодня у нас революция в Германии восемьсот сорок восьмого года...

Весь час я то и дело украдкой оглядывался, пытаюсь перехватить взгляд Леньки, но его стриженое темя было по-прежнему наклонено бодливо. Лишь под самый конец урока, оглянувшись снова, я увидел, что Ленька Голованов смотрит на меня, и, когда наши глаза встретились, он улыбнулся мне легко и запросто, будто мы с ним вчера расстались.

Вчера вот мы с ним расстались в осажденном Сталинграде, а сегодня вот у нас... революция в Германии. Восемьсот сорок восьмого года.

Может быть, он меня только сейчас заметил и узнал, а может быть, узнал раньше, сразу, но тоже не поверил, что это я.

Что мир так тесен, когда война.

Побеседовать толком нам удалось, однако, лишь после ужина, перед вечерней поверкой, когда личное время. Для личного времени в просторном и основательном московском здании спецшколы был красный уголок: там и радио, и газеты, и шахматы. Но большинство предпочитало коротать свое личное время в спальнях помещений, где высились кровати. Как и в Бийске, кровати здесь высились в два этажа — те же самые железные кровати, между ними — тесные коридорчики, закутки, один за другим, чем дальше — тем укромнее, от двери даже не видать, не слышать, кто чем занят, кто о чем разговаривает. Вообще-то проводить личное время в спальнях помещениях возбранялось, ведь на то есть красный уголок, но всегда можно было оправдаться, что пришиваешь, сидя

на кровати, свежий подворотничок, драишь пуговицы, шарись в своей тумбочке, а на самом деле можно было побеседовать толком.

— ...приказ такой вышел, чтобы всех сынов — ну, тех, которые сыны полка, — чтобы всех сынов с фронта снять и направить в суворовские училища или в спецшколы, — рассказывал Ленька Голованов. — Меня хотели в Краснодар направить, в суворовское, но я не захотел, потому что там совсем козявки, с третьего даже класса. А в спецшколе все-таки...

— Правильно, — горячо одобрил я Ленькино решение. — Спецшкола совсем другое дело. К тому же — артиллерия!

Честно говоря, мы очень заревновали, когда несколько месяцев назад было объявлено об открытии суворовских и нахимовских училищ. Про этих суворовцев и нахимовцев трубили во все трубы, печатали фотографии, показывали в кинохронике — не то что про нас. Но мы утешали себя тем, что туда принимают совсем козявок, с третьего, что ли, класса или с четвертого, с десяти лет. И еще нам не нравилась суворовская форма: она была какая-то невзаправдашняя, не военная, а будто с конфетной обертки. Кадет на палочку надеет. Кроме того, спецшколы были артиллерийские и авиационные, а суворовские училища — общевоинские.

Вот только Ваня Подобных закручинился, когда узнал насчет нахимовских училищ — ведь он хотел в морское, их тогда еще не было, но вот и открыли, он мог бы теперь туда, однако Ване, как и мне, выпал жребий...

Нет, чего уж греха таить, мы просто ревновали и завидовали.

— Правильно, — сказал я, — спецшкола лучше. Значит, всех вас, сынов, с фронта сняли?

— Всех. Приказ Верховного.

— А как ты на фронт убежал, расскажи. Ведь никому ни слова, даже мне...

Ленька Голованов молча, будто не расслышал моего вопроса, уставился в дощатый пол, подпер кулаками щеки. Но, оказывается, расслышал.

— Убе-жа-ал. На фронт... Куда же там было бежать, если немцы нас в городе заперли. В самом Сталинграде — фронт. Я одного и боялся, что мать на улице встречу... А батареям я наврал, что сирота, что из Харькова. Помнишь, я тебя насчет Харькова выпрашивал?

Я кивнул, я помнил.

— Ну, для этого и выспрашивал. Вот... А потом, когда мы Харьков взяли, мужики и начали допытываться: покажи, сын, где тут что, ведь ты здешний... Я им опять вру: дескать, все кругом развалено, ничего не могу понять...

Ленька хмыкнул.

Сердце мое заныло.

— А по правде — сильно развалено?

— Сильно.

Он вытащил из кармана кисет с шуршащей махрой.

— Курить тут у вас разрешается?

— Да ты что! Если комбат дым учует — всему взводу хана...

В уборной можно.

— Ладно, потерплю, — хмуро сказал Ленька, затолкал кисет обратно, сплюнул, растер подошвой.

Видно, у них там, на фронте, были порядки не такие строгие.

— А мама, Екатерина Степановна, теперь знает, где ты?

— Знает. Я ведь ездил в Бекетовку перед тем, как сюда. Повидались. Она-то думала, что меня на свете нет.

— А как там теперь, в Бекетовке?

— Да ничего. Бекетовку не так задело. Вот Сталинград — сплошь, а Бекетовка почти целая. Даже лесозавод целый. И Сталгрэс опять работает... Говорят, немцы в Бекетовке зимовать собирались, когда Сталинград возьмут. Позимовали, гады...

Ленька вдруг оживился.

— Слушай, а ты Якушин дом помнишь, на Каланчевской?

— Конечно, помню. Рядом с нами, рядом с домом дедушки Санджи.

— Дедушки, бабушки... В этот дом, когда немцев забрали в кольцо, переехал штаб генерала Шумилова. Шестьдесят четвертой армии штаб. Так вот, в этом доме генерал Шумилов лично Паулюса допрашивал.

Я поразился. Даже сперва не поверил. В Якушином доме, в избе с резными ставенками, с узорчатым дымником, рядом с нашим неприметным домом — штаб знаменитой армии?..

Но Ленька утверждал.

И я попытался себе представить, как в горнице Якушина дома — ведь я бывал в этой соседской горнице, — как в ней сидит за столом

прославленный генерал Шумилов и говорит Паулюсу: «Хенде хох! Зинд зи фельдмаршал?.. Во штеет йетцт ир фортрупп? Вифиль гешютце хабен зи?..» А тот лишь уныло пожимает плечами: да, мол, фельдмаршал, только ничего у меня не осталось — ни войска, ни пушек...

Интересно, видел ли это дедушка Санджи? «Дёлбить и дёлбить». Молодец, дедушка Санджи.

В закутке, где мы беседовали, вдруг возник Юрка Садков — весь запыханный, радостно оживленный.

— Докладываю, — сообщил он. — В непосредственной близости — «черный батальон».

— Какой «черный батальон»?

— Женский батальон связи. Дом напротив нас, через улицу. Там они квартируют — целый батальон.

— А почему «черный»?

— Связь — погоны черные, кант черный... Но девочки — экстра, люкс, шоколадный набор. Со станции «Кировской», — хитровато сощурился Юрка.

С «Кировской»?.. Я напряг память. Чередой пробежали в памяти граненые розовые колонны «Красносельской», балкон с затейливой решеткой на «Комсомольской», красные воротца с серыми нишами — «Красные ворота»... А потом? Потом пронеслись мимо окон поезда, как бы нарочно поддавшего прыти, мраморные своды сурового стального отлива, и я успел заметить, что проемы в этих сводах были наглухо заделаны серыми щитами. Это она и была, «Кировская» — станция, исчезновения которой подчеркнуто не заметили пассажиры метро. Будто так и надо.

— А что там, на «Кировской»? — спросил я тихо.

— Ну, братец... — Юрка Садков загадочно приосанился.

Я не стал допытываться. Вдруг встало в один ряд только что услышанное от Леньки Голованова — про то, как в Бекетовке, в избе на Каланчевской, разместился штаб знаменитой шестьдесят четвертой армии генерала Шумилова, — и вот еще Юркины намеки насчет станции метро «Кировская». Там небось просторнее, чем в Якушином доме. Но откуда бы Юрке знать об этом? Я не стал допытываться.

А Юрка продолжал доклад:

— Завтра входим в соприкосновение с батальоном связи. Только что приходила делегация: три штуки, включая комсорга. Приглашают на вечер самодеятельности, после — танцы.

— Не пустят, — покачал я головой. — Граф не разрешит.

— Их сиятельство отбыли на двухдневное совещание историков: вроде бы меняют программу... Так что вел переговоры гвардии старший лейтенант Васильев. Достигнуто соглашение. Сначала мы к ним, потом они к нам, а после — совместное представление, самодеятельный спектакль, потому что у них некому играть мужские роли, а у нас, извиняюсь, бабьи...

Тут я и вовсе махнул рукой. Ведь я в самодеятельности не участвовал, не было у меня никаких талантов.

— Уже составлен список, сорок человек из трех батарей. В том числе ты. И я в том числе.

Юрка с некоторым высокомерием глянул на стриженое темя Леньки Голованова. Потому что Леньки Голованова не было в том числе. И, кроме того, Ленька Голованов, новенький, находился в прямом подчинении у Юрки Садкова, в его отделении.

— Курить пойду, — сказал Ленька, хлопнув себя по карману. — Невтерпеж.

— Я с тобой. Покажу где.

Мы ведь не кончили нашего разговора. Юрка помешал со своими несерьезными новостями. Какой-то «черный батальон», какая-то самодеятельность, чушь какая-то.

А тут человек приехал с фронта, с самой что ни на есть войны.

Покуда Ленька раскуривал свою махру, козью ножку, я дотошно разглядел его медаль, даже на весу подержал — тяжелая она, «За отвагу».

— Мне еще за Сталинград причитается, — сказал Ленька.

— А как вы «юнкерса» сбили?

— Мы его на пике срезали. Он, понимаешь ли, пикировал на соседнюю батарею, а мы ему хвост зацепили — так и не вышел из пике, грохнулся рядом с нами при полном грузе... — Ленька вздрогнул, закашлялся. — Кто лечь не успел — насмерть, а кто успел — все контуженые... Меня тоже оглушило.

Только сейчас я догадался, почему на уроке истории капитану Евграфову пришлось по два раза переспрашивать новенького, как его фамилия, и где он воевал, и за что получил правительственную награду. Он ведь не знал, что этот новенький — оглоушенный. Вообще артиллеристы — они почти все выходят с войны оглоушенные, а тут еще особый случай: рядом с батареей воткнулся в зем-

лю «юнкерс» со всеми бомбами, можно себе представить, как грохнуло... Да, хлебнул огня и дыма мой сталинградский дружок.

— Санька, послушай... — сказал он, швырнув в угол козью ножку. — Я насчет одного боюсь. Пропустил ведь целых полтора года. А у меня и тогда, если помнишь, туговато шло с диктантами. По географии тоже. И по всем остальным...

— Ну, диктанты — дело прошлое, — поспешил я его успокоить. — Какие диктанты? Восьмой класс. Теперь у нас сочинения. Если одного слова не знаешь, бери другое.

— А если я и другого не знаю? — Ленька потер ладонью жесткую щетину над лбом. — Отшибло у меня все слова... Надо было, конечно, записаться в седьмой, но тут нет седьмого. И что бы вышло? Повоевал человек — и вроде как на второй год остался, будто второгодник.

— Да ты что! — возмутился я всей душой чудовищным этим предположением. И снова постарался успокоить Леньку: — Так ведь ты еще и не пробовал, не начинал. В первый раз всегда страшно. Ты, главное, начни, а там и пойдет, там видно будет. Если надо, ребята помогут. Неужели не поможем? Тебе, фронтовику?

— Ну ладно, — с видимым облегчением вздохнул Ленька и провел пальцем по краю тесноватого, должно быть, и непривычного ему стоячего воротника кителя.

На вечерней проверке я заметил (мы оказались с ним в строю почти рядом), что когда подавались обычные в таких случаях команды «Смирно!», «Равнение на середину!», «Нале-во!», Ленька Голованов искоса следил за тем, что делают товарищи. Они вскидывают подбородки — и он вскидывает подбородок. Они едят глазами командира дивизиона — и он ест. Они круто поворачивают плечо — он тоже. Но все это с опозданием на полсекунды. Наверное, он плохо слышал команды. И отвык от строя.

Сильно оглоушило парня.

Сперва был концерт.

На сцену, поперек которой вывесили кумачовый транспарант «Слава советским артиллеристам!» (это, надо полагать, в нашу честь; догадались девчата, сообразили, как с ходу потрафить гостям), вышел хор и запел.

Я не очень-то прислушивался к тому, что они пели, а больше разглядывал самих этих поющих девчат. Да, Юрка Садков, хотя он

и любил иногда привирать от увлеченности, от запыханности, на сей раз приврал не слишком. Девчата были как на подбор. Начать хотя бы с формы. Все они были, конечно, в военной форме, в форме войск связи, но форма эта была особенная, я такой не видал прежде. На них были не какие-нибудь там гимнастерки да юбочки, а хорошо сшитые диагональные платья защитного цвета, с форменными пуговками, с черными погонами, но именно платья. Дальше. На ногах у них были не какие-нибудь там кирзовые сапоги или башмаки с обмотками — нет, на ногах у них были шелковые блестящие чулочки и коричневые туфли, даже на каблуках, не очень высоких, но все-таки. На головах у них были беретки, немного кокетливые, но со звездочками, чин чинарем.

Можно было предположить, что в такой замечательной и невиданной доселе форме девчат выпустили только на сцену, как это водится в самодеятельности — спел и раздевайся.

Но, оглядевшись вокруг, я убедился, что и все остальные девчата из «черного батальона», которые сидели в зале и слушали вместе с нами, как поют, — все они тоже были одеты в ладные диагональные платья, все они, насколько я мог видеть, тоже были в шелковых чулочках и туфлях, а поскольку они сидели в зале без головных уборов, то я еще заметил, что у всех были красивые завитые прически, искусные укладки и лишь у некоторых были протые косы, закрученные калачиками.

Конечно, у них были разные лица, но я поначалу не мог выделить и запомнить какое-либо из этих лиц, потому что я их поначалу воспринял в полной массе, целиком, как воинское подразделение. Я уже привык за последнее время считать главным общее впечатление: хорошо ли смотрится в полном составе отделение, взвод, батарея... А тут — батальон.

В общем, батальон произвел на меня приятное впечатление.

Лишь одно обстоятельство показалось мне щекотливым. Мне щекотало ноздри. С первого момента, когда мы вошли в этот зал и расселись по местам, я уловил в воздухе запах духов — то ли сирени, то ли фиалок, то ли гвоздик — не знаю, я за время войны совершенно перестал интересоваться, как и чем пахнут цветы, и ровно с двадцать второго июня сорок первого года я ни разу не слышал запаха женских духов, — а тут, хотя и не очень сильно, по всему залу начал витать этот неуместный и дурманящий запах,

мне зашекетало ноздри, и я во время хорового пения вдруг чихнул на весь зал...

Никто не обратил на это особого внимания. Люди военные, им чих не в диковину: может, человек простудился в ночном карауле или в дальнем походе, или на учении. Чихнул — будь здоров. Постараюсь. Только гвардии старший лейтенант Васильев, который сидел впереди меня и чуть правее, повернул ко мне свою аккуратно подстриженную бородку и выразительно посмотрел на меня. Из какой, мол, батареи? Ах, из третьей, из распоследней, недавно из шпаков, ну где уж тут ожидать приличного воспитания.

Виноват.

Я не обиделся на гвардии старшего лейтенанта. Ведь это именно он, Васильев, вел переговоры с делегацией «черного батальона», своею властью дал «добро», чтобы мы к ним, а они к нам, и во избежание недоразумений самолично привел нас в соседнее воинское подразделение, и вот сидит вместе с нами, вежливо слушает пение, оглаживает бородку своей единственной рукой.

После хора была пляска.

Высочили на сцену две дивчины в тех же форменных защитных платьях, только головы их были повязаны пестрыми косынками, а третья дивчина высочила в спортивных сатиновых шароварах, в тупоносых, тяжело бухающих сапожищах, в косматой, как у басмача, папахе, а на лице ее были намалеваны сажей страшные, как у Бармалея, усы — она пошла вприсядку, вскидывая сапожищи, а две ее подружки, подоткнув пальцами ямочки на щеках, застеменили обок, и я догадался, что это украинский гопак, догадался и обрадовался.

Догадался и огорчился, что девчатам из «черного батальона» раньше не явилась идея завести дружбу с нашей артиллерийской спецшколой, расположенной по соседству, окна в окна — тогда бы наверняка не пришлось этой средней дивчине в сапожищах и шароварах мазать себе лицо черт знает чем, тогда бы сейчас на сцене вместо нее выкидывал коленца Ваня Подобных, признанный к этому времени самым лихим плясуном спецшколы, а Димке Могутному и Олегу Афонину не надо было бы, на потеху всему дивизиону, повязывать девчачьими косынками свои зверские физиономии, когда у нас тоже случались вечера художественной самодеятельности.

Вот раньше бы... Но раньше мы еще не перекочевали из Сибири в Москву. А женский батальон связи, наверное, уже давно таборился здесь, в Богородском.

Так что все произошло в свой срок. Не раньше и не позже. Все только начиналось. Мы к ним, а потом они к нам, а после вам без нас, как нам без вас. Все правильно.

— Выступает старший сержант Тамара Терехова, — объявила девушка, которая была у них вместо конферансье. — Клавдия Шульженко, «Руки».

Девчата захлопали восторженно, будто на сцене должна была появиться не какая-то Тамара Терехова, а сама знаменитая певица Клавдия Шульженко.

Я тоже захлопал. Потому что Клавдия Шульженко была родом из города Харькова. Мама Галя рассказывала, что Клава Шульженко когда-то училась с нею в одной школе, на Москалевке. Ведь мир и тогда был тесен.

Старший сержант Тамара Терехова была самая немолодая из всех этих молодых девчат-связисток, у нее даже губы немного были подкрашены. Высокая, стройная, выдающаяся такая — особенно где грудь. Две девушки подкатали ей рояль (и тут, конечно, согдилось бы наше содружество), востроносенькая девочка согнулась над клавишами, а Тамара Терехова, наоборот, откинулась, опершись ладонями о крышку рояля, запрокинула голову так, что темные волосы ее легли на плечи и спину, возвела очи, будто что-то вспоминала — и вспомнила, и запела:

Нет, не глаза твои
Я вспомню в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине...

Да, пела она очень хорошо и очень похоже на Клавдию Шульженко. Если зажмуриться, то почти невозможно отличить, где Клавдия Шульженко, а где Тамара Терехова.

Я вспомню ласковые
Трепетные руки,
И о тебе они напомнят мне...

И в этот момент она, как бы с усилием, оторвала свои руки от крышки рояля, протянула их навстречу залу — красивые, плавно переходящие от покатых плеч с черными погонами к манжетам с латунными пуговками, к тонким пальцам, на которых, как мне показалось, были мазки розового довоенного маникюра:

Ру-уки,
Вы словно две большие птицы.
Как вы летали, как оживляли все вокруг...

Зал сидел, затаив дыхание, замерев, загрузив, закручинясь, затосковав, заскорбев.

Впереди меня и чуть правее скрипнула спинка стула. Я покоился туда, выражая свое неодобрение. Но тотчас присмирел. Потому что оказалось, это скрипнул спинкой стула не кто-нибудь, а гвардии старший лейтенант Васильев. Именно он. Он слушал, наклонясь, подавшись вперед, уткнувшись локтем своей единственной живой руки в колено, прибаюкав бородку в ладони, а другая, кожаная, рука неподвижно и безразлично свисала, — он слушал, и на лице его, хотя я только сбоку мог видеть его лицо, было такое ошеломленное выражение, какого я даже не мог предполагать у командира первой батареи.

Руки,
Как вы могли легко обвиться
И все печали снимали вдруг...

Вот оно что. Руки. Наверное, эта песня Клавдии Шульженко, которую пела Тамара Терехова, особенно его тронула. Он, должно быть, вспомнил, что у него самого в недавнем прошлом тоже были руки — две настоящие руки. И они тоже летали, словно большие птицы. Оживляли все вокруг. Ласковые и трепетные руки: хочешь — вкальвай топором, гребь веслами, крути баранку, играй на гармошке, обнимай кого положено, щелкай затвором и держи врага на прицеле, чтоб не дрогнула мушка. Были руки... А потом в сражении под Смоленском ему оторвало напрочь одну из этих двух рук, но, как гласит легенда, он не оставил позиции, сам после боя зарыл в землю, схоронил свою руку, и лишь когда команду-

щий фронтом раскричался, приказал, чтобы его увели в санбат, — тут он и упал без сознания... И теперь у него всего одна рука. Теперь не полетаешь. Не обовьешь. Не снимешь ничьих печалей, даже собственных.

Мне не забыть твоих горячих рук!
Ру-уки...

Я уж расстроился и подосадовал, что Тамара Терехова из всех замечательных песен Клавдии Шульженко выбрала именно эту, насчет рук. Очень некстати. Лучше бы «Синий платочек». Но ведь она не знала. И никто не предупредил. Такая жалость.

Однако же, когда Тамара Терехова допела до конца эту невеселую песню и в последний раз вскинула руки и положила себе на грудь, оборвав воспоминание, когда весь зал еще громче и яростнее ей зааплодировал (некоторые девчонки даже повизгивали от восторга), — тут я с удивлением заметил, что гвардии старший лейтенант растроганно и благодарно улыбается и тоже аплодирует, положив на колено свою кожаную руку, а другой, которая живая, хлопает по ней.

И когда старший сержант Тамара Терехова несколько раз вышла раскланиваться на эти долго не смолкавшие аплодисменты, мне показалось, что в последний раз она отвесила низкий поклон не всему залу, а именно гвардии старшему лейтенанту Васильеву, который привел нас сюда, — ему лично.

После концерта убрали стулья, и начались танцы. Тут нам опять приготовили сюрприз. Радиола заиграла вальс, а та, которая была вместо конферансье, объявила:

— Белый танец.

Я насторожился. Я понятия не имел, что такое белый танец. Во мне все еще жила детская неприязнь к разным белым замашкам, во мне шевельнулось подозрение, что белый танец — это когда танцуют белые, всякие там ротмистры и штабс-капитаны. Еще чего, белый танец...

Но оказалось, что белый танец — это когда дамы приглашают кавалеров. То есть девчата сами приглашают ребят.

Девушки-связистки, отважно пересекая зал, двинулись к гостям. Я успел заметить, как певунья и красавица Тамара Терехова

подошла к гвардии старшему лейтенанту Васильеву и, тронув пальцами краешек платья, чуть присела перед ним.

А передо мной вдруг появилась маленькая росточком, но довольно пухленькая девчушка с вопрошающим личиком. Все в ней вопрошало: косы двумя кольцами вверх — «ты кто?»; вздернутые белесые брови — «откуда?»; верхняя губа дужкой, красными воротцами — «зачем?»; и совсем уж изумленные растопыренные ресницы — «да на кой ты мне сдался?»

Но ни одного из этих вопросов она мне не задала, а только слегка прищелкнула каблукчиками своих туфель и спросила:

— Разрешите вас пригласить?

Я разрешил.

Дело в том, что еще в самом начале нашего пребывания в спецшколе капитан Евграфов объявил: для будущих офицеров умение блестяще танцевать столь же необходимо, как строевая выправка, как мгновенный расчет цели, как свежий подворотничок. Раз в неделю, по вечерам, Граф приводил нас в зал и самолично (француженка Лурье подыгрывала на пианино) учил нас танцевать, объяснял различные па и фигуры, даже снисходил до того, что с кем-нибудь из нас вертелся в вальсе либо скакал в мазурке. Мазурка, впрочем, у нас не получалась, вместо нее начинался атакующий лошадиный топот, и француженка Лурье в страхе затыкала уши, — но вальс и еще фокстрот мы усвоили.

Так что я был достаточно подготовлен к этой неожиданности, к белому танцу с девушкой из «черного батальона», которая меня пригласила. Неизвестно даже, почему меня.

Правда, нас тут было всего лишь сорок человек, а их целый батальон, и, как мог я убедиться, глядя поверх головы этой маленькой девчушки, все ребята были уже разобраны — все, какие есть. Наш помкомвзвода Валентин Ногтев носился по кругу с той, что была вместо конферансье, Олег Афонин и Димка Могутный — с теми двумя, которые толкали рояль, а Ваня Подобных — с остроносенькой пианисткой. А те девушки-связистки, которым никого не досталось, танцевали друг с дружкой, и было нетрудно догадаться, что это им привычнее.

А мы кружились с этой крохой — я держал ее на известном расстоянии.

— Меня зовут Цыплакова Надя, — сказала она.

В глазах ее был немой вопрос.

Ну, я ей тоже открылся.

— Я из Великого Устюга, — сказала она. Надо же, такая маленькая, совсем кроха, а из Великого Устюга.

Я ей вкратце объяснил насчет себя, что и как.

— Вы позволите проводить вас? После вечера? — осмелела она.

Я пожал плечами и холодно заметил ей, что это не положено, чтобы девушка провожала молодого человека, что это вопреки.

— Ничего, — сказала она. — Я провожу вас, а потом вы меня проводите.

В глазах ее был немой вопрос.

— Ладно, — смилостивился я.

— Ты не умеешь целоваться, — сказала она.

И, вздохнув, добавила: — Я сама не умею.

— А чего тут уметь? — слегка обиделся я. — Подумаешь, наука.

— Тебе сколько лет?

— Семнадцать.

Я накинул себе годочек. Для солидности! И по праву: ведь на войне год считается за два.

— А мне уже восемнадцать. Я старше тебя. Это плохо — значит, мы с тобой неровня.

Ничего, теперь все равны. Зато ростом я был гораздо выше ее.

Мы сидели на крылечке чужого дома, вроде дачи, таких домов полно в закоулках Богородского. В доме было темно и глухо: то ли хозяева крепко спали, то ли все работали в ночной смене, то ли их тут и не было вовсе, мытарилась где-нибудь в эвакуации. Во всяком случае, нас никто не гнал с этого крыльца.

Сначала Надя Цыплакова проводила меня до спецшколы, до забора, до будки, где часовой. Мы оглянулись — незрячие зашторенные окна «черного батальона» смотрели прямо в наши окна, тоже зашторенные и незрячие. Потом я ее проводил обратно, через улицу — опять забор, опять окна в окна. Ничего себе провожание: мечись, как в клетке, между заборами.

Тогда мы углубились в дремучий закоулок Богородского, нашли эту безмолвную дачу, это заиндевевшее крыльцо. Ночь была холодной, промозглой. И мы, чтобы хоть немного согреться, поцеловались.

— Ты не умеешь целоваться, — сказала она. — Я сама не умею. Девчонки надо мной смеются, потому что я еще никогда не целовалась с парнем.

— А в Великом Устюге? — строго осведомился я.

— В Великом Устюге? С кем же там целоваться? Там и до войны парней почти не было. Больше церквей, чем парней. Он очень маленький, Великий Устюг. А теперь никого не осталось: все парни на войне. Видишь, даже устюжские девчата сгодились. Мы боевые.

Это я уже понял.

Стреб ее потуже, поцеловал свирепее, чем в первый раз. Между прочим, это не от нее пахло в зале сиренью и фиалками, доведенными духами — от нее, от Нади Цыплаковой, пахло яблоком с морозца, когда оно оттаивает в тепле.

Она обеими ладонями отстранила меня.

— Я добровольно пошла. Я была самой лучшей телеграфисткой в Устюге. Сто десять знаков в минуту.

От близких ее губ отлетал пар. Верхняя губа была изогнута дужкой, красными воротцами.

Красными воротцами? А что там дальше, за красными воротцами? За «Красными воротами»?

— Это правда, что ты на «Кировской»?

Она посмотрела на меня испуганно. Белесые брови заломились. Косы прижались, как заячьи уши.

— А зачем тебе?

— Просто так. На «Кировской» тоже нет парней?

Надя Цыплакова рассмеялась.

— Какие же там парни? Там одни генералы. Им по тридцать лет. Да, пожалуй.

— Саня, — сказала она, положив мне руку на плечо, — ты умеешь хранить тайну?

Я кивнул вполне определенно. Мы все тогда умели хранить тайну и хранили ее. Как могли.

— Знаешь...

Надя отвела взгляд туда, за крыши и деревья Богородского, в непроницаемую темень, где ничего не было видно.

— Знаешь, однажды мы сидели на «Кировской», все на своих местах — и вдруг вошел Сталин.

— Сталин?

— Да.

— А вы... а вы что?

— Мы все встали. Встали и стоим.

— А он? Что он вам сказал?

— Он сказал: «Работайте».

— Ну, это ясно. А что он еще сказал?

— Ничего.

— Он сказал «здравствуйте»?

— Нет. Он только сказал: «Работайте».

— Но он вам скомандовал «вольно»?

Надя еще сильнее задумалась и покачала головой.

— Нет. Я точно помню. Он сказал: «Работайте». И всё.

— А потом?

— Потом он ушел.

Она все еще глядела туда, за крыши и деревья Богородского.

И я тоже посмотрел туда.

Там, за черными крышами, прилизанными белым инеем, за черными голыми деревьями, тоже тронутыми инеем, была непроницаемая темень, непроницаемая тайна — ни огонька, ни звука — там была Москва.

— Саня, — позвала меня Цыплакова Надя.

9

Пришло письмо из Барнаула.

Мама Галя писала, что живы, здоровы, что соскучились — все, что пишут в подобных случаях. Но дальше были строки, озадачившие меня. Она-де послала недавно коротенькое письмо в Харьков, на Сомовку, Горбатенкам — так, почти без надежды на ответ. А ответ вдруг пришел. Его написала тетя Оксана, каракули такие, что едва разберешь, однако сказано там, что дядя Гриша умер, а ее и Петю пока бережет господь.

«Саня, — писала мама Галя, — нет ли у тебя возможности съездить в Харьков хотя бы на денек? Нас завод не пустит, ты же знаешь, что отпуска перенесены на после войны. Да и очень далеко отсюда. Я бы хотела, чтобы ты взглянул — на месте ли наш дом,

цела ли квартира, осталось ли что-нибудь из мебели, из вещей? Ведь раньше или позже, а вернемся домой, я уверена. Остановишься на Сомовке. Высылаю тебе деньги на проезд, на всякие расходы...»

Вместе с письмом перевод на шестьсот рублей — совершенно плевые деньги по нынешним временам.

Мы все уже знали, что нам впервые разрешат недельный отпуск: москвичи смогут пожить у родителей, дома, а иногородним будет позволено съездить в иные города, если они на таком расстоянии, что можно смотаться туда-сюда за одну неделю.

А тут еще выяснилось, что Лешка Медведев (прозвище Топтыгин), старшина второй батареи, собирается ехать в Ахтырку, повидать отца и мать, пересадка в Харькове. Значит, компания.

Я заикнулся насчет билетов: дескать, трудно с ними.

— Какие еще билеты? — искренне удивился Топтыгин. — Ты кто — военный или шпак? Ихний нарком нашему должен...

Ну, эту премудрость я давно усвоил. Конечно, во время войны военным всюду предпочтение. В магазинах, в кассах кинотеатров длиннющие очереди безмолвно и безропотно согласно написанному правилу пропускали вперед военных. А в метро, у турникета, когда мы ехали куда-либо впятером или вдесятером, первый, проходя, сообщал: «Команда». Второй, третий, четвертый указывали пальцами через плечо: «Сзади». А замыкающий важно изрекал: «Ваш нарком нашему должен». И ничего — ни шума, ни крика...

Однако я никак не верил, что можно проехать от Москвы до Харькова таким же способом, бесплатно, без билетов.

— Можно, — сказал Топтыгин. — Запросто.

На перроне Курского вокзала он вручил мне свой фанерный чемодан (и у меня самого был фанерный чемодан, в каждой руке теперь по чемодану), а сам, выпятив грудь с надраенными пуговицами, направился к ближайшему вагону.

Тамбур вагона осаждала густая толпа. Ругаясь с проводником и друг с другом, пассажиры протягивали билеты, ведь каждому хотелось не только попасть в поезд, но и добыть местечко, где можно, хотя бы сидя, переспать ночь, скоротать сутки, а никаких плацкартных мест в билетах не значилось и вообще в помине не было. Вот и лезли напролом, давились.

Но когда Топтыгин подошел к тамбуру, в толчее сам собой образовался почтительный коридорчик. Проводник неловко отдал честь и даже не спросил, где, мол, ваши билеты.

— Ординарец, — коротко пояснил Топтыгин, бросив небрежный взгляд на меня, волокущего следом фанерные чемоданы.

— Пожалуйста, пожалуйста... — закивал проводник.

Вагон был набит битком.

Топтыгин огляделся, скорчил недовольную мину: куда приткнуться?

— Прошу вас, товарищ майор!

Пожилый и тщедушный старичок в мешковатом кителе с узкими военфельдшерскими погонами искательно улыбался Топтыгину и, потеснясь всей своей худобой, освободил для него полоску крашенной охрой скамейки меж другими сидящими.

— Спасибо, лейтенант, — благосклонно кивнул ему Топтыгин.

Вот когда я испугался не на шутку. Даже волосы взмокли под шапкой.

Я только теперь догадался, почему этот военфельдшер назвал Леньку майором, и почему так вежлив был с ним проводник, и почему с таким отчаянным нахальством вел себя мой попутчик. Из-под воротника шинели Топтыгина выплядывали лишь концы погон. На них, обшитых по краю курсантским золотым галуном, были еще старшинские лычки крест-накрест, но поперечная лычка спряталась под воротником, а продольная вместе с окантовкой оставляла на погонах два просвета старшего офицера, и сияющую артиллерийскую эмблему посредине можно было сослепу принять за майорскую звездочку.

А этот пожилой военфельдшер был, наверное, и впрямь подслеповат или же, оставшись на войне неисправимо штатским человеком, он все еще плохо разбирался в знаках различия, и Топтыгин — со своим внушительным ростом, басовитым голосом и надраенными пуговицами — с порога произвел на него впечатление большого начальства.

Но что будет, когда Ленька снимет шинель? Когда старикашка приглядится повнимательнее? Когда он заметит, сообразит, что рядом с ним на скамейке, впритирку, сидит совершенный сопляк, которому до майорского чина — как до небесных звезд?..

Однако Топтыгин и не собирался снимать шинель. В вагоне, стылом, нетопленом, продутом сквозняком, было жуть до

чего холодно. Инеем обросли не только окошки, но и стены. Густое дыхание людей, набившихся в вагон, не оттаивало этот иней, а ложилось на него новыми мохнатыми слоями.

— Рымарев, лезь вон туда! — приказал Топтыгин. — Чемоданы тоже.

Свободной была лишь боковая багажная полка, третий этаж.

Я закинул туда наши фанерные чемоданы, уцепился за скобу, подтянулся, задел кого-то сапогом («Виноват!») — и был там.

Поезд тронулся.

По закону, когда поезд трогается в путь, человек обязан тотчас же, не теряя минуты, заняться едой. Я отпер замки своего чемодана. Нам выдали всю неделю сполна сухим пайком: хлеб, копчености, жилистые и древние, будто мощи, да кусковой сахар. Я вгрызся в копчености.

Поглядел: может, и Топтыгину хочется?.. Но там старичок военфельдшер уже подносил Топтыгину, стараясь не расплескать, крышку от алюминиевой фляги. Топтыгин опрокинул ее в пасть одним духом. А тот ему — крутое яичко. Они степенно беседовали, только не слышно о чем.

Я съел дня за три, больше не влезло.

Теперь согласно закону полагалось спать. Я лег удобно — вкосо, пристроив один из чемоданов под голову. Однако эта багажная полка, третий этаж, была чертовски узка. Уснешь, а на повороте вдруг занесет вагон — и загремишь с третьего этажа на людей, на тщедушного военфельдшера, на какого-нибудь майора, а то и на пол... «Виноват!»

Расстегнул бляху, вытащил полный конец ремня, припоясался к заиндевелой отопительной трубе, которая тянулась вдоль полки, снова защелкнул бляху на животе. Занесет, не занесет — надега. Можешь спать спокойно. И видеть сны...

Я увидел во сне Надю Цыплакову. Она, уцепившись за скобу, подтянулась, ойкнула, едва не сорвавшись, но все же сумела взлезть на эту узкую багажную полку, легла рядом. «Ты что? — испугался я. — Тут двоим...» — «А ты держи меня. Просто держи крепче». На ней была шинель — глухая и шершавая. «Расстегни крючки, жарко...» — попросила она. «Что ты, мороз!» — «Расстегни». Мне было очень трудно одной рукой обнимать ее, удерживать почти на весу, а другой расстегивать эти крючки, которые никак не

хотели расстегиваться. «Дальше», — сказала она. «Что дальше? Гимнастерка...» — «Погоди. Я сама...» — «Что сама?» — «Я сама не умею... Погоди. Только держи меня крепче. Не упусти меня».

Мы расстались с Топтыгиным — ему пересадка — на вокзале в Харькове.

Вокзала в Харькове не было.

Груды развороченного кровоточащего щебня лежали там, где раньше был вокзал, — я помнил его: красивый, торжественный, гулкий. На крошево падал снег и сразу темнел, пропитываясь гарью и пеплом.

На привокзальной площади стояли многоэтажные стены с прорубями пустых окон, зализанных копотью по верхней кромке, свисали пролеты обрушенных лестниц.

Неезженно, ржаво змеились трамвайные рельсы. Может быть, трамваи и ходили, но сейчас ни одного не было видно. От развалин вокзала отчаливали грузовики с солдатами, ничего не стоило напроситься в попутную. Но я уже обрек себя на пеший путь, хотя он был отчаянно далеким и — я уже понимал — так же отчаянно страшным, как эта привокзальная площадь.

Я двинулся по улице Свердлова, бывшей Екатеринославской.

Растерзанные дома открывали настежь свое нутро — когда-тошные жилые комнаты, коридоры, кухни, выкрашенные зеленым и розовым, оклеенные голубыми и серыми обоями, — будто исподнее. И оно было тоже изорвано в клочья, осыпано мелом, задымлено, опалено. Куда же подевались люди, которые жили тут? Вон и на улице — безлюдье...

Приближался центр. Развалин становилось все больше. Еще на вокзале я подумал, что ведь не может быть больше развалин, чем там, где развалено все дотла. А теперь понимал, что может...

Вот здесь, над речкой Лопанью, была гостиница «Спартак», в ней жил Ганс вместе с другими шуцбундовцами до того, как переехал к нам на Черноглазовскую. Где же гостиница? Нет гостиницы. Будто ее тут и не было.

Дом Красной Армии, возле которого в день Конституции я глядел, как поднимают на-гора портрет Сталина. Где же он, этот могучий дом? Нет никакого дома. Крошево, пепел.

Мне было очень далеко идти, однако ноги ненароком, сами по себе, то и дело сворачивали в сторону, удлинняя и без того длинный путь, уводили меня своей собственной натоптанной памятью. Куда вы ведете меня? Ах да, к Дворцу пионеров, где шестеро горнистов трубят в пионерские горны над белоснежной колоннадой. Где я мастерил в детстве свою первую летающую модель и вдруг ко мне подошла Полина Осипенко...

Ноги споткнулись, дрогнули в коленках.

Не было Дворца. Не было горнистов. Не было моего детства. Ничего не было.

Я шел. И куда я шел, везде на моем пути лежали разрушенные дома, стояли обугленные дома, а те, что выстояли и не сгорели, — они были сплошь исколоты пулями, изрешечены автоматными очередями, изувечены осколками бомб.

А в конце моего пути, на заречной Сомовке, я увидел одноэтажную городскую хату с долгим рядом окон, валким забором, покосившейся калиткой. И это, почудилось мне, было единственным в городе строением, которое миновали бомбы, которого не коснулись пули.

— А Петя где?

— Он вернется скоро. Пошел на завод наниматься, на «Серп и молот». Чтоб к дому поближе, — пояснила тетя Оксана.

Сняла с плиты ведро, плеснула горячей воды в корыто. Из железной банки зацепила с доньшка мазок похожего на деготь мыла, отрянула палец — поди, самодельное мыло, вонища от него — жуть...

— Я теперь на госпиталь стираю. Карточку дали и платят, конечно.

— А... при них? — осторожно спросил я.

— Да и при них то же самое — стирала. Тоже платили. Жить-то надо было, Санечка... — сказала она, не поднимая головы от корыта.

Я кашлянул — запершило в горле от едкого пара. Да и любой вопрос выговаривался с трудом.

— Дядя Гриша сильно болел?

Она локтем отерла с лица мыльные брызги.

— Не то чтоб сильно. На ногах болел... Голодуха доконала, вот и помер. Мы его на Журавлевке схоронили. А могилу растоптало танком. Надо будет навесни найти, поправить...

— А Лиза где?

— Ее, Санечка, в Германию угнали. Вместе с другими. Знаешь, сколько они, проклятые, туда народа угнали? Тех, какие помоложе, работать могут... А с бесполезными — знаешь, что они делали?

Дыхание тети Оксаны надломилось, она тяжело опустилась на табуретку.

— В Сокольниках...

— Я, тетя Оксана, тоже в Сокольниках живу. Только это в Москве. Там наша казарма, — встрял я неизвестно зачем.

Она посмотрела на меня пустым ослышавшимся взглядом — кажется, не поняла того, что я сказал.

— В Сокольниках... Там детская больница. Ребятишки там лежали, маленькие совсем, бесполезные. Немцам их кормить-лечить обуза... Так они, знаешь, что сделали? Пригнали туда эти... газвагены, машины такие закрытые, где на ходу газом травят...

— Душегубки?

Это страшное слово уже появилось в газетах.

— Да, газвагены... И давай туда детишек заталкивать — всех подряд, и scarлатинных, и желудочных, и у которых косточки сростаются. Они, детишки, плачут, беду чувствуют, упираются, а немец говорит: «Ехать к дядя-тетя, в Сталинград! Шнель-шнель — в Сталинград!..»

— Почему... в Сталинград? — Опять у меня свело горло. — Когда это было?

— Ну, когда им там навели капут... На тот свет, значит.

Визгнула дверь, в кухню вошел Петя. Пацанок Петя. Длинный, как жердь, драный ватник на нем — хоть запахнись вдвое. Щеки запали настолько, что зубы приоскалены. Глаза бродят... Мне стало вдруг не по себе от этих глаз.

— Ты? — спросил он, не сразу опознав меня.

— Я.

Он ощупал глазами мои погоны, пуговицы и канты кителя.

— Ты же летчиком хотел?

— Не получилось, — признался я. — Артиллерия.

— Тоже не получилось... — усмехнулся он чуть злорадно, как мне показалось.

И только теперь подошел, вяло тронул мою руку.

— Петенька, ну как там, на «Серпе и молоте»? — спросила тетя Оксана.

— Расчистка. Всех на расчистку направляют... Завтра пойду на Тракторный. Да и там, наверно, расчистка.

— На Тракторный? — заинтересовался я. — Можно, я завтра с тобой пойду?

— Пошли, — он безразлично пожал плечами. — Тебе-то зачем?

Но тут бродячие его глаза замерли на моем фанерном чемодане.

Я нагнулся, расстегнул замки, вынул оттуда все, что осталось: за четыре дня.

— Тетя Оксана, нам бы кипяточку, а? К сахару.

— Сейчас, ребятки. Я вам узвар сделаю. Осталось трохи...

Через полчаса мы сидели с Петей за столом в той же самой просторной горнице, за тем же столом, где нас щедро потчевали хозяева, когда мы впервые — мама Галя, я и Ганс — пришли на заречную Сомовку, к Горбатенкам. Только сейчас эта горница была не то чтобы пуста, а скорее гола совсем — одни обшарпанные стены, поросшие у потолка, в сырых углах, тонконогими серыми грибами.

Дошатый стол был не покрыт, на нем лежал нарезанный ломтями вязкий хлеб. Петя рвал оскаленными зубами жилы копченостей. Я, обжигаясь, глотал из кружки узвар: сморщенные дольки сушеных яблок.

— А помнишь, как мы с тобой во Дворце пионеров?.. — спросил я.

— Взорвали его, — глухо ответил Петя.

— Я видел... А голубятня твоя?

— Голубей мы съели, в первую зиму. Да и нельзя их было держать, за голубей расстрел, — объяснил он.

— Ну, это понятно, — кивнул я, — почтарики ведь.

— А голубятня целая, — сказал Петя, неожиданно перестав жевать. Глаза его опять остекленело и чуждо побрели вдоль стен. — Голубятня целая. Идем — глянешь...

— Давай.

— Вы куда, ребятки? — забеспокоилась тетя Оксана, увидев, что мы встали из-за стола. — Петя, куда же ты его тащишь? Сидели бы...

Нескрытая тревога слышалась в ее голосе.

По гнилым ступенькам вскарабкались мы на стреху. Петя распахнул незапертую дверцу, и мы оказались в тесноте голубятни, как в клетке. Частая железная сетка, лохматящаяся ржой, на все че-

тыре стороны открывала белые скаты крыш заречной Сомовки, прореженные черными гарями.

— Что она тебе говорила? Мать? — подступил близко Петя.

— Насчет чего?

— Насчет нас...

— Да ничего такого. — Я слегка отстранился от его блуждающих страшных глаз и оскаленных зубов. На кой черт, в самом деле, мы полезли сюда, на крышу.

— Про отца что сказала? — опять надвинулся он.

— Умер. Болел, потом умер.

— А про Лизку? Что в Германию угнали?

— Ну да.

— Врет она. Врет, понимаешь?..

Я оглянулся. Мне показалось, что близко, под нами, под крышей, хлипнула сырая ступенька. Но сразу стихло.

Петя стоял, привалившись спиной к ржавой сетке, запрокинув голову. Из-под его век медленно ползли слезы, а зубы были оцепенело закусены. Чуть разжались.

— Завтра, — сказал он шепотом. — По дороге.

Дядя Гриша повесился. Лизка уехала вместе со своим фашистом. Мы шли на Тракторный.

Немцы разместили в горсовете управу. Тем, кто не покинул город, кого не арестовали сразу, по доносу — что большевик, депутат или жид, кого не пристрелили на месте, — тем было велено работать, где и прежде. Из канцелярских некоторые так и остались при своих столах. Лизка по-прежнему стучала на машинке. Дядю Гришу разыскали на Сомовке, привезли под конвоем, загнали обратно в котельную — наступала зима. Приставили часового: на улице Дзержинского, в самом центре города, среди ночи, взлетел на воздух особняк, где жил немецкий генерал, и бомба была в котельной, засыпанная углем.

Дядя Гриша заугромел, состарился в один месяц. Однако еще держался, ждал, ждал часа. А дождался что Лизка, дочка, спуталась с гестаповским офицером, молодым и вальяжным. («Его Гансом звали», — добавил Петя, коротко взглянув на меня). На их заборе, на Сомовке, кто-то намазал дегтем: «Осторожно — немецкая овчарка!» Дядя Гриша, которого отпускали домой через сутки, избил Лизку до полусмерти. Она пожаловалась своему Гансу. Тот явился в котель-

ную и собственноручно отхлестал дядю Гришу плеткой по морде. Но Лизка тем не удовлетворилась. Она потребовала, чтобы этот Ганс честь честью женился на ней. А тому вроде бы не разрешало начальство, потому что неарийской крови. Но он добился: этот гестаповский Ганс не на шутку втюрился в Лизку Сиамскую Кобылу. Им разрешили, повенчали в немецкой кирхе, и Лизка съехала из дому.

Дядя Гриша повесился прямо в котельной, на трубе, когда отлучился часовой. Его привезли на Сомовку, бросили во дворе. Тетя Оксана молила журавлевского попа, чтобы отпел в церкви как подобает, но батюшка — наотрез, сослался, что нет у него права, поскольку человек сам на себя наложил руки, да еще разгневался и проводил тетю Оксану матюгом, был выпивши. Похоронили за оградой кладбища. Лизка на похороны не пришла и после не являлась.

Потом, когда немцы сдавали город еще по первому разу, Лизка Сиамская Кобыла уехала вместе со своим фашистом.

— А вы почему знаете, что уехала?

— Люди сказали.

Мы шли, окуная ноги в слякотное месиво глины и снега, такая была дорога, уже не первый километр.

Позади, слева, остались развалины турбогенераторного завода, а сейчас, насколько видно, открылось черное пепелище — будто бы здесь был лес, и этот лес выгорел дотла. Но память противилась: лес? не было тут никакого леса... А что тут было? Ведь я проезжал эти места много раз на трамвае — глазел в окно, а в самый первый раз я проезжал здесь, сидя в кузове грузовика, точнее над кузовом, на самой верхотуре, на узлах, когда мы перебирались с Черноглазовской на ХТЗ. Помню, как загоревал я, когда кончился город, потянулись пустыри, а тут... Что тут было?

— Тут что было? — не докопавшись в памяти, спросил я.

— Бараки были. Хатээзские бараки, еще от тех, которые завод строили.

Теперь и я вспомнил — бараки. Скучные ряды порыжелых барачков.

— Сгорели?

Петя помолчал.

— Их немцы сожгли, — сказал чуть погодя. — Они их приспособили... сюда газвагены мертвяков свозили, конечный пункт. Пока доvezут — уже все мертвяки. Сваливали в бараки, потом — бензином, потом жгли...

Голос его был глухим, но спокойным, почти безразличным. Как и полчаса назад, когда он поведал мне всю эту историю про дядю Гришу, своего отца, про Лизку, свою сестру.

Голос его был настолько спокойным, что я наконец отважился задать вопрос, на который доселе не хватало отваги.

— Петь, а сам ты... ты сам что делал при них?

— Сапоги чистил.

— Кому? — я обалдело взглянул на попутчика.

— А ты про кого спросил? Про немцев?

— Ну...

— Им и чистил. Немцам.

— Где? — Я выбирался из обалдения с таким же трудом, с каким вытаскивал облепленные глиной подошвы из дорожной слякоти.

— Где придется. На проспекте Сталина, на Карла Либкнехта, возле кино... Где их побольше шлялось.

Он остановился, переводя дыхание, оттянул на горле застежку драного ватника.

— На материну стирку мы бы не прокормились оба, подошли бы. А в их мастерские я не хотел, чтобы спрос меньше, когда наши придут... Слышь, Санька...

Я остановился тоже. Он зорко, искательно и вместе с тем отчужденно всматривался в мои глаза.

— Ты какой-никакой, а военный. Должен знать... Мне скоро призываться. Как думаешь — будет спрос? За то, что под немцем был, еще из-за Лизки...

Я неуверенно пожал плечами. Ей-богу, я не знал, какие насчет этого существуют порядки.

— Призвать-то призовут, — не дождавшись моего ответа, сам себя обнадежил Петя. — Войне еще сколько быть, а она людей молотит...

Мы похлопали дальше. Сговорились, где и когда встретимся, покончив дела, чтоб и домой вместе.

В отдаленье уже показались крутые горы обрушенного бетона, из которого, судорожно изогнувшись, торчали железные балки.

Это и был Тракторный.

Но дом в заводском поселке, где мы жили когда-то, оказался целым, почти невредимым, лишь несколько осколочных шрамов да пулевых царапин на его стене, пустяки.

Я вошел в знакомый подъезд, поднялся по знакомой лестнице, постучал в знакомую дверь. Тишина в ответ. Никого.

Никого? А почему, собственно говоря, там кто-то должен быть? Кто там может быть, в нашей квартире, если хозяйева просто в долгом отсутствии: мама Галя и Ганс — в Барнауле, а я вот поимел возможность навеститься в родные места, стою на лестнице перед дверью, и мои пальцы по давней, вспомнившейся им привычке шарят в кармане — куда подевался ключ, хотя никакого ключа у меня с собой нет. Ключ не понадобился.

По ту сторону двери, близясь, зашаркали шаги, шелкнул замок, дверь приоткрылась на железной створке.

— Вам кого?

Старуха в очках разглядывала меня сквозь щель. Одно из стекол ее очков было вроде бы треснуто и заклеено узкой полоской бумаги, как заклеивают окна от бомбежек.

— Мне... мне надо Рымаревых, — сказал я, не найдя лучшего повода для того, чтобы проникнуть в квартиру.

— Рымаревых?

Старуха обследовала меня своими очками с головы до ног и, убедившись, что я человек военный, из Красной Армии, а не какая-нибудь подозрительная шпана, отстегнула цепочку.

— Только тут нет никаких Рымаревых, — сказала она, когда я втерся в прихожую. — Рымаревы тут не живут.

— А кто тут живет?

— Я живу, — смуглым от старости пальцем она указала на одну из дверей. Потом указала на другую: — А здесь полковник живет, советский...

«Это хорошо, — подумал я. — Это уже хорошо, что советский полковник, а не немецкий или там бандеровский. Приятнее все же».

— Только его сейчас дома нет, — пояснила старуха. И обернулась к третьей двери, к той, что вела в мою комнату. — А здесь...

Но эта третья дверь вдруг сама отворилась, из-за нее высунулась младенческая головка в пестрой хустке, сосущая здоровенную титьку, а вслед за титькой показалась встрепанная молодуха, помаргивающая спросонья:

— Чого им трэба? — спросила молодуха старуху. Ее спросила, а не меня.

— Вот, каких-то Рымаревых ищет...

— Нэмае тут нияких Рымаревых, — покачала титькой молодуха. — Можэ, воны помылылысь?

— Да, наверное, ошибся... товарищ, — перевела старуха, глядя на меня сквозь разбомбленные очки.

А мне, откровенно говоря, не очень польстило, что тут принимают меня за круглого дурака, который перепутал адрес и невзначай постучал в чужую дверь. Ведь это была наша дверь. И квартира была наша. Я имел достаточные права не отступить, покуражиться хотя бы. Тем более что советского полковника не было в данный момент дома.

— Видите ли, дело в том, что я сам — Рымарев, — оправив ремень на шинели, сказал я.

— А-а... — на всякий случай согласилась старуха.

— Воны ридных шукають, — сочувственно кивнув титькой, объяснила ей молодуха. — От горэ!

— Нет, мои родные... в порядке, — поспешил я заверить обеих. — Просто это наша квартира. Мы здесь жили до войны.

— До вийны? Так колы ж цэ було... Мы тэж до вийны на Полтавщыни жылы, хату малы. А дэ вона, хата?

Молодуха бесстрашно смотрела на старуху — на старуху, а не на меня.

— А колы им трэба — мы можемо ордера показаты. И татко наш — вин тэж вийсковый, на фронта зараз... Так, рыбонько?

Она встряхнула свою рыбоньку. И я понял, что дело мое табак. Что ордер у них и впрямь есть. И что вообще эту крепость не возьмешь ни осадой, ни приступом: встрепанную полтавскую молодуху и младенчика с его титькой.

— Я здесь недавно живу, — слегка виновато сказала старуха. — Раньше я жила — спуск Пассионарии, знаете, возле зоопарка. Мы сторели... У меня тоже есть ордер.

Не оставалось сомнений, что ордер есть и у полковника. К тому же его сейчас не было дома. Так что я не мог проверить.

— Что ж, извините, — сказал я.

Они терпеливо дожидались, пока я уйду.

Но я не торопился уходить. Вспомнил, что мама Галя в своем письме поручила еще выяснить, осталось ли что из нашей мебели, из вещей. Мне уже было яснее ясного, что ничего, конечно, не осталось. Да и черт с ними, с вещами. Какие могут быть вещи, какая

мебель, если война. Однако мною овладело вдруг необоримое желание заглянуть. Ведь даже когда ничего не остается — в доме, в жизни, — все-таки что-то остается, какой-нибудь след, какой-нибудь гвоздь. Чаще всего именно гвозди и остаются. А я перед самой эвакуацией набил в стену гвоздей: приколотил звезду с серпом и молотом, ниже — полку, а на полке, вспоминаю, расставил труды Маркса и Энгельса, благо они были у нас на немецком языке, чтобы незваные гости, если они дойдут сюда, войдут сюда, — чтобы они прочли и, прочтя, повернули оружие...

Все это было в моей комнате. Но именно на пороге этой комнаты, в дверях, высилась непрístupная молодуха.

— Вы разрешите заглянуть? — спросил я ее робко. — Только взглянуть разок...

— Будь ласка, — неожиданно подобрела молодуха. — Гляньтэ. И посторонилась со всем, что при ней было.

Я заглянул.

В комнате на полу лежал полосатый ежастый (должно быть, набитый соломой) матрац. Стол да стул — не мои, не наши. От железной печки тянулась к фортке коленчатая труба. А на стене была красная звезда с серпом и молотом — на том самом месте, где я ее приколотил. На полке стояли как ни в чем не бывало книги с бордовыми корешками, присыпанными штукатуркой и пылью.

— А до вас... до того, как вас сюда вселили, здесь кто жил?

— Хто зна, — пожала плечом молодуха. — Мабуть, хтось и жыв.

Хтось. Я понял, что уже никогда в жизни ничего не узнаю про этого хтосья.

— Спасибо, — сказал я. — Большое спасибо.

— Нэ за що.

— До свидания, — сказал я, отдал честь.

На всякий случай в субботу я наведалься еще на Черноглазовскую.

Не то чтобы во мне теплились какие-то надежды на бывшую нашу комнатенку в старинном доме на Черноглазовской — тут уж давно не было надежд, — но теперь мною владела и взбадривала меня другая надежда.

В этом горемычном городе, который дважды сдавали и брали дважды, где, казалось, ничего не могло уцелеть, остаться, — все

же, по счастью, кое-что осталось, уцелело нечаянно и непостижимо, вроде моей красной звезды.

Я взошел по крутизне Черноглазовской улицы и еще издали увидел — да, цел. Он стоял на прежнем месте, этот степенный и хмурый дом, построенный дореволюционным купчиной.

Более того, у ворот сидел на лавочке старый дворник Никифор, опершись на черенок лопаты, такой же широкой, как его борода. Тот самый дворник Никифор, которого мы, дворовые пацаны, порой доводили своими забавами «до белого колена».

— Здравствуйте, дедушка Никифор.

— Здравствуй...

Он скользнул глазами по моим плечам и уточнил:

— Здравствуй, юнкер.

Я, конечно же, усмехнулся про себя. Вот что значит старорежимный человек. Да еще пересидевший тут, на лавочке, всю оккупацию. Не может отличить курсантских погон от юнкерских, от царских. Хотя, по правде говоря, они были точь-в-точь.

— А что, юнкер, деду Никифору гостинца не принес? Четвертиночку?

— Нет... — смутился я.

Не было у меня четвертиночки. Я ведь не знал, что цел-невредим этот дом на Черноглазовской. Что жив-здоров старый дворник Никифор. И все равно денег на четвертиночку у меня не было.

— А закурить есть, махорочка?

— Папиросы, — я поспешно задрал полу шинели, достал из брюк пачку.

— «Дели», — прочел на пачке Никифор. — Стало быть, дели́.

Ну, это я и сам знал. Это все знали.

— А в квартире вашей-то живут, — сощурясь от дыма, сказал дед. — Уже, считай, пятой сменой живут, как вы отсель съехали...

Я того пуще удивился. Не тому, что в нашей квартире живут, — иначе и быть не могло. А тому, что он меня, оказывается, узнал, догадался, кто я такой, хотя я уезжал отсюда от горшка два вершка, столько времени прошло, и теперь меня никак невозможно было узнать — а вот он, дед Никифор, каким-то образом узнал, догадался.

— А где... — обнадежился я дедовой памятью. — Гошка Карпенко, он где?

— Эвакуировались они, Карпенки.

— А Яшка Овсянок?

— Овсянки в Москву переехали. До войны еще.

— В Москву? Я тоже теперь в Москве, — похвастался я, не утерпев.

— Вот, может, и встретитесь.

— А Марик? Марик Уманский, четырехглазый?

— Марик?.. — переспросил дед. — В яме твой Марик. В яме они все, Уманские... Душегубками отвезли.

Только сейчас я заметил, что на стене дома, у ворот, вместо таблички с фамилией доктора Уманского — серый квадрат, светлее, чем сама эта закоптелая серая стена. Серый квадрат, будто памятная доска.

— Так, может, сбегашь за четвертиночкой, а, юнкер? — дед Никифор подмигнул мне поощрительно. — Я еще тебе расскажу...

— Не могу. Спешу очень — на поезд, — соврал я, снова чувствуя, как заливают щеки от стыда.

Мне было очень стыдно признаться, что у меня, у юнкера, ни шиша в кармане.

По улице Дарвина, по Совнаркомовской, по Сумской я вышел на площадь Дзержинского.

Сама площадь, эта самая обширная в мире площадь, сохранилась: то есть как она была ровным местом, так ровным местом и осталась.

Но обступавшие площадь знаменитые харьковские небоскребы, когда я взглянул на них, заставили содрогнуться. Они были похожи на мертвецов, которых смерть не смогла повалить наземь, а оставила стоять, прислонив к небу. Расстрелянные в упор, обгоревшие снизу доверху, с зияющими глазницами окон, с раскинутыми дланями бетонных переходов, они умерли стоя и, мертвые, продолжали стоять...

А когда-то на этой площади был первомайский парад, и мне выпало счастье видеть этот парад. Сияла на солнце медь оркестров. Чекая шаг, оцетинясь штыками, шли мимо трибун квадратные батальоны. Цокая тысячью копыт, на рысях проходила конница. Окутанные сизым дымом, лязгая гусеницами, двигались танки. Нарастая в калибрах, проезжала артиллерия. А в небе плыли огромные четырехмоторные самолеты...

Я и теперь не мог себе представить, что эту площадь — как ни страшен был ее мертвецкий облик — могла заполнить, затопить до края серо-зеленая, будто плесень, масса чужеземного войска. И другие танки — низколобые, отвратительные на вид, даже если б не было на их броне угластых белых крестов, — проползали тут, оставляя за собой гусеничный мокрый след. И другие самолеты — с подогнутыми кривыми ногами, с длинными насекомыми фюзеляжами — суетливо рыскали в этом небе.

Петя рассказывал, когда мы возвращались с Тракторного, как летом сорок второго года через Харьков шли немецкие войска, и вид их был необычен: танки были не зелеными, а желтыми, и солдатня на них была в желтых, песочного цвета, рубахах с закатанными до локтей рукавами, с распахнутыми воротниками — они прошли город, не задерживаясь, насквозь, — и догадливые люди говорили, что это войско перебросили из африканских пустынь и что спешит оно в Закавказье, в заволжские степи, в Азию, в Индию...

Он рассказывал, что, когда Красная Армия в первый раз брала Харьков, немцы потихоньку улизнули, уткнулись отсюда, не сильно сопротивляясь. Они просто обалдели, не могли очухаться после Сталинграда. Но и наши части, вступившие в город, выглядели измученными, измотанными поспешным преследованием врага. Лошади, едва переставляя ноги, волокли подводы, в которых сидели понурые от бессонницы и усталости люди. Среди них было много пожилых, годящихся в деды солдат и много новобранцев из киргизских, казахских глухومانей, едва понимавших по-русски, удивленно разглядывавших своими раскосыми глазами этот огромный город, какого им еще не случалось видеть, и вот довелось его взять...

Тогда хоть и радовались, но чуяли новую беду.

Несколько дней и ночей фашистские самолеты без передыха долбили город с воздуха — такими тяжелыми бомбами, что, когда они отделялись от пикировщиков, казалось, будто половина самолета продолжает лететь к земле, а другая половина взмывает ввысь. В Харьков ворвались эсэсовские дивизии — отборные, свежие и такие злые, словно они хотели начать войну сызнова. Даже ходили слухи, что немцы нарочно сдали Харьков, чтобы выяснить: кто еще тут остался за Советскую власть?..

Но сызнова они уже не могли.

Их вышибли, как вышибают зубы, — одним ударом, напрочь, до коренных.

Их вывели отсюда, из этого города, с этих улиц, с этой площади, где я сейчас стою и где стоят, опершись друг о друга, поддерживая друг друга, мертвые и слепые бетонные великаны...

На Сумской, когда шел обратно, я увидел возле драмтеатра автобус с зарешеченными окошками. У автобуса, у театральной двери стояли часовые в овчинных полушубках, цигейковых шапках, с автоматами поперек груди.

— Кого караулите? Какое кино? — шутливо спросил я у одного, краснощекого.

— Топай дальше, курсант, — посоветовал он мне и, цыкнув сквозь зубы, добавил: — Завтра узнаешь.

— Пошли, — сказал Петя назавтра.

— Куда?

Меня не очень тянуло снова куда-то идти. Я и так за эти минувшие дни натопался до полного изнеможения. Пешком да пешком. А концы-то, концы... Все исхожено, все выяснено. Некуда мне идти, лучше отоспаться впрок.

— Пошли, — настаивал Петя.

— А куда?

— Увидишь. — Он осклабился торжественно и злорадно.

Ну пошли.

Было декабрьское сырое утро. Воскресное утро. Прежде всего непривычно поразило многолюдье. Если в день моего приезда в Харьков больно сдавили сердце не только вид искалеченных улиц, но и сиротская их пустынность, то сейчас я не мог оправиться от изумления: сколько людей! Сколько людей, оказывается, жило в этом разрушенном бездомном городе. Где же они были накануне? Работали? Работали, наверное. Тут ведь работы — начать и вовек не кончить. Но сегодня воскресенье, самый раз отдохнуть, что и мне б не помешало. А они идут. Куда они все идут? Было еще загадочнее, что все они шли в одну сторону. К центру. Сотни людей торопливо и молча шагали с окраин к центру. И нам не повстречался ни один человек, который шел бы против этого течения, скажем — из центра к себе на окраину. Ни одного.

— Куда они все идут? — спросил я Петю.

— На Благбаз, — ответил Петя и снова ослабился. Ах вот оно что. На Благбаз, на Благовещенский базар, на главный городской базар, который расположен в центре города. Ну конечно. Ведь сегодня воскресенье — базарный день. В магазинах хоть шаром покати, да и шары по карточкам. А на базаре — там без карточек: деньги есть — покупай что хочешь, денег нет — продавай что хочешь, хоть с себя, выручай деньги, а потом на них покупай. Нормальное дело. Я ли в эту войну не шлялся по толкучим базарам, не продавал, не покупал...

Только мне показалось странным, что ни у кого из этих торопливых молчаливых людей — а их становилось все больше, — ни у кого из них не было в руках ни кошелки, ни чемодана, ни плетеной корзины на плече, ни холстинного мешка за спиной. Все они шли с пустыми руками. Но все торопились. И все молчали.

Теперь их были не сотни, а, поди, тысячи.

На Бурсацком спуске, который клонится к базару, я уже не видел под своими ногами булыжной мостовой, а лишь ощущал подошвами скользкие от растоптанного снега булыжины, но поскользнуться на них и упасть не было никакого риска, потому что спереди, сзади, с боков, вплотную и тесно двигались люди, и меня не могли оттереть от Пети, наоборот — его втирали в меня так, что ломило ребра.

Вся базарная площадь, сколько видно окрест, была запружена народом. Головы, головы. Уже не тысячи голов, а десятки тысяч. Люди продолжали молчать либо переговаривались вполголоса, но людей было так много, что по площади плыло мерное и напряженное жужжание, как от высоковольтных проводов.

Из шербатых руин по краю площади тянулась в пасмурную хмарь высоченная, тоже каким-то чудом уцелевшая колокольня Благовещенского собора.

А на склоне этого хмурого неба четко и черно вырисовывались четыре виселицы, издали похожие на кегельные воротца.

Но пацанку Пете, моему троюродному дяде Пете, не хотелось — издали. Он, жестоко работая локтями, продирался сквозь литую толпу туда, поближе, и мне удавалось втиснуться за ним следом.

Мы успели вовремя.

Там уже стоял автобус с зарешеченными окошками, тот самый, который я видел вчера на Сумской, возле драмтеатра.

А к виселицам задним ходом медленно подкатились четыре грузовика с опущенными бортами.

Из автобуса вывели четверых: трое из них были в немецких мундирах, без шинелей и без фуражек, а четвертый был в пиджаке.

Прокашлялся мегафон.

— ...именем Союза Советских Социалистических Республик... военный трибунал Четвертого Украинского фронта...

Пожилой офицер в папаше читал листок хрипловатым голосом, мегафон, шебарша и дзенькая, еще усиливал этот хрип, было трудно разобрать слова, и несметная толпа притихла, затаила дыхание.

— ...Лангхельд Вильгельм... член национал-социалистической партии с 1933 года, офицер военной контрразведки германской армии, капитан...

Который из них? Вот этот, наверное, — постарше, седой.

— Риц Ганс... член национал-социалистической партии с 1937 года, заместитель командира харьковской «зондеркоманды» СД, унтерштурмфюрер СС...

Ганс? Моложавый, вальяжный. Может быть... Я осторожно покосился на Петю. Лицо его было окаменелым и бледным, сквозь запавшие щеки проступали сцепленные челюсти. Он перехватил мой взгляд и покачал головой: не тот, мол. К сожалению, не тот.

— ...Рецлав Рейнгард, чиновник германской тайной полиции города Харькова... Буланов Михаил Петрович, тысяча девятьсот семнадцатого года рождения, русский, беспартийный...

Ага, вот этот — в пиджаке. Сколько же ему?.. Двадцать шесть лет, в самую революцию родился.

— ...добровольно перешел на сторону врага, поступил шофером в Харьковское отделение гестапо, принимал личное участие в истреблении советских граждан посредством «душегубки»... участвовал в расстреле шестидесяти детей...

Площадь взорвалась воплем. Лютым, бешеным, страшным.

И этот многотысячный вопль уже ни на миг не прерывался, куда офицер в папаше читал белые листки — я больше не услышал ни слова, да и никто, наверное, больше ничего не слышал — он дочитал до конца.

Четверых потащили к виселицам. Трое, немцы, шли, спотыкаясь, припадая, обвисая в руках конвоиров, но шли. А четвертый

упирался отчаянно, взбрыкивал задом, сучил пятками, пытался вырваться, разевал рот...

Мне вдруг почудилось, что я все это уже видел однажды. Очень странно, я впервые в своей жизни смотрел на то, как вешают, как казнят, а было ощущение того, что видел. Во сне, что ли?..

Нет, не во сне. Это аукнулось из далекого детства, когда Ганс вернулся из Испании. Он рассказывал мне про то, как в Барселоне, перед началом корриды, перед боем быков, на арене расстреливали фашистских диверсантов. «А они... боялись?» — спросил я тогда. «Кто?» — «Ну те, которых расстреливали». — «Боялись? Наверное, боялись». — «Они просили пощады?» — «Нет, — помню, Ганс прикрыл глаза, вспоминая, чтобы честно, он повторил: — Нет». — «А дети на стадионе были? Женщины там были?» — «Конечно, были. На корриде все бывает». — «А они их жалели?» — «Кого?..» — «Тех, которых расстреливали». — «Нет, их никто не жалел. Ведь это были фашисты». — «Ну правильно», — согласился я.

Я очнулся.

Площадь замерла.

Им накинули на шеи петли.

Кто-то махнул рукой, и четыре грузовика отъехали разом, выдернув кузова из-под ног.

Они задергались, норовя дотянуться ногами до земли, но земли у них под ногами не было. Подергались и застыли, свесив головы набок.

Площадь гудела — мстительно, гневно. Некоторые хлопали в ладоши. Другие тянули к висельникам грозные кулаки.

Рядом послышался сдавленный всхлип. Я оглянулся. Старушка, закутанная ветхим суконным одеялом — оно, подпоясанное, заменяло ей и пальто и платок, — эта старушка, выпростав сухонькую ручку, мелко крестилась, тихо всхлипывала, морщинистые щеки ее были мокры.

— Ты... ты что? — накинулся на нее Петя. Глаза его страшно блуждали, а зубы скалились, как тогда, на голубятне. — Ты что, старая, а?..

— Так ведь люди, — ответила она, утершись краем одеяла.

— Лю-уди?.. Кто — люди?

— Идем, Петро, — потянул я его за рукав.

Уже чувствовалось по возникшему напору, что толпа сейчас повернет обратно, отхлынет, устремится в окрестные улицы и по этим улицам начнет растекаться к окраинам.

— Кто — люди? — наступал на старушку Петя.

— Так ведь все люди, — сморкалась старушка.

— Все?..

— Не надо, Петя. Пошли.

Ей-богу, не стоило связываться с этой закутанной в одеяло старушкой. Может, она сумасшедшая. Долго ли тут, в Харькове, было сойти с ума.

Толпа понесла нас обратно.

10

Она возлежала на плетеном лежаке, подставляя солнцу то крутые свои бока, то гладкую свою спину. На ней были плавки, узкий лифчик, а на глазах черные очки — от солнца. Она загорала. Кругом зима, снега навалом, еловые ветки согнулись от хлопьев, речка скована льдом, — а она, изволите ли видеть, загорает, нежится. Потому что над нею стеклянный потолок, сквозь который льются потоком солнечные лучи, а в самом помещении натоплено, как в бане, — поневоле скинешь с себя все, что можно и даже чего нельзя.

— Красивая она, правда? — тихо спросила Надя. Я скривил губы пренебрежительно:

— Нет... Та лучше.

— Почему?

— Та на тебя похожа.

— Не ври.

— Честное слово.

Надя быстро поцеловала меня в щеку. За мою честность.

Я наклонился к ее губам и подтвердил свое слово.

Мы могли целоваться сколько угодно, не опасаясь, что кто-нибудь сзади зашипит, заругается, дескать, мы ему застим экран, потому что сзади нас никого и не было — стена, последний ряд. Я нарочно купил билеты в последний ряд, чтобы никто не шипел, не мешал нам целоваться. И когда перед началом сеанса все рассаживались в этом тесном зальце кинотеатра «Луч», я заметил, что Валентину Ногтеву, нашему помкомвзвода, тоже досталось в последнем ряду —

с Лидой Батищевой, которая на вечере в «черном батальоне» выступала вместо конферансье, она у них была комсоргом.

Ответный вечер только еще предстоял, подготовка к нему шла полным ходом. Но нам было невтерпех дожидаться. Между нашей артиллерийской спецшколой и батальоном связи крепла соседская дружба. Большинство, как мы с Надей Цыплаковой, нашли друг друга с первого взгляда, с той самой минуты, когда Лида Батищева объявила белый танец и девушки отважно направились к своим избранникам. Ну, конечно, некоторые вскоре разочаровались, пытались переметнуться, пробовали отбить-перебить. Однако насчет этого у нас были суровые законы: не мечись, не суетись. Кое-кому пришлось в поучение начистить морду. И Надя Цыплакова рассказала мне по секрету, что в «черном батальоне» возникшие противоречия уладили тем же способом.

Связь работала как часы. Если Юрка Садков шел в увольнение и встречался у метро со своей Ларисой (которая толкала рояль), то можно было не сомневаться, что, возвратившись, он точно доложит Димке Могутному, когда идет в увольнение Зина (которая ей помогала), и Димка испросит увольнительную на тот же самый час. Через надежные руки передавались записки. А еще мы использовали такой обычный способ связи, как почта: писали друг дружке письма, треугольники без марок, и они совершали свой путь через улицу, от ворот до ворот, обретая где-то на пути привычный штемпель: «Просмотрено военной цензурой».

Я ездил в Харьков, была разлука.

И после этой разлуки я, сгорая от нетерпения, ждал встречи с Надей Цыплаковой на пяточке у кинотеатра «Луч», самого ближнего к Богородскому, напротив Сокольнического парка. Мы договорились посмотреть «Серенаду Солнечной долины», этот хваленый всеми американский фильм. Я купил билеты в последний ряд. Крутобокой красавице в черных очках надоело загорать среди зимы, она протянула руку к телефону, который был тут же, возле ее лежака, и позвонила своему хахалю. Ей сказали, что номер не отвечает, она сердито фыркнула.

А ведь она еще и не знала, что ее хахаль (звали его Тэд, довольно симпатичный малый, музыкант и спортсмен, с белозубой улыбкой) в это время катается на лыжах вперегонки с норвежской девушкой Карин, которую он недавно удочерил. Дело в том, что немцы оккупировали Норвегию и многих детей, спасая от фашистов,

вывезли оттуда на пароходах в Америку — нашлись добрые люди, которые согласились их приютить, — но Тэду досталась девушка уже старшего школьного возраста, моих примерно лет, белокурая, со вздернутым носиком, довольно решительного характера и впрямь похожая на Цыплакову Надю, только костлявее, наголодалась, поди, бедняга. Мне сразу понравилась эта эвакуированная девушка. И я уже смекнул, что белозубому парню Тэду она в конце концов окажется милее, чем эта капризная, скандальная, избалованная, изнеженная певичка Вивиан.

Так оно и вышло. Тем более что норвежская девушка Карин была отличной лыжницей, а уж что она творила на льду — уму непостижимо. Она вычерчивала коньками круги, восьмерки, скользила на одном коньке, ласточкой разведя руки, разгонялась, подпрыгивала и успевала при этом обернуться в прыжке, вдруг закручивалась юлой, волчком, приседая, поднимаясь, заломив над головой руки, — она вращалась так быстро, что было почти невозможно уследить, она как бы исчезала, растворялась в воздухе, — и резко останавливалась, вспоров коньками зеркальный лед...

Мы с Надей даже забывали целоваться, следя за этим чудом.

Еще я отметил, что там, в Америке, невзирая на военное время, людям жилось не так уж плохо, даже эвакуированным. Они ходили по ресторанам, слушали джаз, загорали под стеклянной крышей, пять раз на дню меняли костюмы, дымили сигарами. В общем, они продолжали жить как ни в чем не бывало, красиво и зажиточно.

Посмотришь — и вздохнешь.

Мы вздохнули, когда экран погас, а в зале рассвело.

Валентин Ногтев подмигнул мне издали, направляясь к выходу с Лидой Батищевой.

Ехали обратно в одном вагоне «четверки». Вечерний трамвай был пуст, мы расселись порознь: Валентин и Лида впереди, а мы с Надей позади.

Мимо окон поплыл темный лес.

— Знаю секрет. Не выдашь? — спросила Надя.

Я посмотрел на нее выразительно: а ты еще не убедилась?

Она кивнула убежденно.

— Так вот, послушай. Лида и Валентин решили пожениться. Он уже приглашал ее домой, в Ланинский переулок, где живет его мама. Она маме понравилась, Весной они распишутся.

— Но ведь он скоро заканчивает?.. Уедет в артучилище, потом на фронт.

— Конечно, — подтвердила Надя. — Он уедет, а она будет ждать. Теперь все так живут — ждут.

Мысль эта меня заинтересовала, а новость произвела сильное впечатление. Я вдруг подумал: а Надя Цыплакова понравилась бы маме Гале, если б я привел ее и сказал — вот, познакомьтесь, мы скоро распишемся, когда я закончу, когда мне исполнится. Наверное, понравилась бы. Ведь мне самому она очень нравилась.

— Странно, — сказал я.

— Что?

— Все это очень странно. Я никак не могу понять. Ты жила в Великом Устюге, а я жил в Харькове, А Валька Ногтев в Москве, а Лида...

— Она из Каширы.

— Из Каширы. Но это их дело. Я насчет нас с тобой... Ведь ты могла не пойти добровольно, осталась бы в Устюге. А я мог поступить не в Бийск, а в Ойрот-Туру, я хотел в авиационное, ты знаешь. Мне просто выпал жребий. Я мог вообще никуда не поступать — сидел бы и ждал призыва...

— Нет, ты не мог. И я не могла — я все равно пошла бы добровольно. Мы оба не могли бы.

— Правильно. Но я не об этом... Если б не жребий, я поступил бы в Ойрот-Туру. Авиационная спецшкола тоже вернулась в Москву, она теперь на Соколе. А Сокол — на краю света, Сокол на одном краю, Сокольники на другом. Мы бы жили в одном городе, но никогда не встретились... Я хочу понять, как люди находят друг друга, если по всем законам они вообще не должны были встретиться. Вот, например, Карин и Тэд, она в Норвегии, а он в Америке... нет, это кино, чепуха. Но я рассказывал тебе: один человек приехал к нам совсем из другой страны, из Австрии, он там сражался на баррикадах...

— Санька, — остановила меня Надя, — я уже догадалась, о чем ты. Не вздумай сказать. И даже не вздумай подумать... Война — разлучница. Она разлучает людей. Навсегда.

— Но ведь мы с тобой встретились!

Надя пожала плечами, отвела взгляд.

— Встретились... Но это не самое главное, как люди находят друг друга.

— А что же?

— Самое главное — зачем они расстаются? Зачем они теряют друг друга, если нашли?

Я вспомнил, что она уже говорила мне однажды: «...только ты держи меня крепче. Не упусти меня. Не потеряй меня». Когда говорила? Ведь она не говорила мне этого... Нет, говорила. Во сне. Когда я спал, пристегнутый ремнем к заиндевелой трубе, а поезд мчался в ночи.

— Война — разлучница, Санька.

Но ее грустно опущенные ресницы вдруг вскинулись весело:

— Знаю секрет. Не выдашь?

Я посмотрел на нее выразительно.

— Ваш гвардии старший лейтенант Васильев влюбился в Тamarу Терехову. Помнишь, которая пела, старший сержант?..

Ну вот и еще одно доказательство того, что нельзя ни высказать вслух, ни подумать.

— Они встречаются у памятника Пушкину.

Мы распрощались в Богородском, у трамвайного круга. Наде с Лидой направо, а нам с Валентином налево.

— До свидания!

— До послезавтра...

Послезавтра был День Красной Армии.

Духовой оркестр играл «Амурские волны». Там, наверху, в зале. Закружившись в своих нелегких и ответственных заботах, в последних приготовлениях, я все же краем уха прислушивался к тому, как играет оркестр — как звонко поют трубы, как вторят им баритоны, как басовито и солидно, поддакивая, рывкает груба. Там тоже шла последняя репетиция. Оркестр играл хорошо. Старый капельдудкин сумел-таки в эту зиму восполнить потери, обучить вновь пришедших в оркестр неумех и сачков, натаскать их как следует в искусстве — и оркестр опять заиграл справно, ладно, дружно, ни визга, ни хрипа, ни прочей нескладицы, — а через несколько месяцев эти замечательные музыканты, первобатарейцы, последний раз продудев в свои трубы, станут в строй, закинут на плечи вещмешки и зашагают к воротам — выпуск, а старому капельдудкину придется все опять начинать сначала.

Но сейчас оркестр играл безупречно, и я радовался, что на нашем вечере будет играть настоящий живой духовой оркестр, а не

какая-то радиола, то и дело спотыкающаяся на истертых бороздках пластинки... Только вот удастся ли мне выкроить пару свободных минут, чтобы подняться в зал и, расшаркавшись по всем правилам, пригласить Надю Цыплакову станцевать со мной вальс «Амурские волны»?

На меня свалились нелегкие заботы. Опять капитан Евграфов возложил на меня очень ответственное поручение. Я отвечал за гардероб, за раздевалку.

Вообще раздевалкой у нас никто и никогда не пользовался. Шинели наши и шапки висели, как и положено, прямо в казарменных помещениях — рядком, каждая на своем месте. Всклакиваешь по тревоге, хватаешь свою шинель, шапку на голову — и в строй. Было бы даже странно, если б по тревоге или в ином подобном случае солдаты бежали гуртом в гардероб и толклись там между вешалок, где чья шинель, и хлопали себя по карманам: ах, куда подевался номерок?..

Но гардероб в спецшколе был, внизу, в вестибюле, у парадного входа. И вешалки там были, и дубовый барьер. Номерков не было, однако капитан Евграфов велел настричь картонок, продырявить в них дырки и намалевать цифры. Чтобы все чин чинарем, как у людей. Чтобы соблюдался полный порядок. Чтобы в суматохе никто невзначай не надел чужое.

Вот за это я и отвечал: за гардероб, за раздевалку. Мне дали в подмогу Олега Афонина.

А сам капитан Евграфов отвечал за сегодняшний вечер, за всю его организацию. Он был непревзойденным специалистом по этой части.

Духовой оркестр наверху, в зале, играл «Амурские волны».

Я чувствовал приятное волнение.

И все вокруг были в приятном волнении, в некоторой возбужденности, ведь это впервые после нашего приезда в столицу — праздничный вечер в спецшколе.

— Ну как, Рымарев, порядок? — спросил, подойдя, Граф.

— Так точно, — ответил я.

— Ну и прекрасно, Рымарев. — Он подмигнул мне загадочно и свойски. — Средь шумного бала, случайно... А?

Хлестко распахнулась парадная дверь. Вбежал запыханный Юрка Садков, он тоже был сегодня в числе распорядителей.

- Товарищ капитан... Не пускают!
- Кого не пускают?
- Девушек.
- Каких девушек?
- Наших, которых мы пригласили. Из батальона связи.
- А-а, этих...
- Часовой не пропускает.

Что за чертовщина? Я бросился к окну в глубине раздевалки. Отсюда была видна проходная будка. В ее проеме высилась фигура часового, Феди Комарова, бийчанина, из нашего взвода. Он держал «к ноге» винтовку со штыком. А дальше — у будки, у ворот, у решетки забора — стояли девушки в знакомых шинелях с черными погонами, в знакомых беретах со звездочками. И лица их были мне почти все знакомы: вот Лида Батищева, комсорг батальона, вот старший сержант Тамара Терехова, Лариса, которая толкала рояль, востроносенькая Шура, которая на нем играла... А вот и Надя Цыплакова, хотя она и мала ростом, совсем кроха, за другими не видно, но я ее сразу углядел.

Как же так и почему их не пускают? Ах вот оно что... Как я сразу не догадался?

Оказывается, кроме девушек из батальона связи, наших девушек, приглашенных нами, там, у проходной будки, появились еще какие-то совершенно незнакомые девушки, чужие, не из батальона связи, штатские, школьницы вроде, промокашки, из ближайшей, наверное, женской школы — узнали, прослышали, что у спецов, у артиллеристов, сегодня праздничный вечер, играет духовой оркестр, и тоже явились в надежде, а Федя Комаров, часовой, не пропускает их, потому что без приглашения, вы уж извините, но не велено, во всем должен быть порядок.

Вот оно что. Вот какое вышло недоразумение.

Я метнулся от окна обратно к барьеру, чтобы доложить обстановку капитану Евграфову. Чтобы это недоразумение тотчас устранить.

Капитан Евграфов стоял перед растерянным Юркой Садковым, покачиваясь с каблуков на носки. Вид его был совершенно спокоен, однако суров.

— Часовой выполняет мое приказание. Не пускает — и правильно делает. Никаких батальонов связи, ясно? Никаких... как это

у вас называется, «черных батальонов»... я не пушу на порог! Наши себе подружек... будущие офицеры!

Голос Графа постепенно истончался от негодования.

— Ступайте к воротам. Садков. Распорядитесь, чтобы пропускали только учениц женской средней школы. Это мое приглашение, я лично разговаривал с их директором. Старшеклассницы, все на хорошем счету...

Юрка не трогался с места, будто окаменел.

— Что же вы стоите, Садков? Вы не знаете, как их различить? Очень просто: они без шинелей, без погон. Немедленно выполняйте приказание!

— Слушаюсь...

Неловко повернувшись, Юрка направился к двери.

Любые вести — хорошие и плохие — в нашей спецшколе распространялись со скоростью электрического тока. Не успела еще захлопнуться дверь за понурой спиной Юрки Садкова, а наверху вдруг на полузвук оборвался вальс «Амурские волны». По лестнице застукотели башмаки. Ребята из всех трех батарей сбегались вниз, запрокивая вестибюль, переговариваясь вполголоса:

— Не пускают...

— Кого не пускают?

— Никого не пускают.

— Нет. Просто одних не пускают, а других пускают.

— Каких других?

— Нам не нужно других...

— Это кому как.

— Братцы, вот они...

Они просачивались в дверь, озираясь с робостью либо напускной важностью, становились в очередь к гардеробу, затылочек в затылочек.

— Рымарев, Афонин! Принимайте... — скомандовал капитан Евграфов.

Мы с Олегом начали принимать их одежонки — всякие немудрящие пальтишки, разные потертые шубейки, шапочки, платки, — уносили, вешали на крючки, возвращались, выдавали им картонные номерки. Пожалуйста, кто следующий?

Они отходили от барьера к тусклому вестибюльному зеркалу, охорашивались перед ним, приводили себя в порядок. Все они бы-

ли в одинаковых коричневых платьях и одинаковых белых передниках, у всех были одинаковые кружевные подворотнички, лишь туфли разные, а все остальное одинаковое. Ни дать ни взять — гимназистки из прежних старорежимных времен. Кошмар, да и только. Ну, еще глаза и волосы у них были разные, разных цветов, а так — все одинаковое.

— Получите номерок. Следующий.

— Извините, я забыла сдать боты...

— Ваш номер? Давайте, сейчас нарисуем.

Мы столкнулись с Олегом Афониним лбами в глубине гардероба — он нес, и я нес, — с трудом перевели дыхание.

— Слушай, а ведь они совсем одинаковые, — сказал Олег.

— Конечно, одинаковые. Все на них одинаковое, — подтвердил я.

— Нет, я не про то. Понимаешь, они совсем одинаковые — вот эти, из школы, и те, из батальона связи. Совсем одинаковые, обыкновенные девчата. Так почему же...

— А я почему знаю? — обозлился я и побежал к барьеру. Олег — за мной.

Оркестр наверху опять заиграл «Амурские волны».

Народа в вестибюле прибыло. И гостей, и наших. Я увидел Валентина Ногтева, который о чем-то пылко беседовал с капитаном Евграфовым. Комбат дружески обнял его за плечо, повел в сторонку, сюда, за гардероб, в укрытие.

Мы опять столкнулись лбами с Олегом Афониним — он нес, и я нес.

— Я говорю: разве те виноваты, что они в шинелях и в погонах? — спросил Олег. — Ведь война... Какая разница: в шинелях или в фартуках?

— Отстань! — прикрикнул я на него.

И так у меня кошки скребли на душе. У меня и так в глазах было темно от стыда и злости.

Я посмотрел в окно.

В будке высилась фигура Феди Комарова, ружье «к ноге».

А у будки, у ворот, у решетчатого забора стояли девушки из «черного батальона», не расходясь, еще не веря, что их так и не пустят. Я увидел: Лариса и Шура плачут. Лида Батищева не плачет. Старший сержант Тамара Терехова улыбается надменно... А Надя Цыплакова — все в ней будто вопрошает: косы двумя кольцами

вверх — «почему»?; широко раскрытые изумленные глаза — «зачем?»; белесые брови, надломившиеся шалашиком, — «за что?»...

— Послушайте, Ногтев... да образумьтесь же, не пылите...

Это был голос капитана Евграфова — там, за ворохами навешанных пальто.

— Вы достойный юноша, из хорошей семьи. Я знаю вашу маму... Зачем вам эти деревенские девахи? Эти маркитантки...

— Не смейте! Вы... вы...

Я услышал неслышный задыхающийся голос Валентина Ногтева.

— Не смейте! О маме — не смейте... И о них — не смейте... Там... там — моя невеста!

Больше он ничего не сказал. Будто не смог сказать. Я услышал бегущие шаги, а вслед им — грозный оклик:

— Куда? Назад, вернитесь! Я арестую вас, Ногтев...

Резко хлопнула парадная дверь.

Валька Ногтев — без шинели, без шапки, в чем был, — проскочил будку, отгеснив часового, схватил за руку Лиду Батищеву и побежал вместе с нею мимо решетки забора, туда, к Ланинскому переулку.

Десять суток губы ему было обеспечено.

Но я вдруг остро позавидовал ему. Мне тоже отчаянно захотелось вот так без шинели и без шапки, оттолкнув Федю Комарова, выскочить на улицу, схватить за руку Надю Цыплакову — и побежать вместе с нею...

Но куда мне было с ней бежать? Ведь у меня не было родного дома в Ланинском переулке, у меня теперь вообще не было родного дома — ни в Харькове, ни в Сталинграде, ни в Барнауле, нигде, — у меня теперь только и было, что вот эта артиллерийская спецшкола, дом родной.

И я тем более никак не мог убежать на улицу: ведь на моей сугубой и личной ответственности был весь этот гардероб, увешанный одежками, а в ладони моей был зажат и скомкан картонный номерок.

Я вернулся к барьеру.

— Как вы долго! — Девица в белом фартуке капризно надула губы. — Сколько можно ждать?

— Виноват, — сказал я. — Виноват, сероват, недавно из деревни.

— Заметно, — сказала она, кокетливо поведя карими глазами.

Больно надо. Давай, подавай следующий.

Я побежал с очередной шубейкой.

— Пойдите... как вас, мальчик!

«Мальчик!»! С ума сойти. Лопнуть от злости.

— Подождите... я оставила в кармане носовой платок.

Бери. А то придется дуть через одну ноздрю. Я вешал на крюк кошачью шубейку, когда опять услышал голоса:

— Товарищ капитан, то, что вы сделали, это... это по меньшей мере неблагоприятно!

— Товарищ гвардии старший лейтенант, я попрошу вас, я па-а-пашу вас... Во всяком случае, не вам обучать меня благородству!

— Не кажется ли вам, что мы по-разному понимаем это слово? Вкладываем в него разный смысл?

— Тихон Андреевич...

Голос Графа был спокоен и чуть лукав. Я мог бы забожиться, что он сейчас ухмыляется, глядя прямо в лицо гвардии старшему лейтенанту Васильеву.

— Тихон Андреевич, а нет ли у вас в этом... извините, «черном батальоне»... некой личной заинтересованности?

Всё.

Я побежал к барьеру.

— Куда же вы запропалились, мальчик... А номерок?

— Айн момент, — сказал я вежливо. — Сей секунд.

11

Шестого июня 1944 года союзники высадились в Нормандии.

Больше, как видно, они не могли тянуть да отнекиваться, пришлось открыть второй фронт.

Хотя бы потому, что днем раньше на плацу в Богородском состоялось торжественное построение дивизиона. Выпуск первой батареи.

Новый начальник спецшколы, Герой Советского Союза подполковник Мигай принял рапорт гвардии старшего лейтенанта Васильева. Потом они двинулись вдоль строя. Капельдудкин взмахнул рукой — оркестр грянул марш.

Потом выкрикали по списку фамилии. Строй размыкался, выпуская то одного, то другого. Подполковник вручал выпускное

свидетельство, жал руку. А тот отдавал честь, поворачивался кругом, становился на свое место. Строй смыкался.

Чеканя шаг, Ногтев подошел к начальству.

— Поздравляю... благодарю... желаю... — Подполковник Мигай крепко пожал ему руку.

— Служу Советскому Союзу!

Наш помкомвзвода Валентин Ногтев, наш лучший друг из старшей батареи, строгий и справедливый, с которым мы за минувший год протопали сотни верст, проехали тысячи километров, вместе мокли под дождем, стучали зубами на холоде, грелись у костров, съели пуд соли, — Валька Ногтев покидал нас. Интересно, в какое артучилище его направят — в Рязань, или в Уфу, или в Кострому, или в секретное, где учат на командиров «катюш»? Но и там и там недолго, сокращенная программа, получай младшего лейтенанта, получай предписание на фронт.

— Секерин Владимир Михайлович.

Володя Секерин, самый замечательный художник в нашей спецшколе, который умел изображать лица полководцев как живые, — он подошел к подполковнику, выслушал, ответил:

— Служу Советскому Союзу!

Они выходили один за другим и возвращались обратно в строй. Строй смыкался.

Этот торжественный акт имел и еще одно важное значение. С сегодняшнего дня вторая батарея становилась первой, заступала на ее место. Мы — третья, младшая, — делались второй батареей, девятиклассниками. А у ворот спецшколы уже сшивались желторотые шпаки в кургузых пиджачишках, в полосатых рубашечках, в кепочках — им, представьте себе, тоже захотелось быть военными людьми, артиллеристами. Что ж, посмотрим, кто из вас годится, а кому от ворот поворот.

— Первая бат-гарея, — скомандовал гвардии старший лейтенант Васильев, — шаго-ом марш!

Счастливо, ребята. Ни пуха ни пера.

А на следующий день союзники высадились в Нормандии.

Я не берусь утверждать, что между этими двумя событиями была прямая связь. Может, в штабе генерала Эйзенхауэра и слыхом не слышали о том, что в Богородском, в нашей спецшколе, состоялся очередной выпуск. Что первая батарея с песней ушла по

Богородскому шоссе к Сокольникам, а вторая батарея стала первой, а третья — второй, да еще вот эти желторотые у проходной будки...

Но, во всяком случае, им было известно, что Ленинград сломил блокаду, что фашистов выбили из Севастополя, что Красная Армия вышла к госгранице у реки Прут и вступила на румынскую территорию. Наверное, они догадались, что теперь и без второго фронта русские дойдут до любой черты, что Советский Союз победит.

Честно говоря, я питал достаточное уважение к союзникам, я даже спорил с ребятами, когда они чертыхались насчет союзников, утверждали, что от них, дескать, мало проку, одни разговоры да обещания, а вот помощи никакой нет. Тут они были не правы, помощь была, я сам видел.

Еще в Сталинграде, весной сорок второго, когда никто и подумать не мог, что немцы прорвутся к Волге, — я сам видел, как мимо Бекетовки, откуда-то с юга, из степей, тянулись непрерывной чередой, днем и ночью, колонны горбоносых мощных грузовиков. Порой случалась заминка, шоферы-солдаты выскакивали из кабин поразмять ноги, полежать на травке у кювета, — мы приставали к ним, выпрашивали, что за такие диковинные грузовики, солдаты объясняли, что американские «доджи» машины хорошие, тянут будь здоров, хаять грех, ага, вот и тронулись, значит, по коням, а ну, кыш, воробьи...

И теми же весенними вечерами сорок второго я видел, как над Бекетовкой, откуда-то из-за степей, из-за горизонта, высоко-высоко, с ровным гулом проплывали на закат эскадры тяжелых бомбардировщиков ненашенского облика — это были «бостоны», сказал Ганс, тоже американские... Все это я видел своими глазами.

А кое-что и на зуб пробовал. Не только яичный порошок, который выдавали по карточкам вместо мяса, не только окаменелый шоколад и лярд — жир неизвестно из чего, которым насквозь провоняла наша кухня в спецкоше (за все это спасибо, и не то слопаешь, когда жрать охота), но пробовал я и кое-что другое.

Когда Топтыгин, старшина второй батареи, вернулся из своей Ахтырки, он привез оттуда гостинцы, родители снабдили: две коробки из провощенного, непромокаемого картона с четкими надписями на английском языке. Топтыгин как раз изучал английский и перевел нам, что это американские завтраки, то есть походные

военные завтраки для американцев (уж не знаю, откуда завелись американцы в Ахтырке).

Он пригласил меня, Ивана Подобных и Юрку Садкова на угощение. Мы раскурочили обе коробки и стали угощаться. Там были галеты — вроде печенья, но не сладкие, а солоноватые, как хлеб. Свиная тушенка в жестяных банках, которые очень удобно открывались — потянешь за язычок, и снимается крышка. Сахар, завернутый в пакетики, три кусочка в каждом. И еще нарядные пакетики: из одного Топтыгин высыпал в стакан с водой какой-то порошок, вода зашипела, запузырилась, вмиг окрасилась в золотистый цвет — получился лимонад. А из другого надо было сыпать в кипяток, чтобы получилось кофе, но бежать в подвал за кипятком не хотелось — высыпали в сырую воду.

Все это мы быстро навернули: выскребли галетами тушенку — божественный у нее был вкус, схрумкали сахар, запили это дело лимонадом, кофейком, а напоследок закурили душистые сигареты «Кэмэл»: в каждой из коробок оказалось по пачке сигарет с верблюдом.

Да, ничего не скажешь, неплохо там у них с походной жизнью: раскурочишь непромокаемую коробку, пожуешь, запьешь, погладишь пузо — и закуривай...

— А это что? — спросил Юрка Садков, углядев на донышке коробки розовые листочки мягкой бумаги. — Зачем это?

В другой коробке тоже оказалась пачечка розовой бумаги.

— На раскурку не годится, — определил, пощупав бумагу, Ваня Подобных. — Нет, не годится...

— Зачем же на раскурку, если — вот? — показал я ему дымящуюся свою сигарету.

Мы взглянули на Топтыгина, ведь это он привез из Ахтырки американские завтраки, ему и знать, что к чему.

Топтыгин озадаченно почесал затылок, взял пустую коробку и, неслышно шевеля губами, стал снова перечитывать слова, которые на ней напечатаны.

— Братцы, догадался! — вскочил с кровати (мы пировали на кровати хозяина) Юрка Садков. — Все ясно: значит, сперва ешь, потом пьешь, дальше куришь — и в кусты, в укромное местечко, чтобы легче потом воевать... Ну?

Юрка взял розовые бумажки, отбежал в сторонку, присел.

Мы умолкли потрясенные: неужели даже это предусмотрено? Даже об этом не забыли. Во дают. Да, ничего не скажешь, очень удобно у них устроена походная жизнь.

А Топтыгин, достав из своей тумбочки потрепанный словарь, быстро листал страницы.

— Есть. «Нэпкин, нэпкинс...» Это салфетки.

— Что?

— Салфетки. По-английски будет «нэпкинс», — объяснил Топтыгин. — По-нашему «салфетки».

— Салфетки?..

Мы переглянулись — и тут на нас накатило: мы попадали на кровать Топтыгина, еще на соседнюю кровать, повалились и стали умирать от смеха. Это с ребятами случается, бывает: ни с того ни с сего вдруг накатит — и ложись помирай.

— Салфетки... — корчился от смеха Юрка. — Салфеточки! Ха-ха-ха...

— Подать сюда салфет! — гоготал Ваня. — Салфет моей милости...

— Мистер Нэпкинс, утрите варежку! — орал старшинским голосом Топтыгин. — Нате вам салфетку... Хо-хо-хо-хо...

— Салфетки! — Я боялся, что лопну со смеху.

Ну и посмеялись мы тогда.

Повезли нас в военкомат, на Семеновскую площадь. Не всю батарею разом, а повзводно, и даже не всех подряд, а только тех, кто по возрасту подлежал приписке — через год призываться, а некоторые из нас были младше, их еще и не вызывали.

Вот странное дело: мы уже сколько времени ходили в погонах Красной Армии, были военными людьми, и, честно говоря, не следовало с нами долго чикаться, взяли бы да и отправили на фронт всем дивизионом, ведь здоровенные парни — так нет: у военкомата свои законы, свои правила. Год приписки, год призыва. Жди своего срока. А идет война.

Там, на Семеновской, нас раздели догола и стали предъявлять врачам: один измерил рост, двигая вверх-вниз плашку на доске, испещренной сантиметрами, и рассматривал пятки, чтобы не было плоскостопия; другой выслушивал грудь холодной трубкой: «Дышите, дышите... теперь не дышите»; третий заставлял изо всей силы сжимать ладонью железный силомер; четвертый... они седи-

лись за стол, покрытый белыми простынями, и записывали в карточки, что им удалось вызнать. Между прочим, все эти доктора были женщины, и мы немного стеснялись, разгуливая нагишом, переходя из рук в руки, но сами доктора — ничуть.

Потом разрешили одеться, однако еще предстояло побывать у глазника, горловика, сдать кровь из пальца — это в отдельных кабинетах, и там образовалась порядочная очередь, сиди дождайся.

Ленька Голованов, который сидел со мною рядом, вдруг сказал: — Слушай, давай заглянем, раз уж пришли в военкомат. Я давно собирался.

— Куда?

— Насчет медали. Мне еще за Сталинград причитается, «За оборону Сталинграда».

Он достал из внутреннего кармана своего кителя какие-то бумажки, исписанные от руки, отстуканные на машинке, пропитанные синими печатями.

— Вот, все документы — имею полное право.

— А я-то зачем?

— Вдвоем веселее, — усмехнулся Ленька. — Одному боязно.

Надо же, какой забавный парень. Воевать ему было не боязно, а медаль получать боязно.

— Идем, — попросил он, — будь другом.

Я был его старым другом. Мы пошли вместе. Все равно очередь у глазного кабинета, где мы сидели, была томительно долга, сто раз успеем.

Дежурный подсказал, что за медалями — на второй этаж, комната шестнадцать.

Мы постучали в дверь, заглянули.

Там за письменным столом, над кипами бумаг, сидел пожилой седовласый капитан, а подле его стола сидела женщина в черном платке, двое маленьких ребятишек толклись у ее колен.

— Извиняемся, — сказали мы, притворяя дверь обратно; мы ведь не знали, что там кто-то есть, тоже, видать, насчет медали, вот эта тетенька; мы подождем, нам не к спеху.

— Эй, курсанты! — окликнул капитан. — Товарищи курсанты...

Мы разинули шелку.

— Заходите, заходите. — Капитан приглашающе греб ладошкой, зывал нас в кабинет. — Присаживайтесь вон туда. — Он по-

казал на стулья в уголке. — Мы уже кончаем разговор, сейчас закончим... Посидите.

Мы сели.

Женщина в черном платке не обратила на нас никакого внимания, а вот эти двое маленьких ребятишек, что толклись у ее колен, оба мальчонки, годочка по три-четыре, — они тотчас устались на нас любопытными широкими глазами, какими от века все маленькие мальчишки смотрят на военных людей, хотя в нынешнюю пору военных людей было гораздо больше, чем невоенных.

— К сожалению, ничем не могу помочь, — сказал седовласый капитан, разводя руками. — Просто не положено, исключено...

— А почему Марье Денисовой платят? У ней тоже двое маленьких, на обоих платят.

— Какой Марье Денисовой? — вскинул брови капитан.

— Из нашей квартиры, Денисова Марья, на «Красном богатыре» она работает. Ей, как пришла похоронка, сразу на детей оформили...

— Вы эту похоронку видели, читали? — быстро наклонился к посетительнице капитан.

— Как же нет? Мы с ней в одной квартире живем. Слышу — голосит не своим голосом, я к ней, а там — похоронка на столе. Муж.

— А что в похоронке сказано?

— Что убитый.

— Нет, не так, наверняка не так. Там должно быть сказано: «Пал смертью храбрых... погиб в бою за Советскую Родину...» Так или не так?

— Ну так, — кивнула, соглашаясь, женщина в черном платке.

— Вот. А ваш муж... — седовласый капитан опять развел руками. — Он проявил малодушие, трусость. Приказ номер двести двадцать семь: «Ни шагу назад». А он нарушил приказ, присягу...

Ленька Голованов незаметно подтолкнул меня коленом. Да я и так все понял.

Только она не понимала.

— Но он убитый? Нету его?

— Нет.

— На войне убитый, на фронте? Так почему же на них... — Женщина положила руки на головы мальчишек. — Почему на них пособие не выплачивают?

Капитан откинулся к спинке стула, тяжело вздохнул, отер испарину со лба.

Было видно, как нелегко, как мучителен для него весь этот разговор. Я подумал даже, что он нарочно зазвал нас к себе в кабинет, чтобы скорее покончить с этим затянувшимся разговором и начать другой, повеселее, допустим, насчет медалей, и еще, быть может, он предположил, что если в кабинет войдут двое новых посетителей, двое курсантов, двое артиллеристов, то женщина застесняется, собьется и уйдет. Все равно он не мог втолковать ей сути: вот уже целый час он ей втолковывает, а она не понимает и понять не хочет... Ведь, похоже, что и не впервой она пришла сюда за этим.

Но женщина в черном платке отнюдь не смутилась нашим присутствием — кто-то еще вошел, разные тут ходят, у всех свои дела, — она просто не обратила на нас никакого внимания.

А эти двое мальчишек, мал мала меньше, они, как только мы вошли и уселись, воткнули в нас свои любопытные глазенки и не сводили их, потому что для таких вот маленьких мальчишек нет на свете ничего интереснее и важнее, чем военные люди, на которых военная форма. Я это по себе знал.

— ...Катьке Смирновой, она со мной на дробилке работает, в Черкизове живет, ей на одну дочку выплачивают, большая уже дочка, в школе учится. А у меня их двое — и нет?

— Ее муж пал смертью храбрых, — устало сказал седовласый капитан. — А ваш муж...

— Я знаю, — согласно кивнула женщина, — в нем и раньше храбрости не было. Робкий очень. Жениться даже робел. Все ходил круг дома, все издали, издали. Кабы я не настояла, то и...

Одинокая слеза медленно сползла по ее щеке.

Ленька опять толкнул меня коленом о колено, сильнее, чем в первый раз. Но я ведь и так слушал. Я и так понимал, о чем речь. Это она не понимает, а я-то сразу понял. И нечего толкаться.

— Робкий был, тихий... Но ведь теперь нет его? Убитый?

— Он был виноват. И понес за свою вину...

— Виноват? — переспросила женщина.

— Да, — твердо сказал капитан.

— А они?..

Женщина положила обе свои ладони на круглые головы маленьких мальчишек, которые с любопытством смотрели на нас, и повернула их головы к письменному столу.

— Чем они виноваты?

Ленька Голованов встал и зашагал к двери.

Я и опомниться не успел, но тоже вскочил — и за ним.

— Курсанты! Вы куда?.. — оторопело, негромко окликнул се-
доголовый капитан. — Товарищи курсанты! — Но этот последний
оклик я услышал уже за дверью.

— Ты что? — спросил я, догнав Ленку.

— А ты что? Я тебе сколько раз делал знак... чтоб на выход?

— Но почему? Я думал, что ты...

— Думал-передумал. Не тем концом думал.

Ленька шагал по ступенькам лестницы, мрачно и бодливо на-
клонив темя.

— А как же медаль? Ведь тебе причитается?

— Причитается, никуда не денется. В другой раз зайду.

Он остановился на последней ступеньке.

— Ты еще мало понимаешь насчет войны. Разве война — это
медали? Ну, медали, конечно, тоже. А вообще война — это...

— Гляди, — перебил я его, — наша очередь.

Как раз из глазного кабинета выбрался, моргая, Иван Подоб-
ных. А наша очередь была за ним.

— В общем, война — это... — договорил свое несколько дней
спустя Ленька Голованов. — Лучше б ее, проклятой, не было. Так
ведь кто ее звал? Сама пришла.

Он укладывал свой сидор.

Медкомиссия признала Ленку негодным к строевой службе.
И к нестроевой тоже. Из-за глухоты, из-за контузии, которая у не-
го, оказывается, не исцелилась, а пошла в разгон. Доктора хотели
даже сразу определить ему инвалидность, но Ленька Голованов за-
орал на них так, что те чуть под стол не залезли, — он просто вы-
шел из себя от ярости, еле успокоили.

Из спецшколы теперь тоже пришлось отчисляться, потому что
в артучилище все равно не возьмут.

Бедный малый, вот как его оглоушило на фронте.

Ленька Голованов уезжал в Сталинград, в Бекетовку, домой.

— Учиться будешь или работать? — спросил я.

— Что?

Я повторил.

— Нет, учение побоку. Все науки превзошел... Пойду работать.

— А куда?

— Туда же, на лесозавод. Все-таки батя там до войны работал, и сам я вроде не чужой. Опять к Савелию Максимовичу.

— Ты ему от меня передай привет. И тете Кате.

Ленька затянул покрепче узел сидора. Усмехнулся невесело:

— Передам... А ведь мать, поди, еще и обрадуется: сын домой пришел почти калекой, — а она еще и обрадуется.

Он присел на койку, вынул из кармана кисет с махрой, помедлил, оглянулся на дверь, но все-таки задымил прямо здесь — что ему было терять.

— Интересно, на лесозаводе по-прежнему мины выпускают? Как ты думаешь?

Он, не отвечая, глотал едкий дым.

Я предположил, что он снова не расслышал, повторил:

— Интересно...

— Да чего ж тут интересного, — хмуро сказал Ленька. — На этих минах, кроме немцев, и наши ребята подрывались. Весной, когда все кончилось, вышли пахать за Ергеня — мальчишки совсем, вроде нас, больше ведь некому, одни мальчишки да бабы, — а там на каждом шагу натыкано этих мин. Прямо этажами зарыты: немецкие, под ними советские, опять немецкие... И вся земля, поверишь ли, не земля, а сплошное железо — осколок на осколке... Вот ты и попаши.

Он задавил окурок подошвой.

— И еще одно дело там досталось ребятишкам вроде нас — больше некому... Мертвецов ховать. Они там тоже один поверх другого, только снегом пересыпано: немцы, наши, опять немцы, опять наши — тысяча на тысяче. Похоронные команды, армейские, вперед ушли. А тут, весной, опять наружу... И всех надо схватить, схоронить. Кого с честью, кого без чести, но тоже надо. Вот и дали ребятишкам лопаты в руки...

Ленька смотрел мимо меня. Далеко и оцепенело. Мне почудилось вдруг, что я уже видел однажды этот оцепенелый взгляд, — да, вот такой же был взгляд у моего троюродного дяди, пацанка Пети Горбатенко, когда он смотрел сквозь ржавую сетку своей голубятни на испятнанный черными горящими снегами заречной Сомовки.

— Я знаю, что ты меня жалеешь, — сказал Ленька Голованов. — Знаю, не спорь. Только ты меня не жалей, не надо. Понимаешь, Сталинград — он навечно Сталинград. Значит, и я — навечно...

Он вскинул на плечо зеленый сидор.

— Ну, я свое отвоевал.

12

Меня вызвали с занятий по топографии.

Лейтенант Жежеря с красной повязкой на рукаве — он был дежурным офицером — вошел, хромая, в класс, перемолвился шепотком с преподавателем, отыскал меня глазами и согнутым пальцем, не шибко уставным знаком, поманил меня в коридор.

— Там к тебе приехали из Сибири. Мать ваша звонила... — сообщил он, загнанно переводя дыхание.

Он был сегодня дежурным по дивизиону, а у дежурных офицеров всегда невпроворот всяких докучных забот. Они целый день как угорелые носятся с этажа на этаж, от двери к двери, от телефона к телефону. Из оружейной на кухню, из караулки в каптерку, от замполита к начхозу и обратно. Это сущая каторга — быть дежурным офицером. Особенно если нога-волокуша.

— Они остановились в гостинице «Люкс». — Лейтенант Жежеря достал из кармана белый листок. — Даю вам увольнение на сорок восемь часов. Ночевать будешь в расположении. Вот так, Рымарев, давай.

Я еле удержался, чтобы не обнять дежурного по дивизиону, не броситься на шею лейтенанту Жежере. Но это было бы совсем не по уставу.

— Слушаюсь.

Еще в трамвае прикинул маршрут: от «Сокольников» до «Охотного ряда», вбок на «Площадь Свердлова» и до «Маяковской», от туда пешком.

Я знал, где находится гостиница «Люкс». Не потому, что уже бывал там, а понаслышке. По одной весьма странной наслышке.

Месяца три назад, в самом начале сорок пятого, вот так же внезапно вызвали с занятий Кима Форкаша. Я успел спросить его: «Куда?» — «В гостиницу «Люкс», — ответил Ким и подмигнул

мне своим корейским глазом. «А где это?» — «На улице Горького, возле бывшего елисеевского...» — «А что там?» — «Общежитие коминтерновцев». — «Но ведь Коминтерна уже нет?» — «Коминтерна нет, а коминтерновцы есть... Наверное, папа приехал!» Он заулыбался от скулы до скулы, говоря о своем венгерском отчине. Пожал мне руку — и с концами. Больше Ким Форкаш не появлялся в спецшколе. Его просто сняли с довольствия.

Так что я не мог не испытывать некоторой тревоги на пути в гостиницу «Люкс», откуда люди исчезают с концами. Я вовсе не хотел, чтобы меня снимали с довольствия.

Но кроме этой смутной тревоги меня переполняла радость: ведь уже почти два года я не виделся с мамой Галей, с Гансом, целых два года — и вот мы сейчас свидимся... Интересно, как же это им разрешили съездить в Москву, повидаться со мной? Время не то — разъезжать да проведывать. Отпусков не дают. Война.

Еще идет война.

Я поднимался по эскалатору «Маяковской», зорко высматривая всех едущих навстречу соседним эскалатором вниз. И как только показывался офицер либо генерал, я козырял им, отдавал честь. Наверное, в таких местах, как эскалатор, козырять и необязательно, но я отдавал им честь. И дело было вовсе не в том, что мне доставлял удовольствие сам этот воинский ритуал. Я отдавал им честь.

Я с глубоким почтением и острой завистью смотрел на этих людей, опаленных огнем. Завидовал их корявым полевым погонам, мятым фуражкам и пилоткам, пыльным сапогам, окислившимся медалям на выгоревших лентах, приколотых густо вкось и кривь к гимнастеркам.

Я уже понимал, что мне не суждено быть на фронте. Таков оказался жребий.

«Ребята, ведь мы все равно не успеем. Война закончится раньше, чем мы... чем вы...» — всплыл в памяти занудный голос Йоньки Дуды. Тогда, весной сорок третьего, на крутом берегу Оби. Значит, он оказался прав? Нет, конечно, не прав. Кабы все так рассуждали, да прикидывали, да угадывали — бог знает, сколько бы еще длиться этой войне. Интересно, где сейчас Дудка, что с ним? Надо обязательно расспросить маму Галю.

Я шагал по улице Горького к Пушкинской площади.

Обе стороны улицы были запружены военными — торопливыми, озабоченными. Военные. Одни лишь военные. Даже женщины. Вот эта, пожилая, в седилах, с майорскими погонами, — я козырнул ей. И вот эта, совсем еще девчушка, в беретике со звездой, стрельнувшая в меня вместо приветствия неуставным взглядом, — я вспомнил, я загрустил...

Все военные. Как и я.

Среди этих военных во встречном потоке попадались и военные не в нашей форме, а в заморской: френчи с накладными карманами, рубашки цвета хаки при галстуках, витые аксельбанты, фуражки седлом, фуражки кастрюлькой, руки поигрывают стеками... Привет союзникам.

Вереница черных лоснящихся автомобилей промчалась по стрезню улицы туда, вниз, к Кремлю. На радиаторе головной машины трепетал пестрый посольский флажок, но я не успел разглядеть чей.

Как-то поутру капитан Евграфов построил батарею.

— Вам должно быть известно, — начал он с обычной торжественностью, — что в Москве пребывает с визитом глава Временного правительства Французской республики генерал Шарль де Голль.

Нам это было известно.

— Генерал де Голль намерен посетить в Москве некоторые военные училища, а также академии, — продолжал Александр Павлович. — Завтра он прибудет к нам.

Капитан сделал значительную паузу. Мы тоже молчали в благоговении.

— Так вот. В спецшколе должен быть наведен образцовый порядок. То есть идеальный порядок. Первый взвод будет натирать паркет — чтоб сияло. Второй взвод будет протирать койки в спальнях помещениях. Ибо что делает французский генерал, когда он посещает казарму? — Капитан Евграфов поднял палец. — Прежде всего он вынимает из кармана белый батистовый платочек и проводит этим платочком под низом койки. И если на платочке окажется пыль...

Брови капитана в ужасе взметнулись.

— Третий взвод... Помкомвзвода Рымарев, вы получите от меня особое задание.

Я расправил плечи, вздернул подбородок. Капитан Евграфов продолжал выделять меня среди остальных.

— Вам, Рымарев, особое задание, — повторил он, распутив строй. — Вы и ваш взвод наведете порядок в отхожем месте. Понятно?

Так точно.

Мы поработали на совесть. Мы превзошли самих себя. Мы понимали: родная спецшкола, генерал де Голль.

К исходу дня я доложил, что особое задание выполнено.

— Посмотрим, — сказал капитан Евграфов.

Он смотрел придирчиво и строго, вникая в детали. Но под конец строгость на его лице сменилась восхищением и даже растроганностью.

— Молодцы. Bravo... — молвил Александр Павлович. — Гранд-Опера. Пале-Рояль. А?

Я скромно промолчал.

— Только вот что, помкомвзвода... — На лице капитана Евграфова вновь появилась озабоченность. — Ведь к утру вы все это опять... того. А?

Я молчал.

— Вот что, Рымарев, возьмите-ка пару гвоздочков и заколотите дверь до завтра. Понятно?

Понятно. Я так и сделал.

Всю ночь по коридорам и лестницам спецшколы носились белые призраки — куда-то в подвал, куда-то в котельную, черт знает куда.

Генерал де Голль не приехал.

Ни завтра, ни послезавтра, ни вообще. Наверное, у него не хватило времени.

Пропуск мне был заказан.

Войдя в гостиницу «Люкс», я тотчас убедился, что правила здесь жесткие. Что «Люкс» не та гостиница, где приезжий человек спрашивает: «Места есть?», а ему вежливо отвечают: «Местов нет», а он еще начинает куражиться, требовать жалобную книгу. Этого приезжего человека сюда бы и на порог не пустили.

Мне же велели предъявить удостоверение личности, внимательно его изучили, выписали разовый пропуск, указали, какой этаж и какая комната.

Я поднялся по лестнице и зашагал вдоль длинного коридора, вертя головой, следя за цифрами на дверях.

Остановился. Постучал.

— Саня! — метнулась навстречу мама Галя.

Такая маленькая, она стиснула в объятиях меня, большого. Приникла головой к плечу. Я увидел в ее волосах седые нитки.

Потом она отстранилась, посмотрела на меня, явно любуясь. Когда на человеке военная форма, им всегда любуются, тем более если сын.

Подошел Ганс, и мы с ним тоже обнялись, облобызались троекратно — по-мужски, по-русски.

Сели.

Номер гостиницы был обставлен с осанистой старинной роскошью. Тяжелые портьеры на окнах. На полу ковер с бахромой. Грузный шкаф. Трюмо в полстены. Величавая кровать. Однако вся эта роскошь была довоенная, а может быть, еще и до той войны: ковер исшаркан до дыр, портьеры облезли, зеркало осповатое, в щербинах. Не оттого ли, когда я вошел в этот номер, на меня повеяло стародавней домовитостью? А я уже отвык.

— Ну, как ты... живешь? — спросила мама, пересаживаясь поближе и не сводя с меня глаз.

(«Как же ты живешь — один, без меня?» — договорили глаза).

— Нормально, — улыбнулся я в ответ.

(«Уж, конечно, лучше, чем дома», — беспечно договорила моя улыбка).

— Ты нюхал немножко порох? — поинтересовался Ганс. — Или пока теория?

— Нюхал. На полигоне.

— На полигоне — это уже настоящий порох, — ободряюще кивнул Ганс.

— А вы надолго? — спросил я.

Мне все же не терпелось узнать, каким ветром занесло их в Москву из далекой Сибири. Ведь и впрямь, не для того же они приехали, чтобы расспросить меня о житье-бытье. И нюхал ли я порох.

— На сколько дней?

Но вместо ответа на мой вопрос мама и Ганс лишь переглянулись мельком. И эта перекличка взглядов насторожила меня. Буд-

то они и сами не знали, что ответить. Будто бы они и самим себе еще не ответили на этот вопрос.

Ганс поднялся, промерил истертый ковер раздумчивыми шагами — туда, обратно.

Подошел к телефону, снял трубку.

— Один-четыренадцать.

Значит, здесь, в гостинице «Люкс», свой коммутатор.

И когда его соединили, продолжил по-немецки:

— Геноссе Коплениг? Хир Мюллер... Вир зинд алле байзаммен. Зи вольтен херкоммен... Битшён.

Да, мы все в сборе. В сборе вся семья. И велика ли семья — раз, два, три. Так зачем же нам кто-то четвертый, посторонний?

Теперь, после этого краткого телефонного разговора, мы все трое замолкли и сидели каждый на своем месте, прислушиваясь к коридорной тишине.

Мягкие шаги за дверью. Четкий стук.

— Херайн!

В комнату вошел очень высокий человек с гривой седых волос, зачесанных гладко к затылку, с резко очерченным подбородком и младенчески-ясными глазами. Он был похож на музыканта, на скрипача. Представительный такой, в темном костюме. И эта артистическая грива. И этот подбородок, который, поди, приходится так долго устраивать на скрипке, прежде чем взмахнуть рукой.

— Познакомьтесь, пожалуйста, моя семья, — сказал Ганс. А потом представил гостя: — Товарищ Коплениг.

Товарищ Коплениг пожал руку маме Гале. Потом протянул руку мне. Рука у него, однако, была широкая, грубая, мозолистая, во все не музыкантская рука.

И этой же рукой он сделал хозяйский жест, приглашая всех сесть к столу. Будто не он был гостем у нас, а мы были его гостями.

Пришлось садиться.

— Вот какой дела, товаришши... — начал Коплениг.

По-русски он говорил уверенно и внятно. Но куда хуже, чем наш Ганс.

— Вот какой дела... Центральны Комитет Австрийски компартия считает необходим, чтобы товариш Мюллер поступаль распоряжение партии. Да... Значительны территория наша страна уже освобожден Красной Армией. Там сейчас происходит сплочение

всех демократических сил... А наша партия понес тяжелы потери в борьбе с гитлеризмом...

На секунду голова его наклонилась — длинные седые пряди упали на лоб.

Одну-единственную секунду он просидел так, окаменев, склонив голову. И, выпрямив ее, закончил:

— Ганс Мюллер должен ехать на родина.

За окном густела вечерняя мгла. И хотя затемнение в Москве недавно отменили, ее улицы — даже главная улица, даже улица Горького, которая сейчас гомонила под окном, — освещены были скудно, безо всякого досужего сверкания.

— Надолго? — тихо спросила мама Галя.

Спросила и очень смутилась, как будто ей самой этот вопрос показался нелепым. Как будто ей вдруг стало стыдно, что она задает такой вопрос. Но она не покраснела от стыда, от смущения — наоборот, лицо сделалось бледным, как мел.

— Ауф иммер... Навсегда.

Широкая ладонь припечатала край стола.

И тотчас на потолке комнаты вспыхнули зоревые отсветы. Ухнуло невдали. Дрогнули стены.

Мама Галя испуганно оглянулась, сжалась вся в комок.

Я притянул ее к себе, успокоил:

— Это салют. Теперь каждый день салюты.

Она ведь еще не видала московских салютов. Хотя, наверное, и знала, что теперь в Москве что ни вечер громяхают салюты — по два, по три, а то и по пять салютов. Из двухсот двадцати четырех орудий. Из трехсот двадцати четырех орудий. Двенадцать артиллерийских залпов. Двадцать артиллерийских залпов. Фейерверк во все небо.

Залп. Залп.

Ганс и Коплениг переглянулись многозначительно. Гость встал из-за стола, направился к телефону.

— Один-четыренадцать... Магда? Хаст ду гехёрт?.. Вас загст ду?.. Данк.

Когда, положив трубку, Коплениг вернулся к столу, на лице его угадывалось некоторое разочарование.

— Взят Годонин, в Чехословакия... — сообщил он. — Это на правый берег Моравы.

Похоже, что они с Гансом ждали чего-то иного.

Но к делу.

— Мы можем просить Советский правительтво, — сказал Коплениг, — разрешить вам ехать в Австрию. Вместе с глава семьи...
Что?

Я вскочил, одернул полы кителя. Глянул на старинные часы, висевшие на стене. Будто я сейчас же, немедленно должен уйти отсюда. Будто бы у меня истекло увольнение и нужно срочно вернуться в казарму.

Маятник часов медленно ходил из стороны в сторону. Внутри часов захрипело, и они выдали звон. Наверное, эти старинные часы немного отставали — ведь звон должен был раздаться в то же мгновение, когда за окном громыхнул первый залп салюта.

Но это был в моей жизни самый последний момент, когда еще аукнулось детство и я испугался, что меня могут даже не спросить, а лишь прикажут: давай, мол, собирайся, укладывай манатки, поехали в Австрию вместе с главой семьи.

А может быть, это был в моей жизни самый первый момент, когда я напрочь разорвал все путы, еще связывавшие меня с этим постылым, тошным, покорным детством, когда я ощутил себя окончательно взрослым и свободным человеком — совершенно свободным. Мне семнадцать лет. На мне звездная форма Красной Армии. И уже никто не вправе отдавать мне приказы, кроме этой армии. Никто.

Во всяком случае, меня не то что огорошило, а просто возмутило само это предложение: покинуть свою родину и ехать куда-то на чужбину, хотя бы и с разрешения.

Да, я знал, что людям иногда приходится покидать свою родину, как покинули ее когда-то Ганс Мюллер и товарищ Коплениг. Как испанские ребята. Как венгр Форкаш и кореец Форкаш. Им пришлось... Но ведь у них и у всех хороших людей на земле была еще одна родина — вот эта страна, Советский Союз. А я сам из Советского Союза. Значит, для меня это родина вдвойне. И никакая другая родина для меня, извините, невозможна.

Не берусь гадать, что подумал товарищ Коплениг, когда я вскочил со стула. Однако хмуриться он не стал, а посмотрел на меня понимающе и даже сочувственно, как будто ничего иного и не ждал. Лишь усмехнулся краешком губ. Перевел взгляд на маму Галю.

Она сидела, опустив голову, прилежно теребя бахромку плюшевой скатерти.

— Да, я понимаю... — кивнул гость. — Вам нужно еще размыслить. Такие вопросы нельзя решать... как это?.. с кон-дач-ка...

Но никто не откликнулся на эту шутку, не оценил старательно выговоренного словца.

Коплениг шумно вздохнул, развел руками. Это означало: вот, дорогие товарищи, какие сложные функции мне приходится брать на себя. И поверьте, что эти функции еще не самые трудные.

Но он не сказал этого.

Он встал, подошел к маме Гале и, низко склонившись — так, что осыпалась седая грива, — поцеловал ей руку.

— Вы знаете, когда весной разливается Дунай, это... вундербар... это невозможно сказать, как бывает красиво!

«Вундербар», — отметил я.

— Когда я был такой мальчик, как Санька...

Он показал, каков он был тогда, но рука его при этом коснулась моей поясницы, и он смутился, поняв, что несколько ошибся в сравнении, что он упустил из виду минувшее с тех пор время. Что он имел в виду прежнего Саньку, того Саньку, а не нынешнего, который с ним вровень ростом.

— Ах, умгекерт! Наоборот, — поправился Ганс. — Когда Санька был такой, как я... Нет...

Он окончательно запутался.

«Умгекерт», — отметил я.

Почему-то сегодня в его речи особенно часто проскальзывали слова, от которых он сам уже отвык, хотя это и были его родные слова. Но он отвык от них и теперь, вероятно, снова старался привыкнуть.

Или же он слишком волновался.

Ведь предстоял отъезд. А они еще ничего не решили. Во всяком случае, так мне показалось: что они еще ничего не решили и, похоже, избегали этого решающего разговора.

Это было на следующий день. Назавтра после беседы с товарищем Копленигом.

Мы с утра бродили по Москве, бесцельно кружили по улицам и вот очутились на Каменном мосту.

Было солнечно и ветрено.

Река под мостом пучилась от талых вод, клокотала, крутила воронки. По ней плыли мелкие льдышки — запоздалые и сиротливые, отставшие от большого льда.

— Мы поедем по Дунаю на пароходе, — с воодушевлением продолжал Ганс. — Когда уберут мины, а сейчас там много мин...

Вот так они и разговаривали — о том о сем. Вернее, разговаривал Ганс — он сегодня очень много разговаривал. А мама Галя помалкивала. Она была настроженной, замкнутой, спрятавшейся. Она будто бы спряталась в себя, но глаза ее зорко посматривали вокруг.

Ведь она впервые в жизни оказалась в Москве.

Из-за речной излучины, из-за громоздкого темно-серого здания, вздыбившегося над рекой, показался ветхий катерок. Он пытел от натуги, исходил сизым дымом, волоча за собой огромную тяжелую баржу.

Они двигались трудно, медленно и не скоро достигли моста.

Мы склонились над чугунными перилами.

На корме баржи стояла дощатая хибара с двускатной крышей, похожая на деревенскую избу. Подле этой хибары женщина в черной косынке стирала в корыте. От хибары к рулю протянулась веревка, и на ней просыхали под ветром, сплустя рукава, полотняные рубашонки, колыхались простыни.

У ног женщины копошился ползунок, закутанный в овчинку. А чуть поодаль сидел на чурбаке русоголовый мальчишка лет двенадцати. На коленях у него была старая гармошка, поди, отцовская, еще не по плечу. И он, склоня щеку, насупясь от старания, трогал лады — искал нужную ему песню...

Катерок нырнул под мост. Миновала мост и баржа.

Мы тоже перешли на другую сторону.

Теперь перед нами был Кремль. Зубчатая, рыжая, в известковых потеках стена четкими уступами тянулась вдаль. Статные башни в островерхих шлемах зияли бойницами. На холме, по-над завесью голых еще деревьев, сгрудились лебединой стаей, распластали крылья, вытянули белые шеи кремлевские храмы. Тускло золотились кресты. И на горнем ветру полыхал, бился мятежно красный флаг над куполом дворца.

А совсем близко — так удивительно рядом — по весенней воде плыла чумазая баржа, и на ней стояла деревенская дощатая хи-

бара, сохли на веревке исподники, ветер урывками доносил робкий перебор гармошки — островок России проплывал мимо крутизны России.

Мама Галя отстранилась от перил, обернулась.

— Ты поезжай, — сказала она Гансу. — Езжай по своим делам. У него ведь сегодня была еще пропасть всяких дел.

А ей было нужно на Центральный телеграф. Но это совсем близко, на улице Горького.

Она заказала междугородный переговор с Рубцовском. Три минуты.

Почему с Рубцовском?

Но ведь там теперь живут Якимовы, Софья Никитична и Таня. Вот новость. Я и не знал, что они переехали из Барнаула в Рубцовку. Разве Таня тебе не писала? Я ей дала адрес.

Нет, не писала. Зачем ей писать мне.

Странно... Она хочет сдавать экстерном за десятый класс, решила поступать в институт иностранных языков в Москве.

Молодец. Но почему они переехали в Рубцовку?

Видишь ли, Санька, там, в Рубцовке, очень много знакомых харьковчан — есть даже из нашего дома. Там друзья Алексея Петровича Якимова. Все они работают на тракторном заводе, Алтайский тракторный, выпускают тракторы.

Ну, положим...

Да что ты, в самом деле. С сорок третьего года выпускают тракторы, обычные гусеничные, для колхозов. Ведь хлеб нужен, Санька, разве можно без хлеба? Полстраны разрушено, разграблено... Сейчас очень нужны тракторы.

Мы сидели в переговорном зале Центрального телеграфа. Хриплый репродуктор объявлял: квитанция такая-то, Одесса, кто вызывал Одессу, пройдите в четвертую кабину. В кабине зажегся свет. Тот, кто вызывал Одессу, бросался со всех ног к этому свету... Гражданка Семенова, вас вызывает Псков, восьмая кабина, Псков на линии. Кто заказывал Ташкент? Номер не отвечает, подойдите к дежурному, повторяю...

— У меня всего три минуты, — сказала мама Галя, задумчиво теребя квитанцию. — Больше не дали. Очень загружена линия. Я вызвала Софью Никитичну на переговорный пункт, дома у них нет

телефона... Сейчас в Москве четырнадцать, значит, там — плюс четыре часа — восемнадцать... Танечка выросла, стала красавицей, в мать. Она будет сдавать экстерном, но я уже говорила тебе, да?..

— Квитанция двести сорок два, Рубцовск, пройдите в первую кабину! — возвестил репродуктор.

В первой кабине вспыхнул свет.

Я видел, как мама Галя, отстранив темную прядь волос, приложила трубку к уху. Как ждала озабоченно и молча. Как лицо ее просияло, губы заговорили торопливо и сбивчиво. Как слушала. Как заговорила опять. И как из глаз ее хлынули слезы, она поднесла руку к горлу, испуганно, сквозь стекло, покосилась на меня, отвернулась, плечи ее затряслись в рыдании. Но она совладала с собой, достала из сумочки платок, отерла им щеки, повернулась снова вполоборота ко мне, так, что я видел ее лицо. Еще раз спросила, в ожидании вскинув брови, кивнула, соглашаясь, ответила, просила опять благодарно и радостно.

Тут в кабине погас свет.

Ведь у нее было всего три минуты.

— Тебе привет от Софьи Никитичны, — сказала мама Галя, когда мы спускались по гранитным ступенькам Центрального телеграфа.

Я молчал, выжидая. Она тоже молчала.

Мы пересекли улицу Горького, направляясь к гостинице «Люкс».

— Знаешь, Санька, я еду в Рубцовск. Софья Никитична ждет, она сказала, что мы будем жить вместе — пока, ведь неизвестно, что дальше... Но пока — вместе. Я буду работать на заводе, чертежницей или что предложат. В Рубцовске очень много харьковчан, с ХТЗ, почти все знакомые...

Было нетрудно догадаться, что на это ее решение ушла минувшая ночь. Я представил себе эту ночь.

— Тебе, наверное, надо будет заехать в Барнаул? Там что-нибудь осталось?

— Нет, Санька, там ничего не осталось.

Поезд уходил вечером, в двадцать ноль пять.

Гансу дали машину — черный, горбатый, как черепаха, «ЗИС». Он довез нас до Киевского вокзала.

Шофер извлек из багажника чемодан, поставил его наземь, снова сел за руль и быстро укатил: наверное, мы у него были нынче не последними пассажирами. Я пригляделся к чемодану и вдруг понял, что этот чемодан мне знаком ровно столько же, сколько знаю я Ганса Мюллера, его владельца. С этим чемоданчиком явился он когда-то в нашу квартиру на Черноглазовской улице. С ним отправился он на испанскую войну и вернулся оттуда. Он сопровождал нас во всех эвакуационных кочевьях. И вот, спустя много лет, уезжает человек восвояси, а в руке у него все тот же неказистый чемоданишко, на два замка, с ремешком.

На перроне вокзала, под застекленным сводом, уже стоял поезд.

Мы отыскиали вагон Ганса — обшарпанный, с узкими оконцами, очень пригородный на вид. На нем не было таблички, извещавшей о том, куда следует этот вагон, но проводник, изучив билет, сказал, что тот самый: где нужно отцепят и прицепят куда нужно.

До отправления оставалось минут пятнадцать. Народ валил валом. Кого тут только не было! Военные — те, кому еще предстояло некий срок воевать, и те, что уже отвоевались, в госпитальных бинтах. Штатский люд, отощавший, пестрый от заплат, но настырный, бойкий: кто возвращается к родным пепелищам, кто переселяется на жирные южные земли, кто просто так, мешочничает.

— Пиши, — сказала мама Галя.

— Да, я буду писать. — Ганс сжал ее локоть. — Знаете, ведь это совсем близко — Австрия... Это очень близко.

Как они протяжны и тягостны, последние минуты перед разлукой, когда то, что надо бы сказать, не выскажешь, а то, что можно высказать, все уже пересказано.

Я чувствовал себя скованно. Ведь я был мужчиной, и это обязывало к сдержанности. Тем более что я оставался единственным мужчиной в семье.

Но и мне было отчаянно жалко расставаться с ним, с человеком по имени Ганс Мюллер. Не то чтобы я просто привык к нему, привызался за долгие годы — в самые последние годы мы и жили вдалеке друг от друга, порознь, можно бы и отвыкнуть.

Было нечто большее. Как вошел он когда-то, давным-давно, в мою жизнь — и оказалось, что это очень многое для меня значило, так и уходил он теперь из моей жизни — и я не мог не отдавать себе отчета в том, что и это, и это тоже будет значить для меня очень многое.

У меня был хороший товарищ. Он всерьез понимал товарищество и меня научил этому.

Товарищ уезжал. Ауф иммер. Навсегда.

— Да, я сразу напишу... — повторил Ганс.

Ослепительно разверзлось небо над стеклянной крышей. Дрогнула земля под ногами. Кольнул перепонки могучий залп.

Снова салют.

Будто подстегнутая этим громом, еще круче закишела толчея на перроне.

Мимо пробежал солдат, навьюченный рюкзаком-сидором.

— Что там? — ухватил я его за обшлаг шинели.

— Дэ?..

Я показал на стеклянную крышу, дребезжавшую от канонады.

— Нэ чув... — Он досадливо вырвал рукав из моих пальцев.

— Скажите, пожалуйста, какой город взяли? — Мама Галя остановила раскрасневшуюся, в сбитом набок платке женщину.

— А это какой вагон? — едва переводя дыхание, осведомилась та.

— Что взяли? — допытывался у бегущих людей Ганс.

Пожилой железнодорожник, спешивший к головному вагону с жезлом и путевкой, обронил на ходу:

— Вену.

Снопы ракет взмывали над стеклянной крышей и тяжким грохотом обрушивались на нее.

Ганс Мюллер улыбался — потрясенно и счастливо. Вот уже месяц, как началось наступление на Венском направлении. Уже несколько дней оперативные сводки сообщали об уличных боях в Вене. И все же трудно поверить — Вена...

— Ну, — сказал я, — на этот раз мы их побили, фашистов?

— Побили, — кивнул Ганс.

Но тотчас на его лицо набежала тень.

Я не понял, я удивился этой набежавшей тени. Может быть, ему не понравилось мое напоминание о том, как их в той же Вене побили фашисты в тридцать четвертом году? Или как не удалось побить фашистов в Испании?.. Или же совсем другое: опять у него защемило сердце оттого, что в этой войне, которая еще длится, он так и не добился чести получить в руки оружие, бить им фашистов.

Что поделаешь, вот и мне выпал иной жребий.

Главное, на сей раз фашистов побили — насмерть.

— Знаешь... — сказал он тихо и задумчиво. — Знаешь, Санька, они еще могут подняться.

— Кто? — не понял я.

Слишком уж сильно громыхало над нами. Чересчур уж гомонили вокруг. А он говорил очень тихо. И я то ли недослышал, то ли не понял.

— Кто?

— Они, — повторил Ганс, пристально глядя мне в глаза. — Может быть, не сразу, но они могут подняться... Я их знаю. Даже от мертвый труп иногда бывает... анштекунг... зараза.

Скулы его напряглись. Четче обозначились морщины.

— Понимаешь?

Видно, для него было очень важно, чтобы я это понял. Понял сейчас, пока мы еще стоим рядом друг с другом.

— И если они поднимутся, все будет сначала... — глухо продолжал Ганс. — Другой Гитлер, другой рейхстаг, другой аншлюс... А это нельзя, понимаешь?

— Ну уж нет! — разозлившись, почти заорал я. — Еще раз? Нет! Никогда...

Полыхало над крышей. Размеренно гремели залпы.

— Никогда, — сказал Ганс. — Если вы будете здесь. А мы будем там. Если каждый будет на своем месте...

Он отвел взгляд, поморщился, закончил:

— И если будет меньше дураков.

Заливистый свисток кондуктора донесся от головы поезда.

Зашипели тормоза.

Ганс шагнул — неуверенно, шатко — к ней, к маме Гале.

Я отвернулся. Как тогда, много лет назад. Но теперь не от ревности и не от смущения, а потому, что сейчас я не мог смотреть на мать: мне было жалко ее до слез.

Я смотрел на стеклянный свод вокзала, над которым взлетали, расцветали пышно, увядали и гасли огни.

— Как же ты... — начала мама Галя, но договорить не сумела, осеклась.

— Галечка, это очень близко — Вена, — повторил Ганс.

Поезд медленно двинулся.

Он обнял меня — щека к щеке. Повернулся, вскочил на подножку.

Мы не пошли за вагоном, остались на месте. Все равно мама Галя не смогла бы идти: она оперлась на мою руку, повисла на ней,

и я даже не поверил, что такая гнетущая тяжесть может быть в этой маленькой женщине.

Мы только махали вслед.

Ганс тоже махал нам рукой, удаляясь.

И в какой-то последний момент, когда мы были уже так далеки друг от друга, я заметил — или, может быть, мне показалось, — как эта машущая рука сжалась в упругий кулак.

— Поедем на Казанский вокзал, нужно купить билет, — сказала мама Галя.

Ну вот, с вокзала на вокзал.

А куда торопиться, зачем спешить? Ведь она впервые в Москве. Лучше бы ей задержаться тут на пару деньков, как следует осмотреть столицу, чуть-чуть отвлечься, развлечься немного. Мы могли бы пойти в театр. Хоть и война, а все театры дают представления. Вон сколько афиш понаклеено на заборе. В Большом театре — «Иван Сусанин», в Малом — «Волки и овцы». В Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена», а в Вахтанговском — «Мадемуазель Нитуш», Камерный театр — «Раскинулось море широко...» — значит, он тоже вернулся из эвакуации, из Барнаула, Камерный театр.

Мы могли бы пойти и в цирк. Вот, к примеру, афиша...

Я остановился, удержал за локоть маму Галю.

Они в розовых трико, искрящихся блестками, на сверкающих никелем велосипедах, передние колеса которых вздернуты на дыбки. Посредине женщина в годах, но еще очень красивая, на ее голове убор из страусовых перьев. А справа и слева две совсем молоденькие, очень похожие на мать и друг на дружку сестрицы — неродные двойняшки, потому что (это я точно знаю) одна из них приемыш, из детского дома. Они улыбаются публике, руки их торжествующе воздеты.

Внизу написано: «3 — Леонелли — 3».

— Поедете со мной, Рымарев, — сказал гвардии старший лейтенант Васильев.

— Слушаюсь.

Я даже не спросил куда. Куда прикажут. Куда покажут. Мое дело подчиняться, не вдаваясь в расспросы. Слушаюсь.

— Вольно, вольно, Рымарев... — усмехнулся гвардии старший лейтенант и простецки похлопал меня по плечу.

Мы проследовали с ним до трамвайного круга, сели в «четверку».

По дороге молчали. Он смотрел в окошко на бегущие мимо деревья, на свежую листву, на гроздья сирени, то и дело вспыхивающие в этой листве. Он оглаживал бородку и думал о чем-то своем.

Я тоже думал о своем. Отчего вдруг гвардии старший лейтенант Васильев стал со мною в последнее время так дружески внимателен? Неужели только из-за того, что в самый волнующий час нашей жизни — жизни всех ныне живущих — я совершенно случайно оказался рядом, оказался под рукой, ближе других.

Был ночной беспробудный час. Накануне мы крепко умаялись, разгружая уголь для котельной. Отмылись, поужинали — и на боковую, вечерней поверки не было. Я заснул мгновенно, будто провалился в омут. И так же внезапно проснулся — словно горн протрубил над ухом. Но было тихо. Совсем темно и совсем тихо. Ребята всхрапывали, ворочались во сне. Я на это сразу обратил внимание: что все беспокойно ворочались, перекатывались с боку на бок, постанывали, бормотали невнятицу, а кто-то внизу, на первом этаже, вдруг жалобным детским голоском позвал: «Мама...»

Да, вот так покидаешь совковой лопатой уголек — до ломоты в костях, до черноты в глазах, — поневоле заворочаешься среди ночи, забормочешь, закричешь маму.

Спать надо. Ведь скоро, поди, и впрямь загорланит горн — побудка. Я взбил тощую подушку, повернул ее прохладной стороной, приник щекой, зевнул нарочно, чтоб скорее заснуть.

— Санька, ты не спишь? — прошептал в темноте Юрка Садков, мой сосед по верхнему этажу.

— Нет, не сплю, — отозвался я. Вот и ему, видите ли, не спится.

— Дай рупь займы, — сказал Юрка.

— Сплю, сплю... — ответил я, как положено, как в том известном анекдоте.

Посчитать слонов, что ли? Обычно в таких вот редких случаях, когда не спалось, я начинал считать в уме слонов — и преспокойно засыпал. Прошел один слон, прошел второй слон, прошел третий слон...

...четыре, пять, шесть, семь... Шаги. По коридору приближались шаги.

Я удивленно поднял голову: с чего бы это разбежался ночной дневальный? Дневальному бегать не положено. Ему положено тихо сидеть на своем месте и делать вид, что он не спит, а просто мечтает.

Дверь отворилась. Кто-то вошел.

Стоит у двери и молчит. Вроде привидения.

Ну вот я тебе сейчас задам, покажу, как шастать по ночам, изображать привидения. У нас ведь в спецшколе были охотники пугать ночами спящих людей. Шутки шутить: одному чернилами нос вымазали, другому волосья привязали к кровати...

Я соскочил со второго этажа — и в чем был, в рубахе и кальсонах, — рванулся к привидению.

И тут меня крепко обняла рука — такая сильная, что не оставалось сомнений: такой сильной бывает рука у человека, лишь когда она у него одна-единственная.

Он обнял меня и сказал:

— Победа... Победа, ребята.

А вечером того самого счастливого дня в нашей жизни — в жизни всех ныне живущих — мы с Юркөй Садковым и Ваней Подобных стояли в толпе на Москворецком мосту и смотрели, как лучи прожекторов сбегаются в купол над Кремлем.

Не помню даже, кто нам выдал увольнительные в город — может быть, никто и не выдавал. Вообще в тот долгожданный и такой неожиданный день все пребывало в стихии. Рабочий день объявили нерабочим. Люди хлынули на улицы — в радости и в слезах, — но никто даже не пытался этот хлынувший людской поток направить в надлежащие русла. Милиционеров почти не было видно, а тех, которых видели, качали на руках и подбрасывали в воздух, наравне с другими военными. Никто не следил за порядком — порядок возникал сам по себе. Он заключался в том, что к девяти часам вечера вся Москва оказалась на Красной площади, на мостах, наводнила набережные, заполонила Охотный ряд, улицу Горького, улицу Разина.

Стоял неумолчный гомон. Он смолк, когда куранты пробили девять.

Лучи прожекторов образовали купол над Кремлем. В их ослепительном скрещении появился портрет Сталина, поднятый на аэро-стате. Сталин был в маршальском мундире, при всех орденах, седоусый и строгий. Подоблачный ветер парусом выгибал полотно.

И казалось, что именно оттуда прозвучал негромкий хрипловатый голос:

— Товарищи! Соотечественники и соотечественницы...

Приехали мы на Ярославский вокзал. Что-нибудь отнести-поднести, подумал я, затем и понадобился. Солдату такое не в диковину. Ведь таскал же я за Топтыгиным два фанерных чемодана на Курском вокзале. И еще я подумал о том, что в последнее время всякие непредвиденные обстоятельства заставили меня побегать по московским вокзалам.

Но на Ярославском вокзале я очутился впервые, и впервые представился случай разглядеть его поближе и поподробнее — этот диковинный Северный вокзал. Кровля его была увенчана высоким узорчатым гребнем. Парадный вход с затейливым изогнутым сводом напоминал крыльцо Якушина дома в Бекетовке. Фасад выложен цветными изразцами, и на нем чего только не было: белокрылые чайки неслись над синими волнами; головы оленей украшали ветвистые рога; спели большие ягоды, похожие на землянику, но почему-то белые, с желтыми коготками... Очень красивый вокзал, прямо сказка.

— Рымарев! — окликнул меня гвардии старший лейтенант Васильев. — Поторапливайся, опоздаем.

У бесконечного перрона стоял поезд, на вагонах висели таблички: «Москва—Котлас». Я никогда не слыхал про такой город — Котлас — и предположил, что это где-нибудь в Прибалтике, но почему туда поезда уходят с Ярославского вокзала?.. И далеко ли до багажного вагона, ведь я был уверен, что нам к багажному.

Однако я ошибся.

У среднего вагона стояли две девушки — одна повыше и постарше, другая поменьше (совсем кроха) и помоложе (совсем девчонка), — они стояли и смотрели, как мы приближаемся, и было совершенно ясно, что они ждут именно нас.

Еще издали я узнал Надю Цыплакову и старшего сержанта Тamarу Терехову.

Хотя узнать их было мудро, они изменились до неузнаваемости. Они были в штатском. Надя Цыплакова была в цветастом платье с пышными рукавами-фонариками и такие же банты-фонарики были вплетены в ее косы двумя кольцами вверх, а на ногах у нее были белые носочки и белые туфли. Тамара Терехова была тоже в цветастом платье, но поверх этого платья еще был надет шелковый синий казакин, а на голове у нее была синяя шелковая чалма, складочки которой на лбу держала алмазная брошь. А на ногах у нее были синие туфли на очень тонких, вроде шпилек, каблуках.

Надо сказать, что и в военной форме обе они были очень хороши — им очень шла военная форма. Но следует честно признаться — я сразу в этом убедился, едва взглянув, — что штатское шло им еще больше, они просто преобразились в этих цветах, фонариках, белых носочках и сверкающих алмазах.

И еще я заметил, что никаких чемоданов или других тяжестей подле них не было, так что, по всей видимости, меня пригласили сюда не за этим.

— Здравствуй, Саня, — сказала Надя Цыплакова, подавая мне руку, — вот я и уезжаю. Уезжаю домой. Спасибо тебе за то, что ты пришел меня проводить.

— Конечно, — сказал я, — как же иначе?

Я сообразил, что уезжает, вероятно, одна лишь Надя Цыплакова, а Тамара Терехова остается в Москве — она ведь москвичка, — что старший сержант Тамара Терехова пришла проводить Надю Цыплакову, свою бывшую подчиненную, рядовую, что она пригласила на эти проводы гвардии старшего лейтенанта Васильева, а уж он пригласил меня, хотя и не сказал зачем. Все это я быстро сообразил.

Я давно не видел Надю Цыплакову.

То есть я видел ее несколько раз совершенно случайно. После того злополучного вечера в нашей спецшколе я несколько раз встречал ее в Богородском — я шел в парикмахерскую бриться, а навстречу, от трамвайного круга, шла она. Но она, к сожалению, никогда не шла одна. Всегда она шла вместе с другими девушками из «черного батальона», и, завидев меня, все эти девушки, как по команде, умолкали, лица их делались строгими и неприступными (включая лицо Нади Цыплаковой), — они проходили мимо, даже не взглянув на меня, но ровно через секунду за моей спиной раз-

давался дружный смех (включая смех Нади Цыплаковой) — очень веселый и беззаботный, очень обидный смех.

Но я старался не обижаться. Что я мог поделать?

И сейчас на лице Нади Цыплаковой тоже не было следа былой обиды. Ведь она сама, наверное, понимала, что я ничего не мог поделать. И она была мне очень благодарна за то, что я пришел сегодня на вокзал проводить ее.

— Вот я и уезжаю...

Как-то так само собой получилось, что мы с Надей отделились от вагона — недалеко, поезд должен был отправляться с минуты на минуту, — а гвардии старший лейтенант Васильев и старший сержант Тамара Терехова отделились в другую сторону, тоже недалеко, и вели там свой разговор.

— Вот я и уезжаю, — сказала Надя Цыплакова. — Мне даже не верится. Приеду в Котлас...

— А где это — Котлас?

— Ты не знаешь, где Котлас?

— Нет.

Белесые брови ее надломились шалашиком: ну как объяснить?

— Понимаешь, сливаются реки. Юг впадает в Сухону, а Сухона и Вычегда — в Двину, в Северную Двину. У города Котласа... Я доеду поездом до Котласа, а оттуда еще пароходом, по Сухоне, до Великого Устюга.

До Великого Устюга, где больше церквей, чем парней. Хороший город.

— А Сухона сейчас, наверное, разлилась, половодье. И Вычегда разлилась, и Двина разлилась — будто море, будто целое море. Глянешь с берега — голова закружится, вздохнешь — и в обморок...

Ресницы ее смежились, ноздри шевельнулись, будто уже почувля этот головокружительный обморочный свежий воздух.

Странное дело, я исколесил за войну полстраны. Я видел пустыни, среди которых стояли гордые двугорбые верблюды. Видел далекие снежные вершины Ала-Тау. Озеро Баскунчак, по которому ходили розовые тяжелые соляные волны. Я видел горящий Сталинград, испепеленный Харьков. И могучую Обь у Барнаула. Куда только не заносила меня судьба! Чего я только не навидался!

Но я еще никогда в жизни не бывал выше, то есть севернее, этой московской черты, севернее Сокольников и Богородского, севернее Северного вокзала.

Я едва мог представить себе край, где белокрылые чайки носятся над синими холодными волнами, где бродят олени, воздевают ветвистые рога, где спеют не пробованные мною белые ягоды с желтыми коготками. Где реки подобны морям и море впадает в море, а воздух так упоительно чист, что девчонки с русыми косами запросто падают в обморок... Хороший, наверное, край.

— Я напишу тебе письмо, — сказал я. — Давай адрес.

— Какой адрес? — удивилась Надя. — Ты ведь знаешь, что я живу в Великом Устюге.

— А дальше? Какая улица, дом какой...

— Зачем тебе улица? Я буду опять работать на почте, телеграфисткой. А почта в Великом Устюге одна. Вот и весь адрес.

Надя Цыплакова оглянулась, я тоже.

Гвардии старший лейтенант Васильев и старший сержант Тамара Терехова в отдаленье беседовали меж собой. Она горячо доказывала ему что-то, терзая ремешок дамской сумочки, а он стоял, понурился, теребя бородку.

— Ты можешь мне написать. Я буду рада. Вспомнить... ведь есть что вспомнить.

— А вдруг я приеду в Великий Устюг? На пароходе. И заявлюсь прямо на почту.

Надя улыбнулась, покачала головой.

— Ты не приедешь, не заявишься... Помнишь, я говорила тебе, что война — разлучница?

— Но война уже кончилась.

— Война — разлучница. Даже после войны.

Уголки ее губ, изогнутых воротцами, чуть дрогнули.

— Мы с тобой никогда больше не встретимся. Я знаю. Поэтому я и попросила Тамару...

Она оглянулась, я тоже.

Тамара Терехова в смятении и нерешительности теребила ремешок сумочки, а гвардии старший лейтенант настойчиво рубил воздух своей единственной рукой — сплеча.

— Поцелуй меня, чтоб никто не увидел.

Загудел паровоз.

Мы еще долго шли за вагоном, медленно плывущим вдоль платформы. И Надя Цыплакова еще долго что-то говорила в окошко, но окошко было наглухо задраено стеклом — не разберешь что.

Мы простились с Тamarой Тереховой на ступенях Ярославского вокзала, она спешила куда-то, уйма дел.

Гвардии старший лейтенант Васильев оглядел, теребя бородку, широкую и суетную вокзальную площадь.

— О, погляди, Рымарев! Ну и чудеса. Только война кончилась — начались чудеса...

Невдали от нас стоял извозчик. Коляска на дугих лысых шинах, гнедая лошадь, сам возница в зеленой шляпе с перышком, когда-то я уже видел такую шляпу.

— А что, Рымарев? Давай прокатимся, давай шиканем напоследок.

«Напоследок?» — я удивился я. Но тотчас сообразил, что гвардии старший лейтенант имеет в виду извозчика. По Москве ходила песенка про последнего извозчика — может быть, про этого самого.

Мы взобрались в коляску, приятно и мягко осевшую на рессорах.

— В Богородское, — сказал гвардии старший лейтенант.

— Есть в Богородское... Н-но! — Извозчик натянул вожжи.

Покатили. Лошадь бежала танцующей веселой рысью, шелковая грива ее была заботливо расчесана, лоснились гнедые бока.

— Что, отец, демобилизованная лошадка? В тяге ходила?

— Не-ет, — охотно отозвался извозчик. — Немецкая это. С-под Тильзита, с конезавода, трофеей. Ничего, русский овес жрать здорова. Н-но, доннер-веттер!

— А сам воевал?

— В эту нет. В ту германскую.

Цокали копыта по булыжинам Краснопрудной улицы.

Мы сидели, удобно развалясь на стеганом сиденье.

— Товарищ гвардии старший лейтенант...

— Отставить, Рымарев. Я уже не гвардии старший лейтенант. Вчера демобилизован. Как говорится, по чистой... Вот это, — он тронул золотой погон, — уже без законных на то оснований. Рука не поднимается снять, еще денек поношу напоследок.

«Напоследок» — значит, он сказал об этом.

— Зови меня Тихоном Андреевичем... Ты о чем-то хотел спросить?

Я забыл, о чем хотел спросить.

— В спецшколе я остаюсь до конца весенних экзаменов, недели две, а там... А там, Рымарев, уеду восвосяси, на Тамбовщину, в родную свою Ковылку. Ты когда-нибудь слыхал про такую деревню — Ковылка?

— Нет.

— Вот, не слыхал даже. А я в ней, в Ковылке, и родился и вырос. И работал до тридцать девятого. Потом — армия.

— Товарищ гвардии старший лейтенант... Виноват, Тихон Андреевич...

— Вот и привык, это быстро, — рассмеялся он. — Что?

— Это правда, что вы учитель?

— Правда.

— А почему...

Я вспомнил слово в слово тот разговор в Новосибирске, на станции, меж двух готовых к отправлению воинских эшелонов, «...я давно хотел вам задать один деликатный вопрос. Мне известно, что вы тоже учитель. Не кадровый военный, а учитель. Почему же вы не ведете предмета? Вы словесник или математик?» — голос Графа. А в ответ, резко скрипнув, повернулись сапоги и зашагали прочь.

— Тебя, наверное, интересует, почему я не вел предмет в спецшколе? — Он разгадал мои мысли.

— Да.

— Видишь ли, Рымарев...

Шины-дутики мягко перекатились через трамвайные рельсы у Сокольниковской заставы.

Прямо над нашими головами, хоть согнись, зашелестели тенистые плоские ярусы кленовых ветвей.

— Видишь ли, профессия учителя тоже имеет свои ранги. Я был учителем начальной школы. Деревенской, четырехклассной — тут тебе и чтение, и письмо, и счет. Букварь небось помнишь? «Мы не рабы. Рабы не мы». Ну вот, это и есть моя профессия. Ребятишек маленьких учил: «Мы не рабы. Рабы не мы». И еще ликбез, по поручению комсомольской ячейки, с мужиками да бабами неграмотными: «Мы не рабы...» — то же самое, и тоже по складам, по букварю.

Он задумался, помолчал.

— Знаешь, Рымарев, в этой войне учителям начальной школы принадлежит заслуга особая. Я не хвастаюсь, потому что не о се-

бе, а об очень многих, представь, сколько нас. Ведь это целая философия: «Мы не рабы»... На этой философии народ воспитали.

Перевел сбившееся дыхание, перехватил живой рукой другую — неживую.

— Вот так. Собирался поступать в пединститут, но передумал — поступил в артучилище. И вовремя. Остальное тебе известно.

Нет, мне не все еще было известно.

— Тихон Андреевич, это правда, что капитан Евграфов уходит из спецшколы?

— Да, он возвращается в Наркомпрос, на прежнюю свою должность. Он историк-методист... Мы с ним разного поля ягоды. Я имею в виду учительскую квалификацию.

За поворотом шоссе показалась деревянная, пестро раскрашенная богородская церковка. И хотя был день, в ней — там, внутри — плавилась огоньки множества свечей. Пел хор: густой и могучий бас вел за собою старушечьи тонкие голоса. На паперти толпились.

— А что, сегодня какой праздник? — спросил Тихон Андреевич, обращаясь к вознице в зеленой шляпе. — Раньше в деревне все праздники знал наперечет — приходилось знать как жожаку безбожников... Теперь забыл.

— Бог его знает, — ответил извозчик. — Один у всех нынче праздник. Победа.

— Тихон Андреевич, — решил я, — а старший сержант Терехова...

— Отставить, Рымарев. Нет больше старшего сержанта Тереховой — есть Тамара Тимофеевна. Впрочем, старшей она остается: старшая телефонистка Центральной междугородной... И я не совсем уверен, что ей захочется уехать из Москвы в деревню Ковылка Тамбовской области. Стать женою сельского учителя. Ведь ты об этом хотел спросить, Рымарев?

Я кивнул.

Показалось здание спецшколы: красные кирпичные полосы по серому кирпичу.

— Здесь, — сказал Тихон Андреевич, доставая из кармана бумажник.

— Тпр-ру... Стой, доннер-веттер! Ну никак не привыкнет к русскому языку.

Мы почему-то задерживались с выездом в летние лагеря. Уже перевалил июнь на вторую половину, а мы топтались в Богородском. Топтались в самом прямом смысле слова. Каждый день с утра и до ночи — строевуха. Повзводно, побатарейно, всем дивизионом мы пылили на плацу, сокрушали мостовые окрестных улиц, впечатывали подошвы в размягченный палящим солнцем асфальт Сокольников.

Командовал строевой подготовкой сам подполковник Мигай, Герой Советского Союза.

И хотя мы, старички, бийский набор, продолжали считать его новым начальником спецшколы (ведь всего год, как сменил он на этом посту Николая Маркеловича Псарева), по существу, он остался единственным из прежних наших офицеров. Теперь на всех командных должностях были новенькие: не увечные, не хромые, не изрешеченные, а почти целые и невредимые — разве что так, царапины, — но тоже вдосталь хлебнувшие войны. Молоденькие brave ребята, сберегла их судьба. Артиллерийскую науку они знали как свои пять пальцев. И что нам особо пришлось по душе — были они не шибко строги после фронта.

Но вот уже вторую неделю именно они с утра до ночи гоняли нас строем, надрывая голоса, а подполковник Мигай неотлучно и озабоченно следил за равнением, за дистанцией, за интервалом.

Там, в Сокольниках, помимо нас в эти дни с таким же усердием маршировали и другие воинские части. Мы обратили внимание на то, что солдаты были одеты по-особому: их отлично сшитые мундиры были перепоясаны ремнями белой кожи, они были обуты в добротные сапоги, они мытарилась на жаре в стальных касках, пот ручьями стекал из-под этих касок, капал на мундиры, погромыхивающие звездами кавалеров ордена Славы. А шагистика давалась им нелегко, сразу видно.

Все же время от времени им давали перекур, а нам давали роздых. И мы, укрывшись под деревца, самовольно выросшие снаружи парковой ограды, имели возможность перемолвиться накоротке. То да се.

Выяснилось: сводные полки фронтов. Отобрали лучших из лучших, самых геройских, самых рослых. И срочно отправили в Москву.

А Юрка Садков, умевший добывать важные новости раньше всех остальных, сказал мне:

— Двадцать четвертого июня — Парад Победы. На Красной площади. Вот так, братец!

Узнали об этом, конечно, и все остальные.

Теперь мы с удвоенным старанием отбивали шаг, тянули носок, выбрасывали кулак на уровень поясной латунной бляхи, по ниточке держали подбородки, равнялись направо — и видели, что лицо подполковника час от часу становится добрее и спокойнее.

Но еще через день стало известно, что спецшколы в Параде Победы участвовать не будут. Даже суворовцы — наши счастливые соперники, всеобщие любимцы — не будут.

Нам разрешили принять участие в демонстрации трудящихся, как всем. И то хлеб.

Грянул оркестр.

Мы шагали сразу за оркестром — отныне первыми. Хотя приказ еще не был оглашен и официально мы еще не имели права называться первой батареей, но очередной выпуск уже состоялся — старшая батарея, та, в которой был Топтыгин, ушла за ворота, разъехалась по артучилищам (Топтыгину досталась Одесса, недалеко от Ахтырки), — отныне первыми в строю шагали мы, за нами шли вчерашние кореша, мальки, неразумные хазары, как именовали у нас третьебатарейцев, — но и они теперь пыжились от важности, поскольку им предстояло вскоре сделаться второй батареей.

А у проходной будки спецшколы, когда мы шли мимо нее, опять сшивались совсем желторотые мальчишки, шпаки в кургуzych пиджачках, в полосатых рубашечках, в потешных кепочках — они с восхищением, завистью и благоговейным смирением смотрели, как мы разворачиваем строй.

Можно было предположить, что теперь, когда кончилась война, среди этих мальчишек в кургуzych кепочках станет меньше охотников выбиваться в военные люди, — но куда там, они дневали и ночевали у проходной будки, десять заявлений на одно место.

Вдруг смолк оркестр.

Подполковник Мигай взошел на тротуар и зычно скомандовал:

— Дивизио-он, смирно!

Во мне давно уже выработалась привычка — сначала выполнять команду, приказ, а потом уже соображать, что к чему. Я припластал руки к швам, вздернул подбородок, вскинул ногу, так же как другие, мгновенно. И лишь в следующее мгновение подумал, что, вероятно, подполковник еще раз решил проверить, как у нас получается торжественный марш по команде «смирно».

— Р-равнение направо!

Подбородок резко откинут вправо, у всех, кроме правофланговых, глядящих прямо перед собой.

На углу Ланинского переуллка стояли две женщины в черных платках. Одна из них была пожилая, черная ткань платка укрывала ее седину. Другая была совсем молодой, почти девочкой, и узел черного платка часто и судорожно вздрагивал на ее горле. Одна из них была мамой Валентина Ногтева, а другая была его женой, теперь вдовой — Лида Батищева, Лида Ногтева.

Подполковник Мигай повернулся к ним и замер, поднеся ладонь к козырьку.

Мы в строгом и скорбном молчании прошагали мимо.

Похоронка на Валентина Ногтева пришла несколько дней назад. Мы знали, что в ней было сказано: младший лейтенант Валентин Ногтев пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками 11 мая 1945 года у города Ческе-Будеёвице, похоронен там же. Он погиб на третий день после Победы.

Валька Ногтев... Я вспомнил, как он назначал нас командирами отделений: «Этого, этого и этого».

«Этого... этого... этого...» — назначал окаянный жребий.

За все время, что мы здесь учились, еще ни разу не приходило известий о том, что кто-то из наших ребят, которых мы знали в Бийске и в Москве, из тех, кто под звуки оркестра ушел за ворота спецшколы в сорок третьем и сорок четвертом, — еще ни разу не узнавали мы, что кто-то из них погиб на фронте, пал в бою смертью храбрых.

Может быть, только потому, что не все их седенькие мамы, не все невесты и жены наших ребят жили так близко от спецшколы — на Дёповской улице или в Ланинском переулке.

— Вольно!..

Но мы еще долго шли в понуром и гробовом молчании.

Тому отчасти виной была еще и погода. С утра погода была скверной, хмурой. Сизые тучи курились низко, ветер гнал их, они

летели, волоча за собой хвосты влажной пасмури, — и это в июне. Еще накануне пекло-припекало, сверкало солнце, доставая лучами даже в тени, а тут, как на грех, все небо затянуло тучами. Да ничего, авось, пока дойдем, и прояснится, и заблещет, ветер разгонит тучи — вон как он гонит их, — ведь нам далеко еще было идти.

— ...он удрал на подводной лодке, — рассказывал Юрка Садков. — В Ла-Паллисе его ждала подводная лодка, горючего и продовольствия — под завязку, на ней Гитлер и удрал.

— Сдох он, отравился, а не удрал! — возразил Олег Афонин. — В газете было.

— А я что — выдумал? Тоже из газеты, — огрызнулся Юрка. — По мне, конечно, лучше бы сдох.

— Ла-Паллис — это Бискайский залив, очень близко от Испании, — заметил Педро Ларра. — Неужели он удрал к Франко? Вот бы их, гадов, словлять вдвоих!..

— Может, к Франко, а может, еще куда подальше... — мрачно изрек Юрка.

— Сдох, — убежденно повторил Олег.

— Разговорчики! Разговорчики в строю... — пресек шедший сбоку Иван Подобных.

Он был теперь старшиной нашей батареи, сильно вырос парень.

Мы опять замолкли. Шли, каждый думал о своем.

Лично я думал о том, что Гитлер, конечно же, сдох. Жалко, что его не удалось повесить, чтобы он сучил ногами, как те, на Благбазе, в Харькове. Он сам отравился и сдох... Но в памяти моей засели слова, которые сказал мне один человек на перроне Киевского вокзала: «Знаешь, они еще могут подняться. И если они поднимутся, все будет сначала — другой Гитлер, другой рейхстаг, другой, аншлюс. А это нельзя, понимаешь?»

Это-то я понимал, что никак нельзя. Иначе я бы и не шел в строю, в головной батарее дивизиона. Это я прекрасно понимал.

Еще я думал об Иване, что хотя он и безусловно прав как старшина — пресек разговорчики в строю, — однако мы шли сейчас по команде «вольно», шли по шоссе меж густых сокольнических дубрав, мимо тихих просек. Даже подполковник не обратил внимания на то, что в строю разговорчики, а Иван Подобных обратил — что ж, на то и старшина.

Но если б мы шли на военный парад, а мы, к сожалению, шли не на парад — просто мирная демонстрация.

На стыке Русаковской и Стромынки уже было тесно от праздничных колонн. Заводы, заводы. Они несли свои имена на обтянутых кумачом щитах: «Красный богатырь», «Освобожденный труд», «Вулкан», СВАРЗ. Но были и такие заводы, которые шли, не называя своих имен, они оставались пока безымянными — только знамена впереди, трепещущие на ветру. И транспаранты: «Наше дело правое. Мы победили». Гремели оркестры, стараясь переиграть друг друга. Песня перекрывала песню.

Люди стояли вдоль тротуаров, наблюдая это шествие, а некоторые, не утерпев, сходили на мостовую и присоединялись к идущим колоннам — старики, старушки, ребята, — их никто не отгонял, принимали как своих, потому что это был всенародный и всеобщий праздник.

Но в десять часов утра оркестры и песни притихли. Звон кремлевских курантов пролился из громкоговорителей, свесившихся с фонарных столбов.

Я зажмурил глаза. Вот так же, много лет назад, целую вечность назад, еще до войны, когда я был совсем маленьким, — я тоже зажмурил глаза, слушая перезвон на Спасской башне на Красной площади, — я был тогда на другой площади и в другом городе, но мне почудилось на миг, когда я зажмурил глаза, что я в Москве.

Я открыл глаза. Я был в Москве. Мне предстояло сегодня пройти по Красной площади. Двадцать четвертого июня сорок пятого года. В день Парада Победы.

Мне показалось — и так, наверное, показалось всем, — что мы уже там, у кремлевских стен, у ленинского Мавзолея.

— Товарищ Маршал Советского Союза!.. — прозвучал в репродукторах молодой и звонкий голос.

Командующий парадом маршал Рокоссовский отдавал рапорт принимающему парад маршалу Жукову.

— Войска Действующей армии и Военно-Морского Флота и Московского гарнизона построены для парада...

Закокали по брусчатке, отдаляясь, копыта коней.

Теперь только и слышно было раскатывающееся по Красной площади «Ура-а-а!..» Оно прокатывалось от полка к полку, набирая силу, нарастая, множась.

Четырехгранные зевы громкоговорителей понесли его по улицам, по площадям, оно обрастало тысячным эхом.

— Ура-а-а! — кричали мы, хотя подполковник МигаЙ и не подавал команды.

— Ура-а-а... — витало над заводскими колоннами, идущими волна за волной по Краснопрудной.

Снова грянули оркестры. Взметнулись песни.

Холодная капля дождя ударила мне в лицо.

Я даже обрадовался ей, этой капле, когда она вдруг ударила в мое разгоряченное лицо — еще одна капля и еще одна — холодные капли, остуда.

Заморосил ровный дождик.

Вокруг смеялись и тоже радовались: дождик, дождик, припусти... Летний дождик, июньский дождик. Прохладнее идти, пыль прибьет. Посеет, посеет — и перестанет. И выглянет солнце. И многоцветная счастливая радуга перекинется отсюда, от Краснопрудной, от Красносельской до Красных ворот, до Красной площади.

Что там, на Красной площади?..

Сквозь шелест дождя и шлепанье взмокших подошв мы вслушивались в голоса репродукторов.

— К це-ре-мониальному маршу!..

На Красной площади Парад Победы.

Дождь усиливался. С козырька моей фуражки побежала вода, засты свет, мокрые змейки скользнули за воротник и, гуся кожу, поползли меж лопаток. Я почувствовал, что пальцы в башмаках (хотя башмаки были совсем целые) уже купаются в воде.

Мы приближались к развилке трамвайных линий у «Красносельской», и некоторые люди из соседних колонн — наверное, те самые, которые случайно пристали по пути, — начали отбегать под широкий бетонный козырек станции метро, укрывались там.

А мы продолжали идти. И не смолкали марши оркестров. И голос диктора возвещал в репродукторах:

— ...вот с Мавзолеем поравнялся сводный полк Третьего Белорусского фронта. Его возглавляет Маршал Советского Союза Василевский — герой боев в Восточной Пруссии, покоритель цитадели прусского милитаризма — Кенигсберга... По Красной площади проходят представители высшего командования Польской

армии, части которой вместе с войсками Красной Армии участвовали в исторических боях за освобождение Польши...

Мокрая завесь проредилась, и слух угадал, что дождь понемногу слабеет, стихает. Ну, пронеси господь, а то уж очень некстати.

Впереди показались гребень Ярославского вокзала, прямоугольная башня Ленинградского, остроконечная Казанского. Комсомольская площадь. Три вокзала.

С одного из них я провожал в далекий Рубцовск маму Галю, провожал в Сталинград моего ровесника, бывалого фронтовика Ленюку Голованова, жаль, что его нет сегодня в строю нашей батареи, нет в Москве. А с другого вокзала я провожал Надю Цыплакову в диковинный северный край, где белокрылые чайки — вот они, на омытых дождем изразцах, — летят над холодными синими волнами. А с третьего вокзала этой вокзальной площади уже никогда не уедет в родной Ленинград мой погибший друг Игорь Пиотровский.

Кроме этих трех, да еще Курского и Киевского, побывал я и на Павелецком вокзале, откуда уехал в деревню Ковылка Тамбовской области Тихон Андреевич Васильев, уехал один.

— Кончился дождь? — спросил Юрка Садков, вытянув перед собой ладонь.

— Как это по-русски... — весело отозвался Педро Ларра. — Маленький кончился, большой начинается.

Типун бы ему на язык.

Ледяные струи дождя хлестнули опять. Они обрушились сплошным потоком, загромыхав на крышах и карнизах домов, вбрызг дробясь на электрических проводах, вскипая пузырями на асфальте, растекаясь ручьями, стекаясь в лужи. Не было ни грома, ни молнии — грозы не было, — просто отчаянным ливнем разверзлось небо.

Неужели и на Красной площади дождь?

— ...герой боев на Украине, освободитель Праги, прославленный полководец, чьи войска вместе с войсками маршала Жукова ворвались в Берлин, Маршал Советского Союза Конев идет впереди сводного полка Первого Украинского фронта... Полощется по ветру фронтовой стяг в руках самого знаменитого советского аса — трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина...

Плеск дождя усилился. Нет, это не дождь — это рукоплескали демонстранты, идущие в колоннах. И мы тоже захлопали, хотя в

строю военным людям не положено хлопать, это не предусмотрено ни в каких уставах. Но мы захопали.

— Во летчик! — восхитился Юрка Садков. — Пятьдесят девять сбитых...

Я обернулся и посмотрел на него выразительно. Я хотел ему напомнить, как давным-давно, на берегу Оби, я хотел в авиационную — очень хотел, Иван Подобных хотел в морскую, а сам Юрка хотел в артиллерийскую и заставил нас кидать жребий. Я хотел, чтобы он вспомнил сейчас об этом, чтобы он теперь понял. Но он ничего не понял и, заметив мой выразительный взгляд, поднял большой палец: во, мол, летчик!

— ...проходит сводный полк Четвертого Украинского фронта, — рассказывал диктор. — На трибунах узнают генерала, возглавляющего его марш. Это генерал армии, Герой Советского Союза Еременко, чьи славные войска победоносно прорвались через Карпаты...

Миновав эстакаду, которая лишь на несколько мгновений укрыла нас от дождя, Орликовым персулком мы вышли к Садовому кольцу.

Здесь случилась заминка, мы остановились неизвестно почему. Ясно почему: со всех сторон сюда, к горловине улицы Кирова, к самому преддверию центра, — со всех сторон сюда стремились колонны, они сливались здесь словно рски, а рски были подобны морям, и море впадало в море. Живое человеческое море, говорливое, бурливое, колышущееся взмокшими транспарантами и флагами, пенящееся охапками цветов, дышащее влагой.

Мы стояли, а дождь шел.

Рядом с нами, впритирку, остановилась колонна «Красного богатыря» — мы и тут были соседями. Рядом со мною, локоть к локтю, оказался высокий, богатырского роста дядька, в усах, слипшихся и сникших от воды. Восвавший дядька, на груди у него отличия: две желтые полосы, три красные. Два тяжелых ранения, три легких. Пять ранений, а ни одного не видно, держится молодцом, идет как все, стоит как все.

Богатырский дядька посмотрел на нас добрыми глазами, отрянул капли с усов, спросил:

— Ну как, сынки, дойдем?

— Дойдем, — ответил я убежденно.

— Дойдем, конечно, — подтвердил Юрка.

— Не сахарные, не размокнем, — пошутил Педро Ларра.

— Вот это верно. Через что прошел народ, а тут всего лишь... Глаза богатырского дядьки заволокло белесым.

— Я в сорок первом, седьмого ноября, прямо с Красной площади, с парада — в бой. Ох и лют был морозец...

Нарастающий рокот, глухая дробь прервали его речь. Я огляделся, вслушался — что это: рокошет ливень, ниспадающая в водосточных трубах, или ударил вслед за дождем частый град?

Рокот барабанов. Рокот барабанов. Резкая дробь барабанов.

— ...к трибуне подходит колонна бойцов. У каждого в руке — немецкое знамя. Двести пленных вражеских знамен... — Голос диктора подрагивал от волнения. — Эти знамена добыты, как трофеи, в победных боях. Враги самонадеянно и нагло несли их на советскую землю, а сейчас они — единственное, что напоминает о разгромленных полках и дивизиях Гитлера... Вот, поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом, с силой бросают вражеские знамена к подножию Мавзолея. Поверженные к ногам победителей знамена — на камнях Красной площади...

Было слышно: со стуком и лязгом падают на камни древки знамен и штандартов, плюхаются в мокреть, в лужи тяжелые полотнища.

Рокот и дробь барабанов.

Рокот и дробь июньского дождя сорок пятого года.

— Ура-а-а!.. — понеслось по Садовому кольцу.

Опять взыграли оркестры.

Наш капельдудкин тоже взмахнул рукой. По ярко надраенной меди труб сбегали извилистые струйки. Внутрь этих труб тоже нагло: из них вырывались охрипшие, захлебывающиеся звуки. Отсырела кожа большого барабана, и он ухал утробнее обычного. Но музыка была.

— Сейчас пойдем, — сказал мне Юрка. — Кончается парад — слышишь, там уже марширует сводный оркестр?

Я слышал. Все слышали.

Ряды инстинктивно подались вперед — ряд на ряд, мокрые груди торкнулись в мокрые спины, подталкивая: ну что же вы не идете? Пошли...

Был напор — нетерпеливый, напряженный, продрогший, — но движения не было. Впереди и сбоку стояли плотно, тесно, неподвижно.

Прокашлялся громкоговоритель:

— Граждане! Ввиду ненастной погоды демонстрация трудящихся отменяется...

Все услышали. И я услышал.

Но никто не тронулся с места, не шевельнулся. Все стояли, замерев, будто ослышались. Хотя все сразу не могли ослышаться. Нет, не ослышались, просто ждали: может быть, сейчас скажут другое?

— Граждане! Ввиду ненастной погоды...

Постепенно слабела, обмякала сжимавшая со всех сторон людская теснота. Те, кто, забыв о дожде, прислонились к чужому мокрому, теперь старались отстраниться от чужого — сами ведь мокрые. Озирались: нет ли где поблизости сухого уголка, отходили, отбегали. Некоторые посмеивались смущенно, другие — нет.

Подполковник Мигай появился перед нашей колонной, перед нашей батареей. Смаргивая капли, сдувая их с губ, приказал негромко:

— Следовать в расположение группами... Р-разой-дись!

Возвращались знакомым путем: на метро от «Красных ворот» до «Сокольников», а дальше трамваем — мне этот путь особенно запомнился по первому выезду, по первому моему выходу в столицу. В метро была порядочная давка. В трамвае тоже. Все были вымокшие, хоть выжми, витал сырой дух.

— Через что прошли, а тут всего лишь...

Я узнал голос богатырского дядьки с «Красного богатыря». Он ехал с нами одним трамваем, в одну нам сторону. Повторил сокрушенно:

— Через что прошли...

— Так ведь им, поди, тоже не сухо? — возразил собеседник, которого не было видно. — Простудиться можно. И народ зачем же простуживать? Народу завтра на работу — понедельник. Так что все правильно...

— Мальчик, передайте, пожалуйста.

Какая-то дурочка назвала меня мальчиком. Протянула деньги на билет — совсем дурочка.

Я передал дальше, оглянулся.

Была она в ситцевом рябеньком платье, но можно было догадаться, что школьница, промокашка. Вон как промокла — до нит-

ки, вся насквозь. Стоит, дрожит. Наверное, тоже с демонстрации. Где-то я ее видел однажды, а где — не вспомню.

— Держи, — сказал я, вручая ей билет, уже отсыревший на обратном пути. — Не теряй.

— Спасибо.

Она кокетливо повела карими глазами.

Ишь ты. Больно надо. Где же я ее видел?

— ...зато грибы пойдут. После такого дождя.

— А чего их ждать, грибов? — сказал, заметно повеселев, богатырский дядька. — Давай-ка, Петрович, завернем ко мне. Все уж на столе, жена пирогов нажарила — картофельных.

Я сглотнул слюнки. Картофельные пироги — мечта.

— Обед скоро, — вздохнул Олег Афонин. Он тоже, наверное, услышал про картофельные пироги.

— Вот что, братцы... — сказал Юрка Садков. — Есть у меня сведения, что теперь, если закончить спецшколу отлично, тем более с золотой медалью, можно сразу в артиллерийскую академию, без училища. А?

— Значит, так и сразу? — ворчливо переспросил Иван Подобных. — Сразу в генералы махнуть захотелось?

— При чем здесь...

— Ничего, потерпи, — суровым тоном перебил Иван. — Еще попашешь до генералов-то. Еще походишь до этого Ванькой-взводным!

— А ты?

— И я. И я попашу. Тем более что я и есть тот самый Ванька.

Он очень сильно вырос, Иван Подобных, наш старшина.

Я не вмешивался в этот спор. Просто думал. Я думал о том, что за последнее время мне довелось перебивать почти на всех московских вокзалах. Но я не имел ни понятия, ни догадки, с какого же из них будущим летом доведется мне уезжать из Москвы. Какой мне выпадет жребий.

— ...ровно четыре года, — сказал богатырский дядька.

— Четыре года и два дня, — поправил собеседник.

— Да, — согласился богатырский дядька. В голосе его опять пробилась печаль: — Вот Джамбул, старик, намерен помер...

— Извините, вы сходите на этой остановке?

Незнакомая промокашка тронула осторожно мое плечо.

— Схожу, — ответил я ей. — Здесь все сходят. Последняя оставка.

В Богородском дождь лил как из ведра. Окатил снова, пробрал до самых костей.

Опустевший трамвай, выплеснув из-под колес гребешки воды, двинулся по кругу.

Мы, нахохлившись, втянув головы, побежали, поскакали, хлюпая по бездонным пузырящимся лужам.

Я поскользнулся, едва не упал на ровном месте. Гляжу: развязался шнурок ботинка, волочится мокрый — наверное, я наступил на него. Согнулся, чтобы завязать, а он не вяжется, не дается озябшим пальцам. А дождь колотит по спине, будто кулаками. Ну и ладно, добегу, доскачу так, успеется...

Оставался год до выпуска. И вся еще жизнь в придачу.

1962—78 гг.

ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ

ПОВЕСТЬ

На мосту Окружной железной дороги он замешкался.

Внизу, громкая, катил товарняк, длинная цепь открытых платформ, на которых были немецкие танки — глыбистые Т-III и длинноствольные «Тигры».

Он, изумленный, перегнулся через ограду. Сперва мелькнула мысль о том, что их везут на переплавку, эти танки, оставшиеся доселе на полях сражений, разрежут — и в мартены. Но было сомнительно, чтобы такой знатный железный лом залежался где-то на сорок лет, да и пахотные уголья нынче в цене.

Кроме того, танки были не битые, а целые, без ржавчины, без оплавленных пробоин, с четкими траками гусениц, броня — в недавней покраске, и даже черные кресты в белых углышках были совсем свежи, будто их вчера нарисовали.

И тут, определив взглядом дальнейший путь состава — через Андреевский мост над Москвой-рекой, мимо Лужников, и опять по такому же точно решетчатому мосту у Потылихи — он догадался: их везут на «Мосфильм», будут снимать в какой-нибудь военной картине или, уже отсняв батальные эпизоды, возвращают на место игровой реквизит.

Однако, вне сомнений, танки были настоящие, *те*.

Он почувствовал на миг, как озноб пробежал меж лопаток, как напрягся затылок, вгоняя голову в плечи, — ощущение было знакомым...

Впрочем — глянул на часы — он потерял на этом мосту минут пять, теперь их предстояло наверстывать.

В устье Воробьевского шоссе он перешел на разминочный неторопливый бег.

Утро выдалось свежим, дул встречный ветерок, и он, с упоением ловя ноздрями воздух, понял, что первый километр одолеет за просто, не раскрывая рта.

Еще три года назад Владимир Федорович Бобылёв ездил из дому на работу и обратно на собственном «Москвиче». Но потом ему, право, надоело, почти не разгибаясь за день, переползать с кухонной табуретки за завтраком на мягкое сиденье машины, с тем, чтобы, спустя десять минут, пересест в мягкое кресло за служеб-

ным столом, а там — снова автомобильное сиденье с подзатыльником, и вечером — кресло перед телевизором... Нет, это становилось невыносимым, он с тревогой замечал, как круглеет брюшко, как деревенеют и пощелкивают суставы, дрябнут мышцы.

Единственным физическим усилием оставалось собственноручное мытье того же «Москвича», запыленного или заляпанного грязью.

Друзья посоветовали ходить на работу и с работы пешком, благо не ахти какая даль, и маршрут отменный — по кромке Ленинских гор, всюду зелень, чистый воздух, нелюдно и несуетно.

Ему понравилось. Но вскоре этим прогулкам стали мешать непредвиденные обстоятельства.

Вспомнив о них, Бобылев не сдержал хохотка, челюсти сами собой раздались, губы расплылись, он спохватился, но было уже поздно — легкие жадно втянули добрый глоток кислорода, — и пришлось смириться с тем, что теперь-то придется бежать дальше, дыша открытым ртом.

На перекрестке, по счастью, не оказалось постового милиционера, и он пересек площадь напрямик, на красный свет, не сворачивая к тротуарам. Подумал, что будь он сейчас в автомобиле и проезжай поблизости, то непременно проводил бы такого бегуна зверским взглядом: вот, дескать, шастают под самыми колесами, нарушают правила, а под суд — нам... И опять усмехнулся: как же легка и мгновенна в сознании человека эта переключка сознания, когда он за рулем и когда топает на своих двоих, когда он водитель и когда он пешеход, прямо-таки раздвоение личности.

Сейчас по левую руку был университет, а справа, за гранитным парпетом, за зелеными купами деревьев, открывалось раздолье Москвы — нити улиц, лоскутная пестрядь стен и крыш, все как бы вздернутое остроконечиями высоток по Садовому кольцу, звездными шатрами и золотыми главами Кремля, какими-то еще непривычными взгляду доминошными небоскребами, а дальше — иглой Останкинской телебашни, хорошо видной даже отсюда в такой дали.

Бровка Ленинских гор была гребнем окрестных высей.

Владимир Федорович почувствовал, что тело взмокло под майкой и синим трикотажем спортивного костюма. И уже икры налились тяжестью, отзываясь на каждый шаг не то чтобы болью, но просто напоминанием о себе. Однако дыхание оставалось ненапряженным, а биение пульса, он чувствовал, было хотя и возбужденным, но ровным.

Нужно было миновать этот пик, этот перевал, за которым — от церкви Троицы с пристроенным недавно к ней теремком — дорога шла под уклон, сбрасывая высоту, стремясь к овражным и, наоборот, когда-то топким Бережкам.

Здесь почти не требовалось усилий: ноги несли сами, тело неправдоподобно легчало, и появлялось вдруг радостное ощущение — что вот сейчас, пробежав еще десяток шагов, можно оторваться от земли, взлететь, воспарить...

Тут-то у него впервые и возникла мысль о беге.

Но толчком к тому была еще одна причина.

Вскоре после того, как он сделал правилом пешие прогулки на работу и с работы, возникли непредвиденные обстоятельства, о которых он вспомнил нынче.

Именно здесь, где аллея была особенно густа и нарядна, где дорожку обступали взматеревшие липы, дубы, ели и пихты, а вдоль асфальтовой ленты топорщились живые стенки аккуратно подстриженного боярышника, — именно здесь навстречу ему из-за стволов, из чащоб вдруг стали появляться какие-то личности, которые приветливо с ним здоровались, пристраивались рядом, норовя попасть в шаг, заводили разговоры о погоде, о футболе, о том о сем... А чуть позже выяснялось, что это те самые изобретатели вечных двигателей и элекси́ров молодости, соискатели патентов и шифров ГОСТА, от которых ему не было отбоя в рабочие часы, по роду службы, и спасением от которых была лишь жесткая пропускная система в учреждении, где он служил.

Каким образом, когда и где и от кого могли они пронюхать о его утренних моционах, выznать маршрут?

Впрочем, вопрос совершенно праздный: уж чего-чего, а *изобретательности* им было не занимать.

Правды ради следовало учесть, что среди этих людей, которые подстерегали его на большой дороге, хоронясь в кустах, были не только «чайники». Нет, зачастую они оказывались вполне серьезными людьми. Более того, иногда это были толкачи, представлявшие солидные фирмы, чаще всего периферийные: ими руководила убежденность в том, что под лежащий камень вода не течет — и так ли уж далеки были они от истины?

Однако Бобылев не имел обыкновения вести деловые разговоры на улице. И уж совсем не выносил того, что пахивало личным знакомством, приятельством, протекцией.

Он, не без горечи, стал подумывать о том, чтобы снова ездить на работу в автомобиле.

И тут — как спасение — явилась мысль о беге.

Ведь смолodu он был спортивен: мальчишкой увлекался городками, студентом играл в баскетбольной команде института.

Жена Лиля, врач «неотложки», одобрила его намерение, но, как водится среди родных, на себя ответственности не взяла, отправила к коллегам, настояла, чтобы он прошел всесторонний и тщательный осмотр. Его погоняли на тренажерах, сняли кардиограмму, изучили анализы и сошлись на том, что можно, что не во вред.

И вот уже два года, как он бегал.

Впереди показались железные фермы и гранитные быки Краснoлужского моста Окружной дороги — они вздрагивали от тяжести, по ним опять громыхали платформы с немецкими танками в черных крестах, те же самые: будто бы они клином шли ему наперерез, преследовали, загоняли в ловушку... Что за напасть?

Но не было никакой напасти: ведь он все время бежал по дуге, следуя излучине Москвы-реки, и теперь полукруг замыкался. А состав с мертвым железом шел напрямик, и, наверное, где-нибудь в Лужниках его помурыжили у семафора. Черт с ними, с танками.

Навстречу ему по аллее, пружинисто и легко, бежала девушка в белой майке с надписью «Jogging» и пестрых кроссовках, над ее головой метался хвост рыжих волос. Он встречал ее здесь каждое утро в один и тот же урочный час. Она была не из тех, кто выбегает на люди, лишь бы покрасоваться обновой, заграничной тряпочкой — денек, другой, и след простыл — нет, эту, рыжую, он видел и под проливным дождем и на крутом морозце.

Здесь часто появлялись новички — неуверенные, неуклюжие, запыхавшиеся — появлялись и вскоре исчезали: кто из лени, кто по хвори, кто по домашней немочи. Оставались только самые упорные, заядлые, одержимые. Они узнавали друг друга за километр даже в предраcсветной зимней сутеме: по одежде, по фигуре, а более всего по почерку бега, по *полету*. Они были уже не только зрительно знакомы, но как бы составляли сообщество, команду. Однако, встречаясь на дистанции, никогда не здоровались, даже не обменивались кивками — это не было принято, а пробегали мимо, как бы вовсе не замечая друг друга. А, между тем, замечали и бдительно следили за *явкой*. Равным образом, замечали и то, что кто-то *сошел с дорожки*.

И, все-таки эта рыжая в белой майке — в тот короткий миг, когда они поравнялись плечо в плечо и тотчас разминулись — успела искоса стрельнуть в него глазами, чуть улыбнуться, и это заставило Бобылева развернуть шире плечи, энергично заработать локтями, даже ноги поддали прыти...

Толкачи и «чайники» больше не появлялись на его пути, им все равно было не угнаться за ним.

Меж зеленых откосов, на другом берегу реки, сверкнули лебяжьей белизной крепостные стены и башни Новодевичьего монастыря.

Он взбежал по ступенькам под бетонный козырек своей конторы.

Пять километров двести метров, промерено.

Вскинул руку, посмотрел на крошечное табло электронных часов: тридцать одна минута с вереницей секунд, нормально.

Умылся до пояса холодной водой из-под крана в общем туалете, где и поутру еще витали удушливые космы табачного дыма.

В своем кабинете переделся в деловой серый костюм, висевший в шкафу на плечиках, повязал галстук, взял под мышку папку «К докладу» и отправился к начальству.

— Я хочу еще раз, Геннадий Васильевич, вернуться к вопросу о Кокшинском заводе. Напомню: два года назад мы сняли с его изделий Знак качества. Потом я ездил в Кокшу, имел там жесткий разговор с директором завода Самариным. Но все это, как говорится, не возымело. По-прежнему выпускают буровые долота, которыми работать нельзя. Буровики — особенно Западная Сибирь — ругаются, негодуют: долота снашиваются на каждой сотне метров, крошатся...

— А почему так? — спросил Прокшин. — Расхлябанность? Безответственность?

— Есть и это. Но причины глубже... Видите ли, само оборудование Кокшинского завода износилось, морально устарело. Технология допотопная. Однако министерство не спешит с обновлением. Зачем? Ведь план Кокша дает, продукцию сбывать умудряется...

— Ты что предлагаешь? — сощурился Геннадий Васильевич.

— Я считаю необходимым пойти на крайнюю меру: остановить производство, — сказал Бобылев, раскрывая папку. — Право на это Главстандарт имеет: вот заключения экспертов, вот рекламации, вот письма...

Прокшин задумался, отвернувшись к яркому соцветию телефонов в углу.

Но Владимир Федорович уже догадывался, что он не станет никуда звонить тотчас, в его присутствии. Выждет, взвесит. Еще и еще раз обговорит позицию в своих же стенах, окончательно утвердится во мнении — и лишь тогда.

— Могу идти? — привстал он.

— Нет, посиди... — Геннадий Васильевич смотрел теперь на него в упор. — Послушай, а ты все бегаешь?

— Бегаю.

— И, говорят, еще в бассейне плаваешь?

— По воскресеньям хожу с сыном в «Чайку».

— Молодец! А я не успеваю, даже по выходным не успеваю... И, знаешь, все гложет мысль, что, может, и не надо? Что *поздно*?

Геннадий Васильевич был восемью годами младше Бобылева, но эта разница если и обнаруживалась, то в обратном плане, к невыгоде Прокшина. Он казался много старше своих лет, был рыхл и грузен телом, лицо землисто, желтизна в подглазьях.

Бобылев слушал в некотором напряжении, не торопясь с благими советами. Он и тут понимал, что Прокшин ведет речь окольно, нащупывая подходы.

— Завидую, вон ты какой орел! А мне тут недавно принесли из кадров твое личное дело, смотрю анкету — и моргаю: через месяц, двадцатого июля — шестьдесят лет... Может, неправильно, ошибка?

Владимир Федорович помолчал несколько секунд, сглатывая комок, вдруг подкативший к горлу. Потом сказал:

— Ну, раз в анкете — стало быть, правда. Ведь сам заполнял.

Широко отворилась и захлопнулась стеганая дверь. Так входят люди, знающие за собой право входить без спроса в начальственные кабинеты.

— А вот и профсоюз пожаловал, очень кстати, — бодро воскликнул Прокшин. — Здравствуй, присаживайся.

Латыпов, председатель профкома, тряхнул им обоим руки.

Владимиру Федоровичу даже показалось, что Латыпов не случайно пожаловал сюда в этот час, что так было заранее условлено.

— Очень кстати, Евгений Павлович, — повторил Прокшин. — Это ведь и по твоей части. Через месяц Бобылеву исполняется шестьдесят лет. Нужно организовать юбилейное чествование, так сказать — по первому разряду. Сам посуди: ведущий эксперт отрасли, кандидат технических наук, коммунист, участник Великой Отечественной войны... разве мало?

— Организуем, — с готовностью кивнул Латыпов. — Все сделаем, как подобает. Уточните только: чай-сахар за счет администрации?

— Нет, — сказал Прокшин, — чай-сахар за счет юбиляра. А откажется — сами скинемся, не впервой...

Домой он ехал троллейбусом, на «семерке», волокущейся по долгим и пустынным перегонам.

Спортивный костюм и обувь вез с собой в портфеле. Была пятница, а с понедельника он уходил в очередной отпуск.

И, куда ехал, на лице его сменялись выражения самых противоречивых чувств: то глубокой задумчивости, то улыбчивой беззащитности, то какой-то внезапной решимости, то покорности судьбе.

Перед «Тысячью мелочей» на высоком иридиевом постаменте, разведя руки в крагах скафандра, возносился в небо Юрий Гагарин.

Поодаль виднелся дом, где жил Владимир Федорович.

Точнее, это был не один дом, а два изогнутых здания, которые вскоре после войны поставили у тогдашней Калужской заставы, как врата — столбцы. Они должны были по идее, по замыслу, быть совершенно одинаковыми — два крыла. Но, как слышал Бобылев, меж архитекторами возник разлад, они не сумели согласовать параметры и детали, в результате чего угловые башни получились неодинаковой высоты, ниши и колоннады, балконы и окна разошлись в симметрии. Правда, эти частности замечал лишь пристальный и уведомленный взгляд.

Но было и другое различие, откровенно и сразу бросающееся в глаза.

На крышах и на уступах башен были воздвигнуты скульптуры: воины с автоматами, рабочие с отбойными молотками, колхозницы со снопами пшеницы. И если на левой башне эти фигуры стояли плотно по четыре в ряд, обратив лица на все стороны света, то на правой башне было всего по одной сиротливой фигуре у каждой грани, и это, в сравнении, создавало очевидное и пугающее впечатление урона, выбитости...

Помнится, в начале шестидесятых, когда Владимир Федорович только обосновался в Москве и стал жить в этом доме, он даже предполагал, что эта кричащая разница допущена намеренно, что она должна напоминать людям, как велики понесенные потери, как страшна и жертвенна война.

Но потом ему рассказали об оплошности зодчих, и он перестал замечать неодинаковость башен.

И лишь недавно это наблюдение стало снова возвращаться к нему, тревожа душу, обретя совсем иной смысл. Ему казалось, что фигуры на левой башне изображают, как много пришло их когда-то с войны — фронтовиков, солдат, гордых победителей; как стойки были их товарищи, ковавшие оружие в тылу; как молоды были ждавшие их подруги...

А на правой башне зияющие бреши от угла до угла подсказывали со всей неумолимостью и горечью, как мало их теперь осталось.

2

— Нет-нет, Володя, ты всегда был излишне доверчив, даже наивен, а теперь эти качества не в моде, во всяком случае — они ни к чему... Нужно смотреть на вещи реально. Ты думаешь, что им так уж не терпится погулять на твоём банкете, высказать, как они тебя любят и ценят? Ну, погуляют, ну, выскажут... А еще через месяц Прокшин вызовет тебя и скажет: дорогой Владимир Федорович — пора, оформляй пенсию. И я тебя уверяю, что у него уже есть на примете человек, которому обещано твое место: молодой, перспективный, и ножки затекли, дожидаячись...

Они разговаривали в спальне, и Лиля металась в халатике, босая, по узкой полоске ковра, что оставалась не занятой кроватью, белой с позолотой, неудобной и громоздкой, под какого-то Людовика, будь он неладен.

Бобылев сидел, насупясь, провалив задом хлипкий пуфик.

Странно: он ожидал, что придет домой, и Лиля с обычной своей рассудительностью, ненавязчивой и ласковой, тотчас развеет его печали, научит, как отсечь все, что мешает спокойной жизни — ведь мешает многое, а изменить трудно, чаще даже невозможно, ну, так лучше выбросить из головы, не берeditь душу.

Однако, вопреки его ожиданиям, жена очень болезненно и нервно отнеслась к его рассказу, встревожилась сама и теперь как будто старалась усугубить его тревоги, чтобы он не расслабился, не впал во благодать.

Они поменялись ролями, и сейчас ему предстояло образумить ее.

— Лиля, ну нельзя же так. Зачем паниковать? Это все предположения, догадки. Я знаю, как ко мне относятся в коллективе, знаю, что думает обо мне руководство — не о Прокшине речь, ведь над ним тоже есть, — наоборот, мне делали намеки...

— Хитрят! — прервала она, бросившись коленями на покрывало, вытянув остерегающий палец. — Чтобы ты оставался беспечным, чтобы не успел подстраховаться, а там — бац...

Наверное, у нее хватило здравости мысленно — как бы со стороны — представить себя в этой нелепой позе: на коленях, с указующим перстом, в неистовом обличении, будто раскольник. Кроме того, за стенкой, в соседней комнате, могли услышать Марина и Дима, подумать, что они ссорятся — ведь случалось, хотя и нечасто, — она понизила голос:

— Володя, не забывай, что я все-таки врач «скорой помощи». А когда вызывают на сердечный приступ, люди не утаивают причин — выкладываются, как на исповеди. И я знаю, что очень часто это стрессы, вызванные оставлением привычной работы, когда перед человеком вдруг — пустота, как пропасть...

— Ну и черт с ними! — захлестнутой обидой, не сумел сдержаться Бобылев. — Уйду на пенсию — ну и что с того? Буду ездить по санаториям, бесплатно, ведь я фронтовик. Стану в школах выступать, прививать традиции подрастающему поколению — что, разве не дело?

Лиля бочком, как преодолевают планку, перемахнула через кровать, уселась ему на колени, обняла, поцеловала в распахнутый ворот рубашки. Но заговорила при этом, не воркуя, а непререкаемо и строго:

— Нет! Слышишь? Нет и нет. Никакой пенсии, никаких традиций. Ты для этого еще слишком молод. Ведь я лучше всех знаю, как ты молод!

— Ну, это... — отмахнулся он.

— Ты не понял. Но пусть и так. Я знаю твой организм, он у тебя, как у юноши.

— Тогда чего мне бояться? Наймусь грузчиком в мебельный магазин, там, поди, заработки... Или молотобойцем! — Бобылев громыхнул кулаком по тумбочке.

— Тише, — попросила Лиля. — Я не хочу, чтобы дети вошли сюда раньше, чем мы все решим.

— А что мы решим? — удивился он.

Ее карие глаза были совсем близки и смотрели из-под опущки ресниц, проникая, подсказывая что-то, словно бы пытаясь вызволить из его памяти затаенное.

— Володя, ты забыл? Ведь тебе в августе будет не шестьдесят, а пятьдесят восемь...

В зеркале напротив Бобылев видел отражение. Лиля на его коленях, изящная и хрупкая, из тех, к кому в магазине или в автобу-

се до седых волос никто не полезет с «мамашей», а у нее и проблема седины пока не замечалась.

У него же хватало этого добра: вон как инеем отливают виски, и надо лбом тоже... Ведь он был много старше своей жены. На сколько же? Он привык не задумываться над этим, не считать. Он просто твердо знал, что ему нельзя стареть, что он обязан оставаться молодым, покуда так молода она. Что его возраст всегда должен соответствовать ее возрасту, быть достойным и завидным отражением — вон, как в зеркале, чем не пара...

А ведь у них уже взрослые дети.

Да, но о чем это она?

— Помнишь, ты рассказывал, что во время войны переправил в метрике год рождения — прибавил себе два года, чтобы взяли в армию, чтобы попасть на фронт. Ты не выдумал это?

— Нет.

— Ну вот. Значит, теперь надо вернуть эти два года. Восстановить твой настоящий возраст, поменять паспорт.

Конечно же, Владимир Федорович сразу догадался, о чем завела речь жена. Да он и никогда не забывал об этом. Однако все его естество, вся чистота его совести гнали подальше память о том, как однажды он соврал, нахимичил, пусть даже руководствуясь самым святым чувством. И что позже он не искал случая признаться в этом, повиниться — его бы охотно простили, кто мог укорить его! Но он уже ничего не хотел менять в своей жизни, которую мог по праву считать честной, удавшейся и даже счастливой. Он оставил все, как было записано, и ничуть не тяготился этим. Доселе, до сего дня.

До состоявшегося нынче утром разговора с Прокшиным.

— Лиля, ты не все учиываешь, — сказал он, вразумляя. — Ведь это не только паспорт. Есть еще и анкета, и автобиография, а я их заполнял собственной рукой — вот этой... Да ведь тогда — он внутренне похолодел от такой мысли — придется менять даже партбилет!

— Даже партбилет, — подтвердила жена. Встала, уловив, что ведя этот разговор, все же, неловко сидеть кошечкой на мужниных коленях. — Ну сам подумай: почему ты должен быть старше, чем есть на самом деле? Кому это нужно? Зачем?

Бобылев склонил голову в растерянности. Он понимал, что Лилия вкладывает в эти «зачем» и «почему» одно-единственное значение, соответствующее ее решительным намерениям. Для него же

все это несло в себе двойкий смысл: *зачем* он пойдет на такой шаг, *почему* он не сделал этого раньше? Зачем и почему на склоне лет он сам потянется на риск непредвиденной жизненной встряски?

И еще: как она все это представляет себе реально, на практике?

— Лиля, давай пораскинем здраво, без горячки. Послезавтра мы уезжаем в отпуск в Крым. Значит, надо послать запрос в Холмы, в горзагс, мол, так и так... а когда вернемся, через месяц...

— Нет, Володя, письмами здесь не обойтись. Входящие, исходящие... на одном столе повалится, на другом... нет, это слишком долго. А у тебя только месяц срок — до двадцатого июля. Ведь потом может оказаться поздно. Все уже состоится.

— Что же ты предлагаешь?

— Мы не поедem в Крым. Поедем в Холмы. И там, на месте...

Бобылев тоже поднялся, прошагал комнату, все тем же углом огибая кровать, подошел к окну.

Отсюда, с шестого этажа, был виден глубокий проран Окружной железной дороги, отсекавший чащобы Нескучного сада от холма, на котором слоились белокаменные ярусы строящегося здания Академии наук с причудливыми золотыми часозвонами. По рельсам, заставляя дрожать стекла, опять катился состав. Двухэтажные платформы, заряженные, как обоймы, новенькими «Жигулями» — синими, красными, желтыми... а не привиделись ли ему нынче утром те вереницы ископаемых танков с черными крестами на броне?

Вообще слишком много оказалось ликов у этого бесконечного буднего дня.

Надо завтра сгонять машину в Кунцево, на техобслуживание. Иначе намытаришься в придорожных мотелях... Но по какой же дороге они поедут? Он держал в уме наезженный маршрут: Тула—Орел—Харьков—Запорожье... а, между тем, в памяти прочерчивалась и другая, уже изрядно потускневшая череда: Кашира—Елец—Воронеж... Тогда у него еще не было машины, и он ездил поездом, беспечно похрапывая на полке, даже не справляясь о станциях, зная, что рельсы докатят куда надо и куда билет.

Все так внезапно и непредвиденно меняется. Но меняется ли?

— Ты должна понять, — уставясь в окно, сказал он, — что все эти годы мне очень хотелось побывать в родном городе. Тем более, что мама, пока была жива, пока она была вместе с нами... несмотря на возраст, она каждое лето ездила в Холмы, а я... Я так ни разу

и не смог поехать вместе с нею. И с тобой, конечно... — поспешил добавить. — Думаешь, мне не хотелось?

Лиля молчала. Он, удивясь, повернулся к ней. И тотчас понял, что она выжидала, куда глаза их встретятся.

— Ты не ездил в Холмы потому, что там живет Анна, твоя первая жена, — четко выговорила она. — Ты избегал встречи с нею, может быть, даже боялся этой встречи... но и меня, как ты догадываешься, это не очень прельщало — встречаться с нею там. Или, оставшись в Москве, представлять, как вы встретитесь.

— Вот как? Ну а теперь... что теперь изменилось?

— Ничего не изменилось, Володя. Просто теперь *надо* ехать. Придется ехать.

Утром за общим завтраком на кухне Лиля, раздавая тарелки с овсянкой, обратила к нему настойчивый взгляд.

Он вспомнил, что жена уполномочила его самого сделать важное заявление.

— Тут, ребята, надо обсудить один вопрос...

Бобылев был осторожен, он заранее представлял себе, как огорчатся дети, узнав, что долгожданная поездка не состоится. Марина, конечно, ударится в слезы, а Дмитрий — тот начнет язвить, изображать отпетого жлоба, эта роль ему наиболее пришлось по вкусу к исходу девятого класса.

— Итак, товарищи, в повестке дня — один вопрос, неважно какой, но всего один, — объявил Дима с предельным занудством в голосе. — Кто «за» — поднимите ложки!

— Голосования не будет, — вмешалась Лиля, возвращая полномочия себе. — И обсуждать нечего — это не подлежит обсуждению, это решено. В Крым мы не едем.

— Значит, мы едем на Кавказ? — по-детски радостно всплеснул ладонями сынок. — Клевая новость! Так хочется разнообразия, смены впечатлений...

— Нет. На Кавказ мы тоже не поедem.

— Куда же? — с очевидным интересом и, в противоположность братцу, очень серьезно осведомилась Марина. — Куда вы собираетесь ехать?

— Что значит «вы»? — возразила мать. — Не «вы», а «мы»... В этом году мы поедem в Холмы — в родной город вашего отца. Мы едем завтра.

За столом воцарилась пауза. Это и впрямь было новостью, и требовалось некоторое время, чтобы ее осмыслить. Чтобы улеглось в сознании. А если не уляжется, то, все равно, требовалось время, чтобы избрать форму протеста: будь то слезы или шутовские выламывания.

— А что — это идея! — против ожидания, легко согласился Дима. — Я давно мечтал побывать на земле предков... Сколько дотуда?

— Семьсот километров, — сказал отец.

— Какое шоссе? Варшавка? Или Каширское?

Марина, отодвинув тарелку, поднялась рывком. Но не было даже признаков того, что она расплчется.

— Вот и хорошо, что так, что сразу... Я целый месяц боялась заикнуться, а теперь — можно.

— О чем это ты? — вскинула брови мать.

— Сейчас узнаете... — Марина выбежала из комнаты.

— А где мы остановимся в Холмах? — спросил Дима. — Там есть гостиница? Или Дом колхозника?

— Мы остановимся у Гриши Ворожуна, моего земляка, однополчанина. Да ты должен помнить его: он был в Москве лет пять назад, приезжал в Комитет ветеранов — такой усач, грудь колесом и вся в орденах...

— Он несколько дней жил у нас, — напомнила Лиля.

— Ну, я тогда еще маленький был, пять лет назад. — Дима тер пальцами лоб. — Грудь в орденах, грудь в орденах... сколько их к нам приезжало, папа, и у всех — грудь в орденах!

В дверях появилась Марина. На ней был новехонький, шуршащий от необмятости, комбинезон с яркими трафаретами и нашивками «ВССО-Москва».

— Вот, — только и сказала она.

— Это еще что? — тихо удивилась Лиля.

— ...товарищи, мы продолжаем показ перспективных моделей сезона, — загундосил в сложенные ладони, как в микрофон, Дима. — Перед вами модный комбинезон типа «сафари». Вы можете появиться в нем не только на загородной прогулке, но и на улице города — лучше днем, — и даже на работе, если у вас терпимый начальник... аксессуары и украшения произвольны, по вкусу, в данном случае — эмблема студенческого отряда... Она устроилась манекенщицей, — заключил братец.

— Дурак! — прикрикнула Марина. — Я правда записалась в стройотряд. Мы будем работать за Можайском, строить птицефабрику... Я все равно не собиралась с вами в Крым, но боялась сказать.

— Еще бы! — Лиля едва сдерживала изумленный гнев. — Попробовала бы сказать... да как ты, вообще, посмела, не спросив меня?

— Мама, ты не так поняла, ты просто не дослушала. Я не вас боялась. Я боялась, что могут не взять. Ведь едут только ребята, а девушкам — отказ: мол, из-за вас работы больше, а заработки меньше... девушек не берут, тем более первокурсниц. Но для меня исключение — меня взяли!

Бобылев неожиданно поймал себя на том, что улыбается. Жена на грани обморока, а он сидит и улыбается восхищенно, сияет гордостью: что вот, другим девушкам — отказ, а его дочь, Марину, взяли. Да, вот так же было когда-то с ним самим: он явился в военкомат, положил на стол заявление: «...прошу зачислить добровольцем...» — «Тебе сколько лет? — спросили его. — Где паспорт?» — «Не успел получить, а метрика — вот... в августе сравняется восемнадцать». И его тоже взяли.

Вообще ему казалось, что Марина в большей мере, чем сын, удалась в него. Притом, что они, дети, оба унаследовали от них лучшее, — так считал Владимир Федорович, — тонколицесть и золотистый редкий оттенок материнских глаз, а от отца — отменный рост и природную статью — характер дочери был ближе его простодушию, его доброте, — так считал Бобылев, — но ведь и не скажешь, что нынешнее шутовство и занудство сына всосаны с материнским молоком, нет, не было в ней ничего подобного, а скорее всего это проросло не от родительских свойств, а из возрастных причуд, от среды, от той раздражающей непохожести, с которой является на свет любое новое поколение, а потом к этому привыкают и даже находят черты родства, а потом само это новое поколение достигает поры отцовства и само дивится наследникам... но, безусловно, Марина, — так считал Владимир Федорович, — больше походила на него.

Однако его улыбка была, конечно, неуместной в данных обстоятельствах, и он, поднеся бумажную салфетку, стер ее с губ.

— А кто там у вас, в стройотряде, комиссаром? — следовательским вкрадчивым тоном справился Дмитрий.

— Фотиев Валерий, с третьего курса... а что?

— Тот самый, что был у нас на твоем дне рождения? — дотошно начал братец, со значением взглядывая на родителей.

— Да, он был, я пригласила... — Щеки Марины слегка запунцовели. — Ну и что с того?

— Да ничего особенного... нет-нет, ты не пужайся, красавица, я не про то... а я про то, что какие нонче времена: на подвиг — и то нужны связи!

— Но-но, — остерег Бобылев.

Лиля, опустив голову, старательно разливала по чашкам кофе. И лишь поникшие плечи выдавали всю тяжесть раздумий, владевших ею, понимание того, что сложности жизни вряд ли будут исчерпаны предстоящей поездкой в Холмы.

Как обычно — все наваливается разом.

Протягивая чашку Марине, сказала сдержанно:

— А ты решительная девица.

— Вся в тебя, мамочка.

3

Синий «Москвич» бежал по шоссе, минуя подмосковные, еще дачного облика места.

Владимир Федорович, шевеля баранку, следил в зеркале заднего вида за торопыгами, которые настойчиво подмигивали, требуя посторониться, мол, иду на обгон — и снисходительно уступал им дорогу. Но и сам обходил чересчур медлительные машины, а пуще всего те, чьи виляющие повадки выдавали неуверенность новичка за рулем — от таких лучше держаться подальше, в отрыве, они одинаково опасны что спереди, что сзади, что сбоку.

Ему доставляло немалое удовольствие с первого же взгляда определять, кто куда держит путь, у кого какая забота либо беззаботная и завидная праздность.

Побитый «жигуленок» с лопатами, мотыгами и пилами в брезенте, притороченными к крыше: едут корчевать и осушивать отведенный садовый участок — каторжная работа, непочатый край, сродни Таймыру, но полны решимости. К Черному морю тянутся транзитные «дикари» — из тех, которые, добравшись до Москвы, нанимают такси, чтобы ехало впереди и показывало дорогу в коловерти столичных улиц. А вот простая обкатка только что купленной машины: накручивают на спидометр километры, жгут бензин — и тем счастливы.

Багровые «икарусы» и пестрые автобусы западных фирм, порой о двух этажах, везут туристов, которые с ленивым любопытством или сонным безразличием поглядывают окрест...

Иногда Бобылев размышлял: что же в эти летние месяцы срывает с насиженных мест и гонит в путь такие орды людей? Только ли нужда в целебном климате, жажда ничегонеделания, дурные деньги, суетность? Или совсем иное: древний кочевой инстинкт, запрограммированный в генах и крови, повелевающий поступками людей столь же властно и загадочно, как те законы, по которым птицы пересекают пространства над материками и океанами, а рыбы убиваются о бетон плотин, норовя достичь заповедных речных нерестилищ...

Впрочем, самого Бобылева на сей раз это не касалось: он пустился в путь не ради забавы, а ради дела.

Лиля, дремавшая на заднем сиденье, привалясь к рюкзаку, вдруг вскинулась:

— Володя... а ты дал Марине номер телефона в Холмах, адрес?

— Дал, — успокоил он жену.

Но теперь заерзал нетерпеливо сидевший рядом с ним Дима, снова начал канючить:

— Папа, ну дай теперь я!

— Что значит «я»? А кто ты такой? — покосился на него Бобылев. — Ты несовершеннолетний гражданин, не имеющий права садиться за руль, потому как водительские права даются лицам, достигшим восемнадцати лет. А тебе, извиняюсь, сколько?

— Мне почти шестнадцать. У меня удостоверение «Юный водитель», вот... И ты знаешь, что я вожу машину, как бог, ты видел.

— Я не видел, как бог водит машину.

— Ладно. Только учти, что про это даже писали в газетах. Что, с одной стороны, критикуют молодежь за инфантилизм, за позднее взросление, а с другой — никакого доверия, никаких прав.

— М-гм, — посочувствовал Бобылев. — Но это, наверное, в порядке дискуссии?

— Не знаю... Зато в правилах сказано, что лица, не достигшие восемнадцати лет, могут вести машину в присутствии и под присмотром взрослых. Пункт двадцать три дробь два.

— Ах, вот как? Ну коли есть пункт и есть дробь — тогда убедил.

Владимир Федорович свернул к обочине, притормозил, выключил зажигание.

— Садись. Пользуйся доверием.

Он открыл дверцу, обошел машину спереди.

Тотчас повеселевший Дима переполз на его место, повернул в гнезде ключ с лопухим Чебурашкой на цепочке. Тронулись.

— А я-то все гадаю: что уж моему сыну так захотелось посетить землю предков? — усмехнулся Бобылев. — А ему, оказывается, без разницы: что в Крым, что в Холмы — лишь бы дали крутить баранку...

— Нет, почему же, — отозвался вежливо Дима. — Не только. Но машину он и впрямь вел хорошо.

Заночевали в кемпинге под Ельцом.

Лиля, накормив их, укрылась в палатке и сразу заснула.

А Владимир Федорович и Дима вышли к реке, учуянной неподалеку. Вдоль берега античной колоннадой высились прямые стволы сосен, вершины их были сдвинуты кронами, заслонявшими небо, и казалось, что именно эта черная хвоя, смыкаясь, изгоняет последние проблески света, превращает день в ночь.

Из охапки хвороста и старых шишек развели костерок — крохотный, непылкий, больше дыма, чем огня — так, для настроения.

— Папа, а как это было, что ты прибавил себе года? Ведь я и не знал. Ты не рассказывал.

— Служил, потому и не рассказывал... Переправил в метрике год рождения: двадцать пятый — на двадцать третий, пятерку — на тройку.

— Ну, это легко, всего одна черточка, — понимающе кивнул сын.

— А ты откуда знаешь? Что — пробовал?

— Пробовал, только наоборот: тройку — на пятерку, — признался Дима. — Но это давно было, еще в шестом классе.

— Вот как? — насутился было Владимир Федорович. Но отмяк, чтобы не горчить беседу. — Ладно, за данностью лет прощается.

— Значит, тебе тогда было ровно столько, сколько мне сейчас?

— Да, почти сравнялось шестнадцать. А ростом я уже порядочно вымахал, руки, плечи — будь здоров...

Бобылев с трудом оторвал глаза от колеблющегося пламени, поднял их на сына, сидевшего напротив: тоже росл, широкоплеч, вот разве что лицо еще совсем мальчишеское. Таким, наверное, был тогда и он.

— Папа, но это дело техники — переправить... А зачем? Ты что — стремился? Тебе так хотелось попасть на фронт? Ну да, я понимаю: ты узнал, что погиб отец...

Владимир Федорович медлил с ответом.

Ведь даже этого он не знал наверняка. Не было похоронки на отца ни тогда, ни позже. Его не призывали в армию — он был паровозным машинистом. В мае сорок второго повел состав куда-то под Харьков и не вернулся. Сначала думали, что беда стряслась в рейсе: немецкие самолеты бомбили с высоты железнодорожные узлы, гонялись на перегонах за отдельными эшелонами — расстреливали, жгли, сметывали под откос... Но вскоре из дома в дом поползла весть о том, что составы с пополнением, которые шли на подмогу наступающим нашим армиям, добрались почти до Мерефы, но сзади них, у Балаклеи, немецкие танки, прорвавшись в тылы, замкнули кольцо окружения.

Матери Володи в ту пору тоже не было дома, ее мобилизовали на рытье траншей и рвов. А слухи день ото дня становились тревожнее: что немцы уже под Воронежем, что вот-вот из Холмов начнут эвакуировать народ... Душу грызло отчаяние: он уже признавал свое сиротство, свою бездомность. Но вместе с этим пришло и ощущение взрослости, права самому распоряжаться своей судьбой, даже какая-то странная удаль... Он перерыл все ящики комоды и нашел там неказистое, вроде квитанции, свидетельство о рождении. Чернила на донышке его непроливайки загустели, и перо, окунутое в них, сразу начинало отливать гильзовой медью.

— Сперва я думал, что в военкомате не разобрались впопыхах, не различили этой черточки... а уж после догадался, что нарочно не углядели, просто-напросто пренебрегли. Как раз в Холмах стояла на формировании воинская часть, а с новобранцами было туго...

Он опять помолчал в затруднении, но договорил откровенно:

— Знаешь, тогда, в сорок втором, летом, казалось, что уже и нет в России людей, что некому воевать, что все мужики побиты... Страшное было лето.

На развилке мелькнул указатель: «г. Холмы».

И, когда они подались направо, асфальт завел плавную дугу вокруг большого озера в кудрях орешника, в щетине рогоза, поднявшего над водой бархатистые метелки.

— А где же холмы? — спросил Дима. — Тут совсем ровно.

— Не знаю, — пожал плечами Владимир Федорович. — Все сначала удивляются, а потом привыкают... Ну, есть тут, конечно, где повыше, а где пониже, но, вобщем, не гористо. Может быть, они стерлись, холмы? Стоптали их или срыли. Или просто время их сгладило.

Вдали проплыла башня станционной водокачки, и там же — как только что озерный камыш — торчал над горизонтом частокол заводских труб.

Но дорога гнула свое, сторонясь этих промышленных красот.

Через пяток минут они въехали на городскую площадь с арочками захолустного Гостиного двора, стекляшкой нового универмага, Доской почета с фотографиями лучших людей и синеглазой колокольной меж кленовых куп — всё тут было составлено уютно и впритык.

— А вон там я жил! — воскликнул Бобылев, указывая на лобовое стекло.

В голосе его пробилась хрипотца волнения.

— Где? В этих старых пятиэтажках? — спросил Дима, оборотясь вослед плоским крышам.

— Не-ет, они не старые, они совсем новые, я сам впервой вижу... их поставили на том месте, где был наш дом, деревянный, его снесли. Все дерево тут, в центре, снесли, а эти поставили.

Именно в ту пору, когда в Холмах снесли деревянные дома, Настасья Даниловна — мать Бобылева — сдалась на уговоры единственного сына и переехала в столицу.

— А вон моя школа! Целехонька, какая была, такая и есть... — ликовал Владимир Федорович. — Я в ней учился до восьмого класса. И еще после войны два года — ходил в вечернюю...

Лиля, проводив взглядом серое кирпичное здание, попыталась уловить в зеркальце возбужденные глаза мужа, но он не заметил ее поиска.

4

Григорий Никитич Ворожун поднялся с тостом.

Ростом он был невиден, хотя и осанист в поперечнике — коренаст, плотен — и это, пожалуй, даже неосознанно, заставляло его то и дело вскакивать на ноги, добирая высоту. Кроме того, как человек, всю жизнь проведший в строю, он не терпел сидячих речей: ведь приказы отдают стоя, и выслушивают их тоже стоя. И пусть он уже в отставке и в штатской одежде — точнее, по-домашнему, в рубаше с расстегнутым воротом и оттянутым книзу узлом галстука, — но военная жилка была в нем еще сильна, тем более что Ворожун работал ныне военруком в школе. И, уж конечно, ему было что сказать в час долгожданной встречи в родном городе — во всяком случае, сам он полагал, что есть, и, значит, надо высказать.

— Дорогой Володя... У меня, ты знаешь, характер прямой, рублю сплеча — за то немало и пострадал на своем веку, недобрал всего, что мог, не выслужил, ну, и хрен с ним. Меняться не желаю, не буду, да и поздно уж... Так вот: тогда, в Москве, хотя Лилия Петровна и очень ласково приняла меня в своем доме, спасибо, — он поклонился ей, — но сам ты, Володя, друг детских лет, фронтовой товарищ, и потом, после войны... — Ворожун перевел дух, заплутавшись в длинной фразе, укордкой смахнул слезу. — В общем, лукавить не стану: мне тогда показалось, что между нами нет уже такой дружбы, какая была — открытой, сердечной, — будто между нами что-то встало, какая-то стена...

— А ты горазд сочинять, — буркнул Владимир Федорович, вворачивая на скатерти налитую рюмку.

— Нет, я не сочиняю, нет, — заупрямился Ворожун. — Хотя, если честно признаться, то у нас, провинциалов, когда мы попадаем в Москву, появляется такая обостренная чувствительность: а рады ли нам старые друзья? Может быть, они чуточку забурели в столице и посматривают на нас свысока? И ждут не дождутся, пока мы уедем.

— Гри-иша, — укорила Мария Корнеевна, сидевшая рядом с супругом, — ну что ты плетешь?

Она тоже работала в школе, и наставнические повадки старой учительницы в ней удачно сочетались с радушием домовитой хозяйки

— Ведь ты, Гриша, встал для тоста... так какой же ты хотел сказать тост?

Григорий Никитич, поморгав, нашел ускользнувшую было мысль: — Чтоб все были здоровы! И со свиданьем... Ура!

Опрокинул стопку в рот, сел.

Бобылев тоже выпил до дна.

Лилия метнула на него предупреждающий взгляд: чтобы не слишком увлекался.

— Вот, попробуйте огурчик малосольный, — поднесла ей тарелку Мария Корнеевна, — со своей грядки, засолка свежая... в этом году огурцы раненько пошли.

Было ясно, что хозяйка, перегнувшись через стол с угощением, старалась заодно поближе и поотчетливее разглядеть гостью: то ли она впрямь так молода, как кажется — и щеки по-девичьи прозрачны, нежны, и шея без единой складочки, — или все дело в косметике, тех чудесах, которые творят в столичных салонах красоты, всяких «Волшебницах» и «Чаровницах»? Ведь и никак не может

ей быть меньше сорока — вон какой сынок, взрослый парень, а дочь, слышали, даже старше.

— Спасибо, Мария Корнеевна, — улыбнулась ей Лиля и, все поняв, отозвалась любезностью: — Я смотрю на фотографии, что на стенах: лица так похожи на вас, на Григория Никитича — наверное, дети?

— И дети тут, и внуки, — охотно подтвердил Ворожун.

— Коля, первенец, военное училище окончил, по стопам отца. Теперь ракетчик, капитан уже, служит на Севере. Там и женился, недавно приезжали в отпуск всей семьей... — подробнее рассказала Мария Корнеевна. — И Наташа, дочка, тоже замужем, оба инженеры, работают в Караганде, двое детишек. А младший, Юра, в торговом флоте, плавает, живет в Калининграде, — она вздохнула сокрушенно, — что-то нас совсем забыл: не навещает, пишет редко...

— Хорошо, что фотографии висят здесь, — сказала Лиля. — Будто бы все вместе за одним столом, вся семья.

Однако нынешнее застолье и без того казалось многолюднее, шире наличного круга.

Как повелось в современных домах, ужинали при включенном и запущенном на звук телевизоре. В данный момент на экране шла популярная передача «Песня далекая и близкая». Лицо ведущего было всем знакомо, а собеседников — поэта и композитора — он только что представил и назвал.

— ...Летом сорок второго года я находился в войсках Юго-Западного фронта, — рассказывал седогривый вальжанный композитор. — Случайно прочел в армейской газете «За родину!» стихотворение автора, имя которого, признаюсь, мне ничего не говорило. И сами стихи были, прямо скажем, безыскусные, хотя очень искренние... м-да... Но через несколько дней эти строки вдруг опять возникли у меня на слуху, уже связанные с какими-то мелодическими ходами. Притом это было совершенно произвольно — я вовсе не собирался писать на них музыку. Тем более что я улетел в Москву, не захватив с собой газеты, и мне приходилось не столько вспоминать, сколько сочинять самому — точнее, досочинить... уж вы простите великодушно, — поклонился он поэту.

Багровый фон со скрипичным ключом сменился суровыми, цвета пороха и гари, кадрами кинохроники. Берег Волги в августе 1942 года: руины разбомбленного Сталинграда, остовы зданий, космы черного дыма, тянущиеся в небо. Корма затонувшего речного парохода. И цепи солдат, шагающих к переправе, — на левом берегу...

Бобылев оцепенел, глядя на эти кадры, хотя он и видел их много раз — да их, наверное, видели и знали все.

Заметил, что и Гриша Ворожун, мельком обернувшись к экрану, тоже замер в неудобной скрюченной позе — будто в окопчике, еще невырытом до полной глубины, как внезапно ухнуло рядом...

Лиля притронулась холодными пальцами к руке мужа: она всегда безошибочно угадывала момент, когда это успокаивающее касание было необходимо.

Но кадры хроники уже оборвались, не столь уж много успели их заснять в те дни.

Владимир Федорович тоже поднялся с рюмкой в руке.

— Дорогая Мария Корнеевна, дорогой Гриша... Я, не скрою, очень взволнован: после стольких лет вернулся в родной город. И сейчас не могу не вспомнить, как вернулся сюда в сорок пятом. Много народа ушло на войну из Холмов, а вернулись немногие. Из нашей школы — всего трое: Гриша Ворожун, я да еще Степан Лысков...

— Степа умер в этом году, — сказал Ворожун, теребя ус. — Я тебе еще не говорил об этом, чтоб не расстраивать.

— Умер? — тихо переспросил Бобылев. — А... от чего?

— Да ни от чего. Лег спать — и не проснулся.

— Вот как...

Владимир Федорович потоптался на месте и, ничего больше не сказав, выпил мрачно, не чокаясь, как пьют за упокой.

Жена опять хотела остеречь, чтоб не частил, но на сей раз смолчала.

— А теперь я передам слово автору текста, пожалуйста... — улыбаясь, пригласил ведущий.

Сейчас сделалось особо наглядным как много прав берет на себя в доме включенный телевизор: вмешивается некстати и невпопад в беспечный разговор, смутив людей угрюмыми напоминаниями, но теперь — когда все приуныли — он же постарался и отвлечь, развеять хмурые думы.

Поэт прокашлялся в кулак.

— Видите ли, я и не помышлял, конечно, что займусь этим профессионально. Хотя с тех пор у меня вышло восемь книжечек стихов... Ну а тогда, честное слово, я даже не знал, как пишутся стихи. Вот товарищ композитор сказал, что у него как бы сама собой мелодия зазвучала, то есть в душе. Но, может быть, это еще и потому, что тогда я эти строчки не записывал — тем более что бумаги было в обрез, на

раскурку не хватало, — а напевал их про себя, чтоб не забылось. Но музыка, конечно, была совсем другая, и если бы я даже ее помнил, то, все равно, никак не посмел бы сейчас ее воспроизвести...

На экране рассмеялись неподдельно.

И за столом оживились, позабавясь простодушием поэта.

— Эту песню мы попросили исполнить для наших слушателей заслуженную артистку РСФСР... — объявил ведущий.

Но пока певица шла к роялю, а композитор располагался аккомпанировать ей, Мария Корнеевна, не выдержав, поделилась новостью:

— А нашей Анне Илларионовне, Ане, присвоили звание заслуженной учительницы РСФСР. Уж она-то заслужила, она...

Осеклась на полуслове, из чего можно было заключить, что муж под столом наступил ей на ногу, как на язык.

Но все поняли, о ком идет речь.

Даже Дима склонился пониже над тарелкой.

К счастью, прозвучали бодрые аккорды вступления, и певица запела:

За нами Волга — оглянись, товарищ!

За нами Волга, вся в дыму пожарищ,

И глаз нейдет, что там за ней вдали...

А там для нас с тобой, товарищ, нет земли!

«Странно, — подумал Владимир Федорович, — зачем эту песню поручили петь женщине? Тут бы надобны ребята из александровского ансамбля... А сама песня, как будто, знакома, только напев иной...»

Лилия Петровна, воспользовавшись громко звучащей музыкой, сказала наклонившись к уху мужа:

— Я понимаю, что в таком маленьком городе вы вряд ли разминетесь. Но я прошу тебя лишь об одном: не ходи к ней домой... это будет тяжело и неловко для вас обоих.

Он кивнул неопределенно.

— Володя, — окликнул Ворожун, снова вскакивая. — Да ведь это же наша песня, нашей дивизии, только слова почему-то не те... Помнишь?

Он запел с воодушевлением, а Бобылев подхватил куплет:

И этот берег у реки один —

Мы не уйдем с него, врагу не отдадим...

Теперь оба застолья наконец-то соединились, слились долгожданно, хотя певица на экране пела одно, а поэт, робко и неслышно шевеля губами, твердил другое, а Ворожун и Бобылев во весь голос распевали третье.

5

Он проснулся отменно бодрым.

Вспомнил, что Лиля, снаряжаясь в путь, спрашивала: брать ли его тренировочный костюм, и он подтвердил, что обязательно.

Тихо встал — была еще сонная рань — подошел к чемодану, приподнял крышку: сверху лежало Лилино вечернее платье, черное с люрексом, которое он купил ей за границей, в Дюссельдорфе. Не сдержал усмешки: случится ли ей повод блистать в нем здесь, в Холмах, пожалуй, что и нет, зря возила... А ниже нащупал трикотажную мягкость, вытащил, быстро оделся, завязал шнурки кроссовок, просеменил ступеньками крыльца, миновал калитку.

В соседских дворах горланили петухи, помыкивали коровы.

Прикинул направление: туда, к городской площади, к магазинам, к церкви? Ну нет, там наверняка уже зашевелился ранний люд, станут глазеть, узнавать или не узнавать, судить, рядить — ни к чему...

Побежал в обратную сторону, околицей, к шоссе, по которому вчера они въезжали в Холмы.

Солнце шло на восход, било слепящими лучами прямо в лицо, и он опустил веки, склонил голову. Но журчащая чистота воздуха сразу наполнила тело ощущением радости.

Бобылев похвалил себя за то, что с первого же дня отпуска взял здоровый старт. Эта неожиданная поездка в Холмы и ее причины — зачем лукавить? — грозили прежде всего нарушить привычный уклад жизни, сломать заведенный порядок, а вот именно этого он и не должен допускать, ни в коем случае.

Дробная россыпь шагов коснулась ушей. Нет, он не только услышал, но даже ощутил подошвами вздрагивание асфальта. Интересно — кто? Неужели и здешней глухомани коснулось повальное увлечение? Или же это местные физкультурники по утренней прохладе готовятся к рекордным забегам на областном смотре?

А ну-ка прибавим скорость! Он вовсе не имел намерения уступать дорожку.

Но грохот шагов наступал неумолимо. Бобылев, не оборачиваясь, понял, что это не физкультурники: бег был не спортивным, другим, он был лишен той полетности, при которой ноги едва касаются земли, — нет, тут каждый шаг впечатывался, брал усилием пядь за пядью.

Владимир Федорович поневоле свернул к обочине.

Бежали солдаты: хотя и не строем, но повзводно, сохраняя разрывы между взводами. Они были в бухающих сапогах с просторными голенищами, в кителях, подпоясанных ремнями, в пилотках. Они бежали без карабинов, без патронных сумок, но за спинами тряслись плотно набитые вещмешки. А лиц было не различить: солдаты бежали в безносых шлемах противогазов, изнемогая, однако надсадного дыхания не было слышно, оно уходило в патрубки и глохло в фильтрах. И только свинцовая тяжесть сапог, попирающих асфальт, выдавала степень усталости...

Вероятно, они уже возвращались в расположение: туда, к казармам и плацам, где и прежде, и сорок лет назад находился военный городок. Где он, Володя Бобылев, впервые облачась в защитную гимнастерку, учился держать равнение, зубрил устав, расстреливал фашиста в зеленой каске на мишени, маршировал — ать-два, постигал приемы — вперед штыком коли, назад прикладом бей... А потом — присяга.

Пробегая мимо, солдаты чуть скашивали на него глаза в запотевших стеклах.

Владимир Федорович застеснялся под этими взглядами, устыдился своих кроссовок, костюма небесной голубизны, всего, что подчеркивало, сколь он *налегке*.

И, хотя грохот сапог уже отдалился — колонну замыкал сигнальщик с красным флажком, — он так и не собрался с духом возобновить бег, зарысить следом.

Махнул рукой, побрел назад.

Час спустя, побрившись и позавтракав, они с Ворожуном отравились вершить дела.

Григорий Никитич, не одолев искушения, присущего отставникам, надел к случаю парадный мундир с майорскими погонами, золототканый пояс с кортиком, а грудь его справа и слева была сплошь увешана орденами и медалями, ветеранскими знаками.

Он и Бобылева заставил пристегнуть планку пестрых ленточек в четыре ряда. Да еще ворчал:

— Что же ты в родной город заявился в кои-то веки и без полного иконостаса?

— Не люблю я этого, Гриша: в очередях звенеть, домохозяек распугивать...

— При чем здесь очереди? Сегодня с ребятишками в школе встретишься, а им нравится, когда во всем сиянии.

— Ничего, авось поверят на слово, что воевал. И тобой лишний раз полюбуются.

— На меня уж насмотрелись, надоел, поди. Сколько лет военруком... Сюда, пришли.

На двухэтажном доме старой купеческой кирпичной кладки была вывеска: «Отдел загс Холмского райисполкома».

— Так ведь тут и было, — обрадовался Бобылев, но умолк, вспомнив, что Гриша и Мария Корнеевна, а в ту пору просто Маша, были свидетелями, когда они здесь расписывались с Анной.

— Тут и было... — подтвердил Ворожун. — Ну что ж, действуй, надеюсь — обойдешься без подмоги. А я в школу: нужно еще ребят собрать, сам знаешь — каникулы, кто в пионерлагере, кто где. Но ничего: у нас это налажено — по цепочке... о, гляди!

Поодаль, на песчаном пустыре, мальчишки играли в городки: летели, свистя в воздухе, биты, пыль взвивалась столбом, пирамиды рюшек рассыпались во все стороны, доносились ликующие возгласы.

Когда-то и они с Гришей Ворожуном вот тут же старательно выкладывали фигуры: «колодец», «самолет», «закрытое письмо», «часовые» — и разметывали рюхи бросками метровых бит, и вот так же орали.

Хорошо, что игра осталась.

В тенистом коридоре гомонила свадьба: невеста в белом платье до пят и кисейной фате, жених в чопорной тройке, родители, дружки, подружки.

Вышла женщина с красно-синей перевязью через плечо:

— Прошу...

Грянул свадебный марш.

Он прошел в другой конец коридора, свернул за угол, увидел скамью, на ней — женщину в черном, с распухшим от слез и лекарств лицом. Ее утешали юноша лет пятнадцати и девушка чуть постарше, сами зареванные, серые от бессонницы.

В этом углу Бобылеву не случалось бывать.

Мать умерла в Москве три года назад, ее сожгли в загородном Николо-Архангельском крематории. Урну с пеплом поставили в закрытый колумбарий, прикрыв мраморной доской с фотографией на керамическом овале.

Отцовской могилы не было. Прошлым летом, направляясь в Крым, они за Харьковом свернули к Балаклее. Там, среди тучных ланов пшеницы и тщательно опуханных задвижек газопровода, высился обелиск с надписью: «Павшим, но непобежденным». Бобылев помнил, как в мае сорок второго об этом сообщили газеты: пять тысяч убитых, семьдесят тысяч пропавших без вести... Вот тогда немцы и прорвались на Кавказ, вышли к Волге.

В этом городе у него не осталось родительского дома, не было родных могил.

Он поднялся на второй этаж.

Заведующая прочла его заявление, полистала паспорт, кивнула.

— Ну что ж, попробуем.

— Редкий случай?

— Да как бы вам сказать... По таким вопросам чаще обращаются женщины. Пока молоды, а особенно, когда уже не первой молодости, всеми правдами-неправдами пытаются убавить себе года... и, представьте, иногда удается. А потом, когда дело к пенсии подкатит, вот тут, глядишь, и понадобился полный возраст...

— Ну, у меня наоборот.

— Понимаю. Но для этого нужно поднять реестровые книги. А это — областной архив. И хорошо, если сохранилось. Двадцать пятый год рождения, дела давние. В войну архив эвакуировали, но эшелон бомбили — горел... Мы сделаем запрос.

— Значит, в область. Это долго?

— Потребуется, конечно, время. А вы пока отдохните, — она улыбнулась, посмотрела в окно на гроздья рдеющей рябины. — Ведь родные ваши места. И лето вон какое доброе. Зачем вам спешить?

6

Всех собрали в классе военной подготовки, где на стене висели портреты нынешних маршалов и карты бывших сражений, испещренные красными и синими стрелами.

На актовый зал не набралось, догадался Бобылев, а тут сидят плотненько, локоть к локтю. На «камчатке» — школьные учителя,

их тоже позвали на встречу с бывшим выпускником, участником войны, приехавшим из Москвы.

Владимир Федорович сразу, как вошел, увидел Анну: поразил-ся тому, как она стала седа, как стара, — и больше туда не смотрел, понимая, что глаза выдадут, и он причинит ей боль, надо испод-воль приглядеться, привыкнуть.

Увидел и Димку за партой справа, у окна, подсевшего к смазливой девочке с бантами в толстущих косах. Пришел, сам напросился — то ли от скуки, то ли желая иметь представление, каков отец бывает на людях.

Ворожун представил его, щедро завысив все титулы и звания — едва ль не в министры возвел, — и дал слово.

— Иногда мне приходится бывать на таких встречах, — начал Бобылев. — Приглашают через Совет ветеранов, через райком партии — ну, выступаю, рассказываю... а сам все всматриваюсь в лица: нет ли на них скуки? Ведь случается — зачем скрывать, — что и скука, и смешки, и шушуканье...

— Да, насчет дисциплинки у нас еще бывает слабовато, — отозвался военрук, вышагивая между рядами. — Сеньков, что вер-тишься — на шило сел?

— Нет-нет, — поспешил уточнить свою мысль Бобылев. — Я знаю что наше молодое поколение живо интересуется временем и событиями Великой Отечественной войны, чтит подвиг отцов и де-дов... Вот я и думаю: а может быть, мы рассказываем не так? Или, может быть, вы все уже знаете? Ну да: книги, кино, телевизор... А мы их тоже читаем, тоже смотрим. И вот, знаете, я порой ловлю себя на том, что рассказываю, вроде бы, и *свое* — пережитое, лично выстра-данное, оплаченное собственной кровью, а слова идут какие-то не свои, будто бы я чью-то книжку пересказываю или кинофильм... Просто об этом очень много уже сказано, и не хватает новых слов, вот и приходится повторять за кем-то, нанизывать чужие слова, хотя и рассказываешь про свое... И еще: очень много времени прошло с тех пор, ведь почти сорок лет. И память, конечно, начала слабеть...

Он чувствовал, что ведет свою речь слишком отвлеченно, не приводя никаких примеров, а ему очень хотелось, чтобы его поняли.

— Вот вы, наверное, уже не раз слышали, что солдатам снится вой-на. Что вскакивают, ошалелые: «Где?.. Откуда обстрел? Всем в укры-тие!..» Да? И со мною тоже так бывало — вскакивал... а вот теперь...

Он обвел глазами класс и признался, как повинился:

— А совсем недавно я обнаружил, что мне перестала сниться война.

И сразу убедился, как был прав в своих предположениях: ребята, сидевшие за партами в смиренной и напряженной тишине, вдруг засмеялись, задвигались, начали переговариваться: наверное, им понравилось то, что он сказал, тронула его искренность. Но, вместе с тем, по нынешним понятиям, искренность смешна.

Ворожун, подойдя к столу и пользуясь возникшим гомоном, проворчал:

— Что-то тебя повело не в ту степь...

— Разве?

— Точно. Ты о боевом пути давай, о ратных подвигах! А не кому что снится...

И, когда унялись, сказал погромче:

— Вот мы все просим Владимира Федоровича рассказать, как он пятнадцатилетним пареньком добровольно пошел на фронт... попросим, ребята!

Те с готовностью и столь же дружно начали рукоплескать.

— Хорошо, я расскажу, — кивнул он. — Только мне тогда уже было почти шестнадцать, вот-вот должно было исполниться. Я учился в этой школе, закончил восьмой класс... и ваш военрук, гвардии майор Григорий Никитич Ворожун, тоже учился тогда в этом классе, мы с ним учились вместе...

Вовремя заметил, как сосредоточенно и нервно крутит ус Григорий, прохаживаясь между рядами парт.

Ах, да, вспомнил Бобылев, об этом не надо: ведь Гриша Ворожун был второгодником, оставался и в пятом, и в седьмом (он был не в ладах с орфографией: что ни диктант — то «кол»), и к лету сорок второго уже вошел в призывной возраст и чин-чином получил повестку.

Но, тем более, нахвастывать сейчас, как он подправил метрику, значило бы красоваться мальчишеской удалью, а он не хотел этого: он не признавал за собой никаких преимуществ перед теми, кто ушел на войну в свой день и час, безропотно повинувшись долгу.

— Нет, я лучше расскажу вам о том, как для меня закончилась война...

Владимир Федорович обрадовался, угадывая, что этот эпизод наверняка покажется ребятам интересным: в нем было движение, была необычность действия и причудливость расстановки фигур. В нем были поучительность и наглядность, была правда.

Кроме того, здесь не было риска, что он станет выставлять на показ свое геройство — совсем наоборот.

И еще в этом эпизоде витал сам дух той победной весны — волнующий, хмельной, упоительный, безоглядный.

— Это было в Померании, у Балтийского побережья. Мы взяли город Браунсбург — взяли в жестоком бою, понесли большие потери, и сразу двинуться дальше не было никаких сил. Но вдруг узнаем: вернулись разведчики, доложили, что немцы перед нами тихо сняли оборону и пытаются уйти морем. И тут же приказ командования: преследовать, разгромить... Двигались мы трудно: повсюду минные поля, а в лесу натянута железная сеть, вкось и вкривь, на сотни метров — не разгрызешь их, не подорвешь гранатами, а пойдешь в сторону — лабиринт, ловушка, теряешь из виду товарищей, теряешь направление, плутаешь, бьешься, как птица в силке, поневоле закрадывается в душу страх. Ну, старались использовать вражеские ходы сообщения, траншеи. И уже в сумерках вышли к заливу... Как сейчас вижу: песчаный берег, дюны, туман стелется... и много лошадей — из артиллерийских упряжек, здоровые такие битюги, и все ковыляют как-то странно, подпрыгивают, будто стреноженные: оказалось, что немцы, бросая их, всем прострелили левые ноги... Самих немцев тоже видим: уплывают на лодках, на плотах — облепили, как мухи, — к дальней косе. Они сначала старались уйти скрытно, без шума, но тут нервы не выдержали: начали пальбу, повели минометный огонь прямо с плотов. Помню только — сверкнуло рядом, я даже удара не почувствовал и боли сперва не ощутил... Были у меня и до того ранения — отлеживался в госпиталях. Но тут оказалась контузия — очнулся, все, вроде бы, цело, и крови нет, а голова болит отчаянно, прямо раскалывается на части, хоть кричи... Попробовал выбраться из траншеи, чтоб у своих быть на виду, карабкаюсь по пандусу, вдруг вижу — сапоги, две пары сапог... поднял глаза: стоят надо мною два немца, у обоих карабины в руках. Одна у меня мелькнула мысль: что вот сейчас выстрелят или просто долбанут прикладом по голове — и боль моя уймется навсегда... Но, вместо этого, гляжу — бросили оружие на землю, подняли руки. Один, который помоложе, говорит: «Гитлер капут!» А другой, унтер, лет тридцати, в очках, спрашивает по-русски: «Господин солдат ранен?» — «Есть маленько», — отвечаю. А сам чувствую, что опять теряю сознание, падаю... Потом оказалось,

что они меня подхватили вдвоем и доволокли до наших — предьявили, как пропуск, чтоб вернее и благороднее сдать...

Бобылев искал глазами Ворожуна: хотел по его виду, по его усам определить, доволен ли он его рассказом, в ту степь или опять не в ту, так ведь можно и в другую, мало ли они прошагали в войну степей и лесов — пересеченных местностей, — но Гриша в эту минуту подыхивал за его спиной, а прямо перед собой Владимир Федорович видел только десятки глаз: детских и взрослых, устремленных на него с ожиданием и сочувствием.

И, поскольку все глаза была устремлены на него, он не мог не заметить, что лишь один-единственный взгляд был направлен в сторону, к окну: это Анна, его бывшая жена, задумчиво и пристально смотрела на Димку, на его сына, который не был ее сыном.

Володя хорошо помнил этот затяжной взгляд: вот так, бывало, на уроке, оторвавшись от тетради, он вскидывал голову и нечаянно ловил на себе глаза девочки с толстой пшеничной косой, которые она не успевала отвести.

7

Тропинка вильнула в широколистный орешник, уже отягощенный пыльными гроздьями.

— Ну, дальше сам иди, дорогу знаешь, — сказал, останавливаясь, Ворожун.

Из холщевой сумки-побирушки с портретом покойного певца Джо Дассена вынул чуть привядший букет астр и коробку шоколадных конфет. — Вот, возьми... чтоб все, как полагается.

— Да зачем это? — тихо протестовал Владимир Федорович. — Что я — ухажер?

— Бери. Так надо. Ведь у нас, брат, провинция, глушь — обычай стародедовский, кондовый.

Тон друга был настойчив.

— Ну давай, коли так.

Бобылев, слегка подосадовав, сунул коробку и цветы под мышку, двинулся дальше. При этом подумал, что все стародедовские кондовые обычаи рождаются отнюдь не в глуши, а наоборот — в столицах: букеты и коробки, холщевые сумки и оружие транзисторы, джинсовые юбки и мужицкие патлы до плеч — все это далеко не сразу достигает

провинции, но подхватывается там истоиво и жадно, внедряется основательно и существует долго, обретая вальяжность традиции, делаясь обычаем, над которым потешаются потом заезжие столичные гости.

Он заранее представил себе, как Анна встретит его в беседке на берегу озера: она будет в широкополой, сквозного узора, шляпе, может быть, даже в кружевных перчатках, с раскрытой книгой на коленях — что там, сонеты Шекспира или томик Рубцова?

А как они поздороваются? Он склонится, поцелует руку? Или прикоснется холодными губами к щеке?

Ворожун догнал его в кустах, справился заговорщицки:

— Ты ее провожать пойдешь?

— Нет. Зачем устраивать представление на весь город?

— Ну правильно, незачем... Тогда я здесь подожду, покараулю.

— Ладно, — усмехнулся Бобылев. — Сигнал тревоги — троекратное «ку-ку».

«Мать честна, да ведь все это уже было, сто лет назад — вот в точности так...» — поразился он.

В восьмом классе Аня назначила ему свидание в беседке на берегу озера, и второгодник Гришка Ворожун не только известил об этом, но и взялся обеспечивать охрану: у русокошой Ани Капустинной было немало ревнивых вздыхателей. И только сейчас Бобылев подумал вдруг, что и сам Гришка, поди, был тайно в нее влюблен, той беззаветной и покорной влюбленностью, что готова даже быть на посылках когда свидание назначается другому.

— Значит, ты решил вернуть эти годы? — спросила Анна. — Извини за то, что знаю, но в Холмах такие секреты не живут больше часа...

Она рассматривала его не в упор, а чуть отнеся назад голову, из-за чего поза ее казалась несколько надменной.

— Вернуть годы... ведь это не только цифра, дата, не только формальность — за этим всегда есть состояние души. Как же иначе?.. Вот я помню, когда ты вернулся с войны, то показался мне старше — нет, не из-за этих двух лишних лет, которыми ты сам себя наградил, а просто потому, что ты приехал с фронта: я поверила в твое старшинство, в твою умудренность, почувствовала себя рядом с тобой совершенной девочкой...

«Нет, совсем не так», — мысленно оспорил ход ее рассуждений Владимир Федорович.

Было и другое — встречное, противоположное ощущение. К той поре, когда он возвратился с войны, Аня уже окончила двухгодичный учительский институт и работала в школе, куда, оттрохав смену в паровозном депо, едва копоть отмыв с лица, он прибежал со связкой учебников и тетрадок в вечернюю школу: в девятый — опять в девятый, потому что все позабыл на войне, отшибло мозги, и так посоветовала Аня в предвидении строгих экзаменов выпускного десятиго. А она хотя и вела младший класс, но была не кем-нибудь, а учительницей, и товарищи величали ее Анной Илларионовной. И он при встрече едва умел побороть в себе школярскую робость, хотя с этой училкой они целовались еще до войны, в восьмом...

Они поженились.

Аня еще и училась заочно в Воронежском университете, на филфаке, и настояла на том, чтобы он, получив аттестат, тоже продолжил свое образование. «С твоими-то способностями!..» — убеждала она. Однако его не манила филология, и он не захотел в Воронеж. Поехал в Москву, успешно сдал все экзамены, поступил в Энергетический институт. Ночами работал дежурным кочегаром, умудрялся даже высылать деньги жене и матери. На каникулы и в праздники ездил домой, в Холмы. Мать ничего не имела против его учения, но сокрушалась, что нет внука либо внучки — да и то сказать, разве от такой розной жизни бывает?

Впоследствии Владимир Федорович вспоминал эти пять студенческих маетных и бессонных лет с тем же удивлением и недоверием, как вспоминал войну: да с ним ли это было? Как он вынес, как выдюжил? Будто бы и не с ним.

— А помнишь, в «Фаусте»... — заговорила Анна и спохватилась виновато: — Ну вот, куда понесло... ведь понимаю, что не должна, что не урок, а само собой получается. Но уж ладно, закончу. Там, у Гете, Фауст признается: «Я следовал желаньям, молодой, я исполнял их сгоряча, в порыве. Тогда я жил с размахом, с широтой, ну а теперь — скромней и бережливей...» Помнишь?

— Нет, не помню, — покачал он головой. — Ну сама посуди — какой из меня Фауст? Я в Главстандарте работаю. Мне принесут вечный двигатель, философский камень или, вот кстати, эликсир молодости — а я, первым делом, обязан проверить: соответствуют ли они государственным стандартам? И тут выясняется, что на них вообще пока нет ГОСТа...

Рассмеялся, как бы приглашая ее к шутливому продолжению разговора — так всегда легче.

Но она смотрела на него серьезно и пытливо:

— Не приbedняйся, Володя. И я не о том спрашиваю. Ответь мне прямо: если бы это действительно было возможно — вернуть годы, вернуть молодость, переиначить жизнь — что бы ты сделал не так, как сделал?

Бобылев напрягся внутренне: неужели она решилась вот так прямо затронуть тему, которой лучше бы вообще не касаться? Неужто она ждет от него покаяний, сожалений? Тогда самое лучшее и самое правильное — встать и, вежливо поклонившись, уйти.

Однако в глазах Анны не было и тени подвоха, лишь живой и участливый интерес — значит, она о другом.

Ну так что бы он сделал иначе?

В тот момент, когда институтский диплом был у него в руках, стало окончательно ясно, что он больше не вернется в Холмы, потому что с его специальностью там нечего делать. Ему предложили на выбор четыре пункта распределения. А пятое, как отличнику — остаться в аспирантуре в Москве. Он ухватился за последнее не столько из честолюбия, не из расчета выйти напрямик в светила науки, а скорее потому, что в этом была спасительная отсрочка: не надо тотчас срывать с места Анну, увозить ее из школы, где она вела уже старшие классы и прочилась в завучи. Мало что менялось и для него: прежний институт, то же общежитие, лишь народа в комнатах поменьше.

Да нет же, рассердился Бобылев на себя самого, ведь вовсе не так было дело — это теперь представляется, что так, а было совсем иначе. Тема кандидатской диссертации показалась захватывающе интересной. Вообще весь жар сердец, все шевеление умов — все в ту пору сходило на том, что да, безусловно: математика, физика, электроника. А прочее — лишь блажь и лирика, ну разве что для отдохновения души.

...Лилия? Но ведь она не спрашивала о Лиле, не это имела в виду.

Однако именно потому, что она не спрашивала и не нужно было уклоняться от прямого ответа, он сейчас с особой ясностью прозрел правду.

Теперь Бобылев уже сам не мог отделить одно от другого — все точно сходило во времени и, сколь ни обманывай себя, имело один и тот же вкус: упоительный вкус молодости и начала начал.

Он познакомился с Лилей в раздевалках стадиона «Буревестник», где она, еще студентка-медичка, щупала пульсы спортсме-

нов, хмурясь и едва умея погасить улыбку, когда подопечные шли чересчур напролом в изъяснении чувств. А он-то как раз был сдержан и тем привлек ее внимание.

Она, Лиля, дала ему это ощущение начала начал.

Конечно, его томила пугающая разница в годах — ей девятнадцать, а ему, если верить документам, уже за тридцать. И однажды он исповедался, рассказал ей об этих добровольно приписанных годах: не красясь, не набивая себе цены и молодости, а просто в порыве искренности и любви. Она лишь отмахнулась — да какое это может иметь значение! — и заставила его забыть. А потом, столь же естественно и уже во плоти, она сделала его ровней своей цветущей юности. Он перестал замечать, что изранен, перестал ощущать, что надломил душу на войне — как ее надломили все, кто там был, хотя и говорят, что закалили. Он жил новой жизнью — захлеб, почти потеряв из виду прежнее, и вспомнил о нем лишь затем, чтобы все узаконить: к этой поре уже ждали появления Маринки.

Итак, Лиля заставляла его забыть о тех годах.

Но сама не забыла. Во всяком случае напомнила именно она — очень кстати, теперь.

— Так что бы ты сделал не так, как сделал? — повторила Анна свой вопрос, видя, что он погружен в раздумья. — Если бы это было возможно: вернуть годы, вернуть молодость...

— Знаешь, — сказал Бобылев, — если бы можно было все переиначить, я бы, наверное, выбрал себе другую специальность. В широком смысле — другую профессию. Не технику, а что-то совсем другое... я даже сам не знаю — что.

Она молчала, оценив всю важность признания и ожидая дальнейшего.

— Нет, не потому, что я мечтал изобрести, открыть, а вот приходится корпеть над чужими идеями и чертежами, — заторопился он с объяснением. — Дело вовсе не в этом. Не в личном, не в частном. Не в удаче или неудаче. Здесь я достаточно объективен, поверь... Я имею в виду сферу приложения сил.

— О, ты не одинок, — понимающе кивнула Анна. — Сколь я ни далека от ваших сфер, но мотив этот мне знаком. Многие мои ученики, которые мечтали стать инженерами — и стали ими, притом хорошими, как ты... мы встречались позднее — ведь когда они приезжают домой, заглядывают и в школу, — я уловила у некоторых те же нотки, что у тебя, то же разочарование. Хотя и бодрятся. И тоже в чинах, в степенях.

Она взяла со скамьи астры, приблизила их к ноздрям, как бы пытаясь осмыслить запах увядания, спокойно отложила.

— Жаль, что так. Но почему, Володя?

— Видишь ли, это почти невозможно объяснить. Как нельзя и объять умом все сразу. Вычленить единую причину. Потому что сами сферы очень различны и, соответственно, пути их развития, формы воплощения никак не походят друг на друга. Не общи, нет — часто совсем противоположны. И, значит, не может быть единой для всех закавыки...

В затруднении потер подбородок шершавой тыльной стороной кисти.

— Ведь это тогда, в пятидесятых, многим казалось — и мне тоже, — что все движется к цельности, к формуле, к истине — да вот же она, дотянись! А практически все, наоборот, дробилось на частности, ветвилось, мельчало — пополам, поперек и еще раз на двое... все будто бы ускользало из рук, исчезало из поля зрения.

Он запнулся в своей речи, категорически замотал головой.

— Нет, не так! Это совсем неверно — то, что я сейчас говорю. Потому что, например, для электроники это и есть единственно верный путь — миниатюризация. Низведение рабочей микросхемы до кристалла, до клеточной структуры, до молекулы, до цепочки генетического кода — она восхитительна в своей стройности. Это ли не благо, не прогресс, не торжество мысли и техники?.. Но это почему-то пугает самого же изобретателя, творца, унижает его до одноклеточности. В этом чудится какая-то порочность, противоестественность движения — ведь природа, создавая живое и неживое, стремится к синтезу свойств и признаков. А не к тому, чтобы разместить миллион чертей на кончике иглы...

Договорил — и тут же с досадой понял, что в его рассуждениях концы не вяжутся с концами. И еще почувствовал, как устал от этих велеречий. Не хватило здравости сообразить, что *другой*, пусть и житейский, разговор, вымотал бы его куда безжалостнее.

К тому же устыдился с опозданием, что не задал ни одного вопроса ей самой — все пребывал в настороженности, ждал подвоха — и зря: ведь можно было угадать, что она настроена по отношению к нему великодушно.

— Ну а ты? — спросил Бобылев.

Она оглянулась на озеро: то ли на шелест камыша, согнутого набежавшей волной ветра, то ли просто затем, чтобы скрыть лицо.

Ответила кратко:

— Я не ошиблась в выборе, Володя.

Служба кончилась: старушки в черных платках выходили из церкви, оборачивались и крестились, сойдя с паперти.

— Ну что — пошли? — спросил Ворожун тем приглушенным голосом, каким переговариваются в разведке, забравшись в глубокие тылы противника.

— Пошли, — согласился Бобылев.

Но оба так и не тронулись с места.

— Что же ты, гвардии майор, заробел? — усмехнулся Владимир Федорович.

— Боязно, — признался Ворожун. — С детства, знаешь, это в нас — боимся церкви, как греха. Ничего не поделаешь, такое воспитание.

— Ну и айда отсюда, — предложил Бобылев. — Всю жизнь без попов обходились — и теперь обойдемся.

— Как же это? Я ведь с ним договорился, что придем. Позвонил на квартиру — он сам время назначил. Нехорошо подводить человека, кто бы он ни был.

— Значит, телефоном пользуется?

— Есть у него и домашний и служебный... я имею в виду — в церкви.

Врата храма оставались распахнутыми настежь, но из них больше никто не выходил, похоже, что все разбрелись.

— Пошли! — Григорий Никитич решительно сдернул за козырек фуражку. — Не в таких переделках бывали.

В божьем храме была прохлада, чистота. Со стен лилась позолота, высветляя закоптелую охру старинных ликов, небесную лазурь фонов и киноварь одеяний, но постепенно тень густела, а золото жухло: пономарь-общественник гасил пламешки в свечницах и паникадилах.

Настоятель храма отец Никодим, холенобородый, округлый в плечах, собирал на амвоне требы, еще не остыв от молитв и помыкывая носовым фальцетиком мотивы песнопений.

— Здравствуй, Пахомов, — сказал Ворожун попу подчеркнуто независимым тоном. — Вот познакомься, это Владимир Федорович Бобылев из Москвы.

— Здравствуйте, — поклонился Бобылев.

— Здравия желаю, — ответил поп.

— Так мы по тому делу, о котором я тебе говорил, — напомнил Григорий Никитич. — Изложил по телефону вкратце.

— А подробнее и не надо. Прошу сюда, — отец Никодим направился к двери, ведущей в трапезную. Попутно уточнил: — Какой год? Двадцать пятый?

— Да, — подтвердил Бобылев. — Двадцать пятый.

Оставив их наедине, настоятель храма скрылся за дверью, железной, с массивными засовами.

— Вот, понимаешь, какое дело, — развел руками Ворожуй, будто бы винась в чем-то. — Совсем мало, Володя, осталось ветеранов в городе. Приходится даже таких держать на учете, иметь в виду... А что поделаешь? Фронтовик по всем статьям. Восвал на Четвертом Украинском, имеет орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», благодарности верховного... кхм-кхм, — откашлялся в кулак, когда вновь скрежетнула железная дверь.

Отец Никодим принес под мышкой большую книгу в истертом кожаном переплете. Положил на стол, раскрыл на середине — не наугад, а верно зная, что и где, впопад.

— Стало быть, июль... берем июль... — Листая пожелтевшие страницы, опять загнусавил под нос: — Крещается во имя отца и сына и святого духа... Поди, бабка крестила?

— Да. Мои родители были комсомольцами.

Бобылев уловил в собственном тоне нескрытый вызов — и подосадовал: зачем? Ведь не на диспут пришли. И никто их сюда не волок силком, напросились сами.

Однако священник ничуть не обиделся.

— Так ведь и я был. Сперва пионером, нет — сперва октябренок... стишки даже помню: «Я аленький цветочек, я юный пионер...» — улыбнулся добродушно. Но тотчас посерьезнел: — Та-ак... Рожден седьмого июля, крещен семнадцатого, наречен Владимиром... Бобылев Владимир Федорович.

— Там, наверное, ошибка, — заметил Бобылев. — Я родился двадцатого июля.

— Ошибки нет, — отвел замечание отец Никодим. — По старому стилю — седьмого, по новому — двадцатого. Стало быть, седьмого июля тысяча девятьсот двадцать пятого года по рождестве Христовом... — Он захлопнул книгу. — А справок мы не даем. Да и справки наши, полагаю, вам без надобности: слава богу, церковь

у нас отделена от государства... Так что — для памяти, для успокоения души.

— Спасибо тебе, Пахомов. — Ворожун похлопал его по гладкому плечу. — Хотя ты и поп, но человек. И фронтового братства не забываешь, молодец... Ну, будь здоров.

Они двинулись к двери.

— Погодите, славяне, — окликнул отец Никодим.

Раскрыл дверцы навесного шкафа, вынул оттуда пузатую бутылку темного стекла, три бокала, разлил:

— Прошу.

— А что это у тебя? — подозрительно нюхнул гвардии майор. — Червивка, что ли?

— Зачем? — насупилс хозяин. — Коньяк, французский, хороший.

Выставил и блюда с нарезанными дольками лимона. Поднял бокал:

— Гостям — почтение.

Они выпили, помолчали.

— Стало быть, вы из Москвы... — обратился отец Никодим к Бобылеву. — Слышал, что работаете в науках. Так вот, имею вопрос: сами-то вы как полагаете — сбудется пророчество насчет Армагеддона? Геенны огненной? Не миновать?

Бобылев медлил с ответом. Он понимал, что тут нельзя отделаться обиняком либо шуткой — это прозвучало бы кошунственно, — но, вместе с тем отдавал себе отчет, что и серьезная речь в этой непривычной обстановке прозвучит нелепо. Да, конечно, этот приходский священник, судя по всему — его ровесник, тоже, надо полагать, не в самодеятельном порядке, не в самозванстве вышел к алтарю проповедывать и распевать псалмы: наверняка он где-то учился — в семинарии или даже в академии. Не секрет, что служители культа разъезжают по границам, общаются на высоких уровнях. Нет-нет, это не тот попик, который подставлял толокенный лоб под щелчки Балды... И все же сами формулировки его вопроса — геенна, Армагеддон, пророчество — не располагали к глубокомысленной и предметной беседе. Во всяком случае, Владимир Федорович чувствовал себя в некотором затруднении.

• Ворожун, истолковав по-своему молчание друга, поспешил на помощь, притом не без запальчивости:

• — Слушай, Пахомов, он ведь из Москвы приехал, а не из Пентагона. Ты нашу позицию обязан знать. Мы — за мир!

— Это понятно. Мы тоже за мир и вносим свой вклад по мере сил и возможностей. Но я хотел знать, что думает наука по этому поводу. О-хо-хо... — Он вздохнул сокрушенно, процитировал нараспев: — «...Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева...»

— При чем здесь точило? — перебил, не сдержав удивления, гвардии майор. — Точим ножи-ножницы, бритвы правим?

Бобылев тоже не понял, хотя и не подал вида.

— Нет, другое это точило, Григорий Никитич. Гнет каменный, которым жмут вино из винограда... А сказаны эти слова в Откровении святого Иоанна Богослова: «...Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева...» — повторил значительно и мрачно отец Никодим.

— А он — это кто же? — строго осведомился Ворожун.

— Он, — поп воздел очи горé.

На том и расстались.

9

Рыбачили, расположась на песчаных мысках, отгороженных ивовыми зарослями, — у каждого свой мысок, будто кабина на переговорном пункте, либо отсек в душевой, либо ложа в театре. Они не видели друг друга, хотя сидели почти рядом. Зато в поле зрения, на зеркальной глади озерной воды, подернутой накрапом ряски, были не только свои, но и чужие неподвижные поплавки.

— Ну что — не клюет? — спросил Ворожун.

— Не-а, — уныло отозвался Дима.

— Нет, — сообщил Бобылев.

— Значит, кончился жор, — пошутил Григорий Никитич. — А ты, Володя, вообще, давно ли бывал на рыбалке?

— Давно. Уж и не вспомню, когда.

Впрочем, Бобылев тотчас и вспомнил, однако не хотелось нарушать разговором утреннюю тишь и то дремотное оцепенение, в которое вогнала его незадачливая нынешняя рыбалка.

Было это лет десять назад, когда у него вдруг опять разыгрались головные боли. Пожаловался Лиле, она настояла, чтобы обратился к невропатологам. Те определили — последствие контузии. Ему дали путевку в санаторий особой категории: там что обслуга, что медицина, что питание — как в раю. В числе других процедур больным пред-

писывалась утренняя рыбалка на санаторном пруду, где специально разводили карпа. Брал он на хлеб, на овсянку, но, очевидно, был слишком закормлен и не шибко кидался на эту наживку. Но как-то Владимиру Федоровичу довелось сидеть рядышком с другим пациентом, незнакомым по имени-фамилии, но в такой же, что и на нем, мышастой пижаме с бежевыми округлыми лацканами, — так тот тягал поминутно, и уже у него набрался полный целлофановый пакет тяжело вращающихся жирных рыбин в гривенной чешуе, килограммов эдак шесть. Бобылев вежливо любопытствовал: какая, мол, наживка или что в нее добавлено для приворотного запашка? Сосед не отозвался, лишь покосился диковато и чуждо — не желая делиться секретом, а может быть, имел ту форму контузии, которая повергает человека в нелюдимость, раздражительность и склочность: с такими типами лучше не связываться... Но когда на аллее, огибающей пруд, послышался бодрый басок главврача, совершающего утренний обход территории, сосед по рыбалке вскочил, метнулся к забору, перекинул через него удочку, мешок с завидным уловом, а следом перемахнул и сам... Как позже выяснилось, мужики из соседней деревни давно наладились таскать карпов из санаторного пруда, обзаведясь для этой цели такими же точно пижамами, как у счастливцев, проходящих тут курс лечения. Тем более что кастелянша в санатории была из их деревни.

— Володя, заснул, что ли? — окликнул из-за кустов Ворожун. — Гляди — поплавок...

Бобылев очнулся.

Поплавок действительно дергался, лихо выплясывал и, в конце концов, совсем канул, ушел под лист кувшинки.

Владимир Федорович схватился за удилище, подсек, ощутил, что на крючке не пусто, дернул — пожалуй, чересчур суетливо и сильно — леска взметнулась, хлестанула, будто кнут, опутала ивовые ветки, спуск провис, а на нем трепетала добыча: какая-то небольшая, но страховидная рыбка, телом черная, с бурыми пятнами, в растопыренных плавниках, она разевала и смыкала огромный рот...

Ворожун и Дима, оставив свои удочки, прибежали поглядеть улов.

— Это что за чудище? — спросил сын. — Малёк Несси?

— Не знаю, сам удивляюсь, — пожал плечами Бобылев.

— А-а... ну, с почином тебя, Володя, — поздравил Григорий Никитич. — Ротан, иначе — головешка. Новый сорт рыбы, вроде бельдюги, только пресноводная, и еще — не годится в пищу.

— Тогда кинь ее обратно. Я и коснуться боюсь.

— И обратно нельзя. Ее туда кинешь, а она еще миллион таких ротанов наплодит, а они всю остальную икру — и рыбью, и лягушачью — начисто сожрут... скоро кроме ротанов этих в озере никакой другой рыбы и не будет!

— Откуда же они взялись? Я не помню, чтобы в нашем озере такая пакость водилась — ведь я в детстве тут ловил...

— И не было. Совсем недавно развелись. Я в журнале вычитал, что их, ротанов этих, с Дальнего Востока завезли доброты какие-то. Для аквариумов, вроде бы, любоваться, хотя что в них красы — одна жуть... И вот, представь себе, долюбовались: десяток лет — и он, ротан, все водоемы освоил, обжил в свое удовольствие, и теперь от него деваться некуда... ишь, рот раззявил!

Ворожун брезгливо, как соплю, снял добычу с крючка, зашвырнул подальше от воды, в травы.

— Нет, конечно, это не рыбалка, — сказал, отирая ладони о штаны. — Эх, сейчас бы на Волгу, под Камышин, порыбачить всерьез... Послушай, Володя, а ты последний раз когда был в Волгограде?

— Я? В сорок втором, — ответил Бобылев, но, поразмыслив, уточнил: — Нет, в феврале сорок третьего. Когда домолачивали окружение.

— Как? — Григорий Никитич округлил глаза, повел усами. — И с тех пор ни разу не бывал? Не верю, быть не может... нет, правда?

— Правда. И когда ты приезжал в Москву, я говорил тебе об этом, а ты... а ты вот так же пугал меня, шевелил усами, делал мне страшно. Ну не был. Много раз приглашали, звали, сам хотел — да так и не сумел выбраться, завертелся...

— Володя, а ведь это совсем близко — отсюда четыреста километров. У тебя машина на ходу... А что, если нам махнуть в Волгоград денька на два-три? Покуда здесь в архивах копаются.

Дима, внимательно прислушивающийся к их разговору, пылко поддержал идею:

— Папа, правда — давай поедem в Волгоград!

Бобылев хотел уж было вновь язвительно заметить сыну, что тебе, мол, хоть куда — лишь бы баранку крутить. Но возникший разговор был так неожидан, что он предпочел не торопиться с ответом — ни да, ни нет. Слишком велик был соблазн. И очевидно близка, достижима цель — ведь и впрямь, всего лишь день пути —

и он уже чувствовал, как удаль затеянного наполняет грудь решимостью, молодечеством.

Выгадывая секунды, отцепил с раковых ветвей леску, подергал — она ответила струнным звоном, — начал сосредоточенно наматывать ее на мотовильце.

Потом стукнул удилищем оземь.

— А что, хлопцы? Да неужто я, в самом деле, стану тут сидеть две недели, сложа руки? Два года буду сидеть, дожидаться, пока мне их обратно вернут — те же два года! — Он хохотнул: — Или не вернут — есть ведь и такой вариант...

— ...алло, Волгоград? — кричал Григорий Никитич в трубку телефона. — Олега Ивановича, пожалуйста. Это ты, Олег? Здравствуй, не узнаешь? Ворожун из Холмов... ну да, он самый...

Лиля укладывала вещи в чемодан — точнее, перекладывала их поплотнее да аккуратнее, поскольку они за эти дни и несильно были потревожены: блеснул люрекс заграничного платья — и зачем, спрашивается, брала? На какие балы? Да ничего, просто поворосшить, встряхнуть, чтоб моль не завелась.

Появившаяся рядом Мария Корнеевна принесла набитую битком холшовую сумку, все ту же, с печальным Джо Дассеном.

— Вот, Лилия Петровна, в дорогу — пирожков напекла, огурчики, помидоры со своей грядки... Что-то слишком быстро вы засобирались — укорила мягко, — это Гриша мой неугомонный опять всех всполошил как обычно. Ну, да на обратном пути, может, дольше погостите?

— Спасибо, Мария Корнеевна. — теплой улыбкой отозвалась Лиля. — У меня к вам просьба: если Марина позвонит, наша дочь, или придет сюда письмо... понимаете, она уехала в стройотряд, и так внезапно, что мы... я очень волнуюсь.

— Да-да, не беспокойтесь, я все знаю, — заверила хозяйка.

А хозяин, тем временем закончив разговор, положил трубку на рычаг. Подошел, торжествующий, к Бобылеву:

— Докладываю. Позвонил Олегу Ткаченко — из третьей роты, помнишь? Его на переправе, уже у самого берега, осколком прошило — хотели обратно на левый отправить, но он отказался, и правильно сделал: на возврате могло бы и совсем ухлопать, а тут еще как сказать... Не помнишь? Ну ладно, не имеет значения. Главное, что он — Олег Ткаченко — сейчас в Волгограде работает, в

«Интуристе», замом. Так вот: обещал двухместный полулюкс. Хотя и разгар сезона, полно зарубежных туристов, но обещал железно. Вы с Лилией Петровной будете жить в гостинице, а мы с Димой где-нибудь в кемпинге, в машине, на бережку. Верно, Дима?

— Так точно, — не скрывая радости, отозвался тот.

— Постой-постой, — нахмурился Бобылев, — это что же получается... номер в гостинице — по благу?

Усы Ворожуна опять встопоршились негодуяше:

— Да какой же это благу, если фронтовик — фронтовику?

10

«Москвич» катился по бетонке.

Вел машину Дима — в его водительских способностях уже никто не сомневался.

Рядом с ним сидел Ворожун, изнывая от полуденной жары, растегнув воротник воинской, защитного цвета, рубашки. Форменный китель висел на плечиках, промеж окошек, все ордена к медали были в должном порядке нацеплены на него, и когда автомобиль поддавал ходу или делал вираж, плечики раскачивались, китель встряхивало, и награды вызванивали благовест.

Бобылев и Лиля расположились на заднем сиденье, в тени.

Владимир Федорович сквозь дрему прислушивался к беседе, которую вели между собой Григорий Никитич и Дима — точнее, речи вел Ворожун, будто бы нарочно и затем, чтобы не дать юному водителю тоже замлеть от жары и нечаянно уснуть за рулем.

— ...видишь ли, я под Сталинградом оказался раньше твоего отца, когда бои еще шли на подступах. Нашей армией, шестьдесят второй, командовал генерал-лейтенант Лопатин...

— Дядя Гриша, — немного смущенно перебил Дима, — вы извините, но шестьдесят второй армией командовал генерал Чуйков, который потом стал маршалом.

Бобылев усмехнулся: нет, водитель был настороже и успевал не только следить за дорогой, но и за рассказом собеседника.

— Молодец, что книжки читаешь, что интересуешься, — проявил колючую сдержанность Ворожун. — Хвалю, но тем не менее...

— Я о Чуйкове не только в книжках читал, — заупрямился Дима. — Я его видел: совсем рядом, вот как вас — во Дворце пионеров на Ленинских горах.

— Значит, ты решил, что я заврался, что у меня это... эклер, как в анекдоте, то бишь — склероз? Нет, братец, хотя и есть, но еще не в такой крайней степени. Учти: не все еще в книжках изложено. Есть еще и будет еще, что вам порассказать...

— Хорошо, я слушаю, дядя Гриша. Вы — о генерале Лопатине... Однако Ворожун умолк, обиженно посапывая.

Справа и слева от шоссе простиралась степь, уже зарыжевшая, выгоревшая под нещадными лучами июльского солнца. Временами по обочине дороги ветер гнал попутным курсом плетеные шары перекаати-поля. Их бег был тороплив и казался осмысленным. Но машина ехала быстрее, и они отставали.

— Знаешь, — тихо сказала Леля, погладив руку мужа, — я рада что вы это придумали — поехать в Волгоград. Ты хоть немного развеешься, ведь все-таки отпуск. Я заметила: тебя что-то угнетало там, в Холмах... Наверное, обстановка повлияла на тебя не лучшим образом. Или просто — ожидание этих бумаг, безделье. Ты не умеешь бездельничать... Да и мне, признаться, надоело все время ловить на себе взгляды, в которых — укор, чуть ли не осуждение... Господи, через двадцать-то лет!

Пророкотал гром: не в небе, а в степи, далеко и глухо.

— Что это? — удивилась Лилия Петровна. — Неужели будет гроза? Успеем ли засветло доехать?

Ворожун выглянул в окошко, покачал головой, отозвался:

— Не-ет, синё, ни облачка... если и гроза, то обойдет стороной. Успеем.

Его распаренное потное лицо высунулось из-за бренчащего кителя.

— А я еще вот что вспомнил, Володя... — сказал, улыбаясь в усы. — Когда нашу дивизию перебрасывали от Камышина к Сталинграду — извини, но это было тоже до тебя, — вот где-то по этим местам мы и тряслись в грузовиках... Жара, пылица, А я смотрю на дорогу, на степь — и вдруг вижу: дорога шевелится и вся степь вокруг тоже шевелится... Ну, думаю, напекло парнишке, то есть мне, головку. А потом пригляделся, елки-палки, и впрямь все шевелится. Змеи ползут, гадюки степные — извиваются, ползут, видимо-невидимо. Вся дорога в змеях и вся степь — ползут...

— Ужас какой! — содрогнулась Лиля. — Но почему?

— Да их выкурило, выпекло из нор: земля горячая была, бомбежки, артобстрел, пожары — степь до того раскалилась, что они уползали прочь, подальше от этих мест, спасались всем своим гадским миром...

Григорий Никитич, помолчав, закончил:

— А мы — туда.

11

Горничная в фартуке с кружевами и накрахмаленной, тоже кружевной, наколке поспешала впереди с ключами. За нею швейцар нес чемодан, не надрываясь, впрочем, — груз-то невелик, — но всем своим видом изображая радушие гостям и почтение начальству.

А Бобылев и Лилия Петровна шагали полукруглым коридором, по красной ковровой дорожке, в сопровождении Олега Ивановича Ткаченко.

Он был элегантен, моложав лицом и статью. Бобылев догадался, что тоже не чужд спортивных увлечений, может быть, играет в теннис. А его манера легко, без осторожных приглядок, вступать в беседу выдавала опыт повседневного широкого общения с людьми — ну, это и понятно, «Интурист».

— Не станем, Владимир Федорович, тешить себя, уверять, что сразу друг друга узнали. Нет, конечно, сорок с лишним лет прошло — где тут узнать... Да и вы, кажется, недолго были в нашем полку?

— Меня забрали в разведку шестьдесят четвертой армии, — объяснил Бобылев.

— Значит, не ошибаюсь. А Гриша Ворожун — другое дело, мы с ним и после войны еще долго вместе служили. И потом, после увольнения в запас, он сюда часто наезжал. Вот мы и не заметили, что оба чуть-чуть постарели...

Олег Иванович остановился у распахнутой двери, бьющей светом в затененный коридор.

— Прошу.

Номер был великолепен. На круглом столе — ваза с георгинами, стулья и кресла в добротной зеленой обивке. Окна и балконная дверь задернуты тюлем. На стене в раззолоченной раме висел скромный пейзаж — степные поволжские дали, по которым они только что ехали.

Заглянули в соседнюю комнату: большая кровать, плафон в изголовье, гардероб во всю стену.

— Чудесно, — восхитилась Лиля.

Но заместитель директора не торопился разделить восторг гостей. Пошелкал выключателем, приснул душем в ванной. Вернулся, нажал рычажок телевизора — экран остался пуст и безмолвен.

— Ну вот... — насупился Олег Иванович. Снял трубку телефона, вертанул диск: — Наталья Семеновна? Ткаченко говорит. Пришлите сюда мастера, а если уже ушел — замените телевизор.

Еще раз окинув углы взыскательным оком, наконец улыбнулся:

— Кажется, все... Ну, желаю вам приятного пребывания в городечное Волгограде. Ужин можете заказать прямо в номер. А если что — звоните мне, вот телефоны: служебный и домашний. — Положил на стол визитную карточку. — До свидания. Очень рад встрече.

— Спасибо, Олег Иванович, — Бобылев с чувством потрянул его руку.

Когда остались вдвоем, Лилия бросилась на шею мужу:

— Володя, как хорошо, что мы приехали сюда! Мне здесь очень нравится. И это полезно для тебя — перемена обстановки... подожди, не целуйся, — отстранилась вдруг. — Но как же Дима с Григорием Никитичем? Под открытым небом...

— Ты за них не беспокойся, устроятся лучше нашего — еще позавидуем. С Ворожуном не пропадешь!

— Да? Успокоил. Ты собирался поцеловать меня?

Но в дверь постучали.

— Войдите...

Молодой человек с дипломатическим чемоданчиком, не здороваясь, направился к телевизору. Покрутил регуляторы, вздохнул сокрушенно: должно быть, его рабочий день и впрямь закончился, а тут — опять.

— Выйдем на балкон, — предложила Лилия.

Площадь перед гостиницей была запружена густыми купами зелени, сквозь которую пробивались яркие пятна ухоженных клумб. А в отдалении, в створе аллеи, виднелся голубой плес реки.

— Там — Волга?

— Да.

— Как близко. Володя, скажи — только правду — немцы были далеко отсюда?

Бобылев, перегнувшись через перила, огляделся.

— Видишь ли, тут все было разрушено, сожжено, почти дотла. А потом не то чтобы восстановили, но все построили заново. Так

что мне трудновато теперь... да и память... Нет, погоди, здесь где-то был универмаг, ну да! — Он очень оживился, высматривая соседнее здание, примыкающее фасадом заподлицо к гостинице, возле которого перетекала людская толчея. — Тут и раньше был универмаг, но глубже, наверное — во дворе. А в нем, в подвале, находился штаб Паулюса. Оттуда мы фельдмаршала и выковыривали... — Владимир Федорович ликовал, убедившись, что зрительная память его не подвела, и что целых четыре десятилетия — сколь много перемен они ни принесли — не стерли узнаваемых черт города.

Но он еще не ответил на вопрос жены, и теперь мог с достаточной уверенностью это сделать:

— Так что здесь они и были.

— Кто? — не поняла Лиля. — Где?

— Немцы. Здесь.

В ее глазах читалось недоумение. Переспросила:

— Но если *они* были здесь, то где же были *вы*?

— А мы были там, — он протянул руку к синей полоске реки. —

На берегу.

Позади них раздался бомбовый выбух. Затарахтели автоматные очереди. Заскрежетали гусеницы танков. Пслышались отрывистые команды на немецком: «Feuer!.. Vorwärts!»* Но тотчас их перекрыл другой голос, говоривший с сильным кавказским акцентом: «Товарищ Василевский, как вы оцениваете обстановку на сегодняшний день?»

— Починил, — удовлетворенно кивнул Владимир Федорович. — Идем, надо хоть спасибо сказать.

Телемастер складывал отвертки в свой дипломатический кейс.

С достоинством приняв благодарность, поинтересовался в свой черед:

— А вы сами откуда? Из Москвы?

— Да, — подтвердил Бобылев.

— Я тоже недавно был в Москве. Ездил в командировку. Нет, нет, — он пренебрежительно махнул на телевизор, — нет, совсем по другой линии...

Владимир Федорович молчал, зная, что это лучший способ заставить выговориться словоохотливого человека, а это, безусловно, был именно такой случай.

— Я жмурика возил на самолете.

* Огонь!.. Вперед! (нем.)

— Какого... жмурика? — недоуменно вскинула брови Лиля.

— Ну, гроб сопровождал, покойника... Он под Калач ездил, смотреть места, где воевал. Нашел там свой окоп или блиндаж, что ли — постоял возле него, разволновался сильно, даже слезу пустил. А потом ножки подкосились, упал — и привет. Как говорят, догнала война... Я вот не понимаю даже, и зачем это люди, особенно если в возрасте и сердце слабое, зачем они ездят, смотрят, душу себе бередают? И добро бы что приятное вспомнить, скажем, детство или первую любовь, так нет — войну... А нам потом — сопровождай.

Мастер защелкнул замки.

— Ну, конечно, в Москве лишний раз побывать никому не во вред. Так что я-то доволен. Но никак не могу понять вашего старшего поколения. Особенно, если...

— Мы вам очень благодарны, — ледяным тоном произнесла Лиля. — До свидания. Вы здесь ничего не оставили?

— Нет, все со мной. До свидания.

12

Уже стемнело, когда они, высвечивая фарами бугры и рытвины, возникавшие вдруг у самых колес, нашли подходящую стоянку — на крутизне, над самой Волгой.

Река была спокойна. По ней в этот час уже не сновали прогулочные теплоходы и катера. Лишь рыбацкие челны густо, словно шелуха налужганных семечек, усыпавшие стрежень, неподвижно стояли на якорях.

— Утром судачок пойдет на кружки, — плотоядно прищелкнул языком Ворожун.

— А разве тут есть? Ведь прямо в городе...

— Тут, в городе, не то что судак, но и осстр в руки лезет — бери, да вот нельзя.

Дима повернул лицо к частоколу труб, поднявшихся слева над берегом — густо, как еловый сухостой.

— А там что?

— Заводы, «Красный Октябрь», «Баррикады», тракторный. А еще выше — Волжская ГЭС, по плотине открыто движение, за просто едешь на левый берег... — Григорий Никитич вздохнул. — Только ее уж после войны построили. А тогда — *тогда*, понимаешь? — не было тут через Волгу ни одного моста. Всего-то успе-

ли навести понтонную переправу — да самим же пришлось и взорвать: немцы сходу пытались проскочить по ней в Заволжье...

Левый далекий берег мерцал сейчас редкими огнями, так наглядно противопоставляя свою необжитость плотному городскому зареву правого берега.

— Будем раскладывать сиденья? — предложил Дима. — Одежда в багажнике.

— Нет, пускай сперва машина отдохнет, остынет — набегалась за день, — сказал Ворожун. — Ты дверки распахни пошире, чтоб проветрилось...

— А комарье не налетит?

— Тут, на горке, нет комаров.

Они присели на травяной откос, еще не увлажненный росой.

— Дядя Гриша, вы по дороге начали рассказывать — и не досказали. Про генерала Лопатина.

— А, вспомнил-таки... Ну, слушай — и впредь не перебивай тех, кто старше чином. Значит, о Лопатине. Видишь ли, до него шестьдесят второй армией командовал генерал Колпакчи. Но я при нем не воевал. Потом его сменил Антон Иванович Лопатин, как сейчас помню — в августе, и это уж при мне. А в сентябре немцы прорвались к Волге. Мы тут, Дима, стояли насмерть — уж поверь, но они все-таки прорвались. И тогда вопрос встал так: сумеем удержать город или сдадим?..

Голос Ворожуна дрогнул, будто он сам теперь не верил тому, что именно так мог стоять вопрос.

— Ставка прямо спросила генерала Лопатина: сумеете удержать Сталинград? И он ответил: нет, не удержим.

Дима шевельнулся протестующе, но вовремя вспомнил о том, как обидчив на возражения отставной гвардии майор. Лишь пораженно вымолвил:

— И что же? Что ему за это было?

— А ничего. Ведь он честно сказал, как думал: не смогу, нет, мол, у меня душевных сил, нет веры, что выстою — значит, могу и не выстоять. Ну, уважили. Отправили за Волгу. Вот тогда и назначили командующим шестьдесят второй армией Василия Ивановича Чуйкова. С ним мы и держали Сталинград — до конца.

Дима зябко повел плечами: как ни тепла и как ни благодатна была эта июльская ночь, а от реки ощутимо поднимался холодок, гоня по коже мелкие мурашки.

Небо над головой высветилось ярче, как если бы на нем сейчас заиграли полога полярного сияния — которого, впрочем, он никогда еще не видел, как и многого другого, но был об этом достаточно осведомлен, наслышан, как и о многом другом, потому и смог себе представить северное сияние.

— Прожектора врубили, — обыденно сказал Ворожун, поведя подбородком в глубь берега. — Всегда в эту пору, как стемнеет.

Дима оглянулся.

Над сквозным узорочьем акаций, примерно в километре, дыбился черный холм, на котором стояла гигантская до неправдоподобия фигура женщины: лицо ее было озарено гневом, рот полуоткрыт в кличе, волосы отнесены вспять, мятежный плат летел по ветру, ее правая рука вознесла меч, а левая откинута назад, зовя, требуя встать и идти в бой — встать живыми и встать мертвыми...

— Тут Мамаев курган совсем рядом, — объяснил Григорий Никитич.

Нынче при въезде в город, виляя в плотном потоке машин, напряженно следя за дорожными знаками, Дима проглядел появление знаменитой статуи. А потом она растворилась в сумерках, в мглистой пелене.

Он не видел ее во плоти, в бетоне.

А сейчас было невозможно поверить, что эта фигура отлита из глухого непроницаемого бетона: она светилась насквозь и вовне, казалась сотворенной из полыхающего, колышущегося пламени, — и красные сигнальные огоньки на габаритных точках и на острие меча были подобны раскаленным искрам.

Дима с усилием отвел завороченный взгляд.

Спросил, опасаясь, что и на сей раз история не завершится толком:

— Дядя Гриша, а что с ним было потом? С Лопатиным?

— Он воевал. Командовал корпусом, армией. Бил фашистов в Прибалтике, в Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг — за этот штурм ему присвоили звание Героя Советского Союза. А потом он еще и японцев бил.

— А потом?

— Потом он служил, жил... а потом он умер.

Спал крепко, без сновидений — истомленно, мягко, тепло — но под самое утро навалилась гнетущая тяжесть. Он попытался сбросить ее, перевернувшись на другой бок. Однако легче не стало, наоборот, дыхание участилось, сделалось надрывным. И тут организм, как бывает, не умея разобраться в тяготах загадочных сновидений, просто выключил сон, противопоставив возникшей опасности бдительное бодрствование.

Еще не разлепив век и не совсем очнувшись, Владимир Федорович понял, что вся тяжесть легла на слух — именно шум растревожил его.

Но какой шум?

Из-за окон доносилось шуршание автомобильных шин, влажные плески поливочной машины, короткие сигналы электрички на близком к гостинице вокзале.

Однако эти звуки пробуждающегося города были ничуть не громче, чем в Москве, на Ленинском проспекте, подле его дома — они были привычны, отнюдь не мучительны и еще никогда не прерывали его здорового сна.

— Heißt, das wir heute den Mamai-Hügel besuchen?

— Ja, aber Zuerst werden wir mit einem Motorschiff der Wolga entlang spazierenfahren...

— ...Ich habe schon eine Menge von Filmen verbraucht. Ist es wahr, dass Sie von dem Zollamt entwickelt werden?

— Natürlich Sie Werden die Filmen entwickeln, die Aufnahmen drucken, Sie ins Album einsetzen und dir ein Geschenk darbringen, ha-ha-ha...*

Это была немецкая речь. Но он спросонья ничего не понимал, хотя и в школе и в институте учил немецкий, писал в анкетах, что владеет.

Может быть, он забыл выключить телевизор, который вчера допоздна орал: «Feuer!.. Vorwärts!»

* — Говорят, что сегодня мы посетим Мамаев курган?

— Да, но сначала прокатимся на теплоходе по Волге.

— ...Я уже нашелкал тут кучу фотопленки. Это правда, что на таможе не они все проявят?

— Конечно. Проявят, напечатают карточки, засунут в альбом и подарят тебе, ха-ха-ха... (нем.).

Перенес ноги на пол и, осторожно ступая, заглянул в смежную комнату: нет, экран нем и слеп, даже вилка выдернута из розетки... нет, не это.

Но громкая немецкая речь была слышна отовсюду: она проникла сквозь стену из соседнего номера, из коридора, сквозь пустоты шкафа, сквозь потолок, сквозь пол.

Прошлепал босиком по паркету к двери номера, приник к ней ухом.

Там слышались торопливые шаги. Раздавались бодрые голоса, смех.

— Ich glaube, du bedauerst nicht, das du nach Stalingrad geraten bist?

— Diesmal hat es mir hier besser gefallen...

— ...Hör mal, gibt es hier einen Markt? Ich möchte eine Melone kaufen.

— Dann fahre am Vormittag nach Samarkand: man sagt, dass die Melonen dort größer und wohlschmeckend sein sollen...*

Владимир Федорович, тихо повернув ключ, приоткрыл дверь, выглянул в щелку.

По ковровой дорожке гостиничного коридора, весело переговариваясь, шагали туристы: дородные мужчины и сухопарые женщины, седовласые старики и белая дети, кто в джинсах, а кто в шортах, кто с сумкой, а кто налегке, — спешили завтракать.

Бобылев притворил дверь, облегченно отвалился к косяку.

Ну что за блажь втемяшилась ему? Мало ли он на своем веку слышал немецкой речи, мало ли встречал немцев — ведь совсем недавно ездил по служебным делам в Германию... В чем же дело? Неужели в том лишь, что он внезапно, сквозь сон, услышал эти голоса в *этих* стенах, которые, быть может, еще хранили в себе, под слоем штукатурки, в камне, в трещинах и дырах этого камня, замурованное эхо далеких лет?

Он был сконфужен.

Надо было поскорее стряхнуть наваждение, проветрить мозги.

И, вообще, ни при каких обстоятельствах — переездах с места на место, смене обстановки — нельзя было поступаться тем порядком и образом жизни, который он сделал для себя правилом.

* — Я надеюсь, теперь ты не жалеешь о том, что попал в Сталинград?

— На этот раз мне здесь больше понравилось...

— ...Послушай, здесь есть базар? Я хотел бы купить дыню.

— Тогда смотайся до обеда в Самарканд: говорят, что там дыни больше и вкуснее... (нем.).

Владимир Федорович раскрыл чемодан, вынул спортивный костюм, влез в него.

А Лиля все спала — безмятежно, сладко, вне тревог.

Он миновал гостиничный подъезд, отметив с удовлетворением, что теперь никого уже не смутишь — ни в мраморных холлах, ни на людных улицах — подобной легкостью облачения, даже внимания не привлечешь: смирились, привыкли.

С наслаждением глотнул свежего воздуха, отстоявшегося за ночь от бензиновой гари.

Куда бежать? Ну, во всяком случае, не к вокзалу... Значит, через дорогу и налево, в густые чащобы кустарника, под зеленые ярусы вольготно разросшихся вязов, туда, к алым цветам на клумбах.

Ворожун еще в Холмах показывал ему туристическую карту нынешнего Волгограда, и он знал, что обширная площадь перед гостиницей называется — впрочем, она и до войны и в войну именовалась так — Площадью Павших Борцов. А далее она продолжится Аллеей Героев, потом пересечет еще какую-то улицу и вырвется — он видел вчера с балкона — к реке, к Волге, а уж там, на ветрах набережной, он возьмет свои пять километров. Ну, ходу...

Боковая дорожка пружинила под ступнями, давая телу ощущение взаправдашней природной тверди, материковых глубинных недр — не то что броня асфальта, тупая, непроницаемая, о которую только бьешь подошвы и даже не улавливаешь живых восходящих земных токов.

Теперь взять правее, обогнуть возникший обелиск.

Запнулся, оборвал бег — будто выжал до предела тормоза, при взвизге которых тревожно оборачивается вся улица.

Регулировщица стояла на обочине, протянув милицейский полосатый черно-белый жезл.

Вот почему сработала привычка автомобилиста.

Улицу пересекал развод караула. Высоко вскинутые, спрямленные в струну ноги, отмашка рук — далеко за спину, а потом обратно к поясной пряжке ремня. Каждое движение отчеканено, растянуто во времени и пространстве. Шагали юноши в пилотках со звездочками, в защитных блузах с погонами, с воронеными автоматами наискосок груди. За ними следом — девушки, тоже в пи-

лотках, тоже с погонями, но строгость формы смягчена белыми, подвенечной прозрачности, бантами на висках.

Они поднялись по гранитным ступеням и стали у Вечного огня.

Очевидно, заступила лишь первая смена караула, потому что разводящая с жезлом удалилась, никого не сняв с поста.

Люди заранее дожидались этого утреннего часа: вокруг обелиска уже собралось немало зрителей. А теперь они все прибывали, шли сюда с окрестных аллей и дорожек, смотрели — молча или перешептываясь.

Часовые стояли навытяжку, глядя прямо перед собой.

И, время от времени, одна из девочек-подростков — та или другая, попеременно — подходила к товарищу и подносила к его ноздрям флакончик, а затем возвращалась на место.

«Нашатырь», — догадался Владимир Федорович.

Откровенно говоря, его покорила эта деталь церемониала. К чему такие нежности? Будто чувствительным барышням... Надо выбирать парней покрепче!

Но тут он вспомнил, как однажды — вскоре после войны, накануне демобилизации — ему довелось стоять в почетном карауле у знамен родов войск на торжественном заседании в большом колоннадном зале. И вдруг совсем рядом, через знамя, что-то рухнуло на пол, звякнула винтовка. Сидевший в президиуме маршал оглянулся недовольно. И Володя Бобылев разделил его негодование: ну и часовой! Упасть в обморок при всем честном народе... А потом, за сценой, увидел, как начальник караула распекал без жалости младшего сержанта, не вынесшего двадцати минут окаменелого напряжения. А у того из глаз капали раскаленные слезы. А у того, у парнишечки, на мундире подрагивали от сдавленных всхлипов звезды Славы всех трех степеней...

Однако же застоялся я тут, подумал Владимир Федорович. Ведь еще полчаса бега, а трасса неразведанная, новая, могут быть и еще непредвиденные задержки в пути, как вот эта.

Лиля, поди, уже проснулась, недоумевает: куда подевался муж?

Но, по правде говоря, Бобылеву и не хотелось бежать дальше.

Сбилась настроенность. Когда же? Сейчас, у обелиска? Или раньше, когда он проснулся в холодном поту от голосов в коридоре?..

Переступил с ноги на ногу: они были нерезвы, вялы.

Повернулся и побрел к гостинице.

Белый катамаран «Отдых» прошел вверх по реке, трубно проиграл сигнал у плавучего памятного знака в честь моряков, погибших на сталинградских рубежах, выписал плавную дугу и поплыл по течению, минуя центральную часть города.

Бобылев вспомнил, каким предстал глазам Сталинград тогда, осенью сорок второго. Как будто по Волге прошла эскадра, поставив дымовую завесу, чтоб ничего за ней не было видно. Чтоб люди не умерли со страху еще на подходе к правому берегу.

Но и сквозь густой черный дым сквозило полыхание. Стены зданий рушились в том огне, как рассыпаются в печи красные угли, когда шуранешь кочергой. Трепеща языками пламени, тек асфальт улиц. Вспыхивали, как спички, и мгновенно сгорали телефонные столбы. Всю зелень иссушило жаром, и город оголился, будто таким он и стоял тут — без единого деревца, как в пустыне, по которой пронесся горячий самум, убив все живое, черной мглой занавесив солнце...

Было физически невозможно не только представить себе, как они воевали в этом пекле, но даже воскресить в нормальном, неизвращенном сознании само это страшное видение.

Нет и нет. Такого не могло быть на свете. Значит, и не было.

Просто однажды рассвело, и налетевший ветер-утренник развеял космы дыма, продул ложе реки, как дымоход, унеся гарь и сажу — и на высоком берегу открылся взорам прекрасный город, сияющий ослепительной белизной стен, под стать плывущим мимо него степенным теплоходам, — отороченный пышной листвой набережных, взметнувшийся в небо шпили, купола, пропилеи, прохладные струи фонтанов.

Да, точно. Ничего не было и не могло быть.

Но каким же, в таком случае, способом и образом меж этих белых стен втиснулось багрово-кирпичное, как ободранная туша, здание без кровли, зияющее пустыми проемами окон, оплавленное по верхней кромке, иссеченное глубокими выбоинами. — это здание на самом берегу Волги, которое вырывалось из мирного соседства, как истощенный крик в тишине...

— Володя, что это? — спросила Лиля.

Он не знал, что ей ответить: во-первых, потому, что это нарушало только что найденный им спасительный порядок мыслей — что ничего страшного тут и не было, — а во-вторых, он и впрямь не знал.

— Это Дом Павлова, — как всегда вовремя поспел на помощь Ворожун, развернув на палубных поручнях туристическую карту. — Дом, который два месяца обороняла горстка солдат...

— Entschuldigen, — послышалось сбоку.

Они обернулись на чужую речь.

— Я прошу извинить, — произнес тот же голос по-русски, но с ненашим сильным акцентом. — Это не Дом Павлова. Это мельница.

Рядом с нами стоял высокий жилистый старик в адидасовской майке и белой шапочке с козырьком, в темных очках, из-под дужек которых на щеки набегали седые баки.

Подле него стояла голубоглазая девчушка лет пятнадцати, золотистые кудри которой в жертву окаянной моде были коротко острижены. Тоненькая и прелестная.

— А почему вы считаете, что это мельница? — строго спросил Ворожун.

— Я не считаю, я читаю... — ответил незнакомец, тоже разворачивая пошире карту-схему Волгограда. — Вот здесь есть глательная звездочка, а здесь есть надпись: «Ruinen der Mühle» — разрушенная мельница...

Григорий Никитич, не скрывая недоверия, заглянул в ту карту, которая была точно такой же, что и у него, однако все названия на ней были напечатаны по-немецки.

— У вас это тоже мельница, — потыкал незнакомец в карту Ворожуна, торжествуя в споре. — А Дом Павлова находится сзади мельницы. — Он, смягчив голос до бархатистых интонаций, отнесся уже к Лилии Петровне: — Вот теперь видно Дом Павлова...

И действительно, по мере движения теплохода, за руинами мельницы открылся четырехэтажный дом, торец которого, обращенный к реке, был украшен пространным барельефом.

— Вы, я погляжу, неплохо тут ориентируетесь... — едко заметил Ворожун и, взяв под руку Лилию, обняв за спину Диму, увел их прочь.

Голубоглазая девчушка метнула укоризненный взгляд на старика. Тот, не скрывая огорчения, пожал костлявыми плечами.

Бобылев, поморщась от неловкости — ну нельзя же так, — решительно шагнул к старику и девушке.

— Здравствуйте. Вы, пожалуйста, извините моего друга — он бывает иногда слишком суров, старый солдат... Будем знакомы. Бобылев Владимир Федорович. Из Москвы.

— Эрхард Кнапп, — представился чужеземец, с благодарностью пожимая протянутую руку. — А это моя внучка, ее зовут Эрика. Та, оторвавшись от перил, сделала легкий книксен.

— Я знаю, — продолжил немец, — вам было бы приятнее услышать, что мы из ГДР... Но мы из Федеративной Республики, из Дюссельдорфа.

— Из Дюссельдорфа? Я был там в прошлом году. Очень красивый город, особенно — старая часть, Альтштадт. Мы там ужинали в ресторане, который называется «Генрих Гейне».

— Да-да, — обрадованно закивал старик. — Это самый лучший и самый... как сказать?... самый добрый ресторан в нашем городе.

Эрика, явно обрадованная тем, что русскому нравится ее город, одарила его улыбкой:

— А напротив «Генриха Гейне» — вы не видели? есть пекарня, где пекут очень вкусные лепешки. То есть, это обыкновенные лепешки, но тесто месят и пекут прямо у вас на глазах, за стеклом, и суют в окошко... это очень вкусно и весело!

— Не видел, но охотно верю.

Рассмеялись все трое.

— А вы тоже были у нас туристом?

— Нет, я был в служебной командировке. На заводах «Сименса».

— О-о... — отозвался Эрхард Кнапп с тем безмерным почтением, которое питает любой западный немец к концерну «Сименс» и, соответственно, к любому человеку, имеющему честь сноситься с этой фирмой по делам службы.

От носа к корме, оживленно гомоня по-немецки, проследовала группа людей, увешанных фотоаппаратами.

Владимир Федорович, оглянувшись мельком, догадался, что это и есть, наверное, те самые немцы, чьи громкие голоса и шаги в коридоре гостиницы нелепой тревогой оборвали его сон нынче утром... Ему снова сделалось стыдно за это, хотя никто не мог уличить его и попрекнуть: даже Лиля, ведь она спала.

Но теперь он имел лишний повод для покаяния, и в душе похвалил себя за то, что смягчил резкую выходку Ворожуна, проявил радушие к гостям — вот к этому старику и к этой девочке.

— Ваши? — Он кивнул через плечо на удаляющихся людей в шортах и клоунских мягких брючках до лодыжек.

— И да и нет, — покачал головой Кнапп. — То есть, мы, конечно, приехали сюда через Интурист. Но не с группой, нет — у нас

индивидуальный тур, — с очевидной гордостью подчеркнул он. — Это стоит дороже, но дает больше свободы...

— И больше скуки, — добавила Эрика.

Владимир Федорович, внимательно посмотрев на нее, сказал:

— Ну, это поправимо.

Над стержнем Волги, над белым катамараном «Отдых», над рыбацкими челнами, усеявшими речную гладь, проплыл, мельтеша лопастями, голубой вертолет.

— Рыбнадзор! — ткнул пальцем в небо Ворожун, появляясь в сопровождении Лидии Петровны и Димы. — На любителей осетринки, икорки... им сверху видно все, ты так и знай!

При этом он покосился на долговязого старого немца, будто имел достаточные основания именно его подозревать в пристрастии к деликатесным волжским яствам.

— Дима, — подозвал сына Владимир Федорович.

Так совпало, что в программе прошлогодней зарубежной поездки Бобылева тоже была предусмотрена прогулка по реке: хозяйева позаботились и об отдыхе русского гостя.

В субботу, с утра пораньше, его повезли на автомобиле в Кельн, чтобы мог взглянуть на знаменитый готический собор. Но времени на это отвели буквально пятнадцать минут — просто чтобы мог похвастать дома, что видел. И погнались дальше. Машина неслась по шоссе на скорости около двухсот. Бобылев изумлялся не тому, как жмет — «мерседес» есть «мерседес», — а тому, как пустынна дорога: редко-редко на встречной полосе появлялся другой автомобиль либо они сами кого-нибудь обгоняли. Ему охотно объяснили, что в конце недели, с вечера пятницы, действует строгий запрет: ни один грузовик не имеет права появляться на дорогах — не оберешься неприятностей и штрафов. Но вот минет уик-энд, и уже на рассвете в понедельник можно будет увидеть и *попыхать* — это слово подчеркнули немцы, — что такое пробки на хваленых автобанах: хвост от Гамбурга до Мюнхена...

На той же внушающей огоропь скорости — когда ступни бывалого автомобилиста инстинктивно вжимаются в пол, пытаясь нащупать тормоза, они проскочили столицу, Бонн. Ему едва успели показать в окошке комплекс приземистых зданий Бундестага. И еще — с громким хохотом — жилые кварталы, где обитают правительственные чиновники, запросто именуемые здесь боннскими Черемушками.

В Кобленце, минута в минуту, поспели к отплывающему теплоходу: огромная пустая палуба, как на авансцене, а под нею, в трюмах, четыре ресторана на любой кошелек и вкус.

Плыли по Рейну.

Берега были прекрасны: отвесные скалы, на которых торчали неприступные средневековые замки; тщательно ухоженные, чисто подметенные и словно бы даже причесанные рощи дубов и грабов, старых сосен — быть может, тех же рыцарских времен; крохотные городки с черепичными скатами кровель, резными флюгерами, лавчонками кустарей, крестами приходских кирх.

На корме духовой оркестр играл старомодные вальсы и польки. Компании парней и девиц с пивными размалеванными кружками в руках дружно раскачивались вдоль лавок, с чувством пели: «...Ein Märchen von alten Zeiten...»*

И на подходе к Висбадену, когда все облепили поручни, он уж и сам почти верил, что на крутой скале покажется Лорелея, расчесывающая свои золотистые волосы...

Нет-нет, все эти умильные пейзажи и песнопения не лишили его наблюдательности.

Он замечал, огорчаясь, как мазутно темна и жирна за бортом рейнская вода. Как на обоих берегах из туннелей, похожих на пушечные жерла, вырывались дымные составы товарняка, сотрясая черепичные городки. Он с недоумением наблюдал спящих по палубе рыжих подростков, старающихся перешеголять друг друга нашитыми на майки эмблемами американских и английских оккупационных дивизий: осками пантер, драконьими зевами — да что с них взять, с глупых мальчишек... Все это не слишком испортило блаженные часы отдохновения.

Но на обратном пути, когда они возвратились в Кобленц и влезли в оставленный там «мерседес» — в уже светившейся тьме, в молчании утомленных спутников, — он увидел то, чего не замечалось днем.

Как в ядовитых смрадных зрехах возникали сферические емкости и колонна химических заводов. Как из коксовых печей, словно из геенны огненной, вываливалось раскаленное крошево, похожее на стены рушащихся зданий. Как тонкий луч лазера с доскональной прямоотой и точностью вдруг пронзил небосвод стрелой посадочной глиссады...

* «Эта сказка старых времен» (нем.).

Бобылев не был ханжой. Кроме того, он был инженером весьма широкого профиля. Он понимал, что людям нужны и бензин, и кокс, и металл, и волокно, и лазер.

Но именно широта инженерного взгляда подсказывала ему, что где-то здесь, в этих тесных пределах, в этом плотно заселенном пространстве, в этой непроницаемой тьме затаилось и то, чего не положено видеть ни своим, ни чужим, ни днем, ни ночью: стартовые площадки крылатых ракет, пусковые установки «першингов», склады паралитических газов...

Может быть, глухое молчание его спутников объяснялось не только усталостью?

И снова была река.

Она тоже была воспета в песнях. Но текла противоположно той, стремясь к противоположному морю. И вид ее, и характер, и поступь — все было иным: вольготным, просторным, не знающим теснин.

Бобылев продолжал дивиться неожиданному совпадению: что вот, год спустя, он опять разговаривает с немцем из Дюссельдорфа на борту прогулочного теплохода, хотя и на другой реке. Но на сей раз он не гость, а хозяин — со всеми вытекающими отсюда обязанностями. В частности, обязанностью быть любезным. Вежливо расспрашивать, терпеливо слушать.

Впрочем, тянуть за язык Эрхарда Кнаппа не было нужды.

— Да вы, конечно, догадались — я воевал здесь, — признался он. — Я был унтер-офицером егерской дивизии. Когда мы были еще на Дону, я думал, что ничего страшнее на свете не бывает. Потом начались бои в городе, и я понял — все поняли, что бывает... Но и тогда мы еще не понимали, что будет самое страшное: зима, котел, голод, смерть, а в лучшем случае — плен... А потом я всю жизнь думал только об одном: что если тогда я остался живым — значит, бог был милостив ко мне. И, значит, он позволит мне еще раз увидеть то место, где я остался жив...

Они неторопливо огибали палубу, и Владимир Федорович, слушая, поглядывал на немца.

Ему вдруг пришло на ум, что совпадение может оказаться еще более невероятным.

Ведь *тот* немец был тоже унтер-офицером. Он тоже был очень высок ростом и тоже был в очках. *Тогда* на вид ему можно было дать

лет тридцать — стало быть, к этой поре аккурат набежало семьдесят. И он тоже говорил по-русски... Бобылев с отчетливой жутью вспомнил, как ждал, подняв глаза: что вот сейчас выстрелят в упор либо долбанут прикладом по раскалывающейся от боли контуженной голове... Но вместо этого к его ногам упали карабины, немцы подняли руки, и тот, который был постарше, спросил: «Господин солдат ранен?» — «Есть маленько», — успел он ответить и потерял сознание... Они подхватили его, доволокли до залегшей цепи, предъявив, как пропуск.

А в наградном листе рядовому Бобылеву записали: «Будучи контужен, взял в плен двух немцев с оружием...»

Так неужели одним из тех двух немцев был этот долговязый старик в адидасовской майке?

— Вы где попали в плен? — на всякий случай осведомился Владимир Федорович. — В каком году?

— Здесь, в Гумраке, где у вас теперь пассажирский аэропорт, — охотно уточнил Эрхард Кнапп. — Сорок третий год, январь.

«Нет, не тот, — с некоторым облегчением кивнул Бобылев. — Если его взяли в плен под Сталинградом, то он уж никак не мог быть опять пленен спустя два года в Померании... Нет-нет, таких невероятных совпадений на самом деле не бывает».

Однако в его душе все же теплилось благодарное чувство к собеседнику. Хотя бы за то, что он был похож — с поправкой на года — на того очкастого немца, который не прикончил его в траншее, в дюнах, под Браунсбергом.

Навстречу им по палубе шли Ворожун и Лиля: гвардии майор увлеченно рассказывал ей о чем-то. Когда поравнялись, жена улыбнулась мужу, а Григорий Никитич сделал вид, что не замечает встречных.

На корме, у трепещущего флага, оживленно беседовали Дима и Эрика — эти-то и впрямь не заметили, как мимо них прошли отец и дед.

— Ты знаешь, чего я больше всего хочу? Искупаться в Волге! — сказала Эрика.

— Успеешь, искупаешься. А где ты научилась так здорово говорить по-русски? — не скрыл интереса Дима.

— О, сначала меня учил дедушка. Знаешь... — Она доверительно наклонилась к уху мальчика. — Он сам научился хорошо говорить по-русски в лагере военнопленных. Это было очень давно.

— Ну, понятно.

— А потом, в гимназии, я выбрала русский язык потому, что уже умела говорить — мне было совсем легко... А какой язык ты учишь в школе?

— English. Do you understand it?

— A little*. И вот, когда дедушка решил поехать в Советский Союз, он взял меня с собой, чтобы я имела практику. Но здесь вокруг оказались одни немцы, представляешь? — Эрика рассмеялась, потряхивая золотистыми прядками на загорелом лбу. — Хорошо, что я познакомилась с тобой.

— Спасибо на добром слове, — порозовел щеками Дима.

— Как ты сказал? — Эрика вынула из кармана платя блокнотик с куцей шариковой ручкой, записала, повторила вслух: «...спасибо на добром слове...» Опустила обратно в карман. — Знаешь, наверное, после гимназии я поступлю в университет на факультет славистики. А ты?

— Я еще не решил, — признался он.

Внезапный порыв изменившегося ветра обрызгал их лица морсью.

Сбросив обороты, катамаран медленно подплывал к воротам первого шлюза Волго-Донского канала.

Судя по всему, Триумфальная арка над шлюзом еще не столь давно возникала здесь внушительным и неожиданным видением: среди изрядных, пенистых волн низовья, между пышных зеленых дубрав у створа.

Однако разросшийся город, прихватив к своим семидесяти километрам вдоль Волги еще по десятку верст от севера и юга, вобрал в свои пределы и канал: теперь на его берегах тучнели кварталы многоэтажных зданий, а по асфальту улиц мчались вереницы автомобилей.

Но левый дальний берег реки по-прежнему манил отлогой полосой песка, купами серебристых ветел, пестротой деревянных грибков и полотняных тентов, копошливой россыпью нагих тел, и ветер доносил оттуда восторженный ребячий визг...

Эрика оглянулась, прикусив губу от зависти:

— Ну неужели этот пароход не пристанет к пляжу?

* — Английский. Ты понимаешь?

— Немного. (англ.).

Лиля завершала туалет, сидя на пуфике у трельяжа, а Владимир Федорович, стоя рядом, повязывал галстук, когда раздался стук в дверь.

— Да-да, — крикнул Бобылев.

В номер ввалились Ворожун и Дима.

— Доброе утро, — сказал Григорий Никитич.

— Машина подана, — доложил Дима.

— А кушать подано? — спросил Владимир Федорович. — Ведь надо еще позавтракать.

— Сейчас подхарчимся, — кивнул Ворожун и далее распорядился так: — Лилия Петровна, пожалуйста, вы идите с Димой вниз, закажите нам по яичнице. А мы с Володей задержимся на несколько минут, уточним план действий. Нет возражений?

Возражений не последовало. Лиля и Дима ушли.

— Ну что? — спросил Бобылев, уже догадываясь, что они неспроста остались с глазу на глаз.

— Володя, мы сейчас едем на Мамаев курган, — сказал Григорий Никитич, вкладывая в эти слова какое-то особое значение.

— Да. Как договаривались.

— Так вот: мы поедem на Мамаев курган без твоих новых знакомых из этого... из Дюссельдорфа.

— А причем здесь...

— При том, что мы можем встретить их за завтраком, или в коридоре, или на улице, и ты — уж я тебя знаю — тотчас разбежишься со своим гостеприимством.

Владимир Федорович, заложив руки за спину, прошелся по комнате взад-вперед.

— Гриша, прежде всего, мне не нравится твой тон, хотя между старыми друзьями это и позволительно... Но мне, честно скажу, не нравится и твое отношение ко всему этому. Да, гостеприимство! А почему бы и нет? В прошлом году я был там, меня принимали радушно, внимательно, чутко... Почему же, если два человека приехали к нам оттуда, мы должны поступаться традиционным русским гостеприимством?

— «Интурист» принимает их по первому разряду: все, что положено, — битте.

— Но ты заметил, что им не хватает человеческого общения? К тому же...

— Володя, — подняв руку, остановил его речь Ворожун, — говори прямо: ты что — уже позвал их вместе с нами на Мамаев курган?

— Нет. Но я пригласил их поужинать сегодня с нами — здесь, в ресторане. В девятнадцать ноль-ноль. Заказал столик. Ведь они послезавтра вообще уезжают.

— Ну, ужин — дело другое: выпить, закусить... А сейчас мы едем на Мамаев курган. И это, Володя, свято! Особенно — для нас с тобой. Ты все-таки не забывай, где мы дрались, где мы сидели в траншеях почти вплотную, на расстоянии броска гранаты... а у тебя, Володя, был хороший бросок — меткий, всегда впопад!

— Спасибо — помнишь.

— Я помню. Но хочу, чтобы и ты помнил: там, в другой траншее, мог быть именно *этой*... Между прочим, у меня такое ощущение, что я его видел тогда — вот такого же длинного, в очках — держал на мушке, но не успел нажать спуск, проворонил, елки-палки!

— Значит, тоже узнал? Не мне одному чудятся такие чудеса? — усмехнувшись, покрутил головой Бобылев. — Через сорок-то лет! А ведь мы, Гриша, своих ребят еле-еле узнаем. С Олегом Ткаченко так и не узнали друг друга, вон как постарели...

Григорий Никитич приблизил лицо вплотную к лицу старого друга, сказал глухо:

— Пусть так, Володя. Но те ребята, что остались на Мамаевом кургане — Коля Нефедов, Сережа Таранец, Наиль Ахмедов, те ребята которых мы зарыли там, — они ведь не стареют... Ты их помнишь?

Бобылев, не вынеся столь близкого и пристального взгляда, отвернулся к окну:

— Да. Помню.

Ворожун обнял его за плечи.

— Тогда пошли.

Припарковались за версту: был субботний день, и по мере приближения к Мамаеву кургану толпа густела, захлестывая не только тротуары, но и проезжую часть.

Дальше двигались вместе со всеми вдоль трамвайных линий.

— Цветы, — остановилась Лиля, завидя в стороне рядок: старушки бойко распродавали из ведер, поставленных наземь, махровые астры, крупные пестрые георгины, длинные свечи гладиолусов.

И откуда она, склонясь, выбирала, Владимир Федорович смотрел на цветочниц с ведрами. Хорошо, что они знают это место и что их не гоняет милиция, как в Москве. Ведь они кто? Солдатки. Может быть, вдовы тех, что погребены в бездонных братских могилах Мамаева кургана. Добро еще, коль эти цветы, взращенные в приусадебках, являются подспорьем к невеликим пенсиям. А что, если и вовсе без пенсий — известная доля замороженных домашних хозяек, матерей, бабок? Морщинистые лица, смуглые нехоленые руки... Но, прикинув мысленно прошедшие года, Бобылев спохватился: да какие вдовы? Пожалуй, что не вдовы, а дочери солдат, воевавших здесь. Тогда им было по двенадцать, по пятнадцать — ему ровни, — а нынче уж за полвека... сталинградские девочки, уцелевшие в подвалах дотла сожженного, разрушенного в щебень города, голодные, оглохшие, с потухшими и неподвижными либо, наоборот, лихорадочно поблескивающими безумными глазами... сталинградские девушки, укутанные в рвань, настолько изможденные и жалкие, что к ним не отваживались лезть с заигрыванием даже самые лихие армейские ухажеры.

Лиля вернулась с дюжиной бархатистых дорогих темно-красных роз, хранивших на лепестках росяные капли, а стебли их были обернуты прозрачным, тоже в каплях, целлофаном.

Приноровившись к замедленной поступи толпы, они взошли на первые гранитные ступени.

Отсюда, снизу, были видны площадки, где на несколько шагов прерывались, давая роздых, лестничные марши. И были видны пологие аллеи, огибавшие холм, тоже запруженные текучим людским потоком. И было уже понятно, как долог и многотруден путь к вершине.

Но тем более потрясали зрение размеры гигантской статуи, высившейся там. Холодящие душу отмахи чистого неба меж острием меча и кистью другой, простертой руки, и от кончиков этих вытянутых пальцев до подножия, до шагнувшей вперед женской ноги, чуть искривленной в голени, чтобы не было неуместной тут вальяжной и прельстительной грации, мощной в бедре, облепленном складками летящей ткани.

«Как же она огромна, эта фигура!» — подумал Владимир Федорович.

Он много раз видел ее фотографические и экранные изображения, но они не давали истинного представления.

«Ну да, это обязательно должно соотноситься с пространством, с самим курганом и еще — с Волгой, которая сейчас хотя и позади, но ощущается затылком, спиною, всем телом: будто чуешь ду-

новением ветров, гон ее зыбей... Да-да. — продолжал думать он. — здесь вообще, все масштабы диктуются Волгой: что этой статуи, что громадного цилиндра панорамы, возведенного недавно, что речного вокзала, от которого они отплывали накануне. — тут, рядом с Волгой, нельзя мелочиться».

— Тебе нравится эта женщина? — спросила Лиля, уследив его завороченный взгляд.

— Но ведь она... символ.

— Да, конечно. Только я встречала ее живую. Мы даже познакомились. Она живет в Москве, на Тимирязевской улице, за райисполкомом — там дача Вучетича. Он лепил эту статую со своей жены. А теперь она вдова... Как странно: правда? Быть знакомой с женщиной, которая здесь — во сто крат, нет, что я, в тысячу.. которая памятник.

Ворожун оглянулся, строго сдвинув брови под козырьком фуражки.

Они послушно и раскаянно прервали беседу под этим взглядом. Тем более поняв, что то, о чем они говорили и думали, — слишком мелко здесь, рядом с великим.

Однако торжественное молчание идущих — лишь шорох подошв да постукивание посохов и костылей — уже перекрывалось другими, близящимися и поразительно вятыми для памяти звуками.

— ...утром и днем семнадцатого октября в районе Сталинграда велись ожесточенные бои с танками и пехотой противника, пытающимися прорвать оборонительные порядки наших войск...

Левитан читал сводку Информбюро.

«Наверное, — подумал Владимир Федорович, — и даже скорее всего эта сводка сорок второго года не сохранилась в записи на пленку. Диктор прочел, люди услышали — и все. Но после войны этот самый знаменитый диктор московского радио в течение десятилетий, год за годом, снова и снова, когда надобилось, зачитывал сводки Информбюро — для кинофильмов, телевизионных передач, спектаклей. И просто ездил по стране, выступал в клубах, рассказывал — как началось и как закончилось, — а между этим было целых четыре года, и каждое утро, каждый вечер люди слушали сводки Информбюро, прильнув к домашним репродукторам-тарелкам, собираясь на улице под столбами с громкоговорителями... Но теперь и Левитана нет. А его звучащий в записях голос — тоже памятник...» — думал Бобылев, невольно следуя ходу мыслей жены.

Они поднимались по лестнице меж стенами руин.

Сквозь обугленный кирпич, облупленный цемент проступали едва обозначенными рельефами — призрачно, но грозно — фигуры в телогрейках, плащ-палатках, матросских бушлатах, лица солдат в низко надвинутых касках.

Одно из этих лиц показалось ему знакомым. Он удивился: кого же из его друзей-однополчан смог так похоже запечатлеть ваятель? И вдруг он понял, что черты этого лица напоминают его собственные черты: как на тех крохотных фотокарточках, которые он отсылал с фронта матери в Холмы, а мать сохранила, и теперь они достались ему от нее в единственное наследство, — но он был в ту пору так еще молод, так юн, что еле узнавал себя на этих фотокарточках. И вот сейчас он тоже с трудом опознал свое лицо среди других лиц, проступающих сквозь трещиноватый кирпич...

Да разве это он? Неужели и он сделался памятником?

Нет. Он пока еще не памятник — он живой человек, который пришел поклониться памятнику.

А гулкое эхо минувших времен продолжало катиться меж стенами руин, будто бы заблудившись в этом ущелье, не зная выхода из него, и потому обреченное метаться здесь, от стены к стене: артиллерийская канонада, скрежет гусениц, ледяющий душу вой пикирующих бомбардировщиков, взрывы мин, захлеб пулеметных очередей...

Внезапно все это оборвалось, сменившись песней: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Владимир Федорович почувствовал, как перехватило горло, как сдавило от волнения виски, как, мгновенно сбившись в ритме, напряженнее застучало сердце.

Он попытался отвлечь себя воспоминанием, связанным с этой песней.

Тогда, на формировании в Холмах, они пытались петь ее в строю. Ведь эта песня появилась в первые же дни войны, звучала, что ни день, с часу на час, и к лету сорок второго ее знали все — и слова, и напев — и почему-то уже тогда угадывали, что сколько ни явись за войну песен, а все-таки эта останется главной. И вполне понятно, что запевалы на марше порой истоиво и пронзительно заводили ее: «Встава-ай, страна огромная...», а строй подхватывал. Но странно: эта боевая песня никак не шла под ногу. Они, солдаты, конечно, не разбирались в музыкальных тонкостях, но верно подмечали — при том ногами, а не слухом — что обычная строевая песня ложится на «ать-два», а эта не ложилась,

попадая на третий шаг, на нечет. Под нее маршировать было никак нельзя, песня сбивала шаг, запевалы растерянно умолкали, а старшины командовали: «По долинам и по взгорьям... з-запевай!»

Они еще не ведали того, что главная песня войны была не маршем, а гимном. Что она не годилась для строя, а была для того, чтоб злее воевать.

Водоем на площади, где прерывалась лестница, отражая торс воина с автоматом и гранатою в руках — он вырастал из гранитной глыбы, подобно утесу, и был олицетворением несломленного города: так понималось и нельзя было понять иначе. Но сам бассейн был неглубок, он создавал лишь зеркало, отражавшее фигуру воина, и глыбу гранита, и небо в наплывших облаках. А все его дно было усыпано монетами: теплилась на солнце латунь пятак и двушек, сверкал никель гривенных и полтинников. Деньги лежали густо, как рыба чешуя на нерестилище.

Владимир Федорович поморщился: он знал повсеместный этот обычай кидать монеты на дно фонтанов, в омут прудов, в волну морского прибоя — чтоб вернуться, чтоб сбылась мечта. Но кому взбрело на ум кинуть первую медяшку *сюда*, а там, в подражание чужой глупости, и другую, и третью?..

Ведь здесь не фонтан, не пляж. Могилы.

Опять и опять мелкое — даже буквально, мелочь на мелководье — липло к великому, старалось войти в соседство, побрататься о нем.

Уже не пряча хмурых чувств, Бобылев шагнул под бетонный свод усыпальницы — пригнув голову, как входят в блиндаж.

Но стены зала были неожиданно высоки. С них, по всему кругу, ниспадали мозаичные полотнища, испещренные фамилиями, именами, званиями.

Взгляд побежал по столбцам: «Сержант Максимов... младший сержант Максимов... рядовой Машик... сержант Медведев... рядовой Мейсин... ефрейтор Мельник... рядовой Михеев...»

— Это Петя Михеев? — спросил вполголоса Ворожуна.

— Нет, видишь инициалы «вэ-эм»...

— А где же Петя?

— Дальше где-нибудь. Тут не все по алфавиту, — объяснил Григорий Никитич. — Тут ведь много, восемь тысяч.

Лиля, коснувшись мужнина плеча, передала ему букет цветов:

— Ты положи.

Владимир Федорович оглянулся.

В центре зала мраморная рука выносила из недр земли к свету — к большому круглому проему в потолке — факел с трепещущим огнем.

«А если дождь? — подумал он. — Ведь без стекла. Не зальет?»

Но тут же понял, что не зальет.

Зато и для *них* было то же, что для всех: если дождь — то дождь, а если снег — снежинки тают, испаряются, приблизясь к пламени, а если, как сейчас, светит солнце — то и для них солнце.

Люди, отделяясь от толпы, подходили к огню и, наклонясь, клали цветы.

Владимир Федорович сделал шаг туда же, но в этот момент течение людского потока вдруг прекратилось, словно упершись в какой-то порог, оттеснилось к стене. И он, подчинясь общему движению, остановился тожс.

Сменился караул.

Два молодых солдата стали навтыяжку у Вечного огня, друг против друга, опустив к ногс карабины.

А те, что отстояли срок, двинулись вслед за разводящим по пологому пандусу, винтом огибающему зал, туда, вверх, где сумрак усыпальницы был прорезан четким квадратом выхода — и в нем тожс сиял день.

Они шли замедленным ритуальным шагом, вынося носки сапог почти на уровень ремснной бляхи, и на какос-то мгновение замирали в таком положении, а приклады карабинов при этом даже не касались плеча — они были зажаты в ладони так крепко, что кинжальные штыки, не вздрагивая, не отзываясь на шаги, плыли в воздухе. Подбородки солдат были вскинуты, глаза устремлены вперед, и лишь бледность щек выдавала напряжение и усталость.

Толпа жалась к стене в благоговейном молчании, освобождая дорогу.

Бобылеву не раз доводилось сталкиваться с распространенным заблуждением: когда бронзовые или гипсовые статуи простоволосых солдат, вставших на колена и склонивших знамена над братскими могилами минувшей войны, наивно отождествляли с самими павшими — именно их жалели, по ним плакали, к их ногам возлагали цветы, не отдавая себе отчета, что они изображают живых людей, что они лишь выражают и разделяют общую скорбь по тем, что здесь погребены.

Но сейчас и он был готов разделить это заблуждение.

Ему показалось, что все поменялось местами: что его погибшие однополчане, зарытые на Мамаевом кургане, отделились от стен мемориала, слезли с гранитных пьедесталов, сошли поименно с мозаичных полотнищ, молча сгрудились подле круглой стены пантеона и наблюдают, как двое солдат — молоденьких, какими были они сами, — шагают, вскинув к плечу карабины, уходят туда, к порогу тени и света, откуда не бывает возврата, уходят в небытие...

И хотя в усыпальнице непрерывно звучал реквием, все же было настолько тихо, что слух уловил, как густая тяжелая капля упала на мраморный пол.

— Володя... — выдохнула Лиля.

Он, очнувшись, рассеянно посмотрел себе под ноги: кровь расплескалась на брызги, а сверху упала новая капля.

Лилия Петровна почти силой разжала его ладонь, сжимавшую стебли цветов: так и есть, ладонь была окровавлена, шипы, проколов целлофановую обертку, глубоко вонзились в кожу.

— Дима, — она передала цветы, — положи ты.

А сама, достав из сумочки платок, сноровисто обернула им ладонь мужа.

— Пошли, — сказал Ворожун. — Душновато тут... и музыка, понимаешь.

На вершине холма Бобылев хлебнул ветряного воздуха.

Однако легче не стало.

— Да как же я мог... — произнес он с мукой в голосе.

— Ты о чем? — спросил Григорий Никитич.

— Как я мог замыслить такое? Искать себе годá, чтоб не выперли на пенсию! Когда они, ребята наши, тут лежат... весь батальон... мальчишки, еще и не жили, только воевать и поспели.

— Брось, Володя, — нахмурился Ворожун.

Но Бобылева было не унять.

— Какие два года? — распалялся он, не обращая внимания на оторопелые взгляды жены и сына, которые никогда еще не видели его таким. — Какие два года? Да им бы все свое раздать — все, что мне осталось! Ну хоть по деньку, хоть по часу. Чтоб хотя бы узнали они, что победили. Чтоб увидели, как люди к ним идут...

— Брось, — повторил Ворожун. — Поплакать охота — плачь. А это не по делу — слова одни.

Столик для них накрыли в круглом зале ресторана, где колонны рыжевато-го мрамора приятно сочетались с белоснежной лепниной потолка, бронзой люстр и красной обивкой стульев.

Здесь кормили иностранных туристов, и на столах, покрытых тугими накрахмаленными скатертями, пестрели флажки: японский — с пунцовым солнцем, похожим на болгарский помидор, бразильский — веселый и яркий, как чемпионская футболка, разноцветные кресты, продольные и поперечные сочетания красных, синих, белых полос. И на столике, заказанном Бобылевым, были предусмотрительно выставлены два флажка: красный — с серпом и молотом и черно-красно-желтый без эмблемы.

Впрочем, и помимо флажков, тут было всего вдосталь: даже волжские яства, осетрина с икоркой, о любителях которых ехидничал на теплоходе Ворожун, занимали почетное место, и сам же Григорий Никитич, покручивая ус, плотоядно взирал на них.

— Мы рады приветствовать вас, — сказал, поднимая рюмку, Владимир Федорович. Попытался улыбнуться, но не сумел: на его лице была крайняя усталость и еще прочитывались следы потрясения, пережитого днем на Мамаевом кургане. — Мы надеемся, что ваше пребывание в Советском Союзе оставит у вас добрую память...

— Ну зачем же так официально? — пришла на помощь мужу Лиля. — Просто: за ваше здоровье, за нашу встречу!

Она старалась растопить ледок недавнего знакомства, внести в застольную беседу тепло домашности. Но вместе с тем не упустила случая обновить красивое вечернее платье, то самое, что было привезено ей в подарок из Дюссельдорфа и еще ни разу не надето.

— Да-да, — растроганно ответил Кнапп, чокаясь с нею. — Спасибо... Все можно знать заранее, всю программу: какие города мы посетим, где мы будем смотреть балет, а где пойдем в цирк. Можно даже путешествовать, сидя дома, читая проспекты и... как это сказать?.. заглядывая в телевизор. Но никогда нельзя знать заранее, каких людей мы встретим. Это всегда неожиданно. И я считаю, что нам с Эрикой — да, Эрика? — обратился он к внучке, — нам очень повезло, что мы встретили вас... Большое спасибо!

Кнапп выпил водку залпом, демонстрируя завидную удаль.

— О-ора, trink nicht so viel, denk an dein Herz!* — сказала Эрика, улыбаясь всем остальным.

В соседнем зале, где колонны были зеленого мрамора (или, как и здесь, рядились под мрамор) и где ублажали своих — не иностранных — посетителей, кашлянул микрофон, прочищая глотку, продувая во всю мощь легкие динамиков. И тотчас грянул напористый рок, звуки которого поневоле заставляли переминаясь, подрагивать, ходить ходуном ноги.

Было видно в распахнутой двери, как потянулись к музыке пары — одна за другой.

— Послушай, — сказала Эрика Диме, с завистью оглядываясь на дверь, — тебе это очень нравится — сидеть за столом?

— Не шибко.

— Не шиб-ко... — с удовольствием повторила она, но, вероятно, поленилась доставать заветный блокнотик, куда вписывала понравившиеся выражения, понадеялась на память. — А нас пустят в тот зал, если мы кушаем в этом?

— Запросто... Мы пошли танцевать, — объявил Дима, вставая.

На эстраде двое, приплясывая, рвали струны гитар; бородатый очкарик горбился над синтезатором истово и вдохновенно, как органист, играющий мессу; дородный ударник шекотал метелочками медные тарелки.

Дима прикинул: а кто же из них потом будет петь? И догадался, что все по очереди.

Они затряслись в общей сутолоке.

— А ты умеешь! — похвалила Эрика.

— И ты умеешь...

— Мы будем танцевать подряд все танцы, хорошо?

— Ладно. Мне нравится танцевать с тобой. А чего бы ты еще хотела?

— О, наверное, то, о чем я мечтаю, никогда не сбудется, — она с сожалением наморщила носик.

— Это секрет?

— Нет, не секрет. Мои подруги в Дюссельдорфе будут смеяться, если я им скажу, что не купалась в Волге.

— Но у тебя еще есть завтра целый день.

— Завтра мы поедем на Солдатское поле, а там нет реки.

* Дедушка, не пей слишком много, помни о своем сердце! (нем.)

Дима, не переставая сучить ногами и руками, посмотрел на часы.

— А что, если сейчас?

— Сейчас? — вспыхнули интересом ее глаза. — Но как?

Цепenea душой, он вынул из кармана ключ с болтающимся лопухим Чебурашкой.

— Давайте выпьем за мир, — сказал Ворожун. — Чтобы наши дети никогда не знали того, что довелось узнать нам.

— Да, — живо откликнулся Кнапп. — И наши дети, и наши внуки, и наши... как будет дальше?

— Правнуки, — подсказала Лилия Петровна. — Все равно — дети... кстати, куда же они подевались?

Музыка в соседнем зале смолкла, на пяточке у эстрады не было видно танцующих.

— Наверное, вышли погулять, — предположил Владимир Федорович. — Что им наши разговоры?

Дима вел машину ровно, не вырываясь вперед и не плетясь в хвосте, чтобы не выделяться в общем потоке, не привлекать внимания. Угадывал за версту смену огня светофора, жался «блинчиком» к тротуарам на поворотах, тормозил заблаговременно и мягко. Он был уверен в том, что не нарушит правила, и даже в том, что сумеет разминуться с каким-нибудь суетливым неумехой, лишь вчера оседлавшим купленный автомобиль, если правила нарушит тот.

Но летний вечер был слишком светел, закатное солнце било навстречу. И больше всего Дима опасался, что постовой регулировщик либо расторопный дружинник с красной повязкой на рукаве и полосатым жезлом вдруг увидит за рулем водителя, чье лицо покажется ему чересчур независимым и юным, или же внимание их привлечет тоненькая шея и задорная мальчишеская стрижка столь же юной соседки водителя.

Но случай им благоволил, они добрались без происшествий.

Кренясь в колдобинах, «Москвич» выехал на крутой берег, который Ворожун и Дима облюбовали для своих ночлегов.

— О-о... — испуганно отшатнулась Эрика, подойдя к кромке и глянув вниз: комки сухой глины, посыпавшиеся из-под ног, долго летели в бездну, прежде чем круги расплзлись по глади, а всплески достигли слуха.

— Не бойся! — сказал Дима. — Я знаю тропинку. Мы с Григорием Никитичем — ну, с этим сердитым дедом, а он вовсе не сердитый, — мы купаемся тут каждое утро!

Он сбегал вперед по извилистой пыльной дорожке, которая сменялась внезапно косыми бетонными плитами, хребтиной увязшей железной трубы, а дальше бурьян и сухой репейник вздымались до пояса, и опять виляла тропинка, камешки летели из-под ног — Дима то тянул за собою за руку робеющую девочку, то перехватывал ее на бегу и удерживал, когда она сама уже не могла остановиться.

— Вот!..

Полоска чистого песка под обрывом была сыпучей и вязкой, ноги проваливались по щиколотку. Но ближе к воде песок плотнел, набухая влагой, темнел — речная вода добродушно нализывала берег.

Кусты орешника и ольхи простерли ветки, заслоняя укромное место от сторонних глаз, отрезая путь чужим шагам.

— А здесь глубоко? — опасно спросила Эрика.

— Да нет же, тут совсем полого — вот смотри!

Швырнув на песок рубашку и брюки, он побежал к воде, взмывал брызги, рухнул плашмя, погреб, вынося поочередно локти, молотя ногами, погрузив голову.

Она, почти теряя сознание от охоты и зависти, стянула через голову платье, но, с похвальной аккуратностью немочки, развесила его, чтоб не смялось, на ольховых ветвях. Теперь на ней всего-то и осталось, что полоска белых трусиков, и она засемила к кромке, боязливо поджимая пятки, ладонями удерживая на груди все, чем была богата.

— Не бойся! — кричал издали Дима. — Вода очень теплая, как парное молоко...

— Как что?

— Плыви сюда, я объясню.

— Сейчас...

Она бочком скользнула в воду и сразу почувствовала, как река подхватила и повлекла по течению ее тело, ставшее невесомым, словно лепесток ромашки.

— Alles in der Welt ist relativ...

Выпив еще рюмку, Эрхард Кнапп стал чаще мешать в своей речи немецкие и русские фразы.

— Я хочу сказать, что все на свете приблизительно... Вы говорите: оборона Сталинграда, вы написали об этом много книг, и некоторые я читал. У вас есть медаль «За оборону Сталинграда» — вот эта, да? — Наклонившись, он коснулся пальцами светло-зеленой ленточки с красной полоской на орденских планках Бобылева. — Но если смотреть объективно, то последние два месяца... In den letzten Monaten war alles umgekehrt: wir waren es, die Stalingrad verteidigten... то есть, в последние два месяца все было наоборот: Сталинград обороняли мы!

— Как это? — напрягся Владимир Федорович.

— Очень просто. Вы взяли нас в клещи, вы окружили нас — и мы сидели здесь, в городе, как в мышеловке... Но мы не сразу капитулировали. Мы держали круговую оборону. И надеялись, что будет воздушный мост, что армия Манштейна пробьется к нам. Мы дрались!

— Любопытно, — откинулся к спинке стула Бобылев.

— Ты вся дрожишь... — сказал Дима, смахивая с ее плечей прозрачные крупные капли, когда они выбрались на берег. — Тебе что, холодно? Но ведь вода совсем теплая и воздух теплый. Почему ты дрожишь?

Она потянулась к висящему платью — он перехватил ее руку, прижал к бедру.

— Нет, мы еще раз искупаемся.

Эрика отвернулась, прикусив губу, размышляя о чем-то, но потом заявила с отчаянной смелостью:

— Мои подруги в Дюссельдорфе будут смеяться, если я скажу, что не целовалась с русским мальчиком...

— Да? Так я не позволю этим дурам смеяться над тобой.

Он наклонился, тронул губами ее губы, и она порывисто обняла его шею обеими руками, совершенно забыв, что ладоням было вверено иное.

— Вот здесь, где мы сейчас сидим, до войны тоже была гостиница. Но в сорок втором здесь уже был госпиталь, вот тут... — Ворожун постучал костяшками пальцев по столешнице. — В этом госпитале были тяжелораненые, которые сами не могли передвигаться — безногие, с перебитыми позвоночниками... А двадцать третьего августа, когда ваши самолеты за несколько часов разрушили город, бомбы попали и в это здание. Оно загорелось, этажи проломилась... Я встречал на фронте людей, которые уцелели в самом

адском огне. Но я больше ни разу не встречал человека, который лежал в этом госпитале. Значит, никто не спасся, понимаете? Никто...

Он продолжал стучать по скатерти, и люди за соседними столиками уже оборачивались на этот стук, на запальчивые голоса, хотя в зеленом зале опять гроыхала с эстрады музыка.

— Пожалуйста, тише... — попросила Лилия Петровна, добавила с мольбой: — Может быть, вообще лучше поговорить о чем-нибудь другом?

— Нет уж! — вспыхнул Григорий Никитич.

Ведь он с самого начала полагал, что от этой встречи хорошего не жди.

Возвращение было менее опасным, потому что надвинулись сумерки, и никто не мог ничего разглядеть, кроме желтых подфарников, красных тормозных огней, свечения приборной доски в машине.

Дима сидел за рулем насупленный, не скашивая глаз, как если бы он ехал совсем один или же вез незнакомца, напросившегося попутно.

— Ты сердишься? — спросила Эрика.

— Я? С чего бы...

— Нет, я вижу, что ты сердишься. Но пойми: это нельзя... Как тебе объяснить? Знаешь, у входа в нашу гимназию висит плакат: «Abtreibungen können zur Unfruchtbarkeit führen!»

— Я не секу по-немецки, учу английский.

— А я не смогу перевести это на английский язык. Но по-русски это значит: «Аборты могут привести к бездетности». Да, так.

— Интересная у вас гимназия, — едко откликнулся Дима, радуясь тайне, что в темноте она не заметит, как густо запунцовели его щеки.

— Да, у нас интересная гимназия, — согласилась Эрика. — А что написано у входа в вашу школу?

Дима наморщил лоб, соображая. А и впрямь — что?

— Не помню. Какая разница? И ты не отвлекай меня глупыми вопросами: ведь я, как-никак, за рулем... — Но встрепенулся вдруг: — А-а, вспомнил: «Добро пожаловать!»

— Что?

— Там написано: «Добро пожаловать!»

Как и подобает благовоспитанной немочке, Эрика дождалась, покуда он расхохочется сам, и уж тогда зашлась звонким смехом, откинув голову на мягкий подзатыльник.

— Ха-ха-ха... Да, это нужно записать! Мои подруги в Дюссельдорфе — они все умрут...

Подавшись вперед, заглянула ему в глаза:

— Ты смеешься? Значит, ты больше не сердись? Тогда я целую тебя...

Но за столиком ресторана «Интурист» было гораздо труднее унять возникшие трения.

— Нет, я не хотел вас обидеть, — уверял, поднося к груди костлявые руки, Эрхард Кнапп. — Поверьте: я никогда не был нацистом. Даже в те времена я терпеть не мог Гитлера... Но что я мог сделать? Была война. Меня призвали в армию. Я был в Шестой армии, мы брали Париж, а в сорок втором году нашу армию бросили на Дон... Я знаю, вы уважали фельдмаршала Паулюса: он выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, он жил в ГДР...

— К вашему сведению, — перебил торжествуя, Ворожун, — это он, Бобылев, брал в плен Паулюса!

— Ach, so! — воскликнул Кнапп. — Но, между прочим, я сдался в плен раньше фельдмаршала, Zwei Tage früher! Два дня раньше...

Они поставили машину на прежнем месте: будто бы она никуда и не ездила.

Но тут появилась новая проблема: у входа в ресторан скопилось изрядная очередь, и величавый швейцар нипочем не хотел пускать их, доказывая, что нет мест. Из очереди подзуживали: сопливы еще по ресторанам шастать, ну, молодежь нынче...

Пришлось идти в обход, через вестибюль гостиницы, но там спросили пропуск — Эрика предъявила интуристовскую визитку, а у Димы визитки не было, пришлось канючить жалостливым голосом, уверяя, что к папе-маме.

— Я не очень понимаю, что вы хотите, господин Кнапп, — вежливо, но холодно сказал Владимир Федорович. — Похоже, что вы ждете от нас признания каких-то ваших заслуг...

— Моих? Нет. Заслуг? Нет. — Эрхард Кнапп был тоже крайне раздосадован тем, что его мысли не встречают сочувствия. — Я хочу признания понесенных жертв... Здесь, в Волгограде, я видел прекрасные памятники, которые прославляют героизм ваших

солдат, — и они действительно заслужили это. Я видел памятники тем, кто погиб — и, поверьте, у меня были слезы... Но неужели здесь, на Волге, не нашлось места — совсем немного места, какой-нибудь камень, wenigstens irgendein Grabstein... чтобы он был надгробием для солдат другой армии, которые сложили здесь головы, выполняя приказ? Вы знаете, мы потеряли в Сталинграде больше миллиона людей...

— Вас сюда никто не звал, — возразил Григорий Никитич.

— Да, я понимаю: побежденным не ставят памятники... — горько усмехнулся Кнапп.

— Памятники ставят тем, кто сражался за правое дело, — твердо сказал Бобылев. — Не может быть памятника тем, кто развязал войну... Не должно быть!

Ворожун позвал пробежавшего официанта:

— Пожалуйста, счет.

— Одну минутку, — откликнулся тот.

Немец развел руками:

— Да, я должен был предполагать, что в этом вопросе не будет согласия.

— Не будет, — подтвердил Владимир Федорович.

Эрхард Кнапп тяжело поднялся со стула.

— Извините, я не очень хорошо себя чувствую... — Он поклонился прежде всего Лилии Петровне, а затем мужчинам: — Извините и спасибо. До свидания.

— О, тут без нас было много событий, — тотчас определила Эрика, завидев издали сутулую фигуру, плетущуюся меж столами. — Мой дед напился. И, кажется, они поссорились... — Она покачала головой, не скрывая досады: — Эти старики — как дети: их нельзя даже на полчаса оставлять одних!

С утра поехали в Бекетовку.

Вдоль шоссе, перемежаясь кварталами многоэтажных новых зданий, тянулись неказистые хаты, подчас мазанки с очеретяными кровлями. Из-за решеток, плетней выглядывали глазастые мальвы и зрелые, в добрую сковороду, подсолнухи. А сверху клонились

ветви деревьев, отягощенные плодами. Кое-где у обочины дороги стояли табуретки, на них — ведра румяных яблок, нежных янтарных абрикосов, подернутых сизой пылью слив: кому надо — стучись в калитку.

— Это все еще город? — спросила Лилия Петровна.

— Город, — подтвердил Ворожун, — и долго еще будет город.

Впрочем, сельские домики с палисадничками и вынесенными к дороге ведрами фруктов попадались им вчера и близ центра, на улицах, огибающих Мамаев курган, прилепившихся к склонам оврагов.

— Может быть, купим яблок? — предложила Лиля. — Погрызем, пока едем.

— На обратном пути, — сказал Бобылев.

Он то и дело прикинул к окошку, высматривая, выискивая приметы давних лет. Однако взгляду было не за что зацепиться: иногда лишь казались знакомыми перепады холмов и балок, но это могло быть просто сходством рельефа этих мест, где приволжская степь пучилась грядую Ергеней.

— Папа, а как здесь было раньше? — спросил Дима, угадав в непоседливости отца то же волнение, каким сопровождался недавний их въезд в Холмы.

— Так же и было, — буркнул Владимир Федорович, добавил: — Только тогда зима была.

— Значит, вы по этой дороге везли на допрос Паулюса?

— Вроде, по этой.

— Нет, ты расскажи подробней, — настаивал сын. — Где он сидел? А где ты сидел? Сбоку от него, где сейчас сидишь? Ведь интересно же...

— Фью-у, — присвистнул, махнув рукой, Бобылев. — Да ведь я совсем в другой машине ехал!

— Как? — забыв на миг о руле, оглянулся Дима. На лице его было разочарование. — Но ты же раньше говорил, что конвоировал его?

— Я и сейчас говорю. А ты следи получше за дорогой, не отвлекайся. Мы-то фельдмаршала доставили в штаб благополучно, в целостности и сохранности. А ты, если будешь вертеться...

— Ладно.

Парень послушно уставился в лобовое стекло.

— Володя, но ты ведь был в конвое? Я всегда так считал и другим рассказывал. — Теперь Ворожун обернулся к заднему сиденью. — Разве...

— Эх, до чего же вам охота сделать из меня историческую личность! — заерзал в раздражении Бобылев. — Так это Паулюс — историческая личность. А я — гвардии рядовой, что тогда, что теперь — одинаково...

— А все-таки?

— Ну, был я в конвое. Только ехал отдельно. Фельдмаршал запрявился: отказался ехать в головной машине, боялся подорваться на mine... Тут и впрямь на дороге было мин понатыкано — и наших, и немецких — жуть: одна на другой, под ними третья. Сверху снегу навалило... Начальник разведки приказал: гнать впереди «газик», а уж за ним, на дистанции, след в след, «эмку» с фельдмаршалом. Чтоб, если рванет, то хоть пленного сберечь. Вот я на «газике» и был, в голове...

Почувствовал, как Лиля испуганно и судорожно вцепилась в его рукав.

Он погладил ее руку, отвел мягко.

— Где едем? Не Бекетовка еще? Не промахнуться бы... — напомнил, высматривая даль шоссе.

— Нет, Горная Поляна, — успокоил Ворожун. — А там, за разворотом, возьмем налево.

Через несколько минут они, прижимаясь к дощатым серым заборам, подъезжали к цели.

Здесь, в укромной улочке, с особой наглядностью прочитывались нынешние контрасты: девятиэтажные белые панельные корпуса, подобно кораблям, пересекали зыбь изъятых крыш и буруны усадебной зелени, но посреди улицы, у подернутого ряской болотца, у канав, заросших тростником, сбавляли в оторопи ход: а туда ль заплыли? Почему вместо приличной гавани их завели в эту сонную и мелявую заводь?..

«Мелкое липнет к великому, старается войти в соседство, побрататься с ним... — опять вернулась к нему мысль, возникшая у бассейна с медяками на Мамаевом кургане. — Да, но здесь-то, здесь — что считать мелким, а что великим? Как быть, если все наоборот?»

Можно было догадаться, что над этим вопросом так же мучительно бьются и местные зодчие: что же им делать, как им быть, че-

му отдать предпочтение? Смести без сожалений, как труху, остальные деревянные домишки и покосившиеся заборы, поставив вместо них еще десяток белых громадин? Или же погодить в этом рвении?.. Потому что к одному из этих утлых домишек то и дело — что ни день, что ни час — подкатывают автобусы, полные готтливых туристов, подъезжают один за другим автомобили — вот как этот синий «Москвич», — и еще бредут от станции, с электрички, паломники, чтобы только взглянуть на бревенчатый дом под шиферной крышей, с узорчатым дымником над трубой, с резным крыльцом, подле которого навешена мраморная таблица...

— Тут что — музей? Или живут? — спросил Владимир Федорович.

— По занавескам судя — живут, определил Ворожун. — Зайдем?

— Удобно ли? Если люди живут, то как входить незванно? Эдак все повалят через порог — и ни минуты покоя хозяевам, да и на топчут — полов не отмыть...

— Всем, конечно, нельзя. А тебе — можно, — уверенно сказал Григорий Никитич. — Потому что ты тут уже был.

— Вот как? — усомнился Бобылев, но не превозмог искушения. — Давай, стучись...

Он стоял в дверях просторной горницы — там же, где стоял и тогда, с автоматом поперек груди — поражаясь, как ничего с тех пор не изменилось, ну разве что обои переклеены да рожок сменен под потолком, — и еще поражаясь тому, как, спустя сорок лет, свежа память и памятли чувства.

Он отлично помнил, как сновал по этой горнице оператор кинохроники, то приседая к полу, то вскидываясь на цыпочки, прильнув к беспрерывно стрекочущей камере, — и как он, Володя Бобылев, замирая сердцем, все надеялся, что вот-вот глазок объектива заденет ненароком и его, скользнет попутно и запечатлеет хотя бы на секунду — и уж тогда он останется навеки, если даже и убьют.

И еще он очень хорошо помнил, что у него не было особого интереса к плененному немецкому фельдмаршалу с железным крестом на шее, с пепельно-серым осунувшимся лицом. Нет, он в оба глаза, не отрываясь, смотрел на бритоголового командующего 64-ой армией генерала Шумилова, восседавшего за письменным сто-

лом с лампой под зеленым колпаком. Потому что для солдата, для окопника, увидеть собственного командующего еще большая удача, чем подивиться на чужого фельдмаршала.

Еще он видел сейчас в пятноватом зарыжелом зеркале, висящем в простенке меж окон, как в прихожей Григорий Никитич Ворожун повествует о чем-то пожилым хозяевам, отсылая кивки в его сторону: ну, опять заливаает, опять возводит в министры, в историческую личность... ох, мужик неугомонный!

Владимир Федорович пригляделся к хозяевам в том же зеркале: пенсионерская благостность седин, очки, шея в складочку — пожалуй, что и гораздо старше него.

А они-то где обретались в тот зимний день? Помнится, что ни в доме, ни на подворье никого, кроме военных, он тогда не приметил: контрразведка знала свое дело не хуже, чем разведка, — так что посторонних людей и близко не подпускали. Однако же законные хозяева — не посторонние...

— Скажите, пожалуйста, вы тогда, в январе, где были? — спросил он старика. — В Бекетовке?

— Не-ет, мы отсель далече были — на Алтае, в эвакуации. Я по броне на заводе работал... Правда, Тонька, сестрица, здесь оставалась: муж у нее был машинист на паровозе, тоже не призывался...

— Да, машинистов не призывали, — подтвердил Владимир Федорович, вспомнив об отце, бесследно сгинувшем в харьковском котле. — Значит, сестра ваша здесь была? Вот бы с кем перемолвиться хоть словом. Она где сейчас?..

Но по отведенным тотчас в сторону глазам хозяев и по отчужденному молчанию, наступившему вслед за его вопросом, догадался, что задел большую тему, что брякнул невпопад.

— Видишь ли, Володя, какая тут петрушка... — заторопился с объяснениями Ворожун. — Судятся они с сестрой. Она и ее муж давно уехали отсюда, из Волгограда. Живут в другом городе. Однако формально сестра остается совладелицей этого дома — по наследству... И никак вот не разделятся, не разойдутся миром.

— Шестой год судимся, — подтвердила горестно хозяйка. С надеждой подняла очки на высокого гостя: — Помог бы кто. Вот генерал Шумилов, покуда сюда наезжал, то обещался — но не успел он, умер...

И опять Бобылеву представилось, как наяву: бритоголовый генерал, восседающий в этой горнице за письменным столом с лам-

пой зеленого стекла, напротив понурого фельдмаршала... Да, Шумилов умер, он читал в газетах. И фельдмаршал давно умер.

А где же письменный стол? Где зеленая лампа?

— Видите ли, я не юрист. Я работаю экспертом в Главстандарте, совсем по другой отрасли... — смущенно пожал плечами Владимир Федорович. — Так что вряд ли могу быть полезным в таком деле.

И, найдя за спинами хозяев застеснявшегося гвардии майора, одарил его выразительным взглядом.

— А насчет пристройки можете? — переменял тему хозяин. — В том смысле, что если по суду ничего не добьемся, то хоть бы разрешили пристроить комнату к веранде. Да и саму веранду не мешало бы перестроить в отапливаемое помещение — сейчас все так делают...

— Ну, по такому вопросу вам достаточно обратиться в райисполком, — подал совет Владимир Федорович.

— Обращались уже — отказ. Не разрешают они перестройки, потому что исторический памятник — должно оставаться в том виде, как было... Ведь вот что получается: в памятнике живем — оттого и страдаем.

Бобылев, слушая, прикидывая в уме тот круг городских учреждений, куда они с Гришней — по праву ветеранов — могли бы войти ходатаями. И хорошо бы, подумал он, привлечь к этому делу вальяжного заместителя директора «Интуриста» Олега Ивановича Ткаченко: уж он-то, надо полагать, лучше всех других знал здесь ходы и выходы.

— А у вас что — большая семья? — поинтересовался Бобылев, украдкой пересчитывая двери комнат, выходившие в эту горницу.

— Не так чтоб... двое нас всего. Однако соседи, хоть им и поднос идти, давно уж перестроились. А нам не разрешают.

И, хотя он ничего не обещал твердо, хозяева вышли на крыльцо проводить его с почтением.

«Соседи, соседство... — сверлила по дороге ум все та же неотвязная и мучительная мысль. — Мелкое соседствует с великим, рядится под него, братается с ним...»

Проезжая Ельшанку, увидели ведро, стоявшее на табурете при дороге.

Постучали в калитку и купили отменных, пахучих, хрустящих яблок.

Хлебная нива, по которой ветер гнал белесые волны, простиралась до самого горизонта. В отдалении виднелись стальные мачты электропередачи, но и они утопали ногами в пшенице. Лишь кое-где золотое приволье перемежалось глубокими оврагами, в которые стекались окрестные лески.

Тем страшнее было это одинокое безлистое дерево, стоявшее на взлобье. Его ствол был обуглен, ветки, тоже в черных стручьях, застыли изломанными линиями, будто в корчах — зимой остовы деревьев все такие, просто этого не замечаешь, но сейчас, когда зелень вокруг пышна и кудрява, эти черные зигзаги, похожие на молнии, ослепляли, заставляли тревожно сутулить плечи в ожидании громового разряда...

Впрочем, ветки не были нагими. Косые полоски алой ткани трепетали на ветру и казались языками того огня, что опалил дерево — вот оно догорает на глазах, — и только, подойдя совсем близко, можно было увидеть, что это пионерские галстуки, завязанные узлами, и к некоторым из них были приколоты гроздь металлических звездочек.

— Наверное, здесь принимают в пионеры, — сказал Дима. — Повяжут пацану галстук, а он свой октябрятский значок — сюда...

— Похоже, что так, — кивнул Ворожун. — Наверное. Я ведь и сам тут первый раз, на Солдатском поле. Раньше тут было огорожено колючкой, не пускали. И никакого мемориала в помине не было.

Поодаль от черного дерева стояла плотная толпа людей, в которых Бобылев сразу опознал давешних гостиничных постояльцев, немецких туристов, соседей по этажу — дородных мужчин с фотоаппаратами и сухопарых старушек в джинсах — но, подойдя, услышал девичий голос:

— ...My black-eyed Milla, I'm sending you a cornflower. Imagine a battle is going on. Enemy shells are bursting, there are bursters everywhere and among it all, — a flower. Suddenly there's another explosion... the cornflower is rooted out. I picked it up and put it into the pocket of my uniform...

Переводчица говорила или читала на английском, значит, и слушатели ее предпочитали английский — то есть они вовсе не

были немцами и, следовательно, не были его соседями, гомонившими и топотавшими спозаранок в коридоре. Может быть, они с другого этажа? Но очень похожи: такие же японские фотоаппараты и те же американские джинсы, и уж точно — туристы.

Владимир Федорович глянул через головы, из-за спин.

Там лежала приподнятая косая плита белого мрамора, изображавшая треугольник солдатского фронтového письма со штемпелем: «18.9.1942 г.»

На мраморе были высечены строки.

«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек... Представь себе: идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок... И вдруг очередной взрыв... василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной. И если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вдоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе не понятно, мама объяснит...»

— And now, come this way, please!* — сказала переводчица.

Туристы повернулись, двинулись скопом, обтекая Бобылева.

Осталась лишь девочка лет десяти. Босоногая, с цветком в руке — но это был не василек, а степной тюльпан. Бронзовая девочка на постаменте. Вероятно, ее и звали Милой. И ей, этой девочке, было адресовано письмо.

— Извините, одну минутку, — Ворожун остановил молоденькую переводчицу в темных очках, закрывающих пол-лица, — Скажите, пожалуйста... Он — погиб? Ну, который писал письмо.

— Майор Петраков? Да, погиб... но позже, под Брянском.

Вероятно, ей приходилось отвечать на этот вопрос очень часто. Но она не выказала нетерпения или недовольства — лишь проводила озабоченным и усталым взглядом подопечных, — и можно было предположить, что она рада мимолетной возможности хоть словцом перемолвиться со своими по-русски, да отдышаться.

— А дочка — вот эта девочка — она жива. Приезжала на открытие мемориала. У нее теперь у самой такая дочка... Но извините, бегу.

* А теперь, пожалуйста, пройдемте дальше! (англ.)

Лиля подошла к Бобылеву, посмотрела на бронзовую девочку, на мраморное письмо, сказала:

— Как там Маришка? Может быть, звонила уже сто раз в Холмы, а нас там нет... кочуем, как цыгане.

Ворожун и Дима, присев на корточки, разглядывали бетонированную, в отпечатках дощатой опалубки, воронку.

Из нее выметнулся хвост взрыва — взметнулся и замер: он был сварен из рваных осколков, из бомбовых и минных корпусов, из снарядных искореженных гильз, из траков гусениц, из автоматных обойм, из обломков орудийного щита — из уродливого смертоносного металла, который теперь был неподвижен, прочно сцеплен и потому уже неопасен.

— А это что? — спросил Дима, ощупывая на глубине ребра стали. — Похоже на стабилизатор... от мины, да?

— Хрен его знает, — Григорий Никитич поднялся, кряхтя. — Значит, все железо собрали, какое есть, все сгодилось. И ладно.

По шоссе, со стороны города, к Солдатскому полю один за другим подъезжали багровые «Икарусы», выплескивали через дверца пассажиров, выстраивались в ряд.

Поблизости, уже знакомый, слышался голосок переводчицы — но ее самой, маленькой, загороженной спинами, не было видно:

— ...until quite recently the local people were afraid to pass trough this field. They called it «a dead field», «an iron field». The point is that for many years it has been impossible to demine this area, so deeply and heavily it was stuffed with shells and mines which exploded even years after the war...*

— Дима выпрямился, отряхнул с ладоней шершавую окалину, и увидел за черным деревом долговязую фигуру Кнаппа, а рядом с ним была Эрика.

«Ну да, она ведь говорила, что тоже собираются сегодня на Солдатское поле», — вспомнил он.

А вслух сказал:

— Интересно, на чем они...

* До недавних пор местные жители опасались ходить по этому полю — они называли его «мертвым полем», «железным полем». Дело в том, что многие годы не удавалось до конца разминировать это пространство — настолько глубоко и плотно оно было начинено взрывчаткой, металлом. Даже через десятки лет после войны здесь иногда раздавались взрывы... (англ.).

— Что говоришь? — рассеянно отозвался Ворожун.

— Да нет, ничего, — буркнул Дима.

Хоть бы она догадалась оглянуться.

Эрхард Кнапп и девочка, сойдя с бетонной площадки, шли по стерне, которая упрямо и жестко пружинила под ногами.

Хлеб тут убрали совсем недавно — может быть, даже нынче утром, — потому что комбайны работали совсем близко: они шли косым клином по пшеничному полю, рокоча напряженно, вздымая над собою вихри соломенной трухи, половы, пыли.

— ...Erst dreiunddreißig Jahre nach dem Krieg war dieses Feld entgültig entmint. Auf einer Fläche von vierhundert Hektar war jeder Zentimeter sorgfältig abgesucht worden. Und nun fahren die Traktoren auf dieses Feld. Hinter dem Lenkrad des ersten Traktors saß die Tochter eines Frontsoldaten, die Deputierte des Obersten Sowjets Marie Pronin. Hinter ihr lenkten ein Bulgare und ein Pole, ein Vietnamese und ein Mongole ihre Traktoren...*

— Это, кажется, наши? — сказала Эрика. — Давай подойдем, послушаем.

— Нет, — покачал головою Кнапп. — Мы не платили за это. Не забывай, что у нас индивидуальный тур. Каждый получает то, за что он платит деньги.

Эрика споткнулась, тихо вскрикнув.

Нагнулась, развела щетину срезанных колосьев, поднялась, держа в руке острозубый, скрюченный, изглоданный ржавчиной кусок железа, протянула деду:

— Опа, смотри, что я нашла... это от войны?

Кнапп взял осколок, повертел в пальцах.

— Да, это от войны.

— Но это *наш* или *их*?

— Теперь это уже трудно понять...

— Ты просто не хочешь говорить! Ты молчишь весь день, с самого утра.

* Лишь тридцать три года спустя после войны это поле было окончательно расчищено. На площади в четыреста гектаров был тщательно обследован каждый сантиметр... И вот на поле вышли трактора. За игурвалом первого из них была дочь фронтовика, депутат Верховного Совета Мария Пронина. Следом за нею вели трактора болгарин и поляк, вьетнамец и монгол... (нем.).

— Я неважно себя чувствую. Наверное, это от жары...

— Нет, это оттого, что ты не бережешь себя! — укорила внучка, продолжила сердито: — И, вообще, вы, взрослые, не умеете жить в мире, а расплачиваться за это приходится нам, хотя мы ни в чем не виноваты!

Но теперь она знала, кто сумеет оценить ее находку, кто сможет ей все растолковать и объяснить: там, за черным деревом в красных галстуках, она увидела знакомого русского мальчика, и его красивую мать, и его молодого отца, и их старого друга, который был настолько добр, что вынужден скрывать это.

И еще она сообразила, что ее находка — пожалуй, единственный повод, который оставляет возможность, не заискивая, не роняя себя, восстановить поколебленное знакомство.

Она побежала туда, к ним.

— Вот посмотри, — сказала Эрика Диме, разжав ладонь.

— Ого... — удивился он. — Папа, дядя Гриша, идите сюда.

— Здравствуй, Эрика, — приветливо улыбнулась девочке Лиля Петровна.

Она ответила привычным легким книксеном.

Ворожун взял с ее ладони железо, вгляделся, прикинул на вес, определил:

— Осколок бронебойного снаряда, подкалиберного, семьдесят шесть миллиметров... Так, Володя?

— Пожалуй, — сказал Бобылев, перенимая у него осколок.

— А он не взорвется? — опасно покосилась на металл Лиля.

— Нет, — успокоил Григорий Никитич. — Он уже взорвался.

Был знойный полдень, и от нагретой земли восходило к небу колышущееся марево.

Оно изменяло, искажало очертания предметов — даже их цвет — и ярко-красные комбайны, идущие клином по пшеничному полю, вдруг показались Эрхарду Кнаппу не комбайнами, а черными танками, атакующими по всему фронту. Они двигались на него, и рокот их делался все сильнее, грозно нарастал...

У него хватило умудренности, чтобы понять, что это видение, звуки, это паническое ощущение — предвестие сердечного приступа. Он опустил руку в карман, достал патрончик с лекарством,

вынул таблетку, но донести до рта не успел — страшная боль в груди и под лопаткой сковала его, вынудила застыть в нелепой скорченной позе, глаза полезли из орбит...

Еще раз в этих глазах отразились комбайны, идущие, рокоча, по Солдатскому полю.

Взметнулся из бетонной воронки и замер неподвижно выбух сваренного железа.

И еще ему показалось на миг, что там, на постаменте, над треугольным письмом вместо босоногой бронзовой девочки с тюльпаном в руке стоит его внучка Эрика и протягивает на ладони скрюченный осколок бронебойного снаряда...

Он упал на колючую стерню.

— О-опа! — закричала Эрика, увидев издали его падение, и кинулась со всех ног к нему.

Первой, повинувшись многолетней привычке врача, побежала за нею Лиля. Следом — Дима, Владимир Федорович, Ворожун.

Возле упавшего — как давеча вокруг экскурсовода, заслонив спинами, — собрались встревоженные люди. Они переговаривались:

— Was ist denn? Ohnmacht?

— Vielleicht Sonnenstich.

— Ist er einer von uns?

— Nein. Wahrscheinlich ist er aus einem anderen Autobus.

— Aber es ist ein Deutscher?

— Meiner Ansicht nach ein Engländer.

— Nein, er ist Deutscher. Aber ein *anderer* Deutscher*.

Лилия Петровна, растолкав всех, бросилась к лежащему, перевернула его на спину, заглянула в лицо — глаза были полураскрыты. Она быстро расстегнула сумочку, вытряхнула на ладонь крупичи нитроглицерина и, с трудом разжав челюсти Кнаппа, раздавила их о зубы.

* — Что, у него обморок?
— Может быть, солнечный удар...
— Это наш?
— Нет. Наверное, он из другого автобуса.
— Но это — немец?
— По-моему, англичанин.
— Нет, это немец. Но это *другой* немец. (нем.).

Схватила неподвижную жилистую кисть, попыталась нащупать пульс.

— Машину... быстро! — приказала мужу.

Глухой черный фургон катился по бетонному полю аэропорта «Гумрак», лавируя, срезая углы, выписывая дуги.

На этом поле сразу бросалась в глаза замысловатая вязь направлений и маршрутов — не то что на сквозном шоссе, где один поток моторов несется в одну сторону, а другой навстречу: следуй в потоке, подчинись общему движению — и вся недолга, вся премудрость, благополучно достигнешь цели, будешь на месте.

Здесь же каждый знал наособицу свою тропу, свою ношу, свое дело, как знают это муравьи на лесной опушке: они не идут полками, а семят порознь, иногда пути их скрещиваются, порой бегуны даже сталкиваются лбами, но умеют разойтись, не выясняя отношений, не тратя мига попусту, — и за всем этим рабочим копошеньем угадывается общность усилий, и все пути, в конечном счете, сходятся у той вон островерхой земляной кучи, присыпанной сухими сосновыми иглами.

Так и тут. Бензозаправщик, смотав шланги, выезжал из-под крыла готового к рейсу самолета. Автотрап мягко подкатывал к запертой еще дверце в фюзеляже только что прибывшего корабля. На багажной платформе громоздились чемоданы всех оттенков кожи. Вереница вагончиков, забавных, как поезд в детском парке, везла пассажиров транзитного рейса поразмять с полчаса ноги в зале ожидания.

Все это было лишено собственных голосов и звучаний, заглушено ревом реактивных сопел, пробующих тягу, истощным свистом взлетающих машин и басовитой одышкой приземлившихся.

Вот почему в не стихающем гrome и общей суете ничье внимание не привлек глухой фургон, заехавший под вздернутое брюхо самолета «ТУ-134». Из фургона вынесли тяжелый цинковый гроб и задвинули его в грузовой отсек.

Створки люка подобрались.

Тягач, тронув с места лайнер, повел его к пассажирской площадке.

Лишь несколько человек следили за этим издаലെка, сквозь стекла посадочного зала.

Эрика заплакала, уткнувшись в грудь Лилии Петровны.

Она погладила ее волосы.

— В Дюссельдорф уже сообщили? — спросил Бобылев.

— Мы дали телеграмму, — сказал Олег Иванович Ткаченко.

Он присхал в аэропорт, чтобы проследить, как представитель «Интуриста», за выполнением всех договорных обязательств своей фирмы и соблюсти ритуальный долг, выразив сочувствие внучке покойного.

— Мы дали две телеграммы, — уточнил он, — в Дюссельдорф и Виндхук. Дело в том, что родители Эрики сейчас находятся в Намибии.

— Да, они работают там, у них контракт, — подтвердила, утирая слезы, девочка. — Они инженеры на урановом руднике.

«Вы где попали в плен?.. В каком году?» — вспомнил Владимир Федорович свой осторожный вопрос, заданный Кнаппу при первой их встрече на палубе прогулочного катамарана. И ответ: «В Гумраке... сорок третий год, январь...»

Бобылеву тоже выпало побывать в Гумраке в том январе: на бескрайнем сумрачном поле, усыпанном снегом, кланялись ветру сухие стебли метлицы. Вблизи и вдаль горбатились фюзеляжи транспортных трехмоторных «Юнкерсов-52» (и немцы, и наши прозвали их «коровами»), они глубоко увязли в снегу, и крылья с черными крестами плашмя лежали на сугробах.

Это был сердцевиный аэродром окруженной группировки Паулюса. Фюрер клялся, что обеспечит доставку сюда по «воздушно-му мосту» боеприпасов, продовольствия, подкреплений. С Гумраком у немцев было связано столько же надежд, сколько с группой Манштейна, идущей на прорыв внешнего кольца, — и то и другое сорвалось.

Когда Володя Бобылев прибыл сюда, колонны пленных уже змеились по степи. Повсюду из пороши торчали каски, сапоги, кисти рук убитых и замерзших, и было ясно, что похоронным командам по весне тут достанется.

«А потом я всю жизнь думал об одном: что если я остался жив — значит, бог был милостив ко мне... — признавался на паро-

ходе старый Кнапп. — И, значит, он позволит мне еще раз увидеть то место, где я остался жив...»

Он никак не мог предполагать, что все-таки покинет Гумрак не пленным, а мертвым.

— Внимание! — раздался в репродукторе женский голос. — Объявляется посадка на самолет рейса тринадцать-ноль четыре, вылетающий по маршруту Волгоград-Москва. Пассажиров, прошедших регистрацию, просим пройти на посадку...

Среди пассажиров, отозвавшихся на этот голос и заторопившихся к вспыхнувшему над дверью табло, Владимир Федорович увидел молодого человека, лицо которого показалось ему знакомым... впрочем, нет, он узнал не лицо, оно-то как раз было неприметным, из тех, что не запоминаются с первого раза, — а узнал он щегольский дипломатический чемоданчик в руке молодого человека: вспомнил, как из этого кейса извлекались отвертки, мотки провода... ну да, это был словоохотливый мастер из гостиницы «Интурист», который приходил к ним в номер чинить телевизор, и между делом хвастался недавней служебной командировкой в Москву, не по телевизионной, а по другой okazji: «Жмурика возил на самолете... они вот ездят, бередят себе души, а нам потом сопровождай...» Значит, опять ему выпала эта докука?

— Повторяю... Пассажиров, вылетающих рейсом тринадцать-ноль четыре...

— Пора, — сказал Олег Иванович.

Эрика поцеловала Лилию Петровну, пожала руки Бобылеву и Ворожуну, а потом, поразмыслив, тронула губами щеку Димы.

Они видели, как лайнер, промчавшись по бетонной полосе, взмыл в синеву.

— Ты поедешь в куртке? — спросила Лилия.

Бобылев, сидевший за круглым столом в гостиной, у вазы с привядшими георгинами, то ли не расслышал ее вопроса, то ли не понял, о чем речь — безразлично кивнул.

— Ну, тогда давай пиджак, я уложу...

Она опять хлопотала над дорожным чемоданом, стараясь устроить все плотней, чтоб влезло, хотя за дни путешествия ничего в их багаже не прибыло и не убыло.

Владимир Федорович все так же молча снял со спинки стула пиджак, достал из кармана паспорт и водительские права, бумаж-

ник, ощупал боковые карманы — в одном из них что-то было, он сунул руку, вытащил: зазубренный, скрюченный, изглоданный ржавчиной кусок железа — осколок бронзбойного снаряда, найденный на Солдатском поле.

Погреб ногтем окалину — что с ним было делать, куда девать? — положил на скатерть, как на плюш музейного стенда. И опять подпер кулаками голову.

Лиля, видя его подавленное настроение, подошла, опустилась на колени рядом — не то, чтобы моля о прощении и заискивая, но просто чтобы снизу заглянуть в опущенное лицо, — так он это понял.

Но не угадал. Она действительно считала себя в чем-то виноватой.

— Володенька, прости... — заговорила торопливо и сбивчиво, отирая набегавшие слезы. — Я не должна была, нет, конечно... но я только теперь поняла это... какая же я дура!

— О чем ты? — спросил Бобылев, обняв ее плечи.

— Не нужно было затеваться с этими справками, с этими двумя годами... господи, какая разница? Не нужно было ехать — ни в Холмы, ни в Волгоград. Лучше бы мы поехали в Крым, как собирались, — ты бы отдохнул, набрался сил... а вместо этого...

Провела ладонью по лицу мужа.

— Ты весь осунулся за эти дни, лицо измученное, серое. — Коснулась его кудрей, поразились: — Володя, знаешь, у тебя прибавилось седины, да-да... И во всем виновата я, только я. Ведь это я надоумила...

Раздался стук в дверь.

Лиля поспешно вскочила с колен, платочком — быстро — отерла влагу с ресниц и щек.

— Да.

Вошли Ворожун и Дима, как входили сюда каждое утро — бодрые, деятельные, полные сил и планов.

— Здравия желаем! Как почивали? — осведомился, улыбаясь, старый служака. Но тотчас заметил откинутую крышку чемодана. — Тут, гляжу, какой-то переполох...

— Григорий Никитич, мы уезжаем в Москву, — сказала Лилия Петровна. — Сегодня, сейчас. — И повторила отдельно для сына: — Мы уезжаем, Дима. Ты готов?

— Всегда готов, — ответил тот.

— Вот те и на! — поразился Ворожун. — Ведь хотели еще несколько дней побыть здесь. На рыбалку собирались, под Камышин. Нынче пятница — Олег Ткаченко уже снарядил моторку, снасти приготовил. Всех звал...

— Передайте ему, пожалуйста, привет и наше сердечное спасибо за все заботы. — Вдруг вспомнила: — Володя, ты уже расплатился за номер?

— Да.

— А как же Холмы? — Все не мог прийти в себя от неожиданности Ворожун. — И там нас ждут.

Лиля подошла к нему, сказала вразумительно и мягко:

— Григорий Никитич, мы сегодня уезжаем в Москву — так надо. У Володи все-таки отпуск. Ему нужно хотя бы пару недель отдохнуть в санатории — может быть, еще удастся добыть какую-нибудь путевку. И потом, вы знаете, что Марина, наша дочь, поехала со стройотрядом — и вот уже сколько времени ни слуху ни духу...

— Эх, жалко-то как! Почесал затылок Ворожун. — А я думал — порыбачим на славу... разве есть лучше отдых?

«Москвич» остановился за городской чертой, там, где хлебные нивы перемежались зеленью дубрав, где холмистую равнину изрезали глубокие шрамы — то ли овраги, нарытые вешними водами, то ли противотанковые рвы давних лет, ставшие оврагами.

По левую руку было уже знакомое им: безлистое обугленное дерево в трепещущих красных галстуках, босоногая бронзовая девочка, стоявшая над косым треугольником письма, плужные лемеха на бетонных плитах — мемориал Солдатского поля, казавшийся отсюда, с шоссе, очень маленьким.

Лилия Петровна и Дима остались в машине, чтобы дать возможность старым друзьям проститься наедине, с глазу на глаз.

Они выбрались из машины, отошли на несколько шагов.

— Счастливо тебе, Гриша, спасибо за все, — сказал Бобылев. — Марии Корнеевне передай привет. И Ане от меня поклон. А главное, сам будь здоров и крепок, бодр. Да ты и так молодец... Появится возможность — приезжай в Москву, давно ведь уже не был.

— Постараюсь, — обещал Ворожун. — Ну, и тебе всех благ, хорошего здоровья... Да, чуть не забыл: вернусь в Холмы — сразу же в загс, и если готовы бумаги, вышлю ценным письмом.

Владимир Федорович медлил с ответом, глядя на колышущиеся хлеба поодаль. Где еще не успели убрать — будто пытался что-то сформулировать для себя самого, — потом сказал:

— Вышли, конечно, если найдут эти книги и меня в них... Но, вообще, Гриша, здесь закавыка совсем в другом — я только теперь это понял. Вроде бы я у жизни обратно прошу свои годы. Будто я ей в долг их дал, а теперь прошу вернуть...

— Так и есть, — подтвердил Ворожун. — А разве нет?

— Нет, дружище, нет... Ведь я их отдал не жизни — войне. А война, брат, никаких долгов не признает и ничего она не возвращает — ни лет, ни жизней. Война — жестокая штука... да не тебе о ней рассказывать, ты сам знаешь... Прощай, Гриша.

— Прощай.

Они обнялись.

20

Раньше Москва начиналась постепенно: избами окрестных деревень, резными крылечками и причудливыми башенками дач, кладбищенскими часовнями, рядами двухэтажных шлакоблочных барачков, потом число этажей восходило к пяти — и так длилось долго, — а там уж, когда появлялись трамваи, суетливые площадки у станций метро, — там стены улиц взмывали круто и места узнавались поименно: Калужская застава, Крестьянская застава, Сокольники, Фили...

Но теперь, когда подъезжаешь к границе, к Кольцевой дороге — впрочем, и этот рубеж преодолен, — Москва начинается сразу, отвесной крутизной, как начинаются гряды великих гор, вздымаясь над пологой равниной цепью могучих хребтов.

Схожесть усугубляется цветом: ослепительная белизна панелей, лишь кое-где пестрящая то зеленью, то синью — словно вечные снега на вершинах, которым что зима, что лето — одинаково.

И трудно теперь даже наметанному глазу москвича найти тут знакомые ориентиры. Разве что привыкнешь считать за них островерхий кристалл Дома туриста, массив Онкологического центра, стекляшку какого-нибудь НИИ, да и то, коли снабжена, к примеру, чтоб с другой не спутать, завитухой Мёбиуса на фасаде.

Но это уже была Москва, и машину вел сам Владимир Федорович, а сын сидел рядом.

Они въехали на площадь, где перед «Тысячью мелочей» возно-
сился в небо на иридиевой стреле Юрий Гагарин.

С чемоданом и рюкзаками ввалились в подъезд.

Лиля прежде всего заглянула в почтовый ящик, сказала упав-
шим голосом:

— Пусто...

— Странно, если б там было не пусто, — проворчал Дима. —
Ведь я заявление носил на почту, чтоб ничего не кидали — ни га-
зет, ни писем.

— Тогда надо будет сейчас же сбежать на почту.

Вошли в квартиру, оглядываясь удивленно и радостно, как вхо-
дят после долгого отсутствия, самих себя укоряя: ну зачем, ради че-
го надо было покидать домашний уют, налаженный порядок жизни?

— А пылища-то... — Лилия Петровна провела пальцем по зер-
кальной полировке серванта. — И откуда только берется?

— Из космоса, — объяснил Дима.

Хозяйка ступила на порог спальни и обмерла: на кровати, зани-
мающей почти всю комнату, белой с позолотой — для Людовигов,
не для простых людей, — отбросив к ногам покрывало, расшвыряв
лишние подушки, свернувшись калачиком, даже не слыша, как от-
пирали дверь, как вносили вещи, как громко разговаривали, —
спала дочь.

— Марина!.. — ахнула она, опускаясь на пуфик.

И только названное имя пробудило ее: разлепила веки, села,
прикрылась пустым пододеяльником, тряхнула волосами, нерасче-
санными после вчерашней ванны.

— О, здравствуйте, приехали... — улыбнулась спросонья, но
тотчас озаботилась: — Вы извините, что я здесь, в вашей постели,
но захотелось мяконько выспаться — после топчана... А вы что
раньше времени?

— Да так, — не стала сразу вдаваться в подробности мать, од-
нако обратила тот же самый вопрос к дочери: — Марина, а почему
ты раньше времени? Ты давно приехала?

— Вчера.

— Но... почему?

Теперь уже все были здесь: Владимир Федорович и Дима загля-
дывали через порог.

Марина не спешила с ответом.

И за нее ответил братец:

— Она дезертировала. Она убежала, испугавшись трудностей и забыв о долге... как в кино.

— Вот я сейчас залеплю тебе, как в кино! — Сестра подхватила с коврика домашнюю туфлю. Вспылила не на шутку: — А ну-ка выйдите все, дайте одеться!..

Через полчаса они вместе завтракали на кухне.

— Но все-таки, почему ты уехала? — очень серьезно спросил Владимир Федорович, отхлебывая из чашки кофе.

— Что-нибудь случилось?.. — не скрыла тревоги мать. — Тебя обидели?

— Просто она испугалась трудностей и забыла о долге, — зло-радно торжествуя, повторил Дима.

Марина взвилась с места, ударила кулачком по столу так, что зазвенела посуда.

— Это не я забыла о долге, а они, *они!* Когда собирались ехать — клятвы давали. Давали клятву. Что сухой закон... а я сама — понимаете, сама, своими глазами! — видела, как Чмырев с Тарасовым купили в сельпо две бутылки и пошли выпивать в кусты. А я их застучала!

— Ясно, — сказал Дима. — Ее выперли из стройотряда, чтоб не стучала.

— Неправда! Я — никому ни слова, даже Фотиеву не доложила... Но теперь я про этих голубчиков знаю все, *все!* Когда формировали отряд, девушек не брали, потому что, говорили, одна обуза: из-за вас, мол, работы больше, а заработки меньше... а сами, сами!

— Что — сами? — спросила Лиля.

— А сами... к деревенским ходят!

Из глаз Марины брызнули слезы честного негодования. Она села на табуретку и, уронив голову, зашлась навзрыд.

— И даже комиссар Фотиев? — язвительно уточнил братец.

Марина не ответила на этот вопрос: плакала безутешно, плечи вздрагивали.

— Ну ничего, подумаешь — горе... — сочувственно тронула ее волосы мать. — Все они, мужики, одинаковы. Не стоят слез.

— Как сказать, — возразил Дима.

Бобылев в хмуром раздумье вертел пустую чашку на блюдце.

— Марина... но ведь тебя никто не заставлял записываться в стройотряд, — напомнил он. — Ты добивалась сама, ты поехала добровольно... как же ты смогла...

— Забыть о долге, — подсказал братец, — сбежать с передовой. Так это называется?

Владимир Федорович не решился повторить эти слова. Но поднял на дочь полный недоумения и внутренней боли взгляд.

— Господи, куда деваться от занудства, от этих вечных наставлений? — так же внезапно, как начала, оборвала плач Марина. — Да не сбежала я ниоткуда! Они меня сами в Москву послали. Вот за этим!..

Метнулась от стола к стенному шкафу в коридоре. Выволокла оттуда емкие, как невода, туго набитые авоськи: репчатый лук, морковка, свекла, капуста — все в пыльном налете, по которому сразу отличишь магазинные овощи от тех, что продают на рынке.

— Во-от! За этим. Они же меня поварихой поставили...

— Ну, страдальцы! — схватился за голову Дима.

Однако сестра больше не обращала на него никакого внимания, тем давая понять, чего он стоит со своими прибаутками.

Объяснила матери — единственной, кто поймет:

— Какая же без этого готовка? Тем более лето.

Но, кажется, мать тоже не взяла в толк ее объяснений: пораженно смотрела на авоськи с серыми луковицами, мышастой свеклой, грязной морковкой, на кочаны, с которых так и хотелось побыстрее сорвать замызганные одежды.

— Что же... — еле выговорила от удивления. — Что же там, в деревне, луку нету? Морковки?

— Нету. Деревенские за этим тоже в Москву ездят, в магазины. И за картошкой ездят. И за молоком, и за творогом, если в сельпо не завезут...

Она взглянула на часы, висящие над кухонным столом: кварцевые, имитирующие допотопные ходики с кукушкой.

— Ой, мне пора! Иначе опоздаю к электричке... — Перевела молящий взгляд на отца: — Папа, ты меня до вокзала не подброшишь? Чтобы с кладью этой в метро не лезть, затолкают...

— Почему до вокзала? — привстал он. — Задержишься немного — я только душ приму, побреюсь — и поедем в Можайск.

— Это дальше Можайска.

— Ну, значит, дальше...

Она задумалась на мгновение, мотнула головой:

— Нет. Вот этого — если увидят, что на машине, — они и в самом деле не простят. Ничего, конечно, не скажут, но затаят. Козлы.

— Марина... — укорила мать.

— Нет. Только до Белорусского.

Когда уже подъезжали, выруливали туннелем поближе к пригородным перронам, Бобылев спросил:

— Трудно?

— А где легко, — повела плечом она. — Вот ты как будто из отпуска приехал, а на кого похож... Всё трудно.

21

По селектору врубился голос Прокшина:

— Владимир Федорович, ты на месте? Зайди, пожалуйста.

Бобылев прихватил папку «К докладу», хотя в ней к началу дня и не скопилось ничего, чтоб докладывать, но так, на всякий случай, — пошел к лифту.

В просторном кабинете члена коллегии Главстандарта у письменного стола в кресле сидел молодой человек — не моложавый, а молодой, лет тридцати. Лицо его показалось знакомым, но не содiniaлось в памяти ни с именем, ни с местом, ни с событием, — значит, оставалось надеяться, что разговор подскажет.

И Прокшин не замедлил с подсказкой:

— Знакомься, Владимир Федорович. — На губах его витала усмешка. — Борис Кузьмич Бойко, директор Кокшинского завода.

— Бобылев.

— Да, я вас помню. — Молодой человек поднялся навстречу. — Вы приезжали к нам на завод, но я тогда... в общем, знакомы издали.

— Кокша? — переспросил Владимир Федорович, стараясь побыстрее сообразить, что к чему. — Но у вас был директором Самарин. Где же он? Что с ним?

— Самарин ушел на пенсию, — сообщил гость.

— Да? — Бобылев опустил в кресло напротив. — А ведь он еще, мне казалось... сколько ему?

— По состоянию здоровья, по личной просьбе, — прикрыв веки, уточнил Бойко.

— Вот так, Владимир Федорович, — с той же усмешкой взглянул на своего эксперта Прокшин. — Еще одного директора справадил ты на заслуженный отдых.

В тоне хозяина кабинета был столь многозначный смысл — пожалуй, недоступный для гостя, лишь для свойского пользования, — что Бобылев решил не оставлять его без равнозначного ответа:

— Ну, если этой реформой... — Он иронически постучал кончиками пальцев по корешку ледериновой папки. — Если таким путем надеются решить все проблемы Кокши...

— Нет, товарищ Бобылев, у нас не только эта переменна, — все принял на свой счет и с достоинством снес иронию Бойко. — Мы заменяем весь парк станков, перестраиваем технологию. И не только это.

Наклонился к свитку бумаг, лежавших перед ним.

— Я приехал не отчитываться. Я приехал поставить вопрос в другой плоскости: а что, если буровые долота, которые мы намерены выпускать — а это принципиально новая конструкция! — что, если на них у вас не окажется готовых стандартов? Что, если мы опередим ваши ГОСТы?

В нем сразу угадывался повичок, еще не постигший сановного этикета, не привыкший к дипломатическому ведению разговора: лез на рожон прежде времени и без повода.

— Ведь, честно говоря, многие ваши стандарты тоже изрядно устарели, далеки от технического прогресса!

Это уж было слишком. Прокшин раздраженно заерзал в кресле.

А Бобылев едва сдержал улыбку. Нет-нет, эдак не следует петушиться, когда приезжаешь в столицу устраивать дела. Но, странно, ему был чем-то симпатичен этот задиристый и неотесанный малый. Кроме того, он прав: стандарты тоже не вечны и подлежат обновлению.

Однако следовало охладить пыл гостя и вернуть разговору конкретность.

— Пока все это голословно, — сказал Владимир Федорович. — Мы должны знать, о чем идет речь, — и в принципе, и детально.

— В принципе, одним таким долотом можно пробурить двухкилометровую скважину. Две тысячи метров без подъема инструмента на-гора. То есть, обычную скважину на месторождениях Оби или Печоры можно пройти одним таким долотом!

Владимир Федорович покосился на члена коллегии: тот больше не ерзал, а застыл в напряженной позе и только смаргивал: не ослышался ли?

Пожалуй, у гостя из Кокши были основания для запальчивости тона.

— Мы прикинули экономический эффект, вчерне пока...

Бобылев оценил толщину бумажного свитка, лежавшего на столике. Повторил спокойно:

— И в принципе, и *детально*.

— Товарищи, я думаю, что вам в самый раз поговорить об этом подробнее, притом наедине, — вмешался Прокшин, припечатывая ладонью ладонь. — Владимир Федорович, поручаю Бориса Кузьмича твоим заботам.

— Хорошо, — встал Бобылев.

Но тут дверь кабинета распахнулась, пропуская человека, который знал за собою право толкаться без спроса в начальственные кабинеты — вошел Латыпов, председатель профкома, как всегда в попыхах и одышке.

Едва поздоровавшись, ухватил за рукав направляющегося к двери Бобылева. И, выждав, пока отдалится на шаг незнакомый человек, забубнил укоризненно:

— Подвел ты нас, Владимир Федорович, крепко подвел! Зажал свой юбилей...

— Ну, так вышло, — искренне повинился Бобылев. — Придется подождать. И долго ли ждать? Всего два года.

— Но ведь мы тебе подарок уже купили: часы с боем, орехового дерева, напольные, вот такие, — Евгений Павлович занес руку выше головы, — а дорогушие — ужас... — Вздохнул сокрушенно. — Да ладно, мы их Гремиславскому подарим — ему на той неделе семьдесят.

В приемной секретарша Прокшина тоже окликнула Бобылева:

— Владимир Федорович, минуточку... Звонили из парткома, просили передать: завтра к семнадцати в райком партии.

Рядом с ним оказалась девчушка в короткой стрижке, с острыми плечиками, ни дать ни взять мальчишка из девятого, как его Димка, — но нет, при чем здесь Димка, теперь он понял, на кого она похожа: на Эрику, школьницу из Дюссельдорфа, с которой по-

дружился в Волгограде его сын, — но тоже нет: ведь та была чужая, а эта, сразу видно, что своя.

Судя по всему, она волновалась сверх меры: щеки то вспыхнут пугово, то вдруг кровь отольет — и бледна. Он даже хотел спросить: какая забота, чем помочь?

Но она сама обратилась к нему — сдавленным, еле слышным голоском:

— Вы не знаете, вопросы задавать будут?

— Какие вопросы?

— Ну, по уставу. Или насчет международного положения.

— Нет, по-моему, не будут, — утешил ее Бобылев. — Теперь уже не будут. Только вручат.

— А я все равно боюсь, так боюсь...

Владимир Федорович оглянулся: в зале заседаний бюро райкома, где их собрали к семнадцати, сидели плотно. И все, кроме него, молодые. То есть, не одинаково молодые — кому двадцать, а кому и тридцать, — но эта разница имела значение, притом немалое, только для них самих. В его же представлении они все были завидно и счастливо молоды. Он был вдвое старше.

И еще он попытался хотя бы приблизительно — по одежде, по лицам — определить, кто есть кто. Кто рабочий, а кто студент, кто из научных сфер, а кто, предположим, с автобазы. Но это было почти невозможно, всё подравнялось.

Разве что о рослом веснушчатом парне с орденом Трудовой Славы на лацкане пиджака можно было — по этой примете — сказать с достаточной уверенностью, что рабочий.

Переговаривались вполголоса, сосед с соседом, выжидающе поглядывая на дверь.

— А вы кто? — напрямик спросил он стриженую девчущку, понимая, что она не может быть прямо из школы.

— Я? Со Второго подшипникового, заточница, — с готовностью ответила она и добавила: — Меня пока еще в кандидаты. А вас?

Он прикинул, как бы покороче и попроще объяснить ей, но тут никак не получалось ни коротко, ни просто — жизнь все-таки длинна и, уж во всяком случае, непроста.

Да и не успел бы он объяснить, так как в зале появилась женщина в сером костюме, строгость которого была смягчена ворохом

кружев на шею. За нсю почтительно следовал мужчина с картонным ящичком.

— Здравствуйте, товарищи!

В ответ прогудели нестройно. Бобылев подумал, что надо бы встать — тем более что вошла дама, — но никто не встал, и он тоже остался на месте, поняв, что высказывать одному было бы нелепо.

Владимир Федорович вспомнил, что уже видел эту женщину на районной партийной конференции: ее представили мастером цеха и, как обычно, с некоторым умилением встретили на трибуне оратора не записного, не чиновного, а из тех, кого заранее готовят к выступлению и кому пишут на бумажке речь: сколько дали процентов и какое обязательство. Но у нее не оказалось бумажки. Только сняла с запястья часики, положила перед собой, чтоб не одернули регламентом, — и пошла, и пошла... В президиуме ежились, шушукались озабоченно. А зал постепенно наполнялся живым дыханием и, в конце концов, громыхнул аплодисментами.

Теперь она была секретарем райкома.

Мужчина подал ей билет в красной обложке.

— Товарищ Агапов.

Парень с орденом Трудовой Славы вскочил и, запнувшись о ковер, размашисто прошагал к столу.

— Надеемся, что вы оправдаете...

Он долго и сильно тряс руку секретарю райкома, выслушивая поздравления, и лицо его при этом сияло всем мирозданием веснушек.

— Товарищ Баймухаметов.

— По алфавиту вызывают, — поделилась догадкой стриженная соседка, и по ее облегченному вздоху Владимир Федорович понял, что ее буква где-то в самом конце.

«Зачем же так волноваться?» — опять в душе усмехнулся он. К тому же, его заверения в том, что вопросов задавать не будут, подтвердились. Только вручат... И вдруг ощутил гулкое колочение в груди.

— Товарищ Бобылев.

Он подошел.

— Да, я помню, — сказала секретарь райкома, проглядывая строки в учетной карточке, — мы рассматривали этот вопрос на бюро. Обмен документа в связи с уточнением даты рождения члена партии... Значит, вы родились двадцатого июля 1925 года, так?

— Да, — подтвердил Бобылев. — В городе Холмы.

— Вступили в партию пятнадцатого апреля 1945 года. Точно?

— Так точно. Пятнадцатого апреля. В Восточной Пруссии.

— Значит, теперь вы немного помолодели, а партийный стаж остался без изменений — почти сорок лет.

— Выходит, так, — кивнул он.

Секретарь райкома держала в руке новенький партийный билет в красной обложке.

— А вот я и не знаю, что вам сказать, Владимир Федорович... Как будто, простая формальность. Но ведь нет: и это не формальность, а большое событие в жизни коммуниста. Вручение нового партбилета! Нужно что-то сказать, приличествующее случаю, а у меня, признаюсь, это первый такой случай — я ведь недавно избрана. Вот и не найду нужных слов... помогите мне, а?

Разговор их был доверительно тих. Но в зале, где до сей минуты поскрипывали кресла, шаркали подошвы, шелестели говорки, вдруг тоже все стихло в напряженном внимании: все поняли, что происходит нечто необычное и важное.

— Ну, скажите мне, как другим: надеемся, что оправдаете...

— Да ведь вы сто раз уже оправдали! — воскликнула она, и Бобылев смекнул, что сейчас голос секретаря райкома приобрел звучность не случайно: теперь она хотела, чтобы слышали все. — И даже одного раза — тогда, в Восточной Пруссии — хватило бы на всю жизнь!

— Знаете, именно этого я и боялся: что хватит на всю жизнь — Сталинграда и Кенигсберга... А вся жизнь еще была впереди. И хотелось начать все заново, с новой отметки, с новой черты.

— А сейчас это ощущение есть?

Владимир Федорович помолчал, будто бы вслушиваясь в самого себя, будто пытаясь определить: есть ли?

— Вроде есть.

— Тогда я так скажу, Владимир Федорович. — Она протянула ему партбилет. — Все заново, с новой отметки, с новой черты. И чтобы на все это хватило сил... Согласны?

— Да, согласен, — ответил Бобылев, пожимая протянутую руку. — И постараюсь оправдать.

Он вышел из здания райкома на улицу, жмурясь от закатного солнца, бившего наискосок сквозь ажурную металлическую вязь Шуховой башни.

На лобовом стекле его «Москвича» налипли, как шегольские наклейки, пятипалые желтые кленовые листья. Удивился: откуда такое в августе, в разгар лета? Но, подняв голову, убедился, что густые зеленые кроны деревьев изрядно прорежены золотом, канареечной желтизной, алым полыханием.

Отпер багажник, достал веничек и тщательно обмел эти листья, чтоб не застилали вида.

Сел за руль и покатил наезженным маршрутом, на хорошей скорости — домой, к заставе.

В створе проспекта развели крылья два здания, увенчанные башнями. На уступах башен были воздвигнуты скульптуры: воины с автоматами, рабочие с отбойными молотками, колхозницы со снопами пшеницы.

Но если на одной из башен эти фигуры стояли по четыре в ряд, обратив лица на все стороны света, то на другой было всего лишь по одной сиротливой фигуре у каждой грани.

В том доме он и жил.

1985 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ	3
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ	41
ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ	427

Александр Рекемчук

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

Редактор *Роман Сенчин*
Оформление *Дмитрия Манахина*

Сдано в набор 1.09.2001. Подписано в печать 30.01.2002.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 33,5. Тираж 3000 экз. Заказ №558

Издательство «МИК».
Москва, ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 52
Лицензия на издательскую деятельность
№ 060412 от 14 января 1997 г.

Отпечатано в ОАО «Типография Внешторгиздат»
127576, Москва, ул. Илимская, д. 7.



ISBN 5-87902-104-1
9 785879 021042



Однажды, гуляя по Арбату, я увидел в витрине магазина «Видео, аудио» кассету с названием «Нежный возраст». Любопытство превозмогло, я раскошелился. Дома зарядил кассету в видео-плеер и сел смотреть новинку отечественного кино. О впечатлениях умолчу, иначе это будет пахнуть злорадством...

Но к концу просмотра я хохотал так громко, что в дверь стали заглядывать встревоженные домохозяйцы.

Фильм с рованным названием «Нежный возраст» состоял из трех частей, заглавия которых поочередно появлялись на экране: «Идиот», «Отцы и дети», «Война и мир»...

Александр РЕКЕМЧУК